



Мир приключений

**Евгений РЫСС  
Леонид РАХМАНОВ**

**Домик на болоте**



### **Аннотация**

*В настоящем издании объединены два остросюжетных произведения советских писателей Е. С. Рысса и Л. Н. Рахманова.*

*Повесть «Домик на болоте», написанная ими в соавторстве, рассказывает о разоблачении немецкого шпиона, получившего доступ к важному открытию. Роман «Петр и Петр» принадлежит перу Е. С. Рысса. Читатель узнает о том, как бывшим воспитанникам детского дома удалось спасти своего друга от ложного обвинения в убийстве.*



## ДОМИК НА БОЛОТЕ

ОТ АВТОРОВ

История, рассказанная в этой повести, может показаться невероятной. Могли ли советские люди, боровшиеся в фашистском тылу, окруженные повседневными опасностями, ежеминутно рискуя жизнью, тратить силы, энергию, время на то, чтобы не только спасти советского ученого, но и предоставить ему возможность продолжать научную работу? Но вот что сообщил в своем докладе тов. П. К. Пономаренко, который во время войны был секретарем ЦК партии большевиков Белоруссии («Известия» от 2 июля 1944 г.):

*«Выполняя указания центра, минские подпольные организации спасали советских людей. Сколько семей было доставлено на «Большую землю» с помощью белорусских партизан! Ярким примером братской помощи партизан может служить история спасения академика Никольского. Этот старый человек, ученый, имя которого известно далеко за пределами Советского Союза, не успел выехать из Минска в тяжкие дни 1941 года, но он не хотел оставаться у немцев, не хотел работать при них. Тогда минские товарищи, имена которых, быть может, даже неизвестны спасенному ими академику, приняли на себя охрану ученого и его труда. Никольский не только был избавлен от гитлеровских допросов и регистрации, но смог продолжать и закончить свой труд, начатый еще до*

*войны по плану Академии наук БССР. Центральный комитет партии большевиков Белоруссии внимательно следил за работой, и, когда его труд был закончен, автора, все еще находившегося в минском подполье, поздравили с высокой наградой — орденом Ленина. Получать награду академик Никольский благополучно прибыл в Москву».*

Значительно и волнующе то, что в условиях оккупации, страшного полицейского режима, в условиях кровавого гитлеровского террора ни на один день не переставала действовать советская государственная система. Работали подпольные партийные организации, советская и партийная дисциплина определяла поступки людей, и советское правосудие неуклонно карало преступников.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*(Рассказанная Валей Костровой)*

## НАЙДЕНО И ПОТЕРЯНО

### Глава первая

*Профессор Костров и его семья.  
Знакомство с Володией Старичковым*

#### I

Матери своей я совсем не помню. Она умерла, когда мне исполнилось полтора года. Воспитывала меня бабушка, следившая только за тем, чтобы я была сытно накормлена и тепло одета.

Отец мой, Андрей Николаевич Костров, в тридцать четыре года был уже профессором. Докторская его диссертация обратила на себя внимание широких кругов биологов в Советском Союзе и за границей.

Он очень меня любил, но был слишком занят и увлечен своей работой, чтобы уделять мне много времени. В субботние вечера я всегда приходила к нему в кабинет. Он пытался рассказывать мне сказки, но скоро убеждался, что плохо их помнит, и переходил к темам более ему знакомым. Когда мне было пять лет, он подробно рассказывал о туберкулезных палочках, стрептококках, бактериях чумы и азиатской холеры. Неясно себе представляя настоящий размер этих вредных существ, я стала очень бояться темных комнат. Мне казалось, что за дверью притаился

стрептококк, который непременно треснет меня по голове здоровенной туберкулезной палкой.

После смерти бабушки мне пришлось заняться хозяйством. Отец в практической жизни был беспомощным. Домработница наша готовила еду и убирала комнаты, но все серьезные хозяйственные и бюджетные вопросы решала я, хотя мне еще не исполнилось тринадцати лет.

Я рано привыкла к самостоятельности, чувствуя себя ответственной за многое такое, о чем девочки моих лет обычно не думают. Конечно, это наложило отпечаток на мой характер, но я думаю, что, скорее всего, благодетельный отпечаток.

Отец относился ко мне с доверием, которое обыкновенно оказывают только взрослым. Это заставило меня так бояться потерять это доверие, что никакое самое строгое воспитание не могло бы меня больше дисциплинировать. Не следует думать, что я была лишена удовольствий, свойственных моему возрасту. Я успевала бывать и на катке и в театре, я приглашала к себе подруг и ходила в гости сама. Только на праздные размышления — что бы такое от скуки сделать и чем бы заняться — у меня совершенно не оставалось времени.

Год шел за годом. Я окончила школу и, после долгих совещаний с отцом, подругами и приятелями, решила идти на биологический факультет. Отец не мог себе представить, что я стану заниматься чем-нибудь другим. Мысль о том, что я буду историком, инженером или юристом, казалась ему такой же нелепой, как мысль о том, что я наймусь кочегаром на океанский пароход. Может быть, я и не была прирожденным биологом, но, проведя все детство в

кругу биологических интересов, постоянно слушая разговоры о микробах и вирусах, я как-то привыкла к микробиологии и сжилась с мыслью, что выберу эту специальность. Кроме того что скрывать! – был у меня еще один довод в пользу биологического факультета. К этому времени имя отца значило уже так много, что не было в нашей стране, да, пожалуй, и за границей, биолога, который не знал его трудов. И меня невольно тянуло в ту область науки, где для дочери профессора Кострова всегда была открыта дорога.

## II

Меня просили рассказать о необыкновенной истории работы над вакциной, а я начала рассказывать о своем детстве. В дальнейшем я буду держаться ближе к теме, однако я должна рассказать о первом своем увлечении, потому что Володе Старичкову, которым я увлеклась, пришлось сыграть в судьбе вакцины очень большую роль.

Мы встретились, будучи уже второкурсниками, на одной загородной прогулке. Его привела с собой моя приятельница Лида Земцова. Володя был белобрысый юноша невысокого роста. Поначалу он мне не понравился. Он вежливо пожал мою руку, когда нас представили друг другу, и отошел в сторону. Всю первую половину прогулки он очень оживленно беседовал с Мишей Юркиным и не обращал на остальных ровно никакого внимания. Миша Юркин был знаменит еще в школе тем, что решил стать капитаном дальнего плавания и даже написал куда-то заявление по этому поводу. В конце концов он провалился на

экзаменах, не попал на штурманские курсы и сейчас работает плановиком, если не ошибаюсь, где-то в Бугуруслане. Но тогда его дерзкая мысль волновала наше воображение. И вот будущий капитан дальнего плавания, высокий, красивый юноша со стальными глазами и «волевым», как говорила Лида Земцова, лицом, шагал рядом с низеньким, белобрысым Володей и объяснял ему прелести дальних плаваний. Краем уха я слышала их разговор.

– Что же вас, собственно, привлекает в морской профессии? – спросил Старичков.

– Это, может быть, единственное занятие, – сказал Юркин, – в котором даже в наше время еще сохранилась романтика. Только на палубе корабля, в далеком море может быть по-настоящему счастлив мужчина.

Володя немного подумал и кивнул головой.

– Я понимаю вас, Юркин, – сказал он. – Но я думаю, что из вас не только капитана, а, пожалуй, даже и третьего штурмана никогда не получится. Я вам сейчас объясню, почему.

Он говорил так спокойно, так дружелюбно и так искренне старался разъяснить свою мысль, что Юркин, растерявшись, сначала даже не обиделся.

– В каждом деле, – продолжал Володя, – есть обыкновенное и романтическое, есть хорошее и плохое, и, когда выбираешь профессию, мне думается, ее нужно любить даже за ее плохое. Вас же привлекают в морской профессии только те прекрасные минуты, которых в ней, вероятно, так же немного, как и во всякой другой. Все равно как если бы вы решили быть актером потому только, что очень любите, когда вам аплодируют. По-моему, так. А по-вашему?



Юркин покраснел и отошел, а Володя посмотрел на него с удивлением и, кажется, действительно не понял, почему тот рассердился. Уже тогда я решила, что мы с Володиёй будем приятелями. На следующий день мы встретились в институте и с тех пор встречались уже постоянно.

Ссорились мы с ним ужасно. У него была противная манера говорить все, что он о тебе думает, прямо в глаза, да еще спокойным, рассудительным тоном, как будто речь идет о совсем постороннем человеке.

Мне запомнился такой случай. У нас был студент (я не назову его фамилию, потому что сейчас он известный биолог и его очень многие знают); студент этот поступил в университет, приехав из отдаленной, глухой деревни. В городе все его поражало. Обыкновенный кинотеатр казался ему роскошным храмом искусства, а поездка на трамвае — чуть ли не событием. Когда мы пошли всем курсом в оперетту, его приводил в удивление и восторг каждый фрак и цилиндр. На потеху всему залу, он шумно восторгался усыпанным блестками платьем премьерши. Я считала его глупым, тем более, что на первом курсе учился он очень плохо. Я не понимала, как ему трудно в новых, для него необычных, условиях, в новой среде.

Однажды, когда я, по обыкновению, подшучивала над незадачливым студентом, Володя вдруг прервал меня и заговорил так же спокойно, как он говорил всегда.

— Знаешь, Валя, — сказал он, — ты напрасно смеешься над ним. Он до поступления в университет не видел микроскопа, пробирки, не встречался ни с одним ученым биологом, а ты росла в семье профессора и с самого детства

могла привыкнуть к своему делу. Тебе бы следовало уже напечатать несколько специальных работ, но ты этого не сделала. А он уже учится гораздо лучше, чем учился на первом курсе. Так что, в сущности говоря, он имеет больше оснований смеяться над тобой, чем ты над ним.

Мне показалось это невыносимо обидным. Я ответила резко и глупо. Через день я подошла к Володе и сказала, что он был совершенно прав.

Однажды я стала просить Володю, чтобы он меня повел на гастроли МХАТа. Он купил билеты. Мы сидели в пятом ряду и в антракте ели пирожные. Он пришел в какой-то старой, очень потертой куртке. Это было в марте. Он объяснил, что его пальто в чистке. Через два дня мне сказал его товарищ по общежитию, что Володя в тот день продал пальто. Я даже расплакалась, так меня мучила совесть. Главное, я ничего не могла ему сказать. Я знала, что он бы обиделся.

## Глава вторая

### *Прогулка за город.*

### *Мы смотрим на Алеховские болота*

#### *I*

Зато какие чудесные бывали у нас разговоры, когда мы не ссорились! Мы гуляли по улицам, увлеченно обсуждая вопросы, которые в этом возрасте кажутся самыми важными, готовились вместе к зачетам, ходили в кино и считали – я, по крайней мере, – что мы большие друзья.

И вот наконец настал день, один из лучших дней в моей жизни, после которого мы так неожиданно и так надолго расстались.

Апрель в наших местах всегда бывает дождливым, и до начала мая редко устанавливается ясная погода. И вдруг выдался необыкновенно теплый, солнечный день.

В одиннадцать часов утра Володя сдавал моему отцу основы микробиологии. Мы условились встретиться после зачета. Отец продержал его очень долго. Я уже начала волноваться, когда Володя наконец появился. Вид у него был такой встрепанный, что я даже испугалась.

– Провалил? – спросила я.

Я знала, что от моего отца всего можно ждать.

Володя покачал головой:

– Пятерка.

Мы вышли из подъезда университета. Солнце светило вовсю. Впервые в этом году я увидела сухой асфальт.

– Какая ранняя весна! – сказала я и повернулась к Володе.

Он стоял, щурясь от солнца, и лицо у него было растерянное.

– Пойдем, – сказала я решительно. – Тебе надо проветриться.

Володя улыбнулся, и мы пошли по весенним, шумным улицам города. Все вокруг было удивительно нарядным. Фасады домов казались яркими, машины сверкали, как будто их заново отлакировали, и даже трамвай был до того ослепительно красен, что на него больно было смотреть.

Володя постепенно приходил в себя. Когда мы дошли до окраины города, он совсем развеселился. Нам все нравилось в этот день.

– Смотри, какой щенок! – восторгался Володя. – А лужа какая чудная! Видишь, в ней облака плывут!

Веселые вышли мы из города, миновали пустыри и пошли по шоссе. Далеко впереди синела полоска леса.

Сзади загудел автобус.

– Я вас домчу туда, в лес, за полчаса, – сказал Володя галантно и, встав посреди дороги, поднял руку.

Автобус послушно остановился.

Свободные места были только на самой задней скамейке. Нас подбрасывало так высоко, что головами мы стучались о потолок машины. Было больно, но мы громко смеялись, а пассажиры оглядывались на нас и улыбались. Какой-то человек, сидевший впереди, обернувшись, привстал и вежливо мне поклонился. Я с трудом узнала его: в то время мы были почти незнакомы с Якимовым, будущим ассистентом отца. День был такой хороший, что даже его всегда немного угрюмое лицо казалось оживленным и почти приветливым.

## II

Я не верю в предчувствия. Если бы они существовали, разве осталась бы я спокойной при этой встрече Якимова и Старичкова – двух людей, сыгравших такую роль в моей дальнейшей жизни! Володя совсем не обратил на него внимания.

Мы сошли на высоком гребне холма. Я махнула шоферу рукой, и автобус покати́л с холма вниз, трясаясь и подпрыгивая на неровностях шоссе.

Как шумно было сегодня в лесу! Пожалуй, больше

всего шумели грачи. У них хлопоты были уже в полном разгаре. Они деловито ходили по земле, там, где уже сошел снег, клевали червей, носились вокруг своих неуклюжих черных гнезд и, видимо, волновались, что вот прилетели на летние квартиры, а многое не устроено. Сколько еще предстоит беспокойства и возни, пока удастся наладить мало-мальски приличную жизнь! Вороны и галки ходили по снегу и хмуро переговаривались. А под снегом шумели ручьи; они вырывались из-под сугробов и радуясь бежали с холма. Маленькие журчали тонко и неуверенно, а большие бурлили так громко, будто они и впрямь настоящие реки.

Перепрыгнув через ручей и отойдя на несколько шагов от дороги, я нагнулась. На небольшой проталинке, у самого края снежного наста, рос подснежник. Белый, на прямом стебельке, он стоял такой удивленный, как будто никак не мог понять, откуда появился этот прекрасный, огромный мир.

Отовсюду видно было далеко-далеко. До самого горизонта тянулся лес. Белой полосой извивалась река, еще покрытая льдом, и лес подходил вплотную к обоим ее берегам. Далеко за рекой виднелись пестрые пятна: мелко-лесье, низкорослый кустарник, маленькие озера, заросшие камышом. Я показала на них Володе:

– Это знаменитые наши Алеховские болота. При крепостном праве там годами прятались беглые, и полиция не могла до них добраться. Позже, когда здесь прошел тракт, на болотах скрывалась шайка атамана Алехи.

Болота лежали перед нами пустынные и зловещие. Легкий пар поднимался над ними, а на снегу кое-где виднелись коричневые пятна, будто его проела ржавчина. Это вода проступала сквозь снег.

Пока мы смотрели на болота, их заволокло туманом.

Нет, не бывает предчувствий! Второй раз в этот день я заглядывала в свое будущее, не зная об этом. Мы стояли с Володей на холме и не подозревали, что смотрим на то самое место, где обоим нам придется пережить столько таинственного и страшного. Самый вид болота наводил тоску, и мы отвернулись от него.

Пора было возвращаться. Когда мы подошли к дороге, солнце внезапно скрылось. Сразу же повалил мокрый снег.

– Эта проклятая туча с болота нагнала нас, – сказал Володя.

Стало холодно и пронизывающе сыро. Я посмотрела на тонкую Володину куртку. В пальто, которое он продал, чтобы повести меня в театр, ему было бы гораздо теплее... Я решительно расстегнула свое пальто и сказала:

– Стань ближе. Мы накроемся оба.

– Сейчас же застегнись! – сказал он сердито. – Почему ты думаешь, что мне холодно?

– Потому что у тебя нос синий, – сказала я. – Скорее, пока пальто теплое!

– Нет!

Даже мне становилось холодно, а у него зуб на зуб не попадал, и он отворачивался, чтобы я этого не заметила. Мне его стало так жалко, что неожиданно для самой себя я обняла его и поцеловала.

Он резким движением обнял меня за плечи и вдруг оттолкнул. Я растерялась. Он отвернулся и стоял не двигаясь. Мокрый снег падал ему на шею и на плечи. Мы стояли, не зная, как прервать молчание, и вдруг услышали с облегчением, что автобус, ворча, взбирается на холм. Мы молча

вышли на дорогу, молча влезли в автобус и молчали до самого города. Я подняла воротник и смотрела в окно, за которым плясали снежинки, скрывая лес, небо и землю.

Всю дорогу я думала о том, какой Володя хороший. Один раз я искоса на него посмотрела. Вид у него был очень несчастный, но я знала, чувствовала, что он с нежностью думает обо мне.

### *III*

Он довел меня до самого дома. У крыльца мы остановились. По-прежнему падал мокрый снег, и ничего кругом не было видно; даже рядом горевший фонарь казался неясным облачком света.

Я протянула Володе руку на прощанье. Теперь мне было неловко, что я его в лесу поцеловала. «К счастью, он хороший друг, — думала я, — и никогда ничем не напомним об этом». И мне было очень обидно, что не напомним...

Должно быть, я непроизвольно притянула его к себе, когда мы прощались. Он нежно обнял меня и поцеловал. Я прижалась к нему, и мы недолго постояли обнявшись. Потом он ласково, но решительно отстранил меня от себя. Открыв глаза, я увидела его за белой сеткой снега.

Он крикнул мне:

— До свиданья! — и быстро пошел по улице.

Придя домой, я легла в постель и потушила свет, но долго не могла заснуть. Приятно было представлять то радостное, что еще впереди. Наступает лето. Можно кататься на лодке, загорать на пляже, плавать, есть мороженое в саду и гулять, не боясь мокрого снега. Все это еще

предстоит нам с Володей. Я знала, я чувствовала, что он меня любит. Какое мне было дело, почему он ушел и не поцеловал меня второй раз!

Весь следующий день я ждала его в библиотеке. Его не было. Ночь показалась мне очень длинной, и наутро я пошла к нему в общежитие. На его кровати сидел незнакомый мне студент.

– Вы не знаете, – спросила я, – где Володя Старичков?

– Старичков уехал, – сказал студент.

– Как – уехал? Куда? – Я растерялась. – Вы, наверно, не о нем говорите?

– Почему не о нем? – студент удивился. – Вот, меня на его койку перевели.

В деканате подтвердили, что студент Старичков отчислен из университета по собственному желанию. Я пошла к отцу и попросила выяснить, что случилось.

– Уехал? – сказал отец. – Ну что ж, значит, я не даром с ним беседовал.

– О чем ты с ним беседовал, – спросила я, – и почему я об этом не знаю?

– Видишь ли, – объяснил отец, – когда студент переходит на третий курс, я всегда ему заявляю, что биологии, как и всякой науке, нужно отдать всю жизнь. Если студент не способен на это, пусть лучше уходит. Случайные люди науке не нужны.

Впервые в жизни я всерьез рассердилась на отца.

– Ты сварливый старик, – сказала я. – Тебя следовало бы снять с преподавательской работы. Ты говоришь, что государству нужны биологи, и распугиваешь самых талантливых!



Только через полтора месяца я получила письмо от Володи.

*«Дорогая Валя! – писал он. – Извини, что я не простился с тобой. Андрей Николаевич с мудрой резкостью поставил передо мной вопрос о моем призвании. Я люблю биологию, но все-таки это для меня не то дело, которому можно отдать себя на всю жизнь. Мне было очень трудно расстаться с тобой, особенно после того дня, когда мы ехали в автобусе. Я боялся, что, если увижу тебя, не решусь уехать. И я не простился. Не сердись на меня.*

***Старичков».***

Вспомнив нашу прогулку, я поняла причину странного его поведения и не рассердилась на него, а только погоревала.

С тех пор я ничего не слышала о Володе, пока мы не встретились через несколько лет и не пережили вместе незабываемые и страшные дни. Сначала я тосковала о нем, но постепенно забывались наши прогулки и разговоры, образ Старичкова расплывался, бледнел, становился неясным и туманным, как все воспоминания нашей юности.

## **Глава третья**

### ***Ассистенты.***

***Профессор Костров начинает большую работу.***

### ***Война***

#### ***I***

Я не помню, когда у нас стал бывать Якимов. Кажется, году в тридцать седьмом или в начале тридцать восьмого.

Неуклюжий и широкоплечий, он сидел всегда на самом незаметном месте, добродушно улыбался, когда все кругом разговаривали, и багровел, когда к нему обращались. Рукава всех его пиджаков были ему коротки, а плечи узки. Пиджаки натягивались и слегка трещали, когда он наклонялся. Не знаю, где он доставал себе подходящую обувь, — наверно, покупал те огромные туфли, которые делаются для реклам.

По-видимому, он не был очень талантлив, — отец сам всегда говорил, что пороку Якимову не выдумать. Но работоспособен он был исключительно. Он мог не спать, не обедать и работать, не разгибая спины. Он мог сутками сидеть за столом, склонившись над микроскопом или покрывая листы бумаги строчками крупных, неуклюжих букв.

В 1939 году он защитил кандидатскую диссертацию. По словам отца, это была хорошая, обстоятельная работа, не открывшая никаких новых истин, но очень добросовестно излагавшая ранее высказанные предположения. Отец часто приглашал его к нам, и скоро мы к нему привыкли. Очень он был хозяйственный человек. То приколотит полку, то подравняет ножку стола или, прозанимавшись часа четыре, наколет и наносит дров. Он был способен ко всякому ручному труду и однажды отлично отполировал буфет.

Это, пожалуй, все, что я могу о нем вспомнить. Я к нему относилась дружелюбно. Командовала им, ругала за всякое упущение, но привыкла к тому, что в доме есть молчаливое существо, непонятное, но, видимо, доброжелательное. К сожалению, курил он ужасно много. Когда я говорила, что в квартире трудно дышать, он курил в форточку; я кричала,

что он напускает холоду, — Якимов курил в печную вьюшку; я злилась, что выстуживается печка, — Якимов уходил курить на кухню.

Вертоградский появился у нас осенью 1939 года, и о нем сразу заговорили все. Он окончил Московский университет и поступил к нам в аспирантуру. Почему он не остался в Москве, было не совсем ясно. Говорили разное, но все сходились на том, что случилось что-то интересное и романтическое. На самом деле, как случайно узнал отец, он просто провалился на экзаменах. Впрочем, причина его провала действительно была романтична. Он влюбился в какую-то девушку, два месяца, вместо того чтобы заниматься, ухаживал за ней, пошел на экзамен, даже не взглянув в книжку, и провалился. Девушка вышла замуж за того профессора, который его провалил, а он уехал в наш город, месяц посидел в библиотеке и отлично сдал все экзамены. Начало своей аспирантской деятельности он ознаменовал тем, что, получив комнату в общежитии, позвал соседей в гости, усадил их играть в очко и проиграл деньги, рубашки, галстуки, новый костюм, фетровую шляпу и даже чемодан. Больше всего были расстроены выигравшие. Они никак не хотели раздевать товарища и умоляли его считать игру шуткой. Но он обиделся, заставил их взять все выигранное и до очередной полочки ходил в старом костюме, рваной кепке и истрепанном галстуке.

История эта стала широко известной. Его осуждали и студенты и профессора, но осуждали не очень строго. Были во всей этой глупой истории широта и нерасчетливость, которые невольно привлекали.

Месяца через три Вертоградский блеснул докладом. В

поразительно короткий срок он сумел освоить довольно большой материал. Понять, когда Вертоградский работает, было совершенно невозможно: он бывал на всех вечеринках, театральных премьерах, концертах и балах, хорошо танцевал и знал все новые танцы. Количество анекдотов, которые он помнил, было непостижимо. Рассказывал он их отлично, весело и легко. Он любил выпить и за столом был неистощим на смешные выдумки. Кстати, я долго считала, что Вертоградский замечательно оправдывает свою фамилию. Я полагала, что слово «вертоград» означает что-то необыкновенно легкомысленное, вертящееся, пока, заглянув в словарь, не узнала, что на языке старинных книг это просто виноградник...

Мой отец не любил людей типа Вертоградского. Он называл их почему-то папильонами и утверждал, что толку от них никогда не бывает. Но к Вертоградскому он постепенно стал относиться лучше и лучше. Действительно, в нем было что-то удивительно обаятельное. Он никогда не скрывал своих пороков и проступков, но вы всегда чувствовали, что он искренне кается и очень хотел бы быть хорошим. Кроме того, нельзя отрицать, что он был талантливый человек. То, что Якимов делал месяц, Вертоградский успевал сделать за неделю. Отец ворчал, ворчал, а после махнул рукой, простил Вертоградскому его легкомыслие и привлек в качестве помощника к главной своей работе.

## II

Когда я впервые услышала о вакцине, тоже не помню. Кажется, в конце 1939 года. В том году, весной, я окончила

университет, осенью Германия напала на Польшу, началась мировая война.

Именно в это время отец стал посещать хирургические палаты больниц и подолгу беседовать с хирургами. Его «Основы микробиологии» только что вышли в свет, печать отозвалась о них очень хорошо, и я настаивала, чтобы отец месяца на три поехал на юг отдохнуть. Уже выбран был санаторий. Уже были куплены белые брюки, парусиновые туфли и соломенная шляпа, которую можно было носить только на курорте. И вдруг отец заявил, что никуда не поедет.

В декабре Якимов и Вертоградский были зачислены в лабораторию отца. Они каждый день сидели допоздна у отца в кабинете. В университете отец сократил до минимума количество своих лекций. Теперь целые дни он проводил в лаборатории. Он перестал приходить ко второму завтраку, и я утром совала ему в карман бутерброды. В конце зимы он поехал в Москву и вернулся недели через три, оживленный, веселый и довольный.

В первый же вечер после его приезда я вошла к нему в кабинет.

— Вот что, папа, — сказала я. — Мне думается, твоя дочь стала биологом не для того, чтобы ровно ничего не знать о твоих делах. Будь любезен, объясни, над чем ты собираешься работать.

Отец хмыкнул и посмотрел на меня.

— Ладно, — сказал он. — Садись и слушай.

Он тогда рассказал мне о своей работе, сущность которой известна сейчас слишком широко, чтобы о ней говорить. Разумеется, я и раньше слышала о послераневых

осложнениях. Я знала о шоке, о газовой гангрене, обо всех этих таинственных и страшных болезнях, которые губят так много людей. Но многое из того, что говорил отец, было мне совершенно незнакомо, многое было неизвестно тогда еще никому. Отец увлекся и говорил долго. Кажется, главное – новизну и смелость мысли отца – я уловила.

С тех пор отец делился со мной всем, что касалось работы над вакциной. Тема была утверждена в Москве, и деньги, которые он просил, ему отпустили. К лаборатории присоединили две комнаты, и там разместилась целая армия крыс, белых мышей и морских свинок. Отец побывал у одного из ответственных сотрудников обкома партии, Плотникова, просидел у него три часа и, как говорил Вертоградский, выжал из него все, что можно, и еще столько же. К весне 1941 года работы уже полностью развернулись.

Отец работал с увлечением, не жалея ни времени, ни сил. Главными его помощниками были Якимов и Вертоградский. Легко объяснить, почему он выбрал именно их. Был у отца один недостаток: он не выносил возражений и споров. Коллектив нужен был ему такой, который бы точно и беспрекословно выполнял все его указания. Поэтому оба помощника очень ему подходили. Старательный, работоспособный и исполнительный Якимов нес на себе тяжелый груз черновой работы. Отец мог быть уверенным, что все впрыскивания будут произведены в положенное время, минута в минуту, что все будет точно записано и ничто не будет забыто. Вертоградский ведал «внешней политикой». Благодаря его напористости и умению оборудование прибывало день в день, рабочие в срок кончали заказы и никакие организационные трудности не мешали отцу.

Историю поисков вакцины отец рассказал в предисловии к своей книге. Все читавшие эту книгу знают, что поиски шли долгое время по неправильному пути, что пришлось проделать около шести тысяч опытов, чтобы путем исключения найти единственно правильное решение. Но немногие знают, как тяжело давалось это отцу. Он установил для себя жесточайший режим и не допускал никаких отступлений. Гости совсем перестали у нас бывать, и отец отказывался от всех приглашений. Очень часто он вставал среди ночи и уходил в лабораторию, где постоянно находился Якимов, поставивший свою кровать рядом с лабораторным столом.

Теперь отец был не похож на того сдержанного, всегда спокойного профессора, каким знали его ученики и ассистенты. Он часто выходил из себя, кричал и нервничал.

Помню, как он обозлился на Вертоградского, когда тот вечером на два часа удрал в кино.

— История торопится, — кричал он на него, — а вы по киношкам бегаете!

С тех пор Вертоградский каждый раз, когда мы садились обедать, замечал строго и нравоучительно:

— История торопится, товарищ Якимов, а вы обедать садитесь!

Очень хорошо помню я первую выздоровевшую крысу. Между нами говоря, она была такая же противная, как и все остальные крысы на свете, но отец, Якимов и Вертоградский находили ее красавицей. Наш старый, заслуженный кот, который верой и правдой служил нам двенадцать лет и считался членом семьи, умер, не дождавшись от отца таких горячих и бурных ласк, какие достались на долю этой мерзкой крысы.

– Смотрите, – кричал Вертоградский, – какая она веселая! Она себя чудно чувствует. Вы замечаете?

Якимов потирал руки и улыбался. Отец чесал крысе спину, что, по-моему, ей вовсе не нравилось.

В тот день мы провели в лаборатории весь вечер и ушли в начале первого часа ночи. Отец привел домой Якимова и Вертоградского и, несмотря на поздний час, приказал накрыть стол и подать все, что есть лучшего в доме.

Налив рюмку, он произнес тост за вакцину:

– Я решил назвать ее «К.В.Я.» – Костров, Вертоградский, Якимов. Пусть каждый из нас чувствует, что и его доля труда была в этом деле. За успех, товарищи!

Ассистенты были очень довольны. Вертоградский только сказал, что так как и моя доля работы есть в этой вакцине, то следовало бы и меня включить в название. Поэтому его нужно читать так: «Костровы, Якимов, Вертоградский». Все с этим согласилось, и отец даже неожиданно обнял меня и поцеловал – просто так, от хорошего настроения.

Я забыла сказать, что я тоже работала в лаборатории. Кажется, отец взял меня главным образом потому, что на меня, свою дочь, он мог кричать сколько ему угодно. Я мыла посуду, ассистировала Якимову, говорила по телефону, что профессор занят и подойти не может, вела записи и подметала пол, когда уборщица была выходная.

На следующий день после нашего пира к нам приехал Плотников, тот самый работник обкома, к которому обращался отец в затруднительных случаях. Плотников был невысокий, худощавый человек с немного прищуренными глазами. От этого казалось, что он про себя улыбается.



Плотникова водили по лаборатории, показали ему знаменитую крысу и насажали такое количество специальных терминов и формул, что у него в глазах появилась растерянность. Плотников сказал, что все нужное будет предоставлено немедленно. Он просил звонить ему по всякому, даже мелкому, поводу и дал, кроме служебного, еще и домашний свой телефон.

Когда Плотников уехал, отец сказал:

— Стыдно! Государственные люди думают, как бы нам помочь, а мы лоботрясничаем.

Теперь каждый раз, когда Якимов закуривал папиросу, Вертоградский говорил ему печально и осуждающе:

— Стыдно, товарищ Якимов! Государственные люди думают, как бы вам помочь, а вы изволите папироски раскуривать.

### *III*

Наверно, каждый помнит двенадцать часов дня воскресенья 22 июня. Каждый пережил эту минуту по-своему, и каждый запомнил ее на всю жизнь. Нас застала она за работой. Выходные дни в нашей лаборатории были отменены. Когда радио, принесшее весть о войне, умолкло, отец сказал:

— Пора делать впрыскивание. Юрий Павлович, начинайте! Валя, распорядись, чтобы из дому прислали постели. Мы теперь будем жить в лаборатории. Слишком мало осталось времени, чтобы ходить домой.

С тех пор действительно мы почти не выходили из лаборатории.

Все помнят тягостное напряжение первых месяцев войны. Может быть, единственный человек, который никогда не обсуждал происходящего, а, выслушав очередную сводку, немедленно возвращался к работе, был мой отец. Беспристрастно должна сказать: надо уметь так работать, как работал он в это время. Внешне совершенно спокойный, он делал все возможное, чтобы ускорить работу. Все мы тогда мало спали, и еду нам подавали прямо на лабораторный стол. Использовалась каждая минута. Вертоградский не острил, Якимов не успевал выкурить папиросу. Небритые, с воспаленными глазами, они сидели над микроскопами и работали так же напряженно, как работал отец.

Но как ни экономили они секунды, как ни подгоняли опыты и исследования, события развивались быстрее. За окнами проходили воинские части. Маршировали отряды штатских людей в пиджаках, с учебными винтовками за плечами. Проходили толпы с лопатами и кирками. Гудели самолеты, иногда были сирены, и люди разбегались по улицам, скрываясь в подвалах и подворотнях. А мы без отдыха впрыскивали вакцину, исписывали десятки страниц, до боли в глазах смотрели в микроскопы, перемывали пробирки и колбы и вновь наполняли их новыми и новыми пробами.

Якимова и Вертоградского не взяли в армию. Об этом попросил отец, и просьбу его беспрекословно уважили. Никого из нас не привлекали к оборонным работам. Делалось все, чтобы нам не мешать. От этого еще острее чувствовали мы невыносимую медленность хода исследований.

В начале июля позвонил по телефону Плотников. Отец взял трубку, долго слушал, потом сказал:

– Слушаю. Буду готовиться. Неделю вы мне даете? Хорошо. Спасибо. Всего лучшего. – И повесил трубку.

Он подошел к столу, за которым до разговора записывал результат очередного впрыскивания, и вновь взялся за свои записи, не обращая внимания на любопытные взгляды ассистентов. Кончив записывать, он аккуратно приложил промокательную бумагу, прогладил ее рукой, закрыл тетрадь и сказал:

– Нашу лабораторию эвакуируют. Надо собираться.

Он замолчал и обвел всех глазами, как будто спрашивая, нет ли возражений. Ассистенты молчали. Молчала и я. Страх и мрачные предчувствия томили меня.

Наш эшелон отправлялся через шесть дней, во вторник. В понедельник мы должны были грузиться. Четыре дня до понедельника нам оставались на то, чтобы упаковать самое необходимое, без чего мы не могли бы продолжать работу в Москве.

Мы разделились. Якимов и Вертоградский укладывали в ящики бумаги, пробирки с пробами, стеклышки с мазками. Ясно было, что увезти всех подопытных крыс невозможно. Решено было взять только нескольких, уже находившихся под наблюдением.

Мы с отцом продолжали работу. Отец не хотел терять ни одного дня. До вечера воскресенья мы с ним делали впрыскивания, брали пробы, заканчивали анализы. Якимов и Вертоградский, пыльные и замученные, отбирали нуж-

ные записи, набивали ящики, стучали молотками. Было условлено, что машины за нами придут в понедельник утром.

Очень трудно упаковать все нужное, ничего не забыть, ничего не упустить. Ассистентам предстояло работать целую ночь. Мы с отцом тоже собирались не спать до утра. Был важен каждый лишний анализ. А часов в девять вечера прибежала наша уборщица Ньюша, перепуганная до смерти. Она рассказала, что очередной эшелон с эвакуированными вернулся, потому что железная дорога перерезана. Толпа двинулась по шоссе и тоже вернулась. Шоссе уже обстреливала немецкая артиллерия. Где-то близко, в лесу, громыали фашистские танки.

Отец сразу позвонил Плотникову. Долго телефон был занят. Наконец соединили.

— Товарищ Плотников, — сказал отец, — до меня дошли нехорошие слухи. Они верны?... — Он помолчал, пока Плотников говорил, потом сказал: — Хорошо, спасибо, — и повесил трубку.

Якимов, Вертоградский и я смотрели на отца и ждали, что он скажет. Но он молча подошел к столу, сел и закурил папиросу.

Я не выдержала.

— Ну? — спросила я.

— Ньюша сказала правду, — ответил отец. — Железная дорога и шоссе перерезаны. Мы окружены.

## Глава четвертая

*Лаборатория уничтожена.*

*Про нас не забыли.*

*Через пылающий город*

### I

Сразу остановилась жизнь в лаборатории. Отец подошел к крану, вымыл руки, тщательно вытер их полотенцем и сел у окна. Он ничего не сказал, но всем нам и без слов было ясно, что дальше работать не к чему. Якимов лег на кровать, да так и лежал, куря папиросу за папиросой. Вертоградский побрился – он за последние дни изрядно оброс, – вымыл бритву, аккуратно уложил ее в коробочку и стал ходить по комнате, насвистывая без конца все один и тот же бравурный марш. Я по привычке разогрела обед, расставила тарелки и позвала всех к столу. Никто даже не отозвался. Суп в тарелках остыл, а второе чуть не сгорело, пока я догадалась снять его с огня.

Вечером прилетели фашистские самолеты. Казалось бы, много я навидалась бомбежек за последние недели, но ничего подобного мне еще видеть не приходилось. Земля тряслась, и дом наш качался, как дерево в ветреную погоду. Свистели бомбы. На столах звенела посуда; в клетках метались и пищали крысы. Занялись пожары. Багровое небо низко опустилось над городом; от горящих домов черными клубами поднимался дым. По улицам пробегали люди; громко плакали дети; надрывались дежурные, пытаясь установить порядок. В комнате было светло от пожаров.

Почему мы не спустились в бомбоубежище, я и сама не могу понять. Вероятно, так сильно было у нас у всех чувство непоправимой беды, после которой не стоило что бы то ни было предпринимать. Мы ясно чувствовали, что главное, ради чего мы жили, погибло. Бессмысленным казалось о чем-то заботиться и стараться спастись.

Не помню, о чем я думала, что я чувствовала в этот вечер. Помню Якимова, который лежит на кровати и прикуривает папиросу от папиросы; Вертоградского, насвистывающего марш, шагающего взад и вперед, как маятник; помню неподвижный силуэт отца, сгорбленного, с опущенной головой, с острой бородкой клинышком, на фоне красного колеблющегося света в окне.

Сердито ворчали самолеты в небе. Били зенитки. Завывали бомбы. Из окон домов высывались длинные языки пламени. Потом самолеты ушли. Стало тихо. Только трещали балки в горевших домах, иногда переговаривались люди на улице и где-то, кажется в соседнем переулке, надрываясь плакал ребенок.

Вертоградский подошел к окну.

— Да, — сказал он, — картинка! Что будем делать, Андрей Николаевич?

Отец даже не пошевелился. Вертоградский пожал плечами:

— Конечно, ничего не придумаешь.

В это время Якимов поднялся с постели и аккуратно погасил в пепельнице окурок.

— Надо идти воевать, — сказал он.

— Куда? — спросил Вертоградский.

Якимов удивленно на него посмотрел:

– Как – куда? В ближайшую воинскую часть. Не все ли равно в какую?

– Может быть, вы объясните мне, дорогой товарищ, – сказал раздраженно Вертоградский, – где находится эта ближайшая часть? Как пройти к этой ближайшей части? Может, вы рассчитываете справиться на углу у милиционера?

– К черту! – сказал Якимов и с силой ударил кулаком по столу. – К черту! – повторил он. – Тогда нужно достать гранаты и прямо идти на немецкие танки. Не будем же мы тут сидеть, пока не придут за нами фашисты!

– Вздор, – уныло ответил Вертоградский. – Бессмысленный вздор, Якимов. Где вы достанете гранаты?... Кстати, для танков, кажется, нужны какие-то особенные. Потом, я слышал, что надо уметь подрывать танки. Хотя недолго, но надо обучаться. Да и где эти танки? Разве мы знаем, откуда они войдут? Мы оторваны ото всех, Якимов. Мы остались одни, а одни мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Надо было готовиться раньше. Надо было учитывать эту возможность, а не думать только об анализах и впрыскиваниях...

Он с некоторым раздражением посмотрел на отца, но отец как будто не слышал и сидел по-прежнему сгорбившись, опустив голову.

Вертоградский замолчал и сел на кровать. Теперь, когда самолеты уже не гудели в небе и бомбы не рвались, стало особенно отчетливо слышно, как беспокойно пищат не кормленные, возбужденные крысы. Они метались по клеткам, вставали на задние лапы и пищали противным, скрипучим писком.

Вертоградский усмехнулся.

– Насколько их положение лучше нашего! – сказал он, кивнув головой на клетки. – Они, не стесняясь, пищат и мечутся, потому что им страшно. А нам нельзя. Нам не полагается питаться. Мы люди.

Отец поднял голову, посмотрел на Вертоградского и медленно поднялся со стула.

## II

– Надо всё уничтожить, – сказал отец.

Мы повернулись к нему.

– Что уничтожить? – спросил, не поняв, Вертоградский.

– Всё. Все следы. Все дневники. Все записи. – Отец был вне себя. – Перебить посуду, чтоб никаких следов не осталось!

– Успокойтесь, Андрей Николаевич, – мягко сказал Вертоградский. – Не надо так волноваться.

Отец махнул рукой:

– Я не сошел с ума. Неужели вы можете примириться с тем, что вся наша работа достанется им?

– Что ж, – сказал Вертоградский, – пожалуй, об этом стоит поговорить. Какой же способ вы предлагаете? Поджечь дом?

Отец покачал головой.

– И без того довольно пожаров. Просто сожжем записи и уничтожим пробы.

Все было невероятно в эту ночь, но слова отца были невероятнее всего. Я выросла и была воспитана в сознании, что нет ничего важнее на свете, чем результат работы ученого. И вот ученый хочет уничтожить работу...



– Ладно, – сказал Якимов. – С чего мы начнем?

– Тише! – сказал Вертоградский. – Слышите?

Мы прислушались. Где-то совсем близко застрочили пулеметы: сначала один, потом несколько.

– Это на Пушкинской или на Садовой, – сказал, вслушиваясь, Якимов.

– Все равно, на Пушкинской или на Садовой, – пожал плечами Вертоградский. – Важно то, что это совсем близко. Если жечь, так жечь сразу.

Не так просто было уничтожить бумаги, заполнявшие ящики. Печки не было: в доме было центральное отопление. Якимов предложил отнести бумаги на улицу и бросить в ближайший горящий дом, но мы отвергли этот проект. За один раз бумаги не унесешь, а бегать взад и вперед слишком долго. Да, пожалуй, и рискованно.

Как ни странно, но сейчас, когда появилась цель, мы стали спокойнее и рассудительнее. Разные проекты, как быстрее уничтожить плоды многолетней работы, обсуждались серьезно и деловито. Со стороны, вероятно, показалось бы, что идет обыкновенное совещание по какому-нибудь не очень важному поводу. Вертоградский даже несколько раз сострил – правда, не очень удачно. Никто не засмеялся. У меня было ощущение, что все это мне только снится. Не может быть, чтобы это было на самом деле, чтобы горели дома, чтобы фашисты входили в город. Не может быть, чтобы мой отец думал о том, как уничтожить свою вакцину...

Наконец решили жечь документацию в умывальнике. Стена около него была облицована кафелем и не могла загореться.

Мы стали таскать из шкафа папки с бумагами. Якимов

поднес спичку, и бумаги загорелись. Папки, чтобы не терять времени, мы отбрасывали и жгли только самые записи. Горели они быстро, но умывальник сразу же наполнился черной сожженной бумагой, и горящие листы вываливались на пол. Мы решили выгрести горелую бумагу, но она еще тлела. Надо было ее погасить. Оказалось, что водопровод уже не работает. Пришлось заливать дистиллированной водой, которой был у нас порядочный запас.

Никогда я не думала, что так трудно сжечь много бумаги. Загоревшись, пачки увеличивались в объеме и, как живые, выползали из умывальника. Отец кочергой мешал огонь. Весь в копоти, черный, взлохмаченный, он выглядел страшно. Он не слушал, когда к нему обращались, он весь был поглощен одной мыслью. Впрочем, все мы говорили и действовали как в дурмане.

– Валя, – говорил Вертоградский, – уберите к дьяволу этих крыс, я не могу слышать, как они пищат!

Он поправил галстук, и я заметила, что у него дрожат руки. Якимов носил бумаги из ящиков. Он был весь покрыт пылью. Он приносил пачку за пачкой и сваливал их у самого умывальника. Черные лоскутья сгоревшей бумаги носились в воздухе и оседали на лица, на платья, на пол.

– Так, – командовал отец. – Ничего, хорошо горит... Юрий Павлович, подбросьте еще сюда: здесь, сбоку, быстрее займется.

Пламя опалило ему ресницы и бороду, но он не замечал этого.

– Папа, – сказала я, – посиди отдохни.

Он не слышал меня.

– Давайте, давайте! – повторял он. – Посмотрите, не

осталось ли чего. Надо, чтобы все сгорело, до последней бумажки.

Последняя пачка занялась ярким огнем.

– Эх, – сказал Вертоградский, – погром так погром!

Он подошел к ящику, в котором были аккуратно уложены перенумерованные пробирки, заткнутые пробками, распахнул дверцу и рукой сгреб с полки штук двадцать пробирок.

– Правильно, – сказал отец. – Вы, Юрий Павлович, их на пол бросайте, а я стану топтать.

Вертоградский с отчаянным лицом выбрасывал на пол пробирки и колбочки, а отец тщательно, одну за другой, давил их каблуками. Он кружился и притопывал, и со стороны казалось, что он танцует какой-то неторопливый танец.

Боюсь сказать, сколько времени продолжалось уничтожение. Я, да и все мы, наверно, были как во сне. Долго еще потом виделась мне в кошмарах озаренные пламенем стены лаборатории, Вертоградский, швыряющий на пол посуду, отец, давящий ее каблуками...

– Больше ничего не осталось? – хриплым голосом спросил отец.

– Всё, – сказал Якимов.

– Хорошо. – Отец кивнул головой. – Теперь, по крайней мере, мы можем быть спокойны.

– Ну, – сказал Вертоградский, – для спокойствия особых оснований нет...

Отец не слышал его. Он обвел всех нас глазами.

– Я не могу решать ни за кого из вас, – сказал он, – но лично я думаю кончить жизнь самоубийством... – Он помолчал, потом повернулся ко мне:

– Ты как, Валя?

Голос его дрогнул, и я почувствовала, что он может сейчас заплакать. Я пожала плечами:

– Выбирать не из чего.

Вероятно, если бы я реально представила себе, что я должна сейчас перестать жить, должна умереть, мне было бы очень страшно. Но в том состоянии, в каком мы были тогда, ничего страшного не было и не могло быть. Все проходило мимо сознания.

– Это будет, пожалуй, труднее, чем жечь бумаги, – сказал Вертоградский. – Оружия у нас нет... Вербки? Во-первых, я не знаю, есть ли тут веревки, а во-вторых, это противный способ.

Якимов молча вынул из кармана наган и положил его на стол.

– Я на всякий случай достал, – сказал он, по обыкновению, коротко и спокойно.

– Вы умеете стрелять? – спросил отец.

Якимов кивнул головой.

– Вы нас научите. Я не умею, и Валя, наверно, тоже.

### *III*

– Подождите, товарищи, принимать такие крайние меры, – сказал кто-то.

Мы обернулись. В дверях стоял человек.

Я не сразу узнала Плотникова. Но, узнав, ничуть не удивилась его появлению. Этой ночью все было необыкновенно.

Плотников стоял в дверях, невысокий, внешне спокойный, с прищуренными, как всегда, глазами. Только на

этот раз мне не показалось, что он улыбается. Мы смотрели на него и молчали. Слишком неожиданно было его появление.

– Я уже думал, что лаборатория брошена, – сказал он. – Дверь на лестницу открыта, постучал в комнату – никто не отвечает.

– Шум на улице, – сказал отец таким тоном, как будто жаловался на то, что ему мешают трамваи и автомобили.

Плотников и тут не улыбнулся.

– Судя по всему, – он обвел глазами пол, засыпанный горелой бумагой и осколками стекла, – вы не собираетесь предлагать им свои услуги.

Он помолчал, но никто ему не ответил.

– Надо переходить в подполье, товарищи, – продолжал Плотников. – Ваша вакцина, профессор, нужна гитлеровцам. Вас в покое не оставят...

Он вынул из кармана четыре паспорта и, заглянув в каждый, роздал их нам.

– Вы будете жить в другом районе, – сказал Плотников. – Квартира уже готова. Мы постараемся спасти вас и ваше открытие.

– У меня нет вакцины, – буркнул отец. – Я все сжег, все уничтожил.

– Это все равно пришлось бы сделать. – Плотников посмотрел на часы. – Взять с собой мы ничего не можем. Я вас очень прошу поскорей собираться.

Укладка заняла не больше десяти минут. Плотников поглядывал на часы и, кажется, нервничал, но ничего не говорил. Мы уложили самое необходимое в два рюкзака и два маленьких чемоданчика. Мы были готовы. К этому

времени отец пришел в себя. Безумие кончилось. Начиналась новая, необычная, опасная, но все-таки жизнь. Профессор Костров стал снова профессором Костровым. Он откашлялся и сказал:

– Простите, Александр Афанасьевич, но я вам должен задать вопрос. В этой квартире, в которую вы нас ведете, я буду иметь хоть какую-нибудь возможность работать? Я понимаю, что условия очень сложные, не ведь, кроме научного значения, вакцина сыграет немалую роль и на войне...

Прежде чем Плотников ответил, я отвела отца в сторону.

– Папа, – сказала я ему, – подумай, что ты говоришь! Люди рискуют жизнью, чтобы спасти тебя, а ты начинаешь им предъявлять какие-то требования.

Отец подумал, смутился, подошел к Плотникову и сказал:

– Александр Афанасьевич, я, конечно, сказал нелепость. – И добавил своим обычным, резковатым голосом: – Я очень благодарен вам и вашим товарищам... Ну, пойдемте.

В последний раз мы окинули взглядом лабораторию. В ней остались жженная бумага и битое стекло. Только в клетках по-прежнему метались и пищали крысы.

Отец подошел и быстро одну за другой открыл дверцы всех клеток. Писк прекратился. Крысы прыгали на пол и разбегались, ища нор и щелей. Мы вышли из комнаты.

Все вокруг было багровым. Вдоль багровых тротуаров стояли багровые дома, и низко нависало над ними страшное, багровое небо. Вдали били пулеметы. Ударил артиллерия, но выстрелы орудий были не громче треска и грохота пожара. Когда мы проходили мимо недавно достроенного дома ИТР, в нем обвалились междуэтажные перекрытия, и огромные балки падали и ломались, разбрасывая тысячи искр. Жар обжигал, мы задыхались, и лица наши блестели от пота. Но Плотников шел не останавливаясь и все время торопил нас. На отце от уголька стало тлеть пальто, и я погасила его на ходу.

– Скорей, скорей! – кричал Плотников.

Желая сократить путь, мы свернули в узенький переулочек. Стена дома, к которому мы подходили, медленно наклонилась, разламываясь на несколько частей, с грохотом рухнула на мостовую и рассыпалась на множество обломков. У меня подогнулись колени, задрожали руки, и я ухватилась за отца. Он посмотрел на меня. У него были белые губы, но дрожащей рукой он все-таки погладил меня по голове.

– Ничего, ничего, Валя, – сказал он. – Через все это надо пройти.

Я скорее прочла по губам, чем услышала его слова.

– Скорей назад! – кричал Плотников. – Придется обойти кругом.

Мы снова бежали за ним, увертываясь от бревен и камней, падавших из горящих домов, помогая друг другу стряхивать с себя искры, сворачивая в переулочки, возвра-

щаясь назад, когда видели, что путь впереди завален рухнувшим домом, задыхаясь и торопясь.

– Скорей, скорей! – кричал Плотников. – Скорей, скорей!

Постепенно горящие дома стали попадаться реже. Немцы сильнее всего бомбили центр города. Мы приближались к окраине. Здесь было тише, дома стояли словно мертвые, с наглухо запертыми ставнями. Жители спрятались в подвалах или сидели во внутренних комнатах.

Мохнатый щенок увязался за нами. Размахивая куцым хвостиком, он хватал меня за платье и весело тявкал, а потом отстал, побоявшись, видимо, далеко уходить от дома.

Ясно слышалась пулеметная стрельба, и все чаще щелкали винтовочные выстрелы. Потом мы услышали нарастающий грохот. Отец остановился, прислушиваясь.

– Скорей, скорей! – кричал Плотников.

– Что это? – спросил отец.

– Не задерживайтесь, – повторил Плотников. – Идут немецкие танки.

Мы свернули в подворотню и пересекли большой пустынный двор нового дома. Стрельба и грохот танков доносились сюда издалека. Во дворе росли молодые, недавно посаженные деревца, в квадратной загородке был насыпан песок для детей. Мы перелезли через невысокий забор и оказались в другом, меньшем дворе. Здесь было темней и грязней. Тощая кошка рылась в помойной яме. Она испуганно посмотрела на нас.

Грязноватая лестница вела прямо со двора вниз, в подвал. Маленький человек в толстовке и белой фуражке шагнул нам навстречу.



– Я уж думал, с вами случилось что-нибудь, – сказал он Плотникову.

– Задержались, – задыхаясь ответил Плотников. – Ключ у тебя?

Человек передал Плотникову ключ.

– Иди к Семену, – кинул ему на ходу Плотников. – Я приду туда.

Все вместе мы спустились по лестнице вниз. Плотников отпер дверь. Мы вошли в темные, тесноватые сени.

– Ну, – сказал Плотников, – на эти дни вот ваша квартира.

## Глава пятая

### *Жизнь невидимых*

#### *I*

О следующих месяцах нашей жизни надо совсем не писать или писать подробно. Но сейчас я рассказываю историю вакцины, а эти месяцы мы над ней не работали. Повесть об этом времени – это повесть о дружбе, о верности, о самопожертвовании. Когда-нибудь я расскажу о людях, которым угрожала смерть, которые голодали, которым нельзя было выйти на улицу, и люди эти думали о том, что есть среди них старик, знающий что-то очень важное для страны, стало быть, этого старика надо спасти.

Каждый человек в городе был на учете. Каждую квартиру обыскивали, на улице у каждого проверяли документы, спрятаться было негде. И ни разу не проверили

документы у четырех людей: у отца, у Вертоградского, у Якимова и у меня. И это несмотря на то, что, может быть, никого в городе гитлеровцы так не искали, как моего отца. Им, очевидно, многое было известно о его работе.

В лабораторию они пришли через полтора часа после того, как город был занят. Они обыскали все, простукали стены и подняли полы, допросили нашу уборщицу Нюшу. Она сделала глупое лицо и наговорила такой ерунды, что на нее махнули рукой. Тем не менее было установлено, что, когда город окружили, мы еще оставались в нем. Значит, мы не могли уйти. Значит, мы еще здесь. Нас искали.

Нам рассказали об этом много позже. В эти дни нас прятали, нас снабжали документами, нам объясняли, как вести себя. Почти каждую ночь мы проводили в другом месте. Пароли, отзывы, явки, неизвестность...

Однажды у отца сдали нервы, и он сказал Плотникову:

— Я так не могу! Черт с ним, пусть меня повесят! Поверьте, что секрет вакцины выдан не будет.

Плотников ответил спокойно и холодно:

— Мы вас спасаем не потому, что вы человек исключительный, а потому, что стране нужна ваша работа. Ведите себя спокойно и выполняйте то, что вам говорят.

Мы ночевали тогда в помещении, где раньше была кустарная мастерская. Стояли станки, какие-то обрезки клеенки лежали на полу. Пусть прочтет Плотников эти строки и узнает, что после его ухода отец целую ночь не спал, ходил из угла в угол и говорил о том, что он обязан выучиться быть спокойным и выдержанным, поменьше думать о собственных переживаниях.

Четырех человек вместе было трудно спрятать, поэтому

почти всегда Якимов и Вертоградский жили где-то отдельно. Тысячам людей было гораздо труднее, чем нам, но и нам было нелегко.

Особенно запомнилась мне одна ночь. Это было в начале зимы 1941 года. Мы с отцом ночевали в подвале. Подвал был темен и мрачен. Штукатурка осыпалась со сводов; свет проникал через крохотное пыльное оконце. Здесь когда-то был склад, и в углу лежала большая куча пакли. На этой пакле мы и провели ночь.

Я знала о бешеном и успешном наступлении Гитлера. Отец метался и бормотал во сне, а я лежала и думала: «Неужели действительно кончилось все? Неужели действительно не будет того мира, в котором я выросла, в котором я своя, который я люблю?» В первый раз меня охватило отчаяние. Я чувствовала тяжесть старых сводов, мучительную тишину подземелья. Неужели не будет воздуха, воли, неба?...

В ту ночь мне казалось, что все уже кончено и что надеяться больше не на что.

А наутро к нам в подвал пришел Плотников. Он сказал, что нас переведут в партизанский отряд, потому что там будет спокойней и безопасней. База отряда помещается в труднопроходимых лесах, и можно надеяться, что немцы туда не проберутся.

Мы засыпали его вопросами. Но он, как всегда, посмотрел на часы, извинился и объяснил, что очень торопится, что завтра придет товарищ, который будет руководить нашим переездом.

Он ушел, а мы без конца строили планы и предположения.

– Может быть, со временем, – неуверенно сказал отец, – когда мы там обживемся, удастся нам хоть немного и поработать.

Я посмотрела на него удивленно. Мне показались нелепыми грандиозность и необоснованность его надежд.

Сутки никто к нам не приходил. Чего только мы не передумали! На следующий день, около двенадцати, когда мы уже потеряли всякую надежду, в подвал вошла женщина.

## II

– Андрей Николаевич, это вы? – спросила отца женщина, как будто бы Андреем Николаевичем могла вдруг оказаться я. – Вот вам костюм, наденьте.

Отец ушел за кучу пакли переодеваться, а минут через пятнадцать оттуда вышел старичок, совсем такой, какие плетут лапти и живут на пасеках. Удивительно, как преобразила отца крестьянская одежда. Он был доволен своим видом и смотрел на меня с некоторой гордостью.

Снова открылась дверь подвала, и вошел Плотников. Он долго поучал отца, как тот должен себя вести. Он заставлял отца ходить, садиться, разговаривать, вдалбливал ему названия мест и фамилий.

– Помните, как называется деревня? – в десятый раз спрашивал его Плотников.

– Божедомовка, – ответил отец.

– Как фамилия старосты?

– Крюков.

– Зачем он вам разрешил идти в город?

– Продать на рынке соленые грибы.

– Правильно, – сказал Плотников. – А деньги где?

Отец вытащил из кармана пачку денег, завернутую в платок.

– А в чем вы несли грибы? – спросил Плотников.

Отец растерянно на него посмотрел. Плотников взял принесенное женщиной ведро и вручил его отцу:

– Вы несли грибы в этом ведре. Вот в нем два груздя, прилипшие к стенкам. И вообще ведро грязное – придете домой, вам его невестка вымоет. Поняли?

– Понял, – отвечал отец.

– Ну, прощайтесь с дочерью. Часов на шесть расстанетесь.

Мы обнялись и поцеловались.

– Счастливо, Валюша... – сказал отец.

Они вышли, за ними закрылась дверь, и я осталась одна. Проходила минута за минутой, я все ждала: вот раздастся крик, выстрелы. Вот узнали отца, его схватили, его ведут... Но все было спокойно.

Целый день просидела я в давящей мучительной тишине. Заскреблась мышь, скрипнула половица. Тишина. Безмолвие. Тишина.

Стало совсем темно. Я посмотрела на часы. Было уже половина седьмого. Мне чудились подозрительные шумы и шорохи. «Случилось несчастье», – невольно повторяла я. Я старалась не думать об этом, убеждала себя: «Вздор, глупости, чепуха!» И все-таки повторяла: «Случилось несчастье, случилось несчастье».

В дверь постучали.

Передо мной стоял большеглазый худой юноша. Глаза

его казались непомерно большими на истощенном лице. Мрачный был у него вид. В том настроении, в каком я была тогда, мне показалось, что он непременно должен принести мне весть о несчастье.

– Ну? – сказала я.

Он вошел и притворил дверь. Я повторила:

– Ну?

– Вы готовы? – спросил он. – Пора идти.

– А что с ним?... С отцом и его ассистентами?

Он посмотрел на меня удивленно.

– Я не знаю, – сказал он. – Я даже не знаю, кто они. Мне поручено только вывести из города Валентину Андреевну. Это вы?

Я нахмурилась. Неужели трудно было послать мне весточку!

– Сейчас я надену пальто, – сказала я.

### III

Мы вышли во двор. Низкие тучи нависли над домами. В сумерках все казалось одинаково серым. От свежего воздуха у меня закружилась голова.

– Нам надо торопиться, – сказал юноша. – Когда мы выйдем из подворотни, он сразу возьмет вас под руку. Ваше дело – просто прятать лицо в воротник и слушать, что он будет нашептывать вам на ухо. Он как будто за вами ухаживает. Понятно?

Мне ничего не было понятно. Кто это «он», куда он меня поведет, почему он будет за мной ухаживать? Юноша закашлялся. Он кашлял и кашлял и, когда я его попросила

объяснить мне подробнее, что я должна делать, только махнул рукой. Кашляя, он нагибался и прижимал руки к груди.

Мы уже вышли из подворотни, а он все еще не мог сказать ни слова. Сразу же меня подхватил кто-то под руку. Я оглянулась. Рядом со мной, повернувшись ко мне лицом и улыбаясь, шел немецкий офицер. Я попыталась вырвать руку, но он держал ее крепко. В отчаянии я посмотрела назад. Юноша стоял, держась рукой за стенку дома, и продолжал кашлять. Офицер потащил меня вперед. Я упиралась.

– Вы обращаете на себя внимание, – тихо сказал офицер. – Неужели вас не предупредили?

У меня отлегло от сердца. Я спрятала лицо в воротник и чуть-чуть отвернула голову, стараясь принять кокетливый вид. Офицер круто свернул в переулок.

Темные и молчаливые стояли дома. Нигде не пробивалось ни одной полоски света. Изредка попадались запоздалые прохожие. Они торопливо шли, не глядя по сторонам.

Мы проходили через центр и долго шли вдоль пустых кирпичных коробок с большими прямоугольниками оконных проемов. Внутри был навален кирпич и щебень. Причудливо извивались железные балки. Черная копоть покрывала стены. Мой спутник заговорил:

– Вы, кажется, дочь Кострова?

– Да, – сказала я.

– Я немножко знаю вашего отца. Он консультировал у нас в клинике.

– Вы врач?

– Да. Может быть, мы даже с вами встречались. Теперь трудно узнать знакомого.

– Что вы делаете сейчас?

– Врачую. Не стоит вам знать, в каких условиях и как. У вас и своих забот довольно.

Тощий, лохматый пес выпрыгнул из окна сгоревшего дома. Поджав хвост, он прижался к стене и испуганно следил за нами, пока мы прошли. Два солдата не торопясь шагали по тротуару. Немного в стороне шел их командир – младший офицер или унтер. Наклонившись ко мне, мой спутник смеялся и говорил мне что-то по-немецки, наверно, любезное, потому что вид у него при этом был удивительно залихватский.

Мы прошли мимо кондитерской. Вывеска еще сохранилась.

– Я здесь раньше печенье брала, – сказала я.

Спутник мой рассмеялся.

– Вы хотите сказать, что город здорово изменился? – спросил он.

Я промолчала.

Еще один патруль попался нам навстречу. Унтер окликнул нас. Спутник мой повернулся к нему с таким надменным видом, что тот козырнул и забормотал что-то в свое оправдание.

– Вот преимущество формы СС, – сказал мой провожатый, когда мы прошли дальше.

– Как она вам досталась? – спросила я.

– Очень просто, – усмехнулся он. – Меня допустили работать в госпитале, – разумеется, не врачом, а так, чем-то вроде фельдшера, у них не хватает персонала. Ну, а я украл



в цейхгаузе обмундировку. В сочетании со знанием немецкого языка она бывает, как видите, очень полезна.

Мы подходили к окраине. Здесь много домов сохранилось. Кое-где сквозь ставни пробивался свет. Возле большого дома стояло много машин. Дверь непрерывно отворялась и затворялась. Офицеры группами и по одиночке шли к дому и от дома. Спутник мой непрерывно козырял. Он здорово поднаторел в этом деле, – так лихо щелкал каблуками и подносил руку к козырьку, что сразу чувствовался хороший служака. Ему отвечали, а некоторые ему козыряли первые.

– Так и живем, – сказал он. – До тех пор, пока старшему офицеру не придет в голову окликнуть меня и проверить документы. – Он усмехнулся. – Впрочем, пока, как видите, обходится благополучно. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Правду сказать, я этого упоения не испытываю...

Мы свернули в темные переулки. Маленькие деревянные домики спрятались за заборами. На улицах не было ни одного человека. Как будто вымерли все. Наверно, в давние времена так бывало после чумы. Мы спустились к речке. Когда-то я здесь каталась на лодке. Володя Старичков умел хорошо грести. Сейчас речка замерзла. Дорога вела через небольшой деревянный мост.

– Будьте осторожны, – шепнул мне спутник, и мы спустились к мосту.

Сразу из темноты ударили нам в лицо лучи карманных фонариков. Несколько солдат стояли вокруг нас, и офицер говорил резким голосом. Спутник повернулся к нему и сказал, наверно, что-то смешное, потому что офицер ус-

мехнулся и странно на меня посмотрел. Солдаты расступились. Мы пошли по мосту. Офицер что-то крикнул нам вслед, спутник мой ответил, и оба они рассмеялись. Фонари погасли.

Мы сошли с мостика и оказались за городом. К этому берегу реки лес подступал почти вплотную. Дорога уходила мимо пустых, заколоченных дач под высокие березы и ели.

– Я объяснил моему «коллеге по армии», – сказал мой спутник, – что мы идем в одну из этих дач, где нам будет очень уютно, и пригласил его в гости, только непременно со своим коньяком.

Я ничего не ответила. Мы шли дальше. Город уже не был виден.

– Как же вы вернетесь обратно? – спросила я. – Патруль ведь заметит, что вы вернулись один.

– Я вернусь через другую заставу. Да если и через эту, никто не обратит внимания, что вас нет. Мало ли что случается с людьми, которых сопровождают офицеры этой армии...

Теперь, когда нас никто не видел, мы пошли быстро. Незачем было притворяться, что мы прогуливаемся. Дорога была темна и пустынна. Молчаливый, темный лес стоял вокруг. С каким наслаждением дышала я лесным воздухом после заключения!

– Как мы странно встречаемся... – говорил мне мой спутник. – Мы даже не знаем друг друга в лицо, мы виделись только в темноте. После войны мы не узнаем друг друга. Правда, я знаю ваше имя. Готовьтесь, после войны я приду к вам в гости. Вы откроете дверь и увидите незнакомого человека.

– Я догадаюсь, что это вы, – сказала я, – вы увидите, что догадаюсь. Я возьму вас за руку и проведу в комнату, и посажу в самое лучшее кресло, и налью чаю. Мы с вами будем сидеть и рассказывать друг другу все, что с нами случилось, потому что мы ведь будем уже старыми друзьями.

– Хорошо бы! – невесело усмехнулся он.

Мы снова замолчали. Высокая береза простирала над дорогой длинные ветки. Около нее мы остановились.

– Мне надо торопиться, – сказал мой спутник, – у меня скоро дежурство. Видите, вот тропинка. Идите по ней. Вас встретят.

Мы пожали друг другу руки, потом я обняла его и поцеловала.

– До свиданья, – сказал он. – Кланяйтесь вашему батюшке.

Он помахал на прощанье рукой, ушел и почти сразу исчез в темноте. Минуту я постояла, глядя ему вслед.

Много позже узнала я, что этот человек через две недели после нашей встречи был повешен на Базарной площади и что умер он просто и мужественно.

## Глава шестая

### *Начинается новая жизнь*

#### I

Когда я шла по узенькой тропинке, огибая огромные березы, наклоня голову под еловыми ветками, чувствуя,

как упруго оседает под ногами снег, счастье переполняло меня. За все эти месяцы я ни разу не чувствовала себя такой сильной и бодрой. Вот задрожала ветка, нечаянно задетая мной, и снег пушистыми хлопьями упал на лицо. Я растерла его рукой, мне было жарко и весело. И снова луч фонарика неожиданно осветил меня. Невысокий человек в куртке солдатского сукна и в ушанке стоял передо мной.

– Скорей, – сказал он. – Вас уже ждут. Правее берите.

Я побежала, спотыкаясь, иногда застревая в снегу. Деревья расступились. Пробиваясь сквозь тучи, луна освещала небольшую полянку

Вертоградский бросился ко мне, обхватил меня руками и закружил так быстро, что ноги мои летели пи воздуху, не касаясь снега.

– Юра, пустите! – сказала я смеясь.

– Не пущу, – сказал Вертоградский. – Умели грустить, умеете и радоваться.

Он наконец поставил меня на снег. У меня кружилась голова. Комок снега ударил в плечо. Якимов стоял передо мной, и даже в полутьме видны были его зубы, так он широко улыбался. Я подбежала обнять отца, такого смешного в своей крестьянской одежде, возбужденною и веселого. Потом, не удержавшись, запустила снежком в Вертоградского, Якимов запустил в меня, и даже отец, что отнюдь не соответствовало его возрасту и ученому званию, запустил снежком в Якимова, но попал не в него, а в какого-то незнакомого человека, торопливо подходившего к нам.

– Здравствуйте, здравствуйте! – говорил этот человек, немного задыхаясь от быстрой ходьбы. – Приехали? Ну и

хорошо, давайте знакомиться. – И он стал пожимать нам руки, повторяя при каждом пожатии: – Петр Сергеевич... Петр Сергеевич.

Еще какие-то люди окружили нас. Кто-то говорил, что пора уже ехать; кто-то беспокоился, принесли ли шубы, а то можно замерзнуть в санях; кого-то спрашивали, задан ли лошади овес и положили ли в розвальни сена.

Нас повели к краю полянки. Там стояли широкие розвальни. Всех четверых усадили на них и укрыли ноги овчинными тулупами. Петр Сергеевич присел с одного боку, кто-то еще – с другого. Петр Сергеевич сказал:

– Ну, трогай!

И мы поехали.

Чудесная это была поездка. Лошадь быстро бежала по снежной лесной дороге. С веток сыпался на нас снег. Комья снега летели нам в лицо из-под лошадиных копыт. Тучи разошлись, выглянула луна. Перебивая друг друга, рассказывали мы о своих приключениях. Отец, например, встретил лабораторного сторожа, тот его окликнул, но отец не ответил, и сторож отстал. Якимов и Вертоградский надели комбинезоны грузчиков, нагрузили консервами машину и на ней выехали. А здесь, в лесу, их ждали настоящие грузчики. Машина уехала, они остались одни. Все это было интересно, но уже неважно. Важно было то, что мы здесь все вместе.

Час проходил за часом. Рысцей бежала лошадь. Холод стал забираться под шубы. Зашла луна.

Стало светать. Хотя ночь была на исходе, никому не хотелось спать. Только Петр Сергеевич спокойно дремал, просыпаясь на ухабах и сразу же засыпая снова.

Лес стал мельче. По сторонам дороги мелькал кустарник, тоненькие березы и осины

– Начинаются наши Алеховские болота, – сказал Петр Сергеевич, проснувшись – Скоро въедем на гать.

Мы поняли, что это уже район отряда. Дорога стала тряской. Под снегом лежали бревна.

Петр Сергеевич стал объяснять, показывая вокруг:

– Вот это и есть наши болота. Какие бы морозы ни были, они все равно не замерзают. Отойди в сторонку на два шага, и сразу под снегом вода выступит. До войны эти места считались дурными. Тут скот и то выпускать опасно. Попадет животное в топь – и пропало. Уже был составлен план осушения. Канавы должны были начинать рыть. А сейчас, если бы не болото, разве могли бы мы здесь так привольно жить? Сюда ведь немцы и соваться не пробуют. Чуть что, мы эту гать раскидаем, подорвем, и попробуй пройди!

Нам очень хотелось спросить о другом: что мы будем делать в отряде? Но как-то неловко было. Петр Сергеевич рассказывал, как они строятся, как на сухих местах роют землянки, а теперь решили и срубы ставить.

Незаметно я задремала. Когда открыла глаза, стало уже совсем светло. Лошадь стояла на круглой полянке возле бревенчатого дома с мезонином. Какие-то люди окружили сани.

– Махов, начальник отряда, – сказал, протягивая руку отцу, высокий человек с широким лицом. – А вот, познакомьтесь, мой комиссар.

Комиссар был рябой, широкоплечий человек с ясными голубыми глазами. Он добродушно улыбнулся и помог нам выбраться из саней.

Процедура знакомства закончилась. Широким жестом Махов показал на дверь:

– Заходите, товарищи! Здесь будет ваше жилище.

## II

Мы вошли в обыкновенную деревенскую кухню с огромной свежесбеленной русской печью. Чугуны разных размеров стояли на полке. В углу, в стеклянном шкафу, переделанном из киота, я заметила тарелки, ложки, стаканы. Махов распахнул следующую дверь. Посреди просторной комнаты стоял грубо сколоченный стол, покрытый холщовой скатертью. Стулья, видимо сделанные здесь же в отряде каким-нибудь неумелым столяром, показались мне громоздкими и неуклюжими. На чисто вымытом полу лежали пестрые половики. Направо я заметила еще одну дверь. Прямо против кухни узкая деревянная лестница вела вверх.

– Наверху ваш кабинет, Андрей Николаевич, – сказал Махов.

Теснясь и толкая друг друга, поднялись мы по лестнице.

«Кабинет» представлял собой небольшую квадратную комнату, где стояли две койки, застланные лоскутными одеялами, большой деревянный стол с одним ящиком и три или четыре стула. Одну из стен заняли деревянные полки, заставленные книгами. Я узнала знакомые корешки и посмотрела на отца. Он так растерялся, что стоял неподвижно и только щипал бородку.

– Перевезли... – бормотал он. – Каким образом?

Потом он бросился к полкам и стал выхватывать книги, торопливо перелистывать их и даже гладить обложки.

– Ай-ай-ай, – говорил он, – второго тома нет! Как раз самый нужный том... Обложка попорчена... Ну, это ничего.

С трудом я оттащила его от полок. Махов, комиссар и Петр Сергеевич делали вид, что не замечают его волнения.

– Папа, – шепнула я, – нас ждут.

– Да, – сказал Махов, – пойдемте, товарищи, мы еще вам не всё показали. Мы поставили здесь две кровати, рассчитывая, что дочери вашей придется спать тоже в кабинете. А вашим ассистентам мы поставили кровати в лаборатории...

Отец резко повернулся к Махову:

– В какой лаборатории?

Махов усмехнулся:

– А вот пойдемте посмотрим.

Теперь отец неся впереди всех с такой быстротой, что мы еле за ним поспевали. Вбежав в нижнюю комнату, которую отныне я буду называть столовой, он остановился, растерянно оглядываясь и не зная, куда идти дальше. Махов распахнул дверь, и мы вошли в последнюю, третью комнату нашего дома. Все удивляло нас сегодня, но удивительнее этой комнаты мы еще ничего не видели. Это была действительно лаборатория. Небольшая, очень несовершенная, но лаборатория. На столе сверкала химическая посуда. Поблескивали желтой медью два микроскопа. Возле окна стояли один на другом три небольших ящика с решетчатыми передними стенками. В них копошились морские свинки и, тыкаясь в решетки тупыми мордочками, высматривали, кто пришел и зачем.



Отец, Якимов и Вертоградский бросились к столу. Дрожащими руками перебирали они посуду, вертели в руках микроскопы, пробовали весы.

– Пробирок маловато, – сказал Вертоградский.

– Ничего, ничего, – перебил отец, – хватит. Жалко, ступка только одна.

– Вот еще две, – возгласил Якимов.

Отец был уже у другого конца стола.

– Фильтры ничего... правда, не первый сорт, но годятся. С этим как-нибудь справимся. Глюкозы не вижу.

– Загляните еще в шкаф, – сказал Махов.

Шесть рук, мешая друг другу, открыли дверцы стоявшего в углу самодельного шкафа. На полках теснились коробочки с ампулами, пузырьки и банки.

– Глюкозы надолго хватит! – ликовал отец.

– Шприцы, – широко улыбаясь, говорил Вертоградский, раскрывая одну за другой коробки, – и запасные иглы. Смотрите, Андрей Николаевич, запасные иглы!

Все трое начали показывать друг другу свои находки, радоваться, смеяться, переговариваться. Махов уже поглядывал на часы и улыбался по-прежнему вежливо, но немного напряженно.

Я оттащила отца от шкафа, но он вырвался и подбежал к столу. Ему хотелось скорей испробовать микроскопы, и я с трудом его от них оторвала. Потом я взялась за Якимова и дотащила его почти до самой двери, но в это время отец снова оказался у шкафа. Тогда я вытолкнула Якимова за дверь, попросила Петра Сергеевича постеречь, чтобы он не вернулся, и решительно повела отца в столовую. Держа в руке какой-то пузырек и силясь разобрать надпись на эти-

кетке, он послушно шагал за мной. Вертоградского проконвоировал Петр Сергеевич, и таким образом мы все наконец вышли из лаборатории.

За это время кто-то накрыл обеденный стол. На тарелке лежал нарезанный хлеб, на огромной сковороде дымилась картошка с консервированной колбасой. Махов пригласил нас садиться. Не могу назвать этот первый завтрак в лесу веселым. У отца и Якимова были отсутствующие глаза, и они все время обменивались репликами насчет шприцев, игл, свинок, глюкозы и чего-то еще. По-видимому, они ничего не слышали, когда к ним обращались. Во всяком случае, их приходилось окликать несколько раз, и все-таки они отвечали невпопад.

Вертоградский пытался еще поддерживать общий разговор, но тоже время от времени отвлекался рассуждениями насчет фильтров, мензурок и термостата. Я изо всех сил старалась развлечь наших хозяев, но что я могла сделать одна!

Как только чай был допит, Махов, Петр Сергеевич и комиссар поднялись. Они поблагодарили нас, как будто мы их угощали. По лицу отца было совершенно ясно видно, что он с нетерпением ждет, когда наконец все уйдут и позволят ему вернуться в лабораторию. К счастью, наши хозяева были люди неглупые, видимо, вполне понимали отца и не обижались.

Мы условились, что Петр Сергеевич будет к нам наведываться и, если что-нибудь понадобится, мы ему сообщим.

Нас пригласили заходить в штаб и вообще чувствовать себя как дома. После этого, торопливо пожав нам руки,

наши гости или хозяева, не знаю, как их назвать, ушли. Еще не успела за ними закрыться дверь, как отец сказал:

– Ну, пойдемте, пойдемте! Разберемся, что там есть, чего не хватает.

– Мне кажется, папа, – сказала я, – что следовало бы людям хоть спасибо сказать... Вероятно, не очень легко было устроить на болоте лабораторию.

Отец посмотрел на меня растерянно и вдруг, ничего не говоря, выбежал из комнаты. В окно мы видели: он бежал по снегу и кричал. Махов, комиссар и Петр Сергеевич остановились, отец начал говорить, но вдруг махнул рукой, обнял Махова, расцеловал его, потом расцеловал комиссара и Петра Сергеевича. Затем они смеялись и кричали что-то отцу, а он уже бежал обратно по снежной лесной поляне, маленький, худенький старичок в холщовой рубашке.

Он ворвался в комнату. От него пахло морозом.

– Они ж понимают, – говорил он на ходу, – они ж не обидятся! Ну, идемте, идемте. Время дорого.

До самого вечера все трое возились в лаборатории. Было учтено все до последней мелочи. Всему было найдено свое место. Был утвержден распорядок дня и распределены обязанности.

Мне так и не удалось уговорить мужчин пообедать. Часов в девять вечера, когда уже было совсем темно, я снова накрыла на стол. Надо было все-таки поесть. Мои воззвания оставались без ответа. На меня просто не обращали внимания. Тогда я взяла керосиновую лампу и вынесла ее из лаборатории. Оставшись в темноте, они долго ругались и требовали света, но я была непреклонна, и мне

удалось усадить их за стол. Тогда оказалось, что все ужасно голодны, и обед и ужин были съедены в один присест.

Отец хотел снова идти в лабораторию, но я запротестовала. Он и сам, кажется, почувствовал наконец, что устал. Взяв лампу, он направился к себе в мезонин. Поднявшись на несколько ступенек, он остановился. Стоя на возвышении, держа в руке горящую лампу, он выглядел очень торжественно.

— Вот что, — сказал отец, — я хочу, чтобы вы, дорогие товарищи, запомнили следующее: эта лаборатория — не простая лаборатория. Тут каждая вещь — это, знаете что такое? Ей цены нет. Вы сами понимаете. Так вот, я хочу сказать: если здесь, в этой лаборатории, мы будем бездельничать, работать плохо, с нас за это голову снять мало. Ясно, товарищи?

— Ясно, — сказал Вертоградский, вскакивая и козыряя.

— Понятно, — сказал Якимов.

— Ясно, — сказала я.

— Ну то-то же! — Отец погрозил нам пальцем и медленно стал подниматься по лестнице.

## Глава седьмая

### *Выздоровление Володи Заречного*

#### I

Время, прожитое на Алеховских болотах, кажется мне целиком заполненным не прекращающейся ни на один день, напряженной, изматывающей работой. В шесть часов утра вставал отец и прежде всего шел в лабораторию.

– Работать, доценты, работать! – кричал он.

Якимов вскакивал сразу и, быстро одевшись, мчался на кухню умыться. Вертоградский еще лежал, стараясь оттянуть хоть минуту, объясняя жалобным голосом, что все равно ему придется ждать, пока Якимов умоется, и поэтому лучше он еще полежит. Наконец возвращался Якимов, уже совершенно бодрый, раскрасневшийся от холодной воды, и Вертоградского с позором извлекали из постели. Унылый и жалкий, тащился он на кухню с полотенцем на плече, жалуюсь, что газ опять не горит и нельзя даже принять ванну, что центральное отопление снова испортилось и в доме собачий холод. В это время я уже затапливала плиту и ставила чайник. Вымывшись, Вертоградский становился веселее и после некоторой внутренней борьбы соглашался сходить за водой. Это входило в его обязанности. Якимов колол дрова, а отец подметал комнаты. Он настоял, чтобы в домашней работе ему тоже выделили долю. Пользы от этого было мало, мне все равно приходилось подметать еще раз, так как отец оставлял мусор во всех углах.

В шесть сорок пять садились завтракать. Зимой в это время было еще совсем темно. Завтракали торопливо. Отец смотрел на часы и ворчал, что время уходит даром, что Эдисон спал два часа в сутки и поэтому сделал кое-что в жизни. В семь часов, минута в минуту, он командовал: «За работу!» Ассистенты, дожевывая куски, уныло плелись в лабораторию. Мне давался двухчасовой отпуск на уборку и другие домашние дела.

После обеда час отдыхали. Вертоградский спал как убитый, а Якимов курил, слонялся по комнате или чертил на замерзшем окне круглолицых веселых чертиков. Отец

показывался на лестнице с часами в руках: пора! Работа продолжалась до одиннадцати часов вечера.

Помню, как мы услышали по радио сообщение о разгроме немцев под Москвой. В виде исключения в отряде был устроен настоящий пир. Петр Сергеевич, не жалея, отпускал спирт. Под радостные крики одна за другой осушались кружки. Подвыпив, Якимов вдруг загрустил и, плача крупными слезами, стал говорить, что вот, мол, война идет, а его воевать не пускают; потом ему и вспомнить нечего будет, и дети будут его презирать...

Еле-еле мы его довели домой, и дома произошел разговор, который я много раз потом вспоминала. Было это так.

Вертоградский уже уложил Якимова и лег сам. Мы с отцом поднялись наверх и только собрались гасить лампу, как на лестнице раздались неровные шаги. Дверь отворилась, и, слегка покачиваясь, Якимов вошел в комнату. Хмель еще бродил в нем и не давал ему успокоиться. Мы смотрели на него выжидающе и немного испуганно.

— Я скажу, — начал он и ухватился рукой за стол, чтобы не упасть. — Все равно, я скажу. Не любят Якимова, не знают Якимова. Думаете, я не понимаю, кто из меня человека сделал? Я понимаю. Что я без вас? Нуль. — Пальцем он аккуратно вывел в воздухе нуль. — А с вами? С вами я ученый. Причастен к великому открытию. Я знаю, что вы меня своим не считаете: Якимов — сухарь, молчальник, Якимов — рабочая лошадь. А Якимов не так прост. Когда-нибудь вы узнаете, что такое Якимов. Вы всё поймете, — он всхлипнул, — да поздно уже будет...

Он совсем по-детски вытер кулаком слезы.

Отец редко видел пьяных. Поэтому бессвязные слова Якимова произвели на него впечатление. Он неожиданно встал, подошел к Якимову и обнял его.

– Не огорчайтесь, – сказал он. – Не горюйте. Ложитесь спать, а утром мы с вами поговорим.

Якимов совсем растрогался.

– Вы Вертоградского любите, – сказал Якимов, – а я для вас просто так, ничего. Ну что ж, и не надо. И будет Якимов, непонятый, нести свой тяжелый крест...

У Якимова был такой смешной вид, что я невольно засмеялась. Отец посмотрел на меня строго и недовольно.

– Я Юру тоже люблю, – сказал Якимов растроганно. – Он мне как брат родной.

– Вы это ему сейчас же скажите, – посоветовала я.

– Скажу, – согласился Якимов и, пошатываясь, вышел из комнаты.

Мы с отцом посмеялись и легли спать. Я совсем уже засыпала, когда отец вдруг окликнул меня.

– Ты не спишь, Валя?

– Нет, – сонно ответила я.

Отец приподнялся на постели.

– Якимов во многом прав, – сказал он задумчиво. – Подумай сама: сколько лет работает у меня человек, а что я о нем знаю? В сущности говоря, ничего. Работает и работает. А что он думает, что у него на душе, ничего я об этом не знаю. Неправильно, неправильно это!

Отец повздыхал еще в темноте, собирался еще что-то сказать, но я уже спала крепким сном.

На следующий день Якимов поглядывал на всех нас с опаской. Он, кажется, нетвердо помнил, что произошло

накануне, но мы сделали вид, что ничего не было. Он повеселел, окатился холодной водой и сел за работу.

## II

Жизнь наша была очень нелегкая. Как ни защищали нас топи, угроза нападения висела над нами все время. Вскоре гитлеровцы окончательно выяснили, что отряд базируется на Алеховских болотах. То ли выследили кого-нибудь, то ли кто-то не выдержал на допросе и рассказал. Над нами стали появляться немецкие самолеты. Чувствовать постоянно наблюдающий внимательный взгляд врага было удивительно неприятно. Махов приказал маскироваться. К счастью, наш дом был сверху совсем закрыт кронами высоких деревьев. Штабные землянки тщательно засыпали снегом. Тем не менее два дня бомбардировщики сбрасывали над болотом бомбы. Бросали они наудачу, и все бомбы падали на незаселенные места. Но для всех нас это были довольно неприятные дни.

Карательные отряды с трех сторон стали стягиваться к болотам, и наши патрули завязали бой. Немцы не знали, что Алеховские болота зимой не замерзают. Орудия их застряли, но пехота подбиралась все ближе к сердцу отряда. Первый день боев не дал немцам успеха. Всю ночь партизаны тревожили их автоматной и пулеметной стрельбой. На второй день с утра немцы снова начали наступать и в середине дня подошли к гати, Хорошо, что Махов вовремя приказал ее раскидать. Это было нелегкое дело. Люди стояли по колено в воде, а мороз в то время был градусов пятнадцать. Гать раскидали, но тут нам не по-



везло: ночью мороз усилился до двадцати градусов, дорога замерзла и стала проходимой.

Я очень ясно помню утро третьего дня. Мы все были в землянке, в которой размещался лазарет. Тогда в отряде еще не было своего врача, и мы четверо работали за врачей, за сестер и фельдшеров. Бой шел километрах в пяти.

Часов в восемь в землянку вошел комиссар. Раненые лежали вдоль стен прямо на сене.

— Ну, товарищи, — сказал комиссар, — кто себя не так плохо чувствует, давайте собирайтесь. Нуждаемся в помощи.

Ушли несколько легкораненых, Якимов и Вертоградский.

Бой шел весь день и всю следующую ночь. От раненых мы узнавали о ходе событий. К середине четвертого дня немцы продвинулись на пятьсот метров, но к вечеру были отбиты.

Настала черная, безлунная ночь. Этой ночью решалась судьба отряда. Комиссар собрал группу добровольцев. Обвешанные гранатами, они пошли заветной тропкой врагам в обход. Я видела, как, в белых халатах, бесшумно скользя на лыжах, один за другим скрывались они в темноте.

Удар был нанесен в четыре часа утра. Через сорок минут, когда значительная часть немцев была деморализована, наши партизаны перешли в наступление. Если не считать нескольких убежавших гитлеровских солдат, карательный отряд был уничтожен полностью.

Некоторых из наших лыжников принесли на носилках к нам в лазарет, другие вернулись невредимыми, очень

многих похоронили на склоне холма, на котором помещался штаб.

Якимов и Вертоградский пришли возбужденные и гордые своим участием в операции. Вместе со всеми выступали и они и даже, рассказывают, шли в первых рядах. Оба были невредимы. Только Якимова пуля царапнула по ноге, но он не обратил на это внимания.

В этом бою убили комиссара. Его принесли на носилках и опустили в братскую могилу.

Все это очень сблизило нас с отрядом. Якимов и Вертоградский заслужили всеобщее одобрение, да и нас с отцом хвалили за то, что мы недели две не вылезали из лазарета и поставили на ноги всех, кроме двух совсем безнадёжных.

Впрочем, скоро в отряде появился свой врач, известный в нашем городе хирург, предупрежденный Плотниковым о предстоящем аресте и сбежавший на Алеховские болота. Это был доктор Гуцин, хороший старик, ставший впоследствии нашим большим другом.

В марте была налажена радиосвязь с советским командованием, и советские самолеты стали сбрасывать над Алеховскими болотами ящики с боеприпасами, снаряжением и продуктами. Если учесть, какое огромное расстояние было в то время от нас до линии фронта, нельзя не удивляться смелости и умению летчиков. Постепенно в отряде появилось много нужных и важных вещей. У нас была теперь походная типография, и мы выпускали листовки, которые потом разносили по всем городам и деревням. У нас была настоящая радиостанция. Лазарет наш был довольно хорошо оборудован. По просьбе отца прислали кое-что из нужных ему материалов.

### III

Весной 1942 года возник вопрос о нашей отправке на «Большую землю». К тому времени километрах в тридцати от нас был построен партизанский аэродром. Махов предложил доставить нас туда. Отец задал Махову три вопроса.

– Мы вам мешаем здесь? – спросил он.

– Нет, – отвечал Махов.

– Есть непосредственная опасность, что немцы проникнут на Алеховские болота?

– Думаю, что нет.

– А мы сможем вывезти лабораторию?

Махов усмехнулся:

– Конечно, нет. Но в Москве вам создадут другую.

– И все надо будет опять налаживать заново. И во второй раз пропадут начатые уже опыты... – Отец ходил из угла в угол и мрачно пощипывал бороду. – Нет, – твердо сказал он, остановившись перед Маховым. – Я не могу на это пойти. Уж лучше мы будем пользоваться вашим гостеприимством. А когда вакцина будет готова, тогда поедem в Москву.

– Как хотите, – сказал Махов, – Конечно, частенько бывает за вас страшно, но все-таки я и сам колебался. Пожалуй, действительно лучше кончить работу здесь.

С тех пор к этому вопросу не возвращались. Несколько раз запрашивала Москва о возможности нашей эвакуации, и Махов каждый раз отвечал, что профессор выражает желание закончить работу в лесной лаборатории.

И снова потекли размеренные и одинаковые дни. День за днем брали мы пробы, день за днем входили иглы

шприцев под кожу перепуганных насмерть мышей, день за днем заносил Якимов результат каждого опыта в лабораторный дневник.

Условия нашей работы были очень тяжелыми. Больше всего мешал нам недостаток подопытных животных. Морские свинки служили нам верой и правдой, но опыты требовали жертв, и одна за другой они погибли для пользы науки. Надо было ловить полевых мышей. Так как ни я, ни ассистенты не были мастерами по этой части, отец постарался завязать дружбу с одним молодым пареньком, и тот ему в знак уважения каждый день доставал несколько штук мышей. Однажды Махову понадобилось послать паренька с поручением, но того нигде не могли найти, и Махову объяснили, что, наверно, он ловит мышей. Нам Махов ничего не сказал, но, как нам передали, часа полтора ворчал и сердился.

– В конце концов, – говорил он, – у меня партизаны, а не кошки! Я не понимаю, зачем тогда было отряд создавать? Тогда давайте не будем бить гитлеровцев, и я пошлю отряд ловить мышей.

Паренька вовремя разыскали, но мы перепугались и притихли. Зная о нашей нужде, нам понемногу доставляли мышей, но их было мало и они не очень годились для опытов. Мы страдали от отсутствия самых простых вещей. Материалы, которые в городе можно купить в любой аптеке, здесь просто невозможно было достать.

Отец выдумывал, комбинировал, производил замены. Это требовало энергии, изобретательности, отнимало много времени и затягивало работу.

В сущности говоря, теперь наш отряд был настоящей

воинской частью. Каждое отбитое у немцев орудие, пулеметы, снаряды, патроны свозили на болото. Отряд продолжал действовать мелкими группами, совершая внезапные налеты, подрывая составы и склады, нарушая связь, терроризируя гарнизоны. А на болотах, незаметная, невидимая, накапливалась техника. Всю ее мощь испытали немцы при второй попытке напасть на Алеховские болота. На этот раз Махов оказался хозяином положения. Он заранее проложил гати в новых, неизвестных врагу местах, и ночью на немцев обрушилась лавина огня крупнокалиберных пулеметов и минометов; орудия ударили прямой наводкой. Мало кто из карателей унес тогда ноги.

#### IV

Много приобрели мы за это время друзей и много друзей потеряли. Скольких старых и молодых, веселых или печальных проводили мы в опасный путь! Сколько дней и ночей волновались мы: удастся ли им вернуться, увидим ли мы их снова? Помню, как мы встречали возвращавшихся с операции. Издали еще пересчитываешь: семь человек, а уходило десять. Кто же погиб? Сколько за это время хороших людей не вернулось...

Похудел и постарел отец, осунулся Вертоградский, даже у Якимова, силача и здоровяка, круги усталости легли под глазами. Какой нелепостью звучало у нас слово «отдых»! Разве можно здесь говорить об отдыхе? «Работать, доценты, работать!» День, утро, вечер, короткий сон – и снова пожалуйте в лабораторию, к столу.

Но вот у отца стали веселее блестеть глаза, и порою он с

удовольствием потирал руки. Появилась надежда, что мы приближаемся к концу нашей работы. Две маленькие мышки с аппетитом ели крупу и увлеченно грызли дощатые стенки своих клеток. Обе они были поражены неизлечимой болезнью – обеих их вылечила вакцина.

Я вспоминаю воскресный вечер после выздоровления этих мышей. К нам пришло в гости несколько человек. Никогда я еще не видела таким веселым отца. Он много рассказывал, смеялся и даже спел какую-то старую песню, в которой забыл всю середину и половину конца.

Он еще не хотел в тот вечер рассказывать гостям о наших лабораторных успехах, но, может быть, у него был слишком счастливый вид, а может быть, Вертоградский сболтнул лишнее, – во всяком случае, гости догадались, что у нас хорошие новости, пристали с расспросами, и пришлось отцу рассказать об удачных опытах.

Героические мыши были принесены в клетке и поставлены на стол для всеобщего обозрения, а отец поведал о плане дальнейших испытаний вакцины. Около двухсот проверок должна была она пройти, прежде чем быть испытанной на людях. Но события развернулись не так, как мы ожидали, и вакцина была испытана гораздо скорее.

## V

Группа в пятнадцать человек ушла на операцию. Готовился взрыв железнодорожного моста. Командовал группой Володя Заречный, тот самый, который ловил нам в лесу мышей. Теперь Махов доверял ему серьезные задания. На следующую ночь связанные с нашим отрядом крестьяне

видели, как мост взлетел в воздух. С часу на час мы ждали наших обратно. На всех тропинках выставлены были за-слоны, чтобы встретить их и помочь, если понадобится. Но они не пришли ни в эту ночь, ни в следующую. Только на четвертые сутки девять человек из пятнадцати, измученные, покрытые пылью и кровью, вернулись на Алеховские болота. Идти могли только восемь. Девятого, Володю Заречного, посменно несли на самодельных носилках. Он был ранен в ногу, в живот и в плечо.

Восемь человек пошли отсыпаться, а Володя поступил в распоряжение доктора Гущина. Отец ассистировал ему при операции. На следующий день Володя пришел в сознание, еще через день повеселел и стал просить есть, а еще через день у него подскочила температура. Началась газовая гангрена.

Доктор Гущин постучался к нам в двенадцатом часу. Мы уже легли. Я услышала стук и, накинув платье, побежала открывать.

— Мне нужно Андрея Николаевича, — сказал Гущин.

— Он спит, — ответила я.

— Разбудите его.

Я побежала в мезонин. Отец уже проснулся, услышав голоса и шаги. Я сказала, что его просит Гущин, и он торопливо спустился по лестнице. Ассистенты тоже, вышли из лаборатории, так что все мы собрались в столовой.

— Добрый вечер, Василий Васильевич, — сказал отец. — Присаживайтесь, Валя сейчас чаю согреет.

— Андрей Николаевич, — сказал Гущин, — плохо Заречному. Типичнейшая газовая гангрена.

Отец отвел глаза в сторону.

– Бедняга, – сказал он.

Мы все молчали, отлично понимая, о чем хочет говорить Гущин.

– Андрей Николаевич! – сказал врач. Отец молчал. – Андрей Николаевич!..

– Я не могу, – сказал отец. – Вы как врач поймете меня. Это не мышь. Я не имею права.

Гущин подошел к отцу.

– Я не сомневаюсь, что вы согласитесь, – тихо сказал он.

Отец провел рукой по голове и зашагал по комнате. В дверь опять постучали. Якимов пошел открывать. Он вернулся с Маховым. У Махова было очень усталое лицо.

– Согласен? – спросил он у Гущина, ни с кем не здороваясь.

– Не сомневаюсь, что согласится, – ответил Гущин.

Махов подошел к отцу и обнял его за плечи.

– Решайтесь скорее, Андрей Николаевич, – сказал он, – ведь погибает же человек! Подумайте сами, Володька Заречный погибает... Помните, как он вам мышей ловил, а я еще его изругал тогда?

Махов засопел носом, отошел и стал у окна спиной к нам.

Отец развел руками. Он очень волновался. Он старался застегнуть пиджак, но пальцы так прыгали, что он все не попадал петлей на пуговицу.

– Как вы можете так говорить! – сказал он. – Ведь это же нельзя, ведь это же не проверено, ведь я же могу убить его...

– Вы можете его спасти, – сказал Гущин, – а без вас он умрет обязательно. Я не понимаю, о чем вы думаете.



– Не знаю, не знаю... – забормотал отец. – Это легкомыслие. Это тог против чего я всегда боролся, Это ненаучно...

Махов резко повернулся к отцу. Он заговорил хриплым, немного задыхающимся голосом:

– А по-моему, лучше пусть Володя ненаучно выживет, чем умрет по всем правилам вашей науки! Думаете, он стал бы колебаться, если бы вас нужно было спасать?

– Товарищи, товарищи, что вы... – повторял отец. Он очень побледнел, руки у него так и прыгали. – Хорошо. Вероятно, вы правы. Конечно, обстоятельства таковы... Ну что ж, нельзя бояться ответственности.

– Никакой ответственности нет, – сказал Гущин. – Мы все понимаем, что работа не проверена. Но лучше один шанс на спасение, чем ни одного.

– Да, да, – говорил отец, – конечно, вы правы. Я понимаю. Юрий Павлович, приготовьте вакцину и шприцы. Валя, согрей пока чаю. Я немного разнервничался. Мне надо чаю выпить, и я пойду.

Я бросилась разводить огонь. Якимов и Вертоградский уже возились в лаборатории. Гущин сел и закурил папиросу. Махов стоял, глядя в окно, а отец поднялся в мезонин, и мы слышали над головой его шаги. Он ходил, не оставиваясь, из угла в угол.

В эту же ночь Заречному ввели первые двадцать кубиков вакцины. Я присутствовала при этом. Теперь отец действовал уверенно и спокойно, его движения были твердыми и точными, он даже шутил с больным, как будто лечил его давно известным безобидным средством. Володя заснул, а отец сидел возле него до утра, и никакими силами нельзя было уговорить его пойти отдохнуть.

Впрочем, следующие дни все мы почти не спали. Следует помнить, что в то время совершенно еще была неизвестна дозировка. Отец ввел, по сравнению с принятой сейчас, половинную дозу. Естественно, это ослабило действие вакцины и отдалило результат.

Прошли сутки. Состояние Володи не ухудшалось, но и не улучшалось. Отец не отходил от его постели. С ним вместе попеременно дежурили Якимов и Вертоградский. Я засыпала на часок где-нибудь в соседней землянке, чтобы быть всегда под руками.

Прошел еще день. Володе не становилось лучше.

Поспав час или полтора, я решила пойти узнать новости. Я подошла к лазарету около часу ночи. Ярко светила полная луна, и я сразу заметила фигуру, прижавшуюся к стволу березы. Подойдя ближе, я по спине узнала отца. Он стоял, обхватив ствол дерева. У него вздрагивали плечи, он всхлипывал и шмыгал носом. Я долго не двигалась, ожидая, пока он успокоится. Мне не хотелось, чтоб он видел меня. Отойдя от березы, отец всхлипнул еще раз, потом тщательно вытер платком лицо и спустился в землянку. Я вошла туда минут через пять. Он спокойно сидел и шутил с Володей Заречным.

На третий день улучшения все еще не было. Отец решил ввести двойную дозу. В сущности говоря, это было очень рискованно. Действие вакцины ведь еще не изучено. Все мы понимали отлично, на что идем, но об этом не было сказано ни единого слова. Думаю, что понимали это и Василий Васильевич и Махов. Но теперь отец держал себя совершенно диктаторски. Он не просил, а распоряжался и категорически запретил задавать какие бы то ни было во-

просы. Отец сам ввел двойную дозу. Заречный скоро заснул, а отец опять сидел целую ночь, не отходя от его постели.

Утром было уже ясно, что состояние больного улучшилось. Опухоль спала. Больной оживился, попросил есть. Заснул, проснулся и снова попросил есть. Смерили температуру; она была нормальной. Гуцин ходил кругами вокруг больного. Он то насвистывал, то напевал, то щелкал пальцами. Отец держался так, как будто ничего особенного не произошло и он все наверняка знал заранее.

– Теперь, Василий Васильевич, – сказал он небрежным тоном, – только питание и покой. Природа сама сделает свое дело.

Он пошутил с Заречным, вежливо простился с Василием Васильевичем и отправился домой. Мы шли за ним, и он всю дорогу читал нам академическую лекцию о действии вакцины, разбирая равнодушно-лекторским тоном историю выздоровления Заречного.

Придя домой, отец попросил меня согреть чаю. Поставив чайник, я поднялась наверх и увидела, что он лежит на постели одетый, в ботинках и спит. Проснулся он только на следующее утро.

## Глава восьмая

### *Якимов не приходит к завтраку*

#### I

Махов передал по радио в Москву о том, что работа над

вакциной закончена и испытана на раненом партизане. Из Москвы последовали горячие поздравления. Еще через неделю Махов пришел к нам.

– Москва приказывает вас вывезти, – сказал он. – Госпитали ждут вашу вакцину.

– Что ж, – сказал отец, – теперь можно. Теперь мне, конечно, самое место в Москве. Знаю я этих производственников, за ними глаз да глаз. Сделают что не так, а я потом отвечай, что вакцина плохая.

С Москвой условились, что самолет вылетит за нами через неделю. За это время хотели проверить аэродром и летчик должен был как следует изучить местность.

Через два дня после нашего разговора к нам зашел Махов и сказал:

– А расстаться нам с вами, Андрей Николаевич, придется завтра.

Насколько во время работы над вакциной отец не хотел никаких перемен, настолько сейчас стремился в Москву. Он очень обрадовался.

– Что, разрешили раньше лететь? – спросил он.

Махов покачал головой:

– Нет, Андрей Николаевич. Простите, что раньше вам не сообщал, но сами понимаете – военная тайна.

Оказалось, что отряд получил приказ о крупной операции. Насколько я поняла из объяснений Махова, речь шла о большом рейде с участием танков и орудий, с большими боями, с временным захватом целых районов. Преследовалась цель деморализовать тыл противника. Кроме того, рассчитывали, что в результате рейда гитлеровцы должны будут оттянуть с фронта значительные во-

инские части. Теперь эта задача была отряду по плечу.

Вопрос с нашей отправкой был решен. На базе отряда оставались тридцать человек под командой Петра Сергеевича. На аэродроме тоже было достаточное количество людей. Переправить нас на аэродром должен был Петр Сергеевич.

Отряд уходил завтра в ночь. У Махова совсем не было времени. Он только успел расцеловать нас всех, сказать несколько комплиментов по поводу нашего поведения и, не дав нам выговорить и десятой доли того, что хотелось, торопливо ушел.

Весь следующий день был посвящен проводам отряда. Снова осматривали и проверяли орудия, пулеметы. Мы все ходили из землянки в землянку, прощались и помогали сборам. Якимов и Вертоградский чистили оружие. Я пришивала знакомым бойцам пуговицы, штопала дырки на гимнастерках, помогала укладывать вещевые мешки. На этот раз уходившие были совсем по-особенному настроены. Это была первая крупная операция. Торопились закончить сборы, чтобы успеть еще сыграть на баяне, спеть песню или просто поговорить. Володя Заречный принес нам огромный букет цветов и подарил каждому по трофейной зажигалке, а Якимову, как страстному курильщику, еще и портсигар. Якимов был очень доволен и только жаловался, что портсигар маловат – входит в него шестнадцать папирос, а ему, Якимову, такого количества и на полдня не хватит.

– Друг ты мой сердечный, дорогой Заречный, – сказал Вертоградский, – иди сюда, я тебя поцелую! – Они поцеловались и долго трясли друг другу руки.

Вечером мы прощались со всеми. Отряд собирался под высокими березками на холме. Горели факелы. Уже ушли вперед наши трофейные танки и, подпрыгивая на ухабах, укатились орудия. То там, то здесь вспыхивал смех. Казалось, что весь отряд подвыпил перед дорогой, хотя на самом деле на спиртные напитки был наложен строгий запрет. Нам без конца жали руки. Вертоградский, неизменная душа общества, рассказывал на прощанье какие-то смешные истории, видимо не совсем приличного содержания. Там, где он появлялся, смех звучал особенно громко. Якимов, широко улыбаясь, тряс огромной своей рукой руки товарищей и знакомых. Человек пятнадцать окружили отца, обещали после войны приносить ежедневно по сто мышей и убить всех кошек в области, чтобы мыши спокойно размножались на радость профессору.

Партизаны строились поротно. Три баяниста играли марш. Принаряженные, веселые, щеголеватые становились бойцы в ряды. Когда я торопливо пробежала вдоль еще нестройных рядов, неся только что зачиненную мной для одного бойца шапку, командиры объявили равнение на меня и рота за ротой такими громоподобными голосами пожелали мне доброго здоровья, что я смутилась и чуть не уронила шапку.

Но вот раздались команды, Махов стал во главе отряда и отчаянно громким голосом выкрикнул: «Смирно!» Отряд замер. Факелы освещали высокие стволы деревьев и ровные ряды людей. Командир взмахнул рукой, баянисты заиграли походный марш, и отряд двинулся.

Мы долго шли рядом со строем, но постепенно дорога становилась все уже, и мы отстали. Едва были слышны

издалека звуки баянов, а мимо нас, твердо ставя ноги, кивая нам на прощанье, все шли и шли люди, с которыми мы прожили вместе эти необычные и тяжелые месяцы. Прошли последние ряды. Мы одни стояли на дороге. Где-то в последних рядах высокий тенор затянул песню, ее подхватили, и, медленно затихая, она понеслась над лесом. Потом и песни не стало слышно. Наверно, отряд уже шел по гати.

– Ну, пойдете домой, – сказал отец.

## II

Каким-то небывало тихим вспоминается мне следующий день. Мы проснулись поздно, часов в восемь. Торопиться было некуда. Вертоградский долго валялся в постели, потом мужчины брились, чистились, я неторопливо готовила завтрак. Мне все время казалось, что в доме удивительно тихо. После завтрака отец сел на лавочку перед домом. Якимов отправился гулять. Я вымыла посуду, убрала комнаты и тоже вышла из дому.

С особенным чувством шла я сегодня по знакомым местам. Мне казалось, что я прощаюсь с каждым деревом, с каждым кустиком; скоро жизнь пойдет по-иному, и я, может быть, никогда больше не увижу этих мест...

День был жаркий, солнце пекло. Необыкновенно тихо было вокруг. Я зашла в штаб отряда. И здесь было тоже тихо. Часовые не стояли у входов в землянки, не было привычной суеты. Не бегали люди, не звучали голоса, в отрядной кухне не дымили печи. Иван Матвеевич Волков, старый охотник, грелся на солнышке и острым ножом строгал кусок дерева. Он, прищурившись, посмотрел на

меня.

– Гуляешь? – спросил он. – Тихо-то как стало, чувствуешь?

– Что это вы строгаєте? – спросила я.

– Лодку, – ответил Волков. – Внук у меня в деревне... Не знаю, жив или нет. Может, жив, так вот гостинец готовлю. Все-таки дед не с пустыми руками домой вернется.

Около вещевого склада я встретила Петра Сергеевича. Он был, как всегда, занят.

– Гуляете? – спросил он. – Это правильно. А у меня, понимаете, дела по горло. Говорил Махову: оставь мне хоть человек пятьдесят. Нет, оставил тридцать, да из них половина инвалиды. Вот поди-ка разберись: посты выставлять надо, обед приготовить надо, воды наносить, лошадей накормить. Взялся вещевой склад проверять – мыши, черти, пробрались, две пары сапог испортили. Тоже кто-нибудь должен ответить. А с кого спросится? С Петра Сергеевича.

– Вы теперь главное начальство? – спросила я.

– Да ну! – он махнул рукой. – Начальствовать-то не над кем. Одно огорчение.

Я спустилась с холма и пошла узенькой тропинкой, которая вела по мелкоколесью к так называемому Кувшинкину озеру. Оно было невелико, почти правильной круглой формы, окружено густыми, непроходимыми зарослями ивняка. Но я знала лаз и, наклонив голову, цепляясь за ветки, пробралась к берегу. Над водой носились нарядные стрекозы, длинноногие пауки бегали по воде. Я села на поваленный ствол. Кузнечик прыгнул ко мне на колени, посидел секунду и ускакал. Я долго сидела, не думая ни о



чем, вся отдавшись покою, тишине и блаженной лени. Ветка хрустнула за моей спиной. Я обернулась. Из зарослей ивняка вышел Вертоградский.

– Как жарко и хорошо! – сказал он, сел рядом со мной на ствол и стал смотреть на неподвижную водную поверхность.

Я знала, о чем он будет говорить, и ждала разговора без радости, но и без раздражения. Здесь сейчас, в тишине и покое ясного августовского дня, мне не хотелось ни о чем думать и ничего решать. Мне хотелось сидеть без конца, смотреть на стрекоз, на суетливых паучков, на белые и желтые головки неподвижных водяных лилий.

– Вы знаете, о чем я хочу с вами говорить? – спросил Вертоградский.

Я кивнула головой. Непреодолимая лень напала на меня. «Ничего, – думала я, – все обойдется. Может быть, я выйду замуж за Вертоградского, и это будет хорошо, а может быть, не выйду, тогда будет что-нибудь другое хорошее».

– Редко бывает, – сказал Вертоградский, – что мужчина и женщина живут вместе почти три года, вместе работают, вместе проводят целые дни до того, как они поженились. Очень редко бывает, что мужчина и женщина, не будучи близки, так узнают друг друга, как знаем мы с вами...

Солнце отражалось в воде. Не отрываясь смотрела я на яркие, ослепительные пятна желтого света, и оцепенение охватывало меня. Только сейчас я почувствовала, как я устала за эти годы. Кажется, труднее всего было бы мне сейчас пошевелиться. И мысли текли ленивые, равнодушные. Так легко было согласиться на то, что предложит

мне сейчас Вертоградский... Выйду за него замуж, будем по-прежнему вместе жить – отец, он и я, ничего не надо менять, ничего не надо решать. Все будет так, как прежде.

Желтое пламя лежало на неподвижной воде, яркий свет слепил мне глаза, расплывались разноцветные круги, и я никак не могла сбросить охватившее меня оцепенение.

– Мы не можем с вами ошибиться друг в друге, – говорил Вертоградский. – Я знаю все о вас и вы – все обо мне, поэтому я знаю абсолютно точно, что жизнь без вас станет для меня утомительной казенщиной, бесконечной цепью однообразных дней... Решайте, Валя.

Далеко-далеко звучал его голос – так далеко, будто он сидел не рядом со мной, а где-то в другой земле, в другом мире.

«Ну, вот и все, – думала я, – вот и кончилась первая полоса жизни. Начинается другая. Будем работать в одной лаборатории, после работы вместе ходить домой. Это очень удобно. Вероятно, и отец будет доволен. Просто два сотрудника переехали в одну квартиру»,

И тут меня как обожгло всю. «Что я делаю? – подумала я. – Откуда у меня такие ленивые, равнодушные мысли? Почему я должна выходить за него замуж? Ведь это я сейчас только такая усталая. Ведь, наверно, мне предстоит еще полюбить!»

Желтое пламя сверкало на воде, усыпляющее, неподвижное. С трудом я оторвала от него глаза и сбросила с себя оцепенение. Я повернулась и посмотрела на Вертоградского. Он сидел, наклонившись вперед, глядя на меня боязливо и вопросительно.

– Бросьте, Юра, – сказала я, – просто мы с вами одичали

здесь на болотах. Три года вы, кроме меня, ни одной девушки не видали, вот вам и показалось, что вы в меня влюблены. Война кончится, станете вы на вечеринках плясать и увидите, что есть девушки гораздо лучше меня.

Он покачал головой:

– Нет, не увижу.

– Ерунда, – сказала я. – Зачем нам с вами жениться? Мы и так не поссоримся. И пойдемте домой. Мне пора готовить обед.

И следа не осталось от недавней моей лени. Мне стало весело и легко. Я шла по лесной тропинке, а сзади тащился Вертоградский, вздыхая и глядя на меня тоскующими глазами.

– Знаете, Юра, – сказала я, – если вы будете на меня так смотреть, то я, во-первых, не дам вам обеда, а во-вторых, папе пожалуюсь. Что это вы, в самом деле, вздыхаете, как Ленский перед дуэлью! Нельзя же настроение портить людям...

Вертоградский вздохнул еще два или три раза, но, очевидно согласившись с серьезностью моих доводов, успокоился и повеселел.

### *III*

Вечер в нашей лаборатории прошел так же спокойно, как и день. Все мы были какие-то расслабленные и сонные. Я сидела в качалке, закутавшись в платок, и слушала ленивый разговор мужчин. Отец зевал, молчал, барабанил пальцами по столу и часов в десять пошел наверх спать. Вертоградский и Якимов сыграли две партии в самодель-

ные шашки, потом тоже стали зевать, и Вертоградский заявил, что, пожалуй, пора ложиться. Желая мне спокойной ночи, он сделал на минуту тоскующие глаза. Я рассмеялась.

– Вспомните, Юра, – сказала я, – что все Ромео на свете страдали бессонницей!

Он посмотрел на меня с молчаливым упреком и поплелся в лабораторию, причем даже по его спине было видно, что он заснет сразу же, как только ляжет в постель.

Я тоже решила лечь.

– Ложитесь и вы, – сказала я Якимову.

– Благодарю, – он покачал головой, – мне что-то не хочется. Пойду еще прогуляюсь, покурю.

Это был уже почти ритуал: перед сном Якимов выходил погулять и выкурить папиросу на свежем воздухе.

– Покойной ночи, – сказала я зевая.

Когда я поднялась наверх, отец спал. Я заснула сразу же, как только легла. Мне ничего не снилось целую ночь – как будто я закрыла глаза и сразу же их открыла. Яркое солнце било в окно. Начался новый день, один из последних дней лаборатории на болоте. Я посмотрела на часы. Было уже девять. Отец еще спал. Это немного меня успокоило. Может быть, Вертоградский и Якимов тоже проспали сегодня? Торопливо одевшись, я побежала вниз готовить завтрак.

В столовой никого не было. Я прислушалась. В лаборатории было тихо. Очевидно, ассистенты еще спали. Я разожгла печь, поставила воду, начистила картошки и, решив, что довольно мужчинам спать, постучала в дверь лаборатории.

– Неужели пора вставать? – раздался сонный голос

Вертоградского.

– Половина десятого, Юра!

Из-за двери донесся стон. Я побежала на кухню. Минуты через три раздались шаги. Сонный и недовольный, вошел Вертоградский.

– Все-таки Якимов свинья, – сказал он. – Неужели нельзя сделать товарищу любезность и принести вместо него воды? Я мог бы поспать еще двадцать минут.

– А почему, собственно, Якимов должен вставать? – пожала я плечами.

– Вставать! Он давно уже встал, даже постель убрал.

Вертоградский, вздыхая, стал умываться. Спустился отец. Пока я накрывала на стол, мужчины привели себя в порядок. Вертоградский, уже веселый и бодрый, ходил по столовой и все порывался схватить кусок хлеба с тарелки. Я не давала ему Я очень не люблю эту манеру хватать куски до того, как сели за стол. Как будто нельзя подождать несколько минут!

– Ждать, ждать! – жаловался Вертоградский. – Давайте тогда завтракать без Якимова. Кто виноват, что он шатается неизвестно где?

До десяти часов мы все-таки ждали Якимова. В десять мы рассердились и сели завтракать. В это время к нам забежал Петр Сергеевич.

– Вы не видели Якимова? – спросили мы.

– Нет, не видел.

– Странно, – сказал отец. – Я думал, что он в штаб пошел.

Вертоградский внимательно оглядел комнату.

– Слушайте, – сказал он, – вы заметили, что нет его

пальто?

Пальто Якимова всегда висело на гвоздике у двери. Мы все посмотрели на гвоздик. Пальто действительно не было.

– Двадцать три градуса в тени, – сказал Петр Сергеевич.  
– Зачем ему понадобилось пальто?

Вертоградский встал, резко отодвинул стул и вышел в лабораторию. Но сразу же появился снова.

– Знаете, – сказал он изменившимся голосом, – Якимов забрал с собой и рюкзак. Как хотите, а глупо, идя перед завтраком прогуляться, брать с собой все свои вещи...

Еще никто из нас ни о чем не догадывался, но предчувствие несчастья охватило нас всех. Мы вошли в лабораторию. Рюкзак Якимова всегда лежал в углу рядом с кроватью, сейчас его там не было. Вертоградский заглянул под кровати и под столы, обвел глазами стены. Рюкзака в комнате не было. Петр Сергеевич нахмурился.

– Все его вещи были в рюкзаке? – спросил он.

– Да. – Вертоградский задумался. – Вы знаете, – сказал он, – Якимов взял не только рюкзак со своими вещами, он взял и двести штук папирос, которые ему вчера подарил Заречный. Я помню точно, они лежали здесь, на подоконнике.

Мы посмотрели друг на друга. Бледные, испуганные были у всех у нас лица.

– Он зачем-то снял туфли, – продолжал расследование Вертоградский, – и надел болотные сапоги. Я не понимаю: отряд он, что ли, пошел догонять?

Я посмотрела на отца и испугалась. Широко открыв рот, он жадно глотал воздух. Ему было нехорошо.

– Папа, – сказала я, – успокойся, что ты!

Он оттолкнул меня.

– Ключ... – сказал он. – Где ключ от шкафа?

– Как всегда, у Якимова, – растерянно ответил Вертоградский. – Он не передал его вам, Валя?

Большими шагами отец подошел к шкафу, взялся за ручку. Дверца легко подалась. Отец посмотрел на нас; у него перекосилось лицо.

– Отперто! – сказал он почти шепотом и, наконец решившись, распахнул дверцы.

Каждый из нас знал совершенно точно: на второй полке сверху лежит черная клеенчатая тетрадь, и на тетради стоит черная же коробочка. Тетрадь – это лабораторный дневник, в коробочке – ампулы, все наличное количество вакцины, результат работы всех этих лет.

Полка была пуста.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*(Рассказанная Владимиром Старичковым)*

### ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

#### Глава первая

*Вызывают к начальнику.  
Рассказ генерала Шатова*

#### I

Я получил бессистемное образование. Кончив школу в Иркутске, где мой отец много лет преподавал математику, я, по категорическому его настоянию, поступил в Плано-во-финансовый институт. Очень скоро убедился я, что вопросы финансирования интересуют меня очень мало. Проучившись год, я поговорил с отцом серьезно, и он согласился, чтобы я переменял учебное заведение. Меня привлекла биология. Любимым учителем у нас в школе был Федор Максимович Удалов, страстный и убежденный естествовед. С ним мы препарировали рыб, лягушек, ужей и всякую другую живность, какая попадала к нам в руки. Летом он ходил с нами за город и рассказывал интересные истории о каждом комаре, каждой гусенице, каждом головастике. Мне казалось, что биология – это и есть настоящее мое призвание.

Я был тогда в том возрасте, когда человеку хочется путешествовать. Я решил покинуть Иркутск. Отец огор-



чился этим моим решением, но спорить не стал.

– Хорошо, – сказал он, – уезжай. Когда постраниствуешь и утвердишься где-нибудь, будем снова с тобой жить вместе.

Обстоятельства сложились так, что в Москву мне не удалось попасть. Я поступил на биологический факультет в большом городе на западе нашей страны.

Сначала я занимался с большим увлечением, однако к концу второго курса меня стали одолевать сомнения. Биология по-прежнему интересовала меня, но не стала самым главным в жизни; очень многое другое интересовало меня не меньше. Но я еще не решался порвать с биологией. «Нет ничего хуже, – писал мне отец, – чем разбрасываться. В каждой профессии много скучного. Надо уметь пройти через это». Я был с ним вполне согласен.

Но, когда я переходил на третий курс, у меня произошел разговор с одним из виднейших наших профессоров, Костровым. Андрей Николаевич спросил меня, заполняет ли биология целиком мою жизнь. Я откровенно ответил ему, что нет, и тогда он прямо и даже довольно резко посоветовал мне уйти с факультета. Я подал заявление с просьбой отчислить меня и уехал в Москву, даже не простившись с Валею, дочкой Кострова, в которую был влюблен. Очень сильно было во мне желание найти свое настоящее место в жизни. Меня томили тревога, неудовлетворенность, жажда перемен.

Я переехал в Москву и поступил на химический факультет МГУ. Я очень много занимался и старался заглушить неустанной работой вновь и вновь возникавшие во мне сомнения. Химия интересовала меня, но мерещилась

мне и другая работа, требующая разнообразных знаний, постоянного напряжения мысли, встреч с людьми. В общем, я сам не знал, что мне мерещилось. Чтобы приработать немного денег, я поступил лаборантом в лабораторию угрозыска. Им нужен был человек, знакомый с основами химии. Я пришелся ко двору. Оказалось полезным и знакомство мое с биологией и даже знание бухгалтерии. Меня увлекла работа в лаборатории. Постепенно я все реже и реже ходил в университет и был наконец оттуда отчислен. Отец написал мне очень сухое письмо. «Боюсь, — писал он, — что из тебя растет лоботряс». Но тут я с ним не был согласен. Мне казалось, что я наконец-то нашел, что меня по-настоящему интересует. По вечерам я ходил на курсы иностранных языков и кончил их. Я хорошо изучил английский и немецкий.

Года два я проработал в лаборатории, пока начальство не обратило на меня внимание и не выдвинуло на следственную работу. Мне пришлось заняться некоторыми специальными дисциплинами, но и все ранее мной изученное пришлось очень к месту на новой моей работе. Я почувствовал, что нашел то дело, о котором мечтал.

Я проработал на новом месте недолго, и началась война. Я не подлежал мобилизации. Даже в ополчение меня отказались взять. Я очень рвался в армию и чуть ли не ежемесячно подавал рапорты по начальству. Мой начальник, генерал Шатов, аккуратно писал на каждом рапорте: «Отказать». Я понял, что меня все равно не отпустят, и рапорты подавать перестал — примирился с тем, что так и останусь тыловиком, так и не побываю на фронте. Работать приходилось много. Я довольно успешно провел несколько интересных дел и мог, пожалуй, сказать, что время свое не

потратил даром.

И вот однажды, в августе 1942 года, меня вызвали к генералу. Был уже вечер. Шатов ходил по большому своему кабинету.

– Садитесь, Старичков, – сказал он, кивая на кресло. – Курите, если желаете.

Я сел. Что-то в тоне генерала заставило меня сразу почувствовать, что разговор будет не совсем обыкновенный.

## II

Все же я очень удивился, когда Шатов, опустившись в рядом стоящее кресло, спросил:

– Слушайте, Старичков, как звали того профессора, который заставил вас уйти с биологического факультета?

Когда-то, когда меня принимали на работу, я подробно рассказывал Шатову свою биографию и упоминал об этом случае, но никак не думал, что он это помнит.

– Костров, – сказал я.

– Андрей Николаевич?

– Да.

– Значит, у вас были с ним скверные отношения?

Я удивился:

– Нет, почему? Обыкновенные, как у студента с профессором. Зачет я ему сдал хорошо, и он даже меня похвалил.

– Но он помнит вас или нет, как вы думаете?

– Не знаю. Он, может быть, и забыл.

Я вспомнил о Вале и невольно подчеркнул, что забыть меня мог только он, то есть сам Костров. Шатов почувст-

вовал это и сразу насторожился:

– Почему вы подчеркиваете, что он забыл?

– Да нет, Иван Гаврилович, – сказал я, смутившись, – просто так. Я немного ухаживал за его дочерью и думаю, что, может быть, она меня помнит.

Шатов посмотрел на меня, наклонив голову:

– Об этом вы мне не рассказывали.

– Я не думал, что это может вас интересовать.

– Конечно, – согласился Шатов. – Это и не могло интересовать меня.

Он задумался. Я положительно недоумевал, почему вдруг возник этот разговор.

– А с тех пор вы не виделись с Валентиной Андреевной и не переписывались с ней? – спросил Шатов.

– Нет.

Меня поразило, что он знает даже ее имя.

Шатов, помолчав, сказал:

– Я только потому задаю вопрос, что он важен для дела: ваше внутреннее отношение к ней сейчас такое же, как и прежде?

Я еще больше смутился. Кабинет начальника не место для таких разговоров, и, кроме того, все это было очень неожиданно.

– Дело давнее, Иван Гаврилович, – сказал я. – Я в то время был очень молод. Да и она девчонкой была. Что ж, ей тогда двадцати лет не было.

– Ну хорошо, оставим это. Значит, вы с тех пор, как бросили биологию, совсем потеряли Костровых из виду?

– Совсем потерял. Только перед войной прочел в газете, что он делал доклад на коллегии Наркомздрава о какой-то

своей вакцине.

– А вы знаете, что это за вакцина?

– Нет, в газете ничего не говорилось.

– Я сегодня поинтересовался этим делом, – сказал Шатов. – Я не биолог. Вы лучше поймете. Речь идет о послераневых осложнениях.

– Газовая гангрена, шок и так далее? – спросил я.

– Вот-вот. Вы, значит, знакомы с этим вопросом?

– Очень немного.

– По-видимому, это очень важно. Кроме того, сама история открытия – одна из самых странных историй нашего времени. Но об этом после. Какие вы ведете сейчас дела?

Я перечислил.

– Придется их передать другому.

– А мне вы поручите новое дело?

Шатов рассеянno посмотрел на меня и слегка кивнул головой.

– Совершено очень странное преступление, Старичков, – сказал он, задумавшись, и повторил: – очень странное. Обстоятельства складываются так, что его необходимо раскрыть молниеносно. В один... ну, в два дня. Условия работы будут не совсем обычные. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?

– Нет, не приходилось.

– А боитесь?

– Думаю, что испугаюсь.

– Жалко. Придется прыгнуть. Но я расскажу по порядку. Слушайте внимательно. Вам нужно знать все подробности.

Я и так уже слушал, боясь пропустить хоть слово.

### III

Долго рассказывал Шатов историю работы Кострова. В то время мы очень мало знали о том, что происходит на оккупированной территории. Еще не были опубликованы очерки и воспоминания участников этой беспримерной борьбы, которая велась, не прекращаясь ни на минуту, на земле, захваченной гитлеровцами. Мы плохо еще тогда представляли гигантские масштабы этой борьбы. Удивительно для меня звучал этот рассказ о долгих месяцах, прожитых под самым носом у бдительной немецкой полиции, о великой армии друзей, невидимых для немцев, — друзей, которые были везде, в каждом доме, на каждой улице. Шатов сам увлекся рассказом. С восхищением говорил он о Плотникове и о неведомых людях, которые приносили Костровым пищу, доставали одежду, спасали от регистрации и вывели их наконец из города.

Удивительно было мне, сидя в этом кабинете, слушать о бурной судьбе так хорошо знакомых мне людей. Никак не мог я себе представить старика Кострова, собирающегося идти воевать вместе с отрядом, да и Валя, всегда хорошо одетая, до щеголеватости аккуратная Валя, от которой так и веяло устойчивым покоем хорошо обставленной профессорской квартиры, не казалась мне способной к поступкам, требующим решительности, физической выносливости и силы. Я сказал об этом Шатову. Он усмехнулся.

— Вы еще много занятного услышите о ваших знакомых, — сказал он и продолжал рассказ.

Место действия изменилось. Теперь это были глухие

Алеховские болота, непроходимые тропинки и заросли. Теперь это был дом, притаившийся под деревьями в дикой глуши, лесной дом, в котором сверкали микроскопы, звякали пробирки и колбы, горели спиртовки.

Не удержавшись, я перебил Шатова:

— Простите, Иван Гаврилович: откуда вам так хорошо известны подробности?

— Я сегодня полдня занимаюсь этим делом, — ответил Шатов. — Кое-кто из людей, помогавших Костровым, сейчас находится здесь в Москве. Помощник Плотникова, которого после ранения эвакуировали, рассказывал мне сегодня, как все это происходило. Двое партизан лежат сейчас в госпитале в Москве, и я ездил к ним.

Шатов рассказал о попытках гитлеровцев проникнуть на болота, о боях, которые шли в нескольких километрах от лаборатории, и о том, как вакцина была наконец готова и переезд Костровых стал вопросом дней.

Шатов достал папиросу, закурил и несколько раз быстро и глубоко затянулся. Тихо было в кабинете. Тихо было, кажется, и во всем здании. Разошлись сотрудники и посетители; только кое-где сидели запоздавшие следователи, которые вели дела слишком сложные или слишком спешные, чтобы можно было уложиться в рабочее время. Спокойно тикали в углу высокие старинные часы, и маятник ходил взад и вперед монотонно и ровно. И совсем не похож был сегодняшний разговор на обычный разговор у начальника.

Шатов был человек суховатый и деловой. Подчеркнуто прозаично звучали всегда его указания и советы. Когда молодой, неопытный следователь, пораженный кажущейся

таинственностью преступления, начинал фантазировать и договаривался до совершенно нелепых предположений, Шатов, махнув рукой, говорил «романтика», и это звучало так же пренебрежительно, как у других «ерунда». Но сегодня непривычные интонации слышались в его голосе. Кажется, его самого взволновала и увлекла история профессора Кострова.

– Можно себе представить, – говорил Шатов, – какое настроение было в лесной лаборатории. Казалось, что все тяжелое позади. Работа кончена, создано новое лечебное средство, впереди Москва, безопасность, нормальная жизнь. Приближалась к концу замечательная эпопея. Но этой ночью произошло событие, перевернувшее все: исчез Якимов, захватив с собой все наличное количество вакцины и лабораторные дневники. Все, в чем вещественно выражалось открытие Кострова, похищено.

У меня появилось необычайное чувство. Казалось мне, что я вновь стал мальчишкой. Вечер. Все кругом уснули, я читаю роман про удивительные приключения, и жутко мне, и подозрительными кажутся шорохи и шумы в тишине спящей квартиры.

Тикали часы, спокойно было в кабинете. Шатов затаился в последний раз и погасил папиросу.

– Утром мне передали радиogramму об этом, – сказал он, – и я связался по радио со штабом отряда. Со мной разговаривал некто Петр Сергеевич. Это у них что-то вроде главного интенданта. Насколько можно понять, он чаще всех общался с Костровыми. Он довольно толково изложил обстоятельства дела.

Шатов коротко рассказал мне об исчезновении Яки-



мова. Мы помолчали оба, потом Шатов меня спросил:

– Что же вы думаете, Старичков?

– Надо посмотреть на месте, – ответил я.

Шатов кивнул головой:

– Вы правы. Но некоторые соображения я хотел бы все-таки высказать сейчас. Прежде всего встает вопрос: Якимов вор или жертва? По-видимому, он преступник. Трудно допустить, что, убив Якимова, кто-то вошел в дом, взял все его вещи, пальто и даже папиросы. Надо предположить, что он старательно подготовил похищение и побег. И вот тут-то есть одно непонятное обстоятельство... – Шатов наклонился ко мне и положил руку на мое колено. – Давайте разберемся. Якимов работает у Кострова несколько лет. Он свой человек в доме у профессора и в лаборатории. Неужели не мог он скопировать лабораторный дневник и спокойно, днем, на глазах у всех выйти из дому, дойти, прогуливаясь, до постов, поболтать с постовыми и, не вызвав никаких подозрений, добраться до дороги, до немецких постов, до города? Ведь он же свой человек в отряде, можно сказать, заслуженный партизан. Разве придет в голову часовому задержать его? Дневники на месте, Якимов исчез. Бедный, неосторожный Якимов... Наверно, он попался немецкому патрулю. Да ведь пока догадаются, что он предатель и вор, он уже будет в безопасности! Так подсказывает простой и точный расчет. Но он действует иначе. Он выбирает самый опасный путь. Он похищает ночью вакцину и дневник. Из-за этого он вынужден ночью же пробираться мимо постов, рискуя быть застреленным.

Шатов подался вперед. Головы наши сблизились. Мне казалось естественным, что он говорит полупшепотом.

– Непонятно то, Старичков, – тихо сказал Шатов, – что

преступник забыл даже о собственной безопасности...

Шатов откинулся на спинку кресла и вопросительно смотрел на меня. Я молчал. Я представил себе тридцать человек – стариков, женщин, и раненых, и Валю, и Кострова – на глухом болоте, окруженных со всех сторон врагами. Я представил себе, что где-то там, на болоте, совсем рядом с ними, прячется хитрый, злобный, до бешенства ненавидящий их всех человек, и мне стало нехорошо на душе.

– Я боюсь за них, Старичков, – сказал Шатов. – Когда карательный отряд подходил к болотам, это, наверно, было страшно, но, быть может, еще страшней один человек, который прячется в самом сердце отряда, который может оказаться за каждым деревом, за каждым кустом. Вспомните, он знает всё: все дороги и тропинки, все входы и выходы. Он знает обычаи, внутренний распорядок, даже характеры всех людей. А его, хотя он жил с ними годы, никто не видел без маски. Подумайте, что может наделать такой человек.

– Как я буду туда добираться, – спросил я, – и когда я смогу там быть?

Шатов посмотрел на часы:

– Через двадцать минут вы сядете в машину. На полчаса можете заехать домой, но с тем, чтобы в десять быть на аэродроме. Самолет вылетит в одиннадцать. В три часа ночи вы будете над Алеховскими болотами. Вам придется прыгнуть с парашютом. Револьвер у вас есть?

– Есть.

– Какой?

– Наган.

– Так. Непременно возьмите с собой фонарь. На земле вас будут ждать. Трудно точно сказать, где вы приземлитесь. Встречающие могут оказаться далеко. Тогда сигнализируйте фонарем. Три коротких, длинный и снова короткий. Вы запомните?

– Да.

– Когда к вам подойдут, спросите: «Где тут живет интендант?» Вам ответят вопросом: «Вы про Петра Сергеевича говорите?» Тогда подпускайте спокойно. Запомните?

– Да.

– Хорошо. – Шатов внимательно посмотрел на меня. – Это трудное и важное дело, Старичков. В госпиталях ждут вакцину. От вас зависит многое. Вы должны поймать Якимова, но, если он успеет уничтожить лабораторный дневник, дело будет наполовину проиграно.

Мы простились. Когда я выходил, Шатов окликнул меня:

– Подождите, Старичков...

Я остановился.

– Мы с вами развили одно предположение. Может быть, оно убедительно, но мы располагаем очень неполными данными. Люди бывают неточны в рассказах, поэтому проверяйте все сами. Я хотел только, чтобы вы уяснили, какое это серьезное и трудное дело. Все, кроме этой мысли, выкиньте из головы. Изучайте тщательно материал и больше всего бойтесь предвзятости.

– Хорошо, – сказал я и вышел из комнаты.

#### IV

Пока я торопливо передавал неоконченные дела своему

товарищу, звонил по телефону, возился с ключами – словом, занимался обычной предотъездной суетой, мне некогда было подумать о предстоящей работе. Но вот наконец все сделано, и, кажется, ничто не забыто. Я сажусь в машину и еду домой по темным московским улицам.

Стыдно сказать, но первое, о чем я вспомнил, немного отдышавшись и придя в себя, это о том, что мне придется сегодня ночью прыгать с парашютом. Не радовала меня эта мысль... Я боюсь высоты. Даже на балкон выше третьего этажа я не могу выйти без неприятного стеснения в груди. А тут не этаж какой-нибудь, а черт знает какая высота, и с этой высоты вдруг взять да и прыгнуть! Я решил пока что не думать об этом, чтобы не портить себе настроение. Думать-то я не думал, но червячок все время сверлил внутри. Смешно! Летит человек в немецкий тыл выполнять ответственное и трудное поручение, а волнует его ерунда какая-то – прыжок с парашютом, то, что и до войны любители спорта проделывали без всякой нужды, ради одного удовольствия.

Я вбежал в комнату и стал торопливо собираться. Конечно, исчезла зубная щетка, конечно, мыла не оказалось на месте, а расческа завалилась за кровать.

Перед тем как уйти, я окинул взглядом свою неуютную комнату. Узкая кровать, которой скорее подходит название «койка», закрытая жестким шерстяным одеялом, стол с чернильным прибором из пластмассы, книжные полки да два стула, вот и вся обстановка. Даже занавески на окне не было, даже шкафа. Белье лежало в чемодане под кроватью, а два костюма, завешенные простыней, висели прямо на стене. На книжных полках стояли книги, которые не

представляли большой ценности, но мне были интересны: отчеты о знаменитых процессах, речи адвокатов и обвинителей, несколько работ по криминалистике, — у меня подобралась неплохая библиотека. В углу лежали гантели, и на гвоздике висели боксерские перчатки. Даже шахматы, старые, поломанные, исцарапанные, с катушкой от ниток вместо ладьи и оловянным солдатиком вместо слона, вызвали во мне теплое чувство. Я их таскал с собой от самого Иркутска.

У меня не было времени предаваться лирическим размышлениям, пора было ехать. Я надел теплую куртку, подумал, что в ней будет мягче падать, усмехнулся и вскочил в машину.

Темные улицы поплыли назад. Мигали пестрые огоньки семафоров, зажигались и гасли полузакрытые щитками фары. Москва была военная, затемненная, и все же привычная, живущая установившейся жизнью. У кинотеатров толпился народ; милиционеры взмахивали палочками; пары стояли у калиток и, кажется, целовались; за затемненными окнами люди пили чай, занимались, читали газеты. И подумать только, что через несколько часов я окажусь совсем в другом мире, где каждый шаг опасен, где приключения — повседневность, где люди ведут днем и ночью отчаянную борьбу, где ошибка, неосторожность означают смерть...

Теперь я понимаю, что представлял себе жизнь отряда, по существу, верно, но слишком романтично. Надо учесть, что я ни разу не был на войне. И снова мне пришлось взять себя в руки.

«Ты едешь не за приключениями, — сказал я себе, — а в служебную командировку. Вот и подумай, как ты будешь

работать».

Я стал вспоминать рассказ Шатова. Шаг за шагом припоминал я историю профессора Кострова, старался представить во всех подробностях, как жили Андрей Николаевич и Валя, Якимов и Вертоградский, как они скрывались в городе, как перебрались в лес, как работали в лесу. Но ничего, кроме вредной предвзятости, нельзя ждать от размышлений следователя, осведомленного о деле в общих чертах. Поэтому я отогнал от себя мысли о предстоящем следствии. Больше мне не о чем было думать, я стал думать о Вале и не заметил, как приехал на аэродром.

## Глава вторая

### *Прыжок в болото.*

### *«Где тут живет интендант?»*

#### I

На аэродроме меня уже ждали. Летчик, здоровый молодой парень, посмотрел на меня с любопытством и, пока оформляли документы, успел выяснить, что я никогда с парашютом не прыгал. Это почему-то очень его рассмешило. Он позвал своих товарищей, таких же здоровых, широкоплечих парней, и все они качали головами, смеялись и удивлялись.

Мне прикрепили парашют, долго объясняли, как прыгать, давали советы и сочувствовали, что без подготовки приходится совершать такой сложный прыжок.

Потом мы вышли на темное поле аэродрома. Начальник

аэропорта шел впереди с фонарем в руке, и светлое пятно плыло по ровной, поросшей травой поверхности. Темный самолет неожиданно вынырнул из темноты. Летчики стали наперебой жать мне руки, и я вспомнил еще раз, какое сложное и опасное путешествие мне предстоит.

Я влез в машину. Загудели винты. Группа людей, освещенная неясным светом фонаря, умчалась назад, и машина пошла ровно, без толчков. Мы отделились от взлетной дорожки.

Москва была уже далеко позади. Мы летели на запад. Темная и пустынная лежала подо мной земля, как будто это одна из холодных планет, летящих в мертвом звездном пространстве. С трудом я представил себе, что в этой сплошной темноте скрывается напряженная жизнь многих тысяч людей, деревень, сел, городов. Я подумал, как, в сущности, противоестественно то, что людям приходится прятаться на своей собственной планете.

Мы поднимались все выше и выше. В лунном свете сверкали озера и реки; порой я видел отдельные светящиеся точки: незатемненные фары или окна, костры, разложенные в лесу. Призрачными казались города. Они лежали внизу, как развалины, озаренные луной. Мне вновь показалось, что уже остыла земля, вымерло все живое и мертвые здания напоминают о людях, когда-то населявших планету. А мы поднимались выше и выше, как будто отправлялись в межпланетное путешествие.

Скоро я увидел фронт. На земле фронт — это пространство. Отсюда он казался линией. Пылали пожары; яркие зарницы вспыхивали и гасли. С огромной высоты, на которую мы поднялись, не было видно подробностей —

только неширокая полоса вспышек, пожаров, ярко освещенных пятен. Далеко под нами рвались снаряды зениток, мелькали трассирующие пули. Вдали неожиданно загорелся неизвестный самолет и, пылая, помчался вниз.

Полоса фронта проплыла назад. Теперь под нами были враги. Как-то сразу самолет показался мне удивительно неверным и нестойким сооружением.

Здесь тоже было темно. Чем-то это мертвое пространство напоминало фотографию Луны. Такие же резкие тени от возвышенностей, освещенных холодным, мертвенным светом.

Мы пошли на снижение. Под нами был лес. Мелькнуло лесное озеро, за ним другое. Летчик обернулся, улыбаясь кивнул мне головой и прокричал что-то неразборчивое. Желая показать, что настроение у меня хорошее, я улыбнулся тоже, но боюсь, что улыбка вышла довольно жалкая. Летчик упорно смотрел вниз. Я понял, что он ищет посадочные сигналы. Стараясь внушить себе ощущение зрителя, созерцающего интересный пейзаж, я тоже стал вглядываться в неясные контуры озер, дорог и речек.

Я знал, что мы должны искать три костра, расположенные треугольником. Все время я их искал и все-таки, когда увидел, они были уже под самым самолетом. Три костра, три светлые точки в пустынном, темном лесу. Самолет сделал круг. Летчик опять обернулся и подал мне сигнал – пора вылезать на крыло. Вид у него было удивительно веселый и бодрый. Понимая, что нельзя задумываться ни на одну секунду, я быстро вылез на крыло. Страшный ветер нажал на меня – именно нажал, иначе не назовешь. Почувствовав, что если на секунду задумаюсь, то уже ни за что не решусь прыгнуть, я закрыл глаза и начал



падать.

## II

По-видимому, я дернул кольцо, хотя совершенно не помню этого. Парашют раскрылся, и сразу же бесследно исчез страх. Мне стало весело – наверно оттого, что самое страшное было уже позади.

Я смотрел на землю, быстро приближавшуюся ко мне. Как я ни оглядывался, костров нигде не было видно. Я уже различал внизу под собой редкий молодой лесок. Самолет проревел совсем близко: летчик проверял, раскрылся ли парашют и все ли со мной в порядке. Хотя я знал, что он не может меня услышать, я закричал все-таки: «До свиданья, спасибо за доставку!»

Самолет взмыл и сразу исчез куда-то. Посмотрев вниз, я удивился, как близко уже подо мной земля. Навстречу летел молодой кустарник. Меня ударило о маленькую безрезку и поволокло по земле. Припомнив все указания, я подтянул стропы, задержался и освободился от ремней. Я был на земле, на маленьком острове, затерянном среди враждебного моря.

Вокруг было пустынно и тихо. Сонно заверещали птицы, потревоженные моим падением, и снова заснули. Ухнул филин. Ветерок прошелестел в листве. Только сейчас я заметил, что в сапоги мои набралась вода и одежда промокла насквозь. Вода хлюпала под ногами, при каждом шаге проступала сквозь траву. Я сделал шаг и провалился по колена. «Э, тут надо быть осторожным! Обидно будет потонуть в грязи».

Я был так возбужден и необычностью места, где на-

ходил, и предвкушением предстоящей работы, что не



чувствовал никакой усталости. Мне совсем не хотелось спать. Достав фонарь, я попробовал его. Батарея действовала прекрасно: яркий луч света лег на мелкий болотный кустарник. Я решил влезть на дерево и оттуда сигнализировать. Осмотревшись и приметив высокую березу, росшую, как мне показалось, недалеко, решил добраться до нее. Осторожно ставя ноги, стараясь ступать на кочки, я зашагал по болоту. Необыкновенно тихо было в лесу. Шум моих шагов раздавался так резко, так отчетливо, что я вздрагивал каждый раз. Глупая мысль пришла мне в голову: здесь надо ходить тихо и разговаривать шепотом, а то немцы услышат. Я рассмеялся нарочно громко и, споткнувшись, чертыхнулся. И вдруг я услышал шорох. Недалеко под чьими-то ногами хлюпала вода. По правде сказать, мне стало неприятно. В конце концов, летчик мог ошибиться на несколько километров, ветром могло меня отнести в сторону. Откуда я знал, где нахожусь?

Шорох приближался. В полутьме я увидел – какая-то тень отделилась от дерева. Кажется, человек всматривался в темноту. Я стоял тихо, не решаясь пошевелиться. Человек негромко свистнул. Я понял, что он меня видит. Вынув наган и сжимая его в руке, я решительно шагнул вперед.

– Кто это? – окликнули меня.

– Где тут живет интендант? – спросил я условленной фразой.

И услышал в ответ:

– Вы про Петра Сергеевича говорите?

Тогда я зажег фонарь и направил свет на своего собеседника. Он стоял, сжимая в руках автомат, подавшись вперед. Это был невысокий человек в охотничьих сапогах выше колен и в потрепанной гимнастерке.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте, товарищ Старичков. Вас отнесло не-  
много в сторону, и мы не видели, как вы приземлились.  
Петр Сергеевич ищет вас там, за ручьем.

Приложив руку ко рту, он засвистел протяжным пере-  
ливчатым свистом. Мы прислушались. Издалека ему от-  
ветил такой же протяжный свист.

– Пойдемте навстречу, – сказал он.

Мы зашагали по болоту.

– Как летели? – спрашивал он меня. – Стервятники не  
встречались? Мы думали, вы будете раньше.

– Сыро у вас, – сказал я. – Я уж по колена провалился.

– Да, – усмехнулся он, – не зная дороги, у нас далеко не  
пойдешь. – Он помолчал и вдруг спросил: – Что в Москве?  
Как там живут?

– Ничего, – сказал я, не зная, что говорить.

– Трамваи ходят?

– Ходят.

– И метро, и автобусы?

– Метро работает, и автобусы начали ходить.

– Так, так. – Он опять помолчал, не зная, как выразить  
свое желание убедиться, что в Москве все в порядке и  
жизнь продолжается.

Я, кажется, правильно понял его.

– Конечно, темновато на улицах, – сказал я, – хотя по-  
немногу горят фонари. В театры, в кино народ ходит.  
Правда, устали люди, работают много, а так ничего – жизнь  
продолжается.

– Так, так. – Он удовлетворенно кивнул головой. – Я  
сам не москвич, но ездил туда два раза. Интересный город!

Он вгляделся в темноту. Зрение у него было лучше, чем у меня.

– Вон Петр Сергеевич торопится, – сказал он.

Только минутой позже я различил в темноте приближающиеся фигуры.

– Евстигнеев! – негромко окликнули из темноты моего спутника.

– Есть такой, – ответил Евстигнеев.

– Нашел? Благополучно?

– Тут он, Петр Сергеевич.

Навстречу нам, задыхаясь и торопясь, шагал коренастый, полный человек.

– Ну хорошо, хорошо, – говорил он. – Здравствуйте, здравствуйте! Позвольте приветствовать. Устали? Замерзли? Голодны? Сейчас чайку заварим, свининка есть. А может, с устатку спиртику?

Он засыпал меня вопросами, не давая мне сказать ни слова, и энергично тряс мою руку.

– Вот ведь какие у нас неприятности, – говорил он, – а? Ведь никогда ничего такого не было. Пары портянок ни у кого не украли, а тут вдруг... Интеллигентный человек – и такое дело! Вы только подумайте, ай-яй-яй!

### III

Через десять минут мы вышли на небольшую полянку. Слабый свет пробивался из-под земли, и я не сразу понял, что это дверь. Рядом с нами шло несколько человек, и Петр Сергеевич время от времени, отрываясь от разговора, то одного, то другого посылал с поручениями.

– Михайлов, – говорил он, – сходи, голубчик, взгляни, затопили ли баню. Я сказал, да, боюсь, забыли... Алексеенко, вели Марфуше самовар поставить... Сеньухин, добеги до склада, выбери комплект обмундирования получше. Надо товарищу следователю переодеться. Небось болотная водица насквозь его проняла.

– Петр Сергеевич, – сказал я, как только мне удалось вставить слово, – напрасно вы беспокоитесь: ни в бане я мыться не буду, ни переодеваться. Единственно, может быть, гимнастерку посушу немного у печки и чайку, если позволите, с удовольствием выпью.

– Что вы, что вы, – заволновался Петр Сергеевич, – разве можно так! После такого-то путешествия! Вымоемся, поспите, а там и за дело.

Я категорически отказался, и Петр Сергеевич, кажется, несколько огорчился. Он проговорил еще что-то насчет того, что тогда и работать лучше будет, но, убедившись, что я непоколебим, перестал спорить. Со скрипом открылась дверь, и по дощатым ступеням мы спустились в землянку. Она оказалась довольно высокой и просторной. И стены, и потолок, и пол были обшиты досками. От большой печи несло жаром, хотя стояло лето, и в землянке было очень душно. На столе, покрытом скатертью, стояли чашки, блюда и тарелки. На стенах висели картинки и фотографии. В большом застекленном шкафу стояла посуда, и на полу лежали пестрые половики. Прочным бытом, устойчивостью веяло от обстановки.

Полная женщина внесла большую миску с тушеной свининой; за ней молодой парень втащил шумящий самовар.

– Закусывайте, – сказал Петр Сергеевич.

Я снял гимнастерку и повесил ее просушить у печки. В одной рубашке я сел к столу. Съел тарелку свинины, в стаканы уже был налит крепкий, горячий чай.

Сидя друг против друга, мы с Петром Сергеевичем стали чаевничать, как люди, понимающие настоящий вкус в этом деле. Я снова услышал подробный рассказ о профессоре Кострове, о Вале, о двух ассистентах, о том, как была устроена в партизанском отряде лаборатория.

– Хорошо, – сказал я. – Что же вы сделали после того, как кража была обнаружена?

Петр Сергеевич потянул с блюда чай, оставил блюдо и вытер со лба пот.

– Что ж тут сделаешь! – сказал он. – Конечно, послали искать по болоту, да ведь черт его знает... Разве болото обыщешь!

– Но вы же говорите, что здесь как на острове. Почему же нельзя обыскать?

– Обыскать-то можно, но только вы представьте себе: отряд весь ушел, у меня осталось человек тридцать, всех одновременно бросить на поиски я не могу. Поставые должны стоять на постах, радист дежурит, кухня работает, конюх лошадей стережет. Территория наша, надо считать, километров шестьдесят квадратных. Ну, бросил я на поиски двенадцать человек – одного на пять квадратных километров. Конечно, по-настоящему лес не прочеешь.

Почему-то этот простой расчет раньше не приходил мне в голову.

– А собаки нет у вас? – спросил я.

– Обыкновенная шавка, – ответил Петр Сергеевич. –



Куда же ее? Разве она по следу сможет пойти? Если, как я надеюсь, через недельку отряд вернется, тогда, конечно, другое дело: прочедем по-настоящему, кочки ни одной не оставим, а сейчас так, одна формальность.

– Через недельку! – сказал я. – Хорошее дело! За это время Якимов знаете где будет?

– Все может быть, все может быть, – печально согласился Петр Сергеевич.

Мы помолчали. Я допил чай и отставил стакан.

– Хватит, – сказал я. – Теперь, Петр Сергеевич, если можно, дайте мне часика два поспать. Сейчас четыре. Можно, чтобы в шесть меня разбудили? И тогда пойдем с вами к Костровым. Далеко это?

– Километра два, и того не будет. А постель вам готова.

За печкой на топчане постлана была постель. Я лег. Петр Сергеевич прикрутил керосиновую лампу, пожелал мне спокойного сна, почему-то на цыпочках вышел из землянки и тихо притворил за собой дверь. Тикали ходики на стене. Женщина бесшумно вошла и убрала посуду.

Я лежал, и неприятное чувство неуверенности овладело мной. В самом деле, что я мог сделать? Открыть преступника? Но преступник известен. Поймать его? Как? Прочесать лес невозможно. Найти следы? Прошли уже сутки, много людей ходило по всем тропинкам. Рота красноармейцев, которая сумела бы тщательно прочесать лес, была во сто раз нужнее и полезнее меня, следовательно-специалиста. С этими печальными мыслями я заснул.

## Глава третья

### *Если есть загадка – можно ее разгадать*

#### I

Петр Сергеевич зашел за мной ровно в шесть утра, и мы отправились к полянке, на которой стояла лаборатория.

Нездоровое это было место – Алеховские болота. Ночью и днем носился над ними неуловимый запах тления. Жужжали комары. Стайки маленьких мошек вились над землей, и мне физически неприятно было их прикосновение, как будто они переносили на кожу ту гниль, в которой зародились. Тишина была какая-то беспокойная – настоженная, тревожная тишина. Неприятное было это место – Алеховские болота. Оступившись, я прислонился к невысокой засохшей березе, и она вся рассыпалась от прикосновения. Под корой была труха, и в этой трухе копошились насекомые.

Как всегда бывает в таких местах рано утром, над низинами поднимался туман, и, мне казалось, желтоватые его пары насыщены заразой.

Да, это не было похоже на загородную дачу! Я подумал о том, что только большая беда могла заставить людей жить здесь.

Петр Сергеевич подтвердил мне, что они все мучаются малярией, а особенно мучились первое время, когда доставка медикаментов не была еще налажена.

Впрочем, штаб отряда и жилые землянки помещались на более высоком месте. Пройдя по зыбкой, хлюпающей

под ногами тропинке, мы стали подниматься и вышли на твердую землю. Здесь было почти сухо, росли высокие, большие березы, слабее чувствовалось ядовитое дыхание болота.

Хотя, подходя к лаборатории, мы поднимались на холм, здесь почва тоже была сыровата. Папоротник густо рос между деревьями. Я всегда чувствую особую, диковинную природу папоротника. Очень уж отличается он от растений нашей эпохи. Он как бы выходец из тех времен, когда земля была покрыта невиданными, пугающими наше воображение гигантскими травами.

Но тропинка поднималась еще выше. Кончился папоротник. Мы пошли по веселой зеленой траве и вышли на освещенную солнцем полянку. Здесь ничто не напоминало о болоте. Здесь росли кашки, одуванчики, ромашки, и со всех сторон окружали полянку большие березы с веселыми белыми стволами. На краю полянки стоял дом. Ветви берез нависали над его крышей, и казалось, что дом прячется от солнца в их прохладной, свежей тени. Это был маленький дом: три окошечка по фасаду, мезонин в одно окошко, с маленьким балкончиком. Крыльцо было сбоку. В нескольких шагах от крыльца – колодец. Перед домом – врытая в землю скамейка и круглый стол. Из трубы поднимался дым. Окна были раскрыты настежь, но ни в окнах, ни около дома не было видно ни одного человека.

Мы с Петром Сергеевичем остановились.

– Вот наша лаборатория, – сказал он. – Конечно, не очень богато, но уж как смогли, так и сделали.

– Мне нравится, – сказал я. – Превосходный дом. А Костровы ждут меня?

– Еще бы! Ждут, волнуются, спрашивают все время.

– Они знают мою фамилию?

– Фамилию? Нет, по-моему, не знают. Мы сами узнали ее только поздно ночью. Москва передала по радио.

Я стоял и смотрел на дом. Сейчас я войду в него и увижу людей, с которыми случилось большое несчастье, которые ждут меня с нетерпением и верят, что я их спасу. Что я могу для них сделать? Я видел болото и знаю, что если человек захочет спрятаться, его в неделю там не отыщешь. Что им сказать? Сказать прямо, что надо ждать, пока вернется отряд, и потом попытаться прочесать болото? А может быть, лучше успокаивать? Начать следствие: произвести обыск, допрашивать, многозначительно молчать?...

«Подождем, – подумал я. – Поглядим, послушаем, подумаем. Отказаться от надежды всегда можно будет».

– Ну что ж, – сказал я, – пойдемте, Петр Сергеевич...

## II

В кухне не было никого. Топилась плита, в кастрюле кипела вода. Кухня как кухня: одно окно, лавки по стенам, стол. Я открыл дверь. Просторная комната. Бревенчатые, голые стены. Очень чисто. Половики на полу. Стол покрыт полотняной скатертью, с мережками и узорами. В глиняном большом горшке – водяные лилии. Тяжелые стулья, сработанные топором, пилой и рубанком, с высокими неуклюжими спинками. Такая же примитивная качалка из толстых, плохо отделанных досок. Лестница в мезонин, под лестницей чуланчик. Направо дверь, налево два окна. В углу чисто выбеленная печь.

Я только успел окинуть комнату взглядом, как запахнулась та дверь, что направо, и в комнату вошел высокий человек лет тридцати пяти, с открытым, довольно красивым лицом, с темными волосами. Он был одет в старый, но тщательно зачищенный и выглаженный серый костюм. Под пиджаком была белая апашка. На ногах парусиновые серые туфли.

— Следователь? — спросил он. — Наконец-то. Мы уж думали, что вы не приедете. Валя пошла в штаб узнавать. Давайте знакомиться: Вертоградский.

— Старичков, — сказал я, протягивая ему руку.

Вертоградский поднял голову и закричал:

— Андрей Николаевич!

Заскрипела лестница. Старик Костров, удивительно мало изменившийся, торопливо спускался вниз.

— Наконец-то! — сказал он. — Вы Валю не встретили? Она в штаб побежала. Мы уж думали, с вами случилось что-нибудь. Почему вы так поздно?

— Я спал у Петра Сергеевича, — ответил я. — Не мог же я вас ночью будить!

— Скажите просто, что вам самому спать хотелось... — сердито буркнул старик. — Уж нас-то вы по такому делу могли потревожить!

Он сразу насупился. Ох, как я его хорошо знал! Я нарочно сказал, что спал у Петра Сергеевича, чтобы посмотреть, изменился ли Костров. Нет, старик ни капли не изменился. Такой же сердитый, колючий. Но постарел, конечно, — теперь я это видел. Эти годы не даром дались. Бородка совсем седая, брови лохматые, и весь он уменьшился, как старики уменьшаются. На нем был белый

костюм (к такому костюму пошла бы южная шляпа канотье), но только сшит он был из домотканого деревенского холста. Это выглядело довольно забавно.

– Давайте все-таки познакомимся, – сказал я. – Вы, конечно, Андрей Николаевич Костров? А я Старичков Владимир Семенович.

Он протянул мне старческую, сухую руку и сдержанно, но вежливо поздоровался.

– Ну, – сказал он, – надеюсь, вы хорошо отдохнули и сейчас начнете работать.

Я усмехнулся:

– Во всяком случае, Андрей Николаевич, постараюсь сделать все, что могу.

– Прошу, – сказал старик, указывая на стул.

В окно я увидел бегущую по полянке Валю. Мне кажется, я бы ее узнал, даже если бы не ожидал встретить. Она тоже очень мало изменилась, разве что пополнила немного и повзрослела. В основном она была та же, это я сразу почувствовал. Она стояла, глядя на меня с удивлением, и я видел, что она меня узнаёт.

– Здравствуйте, Валентина Андреевна, – сказал я.

– Володя! – вскрикнула Валя. Она подбежала ко мне и энергично затрясла мою руку. – Что такое? Откуда вы взялись?

– Прибыл из Москвы в ваше распоряжение.

– Так вы и есть следователь? – догадалась наконец Валя.

– А что, разве не похож?

Она пожала плечами:

– Мы ждали пожилого, военного, в очках. Папа даже думал, что это будет профессор-криминалист.

– Очки у меня есть, – сказал я и, вынув из кармана, показал их Вале. – Я их надеваю не часто – когда читаю мелкий шрифт, – но всегда таскаю с собой.

– Вы хоть знали, к кому едете? – спросила Валя.

– Знал, – сказал я. – Я только не думал, что вы такая взрослая.

По недружелюбному молчанию профессора я понял, как его раздражает наш непонятный и легкомысленный разговор. Я повернулся к нему.

– Вы меня не узнали, Андрей Николаевич? – спросил я.

– Как будто мне ваше лицо знакомо, – сухо сказал Костров. – Вы не тот Старичков, который у меня с третьего курса ушел?

– Тот самый.

– Так, так...

Я не заметил в его глазах никакой радости.

– Изменились, – сказал он, неодобрительно глядя на меня, – повзрослели. – Мне показалось, что я очень нехорошо сделал, повзрослев. – Значит, микробиология не понравилась?

– Да вот, – сказал я извиняющимся тоном, – бросил, Андрей Николаевич...

– Для чего ж тогда в вуз поступали? – строго спросил Костров. – Государство на вас деньги тратило...

Ух, какой это был сердитый старик! Смешно сказать, но я по старой памяти ощутил легкое замирание сердца. Я его все еще немного боялся. Мне самому стало смешно от этого.

– Надеюсь рассчитаться, – сказал я, сдерживая улыбку.

– Несерьезно, – обрезал меня профессор и, помолчав, перевел разговор: – Следователем давно работаете?

– Всего года два, – сказал я.

Старик хмыкнул совсем недовольно:

– Значит, опытные следователи в Москве все заняты?

Колючий язык был у человека! Я ответил, пожав плечами:

– Начальство меня выбрало.

– Так... – сказал Костров. – Ну-с, так с чего вы собираетесь начать?

Я думаю, что врач, которого позвали к умирающему, чувствует себя примерно так же, как я чувствовал себя тогда. Врач не может сказать умирающему: «Извините, мне у вас делать нечего, умирайте спокойненько». Я сказал:

– Прежде всего я хотел бы осмотреть помещение.

### *III*

Много раз приходилось мне осматривать помещения, в которых произошли убийства и кражи, но никогда, кажется, не производил я осмотра с таким ясным ощущением его бесцельности. Что я мог найти? Представить себе, что Якимов в последний момент решил оставить вакцину и бежать без нее, было абсолютно невозможно, следов борьбы тоже не могло быть. И все-таки я производил осмотр тщательно и аккуратно.

Прежде всего я поднялся в мезонин. Я осмотрел книжные полки, на три четверти заполненные книгами и на остальную четверть – связками бумаг. Перелистывать книги было бессмысленно, я заглянул за полку и убедился, что там ничего нет. На столе стояла школьная чернильница-непроливайка, стаканчик с карандашами и ручками, лежала пачка бумаг и несколько книг.



Бедностью обстановки кабинет Кострова мог конкурировать с моей московской комнатой. Кроме шкафа и полок, стояли еще два топчана, на одном из которых спал Андрей Николаевич, а на другом Валя, и два стула. С серьезным видом я осмотрел топчаны и заглянул под них.

За моей спиной, сдерживая дыхание, стояли взволнованные Андрей Николаевич и Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Ужасно мне хотелось сказать им: «Знаете что, товарищи, перестанем валять дурака. Оставьте меня одного, и дайте мне спокойно подумать». Но, конечно, сказать это было невозможно. Поэтому я осмотрел все до конца и спустился в столовую.

В столовой повторилась та же сцена. Я заглянул под стол, чувствуя себя на редкость глупо, и долго возился у печки, пытаясь разглядеть, не спрятано ли в ней что-нибудь. Единственным местом, в котором было что осматривать, оказался чуланчик под лестницей. Там стояли запыленные банки с клеем и чернилами, валялись связки бумаг, лежала пачка черных клеенчатых тетрадей и стопка картонных коробочек.

Сумасшедшая мысль мелькнула у меня в голове. Стараясь принять равнодушный вид, как будто я делаю это просто по привычке осматривать все до конца, я быстро перелистал все тетради. Конечно, все они были чисты. Это была нелепая мысль, что среди них может оказаться лабораторный дневник.

Я вошел в лабораторию. Здесь стояли столы, сверкала медь микроскопов и стекло лабораторной посуды. Все это очень не гармонировало с бревенчатыми голыми стенами, с деревянным дощатым потолком. Может быть, так выгля-

дела бы хорошо оборудованная колхозная хата-лаборатория. Две узенькие койки стояли у стен. В углу – шкаф. Я обошел комнату, открыл дверцу шкафа. На полках лежали связки бумаг; несколько ящиков с предметными стеклышками для микроскопа стояли в глубине у задней стенки.

– Шкаф был заперт? – спросил я.

– Да, – ответил Вертоградский.

– А ключ?

– Ключ был у Якимова.

– А утром?

– Утром шкаф оказался отпертым, но дверца была прикрыта. Ключ исчез вместе с Якимовым.

Больше не о чем было спрашивать. Я высунулся в окно. Окно выходило прямо в лес. Деревья стояли здесь густо, кроны переплелись, толстые корни, изгибаясь, ползли по земле, земля поросла кустиками черники. Наверно, здесь бывает много грибов.

Наблюдения невольно увлекли меня. Я вдруг ощутил ту радостную напряженность, которую испытываешь всегда, начиная восстанавливать в подробностях происшествие, только частично тебе известное.

– Где он гулял? – спросил я.

– Здесь, под окном, – сказал мне стоявший за моей спиной Вертоградский.

– Всегда здесь?

– Да, это было его любимое место. После ужина накинет пальто, папиросу закурит и ходит под окнами.

– Далеко от дома он никогда не отходил?

– Я ни разу не замечал.

– Был случай, – вмешался Петр Сергеевич. – Однажды мои молодцы километрах в пяти его встретили. Говорил, что заблудился. Правда, это не мудрено в наших местах.

– Дверь из лаборатории запирается?

– Нет.

– А наружная дверь?

– Запирается на крючок.

– Значит, пока Якимов гуляет, она открыта.

– Да.

– А утром кто первый проснулся?

– Я, – сказала Валя. – Папа и ассистенты очень устали за это время и встали позже, чем обычно.

– И вы, Валя, не обратили внимания на то, что дверь отперта?

Валя пожала плечами:

– Нет. Мы не очень тщательно запираемся. Немцев замком не удержишь, а воров тут нет. Кстати, Якимов по утрам иногда уходил, пока все еще спали.

Я смотрел в окно на березы, на корни, на кустики черники.

Вот здесь ходил этот человек, которого мне надо найти, ходил позавчера вечером, курил, молчал, думал... Вот померк свет в окне, – значит, Вертоградский погасил лампу, надо подождать, пока он уснет. Наверно, он заглянул в окно и прислушался к дыханию Вертоградского: дышит ровно – уснул, пора... Если б я мог знать, почувствовать, угадать, что он думал в эту минуту! Ну хорошо, допустим, он думал только о технике дела: как войти, чтобы не услышали, как взять, чтобы не увидели. Он мог даже не входить в дверь.

Я высунулся в окно: на метр ниже подоконника кончалась завалинка. Он встал на нее, перекинул ногу через подоконник, отпер шкаф, бесшумно выпрыгнул в окно и исчез между стволами. Или, может быть, он вошел в дверь? Подошел на цыпочках к шкафу? Все это никак не меняет дела. Меня убивала именно эта полная ясность, не оставлявшая надежды на то, что неожиданная мысль вдруг заново осветит события и откроет все: преступление и преступника.

Но за моей спиной, глядя на меня напряженными, ожидающими глазами, стояли люди, для которых я был последней и единственной надеждой, и я должен был продолжать делать вид, что интересуюсь подробностями.

#### IV

— Вы рано встали? — спросил я Вертоградского.

— Часов в девять. Валя меня разбудила. Смотрим, Якимова нет и постель убрана. Думали, он вышел с утра погулять. Он и к завтраку не пришел. Ждали, ждали, потом Андрей Николаевич открыл шкаф, а там ни коробочки с ампулами, ни черной тетрадки...

— Как они выглядели, эти ампулы и тетрадка? — спросил я.

— В чулане вы видели точно такие же тетради и коробочки. В коробочках в вате уложены ампулы

Я достал папиросу и закурил. Нужно было протянуть хоть несколько секунд. Я напряженно думал, напряженно искал ниточки, кончика, за который можно было бы уцепиться. Но Костров не был расположен давать мне передышку. Он подошел и стал прямо против меня.

– Владимир Семенович, – сказал он, – скажите мне откровенно: есть какая-нибудь надежда вернуть вакцину?

Он смотрел на меня серьезным, прямым взглядом. Он, старый человек, требовал правды. Я ответил ему так же серьезно:

– Конечно, Андрей Николаевич, есть.

Петр Сергеевич тяжело вздохнул и заговорил голосом, немного похожим на тот, каким причитают по покойнику бабы:

– Сколько трудов, сколько хлопот! Для боя людей не хватало, а на тропинке к лаборатории каждую ночь караул ставили...

– И в эту ночь он стоял? – опросил я.

Петр Сергеевич безнадежно махнул рукой:

– То-то и дело, что нет! Отряд-то ушел, людей раз, два – и обчелся. Да и думалось: столько времени ничего такого не было, неужели в последние дни случится?

– А почему ключ от шкафа был не у вас, Андрей Николаевич? – спросил я.

Костров нахмурился.

– Ключ всегда был у Якимова, – сдержанно оказал он.

Петр Сергеевич махнул рукой:

– Как назло, все у него было в руках!

Я разговаривал, задавал вопросы и мучительно, напряженно искал зацепки. Только ниточку, только хвостик... Да, все было совершенно ясно, все было необыкновенно просто, но в самой простоте этой была какая-то странность.

– Если можно, товарищи, побудьте здесь, – сказал я. – Я посмотрю под окном. Может быть, остались какие-нибудь следы.

Я выскочил в окно и, наклонив голову, осматривая каждую травинку, прежде чем на нее ступить, стал медленно продвигаться между стволами берез.

Я смотрел очень внимательно, но, по совести говоря, не рассчитывал найти ничего важного. Мне нужно было подумать хоть несколько минут – подумать, чтобы мне не мешали.

Все было не так просто.

В самом деле, как назло, все было у Якимова: у него ключи, у него знание всей техники и существа открытия. Ему полностью и до конца доверяли. Зачем ему кража? Зачем ему эта ночная прогулка, это ожидание, пока заснет Вертоградский? Зачем красть изобретение, когда можно просто снять копию? Он хотел, чтобы у Кострова ничего не осталось? Что ж, он мог подложить такую же тетрадь, такие же с виду ампулы и днем спокойно пройти мимо постов...

Щепотка пепла лежала на черничной ветке. Ну что ж, это только доказывало, что здесь кто-то курил. Очевидно, Якимов. Уж так все ясно, так ясно! Ну хорошо, а если отбросить эту естественную версию, что может быть кроме этого? Украл Костров? Вздор. Валя? Конечно, нет. Вертоградский? А куда в таком случае делся Якимов? И к тому же украсть и остаться здесь – уж совсем бессмысленно. Просто хотел подложить профессору свинью? Необыкновенно сложный и рискованный способ. Хотел отомстить Вале? Допустим, он ее любит, а она его нет. Но Валя от кражи меньше всего страдает. Кто-то посторонний вошел и украл вакцину? Опять-таки – где Якимов?

У меня начала кружиться голова. Ни малейшего про света не виделось мне. И тем не менее у меня улучшилось

настроение. Я чувствовал, что в деле заключена сложная, трудная загадка, а если так, значит, можно ее разгадать.

## Глава четвертая

*Улик недостаточно.*

*Записка Якимова*

### I

Я обошел вокруг дома и через кухню вошел в столовую. Костров, Вертоградский и Петр Сергеевич вышли навстречу мне из лаборатории. Все они смотрели на меня вопросительным, ожидающим взглядом. В обыкновенных условиях родственники и близкие, все люди, лично заинтересованные, удаляются из помещения и следовательно работает один. Но здесь я не мог их никуда удалить. С другой стороны, меня невыносимо нервировало это чувство надежды и ожидания, которое я читал на их лицах.

— Андрей Николаевич, — сказал я, — у меня к вам просьба: вы бы не составили с товарищем Вертоградским... кстати, как ваше имя и отчество?

— Юрий Павлович.

— С Юрием Павловичем докладную записку, страничек пять-шесть, не больше: что у вас осталось, что нужно восстановить и сколько это займет времени.

— У меня ничего не осталось, — сказал Костров.

— Так и напишите.

— Пойдемте, Юрий Павлович, — сказал Костров,

Он стал медленно подниматься по крутой лестнице,

ведущей в мезонин. Вертоградский пошел за ним. К счастью, никто из них не заметил нелепости моей просьбы. В самом деле, на кой дьявол могла понадобиться эта записка, когда и без нее все было совершенно ясно.

– Старичков, – спросила Валя, – вы поймаете Якимова? Попробуйте ответить ей на такой вопрос!

– Если украл Якимов, – сказал я, – постараюсь его поймать.

Костров, дошедший уже до верхней ступеньки, остановился как вкопанный. Сверху он, нахмурясь, уставился на меня.

– Вы еще не уверены, что украл Якимов? – спросил Петр Сергеевич.

– Прямых улик нет, – неохотно сказал я.

На самом деле против Якимова было так много улик, что это как раз меня и раздражало и путало: точно нарочно, все обстоятельства указывали на Якимова. Но такой улики, которая бы меня окончательно и с несомненностью убедила, пока не было.

– Меня убедила бы и четверть этих улик, – сказал Петр Сергеевич.

– Но ведь все это может быть стечением обстоятельств, – сказал я, пожав плечами.

Валя смотрела на меня широко открытыми глазами:

– Я сама сначала не верила. Но кто же украл?

– Посторонних в лесу не было, – сказал Петр Сергеевич. Я снова пожал плечами:

– Откуда мы можем знать?

Костров круто повернулся и прошел в кабинет. За ним ушел Вертоградский. Когда я сказал «если украл Якимов»,



старик, наверно, подумал, что сейчас я вытяну за рукав из-за двери настоящего преступника, а так как этого не произошло, решил, видимо, окончательно, что я хвастунишка, напускающий на себя важность. Мне кажется, и Петра Сергеевича разочаровала неопределенность моих слов. Видимо, он тоже потерял надежду увидеть торжественную поимку преступника. Он молча надел фуражку и вышел.

Мы остались с Валею вдвоем.

Мы помолчали, как и следует бывшим влюбленным, оставшимся наедине, потом Валя спросила:

— Как вы жили, Володя?

— Обыкновенно, — ответил я. — Ничего интересного со мной не случилось.

Я не знал, как начать разговор, и она, по-видимому, не знала. Я посмотрел на цветы, стоящие на столе, и спросил:

— Это, наверно, Якимов собирал?

— Нет, партизан один, — ответила Валя.

Еще минута, и я бы сказал, что стоит хорошая погода, и, может, она бы ответила, что, кажется, дождь собирается. Но в это время в кухне раздались тяжелые шаги и какой-то шум, точно передвигали мебель. В комнату вошел здоровенный дядя, таща три перевязанных веревкой ящика.

— Здравствуйте, — улыбаясь сказал он.

— Здравствуйте, Грибков, — сказала Валя. — Ящики принесли? Это наш плотник, — пояснила она мне.

— Принес. — Грибков скосил глаз на потолок и хитро подмигнул. — Старик на антресолях?

— На антресолях, — улыбнулась Валя.

Грибков нахмурился, лицо у него стало торжественным и официальным.

- Ну как? – спросил он, вежливо кашлянув. – Ничего?
- Ничего... Спасибо.

Грибков понимающе кивнул головой и направился к лестнице, но остановился и сказал Вале деловым тоном:

- Ящики я еловые сколотил, они полегче будут.
- Хорошо, Грибков, – сказала Валя.

Грибков стал медленно подниматься, стараясь не задевать ящиками о стены. Но посередине лестницы еще раз остановился и спросил грубым басом:

- Качаетесь?
- Что, что? – удивилась Валя.
- На качалке, говорю, качаетесь?
- Качаюсь, – сказала Валя.

Грибков удовлетворенно кивнул головой и ушел в мезонин.

Дождавшись, когда дверь за ним закрылась, я спросил у Вали небрежным и даже рассеянным тоном:

- Валя, ассистенты ссорились из-за вас?

Валя резко повернулась ко мне:

- С чего вы взяли?
- Я только спрашиваю, – мягко сказал я. – Что за человек был Якимов?

- Скучный человек.
- Что значит «скучный»?
- Рабочая лошадь, – резко сказала Валя.

Я пожал плечами:

- Это скорее похвала.

Вале стало неловко за свою резкость.

– Я не хочу его ругать, – поправились она, – в общении он был полезен: ни от какой работы не отказывался и даже варил суп, когда я стирала.

– К Вертоградскому вы лучше относитесь? – спросил я.

Мне было неприятно задавать Вале эти вопросы. С моей стороны они были по меньшей мере неуместны. Но мне очень нужно было знать, не было ли тут романической истории.

Валя заговорила очень просто и очень дружески.

– Мне здесь все надоело, – сказала она. – И Якимов и Вертоградский. Я хочу домой, Володя. Конечно, это нехорошо, но что я могу сделать! Хочу домой...

Слезы одна за другой стекали по ее лицу. Не стыдясь, она вытерла их платком и улыбнулась жалкой, извиняющейся улыбкой.

– Я бы не жаловалась, Володя, – сказала она, – но уж очень обидно! Казалось, приедем в Москву с вакциной, такие дни для нас будут... Может, думали, и похвалят нас хоть немного. И вот все зря... Папу жаль, Вертоградского жаль, да и себя жаль. А то бы я продержалась...

Я подошел к ней и сказал очень мягко:

– Я знаю, Валя, что вы продержались бы.

Она совсем расстроилась и даже всхлипывать стала:

– Еще знаете что поддерживало? Что уж мы-то, те, кто здесь, друг на друга, как на каменную гору... И вдруг – Якимов...

Я не удержался и погладил ее по руке.

– Вы сегодня очень устали, Валечка, – сказал я. – Вам бы отдохнуть, выспаться...

Она усмехнулась, вытерла слезы и сказала:

– Пойду попудрюсь. У меня и пудры осталось дня на два, не больше.

И ушла на кухню.

## II

Меня взволновал разговор с Вале́й. Очень уж хорошо я помнил, какой она была жизнерадостной девчонкой. Я сел в качалку – должен сказать, на редкость громоздкое это было сооружение, – откинул голову и, покачиваясь, стал думать обо всем, что узнал и увидел сегодня. Но мне не суждено было остаться одному. Сначала спустился Грибков, на этот раз уже без ящиков, – он оставил их наверху, – посмотрел на меня гордо и деловито спросил:

– Качаетесь?

– Качаюсь, – ответил я.

Он опять кивнул головой, пошел к двери, но в дверях остановился, кашлянул и сказал:

– Это я сделал профессору в уважение.

– Хорошая качалка, – ответил я.

«Ну хорошо, – опять размышлял я, – допустим, это не Якимов. Вертоградский? Тогда почему он остался здесь? И куда он девал Якимова? Костров? Ерунда. Валя? Тоже не может быть. Кто-то из отряда? Кто? Раненый из госпиталя? Женщина или старик из хозкоманды? Кто-нибудь из немногих оставшихся бойцов, которые все время стоят на постах или отдыхают в штабе? Нет, пожалуй, всё же Якимов. Будем думать о нем».

Снова и снова представлял я себе позапрошлую ночь. Вот он ходит под окнами, ему надо украсть вакцину. Это он может сделать спокойно и незаметно и утром открыто пройти мимо постов. Допустим, он боится разоблачения. Скажем, он встретил человека, который знал его не как Якимова. Но кого он мог встретить? За эти дни в отряд

никого нового не прибыло. Всех старых бойцов он знает давно, и они его знают. Допустим, кто-нибудь застал его за каким-нибудь компрометирующим занятием. Он, скажем, имел скрытый радиоаппарат. Но почему тогда человек, заставший его, не сообщил об этом? Случайных людей здесь нет, и никто не исчезал.

«Нет, – решил я, – украл не Якимов. Надо искать другие варианты, какие угодно, даже самые невероятные».

В это время наверху, где Андрей Николаевич и Вертоградский писали докладную записку, раздались возбужденные голоса. Дверь хлопнула. Я повернул голову. Костров стоял на площадке; он держал в руках листок бумаги, и по лицу его я видел, что старик очень взволнован.

– Вы сомневались, Владимир Семенович, – сказал он, – так вот, смотрите: вот письмо от Якимова.

Я вскочил с качалки и помчался по скрипучим ступенькам вверх. Мы чуть не столкнулись с Костровым на середине лестницы; за его спиной виднелось растерянное лицо Вертоградского. Привлеченные шумом и голосами, из кухни выбежали Валя и Петр Сергеевич.

Я схватил бумагу; это был листок, вырванный из блокнота, размером примерно в ладонь. Бумага была клетчатая, оторвана неаккуратно, не по пунктиру. Записка написана карандашом, листок не измят, не согнут, следы карандаша черные – значит, записку не таскали в карманах, очевидно, он лежала на столе или в книге.

Сбежав с лестницы, я подошел к окну. Меня сразу поразили непривычные очертания букв: записка была написана по-немецки, остроугольной, готической прописью. Я примерно переведу ее содержание:

*«Андрей Николаевич, я не мог поступить иначе, они хотели, чтоб я Вас устранил. У меня не поднялась рука. Думаю, что за это я поплачусь. Но Вы и сейчас для меня мой любимый учитель. Помните, что бывают трагические случайности, прощайте и простите. Пишу по-немецки, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме Вас, читал это письмо.*

*Якимов».*

Я стоял у окна, держа записку в руках, боясь повернуться лицом к Кострову. Сначала надо было решить, что делать.

### **III**

Две мысли мелькнули у меня сразу. Первая: лишь тогда имело смысл писать по-немецки, если ни Валя, ни Вертоградский не знают этого языка. Вторая: значит, Якимов не один, значит, есть «они», которые заставили его украсть вакцину. Первое надо выяснить сейчас же. Насчет второго мы поговорим с Петром Сергеевичем. Я повернулся и резко спросил Вертоградского:

– Разве вы не понимаете по-немецки?

– Нет, – сказал Вертоградский. – Впрочем, со словом...

Я повернулся к Вале:

– А вы?

– Нет.

Я повернулся к Кострову:

– Где было письмо?

– В книге, – ответил Костров, – вместо закладки. Оно торчало между страницами, но я не обратил на него внимания. Я часто закладываю нужные мне места первыми попавшимися бумажками.

– А где была книга?

– У меня наверху.

– Все время? Последние дни вы ее не сносили вниз?

– Я не помню... Ты не помнишь, Валя? Это «Основы микробиологии», – растерянно сказал Костров.

– По-моему, она все время была наверху, – сказала Валя, – но Якимов позавчера поднимался к тебе. Помнишь, он еще забыл наверху спички?

– А в последние дни вы читали книгу? – спросил я.

– Куда там! – махнул рукой Андрей Николаевич. – Разве мне эти дни до чтения было?

– Хорошо, – сказал я, – в конце концов, это ничего нового не вносит. Мы и раньше знали, что украл Якимов. – Я зевнул. – Валечка, вы бы не приготовили мне чего-нибудь поесть? А вас, Андрей Николаевич, я все-таки попрошу закончить вашу докладную. Она может очень мне пригодиться... Пойдемте, Петр Сергеевич, я провожу вас.

Конечно, все они поняли, что я хочу поговорить с Петром Сергеевичем наедине, но были достаточно вежливы, чтобы не дать мне это почувствовать. Валя даже спросила заботливо, люблю ли я жареную колбасу с картошкой, и я ответил, что с детства страшно люблю.

Мы вышли с Петром Сергеевичем из дома и молча прошли через полянку. Когда дом скрылся за деревьями, Петр Сергеевич не выдержал.

– Теперь вы убедились, что это Якимов? – спросил он.

Я пожал плечами:

– Дело очень серьезное, Петр Сергеевич. Может быть, и Якимов, может быть, нет. Но если даже Якимов, то, судя по записке, он был не один. Какие-то люди руководили им, угрожали ему. Кто это может быть, Петр Сергеевич?

Партизанский интендант остановился и растерянно на меня посмотрел:

– Вы думаете, кто-нибудь из отряда?

– Может быть, из отряда. Если нет, значит, на ваших Алеховских болотах спокойно разгуливают посторонние люди.

Петр Сергеевич огорчился ужасно.

– Нет, – сказал он, – как же так! У меня посты на всех проходах, мы тут знаем каждый кустик, пройти нигде невозможно.

– Значит, в отряде есть чужие люди.

Петр Сергеевич замолчал. Мы молча пошли по тропинке; он отвернулся от меня, и видно было, как он огорчен и обижен.

– Что же вы думаете делать? – спросил он наконец.

– Когда ушел отряд? – ответил я вопросом.

– Позавчера днем.

– У вас есть сведения о каждом из оставшихся?

– Да, конечно.

– Пойдемте в штаб. Вы познакомите меня со всеми.

– Хорошо.

Конечно, я прекрасно понимал, что эта работа может оказаться бесполезной. Если отряд ушел только позавчера днем, то возможно, что человек, которого боялся Якимов, который заставил его пойти на преступление, ушел с от-



рядом. Легко представить себе, что позавчера утром у них был решающий разговор, что неизвестный потребовал, чтобы дело было сделано ближайшей ночью. Но проверять тех, кто ушел, я не мог – надо было проверить оставшихся.

Тропинка сворачивала. Здесь кончались большие деревья и видно было болото на много километров. Тишина и покой царили над ним. Жаркое солнце палило над стоячими озерами, медленно-медленно текущими ручейками, над однообразной болотной зеленью, лозняком, зарослями камыша. Звенели комары в тишине. Ветерок чуть-чуть шевелил листву. Самая тишина и покой болота опять показались мне тревожными, настороженными, враждебными. Большая лиловая туча медленно выползала из-за горизонта. Парило так, что, наверно, вода в озерах была почти горячей.

– Гроза будет к вечеру, – сказал Петр Сергеевич. – Вот после дождя посмотрите наше болото: ни пройти, ни проехать.

## Глава пятая

### *Новые подозрения*

#### *I*

Мы вошли с Петром Сергеевичем в ту самую землянку, где я был утром, и он мне стал поименно перечислять членов отряда, которые остались в его распоряжении. Трое раненых, из них один лежал, а двое только недавно стали ходить, опираясь на палочку. Две женщины, много лет

жившие в соседней деревне и известные всем в районе. Старик конюх, тоже местный, бывший инспектор по качеству в одном из колхозов. Другой старик, охотник, получивший в 1939 году премию за рекордное количество убитых волков. И еще старик, учитель-пенсионер, проработавший в этих местах лет сорок. Не считая Петра Сергеевича, всего двадцать девять человек. Почти все это были местные люди, здесь родившиеся и выросшие, вся жизнь которых была на виду. Только трое были не местные: два красноармейца, прикрывавшие отход своей части, оставшие от нее и присоединившиеся к отряду, и Грибков, присланный с донесением и некоторыми материалами из отряда, действовавшего в соседнем районе. Относительно красноармейцев Петр Сергеевич имел подробные сведения. В полку, в котором они служили, стало известно, что они находятся в партизанском отряде, и комиссар полка прислал комиссару отряда письмо, рекомендуя их с самой хорошей стороны. Относительно Грибкова комиссар связался по радио с отрядом, в котором Грибков был раньше. Сведения о нем были самые лучшие. Он местный колхозник, плотник, человек тоже известный.

Я попросил Петра Сергеевича вспомнить, нет ли среди тех, кто ушел на операцию, человека, недавно попавшего в отряд, человека не из здешних мест – словом, не так хорошо известного, как остальные. Петр Сергеевич думал, думал и никого не мог вспомнить. Отряд формировался тут же, в этих местах, людей отбирали с большим разбором, и человек незнакомый, мало известный попасть в отряд не мог.

– Хорошо, Петр Сергеевич, – сказал я, – давайте под-

робнее поговорим о Грибкове. Значит, вы говорите, что о нем хорошие сведения?

– Знаете что? – сказал Петр Сергеевич. – Чем нам говорить попусту, схожу я к радисту и возьму у него запись разговора с грибковским отрядом. У нас ведь все разговоры записываются, должна быть у радиста и эта запись.

Он ушел, а я, оставшись один, стал продумывать все, что теперь знаю, и пришел к выводу, что положение мое далеко не так скверно, как казалось утром.

Прежде всего, история с письмом Якимова. Вдумаемся: против Якимова масса улик – столько, что, кажется, не приходится сомневаться в его вине, тем не менее я сомневаюсь. Я говорю об этом. При этом присутствуют Костров, Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Костров и Вертоградский уходят наверх и вскоре приносят мне прямую, неопровержимую улику – признание самого Якимова. Может быть, конечно, это случайность, но если случайность, то на редкость своевременная. Разберемся в самом письме. Это письмо человека слабого, нерешительного, письмо труса. Он любит Кострова и наносит ему самый страшный удар, какой только возможен. Это нытик, размазня. Такие люди пишут много о психологии, о сложных движениях человеческой души и очень мало – о деле. Было какое-то противоречие между содержанием и стилем письма. Подумав, я отверг это соображение: можно себе представить, что Якимов писал торопясь, что у него не было времени, что он боялся, как бы его не застали. Вообще письмо было гадкое – письмо ханжи и фарисея, который лжет даже самому себе. Но, с другой стороны, хороший человек не станет красть вакцину...

Однако что-то другое казалось мне в этом письме неестественным и подозрительным.

Немецкий язык... Почему он писал по-немецки? Он не хотел, чтобы Валя и Вертоградский прочли письмо? Ерунда. Достаточно было запечатать письмо в конверт и написать на нем «Кострову» или, если нет конверта, просто сложить и заклеить его. Достаточно было положить его в такое место, где оно неизбежно попадет в руки профессору, например, в книгу, которую профессор читает, – где оно, кстати говоря, и лежало. Совершенно ясно, что если Костров захочет довести его содержание до всеобщего сведения, то он его переведет, а если не захочет, так никому не расскажет, будь оно написано на самом что ни на есть русском языке. Удивительно нелепая идея – писать письмо по-немецки. Это само по себе уже подозрительно.

Но, с другой стороны, если Якимов действительно человек раздвоенный, нытик, то от него и следует ждать поступков нелепых и нецелесообразных. Он волнуется, ему кажется, что за ним наблюдают, что сейчас его разоблачат. Под руками нет ни конверта, ни клея; ему приходит в голову идиотская мысль писать письмо по-немецки, чтобы скрыть его содержание от посторонних. В этот момент логика у него действует слабо, ему кажется, что это на редкость удачная мысль. Простейшие возражения, которые в обыкновенное время сразу же пришли бы ему в голову, сейчас им забыты.

Это рассуждение психологически ничуть не менее убедительно, чем предыдущее. Значит, дело и не в том, что письмо написано по-немецки.

Оставалось в письме что-то странное, что мне не давало

покою. Мне пришлось напрячь мысль, чтобы уяснить, в чем дело. Странно то, что письмо написано готическими, угловатыми буквами. В самом деле, готический шрифт давно уже вышел из широкого употребления. Давно уже в немецких книгах употребляется латинский шрифт, письма пишутся латинскими прописями – зачем в торопливо набросанной записке воскрешать забытые начертания букв? Они не могли невольно возникнуть в памяти у Якимова, потому что ему только тридцать пять лет и, когда бы он ни учил немецкий язык, хотя бы в самом раннем детстве, он неизбежно учил не готические, а латинские буквы.

Значит, это было сделано сознательно, это не могло быть случайностью. В этом была какая-то мысль, которую мне следовало разгадать.

## II

Я вынул блокнот и написал фразу по-русски. Под ней ту же фразу я написал по-немецки, обыкновенными латинскими буквами. Еще ниже ту же фразу я написал готическими, остроконечными буквами. Я даже засмеялся от удовольствия: достаточно было одного взгляда, чтобы все стало абсолютно ясным. В первой и во второй фразах одни и те же буквы были написаны совершенно одинаково. Не надо было быть графологом, чтобы установить, что это писал один человек. Фраза, написанная готическим шрифтом, выглядела иначе. Значит, все дело было в почерке. Тут могли быть два варианта. Первый: Якимов не хотел, чтобы узнали его почерк. Это бессмыслица, раз он все равно подписался. Следовательно, остается второй

вариант: кто-то написал письмо готическим шрифтом для того, чтобы не узнали, что это почерк не Якимова.

Теперь подозрение, вызванное такой удивительно своевременной находкой, превратилось в уверенность.

«Нет, – подумал я, – тут для меня работа найдется. Тут я кое-что смогу сделать!»

Какое это чудесное чувство, когда неясное становится ясным, когда враждебной воле ты противопоставляешь свою, сильнейшую волю и логику!

Я вскочил и стал ходить по землянке. Значит, Якимов не преступник, а жертва. Пожалуй, можно считать это установленным. Будем искать преступника. Думается, найти его не так трудно: записка безусловно была написана и подложена после того, как я сказал, что для обвинения Якимова улики недостаточно. Написать и подложить записку могли Костров или Вертоградский. Неужели Костров? Я никак не мог себе представить этого. Значит, Вертоградский. Приходилось остановиться на этом. Я стал думать о Вертоградском.

Что могло заставить его похитить открытие Кострова? Все сомнения, которые возникали по поводу Якимова, естественно оставались и в отношении Вертоградского. Точно так же похищение вакцины и дневников из соображений карьеры или корысти было бессмыслицей. Точно так же он мог спокойно переписать дневник, подменить вакцины глюкозой и без всякого риска уйти с болот днем, не вызвав никаких подозрений. Но существовали и некоторые дополнительные обстоятельства. В отношении Якимова можно было предположить, что это просто морально неустойчивый человек, решивший прославиться,

украд чужое открытие, или совершивший это из мести за какую-нибудь неведомую мне обиду, – словом, что Якимов действительно был Якимовым, обыкновенным доцентом, в силу неизвестных нам обстоятельств ставшим преступником. Но если записку написал Вертоградский, это меняло дело. Человек, который говорит по-немецки и всю жизнь скрывает это, не может быть случайным преступником. Это человек, давно замысливший преступление, человек, который, еще только начав работать с Костровым, уже с самого начала маскировался, лгал, казался не тем, чем был. Якимов мог быть Якимовым, но Вертоградский, если он похитил вакцину, не мог быть Вертоградским.

Кстати говоря, если украл Вертоградский, легче объясняется многое. Ключи были у Якимова; значит, для того чтобы украсть дневник, нужно было сначала украсть ключи (или взломать шкаф, что сделано не было). Больше того: Якимов мог переписать дневник, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Якимов мог подменить вакцину, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Все непонятные обстоятельства становились понятными.

Я заново представил себе картину преступления. Прежде всего, Вертоградский, очевидно, профессиональный шпион. Кстати сказать, он человек не местный. Он приехал из Москвы, и в городе, где жил и работал Костров, его не знали – значит, это еще более подкрепляло мою версию.

Теперь о самом преступлении: Вертоградский выживает, пока будет все готово, он хочет получить испытанную вакцину, годную для употребления. Он тщательно выбирает день, вернее, ночь. Выбор действительно очень уда-

чен. Во-первых, вакцина готова. Во-вторых, отряд ушел и на болотах мало людей. В-третьих, ждать больше нельзя, потому что Костровы, вместе с вакциной, улетят в Москву и все будет потеряно. Якимов, как всегда, вышел перед сном погулять. Вертоградский знал, где у него ключи: они могли быть в кармане пальто, которое не надел Якимов; они могли быть где-нибудь в ящике. Словом, где бы они ни были, но, когда Якимов уходит, Вертоградский достает ключи и открывает шкаф. В этот момент он встречается взглядом с Якимовым. Якимов смотрит в окно...

Нет, так это не могло быть. Якимов, конечно, успел бы поднять тревогу, закричать, выстрелить, даже если бы Вертоградский сразу бросился на него. Значит, было иначе...

Ключи были в кармане у Якимова; когда Якимов вышел погулять, за ним тенью выскользнул Вертоградский. Я представил себе все поразительно ясно. Вот он ходит, курит, думает, этот молчаливый, медлительный человек. Темно в лесу, виден только его силуэт да огонек папиросы, то исчезающий за деревом, то появляющийся снова. Со всем вблизи от него, не дыша, стоит Вертоградский. Что дальше? Удар по голове. Может быть, хлороформ. Здесь ведь есть госпиталь, и Вертоградский в госпитале бывал. Беззвучно падает Якимов. Может быть, короткая борьба, но неожиданность нападения, растерянность – всё против Якимова. Он связан... Нет, вернее всего, хлороформ, иначе на траве остались бы следы борьбы. Ключи теперь у Вертоградского. Дальше все совершенно понятно: клеенчатую тетрадь и коробочку с ампулами он достает из шкафа и кладет в карман. Потом он взваливает на плечи бесчувст-



венное тело Якимова. Высокий, плечистый человек, Вертоградский любит спорт; вероятно, он силен. Он относит Якимова. Куда? В любое топкое место, к любому озеру, затянутому зеленой ряской. Всплеск, и усыпленный человек погружается в гниющую воду, чтобы захлебнуться, не приходя в сознание. Вероятно, к шее привязан камень. К утру ряска снова затянет поверхность озера, все следы — исчезнут...

Я весь дрожал от возбуждения. Эта гипотеза объясняла все факты. Все то, что было неясно, что казалось нелогичным и удивительным, стало, наоборот, естественным и неизбежным.

### *III*

Когда вернулся Петр Сергеевич, пришлось постараться, чтобы у меня не было идиотски радостного вида. Петр Сергеевич показал мне запись переговоров с комиссаром отряда, действующего в соседнем районе. Комиссар подтверждал, что Грибков действительно послан им, и сообщал, что человек он вполне проверенный и на него положиться можно. Но мне уже было не до Грибкова — я слушал, как Петр Сергеевич монотонно читает запись переговоров, а сам продумывал план дальнейших действий. Сейчас же арестовать Вертоградского? Это было бы очень просто, но я должен вернуть коленкорovou тетрадь и коробку с ампулами. Арест будет только вреден. Улик у меня пока нет никаких. Как ни убедительны мои предположения, все-таки это только предположения. Вероятнее всего, он будет отрицать. Больше того, арест даст ему козырь в

руки: он будет знать, что раскрыт, и приготовится к защите. Где, под каким пнем, в каком дупле спрятаны дневник и вакцина? Если можно надеяться, что после возвращения отряда, когда тщательно прочешут болото, будет найден спрятавшийся человек или мертвое тело, то совсем безнадежно пытаться найти на болоте клеенчатую тетрадку и маленькую коробочку. Значит, арест отпадает. Нужно поставить Вертоградского в такие условия, чтобы он растерялся и выдал себя. Больше того, надо придумать что-то, чтобы он выдал место, где спрятал вакцину.

Нет, предпринимать что-нибудь было рано. Надо продолжать охотиться за Якимовым, как бы веря в то, что записка подлинная и что вся трудность только в том, что нет людей, чтобы прочесать болото. Единственное, что я мог сейчас сделать, это радировать в Москву и попросить срочно проверить подлинность биографии Вертоградского и, пожалуй, Якова.

Петр Сергеевич повел меня на радиостанцию. Этим громким именем называлась маленькая землянка, в которой жил радист, мальчишка лет шестнадцати. Тем не менее он, видимо, неплохо знал свое дело, быстро зашифровал радиограмму и сразу же стал передавать. Дождавшись, пока Москва сообщила, что радиограмма принята и будет немедленно вручена адресату, мы вышли с радиостанции.

– Ну, – спросил Петр Сергеевич, – куда теперь?

Мы стояли с ним под большой березой. Подняв голову, я увидел, что тучи уже затянули полнеба, огромные лиловые тучи, которые надвигались на солнце с запада; было по-прежнему тихо и жарко, но далеко-далеко, там, где тучи сходились с землей, бесшумно сверкнула молния.

– Пойдемте к Костровым, – сказал я и вдруг остановился, задумавшись.

Я представил себе Андрея Николаевича, и Валю, и Вертоградского, страшного, затаившегося Вертоградского. Ведь Костровы беззащитны перед ним. Что если почему-нибудь он догадается, что разоблачен, и захочет на прощание всадить пулю в своего профессора? Днем, пожалуй, он безопасен. Кругом ходят люди, днем ему не убежать и не скрыться. А ночью придется стеречь старика, причем стеречь так, чтобы его ассистент не почувствовал этого. Что делать сейчас? Наметить план действий, решил я, выждать и постараться, чтобы Вертоградский как можно дольше не знал о моих подозрениях... Я зевнул, потянулся и сказал Петру Сергеевичу:

– Ужасно хочется спать. Я думаю, дело не пострадает, если я часов до семи посплю?

– Правильно, – согласился Петр Сергеевич. – Пойдемте, я вас устрою. Поспите, отдохнете, и все будет хорошо.

– У меня к вам только одна просьба, – сказал я – Хорошо ли заперты все проходы?

– Насчет этого будьте спокойны, – сказал Петр Сергеевич.

– Все-таки, если можно, усильте посты. И потом еще одна просьба: хорошо, если б кто-нибудь пока посидел у Костровых. Ходит тут где-то Якимов, мало ли что...

– А я вас устрою, посты проверю и сам посижу у Костровых, – сказал Петр Сергеевич.

Он уложил меня на ту же постель, на которой я уже спал этой ночью, и ушел. Разумеется, я не собирался спать. Я снова и снова продумывал свое объяснение кражи. И чем

больше, чем строже я проверял его, тем стройнее и убедительнее становилась моя гипотеза. Она объясняла всё. Мне даже было удивительно, как я сразу не понял. Самодовольство разбирало меня: я представлял себе, как будет доволен Андрей Николаевич, как одобрительно скажет Шатов, что я работал «быстро и точно», — это была его любимая формула. Я думал и о том, что, наверно, после моей удачи Валя будет не очень скверного мнения обо мне.

Выждав минут пятнадцать, чтобы дать возможность Петру Сергеевичу отойти достаточно далеко, я встал и вышел из землянки.

Пока Петр Сергеевич будет сидеть и сторожить Костровых, мне хотелось самому посмотреть, что за люди остались в отряде. Я поговорил с каким-то стариком, который оказался охотником по профессии, зашел к радисту, страшному болтуну. Найдя неожиданного и внимательного слушателя, мальчишка обрадовался и часа полтора, не переводя дыхания, рассказывал мне обо всех бойцах и командирах отряда.

Если бы я посидел еще несколько часов, я бы знал биографию каждого, но того, что он мне рассказал, было совершенно достаточно. Сведения Петра Сергеевича были точны. Я не подозревал его в том, что он сознательно будет мне лгать, но следователи отлично знают, как может быть неточен самый добросовестный человек.

Я зашел в госпиталь, где лежали трое раненых, и побеседовал с ними. По-видимому, отношение к Якимову и Вертоградскому у всех в отряде было одинаковое. Их обоих хвалили; они держали себя всегда хорошо и в бою показали, что на них положиться можно.

В кухне я поболтал с поварихой, женщиной серьезной на первый взгляд, но оказавшейся невозможной сплетницей.

Постепенно из всех рассказов у меня возникла живая и подробная картина жизни и работы партизанской лаборатории. То, что мне рассказывал Шатов в точных, но общих словах, теперь обросло десятками подробностей, стало видимым и ощутимым бытом. Я как бы вдохнул атмосферу, которой дышали эти годы жители домика на болоте. Я представил себе реально поведение каждого, и надо сказать, что не было ни одной черточки, ни одного даже маленького эпизода, который бы позволял хоть с тенью подозрения отнестись к кому-нибудь из жителей Алеховских болот.

Когда я расстался с поварихой, были уже сумерки. Тучи заволокли все небо. Как всегда перед грозой, лес притих. Петра Сергеевича со мной не было, но я помнил дорогу к Костровым и решил, что дойду и сам.

Тропинка шла вниз, и скоро земля стала хлюпать под моими ногами. Я шел осторожно, глядя под ноги, чтоб случайно не наступить на гадюку. Вероятно, поэтому я пошел неверно. Тропинка подвела меня к огромной луже, через которую было переброшено большое бревно. Я ясно помнил, что ни по какому бревну мы с Петром Сергеевичем не шли, остановился и посмотрел вокруг. Заросли осинника обступали меня со всех сторон. Попробуй тут определить свое местоположение! Я вернулся обратно, уже начиная сердиться на непредвиденную задержку.

Тропинка опять пошла вверх. Я решил, что неизбежно приду либо на тот холм, где помещается штаб, либо на тот, где помещается лаборатория. Но я пришел на третий холм, на котором помещались конюшни. Это, собственно, были просто навесы, окруженные земляным валом. В стороне, прямо под открытым небом, поднимая кверху оглобли, стояло штук пятнадцать обыкновенных крестьянских телег. Я остановился, растерянно оглядываясь, и сразу же из конюшни выбежал сердитый старик. На вид ему казалось лет сто, не меньше. При этом за плечами у него болталось ружье, которому было, наверно, лет полтораста. Оно придавало ему очень воинственный вид, и он чувствовал себя с ним вполне уверенно.

– Кто такой? Откуда? – закричал старик. – Зачем ходишь?

При этом он снял ружье с плеча и держал его с таким видом, как будто действительно думал, что оно выстрелит, если спустить курок.

– Спокойно, спокойно, дедушка, – сказал я. – И осторожней с ружьем, а то ведь оно разорвется и покалечит тебя.

– Ну-ну, – сказал старик, – ты меня не пугай! Ты скажи, откуда, каков человек?

– Я из Москвы, – ответил я. – Спрыгнул к вам вчера с неба, по делу к профессору Кострову. Слышал, может?

– А-а, так это вы насчет кражи прилетели?

Старик сразу подобрел, закинул ружье за спину, подошел и поздоровался со мной за руку. Я объяснил ему, что

заблудился, он подтвердил, что действительно у них трудно не заблудиться новому человеку, и предложил меня проводить.

На горизонте одна за другой сверкали молнии. Издалека доносился гром.

– Здоровая гроза будет, – сказал старик. – Зальет нас дождичек этой ночью.

Он рассказал мне дорогой, что ему отнюдь не сто, а всего восемьдесят семь лет, что он тот старик, который инспектор по качеству, а другой старик, который охотник, – тот постарше будет, хотя тоже еще крепкий мужчина.

Быстро темнело. Старик размышлял вслух:

– Успеть бы мне в конюшню вернуться, а то в темноте тут беда ходить: оступишься – и в грязь...

Теперь я уже узнавал дорогу. Заросли папоротника, по которым вилась тропинка, мне были знакомы.

– Ладно, – сказал я, – отсюда я сам дойду.

Старик обрадовался, простился со мной и бодро зашагал обратно в конюшню.

Я вышел на полянку. Грозно выглядело сейчас небо. Какой-то желтый, мертвенный свет излучали облака. Гром прогремел и стих. Издали, нарастая, приближался шум. Это ветер шел по вершинам деревьев. Он пронесся над моей головой, пригибая и раскачивая длинные ветки, и ушел дальше, а потревоженные деревья стихли снова, напряженно ожидая грозы.

Когда я подходил к крыльцу, на меня упали первые капли дождя.

## Глава шестая

### *Гроза.*

#### *Костров сообщает важные сведения*

##### *I*

Встретили меня сдержанно. Андрей Николаевич был, кажется, обижен до глубины души тем, что я до сих пор ничего не открыл. Сердился и Вертоградский – может быть, искренне, а может быть, притворяясь и подражая профессору. Даже Валя была, по-видимому, недовольна.

– У вас, конечно, ничего нового? – ехидно сказал Костров.

Я простодушно объяснил:

– Нет, конечно. Единственно, что я сделал, это послал радиограмму в Москву, просил навести кое-какие справки.

Я внимательно смотрел на Вертоградского. Внешне не было заметно, чтобы его взволновало это сообщение. Костров хмыкнул, а Валя сказала:

– Ваша колбаса уже совсем пересохла, но все-таки придется вам ее съесть.

Она принесла сковороду и тарелку, и я съел без особого аппетита жареную колбасу, которая, наверно, часа четыре назад была вкусной.

Все чаще и чаще ударяли по крыше крупные капли дождя. Необыкновенно быстро темнело. Глядя в окно, я уже с трудом различал силуэты деревьев.

Оттого, что гроза должна была разразиться с минуты на минуту и все никак не разражалась, нервы у всех нас были напряжены, как у человека, который стоит с завязанными



глазами, ждет удара и не знает, в какую именно секунду его ударят.

Валя подошла к окну и высунулась наружу.

– Ух, и ливень же будет! – сказала она. – Уж чего-чего, а воды здесь хватает. Если когда-нибудь отсюда вырвусь, поеду жить в Среднюю Азию. Хорошо: песок, сушь, безводье...

– Почему же вы так воду не любите? – спросил я.

– Я люблю газированную с сиропом, – сухо ответила Валя и, забрав пустую сковородку, ушла на кухню.

И тут началось. Взвились занавески. С шумом захлопнулось одно из окон. В лаборатории зазвенело стекло. Сквозняк промчался по комнате. На полянку, на деревья, на маленький домик ринулись потоки воды. На полу под окнами сразу образовались лужи. Косой дождь хлестал в комнату. Мы подбежали к окнам и, борясь с ветром, стали их закрывать. Нас ослепила молния. Казалось, что она ударила где-то совсем рядом, не то в соседнее дерево, не то в пенек под нашим окном. Деревья изгибались под напором ветра. Забурлили ручьи.

– Лаборатория! – закричал Костров. – Там сметет всю посуду!

Вертоградский кинулся в лабораторию. С трудом я закрыл в столовой окна. По стеклам сразу же потекла вода, и в комнате стало еще темнее.

Валя вошла в комнату с керосиновой лампой в руке.

– Какая темень! – сказала она. – Петр Сергеевич, у вас есть спички?

Мы зажгли лампу, и, когда огонек ее разгорелся, за окнами стало темно, как ночью. Вертоградский вышел из

лаборатории. Волосы у него были мокрые, и капли воды стекали по лицу.

– Две пробирки разбились, – сказал он. – Ну ничего, скоро у нас много посуды будет.

Валя сняла шерстяной платок, висевший на спинке стула, накинула его на плечи.

– Холодно, – сказала она, поеживаясь, – и неуютно. У нас всегда неуютно в такую погоду.

Петр Сергеевич встал и надвинул на лоб фуражку.

– Придется идти, – сказал он. – Хорошо, что я плащ захватил.

Он снял висевший на гвозде брезентовый плащ и стал надевать его.

– Куда вы? – удивилась Валя. – Вас же зальет.

– Надо, – сказал Петр Сергеевич. – Мало ли что может в такую погоду случиться! Тем более теперь.

Он вышел. Страшно было подумать, как он будет ходить по болотам в темноте. Там и в солнечный день не всюду можно пройти. Вертоградский стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу.

– Будем пить чай? – спросила Валя.

– Нет, – сказал Костров. – Не хочется.

Валя беспокойно посмотрела на отца:

– Пойди ляг, папа.

Костров пожал плечами:

– Рано еще. Наверху лампа заправлена?

– Да.

– Пойду почитаю.

– А я, – сказал Вертоградский, – пожалуй, лягу. В такую погоду ничего нет лучше, как лечь и укрыться. Раздеваться не стану, а подремлю одетый.

Он ушел в лабораторию. Медленно поднялся Костров к себе в мезонин, и мы остались с Валею вдвоем.

– Может, все-таки выпьете чаю, Володя? – спросила она.

– Нет, спасибо.

Я сел в качалку и стал раскачиваться. Валя достала с полки коробку с работой и выложила на стол мотки ниток, иголки, куски материи.

– Вышивать будете? – спросил я.

– Нет, чулки штопать.

Иголка неторопливо двигалась в ее руках. Очень уютно и домовито выглядела Валя сейчас, в пуховом платке, склоненная над шитьем, при желтом свете керосиновой лампы.

Снова, прогремев, раскатился по небу гром.

## II

Мы долго молчали. За окнами монотонно лил дождь. Даже в комнате было слышно, как шумят и бурлят ручьи между деревьями.

– Может, печку затопить? – спросила Валя. – Хоть сейчас и лето, но в такую погоду приятно.

– Не стоит возиться, – ответил я, и мы опять замолчали.

На кухне заверещал сверчок. Под его песенку я задумался. Мысли мои были не очень веселыми. Никак я не мог найти того верного и точного хода, который должен был разоблачить Вертоградского и заставить его вернуть вакцину. Вот он лежит в постели совсем близко, здесь, за тонкой перегородкой, и, наверно, обдумывает, как ему

скрыться, как бы не выдать себя, вспоминает каждую мою фразу, стремясь угадать, догадываюсь я о чем-нибудь или нет. Так же и я сейчас вспоминаю каждую его фразу и каждое его движение.

Валя перебила мои мысли вопросом:

– Как вы стали следователем, Володя?

Я усмехнулся:

– Как обыкновенно становятся кем-нибудь. Частью по влечению, частью случайно.

– А где на следователя учатся?

– Я вот учился на биологическом.

– И только?

– Нет, еще кое-где... Андрей Николаевич все еще на меня сердится, что я с биологического ушел?

Валя усмехнулась:

– А вы все еще его боитесь?

– Я лишних полгода учился на биофаке, чтобы не рассердить его.

Валя откусила нитку и сняла чулок с гриба.

– Только для этого? – спросила она.

– Нет, – сказал я улыбнувшись, – еще, чтобы с вами не расставаться. Я был очень влюблен в вас, Валя.

Снова иголка ходила в крепких и подвижных ее пальцах. Верещал сверчок, за окном монотонно шумел дождь.

– Я помню, – сказала Валя. – Я, правда, была девчонкой, но тоже была в вас влюблена. Мне только было очень обидно, что вы такой белобрысый.

Я не нашелся что ответить и снова стал раскачиваться в качалке, прислушиваясь к свисту ветра и шуму дождя за окнами. Я посмотрел на часы: было начало одиннадцатого,

уже мог прийти ответ из Москвы. Принесут мне радиogramму из штаба или решат подождать до утра? Жалко, я не предупредил, что мне она нужна срочно.

– Что вы на часы смотрите? – спросила Валя.

– Мне должны кое-что принести из штаба, – сказал я и, помолчав, добавил: – Ух, какой дождина!

– Когда вспоминаешь детство, – сказала Валя, – лето представляется одним солнечным днем. Раньше как будто и ненастных дней не было. А теперь вот... – Она помолчала. – Говорят, дожди потому, что война. Вы всему учились, Володя, скажите: может это быть?

– Валя, – спросил я, – Якимов хорошо знал немецкий язык?

– Якимов? – Валя подняла глаза и внимательно на меня посмотрела. – Он переводил что-то папе. Журналы, я видела, читал.

– А вы не видели, чтобы он писал по-немецки?

– Не помню. – Нахмурившись, она минутку подумала. – Нет, не помню.

– Жалко... А насчет дождей очень возможно. Хотя наука этого не подтверждает.

Валя снова склонилась над работой, но через минуту снова подняла на меня глаза:

– Скажите прямо, Володя: может, вам нужно спокойно подумать? Я ведь могу сидеть тихо и не мешать. Мне только не хочется уходить в кухню – там неуютно, огромная печь, горшки, ведра и дождь бьет прямо в окно.

– Сидите, Валя, – сказал я. – Мне приятно, когда вы разговариваете со мной.

– Мне тоже приятно, – сказала Валя. – Мне очень надоело, что не с кем разговаривать.

Когда я смотрел на нее, закутанную в пуховый платок, склонившуюся над шитьем, мне трудно было поверить, что это она скрывалась от немецкой разведки, шла мимо полицейских постов. Очень знакомая девушка сидела передо мной. Та самая, с которой я ходил в театр и подолгу потом разговаривал у крыльца. Та самая, с которой я ехал тогда, весной, в автобусе и которая поцеловала меня так неожиданно. Удивительно мало она изменилась! И можно подумать, что ничего особенного за это время с ней не произошло.

– Не понимаю, – сказал я, – почему вам не с кем было разговаривать? Ну, Якимов был молчальник, но Вертоградский ведь человек веселый, живой...

Валя чуть заметно передернула плечами. Мне даже смешно стало, как люди мало меняются. У нее и прежде была эта привычка передергивать плечами, я отлично помнил.

– С ним вот так, попросту, не поговоришь, – сказала она. И добавила неожиданно: – Я поэтому за него и замуж не пошла.

– Ах, вот как? – сказал я. – Об этом был у вас разговор?

– Был однажды... – неохотно сказала Валя.

– Давно? – спросил я.

– Собственно говоря, два раза: один раз – давно, когда мы только что сюда переехали...

– Ну, а вы тогда что?

– Я отшутилась.

– А второй раз?

– Второй раз – совсем недавно. Позавчера.

– Ну, а вы что?

– Я опять отшутилась.

Наверху скрипнула дверь. По лестнице неторопливо спускался Костров.

### III

– Поспал немного? – спросила Валя.

– Я не спал, – хмуро ответил Костров.

– Чаю согреть?

– Согрей.

Валя ушла на кухню. Костров прошелся по комнате, потом взял стул и сел против меня. Я привстал и предложил ему сесть в качалку, но он отрицательно покачал головой. Он был хмур и сосредоточен. Он очень горбился – заметно постарел за эти годы. А может быть, его последние дни согнули? Очень утомленное было у него лицо. Я сидел и ждал, что он скажет, но он молчал.

Чтобы начать разговор, я сказал:

– Мы с Валею вспоминали давние времена.

Он пропустил мои слова мимо ушей и заговорил о своем:

– Я не собираюсь вас учить, Владимир Семенович, но время идет. Быть может, Якимов как раз сейчас пробирается в город. Вы не собираетесь его преследовать?

Я отлично понимал, как его должен был раздражать мой спокойный вид и монотонное покачивание качалки. Как я мог ему объяснить, что именно здесь, в этом доме, я был сейчас нужнее всего! Не мог же я рассказывать ему о своих подозрениях...

Я нагнулся вперед и положил руку старику на колено.

– Андрей Николаевич, – мягко сказал я, – если я сижу здесь, в качалке, то потому только, что ничего другого сейчас нельзя или не следует делать.

Костров утомленно качнул головой. Вряд ли он верил мне, но, наверно, понимал, что спорить со мной не может, и примирился. Он по-стариковски пожевал губами и заговорил негромким, усталым голосом:

– Это не важно, что я работал над вакциной много лет и вся работа моя пошла прахом, но, Владимир Семенович, ведь вакцина уже была создана, ведь где-то в госпиталях лежат люди, которые завтра умрут, а могли бы не умереть! На восстановление вакцины, если не вернуть дневников и ампул, уйдет много времени...

Мучительно было слушать жалобы старика и не иметь возможности хоть чем-нибудь утешить его, хоть как-нибудь намекнуть, что не так безнадежно все, как ему кажется. Очевидно, мне предстояло долго еще слушать его причитания.

– Я все понимаю, Андрей Николаевич, – сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.

Костров кивнул головой. Меня раздражала бесцельность его жалоб, но я приготовился терпеливо их слушать. Должен же был старик кому-нибудь жаловаться! Скоро предстояло мне убедиться, что этот разговор не был так бесцелен, как мне казалось сначала.

Костров сидел, жевал губами, кивал головой. Потом заговорил все так же неторопливо и тихо.

– За мной есть одна вина, – сказал он. – Не могу простить себе...

Я быстро поднял глаза. Нет, конечно же, старик пришел



не просто жаловаться и причитать. Тут что-то другое, более важное. Мне пришлось сделать усилие над собой, чтобы не показать, как я заинтересован.

— Какая же вина? — спросил я равнодушным тоном.

— Когда гитлеровцы подходили совсем близко к штабу, — сказал Костров, — и мы в любую минуту могли оказаться в их власти, я решил на всякий случай зашифровать лабораторный дневник. Вероятно, это была ошибка, но я захотел застраховаться от всяких неожиданностей...

Костров молчал. Я достал портсигар и предложил ему папиросу, но он отказался. Я закурил и неторопливо спрятал портсигар. Мне не хотелось, чтобы старик заметил, как я взволнован.

— Ну что ж, — сказал я, — почему вы считаете, что это ошибка? Очень хорошо, что вы зашифровали.

Старик покачал головой:

— Ошибка была в другом. Мне было трудно шифровать одному. Я много работал в это время. Я попросил его мне помочь.

— Кого? — равнодушно спросил я.

— Как «кого»? — Костров с удивлением на меня посмотрел. — Якимова, разумеется!

Полузакрыв глаза, я раскачивался в качалке. Дневник был зашифрован! Это меняло многое. Это, прежде всего, подтверждало одно: дневник мог пригодиться только тому, кто знал шифр. Еще подтверждение того, что не мог похитить дневник человек посторонний. Правда, похититель мог не знать, что дневник зашифрован...

Как будто издали доносились до меня слова Кострова. Он все еще продолжал говорить печально и неторопливо:

– Я сам дал ему в руки все карты. Быть может, я сам навел его на мысль о похищении...

Ох, если бы знал профессор, как мало меня сейчас интересовал вопрос, совершил он ошибку или не совершил!

– Возможно, – рассеянно сказал я.

Но старика, видимо, очень мучила его вина.

– Вы считаете, что я виноват? – спросил он.

Мне некогда было его успокаивать.

– Кроме вас и Якимова, никто не знал шифра?

– Никто.

– Ни один человек? Это совершенно точно?

– Да, ни один человек. Я считал, что шифр должен знать только тот, кто шифрует.

– Поймите меня правильно, – сказал я. – Мой вопрос не имеет отношения ни к каким моим подозрениям, но я должен знать все совершенно точно. Когда вы говорите, что никто не знал, вы разумеете и Валю и Юрия Павловича? Буквально ни один человек?

– Буквально никто, кроме меня и Якимова.

– А кто знал, что дневник зашифрован?

– Это мы ни от кого не скрывали. – Он опять помолчал немного и продолжал: – И вот видите, к чему это привело! Уж, кажется, старался от всех оградить...

– Давайте условимся, – прервал я его: – пока что никто из нас не знает, что к чему привело.

Боюсь, что в голосе моем звучало некоторое раздражение, но старик этого не заметил.

– Думать, что ко мне подделывался человек, – говорил он, – с которым я вместе работал, прожил самое тяжелое время, делился всеми мыслями...

Я заставил себя не слушать Кострова. Значит, Вертоградский не знал шифра, рассуждал я. Его знал один Якимов. Но Вертоградский знал, что дневник зашифрован. Значит, убить Якимова он не мог. А представить себе, что он один набросился на Якимова здесь, у самого дома, в котором сидят Андрей Николаевич и Валя, и, не боясь шума и криков, ухитрился связать его, заткнуть ему рот, унести куда-то и спрятать, абсолютно невозможно.

Нет, по-видимому, я совершил ошибку, которую часто совершают следователи. Я отказался от самой вероятной возможности, которая была ясна всем. Я отказался от простой и ясной мысли, что вакцину похитил Якимов. Как будто из духа противоречия, я создал сложное и неубедительное построение и упорно держался за него, вопреки фактам и логике.

Как это часто бывает, истина заключалась не в сложном, а в простом: именно Якимов похитил дневник и вакцину.

Когда позже, уже в Москве, я возвращался мысленно к истории розыска вакцины Кострова, когда я перебирал в памяти этапы следствия, оно представлялось мне цепью сомнений, длинным рядом различных, подчас противоречивых, предположений, блужданием в темноте, и яснее всего я вспоминал чувство неуверенности, владевшее мною в течение всей первой половины следствия.

Итак, Якимов – единственный, для кого преступление могло иметь смысл. Какого же дьявола я все это время продумывал всякие варианты и упустил самый простой, самый естественный – тот, который был ясен и Кострову, и Вале, и Петру Сергеевичу! Что заставило меня так реши-

тельно от него отказаться? Только история с запиской? Конечно, случайность маловероятная. Но ведь бывают же всякие случайности. Легче допустить удивительное сцепление обстоятельств, чем полную бессмысленность преступления...

— ...Я кажусь себе бесконечно неосмотрительным, — продолжал говорить Костров, по-видимому предполагая, что я его слушаю. — Самое важное, что я в своей жизни сделал, украдено. Что делать? Что делать, Старичков?...

Но готический шрифт? Зачем Якимов писал записку готическим шрифтом? Как бы я ни старался обойти это обстоятельство, оно снова напоминало о себе. Одна эта маленькая нелепость разрушала все стройное и ясное объяснение

— Андрей Николаевич, — сказал я, — вы и раньше переписывались с Якимовым по-немецки?

Костров посмотрел на меня с удивлением:

— Нет. Зачем?

— Так что вы никогда не видели какого-нибудь его письма, записи — словом, написанного им немецкого текста?

— Нет, конечно, видел: он делал для меня когда-то выписки из немецких журналов, приводил цитаты.

— И он всегда писал готической прописью?

— Готической? — Костров посмотрел на меня растерянно: по-видимому, он впервые обратил внимание на это обстоятельство.

— Нет, — сказал он. — Дайте вспомнить... Конечно, нет. Я обратил бы на это внимание. Он писал обыкновенными латинскими буквами...

Я встал с качалки и подошел к окну. Дождь не стихал. Потоки воды стекали по стеклам. Но молния сверкала реже. Глухая, беспросветная темнота была вокруг дома. В темноте этой было слышно, как воет ветер, шумят деревья, бурлят ручьи и бьет дождь по крыше и в стекла.

Прошли уже почти сутки с тех пор, как я здесь. Неужели действительно я еще ни на один шаг не приблизился к разрешению задачи? На секунду уныние охватило меня. Время идет, я не успеваю за временем. Еще день, еще ночь – и преступник скроется, обманув посты. И придется мне возвращаться в Москву, ничего не добившись...

Валя вошла в комнату с чайником.

– Дождь все сильнее, – сказала она. – На кухне так завыывает в трубе...

– Да, – сказал я. – Не завидую тому, кто в лесу.

Вертоградский, зевая и потягиваясь, вышел из лаборатории.

– Чай! – сказал он. – Какая благодать! Я спал, и мне снилось, что я подставляю стакан под носик чайника. Чай все льется и льется, как этот дождь, а пить нельзя, потому что стакан без дна... Простите меня, я налью себе сам.

Он налил себе в стакан чаю и с наслаждением отпил.

– Выспались, Юрий Павлович? – спросил Костров; он тоже подсел к столу.

– Отлично отдохнул! – тряхнув головой, сказал Вертоградский. – И всё такие веселые сны снились. Будто вернулся Якимов, извинился, объяснил, что произошло недоразумение, и все возвратил.

Валя разлила чай по стаканам.

– Всегда вы, Юра, несете вздор! – сказала она раздра-

женно. Пододвинула стакан отцу и позвала меня: – Садитесь пить чай, Володя.

– Мне и вы снились, Владимир Семенович, – добродушно улыбаясь, сказал Вертоградский.

– Что же я делал во сне? – спросил я.

– Охота вам его слушать! – сказала Валя сердито.

Она подошла к окну и стояла, вглядываясь в темноту, поеживаясь под пуховым платком.

Вертоградский с наслаждением пил чай и болтал.

– Вы мрачный человек, Валя, – говорил он. – Берите пример с меня.

– Когда я подумаю, – сказала Валя, – что, может быть, вокруг дома ходит Якимов, такой привычный и такой невероятно чужой... Как будто сидела за столом с близким человеком, а он...

Она вскрикнула и отбежала от окна. Кто-то отчетливо и громко постучал в стекло.

Мы все вскочили. Я распахнул окно и высунулся наружу. Дождь и ветер ворвались в комнату. Огонь в лампе заколебался. Меня окатило водой, как будто кто-то из ведра плеснул на меня. Под окном стоял Петр Сергеевич в брезентовом плаще с поднятым капюшоном, и капли дождя текли по его лицу.

– Мне тебя, Старичков, – сказал он.

– Сейчас открою.

Я закрыл окно и, выйдя на кухню, отпер дверь. Петр Сергеевич вошел. Сразу же с плаща его натекала на пол большая лужа.

– Что случилось? – спросил я.

– Понимаешь, Старичков, – заговорил Петр Сергеевич,

– нехорошее дело... Обоз я сегодня решил не посылать, дать лошадям отдохнуть. Часиков в десять пошел проверить, укрыты ли лошади от дождя. Оказалось, одной лошади не хватает.

Сзади скрипнула дверь. Мы обернулись. Костров, Вертоградский и Валя стояли в дверях. Петр Сергеевич замялся, но сразу махнул рукой.

– А, что тут секретничать! – сказал он. – Пересчитали телеги – и телеги одной нет. Тогда я велел обзвонить посты. Стали звонить, а связь нарушена. Я послал проверить линии. На всех линиях провода перерезаны.

– Оборваны или перерезаны? – спросил я.

– Перерезаны. И больших кусков не хватает.

– У тебя же конюх лошадей стережет, – сказал я. – Он что ж, не видел, как у него коня и телегу украли?

– Да ну его! – Петр Сергеевич нахмурился. – Что с него возьмешь! Дряхлый старик. Залез в землянку, печку топил, кости грел...

– Колея должна остаться.

– Поди проследи! Все дороги водой залиты.

– Посты проверил?

– Проверил. Сразу послал связистов линии восстанавливать. Посты сообщают – никто не проезжал. И, знаешь, Старичков, – Петр Сергеевич понизил голос, – это меня больше всего беспокоит. Если бы что-нибудь уже случилось... Все тихо, а что-то готовится.

Это же чувство со все большей силой овладевало мной. Что-то готовилось! Неужели я совершил грубую ошибку и вместо того, чтобы сидеть здесь, карауля Вертоградского, мне нужно было все эти сутки неумоимо обшаривать болото?

– Люди все налицо? – спросил я.  
– До утра не проверишь, всех не обойдешь.  
– Зайдите в комнату, – сказала Валя, – хоть чаю выпейте.

– Какой там чай! – Петр Сергеевич достал платок, вытер мокрое от дождя лицо и все-таки прошел в комнату.

Валя налила ему чаю, и он стал пить, дуя и обжигаясь. О чем-то спрашивал его Костров, что-то говорил Вертоградский, кажется, Валя советовала обмотать шею шарфом, – я плохо слышал, о чем они говорят. Я шагал по комнате и рассеяннo улыбался, делая вид, что прислушиваюсь к разговору. Я думал лишь об одном: что происходит сейчас на болоте?

## Глава седьмая

### *Лицо в окне*

#### *I*

Что я мог сказать себе в оправдание? Решив, что преступником может быть только Якимов или Вертоградский, я упустил из виду, что преступление мог совершить кто-то третий. То, что похищены предметы, ценность которых может быть ясна только для специалиста или, во всяком случае, для человека, находящегося в курсе работ Кострова, заставило меня искать преступника непременно в узком кругу ближайшего окружения профессора. Пропажа телеги многое объяснила. Уже раньше я понял, что Якимов жив, но теперь я знал точно: он жертва, а не преступник. Телега



могла понадобиться только для того, чтобы увезти с Алевыхских болот плененного, связанного Якимова – единственного человека, знавшего шифр.

Вертоградский сидит здесь, – значит, кто-то другой пытается сейчас пробраться мимо постов. Кто? И вдруг меня осенило. Я знаю кто: Грибков!..

Еще не успев привести самому себе никаких доказательств его виновности, я уже ясно понял, что это он гонит сейчас по размытым дорогам лошадь, везущую телегу со связанным Якимовым. Грибков! Тот, кто был наверху, в мезонине, когда появилась записка Якимова. Я вспомнил дюжего плотника с ящиками на плечах. Конечно, странно представить, что он знает немецкий язык настолько хорошо, чтобы уметь писать старым готическим шрифтом. Что ж, это только значит, что он не случайный преступник, а специально присланный человек.

Много еще мыслей приходило мне в голову, но некогда было продумать их до конца. Сквозь вой ветра и шум дождя до нас донесся отчетливый выстрел.

## II

В комнате сразу стало тихо.

– Одиночный, – сказал Петр Сергеевич. – Из автомата.

– Где-то близко, – сказал Вертоградский.

Петр Сергеевич уже натягивал капюшон на голову:

– Пошли.

Он направился к двери.

В это время раздался отчаянный крик Вали:

– Стойте!

Она стояла бледная, с широко открытыми, испуганными глазами и пальцем показывала на окно. Я повернулся. Снаружи прижалось к стеклу лицо. Нос был расплюснут стеклом, и от этого лицо казалось лишенным всякого выражения, точно в окно заглядывала белая маска.

Вероятно, секунду мы все стояли не двигаясь. Потом я услышал высокий, захлебывающийся голос Кострова:

– Якимов!

Я бросился к окну. Раздалась короткая автоматная очередь. Лицо исчезло.

– Гасите свет! – крикнул я и, распахнув окно, выпрыгнул наружу.

Очень неприятно почувствовать под ногами человеческое, может быть еще живое, тело. Я отскочил в сторону. Свет в окне погас, Валя задула лампу. Я зажег фонарь, и белый его луч скользнул по человеку, распростертому на земле. Я наклонился. Человек дышал. Он смотрел на меня мутными, невидящими глазами и старался что-то сказать, но дыхание прерывалось и губы шевелились беззвучно.

– Жив? – спросили меня.

Я обернулся. Рядом со мной стоял Вертоградский. Не дожидаясь ответа, он наклонился над телом.

– Якимов! – сказал он. – Якимов, голубчик, ты жив?

Глаза Якимова оживились. Тело вытянулось, и рот открылся, он пытался что-то сказать. Он дышал хрипло; судорога сотрясала его тело.

– Ну что ты, что ты... – растерянно повторял Вертоградский. Он обхватил Якимова за плечи, стараясь его приподнять. – Ну что ты, чудак человек?

Дождь хлестал, заливая живого или мертвого Якимова. Ветер выл и слепил глаза. Деревья шумно раскачивались.

– Перенесем его в дом. Беритесь за ноги, – сказал я Вертоградскому.

Только сейчас я заметил, что вокруг меня стоят и Петр Сергеевич, и Костров, и Валя. Черная стена темноты была совсем близко. За каким деревом прятался человек, уже пустивший одну смертельную пулю?

– Зачем вы вышли из дома? – резко сказал я. – Сейчас же обратно!.. Валя, ведите Андрея Николаевича.

Теснясь и шаркая ногами, мешая друг другу, мы внесли Якимова в дом.

– Сейчас зажгу лампу, – сказала Валя.

– Подождите, прежде занавесим окна.

Одно окно было еще распахнуто настежь. Когда мы плотно закрыли раму, в комнате сразу стало тише. Только сейчас я понял, как шумел ветер и дождь.

Валя притащила два одеяла, и окна были кое-как занавешены. Костров наклонился над Якимовым. Он лежал неподвижный, страшный. Когда Валя зажгла лампу, стали видны неживые, закатившиеся глаза.

– Ну? – спросил я.

Мы все стояли теперь вокруг и ждали, что скажет Костров.

Костров медленно поднялся:

– Мертв.

Он отошел в сторону.

– Он узнал меня, – сказал Вертоградский.

– Да, – мягко сказал Костров, – он хотел протянуть к вам руку. Я видел, у него не хватило сил.

Вертоградский всхлипнул и отвернулся.

– Я побегу, – сказал Петр Сергеевич. – Может быть, мы

его нагоним. Он не мог далеко убежать... Вы пойдете с нами?

Я на секунду задумался. Оставить Костровых? Я сразу решился:

– Нет, я буду здесь.

– Вы могли бы помочь... – неуверенно протянул Петр Сергеевич.

– Чтобы у меня тут пока Кострова убили? Никуда я отсюда не выйду.

– Владимир Семенович, – сказал Вертоградский, – нас трое, и мы вооружены.

– Будь вас хоть десять – за Кострова отвечаю я.

Петр Сергеевич, кажется, был не очень доволен моим решением. Вероятно, он даже думал, что я побаиваюсь выходить из-под защиты бревенчатых стен в лес, где из-за каждого куста может вылететь пуля. Но он только пожал плечами, вложил наган в кобуру, вытер платком мокрое от дождя лицо и пошел к двери. В дверях он остановился.

– Чуть не забыл! – сказал он. – Вам радиограмма из Москвы.

Он протянул мне листок бумаги и вышел.

Отойдя к лампе, я быстро проглядел обстоятельное и дружеское послание Шатова. Шатов сообщал, что Якимов действительно учился у Кострова, а до этого – в том же городе, в 9-й трудовой школе первой и второй ступени. Это подтверждают свидетели, которых удалось найти в Москве. Вертоградский учился в Московском университете и, по справке деканата биологического факультета, закончил его в 1935 году. Поступил он в университет в 1930 году, предъявил аттестат об окончании 13-й Калининской сред-

ней школы. Проверить подлинность аттестата в Калинин не удалось, так как архивы сожжены перед занятием города немцами. В заключение Шатов желал успеха и обещал любую необходимую помощь.

Но я полагал, что помощь мне не понадобится. Я надеялся, что справлюсь как-нибудь сам.

### III

Мы с Вертоградским вынесли труп Якимова в лабораторию и положили его на стол, убрав сначала химическую посуду. Я попросил Валью зажечь лампу. Я ждал. Я не хотел начинать осмотра, пока не останусь один. Костров подошел ко мне.

– Вероятно, это жестоко, Владимир Семенович, – сказал он, – человек только что умер... Но мы не имеем права пренебрегать ничем. Вы осмотрели его карманы? Может быть, там дневник и вакцина?

Боюсь, что я ответил несколько резко. Я попросил старика не мешать мне и обещал, что после осмотра сам сообщу ему то, что может его интересовать.

После этого я выставил всех из комнаты и наконец остался один.

Якимов лежал передо мной на столе, когда-то высокий, большой человек, с широкими плечами и большими, грубыми руками. Таким я себе и представлял его по рассказам; такой он и должен был быть, этот молчаливый, немного угрюмый ученый, добросовестный и аккуратный в работе. Вероятно, он был из крестьян. Я осмотрел одежду; она была выпачкана в грязи и промокла насквозь. Брюки и

гимнастерка порвались во многих местах. Грязь просачивалась сквозь верхнюю одежду, грязь была на белье и на теле – Якимов долго лежал в грязи. В кармане был портсигар с пятнадцатью папиросами марки «Беломорканал». Всего могло в нем поместиться шестнадцать. На столике у кровати Якимова лежала, открытая пачка «Беломорканала». Я пересчитал в ней папиросы; их было восемь. Естественно было предположить, что перед тем, как выйти погулять, он шестнадцать папирос положил в портсигар, а семнадцатую сунул в рот. Значит, за время прогулки он выкурил две папиросы. И, значит, после этого он не курил двое суток. Немыслимая вещь для курильщика, имеющего папиросы в кармане. Почти наверное у него были связаны руки. Если не считать зажигалки, больше в карманах ничего не было. На Алеховских болотах ни деньги, ни документы понадобиться не могли.

Я осмотрел руки и ноги. Следы веревок были ясно видны. Руки были натерты до крови. На ногах образовались кровоподтеки. Да, уж конечно, он никак не мог достать папиросу. Он долго лежал связанный и, видимо, все время пытался освободиться. Лицо, руки, все тело были покрыты царапинами. Царапины могли появиться, когда он ворочался на земле, пытаясь порвать веревки, или когда, сбежав, пробирался через лес и кустарник. А может быть, это следы борьбы? На него набросились, его связали, он сопротивлялся. Если бы его оглушили внезапным ударом, остались бы следы. Я осмотрел голову очень тщательно: только царапины и синяки. Я извлек пулю. Она вошла со спины и, пробив тело почти навылет, застряла под кожей груди. Пуля была от обыкновенного русского автомата. В

дальнейшем в лаборатории определяют дуло, из которого ее выпустили. Я спрятал ее. В сущности говоря, осмотр был закончен. Но мне хотелось еще раз проверить свои выводы.

Значит, Якимов был не преступник, а жертва, – это не требовало больше доказательств. Он вышел погулять, выкурил одну папиросу и закурил вторую. Он ходил под открытым настежь окном лаборатории. За окном только что заснул Вертоградский. В это время на Якимова набросились. Он был сильный, здоровый человек. Конечно, он жестоко сопротивлялся. Трудно представить себе силача, который один мог бы осилить и связать Якимова, не дав ему даже крикнуть. Значит, нападавших было по меньшей мере двое. Один, предположим, Грибков – он высокий, здоровый человек. Кто же второй? Я старался рассуждать так точно и убедительно, как если бы я говорил перед судьями, требующими бесспорных доказательств.

Людям, пришедшим со стороны, подкравшимся, прячась за стволами деревьев, не могло быть известно, заснул Вертоградский или еще не заснул. Они должны были допустить возможность если не крика, то, во всяком случае, шума борьбы, случайных звуков, треска ветвей. Но люди, напавшие на Якимова, знали, что Вертоградского бояться нечего. Участвовал или не участвовал в нападении Вертоградский, нападение было совершено с его ведома и согласия. А может быть, одним из двух преступников был Вертоградский.

Итак, на Якимова напали, ему завязали рот, скрутили руки и ноги и унесли его в убежище на болоте. Все очень логично. Вакцина и дневники не представляют ценности без Якимова, потому что дневники зашифрованы и шифр

знает только он один. Но вот борьба окончена, связанный Якимов лежит на траве. Вертоградский входит в лабораторию с ключом, вынутым у Якимова из кармана. Он достает маленькую коробочку и черную коленкоровую тетрадь и передает их своему соучастнику прямо через окно. Теперь осталось унести и спрятать Якимова. Соучастник сделает это один. Если это был Грибков, ему нетрудно – я видел, как он тащил на спине три больших ящика. Взвалив на себя связанного Якимова, он исчез в темноте между деревьями. Вертоградский внимательно осмотрел себя, счистил приставшую грязь, снял запутавшуюся в волосах веточку, поглядел в зеркало. Теперь он ляжет в постель и заснет или притворится спящим...

Остается вторая часть задачи: надо вывезти Якимова с болот. Может быть, преступники думали, что теперь, когда Махова и боевой части отряда нет на болотах, дисциплина ослабеет, посты будут менее бдительны и пройти мимо них окажется нетрудно. Грибков – допустим, что это Грибков, – попробовал пройти в ту же ночь, но вызвал окрик: на постах не дремали. Может быть, была совершены еще попытки, о которых мы ничего не знаем. Так или иначе, первая ночь была упущена. На следующую ночь прилетел я. Стало ясно, что не сегодня-завтра, как только станет немного больше людей, болото будет прочесано. Наступает третья ночь. Гроза, дождь, темень – самая удобная погода для бегства. По залитым водой, размытым, скользким дорогам невозможно пройти, неся на спине человека. Поэтому понадобилась телега и лошадь. Тут, в решающую минуту, Якимов бежал.

Все до конца было ясно, кроме одной подробности, самой существенной: где находятся дневник и вакцина?



Теперь менялся характер моей задачи: не раскрытие преступления, а поиски вакцины и дневника — вот что становилось главным и самым важным.

Я прислушался. Из-за двери доносились голоса: Костровы и Вертоградский взволнованно обсуждали события. Можно было, конечно, открыть дверь и, подойдя к Вертоградскому, сказать: «Юрий Павлович, вы арестованы».

Я уже положил руку на кобуру. Это было так соблазнительно просто и эффектно: войти, вынуть наган... Я представил себе, что будет делать этот высокий, красивый, самоуверенный человек. Наверно, начнет возмущаться, а может быть, пожмет плечами и скажет: «С ума вы сошли! Впрочем, я понимаю, такая уж ваша профессия...»

В общем, все равно, как он стал бы себя вести. Он может спокойно болтать с профессором на любую интересующую его тему, он не будет сейчас арестован. Хорош буду я, если, погнавшись за легкими лаврами, упущу открытие Андрея Николаевича! Вертоградский упрется: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». Если на этих болотах человека и то найти трудно, так попробуй найди коробочку и тетрадь. Все дупла не пересмотришь, все кочки не перероешь. Пусть сидит пока, пусть разговаривает с профессором...

На цыпочках я подкрался к двери. Мне хотелось послушать, о чем они говорят.

Говорила Валя:

— Как страшно было думать о нем час назад! Казалось, что он ходит вокруг... А теперь он лежит там, и все равно страшно. Все равно, кто-то ходит вокруг, прячется за деревьями или забился в нору.

– Он писал, что не может меня убить, – устало сказал Костров. – Зачем же он приходил?

Я слышал шаги Вертоградского. Юрий Павлович ходил по комнате взад и вперед, потом заговорил растроганным голосом. Мне его интонации казались деланными и фальшивыми. Но, вероятно, для других слова его звучали трогательно.

– Мне не хочется думать о том скверном, что он сделал, – говорил Вертоградский. – Я все только вспоминаю, как он протянул руку и позвал меня...

– Не за этим же он приходил! – хмуро сказала Валя.

Как видно, слова Вертоградского ее не растрогали.

– Пусть он был виноват, – продолжал Вертоградский, – но раз он пришел, значит, раскаялся. Хорошо, он был слабый человек. Он попался в фашистскую ловушку и не сумел найти выхода. Но он мучился и все-таки на самое страшное не пошел.

– Я не понимаю, – сказала Валя. – Вы говорите все время о Якимове. Якимов убит. Кто его убил? Кого сейчас ищут?

Вертоградский усмехнулся:

– Вы еще не догадываетесь, Валя?

– Лично я не понимаю ничего, – сказал Костров.

– Попробую вам объяснить, – сказал Вертоградский. – Представьте себе, что каким-то образом, совершенно не знаю каким, Якимов оказался в руках немецкой разведки. Может быть, он совершил какую-нибудь глупость, которой его шантажировали. Шаг за шагом, пугаясь ответственности, увязая все глубже, он наконец чувствует, что выпутаться не может. Я не оправдываю его, я просто пытаюсь

себе представить, как было дело. Во всем остальном он человек как человек. Он любит и уважает вас, Андрей Николаевич, любит Валю, дружески относится ко мне. Но он бессилен что-либо изменить. Вы заметили, как мрачен он был последнее время? Наверно, ему нелегко было. От него требовали вакцину. Откуда-то приходил человек, назвавший себя Ивановым или Петровым, хотя фамилия его была Шульц или Шварке. Они встречались в лесу, и Шульц или Шварке говорил ему: «Если вы сегодня ночью не сделаете этого, вы погибнете. Через неделю будет поздно, вакцину увезут. Действуйте этой ночью»...

Вертоградский помолчал. В столовой было тихо, его слушали внимательно.

— И вот, в отчаянии, в растерянности, — продолжал Вертоградский, — он крадет вакцину и пишет вам прощальное письмо. Что происходит дальше?

Я не выдержал, открыл дверь и вошел в комнату. Вертоградский повернулся ко мне:

— Я рассказываю, Владимир Семенович, свою версию происшедшего.

Я кивнул головой:

— Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Вертоградский поднял глаза кверху и задумался. Несомненно, он сам увлекся своим рассказом.

— Наступает день, — сказал он. — Якимов прячется где-то в лесу. Он пришел в себя. Он плачет, когда вспоминает вас, Андрей Николаевич. Стыд мучит его, ужас перед встречей с вами, невозможность посмотреть вам в глаза. Ночью Шульц или Шварке перерезает провода, чтобы Петр Сергеевич не успел предупредить посты, и похищает телегу с

лошадью. Вдвоем с Якимовым они ночью проберутся мимо постов. Утром они будут в городе, и Якимов на всю жизнь свяжет себя с людьми, которых он ненавидит и боится. И тут, в последнюю минуту, в Якимове просыпается все, что в нем есть еще хорошего.

Очень ясно я вижу эту сцену. Двое под ливнем, в темном лесу. Приглушенные голоса, угрозы, спор, ссора... Но сейчас он уже ничего не боится, он решает прийти и во всем признаться. Он бежит от Шульца. Как страшна эта погоня! Оба двигаются медленно. Грязь доходит до колен, оба натыкаются на деревья, дождь заливает глаза... Впрочем, тьма была такая, что все равно ничего не видно. И только одна мысль: «Добежать!» Он слышит за своей спиной хлюпающие шаги преследователя...

И вот наконец окно в лесу, такое бесконечно знакомое. Окно, за которым друзья. Сзади свистит пуля. Но он уже у окна, он видит всех нас. Он так задыхается, что не может крикнуть нам: «Помогите!» Но он добежал. Сейчас он будет среди друзей... И тут вторая пуля. Минута страшной тоски оттого, что он умирает предателем, непощенным. Он видит меня. Он протягивает мне руку, чтобы проститься, но рука падает, не дотянувшись. Смерть...

Вертоградский знал, когда надо кончить. Он замолчал; у него даже выступил пот на лбу.

На Кострова и Валю рассказ, кажется, произвел впечатление. Они сидели, не двигаясь. Костров закрыл рукой лицо. Действительно, картина нарисована была мастерски. Мне захотелось испортить эффект.

– Вздор, – сказал я негромко. – Совершенный вздор! Вы были бы прекрасным адвокатом, но следовательно вы никудышный.

Все трое повернулись ко мне. У Вертоградского было огорченное и заинтересованное лицо.

– Почему? – спросил он. – Ведь, кажется, совпадают все факты.

– Я сейчас вымою руки, – сказал я, – и потом объясню вам, почему это вздор.

## Глава восьмая

### *Подвиг Вертоградского*

#### I

Я тщательно вымыл в кухне руки, повесил полотенце на гвоздик и вернулся в комнату. Костровы и Вертоградский ждали меня с нетерпением. Я еще раз окинул Вертоградского взглядом. Я отлично чувствовал внутреннее его напряжение. Внешне он был спокоен и хладнокровен.

Где-то в лесу сейчас шла погоня за одним из преступников, там надо было выследить, окружить, нагнать. Такая же погоня должна была начаться здесь, в комнате. Только здесь шло состязание не в быстроте, не в зоркости глаза, не в физической силе, а в нервах, выдержке, логике.

– Ну? – спросил Костров.

– Все было не так, как говорил Юрий Павлович, – начал я. – То есть кое-что было так: была погоня, было окно в лесу, была надежда спастись, а все остальное происходило совершенно иначе.

– Как же могло быть иначе? – спросил Вертоградский. – Ведь Якимов украл? Ведь Якимов скрывался?

– Вздор, – повторил я, – совершенный вздор! – Я подошел к Вертоградскому вплотную и сказал, глядя прямо ему в глаза: – Не Якимов украл, а Якимова похитили. Не Якимов скрывался, а Якимова скрывали. Он бежал сюда, чтобы спастись.

Я говорил тихо и очень многозначительно. Мне кажется, Вертоградский ждал, что сейчас я добавлю: «И похитили Якимова вы, Юрий Павлович». Он держался великолепно, но тень промелькнула в его глазах – легкая тень испуга. Я не собирался открывать свои карты, пока вакцина еще не в моих руках. Я отвел глаза от Вертоградского.

– Он боролся за вашу вакцину, Андрей Николаевич.

Костров встал со стула. Он был очень взволнован.

– Если это так, Владимир Семенович...

– Это так, – перебил я его. – Тогда что?

– Если это так, – Костров развел руками, – значит, мы очень виноваты перед ним.

– Счастье, если бы это было так, – задумчиво проговорил Вертоградский. – Но какие у вас основания?

Не сумею объяснить, каким образом, но я совершенно точно чувствовал, что он переживает. Я знал, что он внутренне себя успокаивает. Он говорит себе: «Нет, мне только показалось, что Старичков знает всё, – Старичков ни о чем не догадывается».

Меня это совершенно устраивало. Я хотел, чтобы он то впадал в отчаяние, то вновь обретал уверенность. Я должен был измотать его. Измотать так, чтобы он сам признался, чтобы он выдал мне себя, чтобы он сам указал, где вакцина.

– Руки! – сказал я. – Его руки. Они были связаны не час и не два – сутки или больше, так они затекли. На ногах у него раны от веревок.

Конечно, Вертоградскому очень хотелось узнать во всех подробностях мои выводы. Он обязательно должен был знать, до какой степени далек я от правды или до какой степени близок к ней. Но он промолчал, понимая, что все равно Андрей Николаевич или Валя расспросят меня обо всех подробностях.

– Но кто же его держал связанным? – спросил Костров.

– Тот, о ком говорил Вертоградский, – ответил я. – Шульц, или Шварке, или как там его зовут. Не верьте в эту святую легенду о запутавшихся и слабых. Есть шпионы, и есть честные люди.

Теперь Вертоградский решил сам задать вопрос. Он понимал, что не расспрашивать тоже неестественно с его стороны.

– Но где же этот Шульц? – спросил он. – Надо его искать.

Я не ответил. Повернувшись к Кострову, я сказал:

– Андрей Николаевич, я прошу вас и Валю подняться наверх, плотно занавесить окно и лечь отдохнуть.

– Я не смогу отдыхать, Владимир Семенович, – сказал Костров.

– Надо, Андрей Николаевич!

Я говорил резко и категорически. Я хотел, чтобы Вертоградский понял, что я нарочно усылаю Костровых, что я хочу остаться наедине с ним. Пусть он опять насторожится, пусть ждет новой атаки. Я не хотел давать ему передышки. Пусть он будет все время в напряжении.

– Валя, – командовал я, – ведите отца наверх. Я не могу вам позволить сидеть внизу, когда здесь каждый угол простреливается из окон.

Пожав плечами, Костров побрел по лестнице вверх. Валя шла за ним. Я молча провожал их взглядом, пока они не поднялись в мезонин и не закрыли дверь. Я хотел, чтобы Вертоградский чувствовал, что предстоит серьезный разговор наедине.

Когда дверь в мезонин закрылась, я круто повернулся к Вертоградскому. Он зевнул чуть более спокойно, чем это было бы естественно.

– Вы не выспались, Юрий Павлович? – спросил я лениво. – Давайте, может, чаю попьем?

– С удовольствием! – радостно сказал Вертоградский; у него опять отлегло от сердца. – Чайник остыл. Подогреем?

– Ничего, если крепкий, выпьем и так. – Я попробовал чайник. – Он еще теплый.

Я разлил чай, и мы сели друг против друга, оба спокойные и немного ленивые, словно два приятеля собрались поскучать вечером.

– Мы, сибиряки, любим чай, – сказал я. – Вы не из наших краев, случайно?

– Тверяк, – сказал Вертоградский.

– Никогда в Калинин не был. Хороший город?

Вертоградский отхлебнул чаю.

– Мне нравится. – Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Всем своим видом он показывал полное благодушие и довольство. Если он и переигрывал, то разве самую чуточку. – Не знаю, конечно, – добавил он, – что с ним немцы сделали.

– Там и учились? – спросил я.

Вертоградский зевнул:

– Среднюю школу там кончал.



Должно быть, он в уме повторял свои биографические данные, чтобы не сбиться при быстром опросе. Я тоже зевнул.

— А я в Иркутске учился, — сказал я. — Старинный купеческий город. Отец у меня в гимназии преподавал. Математику.

На всякий случай Вертоградский предупредил мои вопросы:

— Я уж стал забывать Калинин. Не был там с тех самых пор, как школу кончил.

— У меня приятель есть из Калинина, — вспомнил я. — Вы в какой школе учились?

— В тринадцатой полной средней.

Я усмехнулся:

— Положим, я не знаю, в какой он школе учился. Сеня Сапожников, не слышали?

— Нет. Он тоже следователь?

— Инженер.

Теперь я хотел, чтобы Вертоградский успокоился. Пусть он решит снова, что ему только показалось, будто я его собираюсь допрашивать. Пусть он поругает себя за излишнюю мнительность.

— Это я только сдуру таким невеселым делом занялся, — продолжал я. — Ни поспать, ни поесть. — Я встал и потянулся. — Спать хочется смертельно, а работы еще до самого утра! Надо писать протокол осмотра. Придется вам одному поскучать.

Я пошел к лаборатории, но в дверях задержался.

— Вы знаете, Юрий Павлович, — сказал я дружески, — придется вас попросить не спать. Мало ли что может слу-

читься. Сами понимаете, какая сейчас обстановка. Надо беречь старика.

— Конечно, конечно, — охотно согласился Вертоградский. — Можете быть спокойны, с места не сойду.

Я кивнул ему головой и закрыл за собою дверь.

## II

Вероятно, я сделал ошибку, оставив Вертоградского одного, но в ту минуту я рассуждал так: пусть Вертоградский побудет один. Пусть он без помех вспоминает разговор со мной, объясняет и истолковывает мои слова, мои интонации, выражение моего лица. То ему будет казаться, что я знаю все, что в любую минуту могу его разоблачить, то, наоборот, что я ничего не знаю, что все это только его мнительность, его излишне возбужденные нервы. Пусть думает Вертоградский и передумывает. От таких мыслей люди становятся еще мнительней, еще неуверенней.

Закрыв за собой дверь, я сел и закурил. Меня поразила тишина. Как-то вдруг я ее услышал и сначала даже не понял, в чем дело. Дождь перестал, и стих ветер. Я открыл окно. С листьев и с крыши одна за другой ритмично падали капли. С водостока они с громким плеском падали в лужу. Падая с деревьев, они ударялись о мокрую травянистую землю, и звук у них был совершенно другой. Раз за разом они повторяли одну и ту же мелодию. Лес спокойно отдыхал от потоков дождя, от свиста ветра. Мелодия, которую выстукивали капли, была такая простая и радостная, как будто лес и земля сложили ее в честь тишины и покоя.

Начинало светать. Наступал тот неуловимый момент,

когда ночь переходит в утро, когда ничто, кажется, не меняется, но, незаметно для глаза, отчетливее становятся контуры предметов, черный цвет неуловимо переходит в серый, и постепенно выступают из темноты не только линии, но и краски предметов. Тучи ушли, звезды выступили на небе, но и небо уже серело, и звезды меркли.

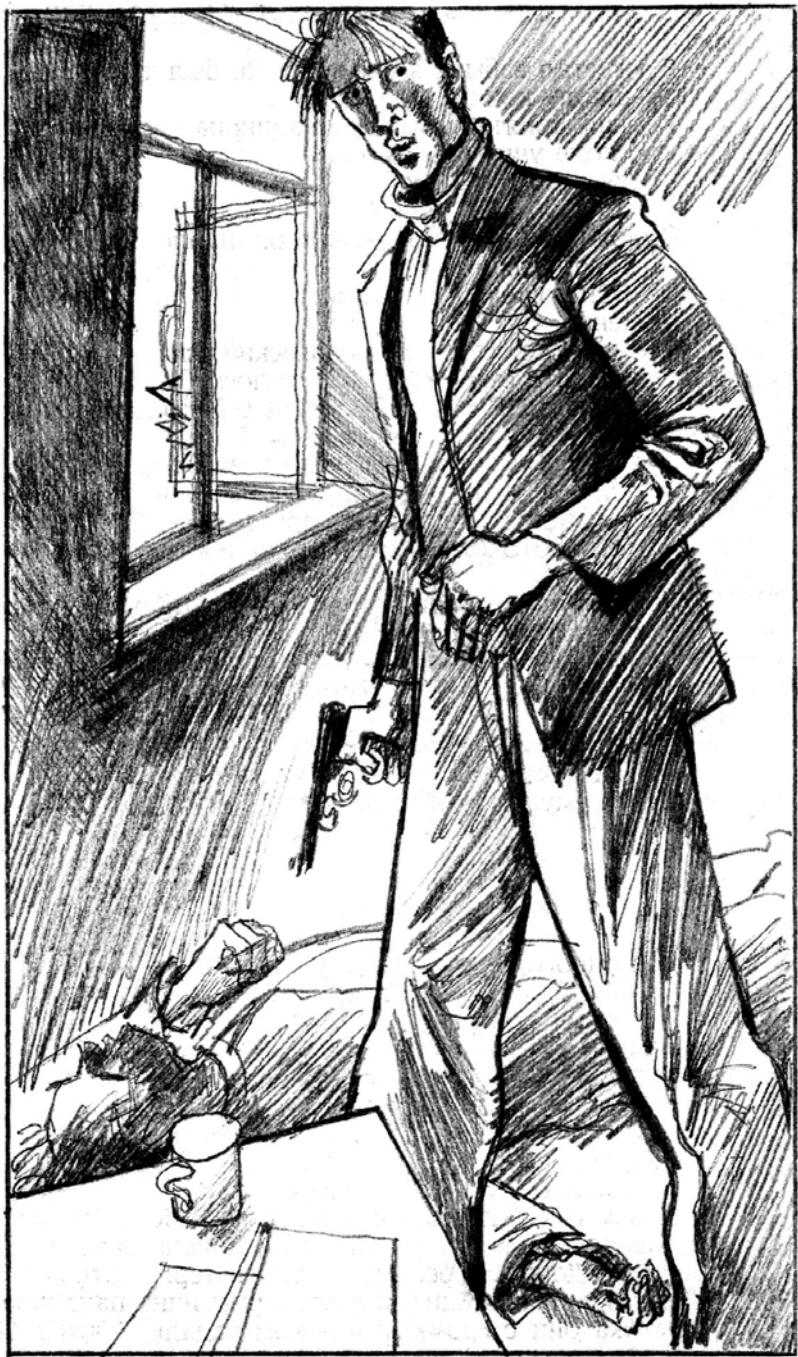
Я залюбовался недвижимым, отдыхающим лесом. Свежий, чудесный воздух я вдыхал с неизъяснимым наслаждением. На минуту я забыл, что за моей спиной на столе лежит труп, а за тонкой дверью ходит не пойманный еще убийца. Очень скоро мне пришлось вспомнить об этом.

Раздался звон стекла и почти сразу за этим выстрел. В два прыжка я оказался у двери и ударом ноги распахнул ее. Посреди комнаты стоял Вертоградский, взволнованный и дрожащий, сжимая в руке наган. У окна, на полу, посреди осколков стекла, лежал вымазанный в грязи, мокрый человек. Тонкая струйка крови вытекала из маленькой дырочки на виске.

— Кажется, я убил его! — задыхаясь сказал Вертоградский.

Я наклонился над трупом. Нетрудно было узнать Грибкова. Я торопливо провел руками по его одежде. Карманы были пусты, вакцины и дневника не было. Я повернулся к Вертоградскому. Костров и Валя торопливо спускались по лестнице. Мне было не до них. Я подошел к Вертоградскому и быстро провел руками вдоль его тела. При нем тоже не было дневника и вакцины. Он смотрел на меня растерянными, полубезумными глазами. Он, кажется, действительно был очень взволнован.

— Как это было? — спросил я резко.



– Разбилось стекло, – сказал Вертоградский. – Я обернулся и увидел – он лезет в окно... Я выстрелил раньше, чем он...

У него сильно дрожали руки – так дрожали, что дуло нагана ходило вниз и вверх.

– Спрячьте оружие, – сказал я и добавил: – Лучше бы вы промахнулись...

За окном раздались голоса.

– Старичков, Старичков! – еще издали кричал Петр Сергеевич.

Я высунулся в окно. Петр Сергеевич, задыхаясь, бежал к дому. В сером предутреннем свете я увидел еще нескольких человек, бегущих за ним.

– Все благополучно? – спрашивал Петр Сергеевич на ходу.

– Благополучно, – ответил я. – Входите.

Он вбежал в комнату, задыхающийся, потный, взволнованный.

– Кто ж его знал, что он сюда побежит! – говорил он. – Ребята мои чуть на него не напоролись... Он все думал – пройдут, не заметят. Ну и угодил в луч фонаря и, сукин сын, так припустил! Ухитрился, черт, обвести их вокруг озера... Кто же мог думать, что он сюда прибежит!.. Это кто – ты его так, Старичков?

Я указал на Вертоградского:

– Юрий Павлович.

– Герой, герой! – заговорил опять Петр Сергеевич. – Прямо герой! Смотри, какие доценты бывают!..

Один за другим входили в комнату запыхавшиеся преследователи. С наганами в руках, возбужденные,

грязные, тяжело дыша, они толпились вокруг лежащего на полу Грибкова.

– Ну, ну, товарищи, – сказал я сердито, – что это вы, в самом деле! Как-никак, следствие идет. Прошу прощения, но придется всем лишним оставить комнату.

По совести говоря, не очень довольные у них были лица. Действительно, жалко было выгонять их на улицу. Но, делать нечего, беспрекословно, один за другим, они вышли из комнаты. Остались Костровы, Вертоградский и Петр Сергеевич.

### III

– Ну-с, Петр Сергеевич, – спросил я, – так значит, товарищ Грибков на хорошем счету в отряде?

Интендант развел руками:

– Артист, ничего не скажешь...

– Ведь ты говорил, что его из другого отряда прислали и вы в том отряде проверили?

– Проверили, – подтвердил Петр Сергеевич. – Так как же?

– Голова кругом идет. Единственное, что на ум приходит – да, наверно, так и есть, – что вышел из того отряда настоящий Грибков, а пришел к нам ненастоящий.

– Не понимаю, – сказала Валя.

– Да очень просто: по дороге убили и забрали документы. Иначе не может быть. Я сам разговаривал с его прежним начальством, спросил, действительно ли к нам партизан Грибков послан. «Действительно, – говорит, – послан». – «А что он, – спрашиваю, – за человек?» – «Хо-

роший, – говорит, – человек». Конечно, надо бы поточней проверить. Ну, что ж делать, не предусмотрели...

Костров с сердцем стукнул ладонью по перилам лестницы:

– Эх, Петр Сергеевич, что мы из-за него потеряли!

– Может, еще и найдется, – успокаивающе сказал интendant.

– Куда там! – Костров махнул рукой. – Я не маленький, я отлично всё понимаю, нечего меня утешать. Конечно, Юрий Павлович не виноват, на его месте каждый бы выстрелил, но, думается мне, этот выстрел нам дорого обошелся.

– Почему же? – спросил Петр Сергеевич.

Хороший он был человек и неглупый, но соображал довольно медленно. Костров был слишком возбужден, чтобы быть вежливым.

– Что же вы, не понимаете, что ли? – резко сказал он. – Да ведь это же яснее ясного. Единственный человек, который мог указать, где вакцина, это Грибков – тот, кто ее украл и спрятал. Подите спросите у него! Где вы искать будете? На болоте? В дуплах? Под кочками? – Костров решительно подошел ко мне, в возбуждении пощипывая бородку. – Я не вмешиваюсь в ваши дела, Владимир Семенович, – сказал он, – вы следователь, а я биолог, и, надо думать, вы лучше меня знаете, как ловить преступников, но только, я вам скажу, есть вещи, которые ясны и неспециалисту. Если бы вместо того, чтобы качаться в качалке и вспоминать с Валею старину, вы сразу занялись делом, так, наверно, вакцина уже лежала бы у меня в кармане.

– Папа, – сказала Валя, – успокойся и перестань. Ты не имеешь права так говорить.

– Нет, имею! – Старик окончательно вышел из себя. – Я годы потратил на эту работу! Я не спал неделями! И я буду жаловаться. Я буду жаловаться на то, что сюда прислали неквалифицированного специалиста – на серьезное дело направили начинающего работника. К тому же еще, извините меня, Владимир Семенович, до крайности легкомысленного...

Он весь кипел. У него, наверно, много еще было в запасе злых и сердитых слов, но он сдержался, махнул рукой, повернувшись быстро поднялся по лестнице и с шумом захлопнул за собою дверь.

Сердитый был старик, но хороший. Мне он всегда нравился, даже сейчас.

Все молчали. Потом Валя сказала:

– Вы извините папу, Володя, он очень нервничает. Ему очень дорога эта вакцина.

Я усмехнулся.

– Это естественно, – сказал я. – Вероятно, я на его месте и не так бы еще ругался. Но простите, товарищи, мне придется продолжать работу. Вас, Валя, я попрошу пойти к Андрею Николаевичу, успокоить его и посидеть с ним. Я буду осматривать труп и заниматься разными вещами, при которых совсем не обязательно присутствовать... Петр Сергеевич, хорошо, если бы вы организовали поиски телеги и лошади. Теперь светает, можно уже этим заняться. Я вас только попрошу поставить вокруг дома охрану.

– Охрану? – удивился Петр Сергеевич. – От кого ж теперь охранять? Ведь Грибков убит.

– Так-то оно так, а все же лучше застраховаться: вдруг у него был сообщник?



– Пожалуйста, – сказал Петр Сергеевич. – Как хотите.

Он кивнул головой и вышел. Я думаю, что в душе он был совершенно согласен с Костровым в оценке моей работы, но он был дисциплинированный человек и считал себя обязанным выполнять мои требования.

– А вам, Юрий Павлович, – сказал я, – советую пойти на кухню – там есть топчан, – лечь и поспать.

– Я не засну, – сказал Вертоградский.

– Ну все равно, посидите, помечтайте, скоро солнце взойдет. Я вас попрошу только из кухни не уходить. Может быть, мне придется попросить вас помочь мне.

– Хорошо, – сказал Вертоградский, – я буду там.

Он вышел на кухню. Валя немного замешкалась. Ей, наверно, хотелось утешить меня в моих неудачах, но она не нашла слов или просто не решилась сказать их и молча поднялась наверх к отцу.

Наконец я остался один.

Я наклонился над трупом. Пуля вошла в висок. Аккуратно, в самую середину виска. Края раны были слегка обожжены. Вероятно, Вертоградский стрелял с очень близкого расстояния, почти в упор. Я еще раз, более тщательно, обыскал одежду. Карманы были пусты. Ни документов, ни даже табака. Тело лежало лицом вниз у самого окна. Ноги упирались в стену несколько выше пола. Очевидно, Грибков уже мертвый вывалился в окно. Это соответствовало словам Вертоградского. Грибков выбил стекло и влезал в комнату, когда его настигла пуля. Он упал, не успев ступить на пол. Подоконник был весь мокрый и грязный. Удивительно много натекло воды и грязи за две-три секунды.

Стекло было выбито целиком. Окно приотворено, правда, совсем немного, сантиметра на два-три. После появления Якимова окно мы тщательно закрыли. Оно, конечно, могло открыться, когда Грибков снаружи нажимал на стекло или раму. Могло быть и так: Грибков выдавил стекло, потом полез в окно. Грузный, большой человек, он с трудом пролезал сквозь раму. В это время рама открылась. А если она была закрыта на шпингалет? Я тщательно осмотрел окно: шпингалет входил в выдолбленное в подоконнике углубление; углубление засорилось, края его стерлись. Если сильно нажать шпингалет, он поднимался сам. Я попробовал это проделать. В лаборатории Кострова не очень-то обращали внимание на крепость запоров. Валя правильно говорила: немцев запорами не удержишь, а воров здесь нет.

С этой точки зрения все было объяснимо. Грибков высадил стекло, пытался пролезть сквозь раму и в этот момент был убит и рухнул на пол у самого окна. Теперь подумаем, зачем ему нужно было лезть в дом.

Застрелив Якимова, он побежал. За ним погнались. Он был растерян, подавлен преследовавшими его неудачами. Якимов бежал, все открылось; надежд на спасение, в сущности говоря, оставалось мало. В этих условиях человек теряется и делает много бессмысленных и нелогичных поступков. Он пытался притаиться, рассчитывая, что погоня пройдет мимо него. Опять неудача: его заметили и окружили. Теперь оставалась надежда только на неожиданный, отчаянный ход. Пожалуй, действительно лаборатория была единственным местом, где его не стали бы искать. Конечно, спастись тут один шанс из тысячи, но в других местах и этого шанса нет. Он бросается к дому.

Тут могут быть две возможности. Заглянув в окно, он увидел, что в комнате никого нет, кроме его сообщника Вертоградского. Может быть, он тихо постучал, знаками умоляя Вертоградского впустить его. Но Вертоградский понимал, что дело проиграно и надо спасать себя. Он отказался. Тогда в ярости, в отчаянии, понимая, что уходит последний шанс, Грибков выдавил стекло и попытался влезть в комнату, и в это время Вертоградский его пристрелил. Поведение Вертоградского логично: убивая Грибкова, он прятал в воду концы и становился даже активным участником поимки преступника. Поведение Грибкова не столь убедительно: Грибков должен был понять, что звон стекла привлечет внимание всех, кто находится в доме. Стекло выпало с громким звоном, а Грибков все-таки лез в комнату. Нелогично, но возможно. Отчаяние, растерянность. Бросается же на человека преследуемая крыса, понимая, что ей с человеком не справиться. Наконец, может быть, Грибков не думал уже о спасении и хотел только отомстить Вертоградскому.

Теперь рассмотрим вторую возможность: не думая, не рассуждая, Грибков лезет в окно с одной целью — отомстить Кострову, мне, Вертоградскому, всем тем, кто его преследует. В этом случае Вертоградский не преступник, а герой, спасший нам всем жизнь.

Первый вариант казался мне более вероятным. Я был убежден в виновности Вертоградского. К сожалению, мое убеждение было построено на доводах таких шатких, таких неубедительных, что они никак не могли послужить материалом для официального обвинения.

Два обстоятельства привлекли мое внимание, и я чув-

ствовал, что их следует хорошенько продумать. Во-первых, выстрел раздался сразу же вслед за звоном стекла. Точно Вертоградский ожидал появления Грибкова в окне! Грибков выдавил стекло и сразу же за тем был убит. Но за эту секунду он успел пролезть сквозь узкую раму настолько, что после выстрела свалился не наружу, а внутрь дома. Во-вторых, подоконник был весь в грязи, но оконный переплет был запачкан очень мало. Я еще раз осмотрел одежду Грибкова. Грязь была и на плечах, и на спине, и на животе; он был в грязи буквально весь, с ног до головы. А боковые части рамы остались чистыми. Не мог же он, протискиваясь сквозь раму, не оставить на ней следов! Кроме того, одежда оказалась совершенно цела: ни пиджак, ни брюки не были разрезаны или разорваны осколками стекол, торчавшими кое-где из оконной замазки. Значит, он лез в открытое окно? Два эти обстоятельства сразу повернули мои мысли в другую сторону.

## Глава девятая

### *Тетрадь и коробка*

#### *I*

У Грибкова не было ни вакцины, ни дневника. Где они могли остаться? Украд телегу, он пришел за Якимовым. Он пришел, чтобы увезти его с Алеховских болот. В это время вакцина, конечно, была у Грибкова. Якимов бежал, Грибков бросился его преследовать. Не мог он успеть спрятать вакцину, не до этого ему было. Нельзя терять ни секунды.

Якимов убит, за Грибковым устремляется погоня. Он бежит. Прятать вакцину снова некогда. Конечно, он может бросить ее в кусты, мимо которых пробегает, или торопливо засунуть в дупло. Во всяком случае, искать ее придется уже не па всему болоту, а только по пути бегства Грибкова. Это значительно легче. Как только рассветет, надо будет заняться поисками. Петр Сергеевич укажет путь, по которому преследовали Грибкова, и мы обыщем каждый кустик.

Когда рассветет... Я посмотрел в окно и увидел, что уже совсем светло. Наступало тихое, ясное утро. Лес, до блеска вымытый дождем, стоял не двигаясь, не дыша. Небо было ясное, чистое, безоблачное. Далеко, за болотами, за лесом, всходило солнце. Тысячи капель на траве и на листьях сверкали одна другой ярче. Длинные тени деревьев легли на поляну. Первый красный луч солнца осветил комнату. Я погасил лампу. День начался.

Такой он был хороший, такой радостный, этот день, что вдруг показалась мне неестественной, неправдоподобной та сеть обманов, интриг, преступлений, которой мы все были окружены. Нелепыми казались на фоне этого дня ненависть, хитрость, лживость. Я постоял у окна, с удовольствием вдыхая запах свежей зелени и влажной земли, потом провел рукой по лицу. Пора было возвращаться к работе.

Больше всего меня угнетало, что Вертоградский выскальзывал из моих рук. Якимов, единственный свидетель его преступления, был убит. Соучастник, который мог его выдать, был убит тоже. Мое убеждение ничего не значило. Судье нет дела до предположений следователя, — нужна

улика, бесспорная, ясная, неопровержимая. Улики этой не было, и трудно было надеяться на ее появление. Моей версии Вертоградский мог противопоставить свою, ничуть не менее убедительную, и когда я стал продумывать ее, она даже мне показалась заслуживающей внимания. Очень все хорошо объяснялось и без участия Вертоградского. Предвзятость – это бич следователя. Я знаю, как опасно, как губительно, увлекшись своим предположением, начать подгонять под него факты. Сколько ложных теорий, сколько проваленных следствий бывает в результате излишнего уважения к собственной гипотезе! Может быть, действительно Вертоградский ни при чем? Может быть, следует удовлетвориться тем, что преступник Грибков лежит убитый, отыскать в кустарнике или в дупле спрятанную вакцину и счесть следствие конченным? Но сначала нужно было понять, почему не запачкана рама, через которую протискивался Грибков, и почему так быстро последовал выстрел, после того как разбилось стекло.

Может быть, Грибков открыл окно, полез в него и случайно выдавил стекло. Тогда Вертоградский, который раньше не слышал, как лезет Грибков, вскочил и выстрелил. Собственно говоря, это объясняло и вторую странность. В этом случае вполне естественно, что выстрел последовал сразу за звоном стекла. У меня даже возникло чувство некоторого разочарования: так легко и просто объяснились все неясности. Да, видимо, надо идти искать вакцину. Разумеется, Грибков мог бросить ее в какой-нибудь ручеек или в топкое место или успел засыпать землей. Попробуй тогда найди. Во всяком случае, обыскать лес – это единственное, что теперь можно сделать. На этом

мои обязанности кончаются. Преступник изобличен и убит, для поисков похищенного приняты все меры. Конечно, я в этом принимал довольно мало участия, по что же делать, так сложились обстоятельства. Это одно из тех дел, которые не приносят следователю ни позора, ни славы. Поначалу оно казалось трудным, но потом разрешилось само собой.

Я уже подошел к двери. Я решил позвать Вертоградского, перетащить Грибкова в лабораторию и идти за Петром Сергеевичем, чтобы начинать поиски вакцины. Но у самой двери я остановился. Невозможно было так кончить дело. Пусть это будет предвзятость, пусть это будет что угодно, но я всем нутром был убежден, что Вертоградский виновен.

А нет ли еще другой версии, которая бы так же убедительно объясняла все факты?

## II

Я закурил. Представим себе, что Вертоградский соучастник. Отказаться от этого никогда не будет поздно. Грибков бежит к дому, надеясь, что Вертоградский его спасет. Преследователи отстали, у него есть несколько минут. В комнате свет. Заглянув в щелку, Грибков видит, что Вертоградский один. Он стучит, даже не стучит — только царапает стекло. Тихо, на цыпочках, чтобы никто не услышал, Вертоградский подходит и открывает окно. Шепотом они разговаривают. Грибков просит Вертоградского спрятать его, Вертоградский соглашается. Соглашаясь, он уже знает, что сейчас убьет своего сотоварища по

преступлению. Он говорит Грибкову: «Лезь». Грибков лезет в открытое окно (поэтому нет грязи на раме). В ту минуту, когда он готов уже прыгнуть на пол, Вертоградский локтем ударяет в стекло и сразу же отскакивает на шаг назад. Вероятно, Грибков еще не понимает, в чем дело. Он с удивлением смотрит на Вертоградского, и в этот момент Вертоградский стреляет.

Ну что ж, этот вариант звучит почти так же убедительно, как и другое предположение: Грибков лез в окно без согласия Вертоградского, и Вертоградский его убил, защищая себя, Кострова, меня.

Тут я наткнулся на непреодолимое препятствие: оба варианта были одинаково возможны. Я буду доказывать одно, Вертоградский – другое, и Вертоградский будет оправдан за недоказанностью вины. Я сжал руками виски. Что-то надо было еще найти. Не рассуждение, не предположение, а факт.

Я ходил взад и вперед, думал и передумывал и не мог найти никакого решающего довода в пользу той или другой гипотезы.

«Черт с ним, – решил я. – Так ничего не придумаешь. В конце концов, главное сейчас – найти вакцину».

Вдруг меня осенило. Если я прав и Вертоградский был соучастником Грибкова, если Грибков бежал к Вертоградскому, рассчитывая, что тот его спрячет и спасет, то зачем ему нужно было выбрасывать вакцину в лесу? Наоборот, он должен был передать ее Вертоградскому. После того как раздался выстрел, я был в комнате через секунду или две. Я сразу, хотя и поверхностно, обыскал Вертоградского. При нем вакцины не было. У Грибкова ее тоже



нет. Значит, Вертоградский успел ее спрятать. Одно цеплялось за другое. Если удастся доказать, что Вертоградский спрятал вакцину, этим будет доказано его участие в похищении. Теперь я знал, что мне искать. Я снова стал восстанавливать события. Значит, Вертоградский спрятал вакцину до выстрела. У него было очень мало времени. Не мог же он вести с Грибковым длинные разговоры, искать подходящий тайник, зная, что в любую секунду я, Костров или Валя можем войти в комнату...

Грибков постучал. Вертоградский открыл окно.

«Спрячь меня! За мной гонятся. Здесь меня не будут искать».

«Вакцина и дневник при тебе?»

«Да, вот они».

«Давай, я их спрячу».

Вертоградский торопливо прячет их. Дорога каждая секунда. Он спрятал.

«Теперь лезь».

И тогда удар по стеклу и выстрел...

Все решалось чрезвычайно просто. Если вакцина в комнате, я прав, если ее здесь нет – Вертоградский невинен, как новорожденный младенец.

Метр за метром я стал осматривать комнату. Все половицы были крепко сколочены, ни одна из них даже не шаталась. В бревенчатых стенах спрятать ничего невозможно. Печка? Я осмотрел ее и перетрогал все кирпичи. В печке ничего не было. Я вытащил из глиняного горшка цветы и заглянул внутрь. Я снял со стола скатерть. Я заглянул в чуланчик под лестницей. На полу у стенки стояли запыленные, треснувшие, с отбитыми краями стеклянные

колбы; очевидно, их ставили сюда за ненадобностью. На полке лежали связки бумаг, стояла банка из-под консервов с засохшим клеем и бутылка с чернилами. На второй полке лежали коленкоровые тетради и коробки с глюкозой. Я раскрыл верхнюю тетрадь, надеясь, что она окажется дневником. Но в ней были только чистые листы. Я закрыл чуланчик и снова оглядел комнату. Больше искать было негде.

Я стал думать за Вертоградского. Вот я взял у Грибкова дневник и вакцину. Времени нет, надо сейчас же спрятать. Куда? За дверью Старичков, он сию минуту может войти. Беспомощно я оглядывал комнату. Когда треснула половица, я даже вздрогнул, как будто действительно мне угрожала смертельная опасность.

«Куда, куда спрятать? – мысленно повторял я. – В печке сразу найдут, в чуланчике тоже». И вдруг я нашел единственный верный и простой выход. Я бросился к чулану и распахнул дверь. Я вытащил пачку тетрадей и стал перелистывать их. Белые листы мелькали перед моими глазами. Одну за другой я откладывал тетради в сторону. Эго действительно были чистые тетради. И все-таки я был убежден, что дневник здесь, – настолько убежден, что даже не удивился, когда, раскрыв самую последнюю лежавшую внизу тетрадь, увидел, что она исписана бесконечными рядами цифр. Я осмотрел обложку. Она была смята в середине, и тетрадь, когда я положил ее на стол, слегка согнулась. Ее носили в кармане, сложенную пополам.

Дневник был в моих руках. Теперь дело за вакциной. Конечно, она в одной из этих одинаковых картонных коробок. Но как узнать, в какой? Глюкоза тоже бесцветна, и

ампулы так же запаяны. Я внимательно оглядел стопку коробок. Коробка с вакциной, как и тетрадь, лежала в самом низу. Я узнал ее потому, что она была влажная, – может быть, вода проникла в карман Грибкова, может быть, он просто держал ее мокрой рукой. Она не могла бы быть влажной, если бы все время находилась в чулане.

Я так заволновался, что чуть было не позвал Кострова, но, к счастью, сдержался вовремя. Дневник и вакцина были в моих руках, но Вертоградский не был изобличен.

### III

Я взял чистую тетрадь и согнул ее пополам так, чтобы на ее переплете образовались морщины. Смочил водой одну из коробочек с глюкозой. Тетрадь я положил под стопку с тетрадями и мокрую коробку – под стопку коробок. Дневник и вакцину я спрятал к себе в карман. После этого я закрыл дверцу чулана и позвал Вертоградского.

Он вошел сразу же. Как он ни был хладнокровен, а все же, наверно, здорово волновался, сидя на кухне. Небось, десять раз проверял и продумывал, не допустил ли ошибки, не забыл ли чего-нибудь. Войдя, он кинул на меня быстрый взгляд. Думаю, что у меня был достаточно спокойный и усталый вид. Он, по-видимому, успокоился.

– Давайте, Юрий Павлович, перенесем Грибкова в лабораторию.

Мы положили Грибкова в лаборатории на полу и прикрыли его одеялом. Теперь убийца и убитый лежали в одной комнате.

– Ну как, Владимир Семенович? – спросил Вертоградский. – Обнаружили что-нибудь важное?

– Нет, – сказал я. – Но некоторые надежды найти вакцину у меня появились.

Он живо заинтересовался.

– Да? – спросил он. – Каким же образом?

Я стал увлеченно объяснять ему, что Грибков мог спрятать вакцину только около дома, потому что рассчитывал бежать с болот и, конечно, носил ее при себе.

Вертоградский оживился.

– Правильно, – сказал он. – Это вы здорово рассудили. Вы знаете, это огромное счастье: вакцина – действительно замечательное открытие. И потом, Андрея Николаевича жалко, он ведь буквально только этим и жил.

Мы с ним еще немного побеседовали на эту тему. Отношения у нас установились чрезвычайно дружественные.

– Самое интересное в вашем деле, – говорил Вертоградский, – это, конечно, не допросы, не обыски, не сбор показаний, а именно работа мысли, когда вы, основываясь на незаметных неопытному глазу данных, делаете точные и ясные выводы, которые потом оправдываются. Это действительно увлекательно.

Ехидный он был человек и, наверно, издевался надо мной в глубине души. Но я на него не сердился за это. Мое слово было еще впереди.

Мы с ним вымыли подоконник и пол возле окна, убрали осколки стекла и вообще уничтожили все следы происшедших событий. Мы работали, как добрые товарищи, помогая друг другу.

Солнце поднялось над деревьями. Был седьмой час утра.

– Когда же вы будете лес обыскивать? – спросил Вертоградский.

– Вот Петр Сергеевич придет, – сказал я, – сразу и отправимся.

Петр Сергеевич легок был на помине. Он вошел веселый и энергичный, как будто всю ночь крепко проспал у себя в постели.

– Доброе утро, – сказал он.

– Нашли телегу?

– Как же, как же! Шагах в пятнадцати от дороги. Я ее там и оставил. Потом пойдем с вами посмотрим.

Петр Сергеевич посмотрел на меня и на Вертоградского. Что-то ему нужно было сказать, и он не решался.

– Выкладывайте, Петр Сергеевич, – помог я ему. – Что у вас там еще?

– Так ведь сегодня ночью... – Он опять замялся.

– Ну, ну? – поддержал я его.

– Сегодня ночью, – решился наконец Петр Сергеевич, – самолет прилетит. Я связался с Москвой, мне говорят: «Как Старичков решит. Если он не возражает, отправляйте Костровых во что бы то ни стало».

– Ну, до ночи еще далеко, – сказал я.

– Да ведь как далеко! Пока до аэродрома доберутся, то да сё... Часа через два надо выезжать.

– Ну что ж, – сказал я, – дело хорошее. Конечно, надо старика отправлять.

Петр Сергеевич опять замялся:

– А старик не упрется? Он ведь ой какой характерный!

– Из-за того что вакцины нет?

– Да.

Я посмотрел на Вертоградского.

– Мы с Юрием Павловичем думаем, – сказал я, – что найдется вакцина.

Вертоградский потер руки с довольным и немного заговорщицким видом.

– Да, думаю, что найдется, – сказал он.

Удивительно, как быстро входил этот человек в новую роль соучастника следствия! Мы с ним весело подмигнули друг другу. Услыша наши голоса, Валя вышла на лестницу.

– Что случилось? – спросила она.

– Спускайтесь, Валентина Андреевна, Есть новости.

– Какие новости? – Взволнованный Костров уже спустился из своего мезонина.

Петр Сергеевич заложил руки за спину и торжественно произнес:

– Приказ из Москвы, Андрей Николаевич, вам, вашей дочери и Юрию Павловичу сегодня же вылететь в Москву.

– То есть как? – Костров заволновался ужасно. – Без вакцины? Об этом и речи не может быть!

– Простите, Андрей Николаевич, – вмешался я, – время, знаете ли, военное. Приказ говорит точно: отправить вас троих сегодня ночью. Отвечает Петр Сергеевич. Вам ничего не сделают, а его могут судить по законам военного времени.

Петр Сергеевич посмотрел на меня с удивлением, но не только не стал возражать, а даже печально вздохнул: да, мол, вы капризничаете, а мне за вас под суд.

Костров нахмурился и молчал.

– Вы можете, – сказал я, – в Москве добиться, чтобы розыскам вакцины был придан более широкий размах.

Костров насторожился и посмотрел на меня.

Я продолжал, стараясь, чтобы слова мои звучали как можно простодушней и искренней:

– Разумеется, я останусь здесь, но что я могу сделать один, без достаточного опыта? А вы можете потребовать, чтобы послали более квалифицированного следователя.

Он посмотрел на меня из-под сердито нахмуренных бровей. Минута колебаний, и профессор решился.

– Хорошо, – сказал он. – Я полечу, но имейте в виду, что я буду жаловаться не только на тех, кто послал именно вас на это ответственнейшее дело, но и на вас самих. Вы проявили не только неопытность и неумение, но и недопустимую лень, и прямую халатность.

Я молча поклонился.

Петр Сергеевич облегченно вздохнул. У него и так было хлопот по горло. При всей привязанности к семье Костровых, он очень хотел, чтобы они уже были в Москве.

– Завтракайте и собирайтесь, – сказал он. – Часа через два надо ехать на аэродром.

– Часа через два? – Валя засуетилась. – Ой-ой! Надо же поесть что-нибудь. Я тогда печь не буду топить. Чайник на лучинках согрею и поедим холодного. Ладно, товарищи? Юра, идите за водой сейчас же. Скорей, скорей!

– Есть идти за водой! – весело рывкнул Вертоградский и, смешно выворачивая ноги, размахивая руками, выбежал из комнаты.

Петр Сергеевич подошел к Кострову и спросил:

– То, что вы берете с собой, у вас уложено?

– Главное украдено, – ответил Костров, – а остальное – вздор.

– Вы бы лишние бумаги сожгли. Все-таки тыл противника...

– Что ж, это правильно. А где жечь?

– Да хоть в печке, – сказал я.

– У меня все ненужное свалено в угол. Сейчас я начну сносить.

Он ушел наверх за бумагами. На меня он так и не посмотрел. Он просто не замечал моего присутствия. Меня так и подмывало сказать ему, что вакцина уже у меня в кармане и сердиться на меня не за что, но я сдерживался. Мне хотелось закончить дело так, чтобы в Москве не пришлось спорить, виноват Вертоградский или не виноват.

– Когда же вы вакцину найдете? – спросил Петр Сергеевич.

– Успеем, – сказал я. – Вы можете позавтракать с нами?

– Откровенно говоря... – покачал головой Петр Сергеевич, – с временем туго.

Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

– Позавтракайте.

Он прищурился, размышляя. Он понял, что даром я бы не стал настаивать.

– Хорошо, – сказал он.

Костров спустился сверху со связкой бумаг, положил их в печь и отодвинул заслонку. Я протянул ему спички, но он вынул из кармана свои. Он не хотел от меня никаких одолжений. Бумага весело запылала. Костров сходил еще раз наверх и принес огромную кипу. Вбежала Валя со стопкой тарелок и заставила меня расставить их на столе. Петр Сергеевич пристроился с кочергой к печке и стал ворошить горящие бумаги. Кажется, у всех, кроме Кострова, было приподнятое настроение, несмотря на события прошлой ночи. Вертоградский шумно влетел с ведром, полным воды, и стал требовать, чтобы мы посмотрели,



какой он ловкий. Валя прикрикнула на него, отняла ведро и послала за ножами и вилками. Меня она заставила резать хлеб, Петру Сергеевичу велела нести стаканы. Она успокоилась только тогда, когда мы все были заняты делом.

Андрей Николаевич по-прежнему был молчалив и хмур. Он поднимался наверх, спускался, таща кипы бумаг, и как будто не замечал охватившего всех возбуждения.

Общими усилиями накрыли на стол. Принесли колбасу, соленые грибы и большой горшок кислого молока. Костров свалил у камина последнюю пачку бумаг и коротко сказал:

– Всё.

Валя внесла чайник.

– Прошу вас, товарищи, – сказала она, – на последний торжественный завтрак в лесной лаборатории профессора Андрея Николаевича Кострова.

## Глава десятая

### *Последний завтрак*

#### *I*

Мы сели вокруг стола. Вертоградский посмотрел на Кострова умоляюще.

– Андрей Николаевич, – сказал он, – вы знаете сами, что я страстный противник всякого пьянства. Вы знаете, что от рюмки водки меня пробивает дрожь отвращения. Но тем не менее кажется мне, что сегодня, ввиду чрезвычайных обстоятельств, а также того, что мы все провели тяжелую и бессонную ночь, и еще потому, что нам предстоит пробить

несколько часов на сыром, зараженном болоте, следовало бы выпить спирту, или, как иногда говорят, хлопнуть по стопочке.

– К сожалению, у меня нет спирта, – хмуро ответил Костров.

– Андрей Николаевич, – сказал Вертоградский, – я понимаю, что бывает святая ложь, но она все-таки ложь. Должен сказать, что, мучительно ненавидя этот вредный напиток, я всегда очень точно слежу за его расходом и готов сейчас прозакладывать голову, что одна бутылка этой гадости лежит у вас в том ящике, где книги.

– Конечно, – сказал Петр Сергеевич, – по такому случаю выпить не грех.

– Может, позволишь, папа? – спросила Валя.

Костров хмыкнул очень неопределенно.

Это можно было принять и за согласие и за отказ. Вертоградский предпочел принять за согласие.

– Я сейчас принесу, – сказал он и с такой быстротой взлетел по лестнице, что Костров не успел и слова сказать.

Впрочем, он, видимо, не собирался спорить. Он даже слегка улыбнулся торопливости Вертоградского.

Вертоградский сразу же сбегал вниз и, торжествуя, поставил на стол бутылку. Разлили по кружкам, и Валя предложила тост за Красную Армию. Вертоградский сразу же налил снова.

– Времени мало, товарищи, – сказал он. – За Андрея Николаевича! За то, чтобы украденное нашлось, чтобы и про нас потом могли сказать: «Они помогли победе!»

Костров нахмурился.

– Рано за это пить. – Он встал и поднял кружку. – Вы-

пьем, друзья, за Якимова!.. – Он помолчал. – Мы перед ним виноваты. Всю жизнь он работал как настоящий ученый и умер как настоящий ученый.

Мы все поднялись и в молчании выпили этот торжественный и печальный тост. Потом Вертоградский подобрал еще бумаги в печь, Петр Сергеевич заговорил о военных событиях, и постепенно за столом стало опять оживленно. Я посмотрел на часы. Оставалось часа полтора до отъезда. Пора было начинать последнее действие. Пока я продумывал, как перевести разговор на нужную тему, Костров неожиданно мне помог.

– Да, Владимир Семенович, – сказал он, – выпили бы и за вас, но, к сожалению, пока что не вижу повода.

Нельзя сказать, чтобы это была особенно любезная фраза, но по сравнению с полным игнорированием моего существования она являлась некоторым шагом вперед.

– Что делать, Андрей Николаевич! – сказал я с виноватым видом. – И на старуху бывает проруха.

– Папа, – вмешалась Валя, – ты напрасно обижаешь Володю. Мы подозревали Якимова, а Владимир Семенович с самого начала его защищал.

– Но с Грибковым, – упрямо сказал Костров, – расправился все-таки Юрий Павлович.

– Тут моей заслуги немного, – скромно сказал Вертоградский. – Положение было безвыходное: или он меня, или я его. Просто выпалил с перепугу, и всё.

Я постарался, чтобы у меня был как можно более простодушный вид. Я хотел, чтобы все сидящие за столом поняли, что я огорчен своей неудачей, но, как парень добродушный и веселый, не обижаюсь на шутки и даже готов подшутить над собою вместе со всеми.

– Конечно, – сказал я, – лучше бы вы его только ранили, тогда его можно было бы допросить... Ну, ну, не сердитесь. Это просто досада следователя-неудачника. Подумайте только, как мне не повезло! За все следствие – ни одного допроса. Я вчера сгоряча даже Юрия Павловича обыскал.

Я сам засмеялся, и все засмеялись тоже. Действительно, это было смешно: простак-следователь, который, не умея поймать преступника, обыскивает всех без разбору, лишь бы что-нибудь сделать.

– Представьте себе, – сквозь смех говорил Вертоградский, – подошел и быстро – раз, раз!

Он вскочил из-за стола и очень живо изобразил всю сцену обыска. Сцена была исполнена не без юмора и, пожалуй, не без наблюдательности. Я смеялся так же, как все.

– Надо же было мне себя проявить, – объяснил я смеясь. – Следователь я, черт возьми, или нет?

Перестав смеяться, Вертоградский сел к столу и сказал серьезно и дружелюбно:

– Я не обижаюсь, Владимир Семенович. Я понимаю обязанности следователя. Очень было интересно следить за вашей работой. Удача, в конце концов, дело случая, но проницательность вы проявили большую. Когда вы говорили, что Якимов не виноват, казалось, что факты все против вас. Честно говоря, я и сейчас не понимаю, как вы почувствовали это.

Он сам вызывал меня на разговор. Ну что ж, я охотно шел ему навстречу. Из всех присутствующих только я один знал, чем этот разговор кончится.

## II

– Видите ли, Юрий Павлович, – сказал я, – против Якимова было слишком много улик.

Вертоградский удивленно на меня посмотрел:

– Это следовательский парадокс?

– Нет, житейское правило.

Вертоградский пожал плечами:

– Вчера вы говорили наоборот: улик недостаточно.

Я усмехнулся.

– В сущности, это одно и то же. Улик было так много, что они вызывали сомнение.

Я говорил спокойно, неторопливо, как будто припоминая ход своих мыслей. Петр Сергеевич, Валя и Вертоградский слушали меня с интересом, как обычно слушают специалиста, рассказывающего о своей работе. Костров, отвернувшись, смотрел в окно и беззвучно барабанил пальцами по столу, желая этим показать, что мой рассказ совершенно его не интересует.

– Мне показалось, – продолжал я, – что меня настойчиво убеждают в виновности Якимова. Это заставило меня насторожиться. А тут случилась еще история с запиской. Я говорил уже, что не верю в кающихся шпионов. Да еще пишущих по-немецки. Да еще готическим, а не латинским шрифтом.

– А какую роль играет шрифт? – спросил Вертоградский. – Этого я не понимаю.

Он, конечно, понимал это не хуже меня, но я объяснил терпеливо:

– Попробуйте написать что-нибудь готическим

шрифтом; вы увидите, что остроконечные, готические буквы делают почерк неузнаваемым.

Я немного больше задержал на нем свой взгляд, чем это было бы естественно. Ровно настолько больше, чтобы у него мелькнула мысль, не знаю ли я, не догадываюсь ли. Потом я отвел глаза. Вертоградский усмехнулся, но мне его усмешка показалась не очень искренней.

– Очень остроумно, – сказал он. – Мне это совершенно не приходило в голову.

– Тогда пришлось предположить, что Якимов похищен.

– Почему похищен, а не убит? – спросил Костров.

Ом наконец заинтересовался моим рассказом, уже не смотрел в окно и не барабанил пальцами по столу.

– Это мне подсказали вы, – сказал я.

– Я?

– Конечно. Дневник шифровал Якимов, у него был ключ шифра. Как же можно было убить Якимова?

– Верно! – воскликнула Валя; она была очень увлечена моим рассказом.

– А тут еще телега, – сказал я. – Я ждал чего-нибудь в этом роде – телеги, автомобиля, просто лошади. Живого человека на руках не унесешь. Когда исчезла телега, я понял, что был прав.

Петр Сергеевич хлопнул ладонью по столу.

– Здорово! – сказал он. – Это здорово. Надо выпить за следователя.

– Спирту у нас меньше, чем тостов, – сухо сказал Костров и, повернувшись к Петру Сергеевичу, продолжал совсем другим, дружеским тоном: – Через час, через другой мы расстанемся с вами, Петр Сергеевич. Хочу вам на

прощанье сказать, что я все помню. Может, вам иногда казалось, что я не понимаю, как много вы для нас сделали... — Он кашлянул немного смущенно: — Я не особенно разговорчив... — Он поднял кружку:

— Ваше здоровье, дорогой друг!

Петр Сергеевич встал и вытер губы. Поднялся и Костров. Они поцеловались троекратно, как полагается в этих случаях. Потом подбежала Валя к Петру Сергеевичу, потом подошел Вертоградский. Интенданта обнимали, целовали и растрогали вконец. Он даже всхлипнул от глубины чувств и чуть было не прослезился.

— Спасибо, друзья, — сказал он. — По совести говоря, сколько раз я мечтал сплавить вас подальше куда-нибудь, в Москву или на Урал.

— Помилуйте, — закричала Валя, — что ж мы вам — надоели тут?

— Ну, знаете, — Петр Сергеевич развел руками, — конечно, приятно иметь в партизанском отряде научно-исследовательскую лабораторию, но хлопотно, не буду скрывать, очень хлопотно. Как-то Алеховские болота мало приспособлены для научной работы.

— Позор! — сказал Вертоградский. — Мы к нему с открытой душой, с дружбой, а он, оказывается, нас выгнать хотел.

— Хотел, хотел, — признался Петр Сергеевич, — а сейчас жалко будет расстаться. Вернемся домой, станем жить-поживать, а ведь этого никто из нас не забудет. Тысячу раз будем вспоминать и страшное, и смешное, к грустное. Детям нашим будем рассказывать. Как, Валентина Андреевна?

– Будем, – уверенно сказала Валя.

Петр Сергеевич повернулся к Кострову:

– Андрей Николаевич, вернетесь в наш город после войны?

– Как только лаборатория будет восстановлена, так и вернусь, – сказал Костров.

– За этим дело не станет. Если в лесу наладили, так в городе уж как-нибудь. – Петр Сергеевич поднял кружку: – Ну, по последней – за встречу!

Все выпили. Выпил и я, хотя и чувствовал себя в этом тосте лишним. Действительно, про эту дружбу между профессором и интендантом можно было сказать, что она прошла и огонь и воду. Разные судьбы были у этих людей, в обыкновенное время – разные интересы, разная жизнь, а, пожалуй, теперь, прожив это время так, как они прожили, до конца жизни станут профессор и партизанский начхоз близкими друзьями.

Застучали вилки и ножи. Вертоградский хвалил грибы, Петр Сергеевич с аппетитом уплетал колбасу, мы с Костровым налегали на кислое молоко.

Следовало вернуться к разговору, который еще далеко не был кончен. Я сразу взял быка за рога.

– Да, – сказал я, – как бы мы весело завтракали сегодня, если бы вакцина и дневник были найдены и возвращены Андрею Николаевичу!

### *III*

Костров вздрогнул от неожиданности, сердито на меня посмотрел и отвернулся.



Наступила пауза. Все только отвлеклись от этой проклятой темы, только развеселились немного, а я, как нарочно, снова к ней возвращался.

Вертоградский нахмурился. Петр Сергеевич посмотрел на меня удивленно и недовольно, а Валя, добрая душа, только спросила очень дружески:

– А почему не удалось найти, Володя?

Она хотела дать мне возможность объяснить всё и оправдаться. И Вертоградский хотел мне помочь.

– Это я виноват, – сказал он. – Все концы Грибков в могилу унес.

– Трудное было следствие? – спросила Валя.

Я пожал плечами и улыбнулся.

– Не следовало бы мне говорить, так как я ничего не добился, но все же скажу: нет, не особенно трудное.

– Какие же тогда бывают трудные дела? – удивился Петр Сергеевич.

– Ну, – сказал я, – в разное время разные...

– Что же было бы, – спросил Костров (ядовитый он был старик!), – если бы вам пришлось столкнуться с трудным делом?

Я промолчал. Петр Сергеевич встал и подошел к окну.

– Солнце высоко, – сказал он. – Надо вам собираться. И мне давно пора.

Жестом я остановил его:

– Десять минут не расчет, Петр Сергеевич, подождите.

Я допил чай и поставил стакан на стол. Еще раз прикинул в голове все то, что мне предстоит сказать Вертоградскому. Я чувствовал, что он насторожился. То, что я без всякой видимой причины задержал Петра Сергеевича, не прошло для него незамеченным. Кажется, Андрей Николаевич и Валя тоже почувствовали, что я не случайно попросил остаться партизанского интенданта. Оба они посмотрели на меня внимательно и выжидающе.

Я заговорил подчеркнуто спокойно, даже немного небрежно:

— Вы знаете, Юрий Павлович, даже вот в этом нашем деле, хотя, казалось бы, преступник изобличен и убит, многое кажется неясным.

— Ах, так? — заинтересованно сказал Вертоградский. — На мой дилетантский взгляд, все решено и ясно.

Я не смотрел на Вертоградского и сказал, не обращаясь ни к кому в особенности, как бы просто размышляя вслух:

— Мне думается, что у Грибкова должен быть сообщник.

— Неужели это еще не кончилось? — тоскливо сказала Валя.

— Конечно, не кончилось, — буркнул Костров. — Вакцины-то ведь нет? Мы не знаем, где она.

Вертоградский пожал плечами:

— Под любым деревом, в любой куче валежника. Лес велик.

Но я, не сбиваясь, продолжал раздумывать вслух:

— Найдем мы вакцину или не найдем, а сообщника найти мы должны.

– Откуда сообщник? – удивился Вертоградский.

– Давайте рассуждать. Убить Якимова Грибков мог и один. Но связать, заткнуть рот и спрятать... подумайте сами. Якимов был здоровый, сильный человек.

– Грибков мог его оглушить, – сказал Вертоградский.

– На голове у Якимова нет повреждений.

– Может быть, наркоз?

– Допустим. – Я закурил папиросу и некоторое время ходил по комнате, как бы раздумывая, могли ли Якимова усыпить наркозом. – Допустим также, – сказал я, – что Грибков выследил, где хранится вакцина. Но не кажется ли вам странным, Юрий Павлович, что он уверенно заходит в лабораторию, не зная, спите вы или нет? Ведь, согласитесь, это очень рискованно.

– Да, конечно, – сказал Вертоградский, но, подумав, добавил: – Правда, я сплю очень крепко.

Мы говорили спокойно, неторопливо, будто рассуждали на интересную, но лично нас не касающуюся тему.

– Мы-то знаем, что вы спите крепко, – засмеялся я, – но откуда мог это знать Грибков?

Вертоградский усмехнулся тоже:

– Должен сказать, что эта моя несчастная особенность известна довольно широко. Об этом могли говорить при Грибкове. Я знаю, что надо мной немало шутили в отряде.

– Хорошо, – согласился я. – Это, конечно, возможно. Но откуда Грибков знал, что дневник зашифрован? Это ведь было известно только своим. Об этом не могли говорить в отряде. А если он не знал, что дневник зашифрован, почему он просто не убил Якимова? Это было бы гораздо легче.

– Вообще говоря, вы правы, – нахмурился Вертоград-

ский, – рассуждение интересное. С другой стороны, последнее время. Грибков довольно часто к нам заходил. Он сделал вот эту качалку. Он сколачивал ящики. Я не помню точно, но, по-моему, он чуть ли не каждый день бывал. Он мог подслушать какой-нибудь наш разговор о шифре.

– Тоже возможно, – коротко согласился я. – А появление записки вам не кажется странным?

Вертоградский откинул голову на спинку качалки и положил руки на подлокотники. Он был безмятежно спокоен. Слишком спокоен, чтобы это могло быть естественным. Я стоял перед ним, засунув руки в карманы, и смотрел на него в упор. Теперь уже, кажется, все в этой комнате почувствовали скрытое напряжение нашего разговора. Костров, который подсел к печке и ворошил кочергой пылающие бумаги, так и застыл с кочергой в руке и, повернув голову, недоуменно смотрел то на меня, то на Вертоградского. Валя держала в одной руке полотенце и, кажется, совершенно забыла, что собиралась вытирать тарелки. Петр Сергеевич, как человек боевой, уже сунул руку в карман, очевидно решив, что скоро понадобится револьвер, хотя и совершенно не понимая, на кого придется его направить.

– Несчастный вы народ, следователи! – вздохнул Вертоградский, все еще спокойно раскачиваясь. – Все вам кажется подозрительным. Трудно вам жить, Владимир Семенович...

– Думаю, – сказал я, – что дальше вы, Юрий Павлович, сами со мной согласитесь.

– Послушаем, – сказал Вертоградский.

– Вчера днем я сказал, – продолжал я неторопливо, –

что улик против Якимова недостаточно. И вот через пятнадцать минут Андрей Николаевич приносит якимовскую записку. Не правда ли, неожиданное совпадение?

— Позвольте... — Костров отложил кочергу, встал и подошел ко мне. — Позвольте, Владимир Семенович, ведь как раз в это время Грибков принес мне ящики!

— Да? — спросил я. — А вы видели, что Грибков писал записку?

— Нет, конечно, не видел. — Костров был страшно возбужден. — Но я также не видел, чтобы Юрий Павлович ее писал.

Имя было названо. Пожалуй, только Костров не понял, что сказанная им фраза резко изменила характер разговора. До сих пор — внешне, по крайней мере, — это был обыкновенный дружеский разговор. Одна фраза Кострова превратила его в допрос. Все остальные почувствовали это сразу.

— Папа, — воскликнула Валя, — почему Юрий Павлович? Костров растерянно оглядел нас всех.

— Я не знаю... — сказал он. — Я думал, мы просто так говорим, к примеру... Это же не допрос.

Это был именно допрос, и его нельзя было прекратить. Раз имя подозреваемого было названо, разговор должен был продолжаться до конца.

Теперь Вертоградский решил обнажить существо разговора. Он усмехнулся и встал с качалки. Мы с ним стояли друг против друга, и мне приходилось смотреть на него снизу вверх, потому что он был выше меня на целую голову.

## Глава одиннадцатая

### *Улик достаточно*

#### *I*

– Нет, это именно допрос, – подтвердил Вертоградский.  
– Но вы не смущайтесь, Андрей Николаевич. Я понимаю Владимира Семеновича, он обязан всех допросить.

Я был по-прежнему дружелюбен.

– Конечно, – согласился я. – Мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину, и Юрий Павлович – не меньше других. Не надо только называть это допросом. Просто беседа, имеющая целью помочь следствию.

Костров переводил испуганный взгляд с Вертоградского на меня и с меня на Вертоградского. Очень несчастный вид был у старика. Я чувствовал, что он сам пугается мыслей, которые невольно приходили ему в голову.

– Итак, давайте продолжать наши рассуждения, – сказал я. – Вернемся к записке...

Я говорил по-прежнему спокойно, ни на кого не глядя, просто размышляя вслух. На секунду у меня мелькнула была мысль, что, быть может, опасно выпускать из виду Вертоградского, но, взглянув на Петра Сергеевича, я успокоился: он сидел на окне с видом чрезвычайно решительным. Не зная еще, как развернутся события и кто окажется виноват, он, видимо, твердо решил, что его долг не дать виноватому бежать.

– Видите ли, Андрей Николаевич, – продолжал я, – свой человек, находясь в комнате, всегда сможет написать за-

писку так, что никто не обратит на это внимания. Но когда чужой приходит в дом по делу на десять минут, он на виду все время. Как же мог написать Грибков записку, находясь с вами и с Юрием Павловичем в одной комнате? Ведь для этого надо достать карандаш, бумагу, сесть. Как хотите, а мне это кажется невероятным. Потом, какая случайность: он оказывается под окном как раз тогда, когда я говорю, что улики против Якимова недостаточно.

— А может быть, находясь под окном, — перебил меня Вертоградский, — и услыша ваши слова, он там же и написал записку? Так ведь тоже могло быть. Тогда наверху ему оставалось только сунуть записку в книгу. Ну, а это он, конечно, мог незаметно сделать.

— Может быть, — согласился я. — Удивительно только, как все время везло Грибкову... до самой его встречи с вами.

— Зато при встрече со мной, — насмешливо подхватил Вертоградский, — ему решительно не повезло.

Костров вдруг обрадовался.

— Вот-вот, — закивал он головой, — правильно, правильно!

Старику ужасно не хотелось разочаровываться в своем ассистенте. Как всякий хороший и честный человек, он надеялся, что и все вокруг окажутся честными и хорошими. Тем более, что его еще мучила совесть, что он так поспешно обвинил Якимова! Он повернулся ко мне с вопросительным и просящим видом:

— Владимир Семенович, это ведь действительно снимает все подозрения с Юрия Павловича!

— Вы только не подумайте, — мягко сказал я, — что я

обвиняю Юрия Павловича. У нас разговор предположительный. Но допустите на одну минуту, что Юрий Павлович – засланный агент.

Костров возмущенно пожал плечами.

– Ну, знаете... – начал он.

Но Вертоградский его перебил:

– Ничего, продолжайте, Владимир Семенович.

Я улыбнулся:

– Хорошо, будем продолжать. Значит, Юрий Павлович, вы, с вашего разрешения, засланный агент. Причем самый квалифицированный, самый ценный.

Вертоградский вежливо поклонился:

– Спасибо за комплимент.

– Ваша задача, – дружелюбно продолжал я, – стоять в стороне и не попадаться. Ваша работа далеко впереди. Вам нужно сохранить себя для нее. Грибков вас знает. Вы были с ним и раньше связаны. Может быть, даже именно он передал вам указание уйти в глубокое подполье и ждать. Важнее всего для вас – не выдать себя. Поэтому вы вовсе не хотите помогать Грибкову в его работе. Но события поворачиваются так, что Грибков оказывается в опасности. Что вы будете делать?

Вертоградский подумал, нахмурился и пожал плечами.

– Ей-богу, – сказал он, – ничего не приходит в голову.

– Но это же совершенно ясно, – удивился я, – как вы сами не догадываетесь? Помогать Грибкову рискованно, но, если он попадется, риск еще больше. Вы совершенно не гарантированы от того, что он вас не назовет на допросе. Конечно же, вы будете пытаться спасти Грибкова. Правда ведь?



Вертоградский улыбнулся широкой, добродушной улыбкой.

– Вы совершенно правы, Владимир Семенович, – согласился он. – Разумеется, если бы я был немецким агентом, я бы попытался Грибкова спасти. Но ведь вы хорошо знаете, что я его не спасал.

– Конечно, конечно, – улыбнулся я. – Но представим себе на минуту, что вы фашистский агент, а спасти Грибкова не можете. Что вы должны делать в этом случае? Не догадываетесь? Вы ведь умный человек. Конечно, вы должны любой ценой заставить его замолчать.

– Вы хотите сказать, – медленно проговорил Вертоградский, – убить его?

– Да, – согласился я, – убить. Кстати, мы уже говорили, что вам нужно выдвинуться. А убийство немецкого шпиона – это акт героический.

Молчал я, молчал Вертоградский. В комнате было очень тихо. Так тихо, что слышно было взволнованное, неровное дыхание Вали. Вертоградский рассмеялся и сказал громко и весело:

– Достоевский говорил, что психология – палка о двух концах. Вы бьете больно, Владимир Семенович, но не забудьте, что палку можно и повернуть!

Я наклонил голову:

– Поверните.

## II

– Разрешите теперь, – сказал Вертоградский, – немного порассуждать и мне. Представим себе на минуту, что я

действительно нахожусь под следствием. Что я мог бы в этом случае ответить вам? Я бы ответил следующее: у каждой профессии, дорогой Владимир Семенович, есть свои профессиональные болезни: у наборщика – свинцовое отравление, у часовщика – близорукость. Ваша профессия страдает своей болезнью. Эта болезнь – подозрительность и избыток воображения. Стечение обстоятельств кажется вам достаточным для обвинения человека. Между тем, если посмотреть на дело спокойно и не предвзято, то ведь все это будет выглядеть совсем не так убедительно. Все, что вы говорите, Владимир Семенович, это психология, рассуждения, более или менее убедительные, но вовсе не доказательные. Ведь конкретного-то ничего нет... – Он наклонился ко мне и сказал тихо и внятно: – Улику, Владимир Семенович, хотя бы одну улику!

Он был совершенно прав. К сожалению, все это были одни рассуждения. Но я все-таки думал, что улику мне получить, удастся. Несмотря на внешнее спокойствие Вертоградского, я чувствовал его растущую растерянность. Вряд ли он ждал, что я буду говорить с ним так прямо. Естественно с его стороны было предположить, что, если я затеял этот разговор и открыл свои карты, значит, у меня есть неизвестные ему доказательства. Мысль эта наверняка его беспокоила и лишала выдержки и стойкости. Я решил еще раз испытать его нервы.

– Только не забывайте, Юрий Павлович, – сказал я ласково, – что мы говорим предположительно. Это дружеский разговор, не более. – Я помолчал и рассмеялся. – Но, каюсь, Юрий Павлович, после истории с запиской я послал радиogramму в Москву – проверить, учились ли вы в Московском университете.

Я замолчал. Хотя Вертоградский действительно учился в Московском университете и ему нечего было опасаться ответа на мою радиogramму, но он с таким напряжением ждал подвоха с моей стороны, так боялся совершить ошибку, сказать не то, что следует, что молчал, видимо, соображая, не могло ли из университета прийти разоблачение. Все почувствовали странность его молчания.

– И вам ответили, что он не учился? – волнуясь спросил Костров.

– Что вы, Андрей Николаевич! – удивился я. – Я бы тогда просто арестовал Юрия Павловича.

Вертоградский засмеялся коротким и резким смехом.

– Какое счастье, – сказал он, – что не напутали в архиве!

– К счастью, путаницы не произошло, – успокоил я его.

Вертоградский вздохнул, шутливо изображая чувство величайшего облегчения.

– Значит, я могу себя считать реабилитированным? – спросил он. – Валя, налейте оправданному чаю, у него от волнения пересохло в горле.

Нехороший был у него при этом вид. Вероятно, действительно у него пересохло в горле. Он был бледен, и шутка его прозвучала неестественно. Настолько у него был странный вид, что Валя растерянно на него посмотрела и немного отодвинулась, когда он к ней подошел. Он не обратил на это внимания, сам налил себе чаю и сел.

Но наш разговор далеко еще не был кончен. Я подошел и снова стал против него. И снова, не отрывая глаз, на нас смотрели Костров, Валя и Петр Сергеевич.

– У меня ведь, как вы сказали, профессиональная болезнь, – снова заговорил я. – На всякий случай я спросил у

вас, в какой вы школе учились, и послал радиogramму в Калинин.

Он поднял на меня глаза. Они были насмешливо прищурены. Я думаю, Вертоградский прищурил их для того, чтобы я не увидел их выражения.

— Предусмотрительно, — сказал Вертоградский. — Но могла произойти путаница в калининском архиве.

— Могла, — согласился я, — но не произошла. В Калининне уничтожены архивы перед занятием города немцами.

Вертоградский рассмеялся раскатисто и громко. Немного слишком громко, немного слишком раскатисто... Мы ждали все, когда он кончит смеяться, и я видел ужас в глазах и Кострова и Вали. Не мог так смеяться человек, уверенный, что никакое разоблачение для него не опасно. Он наконец замолчал и отхлебнул чаю.

— Тогда пошлите радиogramму в родильный дом, — сказал он. — Может быть, я и не родился.

Я оперся на стол и приблизил лицо к его лицу.

— Этого не нужно, — сказал я. — В какой вы, говорите, школе учились?

Он посмотрел на меня и спросил:

— А что?

— Помните, вы ночью рассказывали мне, что в тринадцатой? Это несчастливое для вас число: в Калининне всего десять средних школ.

Опять наступила пауза. Я смотрел на него внимательно. Он растерялся. Моя уверенность подействовала на него. Он попался даже легче, чем я ожидал. Он несколько раз пошевелил губами, прежде чем начать говорить.

— Так... — сказал он. И опять замолчал. Потом отпил еще

чаю. – Отвечу вам тоже психологическим рассуждением. Я чувствовал, что вы меня подозреваете, разумеется нервничал и напутал. Я и сам тогда заметил и сразу поправился бы. Но боялся, что вам покажется это подозрительным, и промолчал. Я учился в школе номер восемь, в доме номер тринадцать по улице Энгельса.

Вертоградский помолчал. Постепенно он снова обрел хладнокровие. Я смотрел на него улыбаясь, и его, видимо, очень тревожила моя улыбка. Он быстро соображал, не сделал ли он еще какую-нибудь ошибку. Это был уже не тот хладнокровный, непроницаемый человек, с которым мы несколько часов назад беседовали, попивали чай, – теперь он был не в силах сдерживаться, и чувства его ясно отражались на лице. Я даже ощутил момент, когда у него вдруг мелькнула догадка. Он быстро посмотрел на меня.

– Но когда вы успели получить ответ на радиogramму? – спросил он.

Я рассмеялся.

– Юрий Павлович, Юрий Павлович, – сказал я, – как легко вы отказываетесь от своих школьных товарищей и учителей! Я не только не успел получить ответ, но я даже и не запрашивал, сколько в Калининe школ. Думаю, что больше тринадцати. Я хотел только узнать, точно ли вы осведомлены о своей прошлой жизни.

### *III*

Снова наступило молчание. Вертоградскому нелегко дался этот удар. Он ясно почувствовал, что хозяином в разговоре был я. Он понимал, что наделал глупостей. Это

лишало его уверенности в себе. Он был в том состоянии, когда люди, чувствуя, что надо исправить сделанные ошибки, совершают новые, еще более тяжелые. Он перевел дыхание.

– Допрос вы ведете мастерски, – сказал он. – Должен признаться, что вы меня сбили с толку. Еще немного, и я сам поверил бы в то, что я виноват.

Я пристально на него взглянул. Действительно, он был сбит с толку. Он был готов выдать себя. Теперь я должен был предоставить ему эту возможность. Я пожал плечами.

– К сожалению, вы правы, Юрий Павлович, – сказал я, – это все психология. Улик у меня все-таки нет ни одной. Вот если бы в доме была вакцина, это была бы улика.

– Почему? – спросил Вертоградский.

– Не мог же ее Грибков спрятать при вас, если вы не были его соучастником!

– То есть когда «при мне»?

– Вчера, когда вы его застрелили. Перед этим мы достаточно тщательно обыскивали комнату, чтобы знать, что вакцины здесь нет.

Вертоградский поднял на меня глаза. Вероятно, прежде всего он подумал, что я знаю, где вакцина, потом вспомнил, что слишком взвинчен и не может рассуждать хладнокровно. Он сделал скидку на свою возбужденную мнительность. Невольно в том состоянии, в котором он был, масштабы явлений смещались. Серьезное казалось пустяком, а пустяк вырастал в страшную угрозу. Он заставил себя поверить в то, что я ничего не знаю.

– Я думаю, – медленно сказал он, – что в доме вакцины нет.

Я пожал плечами.

– Посмотрим, Юрий Павлович, – сказал я.

– Владимир Семенович, – возбужденно вмешался в разговор Костров, – если вы думаете... если вы подозреваете, так давайте искать!

За окном задремезжала телега.

– Лошадь подана, – сказал Петр Сергеевич.

Костровы смотрели на меня выжидающе. Я отрицательно покачал головой.

– Нет, Андрей Николаевич, – сказал я, – вы сейчас собирайтесь и поезжайте. Я здесь останусь один, спокойно, не торопясь обыщу дом и к обеду буду у вас... Правильно, Петр Сергеевич?

– Конечно, правильно, – согласился Петр Сергеевич. – Вас одного мы как-нибудь всегда доставим.

– Не хочется мне уходить... – колебался Костров.

– Придется, – решительно сказал я. – Когда вы уедете, я пересмотрю каждый вершок. Так будет гораздо лучше.

Петр Сергеевич встал, выглянул в окно, окликнул возчика, распорядился, чтобы телегу подали к крыльцу, вознегодовал, что на лошади не тот хомут, – словом, стал проявлять энергичную деятельность.

– Пойдем, папа, – сказала Валя. – Нельзя же людей задерживать. Твой рюкзак еще не уложен.

Недовольно нахмурившись, Костров пошел наверх, в мезонин. Вертоградский спросил неуверенно: – Владимир Семенович, я тоже могу ехать?

– Конечно, Юрий Павлович. Пока ведь улики нет.

– Ну что ж, и на том спасибо, – криво улыбнулся мне Вертоградский.

– Пожалуйста, – ответил я, тоже улыбаясь.

Голос Петра Сергеевича раздавался уже за окном. Он кого-то распекал, кем-то возмущался.

– Боком, боком! – говорил он. – Неужели не понимаешь? Осторожней!

Костровы ушли в мезонин. Я выбежал на кухню и в кухонное окно крикнул что-то Петру Сергеевичу. Когда за мною закрылась дверь, Вертоградский остался в комнате один.

#### IV

Полминуты я беседовал с Петром Сергеевичем, потом хлопнул наружной дверью. Казалось, что я вышел из дома. Конечно, Вертоградский мог на всякий случай отворить дверь и проверить, но у него были считанные секунды, он не мог их тратить щедро. Бесшумно, на цыпочках, я пробежал через кухню и, прислушиваясь, застыл у двери. В комнате было тихо. Я ждал. Шагов его я мог не услышать – наверно, он тоже ходил на цыпочках, – но шелест бумаги, звон стекла, стук кочерги – что-нибудь должно было мне указать момент, когда следовало открыть дверь. Я ждал. Петр Сергеевич вошел в кухню и уже открыл рот, чтобы спросить меня о чем-то, но я так замахал рукой, что он застыл с открытым ртом и широко открытыми, испуганными глазами.

Секунда шла за секундой. В комнате была по-прежнему мертвая тишина. Может быть, Вертоградский действовал так осторожно, что я напрасно ждал звука, который бы выдал его, или же я прослушал? Я уже решил открыть дверь наудачу и в это время услышал тихое, чуть разли-



чимое звяканье стекла. Я распахнул дверь и вошел в комнату. Я не ошибся: Вертоградский сидел у печки и мешал кочергой горящую бумагу. Он не обернулся, когда я вошел. Поза его была неестественна и неудобна. Видимо, так застал его стук открывшейся двери. Я осмотрелся. Ведро с водой стояло на полу. Я подошел к печке. Черная коленкоровая тетрадь корчилась на огне; рядом поблескивали осколки разбитых ампул. Как я и рассчитывал, он попытался уничтожить главную улику против себя.

— Что же вы не собираетесь, Юрий Павлович? — спросил я спокойно. — Бумаги жжете?

Он не успел мне ответить. Схватив ведро, я выплеснул всю воду в печь. Туча пара окутала Вертоградского, он вскочил. Я наклонился и вытащил из огня полусгоревшую тетрадь.

— А куда вы ампулы дели? — деловито спросил я его, вынимая из кобуры наган.

Секунду Вертоградский смотрел на меня безумными глазами. Он глотал воздух, как рыба. Он был явно в смятении и не знал, что ему говорить и что делать. Впрочем, этой одной секунды было достаточно для него, чтобы понять, что он выдал себя окончательно и бесповоротно. Он рванулся было к окну, но сразу остановился. В дверях кухни стоял Петр Сергеевич, держа в руке трофейный немецкий маузер. Еще секунда молчания. Истерическая улыбка появилась на лице Вертоградского, он взглянул на дверь мезонина.

Я не заметил, когда вышел из мезонина Костров. Во всяком случае, достаточно давно, чтобы услышать и понять главное. Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и подскочил к Вертоградскому.

— Сожгли! — закричал он надтреснутым голосом. — Разбили!

Маленький, он стоял перед высоким Вертоградским и, кажется, собирался вцепиться ему в горло. Вертоградский немного овладел собой. Он провел дрожащей рукой по волосам и повернулся к Кострову.

— Вот и всё, — сказал он с усмешкой. — Дневник сгорел, вакцины не существует.

Он сказал это спокойно, но губы его дрожали, и столько откровенной ненависти было в его взгляде, что трудно было сейчас понять, как мог этот человек годами притворяться любящим и преданным другом семьи Костровых.

Дальше мне не следовало молчать. Кострова мог хватить удар от горя и ярости.

— Не надо, Юрий Павлович, считать других дураками, — сказал я мягко. — Неужели вы думаете, я оставил бы вас одного, чтобы вы могли тут спокойно хозяйничать? Мне ведь нужна была только улика, вот я ее и получил.

Я вынул из кармана настоящий дневник и настоящие ампулы и протянул их Кострову.

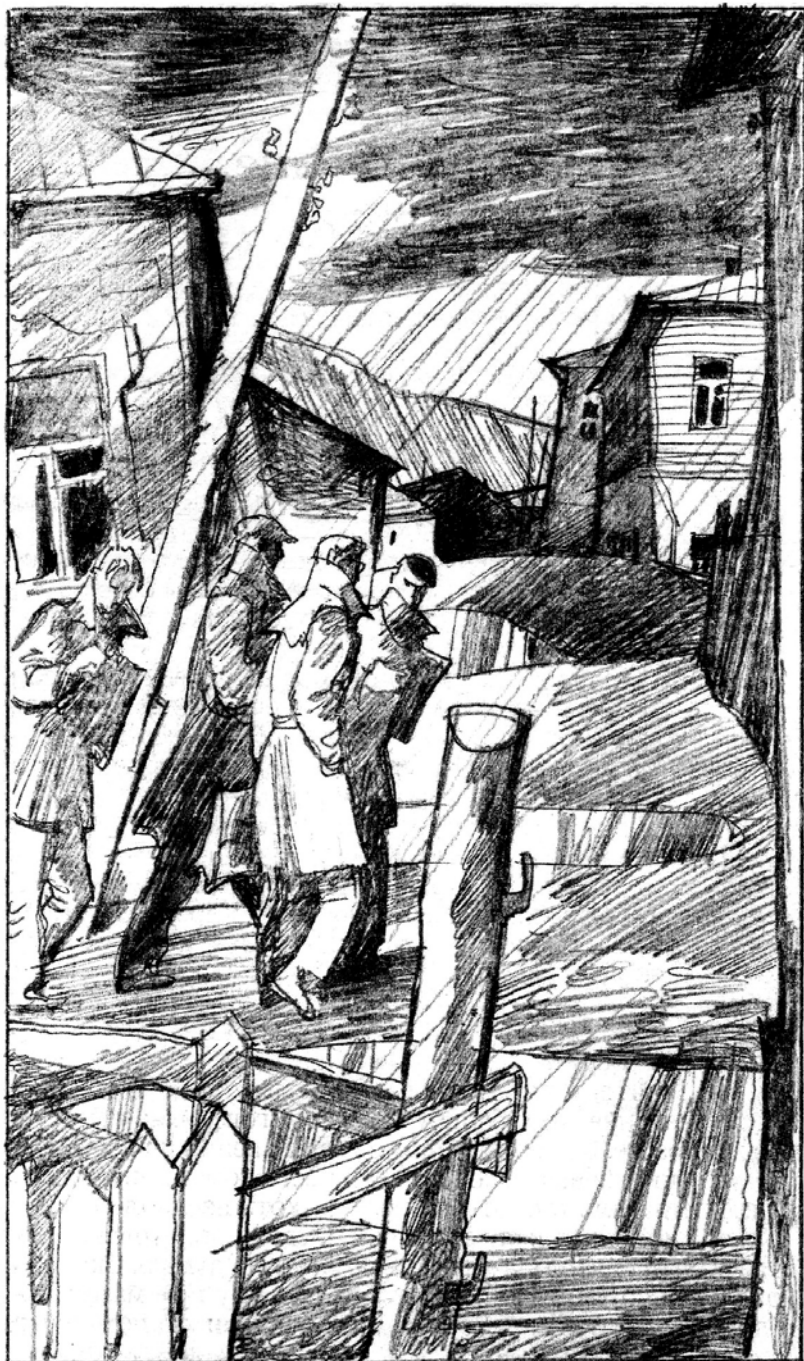
\* \* \*

Вертоградского увели. Его отправят следующим самолетом. Не надо, чтобы он летел вместе с Костровыми.

Андрей Николаевич долго бормотал что-то совершенно невразумительное. По некоторым признакам я догадался, что он благодарил меня и просил извинения за свою недоверчивость.

А Валя просто взяла мою руку и сказала, глядя мне прямо в глаза:

– Вы тоже полетите в Москву, Володя? Мне так спокойно, когда вы с нами.



*Евгений Рысс*

## **ПЁТР И ПЁТР**

*Моей жене Людмиле Георгиевне Рысс*

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

### **ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СЛЕДСТВИЕ, ЗАЩИТА**

#### **Глава первая**

#### *Четыре братика*

Был такой разговор или его не было? Во всяком случае, ни я, ни Юра его не помним. Один Сергей говорит, что разговор был. И очень тревожный. И будто бы даже какие-то подозрения у нас возникали. Не знаю. Мы с Юрой этого не помним. Во всяком случае, Петра мы не видели девять лет. Это уж совершенно точно.

И это, между прочим, было прямое нарушение договоренности. Условлено было всем четверым обязательно встречаться один раз в году, где б мы ни оказались, хоть в тысячах километрах друг от друга. Каждый год 7 сентября мы встречаемся – и все! Правда, когда мы условились об этом, нам всего-то было по пятнадцати лет. Приблизительно по пятнадцати. Никто из нас не знает точно своего возраста. Нас, всех четверых, подобрали в прифронтовых разоренных районах солдаты разных воинских частей в сорок втором году. На глаз нам было года по два, по три. Может быть, немного больше или меньше. Наверное, были

мы очень истощенные и худые. Фронт, как известно, не лучшее место для малолетних детей. Мы-то сами ничего не помним о том, кто нас подобрал, где и при каких обстоятельствах. Знаем это только по рассказам. Так или иначе, достоверно известно, что попали мы сперва в Дом младенца, хотя были уже, строго говоря, не в младенческом возрасте. Во время войны с такими вещами не считались: где можно ребенка накормить, где есть кому с ним возиться, туда и отдавали его хоть временно, хоть ненадолго.

Конечно, никто из нас не помнит своих родителей. Правда, Юра говорит, что он будто бы помнит. Не думаю. Скорее всего, какая-нибудь нянечка рассказывала ему про маму, вот он и думает, что помнит. Достоверно начинали мы помнить себя лет в пять или даже в шесть. В это время в нашей жизни уже существовал Афанасий Семенович.

Он был директором детского дома, в котором мы выросли. Директор он замечательный. Это все знают. Но для нас он был не только директором. Благодаря ему никто из воспитанников детского дома, а нас как-никак было больше ста человек, не почувствовал по-настоящему, что у него нет родителей. Тогда, в первые годы после войны, много было изломанных человеческих судеб, и как Афанасий Семенович бился, чтобы судьбы эти не легли тенью на нас, подраставших в те годы. Во всяком случае, мы, четверо, многим ему обязаны. Хотя и строгим бывал он ужасно. Иной раз так на кого-нибудь рывкнет, что весь дом затихает. Но зато каждый вечер, как бы он ни устал, как бы ни измотался, обязательно пройдет по спальням и каждому, ну буквально каждому, скажет два-три слова, погладит по голове, одеяло поправит.

Нас он называл «братиками». Мы четверо прибыли в детский дом вместе. Он сразу нас так и назвал. На самом деле мы, конечно, братьями не были, нас и подобрали-то всех в разных местах, при разных обстоятельствах.

Уж не знаю, бывают ли такими дружными настоящие братья, какими были мы. Мы и учились в одном классе, и уроки вместе готовили, и гуляли вместе, и секреты были у нас общие, и планы мы строили сообща – словом, росли удивительно дружно.

В один день получили мы аттестаты, и все вместе поехали в С. Афанасий Семенович посоветовал нам поступать в вузы. Он нас почему-то считал способными, хотя в школе мы учились не очень уж хорошо. Как ни странно, но трое из нас действительно прошли по конкурсу. Юра держал в индустриальный институт и попал, Сережа – в университет на биофак, а я – на журналистский. Только Петьке не повезло. Он тоже держал в индустриальный, но не прошел. Одного балла не хватило. Конечно, мы были очень огорчены. Уговаривали его позаниматься год и держать еще раз, но Петька не захотел. То ли характер у него слабым оказался, то ли обидно было ему, что мы трое прошли, а он один почему-то вдруг не прошел.

Сейчас, конечно, поздно и не к чему в этом разбираться, хотя во всяком экзамене случай играет большую роль, и очень может быть, что просто нам троим повезло, а Петьке не повезло. Но недаром Афанасий Семенович всегда говорил, что надо суметь переупрямить случай.

Впрочем, не нам судить. Если тебе повезло, легко осуждать неудачника. Так или иначе, а тогда мы трое оказались друзьями больше на словах, чем на деле. Ахали,

ужасались, сочувствовали. А думал каждый больше о том, что он, мол, уже студент, чем о том, что у Петьки вышла осечка.

В оправдание могу сказать только одно: в то время мы все трое были, по-моему, немного сумасшедшие. Мы и переутомились: это не шутка – готовиться к конкурсу Мы и переволновались: пройдем или не пройдем? Да, наконец, честно сказать, мы и ошалели от радости, когда оказалось, что прошли. Так или иначе, как мы ни волновались за Петьку, как ни горевали за него, а все-таки у каждого в душе плясал радостный чертик, плясал и пел: «А я-то прошел, я-то прошел!»

Петька, наверное, этих чертиков наших слышал, и от этого ему, наверное, было еще обиднее. Во всяком случае, он нам сказал, будто какой-то парень очень его в Энск зовет. Там, мол, на заводе у этого парня отец работает, и он, мол, Петьку охотно устроит на завод и с общежитием поможет, а временно, пока с общежитием устроится, парень предлагает у него пожить.

Если кому-нибудь рассказать подробно, как мы с ним простились, получится, что нас не в чем упрекнуть. Хотя с деньгами у нас было плохо, все-таки, сложившись, купили мы ему на память замечательную зажигалку. Ее продавал один парень с биологического. Отец этого парня в свое время привез зажигалку с войны. Я таких зажигалок больше за всю жизнь не видел. Там был изображен человек, который направлял на кого-то револьвер. Если зажигалку положить, оказывалось, что лицо человека закрыто черной маской. Возьмешь зажигалку в руки, и опять лицо как лицо, никакой маски нет. Черт его знает, как это было устроено. Наверное, нехитрая штука, но интересно.



Так вот, когда парень с биологического прошел по конкурсу, отец ему и подарил эту зажигалку. Отец жил в другом городе и прислал ее по почте. Подарок был замечательный, но беда в том, что парень к этому времени так прожился, что ему было не до зажигалок с фокусами. Просить у отца денег он не хотел: отец зарабатывал немного. Вот он и решил зажигалку продать. Просил за нее десять рублей. Как мы эти десять рублей наскребли, до сих пор понять не могу. Однако все-таки наскребли. Кое-что пришлось продать из барахла. Двух рублей не хватило. Отдали парню позже.

В общем, эту самую зажигалку мы подарили Петьке на вокзале в торжественной обстановке, произнеся соответствующие речи. Настроение у всех было хорошее, все смеялись, желали друг другу удачи – словом, как будто бы все было в порядке.

Я теперь думаю, что, наверное, мы все трое вели себя по-свински, хотя и говорили все нужные слова, хотя как будто и делали все как настоящие друзья. Все-таки каждый из нас был очень уж занят личными своими делами. Может быть, Петя почувствовал, что мы как бы немного формально проговариваем всё полагающееся, что мы как бы даже торопимся скорее проговорить всё до конца и заняться тем, что нас действительно интересует: новой для каждого из нас студенческой жизнью, новыми друзьями – словом, новой своей судьбой. Знаю, что довольно неприглядно это выглядело. Единственно, что могу сказать: много мы все трое казнили себя за это. Да чего уж казнить, когда этот этап жизни прошел и не вернется.

Так или иначе, Петька уехал в Энск. Потом написал, что

поступил на завод и живет в общежитии. Потом написал, что получил комнату в новом доме. 7 сентября написал, что приехать не сможет потому, что отпуск ему дают только в октябре, а нас всех горячо поздравляет.

О 7 сентября должен рассказать особо.

Дело в том, что день рождения каждого из нас был никому не известен. Имена и фамилии тоже были придуманы в Доме младенца, о котором я уже говорил. Имена нам дали обыкновенные. Сергея, Юрия и Петра я уже называл, остается добавить, что меня называли Евгением. Фамилии тоже у нас были обычные: Петька носил фамилию Груздев, Сергей – Ковалев, а Юрий – Андреев. Мне досталась фамилия Быков, которая тоже не хуже других. Чтобы дать нам отчества, записали условными отцами, что ли, тех солдат, которые нас принесли сдавать. Мы с Сережей стали Михайловичи, Петр – Семенович, а Юрий – Сергеевич.

Я все отхожу от дня рождения. День рождения у нас получился так: в детский дом к Афанасию Семеновичу нас всех передали 7 сентября. Вот это и решено было считать нашим днем рождения. В то время мы не очень разбирались в датах и месяцах, да и что такое день рождения, не очень-то понимали. Просто знали, что «нас празднуют». Это нам очень нравилось.

Когда мы уходили из детского дома, был у нас большой разговор с Афанасием Семеновичем. Он тогда и посоветовал нам, где бы мы ни находились, день рождения всегда проводить вместе. Ну, так вот, Петька не смог приехать, но прислал большое письмо. Впрочем, об этом я уже говорил. Мы, трое, очень ушли в наши студенческие дела. События

в жизни каждого словно нагоняли одно другое. Во-первых, конечно, занятия. Вуз – это совсем не то что школа. Через несколько лет мы поняли, что и работа совсем не то что вуз.

Жизнь у каждого из нас складывалась довольно удачно. На третьем курсе Сергей сделал одну работу, о которой было даже сообщение в университетской многотиражке. У Юры в индустриальном тоже дела шли хорошо. Я к окончанию института напечатал в «Уральце» три материала и был приглашен туда на постоянную работу. Начал я бывать и в областном издательстве, и на собраниях областного отделения Союза писателей. На обсуждении даже похвалили один мой рассказ. В общем, все шло нормально. И каждый год 7 сентября мы трое собирались. И каждый год 7 сентября получали мы от Петьки большое письмо. Сам он все-таки ни разу не приехал. Не везло ему с приездами. То не давали именно в сентябре отпуск, то отпуск давали, но он не мог им воспользоваться, потому что предстояли выборы в райсовет, а он был выдвинут в депутаты.

Во всяком случае, писал он, на заводе он не последний человек: портрет его висит на Доске почета и он член завкома. А потом он женился на работнице того же завода, где сам работал, получил комнату и приехать не мог потому, что свадьбу праздновал. Потом, наконец, он ждал ребенка и не мог оставить жену. По письмам выходило, что жизнь у Петьки складывается хорошо. Но 7 сентября не собирались мы каждый год все четверо. Собирались только втроем. Собственно говоря, потом уже вчетвером, потому что Юра тоже женился. Жена его была врачом, и он познакомился с ней в заводской поликлинике.

Следует сказать, что мы в это время уже окончили вузы.

Юра был инженером на Тяжмаше, Сергей остался при кафедре в университете и понемногу сдавал кандидатский минимум, я был литсотрудником «Уральца», и в плане областного издательства на будущий год стояла моя небольшая книжка, листов на восемь. Это, конечно, не очень много, но и Москва не один день строилась.

На наших сборищах 7 сентября о Петьке всегда говорили. Посылали, конечно, ему телеграмму, и если первый тост провозглашали за дружбу, то второй обязательно за «братика» Петю, тем более что его письма обычно давали повод и для тоста. Один год провозглашали тост за Петьку – депутата райсовета, другой – за Петьку, отца семейства, третий – еще за что-нибудь. Знаменательных событий в его жизни, судя по письмам, вполне хватало.

И все-таки условие о том, чтобы встречать каждый год 7 сентября вместе, – условие, торжественно заключенное в нашей юности при участии Афанасия Семеновича, было нарушено. В шестьдесят шестом году, когда произошли те события, о которых я расскажу дальше, нам было приблизительно по 27 лет. Это можно считать зрелым возрастом. Сколько замечательных планов задумываются мальчишками – планов, которые кажутся тверже стали и которые не выполняются взрослыми людьми или выполняются не полностью. Это происходит не потому, что жизнь обманывает. Реальность оказывается часто не хуже, чем мечталось в юности, но просто другой, более трудной и сложной.

И когда во время традиционных наших встреч мы вспоминали о Пете, то всегда утешали друг друга тем, что, хотя формально наш юношеский договор и не выполнен

потому, что Петька никак не может выбраться и приехать, все-таки все мы остались друзьями. А смысл договора был именно в том, что мы будем, даже если жизнь нас и раскидает, дружить. И в этом главном смысле, утешали мы сами себя, все в порядке. Хотя у Петьки и была неудача с институтом, но зато теперь он человек, которого ценят и уважают, – это ясно из его писем. И он по-прежнему наш друг, хоть мы и не виделись уже девять лет.

А то, что был какой-то разговор, и даже будто бы очень тревожный, – это только один Сергей помнит. Он говорит, что у него даже возникали какие-то подозрения. Не знаю, может быть, у Сергея и возникали. С нами он ими, во всяком случае, не делился. Если бы делился, мы с Юрой, конечно бы, это запомнили.

## Глава вторая

### *Едем, едем!*

В 1966 году 7 сентября приходилось на среду. Можно было перенести празднование на воскресенье, но насчет этого у нас были очень строгие правила. Седьмого – значит, седьмого. Впрочем, уже с воскресенья мы начали понемногу всё закупать. Купили две бутылки шампанского. Юрка притащил какое-то вино, которое, по его словам, виноделы обычно выпивают сами и только немножко посылают в Министерство иностранных дел, чтобы угощать иностранных послов. Может, оно и так. Мне, как читатель увидит, так и не удалось его попробовать. Но позже я почему-то обнаружил, что это вино продается во всех боль-

ших гастрономах. Я уж Юрке об этом не говорю. Он ужасно расстроится. Очень он самолюбивый.

Переписка с Петькой перед 7 сентября была очень оживленной. Мы ему заранее написали, что ни за что не простим, если он опять не придет. Он ответил, что придет непременно. Сколько же можно! Без малого девять лет не видались! Есть о чем поговорить! Словом, будет обязательно.

Мы, конечно, очень обрадовались. Решили устроить пир на весь мир. Петька сообщал, что у него еще за май осталось два дня отгульных, потому что он в Майские дни работал. И в цеху он уже договорился. Так что ничего случиться не может. Я поговорил у себя в редакции; там не возражали, если я за свой счет возьму недельку или даже две. У меня в загоне лежало два материала, так что все равно новый давать пока не имело смысла.

Я рассудил так: походим с Петькой по городу, Юрка с Сергеем днем заняты, а мы с ним спокойненько поговорим, всё обсудим. Потом, может быть, я с ним в Энск поеду, познакомлюсь с его женой, посмотрю ребеночка. Парню как-никак уже второй год. Я посоветовался с Ниной, Юриной женой, и та прочитала мне целую лекцию, что в таком раннем возрасте детям можно дарить только стерильные игрушки из пластмассы. Нина чудесная женщина, и Юре с ней, конечно, очень повезло, но играть детям стерильными игрушками – это, по-моему, скукота. Так что я, по секрету от нее, купил двух плюшевых обезьян и одного медведя. Это был прямо всем медведям медведь. Стерильности в нем не было никакой, но морда была веселая и добродушная. Купил я их в понедельник, когда

хозяйственные хлопоты были в полном разгаре. Нинка позвонила мне из поликлиники и радостно сообщила, что один больной раздобыл ей два килограмма свежей кеты и килограмм соленой. Я ей сообщил, что купил необычайно стерильные игрушки, но показать ей их не смогу, потому что для большей стерильности их упаковали в микробонепроницаемую пластмассу.

— В какую? — закричала Нинка.

Я удивился:

— Как, ты не знаешь? Это изобрел сын Флеминга. Пенициллин помнишь? Так вот его родной сын. Он очень разносторонний человек, специалист по пластмассам и в то же время микробиолог. У нас в «Уральце» был целый подвал о нем. Неужели ты не читала? Мы получаем много писем. Между прочим, инвалидная артель «Геркулес» налаживает производство. Представь себе, что ты решила выйти замуж за хорошего человека, но подозреваешь, что жених болен туберкулезом. Ты наносишь на губы вместо губной помады тоненький слой микробонепроницаемой пластмассы и можешь сколько хочешь целоваться с подозрительным женихом.

Тут она сообразила, что я ее разыгрываю, выругала меня дураком и повесила трубку. А через пять минут позвонил Юра.

— Женька, — сказал он мрачно, — от Пети пришло письмо: он не может приехать. Я что-то ничего не понял, какая-то травма у него, будто бы производственная. Ему придется недельку полежать, хотя травма и несерьезная. В общем, давай дозвонись Сергею, мне тут говорить не очень удобно, и приходите ко мне часам к пяти. Пообедаем и всё обсудим.

В пять часов мы собрались у Юры. Надо честно сказать, расстроены мы были ужасно. В самом деле, что же это такое! Девять лет не можем повидать друга!

Юра прочел вслух письмо. Читал он отчетливо, неторопливо, вдумываясь в каждое слово. По совести говоря, вдумываться особенно не во что было. Какой-то на производстве произошел несчастный случай, Петьке повредило ногу. Ему придется недели две полежать. Лежит он дома, так что ему не скучно. Кстати, сообщает свой новый адрес. Они с Тоней обменяли комнату. Адрес такой: Яма, Трехрядная улица, дом 6, первый этаж, квартира 1. Яма – это новый микрорайон. Название пока осталось старое, но скоро район переименуют. Комната у них теперь больше и лучше. В их бывшую квартиру въехали родители прежнего соседа. Те поменялись, потому что хотят жить вместе с сыном.

«Обидно, но делать нечего. Не забывайте. Пишите. Ваш друг Петр Груздев».

Мы помолчали. Потом заговорил Сергей. Он раскипятился и произнес против Петьки целую обвинительную речь: мол-де, так не поступают друзья, можно год, два, даже три, а девять – это уже неприлично! Словом, Цицерон Каталину так не громил, как Сергей Петьку. На защиту друга кинулся Юрий. Он кричал, что дружба имеет свои обязанности и что если даже Петька свинья и на нас за что-то обижен, то и в этом случае мы обязаны быть умнее его хотя бы потому, что нас трое и мы можем посоветоваться друг с другом. А Петька один, и ему советоваться не с кем.

– Один? – заорал Сергей. – А жена? Настоящий друг, как он нам писал.



– А сын и наследник? – негромко подсказал я.

Сергей так увлекся пафосом обвинения, что повторил: «Да, а сын и наследник?», позабыв, что наследнику идет пока только второй год.

Тут мы все рассмеялись, и разговор принял более мирный характер. Нина убрала осколки разбитой тарелки, – я забыл сказать, что Сергей в обличительном пафосе расколотил тарелку и даже не извинился перед хозяйкой. Итак, Нина поставила перед Сергеем другую тарелку, еще не расколоченную, и сказала:

– Эх, братики, братики, доживете вы с моей медицинской помощью до ста двадцати лет и все равно останетесь мальчишками. В науке это называется инфантилизм и считается болезнью неизлечимой.

Произнеся эту сентенцию, Нина пошла на кухню за вторым.

– Ну ладно, – сказал Сергей, – допустим, я перехлестнул, но то, что мы девять лет не виделись, факт?

Мы с Юркой угрюмо молчали.

– Допустим, – сказал я, – мы тогда вели себя как скоты. – Мне не надо было объяснять, какое время я имею в виду. Много раз уже было говорено, что, увлекшись собственными успехами, мы тогда, девять назад, не поняли, как худо было Петьке, и не были ему настоящими друзьями. – Ладно, мы виноваты. Но ведь обида-то у Петьки прошла, это по письмам видно. Не может седьмого сентября приехать – приехал бы в другое время. Неужели за девять лет нельзя было выкроить несколько дней? Ну хорошо, скажем, он на нас когда-то обиделся. Так ведь это же не чужой человек, это же наш Петька. Зарабатывает он, наверное,

хорошо, лекальщик – высокая квалификация. Многие лекальщики «Волги» себе понакупали. Ну, а если даже нет денег? Да ведь он слово скажи – что ж, мы денег ему не достанем? Не верю я в то, что он за девять лет не мог обратиться. Значит, не хотел. Значит, видно, мы идиоты и не поняли до сих пор, как глубоко мы его обидели...

В это время Нина внесла кастрюлю с тушеным мясом и поставила на стол. Она слышала мою последнюю фразу.

– Правильно, Женя, – сказала она и начала раскладывать мясо по тарелкам.

Мы стали молча есть. Черт его в самом деле разберет! Неужели мы так обидели Петьку, что он этого девять лет не может забыть? В конце концов, теперь уже мы можем обижаться.

– Я считаю, что надо написать большое, обстоятельное письмо, – сказал Юра, – и Афанасию Семеновичу написать, пусть он ему тоже напишет. Если мы в чем виноваты, просим простить. Не расходиться же из-за этого. Вся юность, все детство вместе, и вдруг всё насмарку. Так тоже не делается.

– Письма прочитываются и забываются, – тихо сказала Нина.

Мы не поняли, к чему она это говорит. Подождали, но она молчала.

– Знаешь, Сергей, – сказал я, чтобы перебить разговор, – пришло письмо в редакцию. Пишут, что последняя книга вашего Алексеева мало того что списана с трех, не помню чьих, книг, но он и списать-то толком не смог. Те, у кого он списывал, спорят между собой, а он все их выводы вместе свалил.

Я знал, что на эту тему Сергея всегда можно было завести.

– Жулик он, – буркнул Сергей. – Иной раз даже обидно, что угрозыск наукой не занимается.

– Между прочим, – сказала Нина, разливая чай, – завтра вечером поезд идет в Энск. В середине дня послезавтра были бы на месте.

– Ты что же, хочешь, чтобы мы к нему поехали? – удивленно спросил Юра. – Трое к одному?

– А что, обидно?

Нина передала нам чашки, поставила чашку себе и села.

Мы все четверо стали пить. Вдруг Юра поднял чашку и, наверное, собирался с силой ударить ею об стол. Нина спасла чашку в последнюю минуту и отставила в сторону. Юра, по-моему, этого даже не заметил. Он стукнул об стол кулаком и расхохотался.

– Ребята, – сказал он, – а ведь Нина-то молодец, а? Поехали в самом деле, чего там. Как ты, Женька?

– Я взял отпуск, – сдержанно ответил я.

– А ты, Сергей?

– Я могу сейчас позвонить шефу. В крайнем случае, заеду к нему утром. Он будет орать, но отпустит.

– Я поговорю завтра на заводе, – сказал Юра. – Договориться-то я смогу, но вот успею ли за вещами...

– Что за вещи? – удивилась Нина. – Не можешь на два-три дня с портфелем поехать? А в чемодан я вам уложу и вино, и кету, и все закуски. А то ведь у него может ничего и не быть, а тут вы приедете, как три Деда Мороза.

– Здорово, здорово! – Юрка хлопал себя по коленям, даже раскачивался от восторга. – А? Здорово мы придумали!

Я уж много раз замечал: Нина что-нибудь вложит в Юрину голову, а он и радуется, что ловко придумал.

Он все больше и больше приходил в восторг. Он хлопал по плечам меня и Сергея, обращался к Нине за поддержкой, как будто мы, три мужика, здорово выдумали, а ее женское дело похвалить нас и порадоваться.

Серезка позвонил своему шефу домой, и тот, правда поворчав, исчезнуть на три дня позволил. Потом звонили в справочное, и все складывалось удивительно хорошо. Оказалось, что, выехав из Энска в воскресенье, мы в понедельник успеваем к началу работы. Все мы развеселились ужасно, кто-то вспомнил, что Петька живет на первом этаже, и мы даже придумали совершенно идиотскую шутку: заглянуть просто в окно и удивить хозяев. Мы радовались этой идее, пока Нина нам не объяснила, что получится неудобно, если, скажем, Петина жена испугается и умрет от разрыва сердца, а мы ввалимся, хохоча, с закусками и напитками.

Немного успокоившись, мы решили, что получается в самом деле все удивительно хорошо. Если были какие недоразумения, мы их тут же и разъясним прямо с глазу на глаз. Этот дурацкий девятилетний перерыв канет в прошлое. Снова будем дружить, как дружили всю жизнь. Юрка стал фантазировать, что мы заберем Петра к нам в С, что Петр обменяет комнату, заочно кончит институт и защитит диссертацию.

Словом, к тому времени, как Нина нас с Сергеем выгнала, Академия наук подумывала, что без Петра науке трудновато и надо его поскорее выбирать в академики.

Мы с Сергеем долго ходили по улицам: сперва я его

проводил, потом он меня, потом мы наконец расстались и заснули оба в прекраснейшем настроении.

И на следующий день все получалось легко и быстро. Отпустили Юру сразу же – оказалось, что у него какая-то переработка была. Деньги были у всех троих: получка была недавно. Даже такси по вызову пришло необычайно быстро. Такси, собственно, понадобилось для чемодана с едой и закусками: у нас с Сергеем были просто портфели. Положив вещи в купе, мы ходили по перрону страшно возбужденные и веселые и обсуждали, как мы приедем, и как мы войдем в квартиру, и что мы скажем, и как удивится Петька.

Нина кончала в поликлинике поздно, но все-таки успела на вокзал. Она принесла совершенно стерилизованные игрушки для Петькиного сына. По-моему, эти игрушки делаются специально для врачей, потому что нормального ребенка вряд ли они смогут развлечь. У них хоть одно оказалось достоинство – они влезли в Сережин портфель.

Послушав наши фантастические планы о встрече с Петром, Нина вдруг нахмурилась и сказала:

– Слушайте, мальчики, может, лучше все-таки дать мне сейчас телеграмму Петру? А то ведь действительно вы людей напугать можете.

Мы стали кричать, уже стоя на площадке, чтобы ни в коем случае телеграмму она не давала, что она все испортит, и Юра поклялся даже ее убить, если она нас предаст.

Потом поезд тронулся, мы вошли в вагон и продолжали выдумывать всякие смешные положения, которые могут произойти от нашего неожиданного приезда. А потом Сережа спросил:

– Юра, а Нина не может в самом деле дать телеграмму?

– Да ну, что ты, – сказал Юра, – с ума сошел? Она же пошутила.

Больше мы об этом не говорили. Но Нина все-таки прямо с вокзала послала Петьке подробную телеграмму о том, что мы едем к нему праздновать нашу годовщину и чтобы он нас ждал.

Она объясняла это потом так: мы, мол, были такие самодовольные, что ей захотелось нас разыграть. Она представляла себе, что мы приедем, рассчитывая застать Петьку врасплох, а Петька встретит нас за накрытым столом и скажет: «Садитесь, ребята, я вас давно уже жду».

### Глава третья

#### *Дурные приметы*

Погода с утра была очень хорошая, но, пока мы встали и умылись, пошел дождь. В поезде не поймешь, ветер нанес тучи или плохая погода была здесь все время и просто поезд въехал в дождливую полосу. Народу в вагоне было немного, и в нашем купе мы оказались одни. Мы выпили чаю с бутербродами и стали придумывать, как войдем, да что скажем, и как Петька удивится, и как мы с ним расцелуемся, а потом начнем его ругать, а потом будем смотреть на сына и показывать сыну игрушки. Юра особенно напирал на то, что нельзя мальчику сразу давать много игрушек, потому что тогда он перестанет удивляться и радоваться. А это нехорошо.

– Надо по одной, – объяснял Юра. – Сначала, скажем,

медведя, а об остальных – ни гугу. Потом, когда он с медведем наиграется, можно обезьян показать. А что-нибудь обязательно надо оставить напоследок и дать ему только тогда, когда мы с ним будем прощаться.

– Напоследок надо дать ему стерильные, – сказал я. – Он разберется, когда мы уже уедем и некого будет бить.

– Нет, – сказал Юра, – ты напрасно смеешься. Все-таки Нина права: гигиену нужно соблюдать.

Юрка удивительный человек: он и умница и специалист хороший, но вот с чувством юмора у него слабовато. Я как-то долго смотрел на него, когда он читал «Трое в одной лодке, не считая собаки». Вам покажется невероятным, но, честное слово, это так: он читал внимательно, вдумчиво, с большим интересом, но ни разу не улыбнулся. Лицо у него было такое, будто Джером К. Джером написал серьезный труд в помощь начинающим туристам.

Часа через два разговоры затихли. Все уже было обсуждено, все варианты разобраны до конца, и мне пришло в голову, что, когда продумываешь слишком подробно будущее, случается непременно что-нибудь такое, чего совсем и не ждал.

Мы стали смотреть в окно. Дождь продолжал идти, ровный, морозящий дождь, и тучи были сизые, мрачные, безнадежно гладкие. Нигде не было ни одного просвета, ни одного голубого пятна, как будто просто здесь небо было не голубое, а темного, сизого цвета.

Мы ехали на северо-запад, и природа уже изменилась – стала суровее и бедней. Леса проплывали за окном какие-то жидкие, и лиственных пород почти не попадалось – все хвоя да хвоя. Гор не было, только холмы, и все чаще и чаще

на этих холмах попадались гранитные обнажения. Мокрый от дождя гранит выглядел мрачно. Иногда среди ровного поля торчала скала. Будто шел богатырь совершать подвиги, освобождать прекрасных девушек, заточенных в гранитных замках, а злой колдун проговорил какие-то заклинания и превратил богатыря в нелепую, неизвестно для чего торчащую скалу. Здесь были бедные земли. Их пахали, на них выращивали урожай, но главные богатства этих мест скрывались под землей. Природа будто нарочно прикинулась бесплодной, чтобы обмануть человека и скрыть от него неисчерпаемые сокровища недр.

Часа через четыре по вагону прошел человек в белом халате, громко крича, что у него есть бутерброды с колбасою и сыром и сдобные булочки. Сергей оживился и восторженно посмотрел на нас.

– Давайте, ребята, по бутерброду, – сказал он.

– Нет, нет, – решительно запротестовал Юра, – вы помните, что нам сегодня предстоит пир. Что же это такое – приедем сытые! Это Петьке даже обидно будет. Приехали в гости – и не едят. Ничего, поголодаешь. Ты и так что-то стал полнеть. Мы даже с Ниной как-то говорили об этом.

Сергей, кажется, собирался спорить, но промолчал и только тяжело вздохнул. Он действительно любил поесть, но то, что он толстел, – это неправда. Он много работал, и часто обед у него совмещался с ужином. Впрочем, поговорить о еде он очень любил.

Мы опять долго молчали и смотрели в окно. Потом по вагону прошел другой человек в белом халате; он тоже кричал и нес на подносе стаканы с горячим какао. Потом с ужасными криками пронесли горячий борщ. При слове



«борщ» Сергея даже передернуло. Потом прошел какой-то герольд в белом халате, возвестивший на весь вагон, что в вагоне-ресторане горячие обеды. Сергей порывался что-то сказать, но Юра смотрел на него таким суровым, неодобряющим взглядом, что он так ни слова и не сказал.

– Ничего страшного, ребята, – сказал Юра, почувствовав, что мы готовы к бунту. – Приедем и, пока Петькина жена будет варить кету, займемся закусками. Сами накроем на стол. В восемь рук это быстро. Хозяину приятно, когда гости голодные. А то что это такое – Петька с женой будут есть, а мы смотреть на них?

Мы смирились и снова долго молчали. Вагон покачивался и постукивал на стыках рельсов, и мимо проносились бедные земли, холмы, поросшие тощим лесом, сиротливая, мокрая под дождем природа. Каждый час или полтора начинали мелькать перед нами заводские трубы и корпуса. Потом перед окном проносился город. Потом появлялись станция, и мокрый перрон, и электрические часы, и все это постепенно плыло и останавливалось перед окном. Проходили люди, живущие в этом городе, который сейчас уплывет назад и который, может быть, ты никогда больше не увидишь. Здесь тоже работает завод, и строятся новые цехи, и обсуждаются вопросы новой экономической системы, и выходит газета, и твой коллега написал статью, о которой в городе много говорят, и люди получают квартиры, покупают мебель, радуются, что окна во двор и не слышны машины, или огорчаются, что дом построен по старому проекту и одна комната проходная.

Я думал об этом, а потом задремал. Юра, кажется, задремал тоже. А Сергей не спал. Он разбудил нас и сказал, что мы подъезжаем.

Дождь продолжал идти, мелкий осенний дождь. Мы надели плащи. Юрка вытащил из кармана блокнот и еще раз перечел Петькин адрес.

– «Яма, – отчетливо проговорил он, чтобы мы все запомнили, – Трехрядная улица, дом шесть, квартира один».

Мы взяли вещи, три портфеля и чемодан, и вышли на площадку. Проводница уже стояла у раскрытой двери.

Город, в котором жил Петька, был не мал и не велик. Он существовал с каких-то очень далеких времен. Сюда когда-то ссылали за политику. Знаменитый писатель написал в свое время нашумевшие очерки о страшных условиях труда и жизни крестьян и ремесленников в городе и губернии. В начале нашего века тут были крестьянские волнения. В это же время здесь построили, по тогдашним понятиям, изрядный завод. В первую пятилетку построили большой современный завод. Старый заводик тоже был превращен в новый. И старый город почти целиком был снесен. И выстроен новый город. Я об этом только читал. Здесь я не был ни разу. Наш «Уралец» – областная газета, и езжу я в командировки только в пределах нашей области.

И вот подплыл большой каменный вокзал, видно, недавно построенный вместо старого, деревянного, который не снесли, а только сняли с него вывеску. Там теперь были какие-то служебные помещения. И два эти вокзала, старый и новый, такие не похожие друг на друга, рассказывали про историю города кратким и выразительным языком архитектуры.

Мы вышли на перрон – кроме нас, никто, кажется, не сошел на этой станции – и пошли туда, куда указывала стрелка с надписью: «Выход в город».

И тут нам перебежала дорогу черная кошка. Мы все трое сделали вид, что не заметили ее. На самом деле я-то ее заметил прекрасно и увидел, как вздрогнул Юра, а Сергей даже хотел чертыхнуться, но удержался и равнодушно стал смотреть в сторону.

На привокзальной площади стояло одно такси. Мы бросились к нему. Юрка открыл дверь. Шофер, увидя чемодан, вышел из машины, чтобы открыть багажник.

– Вам куда? – спросил он.

– Яма, – сказал торжественно Сергей, – Трехрядная улица, дом шесть.

Шофер засвистел протяжно, с какими-то выразительными модуляциями.

– Э-э, – сказал он, кончив наконец свистеть, – нет, товарищи, туда не везу.

– Почему?

– Туда и в хороший-то день не проедешь, а уж сейчас там утонуть можно.

– Что, строится район? – спросил Сергей.

– И строится и вообще... – неопределенно сказал шофер.

Тогда вмешался я. За время моих командировок мне приходилось уговаривать шоферов и на более сложные дела. Я, улыбаясь – улыбаться в этих случаях очень важно, – стал его убеждать, что, наверное, не так уж страшен черт и машина у него в прекрасном состоянии, видно, что за ней хорошо ухаживают. Я даже рассказал, что мы приехали к нашему другу на один день, а чемодан тяжелый и нам не донести. А если и донесем, так нам уже будет не до праздника. Словом, наговорил и наулыбался столько, что шофер стал сомневаться.

Он был все-таки славный парень, этот шофер, и, посомневавшись с минуту, осмотрев и нас и чемодан, молча открыл багажник.

— Ладно, — сказал он, — до дома не довезу, а до Ямы довезу. Там вам останется немного пройти.

Мы погрузились в машину, и как раз в эту минуту, когда машина тронулась, прямо под самыми колесами дорогу перебежала вторая черная кошка. Это была худющая, злющая кошка, и она мало того что перебежала дорогу, еще и сверкнула на нас белесыми злыми глазами.

— Черт! — выругался наконец Сергей.

На этот раз бессмысленно было скрывать друг от друга: мы все трое великолепно ее заметили. Хотя мы были, казалось бы, люди совершенно не суеверные, все-таки у нас защемило сердце.

Машина миновала квартала два старых деревянных домиков и выехала на широкий современный проспект.

Рядом с шофером сидел Сергей. Он и начал с ним разговор.

— Скажите, — спросил он, — неужели в новом районе нельзя было изменить название? Ну что это за название — Яма! Да и Трехрядная! На трехрядной гармонике сейчас никто уже и не играет.

Шофер пробурчал что-то невнятное. Мы свернули с проспекта и ехали теперь по улице, состоящей из совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Километра два, наверное, мелькали мимо нас эти дома, а потом мы снова свернули и увидели огромный стеклянный магазин и четыре двенадцатиэтажных корпуса из сборного железобетона. Дальше шли дома тоже четырехэтажные, но об-

лицованные керамическим кирпичом. Все это, видно, было построено в самые последние годы. Потом по обеим сторонам замелькали недостроенные дома. Краны стояли возле каждого из них, точно долговязые журавли, и длинными клювами поднимали панели или корыта с цементом, а по обеим сторонам асфальтированной дороги была грязь, желтая, непроходимая грязь, и огромные лужи, рябые от дождика, который все еще продолжал идти.

И вдруг машина остановилась.

– Вот, – сказал шофер, – ваша Яма. Дальше не проехать. Да тут недалеко. Вы быстро дойдете.

Мы вылезли из машины и огляделись.

Да, Яма называлась Ямою не случайно. Здесь земля круто уходила вниз. От шоссе шла в эту самую Яму очень разбитая, ничем не мощенная дорога, по которой, наверное, могли проехать только мощные грузовики. Ни одного нового, ни одного каменного дома не было в этой яме. Там нельзя было разобрать даже улиц. Там теснились маленькие деревянные домики с полусгнившими крышами из темной щепы, окруженные крошечными садиками. Там в разные стороны клонились заборы, тоже гнилые и темные от сырости. Людей там не было видно. То ли они прятались по домам, то ли их уже переселили в те новые дома, мимо которых мы только что проезжали, чтобы освободить площадку для новых кварталов наступающего сверху города.

– Это что же, старый район? – растерянно спросил Юра.

Шофер был, видно, патриотом родного города. Открывая багажник, он стыдливо пробормотал, что это, мол, так, старье, и что их, мол, всех скоро снесут, и что тут уже много людей переселились и остались самые пустяки.

Он вытащил чемодан и передал его Юре. Сергей рассчитался. Шофер, не глядя, сунул рубль в карман и торопливо сел на свое место. Он стеснялся за эту Яму, как будто его, шофера, уличили в чем-то не очень, конечно, преступном, но все-таки нехорошем.

Нам тоже было почему-то неловко. Шофер ведь не знал, что мы представляли себе новый квартал, пусть хоть из одинаковых четырехэтажных домов, веселый двор с играющими детьми, Петю, приходящего с работы походкой усталого, но довольного жизнью человека... Конечно, могло это быть и здесь, в этой Яме, да когда-то, наверное, и было. Жили здесь люди десятками лет, и трудами их славился на всю Россию завод, но как-то сейчас, в 1966 году, не вязалась эта самая Яма со счастливой жизнью, с уважаемым и почтенным трудом.

Шофер развернул машину и уехал, даже не взглянув на нас. Мы стали, скользя, спускаться по глинистой дороге. Я ждал, что откуда-нибудь выскочит нам под ноги третья черная кошка. Казалось бы, для голодных и злых черных кошек тут самое подходящее место. Но нет. Здесь кошек не было. За пыльными, давно не мытыми окнами не было видно даже человеческих лиц. Да и окна были все наглухо закрыты. А ведь здесь лето короткое, и, пока тепло, люди, наверное, стараются почаще открывать окна. Мы спустились и пошли между двумя рядами деревянных домиков, покосившихся, давно не отремонтированных и не крашенных. Зачем же красить и ремонтировать, если все это не сегодня завтра снесут и всех жителей переселят в новые районы, в новые дома?

Яма доживала свой век. Это чувствовалось по особой,

безжизненной тишине. Какое-то мертвое царство. Здесь люди могли доживать, дотягивать, но жить люди здесь не могли.

– Что он писал о своем доме? – спросил Юра. – Кажется, он писал, что живет в новом доме?

Мы с Сергеем молчали. Ни к чему было выяснять, что он писал и почему он писал. Всё мы должны были узнать сейчас совершенно точно.

Главное, не у кого было спросить, где Трехрядная улица. Тут вообще почти не было дощечек или фонарей с названиями улиц, с номерами домов. Один фонарь все-таки нам попался: он был старый и надпись на нем почти стерлась, но по оставшимся буквам можно было понять, что это во всяком случае не Трехрядная улица. Что-то там было написано в конце, как будто «Святская» или «Свитская», а начало совсем стерлось.

Ни одного человека на улице! Мы шли, растерянно поглядывая по сторонам, скользя по мокрой грязи. Мы молчали. Очень уж не хотелось разговаривать.

И вдруг из какого-то переулка, который и переулком-то трудно назвать, вышла навстречу нам женщина в темном платке на голове, несущая переброшенное через плечо коромысло с двумя пустыми ведрами.

«Третья плохая примета», – подумал я.

– Скажите, – спросил женщину Сергей (по короткой паузе понял я, что и он заметил эту плохую примету), – где тут Трехрядная улица, дом номер шесть?

Женщина остановилась и внимательно осмотрела каждого из нас с ног до головы. Видно, ее очень удивило наше появление.

– А вам кого нужно?– спросила она.

– Петра Груздева, – сказал Сергей, отчетливо произнося имя и фамилию.

– Петьку? – спросила женщина. – Так он у Анохиных на квартире стоит. Вон третий дом. Видите, лавочка у калитки?

– Спасибо, – сказал Сергей, и мы зашагали к лавочке.

Я шел и думал, что вот мы, три совершенно современных, несуетерных человека, стали вдруг замечать дурные приметы. Значит, мы ждали их. Значит, отчего-то было тревожно у нас на душе. Значит, все время мы знали: что-то неблагополучно. Знали и скрывали друг от друга. Не только друг от друга, но даже и от самих себя.

Мы открыли калитку возле полусгнившей деревянной лавочки, поднялись на крыльцо и, не найдя звонка, постучали в дверь к нашему другу Петьке.

## Глава четвертая

### *Старик и старуха. Письмо*

Дверь нам открыла злоющая старуха. То, что она злоющая, видно было сразу. Такие у нее были злые глаза, такая была вся повадка, что сразу угадывались две мысли, руководившие ею. Первая мысль: «В дом не впущу». Вторая мысль: «Болтать с вами не буду».

– Нам Петра Семеновича, – сказал Юра.

– Дома нет, – резко отрубила старуха и стала было закрывать дверь, но Юра просунул ногу и твердо упер ее в пол так, что не было никаких сомнений: дверь не закрыть.

– То есть как это нет дома? – Он нахмурился, и вид у



него был самый решительный. Хотя юмора у него, как я уже говорил, маловато, но зато если он решит что-нибудь, так поперек не становись – своего добьется.

– А его жена? – спросил Сергей.

Старуха улыбнулась. Это всегда получается нехорошо, когда улыбаются злые люди. В слове «улыбка» есть что-то располагающее, радующее. Наверное, надо бы для улыбок злых людей придумать какое-нибудь другое слово. Что-нибудь с буквами «З» и «Я». Буквами, звучащими в словах: злыдня, змея, язва. Мы привыкли, что старухи обыкновенно худые, но это была толстая старуха. Лицо у нее было как у проворовавшегося завмага. Странно выглядели на этом толстом лице морщины. И хоть голова у нее и была покрыта, все же, судя по тому, какое жалкое количество волос выбивалось из-под черного шерстяного платка, следовало предположить, что она ко всему еще и лысая или почти лысая. Вообще, глядя на нее, хотелось сказать: бог шельму метит.

Итак, старуха улыбнулась.

– Жена? – сказала она. – Откуда у него жена? Нет у него никакой жены.

Юра растерялся, и старуха немедленно этим воспользовалась. Она энергично двинула коленом, выперла Юрину ногу и захлопнула дверь. За дверью загревели засовы.

Мы стояли на крыльце совершенно ошеломленные.

– Надо врываться в дом, – деловито сказал Юра. Не надо думать, что он шутил. Юрка у нас такой: надо будет – дом штурмом возьмет. Стоит ему поверить, что это действительно необходимо, и уж тогда только держись.

Я обернулся, решив, что лучше все-таки посоветоваться с

Сережей. Он стоял позади всех, на нижней ступеньке – на крыльце ему не хватило места. И вдруг я увидел, что Сергей смотрит в сторону, строит какие-то непонятные гримасы и загадочно жестикулирует.

Все было так странно в этой удивительной Яме, что я нисколько не удивился. Тут всякое могло произойти. Если бы были на свете злые сказки, все стало бы ясно. Мы знали бы, что попали в царство этих сказок, что здесь происходят только страшные события, колдуны здесь живут только злые и ни одна сказка не кончается благополучно. Я подумал, что старуха похожа на Бабу Ягу. Она была худая, потому, вероятно, что мальчик, которого она заперла в клетку и откармливала, сумел убежать. Этой Бабе Яге повезло больше. Она мальчика как следует откормила, съела и нагуляла жир.

Я проследил, к кому обращены странные жесты и гримасы Сергея. В них был определенный смысл. На беззвучном языке велась какая-то загадочная беседа. Свои бессловесные реплики Сергей обращал к окну дома, в котором почему-то не было Петьки и в котором жила эта ведьма. Окно было грязное, давно не мытое и, наверно, никогда не отворялось. Во всяком случае, несмотря на сентябрь, между рамами лежала горбом пыльная белая бумага и на ней стояли очень грязные стаканчики с солью. Сквозь мутное стекло я разглядел чье-то лицо, старческое и бородатое. Оно тоже гримасничало в ответ на Сережины гримасы, и старческие руки проделывали в ответ на Сережины жесты какие-то свои выразительные движения. Я не понял, что означал этот колдовской язык, и заметил только, что руками старик все время махал в определенную

сторону, туда, откуда мы пришли. Сергей, очевидно, понимал в этом удивительном языке больше меня.

– Пойдемте ребята, – негромко сказал он, – делать нечего.

– Как это – нечего! – возмутился Юра. – Нас к Петьке не пускают! Видал? Надо за милицией идти. Может, Петьку убили. Тут место такое, что все возможно. И старуха, по-моему, подозрительная.

– Юра, – сказал Сергей спокойно, – пойдем, я тебе потом объясню.

Есть у Сергея особенный тон, совершенно спокойный. И все же, когда он говорит этим тоном, с ним не только невозможно, но даже и не хочется спорить. Меня не надо было убеждать: я понимал, что Сергей получил какую-то информацию, которой хочет с нами поделиться. Как-то странно было даже подумать на этой старой, грязной, убогой, молчаливо ожидающей сноса и преображения улице о вполне современном слове «информация». Юрка тоже понял, что Сергей что-то разведal. Не споря, поднял он чемодан, и мы зашагали обратно, скользя по грязи.

Когда мы дошли до угла, Сергей, шедший впереди, уверенно свернул в переулок. Этот переулок был также безлюден, и в доме, возле которого мы остановились, окна даже были заколочены досками. Отсюда, наверное, жильцов уже переселили.

Рядом с калиткой этого дома тоже стояла прогнившая деревянная лавочка. Сергей указал на нее Юре и сказал:

– Поставь чемодан.

Мы составили на лавочку и свои портфели. Они были довольно тяжелые.

Юра молча смотрел на Сергея. Обстоятельства требовали разъяснения.

— Там старик у нее, — тихо сказал Сергей, — он мне какие-то знаки делал. Думаю, что я правильно понял. Он хотел, чтобы мы зашли за угол и подождали. Он хочет нам что-то сказать.

Мы промолчали. Когда я сейчас вспоминаю, как мы стояли в пустынном переулочке и ждали какого-то неизвестного старика, который неизвестно что хочет нам сообщить, мне кажется странным одно: в глубине души мы не были удивлены всей, казалось бы, непонятной историей. Не то чтобы мы ждали, что попадем именно в этот доживающий в полном молчании последние месяцы район и встретим именно эту зловещую старуху и этого таинственного старика. Нет, все было для нас неожиданно. Но, наверное, в глубине души давно уже каждый из нас не очень-то верил Петькиным письмам. Наверное, каждый из нас понимал, что какие-то слишком уж благополучные приходят от Петра вести. Не могут же в самом деле девять лет складываться обстоятельства так, что ни разу не удалось ему приехать повидать своих ближайших друзей. И еще, подумал я, слишком легко верили мы радостным Петькиным новостям. Верили потому, что каждый из нас был выше головы занят своими делами, своей работой, своими удачами и неудачами. Нам очень хотелось верить, что о Петьке думать и волноваться нечего, что у него все благополучно и, стало быть, он в нас не нуждается. В сущности говоря, мы второй раз в жизни предали нашего друга. В первый раз тогда, девять лет назад, когда мы прошли по конкурсу, а он не прошел, и мы так легко ус-

покоились тем, что какой-то приятель зовет его в какой-то город и обещает устроить в какое-то общежитие. А второе наше предательство было предательство долгое. Оно продолжалось если не девять, то, уж наверное, восемь лет. Восемь лет, в течение которых нас вполне устраивало, что от Петьки приходят счастливые вести и, стало быть, от нас троих не требуется никаких хлопот. Второе предательство было, пожалуй, еще хуже, чем первое. Ему не было оправданий.

Мы уже, наверное, минут десять ждали, когда в чухлом садике, окружавшем дом с забитыми окнами, возле которого мы стояли, появился наконец наш старик.

Этот старик не ел откормленного мальчика и поэтому был худ, как и положено сказочному старику. Он был в старых, разбитых валенках, на которых были надеты какие-то резиновые сооружения. У них есть специальное название, но я его позабыл. Они были красные, склеенные из автомобильной камеры, наверное, каким-нибудь кустарем-одиночкой. На старике были бумажные потертые штаны и очень старая, очень потертая военная гимнастерка без пояса. Думаю, что приблизительно так был одет, кроме, конечно, гимнастерки, тот старик, который однажды поймал рыболовным неводом золотую рыбку – свое счастье и которому погубила это счастье глупая и злая его старуха. Тощая бороденка болталась у него под подбородком, как будто ее приклеил плохой театральный гример. А на голове, лихо избочась, сидела совершенно вытертая меховая шапка.

Старик появился из глубины двора. Наверное, он предпочитал не идти по улице. Боялся, что старуха его

выследит. Он, наверное, пробирался какими-то задами, пролезал через какие-то щели в заборах. Это можно было угадать по тому, как он задыхался, по тому, как тек по его лицу пот.

Остановившись в глубине двора, он начал кивать головой и манить нас к себе. Сергей решительно открыл калитку и вошел во двор. Мы с Юрой зашагали за ним. Старик все отступал, будто заманивая нас, и, только когда мы все четверо зашли за дом, он остановился и позволил к себе подойти.

– Петька вас ждал, – сказал он. – Телеграмму ему принесли, что вы едете, он и заполошился. Туда кидается, сюда кидается. А после письмо вам написал. Старухе сказал, чтобы вам передала, и немного перед вами куда-то пошел. А старуха письмо прочитала – что поняла, а что и не поняла. Оно с загадкой. Бабка у меня хорошо грамотная, а прочесть только половину смогла. Половина не по-людски написана. Она подумала: может, донос какой или что. Словом, заявление. Порвать-то побоялась, думала, может, придет Петя, спросит, а захала его за зеркало. Она думала, что я сплю, да только я подсмотрел. Думаю, может, придут, за письмо на четвертиночку дадут. А то что ж она без меня решает... Дом-то на мое имя. Я хозяин. А она все себе, все себе. Вот я, пока она с вами кудахтала, письмо взял, вам сигнал подал и огородами – сюда. Она уж небось доискалась. Мне теперь по шеям будет наложено. Но я смотрю – люди представительные. Дадут, думаю, на четвертиночку, и черт с ней, пускай потом дерется. Я когда пьяный, так мне не больно.

– Письмо, – хмуро сказал Юра и протянул руку.

– А вы требуйте, требуйте у нее, – продолжал старик, не обращая на Юру внимания. – Не имеет она права вас не пустить. У него по пятнадцатое уплачено, а нынче только седьмое. Значит, он комнате хозяин. А он велел вас пустить. Он с пятнадцатого не платил, а вчера вечером у него Клятов был. Они чего-то долго шептались. Он, видать, у Клятова деньги взял и старухе при мне двадцать рублей отдал. Значит, до пятнадцатого уплачено. Старуха побегала – пол-литра взяла. А мне одну только стопочку нацедила, и то не доверху. Все сама, подлая, выдула. А мне неполную стопочку... А дом-то на мое имя.

– Письмо, – сказал Юра, и лицо у него было такое, что спорить с ним не имело смысла.

Мы, его друзья, уже точно знали, что, когда у него такое лицо, с ним не поспоришь. Тут его надо отвлечь или развеселить, а то хлопот не оберешься. Знала это, между прочим, и Нина. Она была женщина волевая, и Юрка ее обычно слушался, но когда у него становилось такое лицо, то слушалась уже она. Она, смеясь, рассказывала, что все не знала, выходить за него замуж или не выходить, а потом он лицо сделал, она испугалась и вышла.

Я решил, глядя на Юрку, что деду сейчас придется плохо. Но старик то ли не соображал, то ли был человек бесстрашный.

– Мне бы на четвертиночку... – сказал он, как будто не ставя условие, а так, как говорили когда-то лакеи: «С вас на чай». Однако он не сделал никакого движения, которое показывало бы, что он собирается достать письмо. Так что на самом деле это все-таки было условие.

Юрка стал наливать кровью, но в это время Сергей

протянул старику два рубля. Я даже не заметил, куда они исчезли, с такой быстротой старик схватил их и куда-то спрятал. Будто двух рублей никогда и не было. Старик сразу потерял к нам всякий интерес. Мысли его были теперь где-то в магазине возле прилавка с водкой. Он на минуту, кажется, забыл, что мы существуем, и повернулся, собираясь бежать в этот замечательный, так редко встречающийся в его жизни магазин.

– Письмо, – сказал в третий раз Юра, и я испугался, что он убьет старика.

Старик опомнился. Он снял с головы шапку, вытащил из-под подкладки сильно замаслившееся, написанное чернильным карандашом письмо.

Юра взял его, и старик исчез. Просто так: был – и нет его. Наверное, уполз в какую-нибудь дыру в заборе, через которую открывался кратчайший путь к тому замечательному магазину.

Мы вышли в переулок, уселись на лавочку и стали читать письмо.

Сейчас, когда я пишу эту повесть, письмо лежит передо мной, и я переписываю его от слова до слова.

«Дорогие братики!» – так начиналось это письмо, и слово «братики» сразу ввело нас в атмосферу детского дома и заставило вспомнить Афанасия Семеновича и нашу детскую жизнь, в которой много было хорошего, в которой у нас были секретные разговоры, и общие планы, и общие мысли, и общие надежды. И Петька, теперь опустившийся, – мы уже знали, что он опустившийся человек, – увиделся нам верным нашим другом, и как-то сразу понял я, да нет, наверное, мы все трое поняли, что если он и опустилс



если жизнь его и не удалась, то есть в этом, конечно, и его вина, но еще больше вина наша, нас, «братиков», дважды его предавших.

Юра, прочитав обращение, помолчал и пожевал губами. У меня в горле тоже стоял ком.

— «Дорогие братики, — снова начал читать Юра, — я всегда знал, что когда-нибудь мне придется вам все рассказать. Я только думал, что это будет гораздо позже, да надеялся, что, может быть, этого и совсем не будет, что прежде меня раздавит машина или кто-нибудь треснет бутылкой по голове. Так или иначе, вы едете ко мне, и я предпочитаю написать письмо, чем посмотреть вам в глаза. Думаю, что больше вас никогда не увижу. Не потому, конечно, что мне не хочется. Я бы с радостью отдал весь остаток своей никчемной, дурацкой жизни за то, чтобы хоть разок посидеть нам всем, вчетвером, поговорить, как мы говаривали прежде.

В общем, я сам во всем виноват. Валить мне не на кого, да я этого и не хочу. Вкратце вот что произошло: когда я, единственный из четверых, не прошел по конкурсу, мне было, честно говоря, очень обидно. Я решил, что не буду надоедать вам своими переживаниями. Ссылаться на то, что на экзаменах играет роль случай, — значит, обманывать себя и вас. Я вам, конечно, наврал про своего приятеля, который меня зовет в Энск и обещает там работу и общежитие. Я просто взял карту и покатил горошину. Горошина остановилась на Энке, я туда и поехал. Я снял комнату у теперешних моих хозяев, а через две недели уже работал на заводе, получил общежитие и переехал. Опять у меня были равные с другими условия. Я опять участвовал в конкурсе.

Только в том конкурсе, который я проходил в институте, из десяти человек выбывало девять и проходил один. Теперешний конкурс был много легче. Здесь из многих людей выбывал только один. И все-таки этим одним выбывшим опять ухитрился стать я. Вероятно, дело в том, что я человек ничтожный. Точно зубная боль, мучила меня мысль, что вы ушли далеко вперед, а я остался на месте. Знаю все, что вы бы сказали мне: тысячи людей в моем положении живут хорошо и хорошо работают, кончают заочный институт или техникум или просто получают высокую квалификацию и живут жизнью, заслуживающей уважения. Поэтому я и говорю, что я человек ничтожный. Зависть или уязвленное самолюбие, называйте как хотите, не давали мне покоя. Впрочем, может быть, и этому я придаю слишком большое значение. Всякий забулдыга ищет себе оправдание, и некоторые придумывают очень хитрые. Считайте, что просто я слабоволен и только поэтому стал тем, что я есть сейчас.

Создавалось вранье мое понемногу. Сначала мне не хотелось быть хуже вас, и я написал, что не могу приехать потому, что не дают отпуска или почему-то еще — я уже не помню, что я выдумал в первый раз. На самом деле просто я за год ничего особенного не достиг и решил, что увижу вас тогда, когда будет чем перед вами похвастать.

Вероятно, с такою мыслью нельзя начинать жизнь. Мне хотелось достичь как можно большего не потому, что я любил свою работу и увлекался своим делом, а только потому, что хотел оказаться не хуже вас.

Не буду излагать свою жизнь во всех подробностях: я чувствую, как приближается ваш поезд, а мне надо кончить

письмо, да и других дел много. Скажу коротко: все я вам наврал. И портрет мой никогда не висел на почетной доске, и в райсовет меня не выбирали, и свадьбу мою не праздновали. Каждый год я придумывал причины, по которым не могу приехать на седьмое сентября, но и причины эти как-то невольно оказывались хвастливыми. Получая от вас ответ, я каждый раз удивлялся, что вы, братики, не чувствуете, как я вру...»

Тут Юрка остановился и всхлипнул. Честное слово, сейчас, когда все это уже далеко, я сам удивляюсь, как мы все трое не разревелись. Пусть бы он лучше прямо написал, что мы равнодушные люди, эгоисты и себялюбцы. Мы бы хоть могли оправдываться. А тут и оправдываться было не перед кем. Он нас ни в чем не обвинял.

Юрка достал носовой платок и высморкался. Мы все трое немного пришли в себя. Потом Юрка продолжал читать.

– «...Единственное, братики, что я вам не наврал, – это то, что мне дали комнату и что я женился. Женился я на очень хорошей, просто замечательной девушке Тоне Ивановой, ныне Груздевой. Нам дали комнату по Советской улице, дом двадцать, квартира сорок четыре. Дали комнату, наверное, потому, что на заводе добрые люди. Честно говоря, я комнаты не заработал. Тоня знала, что я много пью, но не знала почему. Про уязвленное мое самолюбие я рассказываю вам первым. Думаю, что мое пьянство только усилило ее любовь ко мне. Она из тех женщин, которым обязательно надо кого-нибудь спасать. Если бы я был писателем, я бы написал о таких женщинах особенную книжку. У нас действительно родился сын, как я вам и

писал. Когда я еще раз пишу вам об этом и называю ее адрес, я делаю, наверное, еще одну подлость. Я ведь знаю вас, братики. Вы будете считать себя опекунами Тони и моего маленького сына, а я не уверен не только в том, смогу ли я им когда-нибудь помогать, но даже увижу ли я их когда-нибудь. Пока бухгалтерия по моему заявлению выплачивала Тоне часть моей зарплаты, все было еще ничего. Но год назад меня выгнали с завода за постоянные прогулы, и вот уже год, как я Тоне ничего не даю. Правда, она работает, а Володька в яслях. Я от них ушел больше года назад. Ушел просто, чтоб их не срамить. Что это за муж, который каждый вечер приходит чуть не на четвереньках да еще устраивает скандалы. Две потери у меня были в жизни: вы, мои братики, и жена с сыном. Хорошо хоть, что телеграмма ваша пришла как раз в тот момент, когда я решился потерять третье: остатки совести. Благодаря этой телеграмме я вовремя опомнился...»

Дальше шло что-то совершенно непонятное, какой-то набор букв: «ен етировог мавезаох и еноТ отч, я зечси адгесван. илсе ыв етедуб у янем яндогес моречев, адгок те-дирп ок енм кеволеч, уме ежот ен етировог!»

– Ничего не понимаю, – сказал Юра. Сергей взял письмо и всмотрелся.

– Зеркальное письмо, – объяснил он. – Надо каждое слово читать с конца.

*«Не говорите хозяевам и Тоне, что я исчез навсегда. Если вы будете у меня сегодня вечером, когда придет ко мне человек, ему тоже не говорите! Переночуйте у меня. Желаю вам всего лучшего, дорогие братики. Желаю на*

*этот раз всей душой. Зависть или уязвленное самолюбие прошли у меня, и, надеюсь, навсегда. Знаю, что сам во всем виноват. Слишком много я натворил дел.*

*Бывший братик Петя».*

Сергей сложил письмо и спрятал в карман. Мы все трое долго молчали.

## **Глава пятая**

### ***Невеселая выпивка***

– Так, – сказал наконец Юра, – ох и дураки же мы!

– Мерзавцы, – сказал Сергей. Мы опять помолчали.

– Куда он мог убежать? – подумал я вслух.

– Опять, наверное, пустил горошину, – сказал Сергей.

Я этого не думал: вряд ли у него дома была карта, да и горошину тоже надо найти, а он ведь торопился. Он чувствовал, как идет наш поезд. Какие же мы были самодовольные, благополучные, преуспевающие, как сказал старик, «представительные» дураки. Мне сейчас стыдно было вспоминать наши сборы. Кеты, видите ли, достали, какое-то вино для иностранных послов, игрушки, гигиенические и негигиенические. А ехали к человеку, который в отчаянии, которому нужно было только сказать: «Давай, Петька, вместе подумаем, как быть». И сейчас мне показалось, что нами руководило совсем не желание навестить друга, а просто желание похвастаться перед ним, что вот, мол-де, мы какие едим деликатесы, какие пьем посольские вина. Я, наверное, был не прав. Если и было у нас желание

похвастать, то ведь мы думали, что есть чем похвастать и Петьке. Мы готовились восторгаться его успехами, радоваться тому, как он счастливо живет, какая у него хорошая жена и необыкновенный мальчишка. Впрочем, мы же чувствовали... Да, наверное, чувствовали, но сами в этом себе не признавались. Так все-таки как же было? Знали мы или не знали, что у Петьки плохи дела? Почему семь, или шесть, или пять лет назад не собрались мы к нему поехать! Хоть не все трое, хоть один кто-нибудь. Не обязательно 7 сентября, хоть в любой другой день! Да, мы подозревали правду и не хотели подозревать, догадывались и прогоняли эти догадки. Почему? Потому, вероятно, что не хотели хлопот! Потому, что знали: если признаемся сами себе, что не верим в Петькино благополучие, значит, надо бросать дела, работу, налаженную жизнь и мчаться ему на помощь! А может быть, просто не хотели верить, что наш Петька может оказаться никчемным человеком. Что может у него быть жизнь неудавшаяся не по каким-то случайным причинам – по собственной его вине. Может быть, это от хорошего, а не от плохого? Наверное, было и то, и другое, и третье. И неважно, что одно противоречит другому. Человек противоречив.

Не знаю, о том ли думали мои друзья, но они тоже молчали, и первым молчание прервал Сережа.

– Вот что, товарищи, – сказал он, – выяснять, мерзавцы мы или не мерзавцы, будем потом. Сейчас надо решить, что делать. Прежде всего, где Петьку искать. Я думаю, надо вернуться к старухе. Может быть, она хоть что-нибудь знает.

Юра смотрел то на меня, то на Сережу. Он, очевидно,

ждал, что мы все продумаем и скажем, что делать. А уж он тогда развернется.

– Петька просит старухе не говорить, что он уехал, – напомнил я.

– Мы и не скажем. – Сергей встал и начал прохаживаться перед нами. Тут можно было говорить громко, не боясь, что кто-нибудь подслушает. – Для старухи мы просто ждем его, вот и все. В его комнате и переночуем.

– Больно уж люди мерзкие, – сказал Юра.

– Потерпишь, – кинул ему Сергей. – Какой-то человек придет к Пете вечером. Тоже может что-нибудь сказать. Потом к Тоне зайдем...

– А к Тоне когда же? – спросил я. Сергей посмотрел на часы.

– Сейчас три часа. Тоня придет с работы, наверное, часов в пять. Кончит работу в четыре и за мальчонкой в ясли пойдет. Значит, и мы к ней заявимся в это время. Теперь первое, что надо сделать, – это прорваться в Петькину комнату. Письмо получили за четвертинку, старухе придется, наверное, дать пол-литра. Кто-нибудь из вас собирается пить водку? – Он даже не ждал нашего ответа. – Вот и отдадим ей «Столичную». И чемодан легче будет, и старуха во хмелю разболтается. В пять часов пойдем к Тоне, а к семи вернемся и будем ждать этого человека. Потом надо разыскать Клятова.

– Какого Клятова? – удивился Юра.

– У которого он вчера деньги одолжил. Кстати, интересно: он одалживал деньги после получения телеграммы или до? Нет, вчера вечером. Конечно, до.

– Эх, Нинка, Нинка, – пробормотал Юра, – я думал, она шутит.

– Да, – согласился Сергей, – конечно, проще было бы, если бы мы застали его. Ну да ладно. Девять лет мы себя избавляли от всяких хлопот. Теперь придется похлопотать. Сколько у тебя денег, Юра?

– У меня рублей семьдесят, но можно Нине телеграфировать. У нас на книжке рублей триста. В крайнем случае, она рублей двести еще одолжит.

– А у тебя, Женя?

– Я взял все, что было. У меня триста с чем-то.

– У меня меньше, – сказал Сергей, – у меня сто. Ну, в общей сложности у нас около восьмисот, да, в крайнем случае, еще двести Нина может занять. Значит, на тысячу мы рассчитывать можем. Теперь как со временем?

– У меня две недели, – сказал я.

– Я дам телеграмму, – сказал Юра. – Думаю, что две недели мне тоже дадут.

– Мне придется позвонить шефу, – сказал Сергей. – Но я объясню ему, что случай серьезный, и на две недели он тоже меня отпустит. Что ж! Две недели и тысяча рублей. Этого хватит.

– А ты что, – удивился Юра, – предлагаешь ехать за Петькой?

– А ты что, – передразнил его Сергей, – предлагаешь ехать домой и в свободное время огорчаться, что у Петьки все так неудачно сложилось?

Юра покраснел. Он совсем не такой человек, чтобы отказаться ехать, просто неожиданные мысли всегда кажутся ему странными. Ему надо хоть немного времени, чтобы освоиться с новой мыслью и привыкнуть к ней.

Сергей решительно взялся за ручку чемодана.



– Значит, первая наша задача, – сказал он, – въехать к старухе. Дайте мне говорить и не спорьте. Понятно?

Мы пошли к дому Бабы Яги.

Сергей поставил чемодан на крыльцо, спокойно подошел к окну и постучал в мутное стекло. У него был такой вид, будто возвращается он к себе домой и никакие сомнения, что его не пустят, не могут ему даже и в голову прийти.

Старуха показалась в окне. Кажется, она была очень сердита. Но Сергей не стал с ней объясняться, а кивнул головой на дверь и поднялся на крыльцо.

То ли старухе было интересно, что мы можем еще сказать, то ли собиралась она отчитать нас как следует, чтобы мы больше не совались, во всяком случае, дверь открылась. Сергей сразу просунул в нее чемодан.

– Вас как по имени-отчеству, мамаша? – спросил он так спокойно, как будто мы сняли у нее комнату и заплатили вперед.

– Александра Федосеевна, – растерявшись, сказала старуха.

Сергей с чемоданом был уже в сенях. За ним вошли и мы с Юрой. Сени были просторные и очень захламленные. Тут стоял, прислоненный к стене, пружинный матрац, наверное крупнейшее средоточие местных клопов, и какие-то сломанные стулья, и стекла самого различного размера, так что нельзя было понять, в какие окна их собирались вставить. Ну конечно, была коллекция стеклянных банок из-под консервов, и какие-то лопаты, и какой-то холщовый мешок, набитый чем-то непонятным. Углы этого «чего-то» торчали самым беспорядочным образом, так что нельзя было даже предположить, что в мешке находится.

Именно здесь, на этой несколько захлавленной и полутемной площадке, старуха, кажется, собиралась дать бой, чтобы предотвратить наше вторжение в комнату. Но Сергей не дал ей времени приготовиться к бою.

– Консервный нож у вас есть? – деловито спросил он. – И четыре стакана?

Старуха опять растерялась и, выпустив с шумом воздух, который она набрала, чтобы начать ругаться, ответила в вопросительной форме, оставляя, таким образом, за собой некоторую свободу действия:

– Ну, есть, а что?

– А у нас пол-литра есть, – сказал также деловито Сергей, – и банка с кильками. Если б открыть ее, вот бы и закуска была. Может, вы бы за хлебом сходили? А то мы не знаем, где тут булочная.

– Хлеб есть, – сказала старуха, и мы таким образом вступили с ней в некоторые паевые отношения насчет выпивки и закуски.

– Ну, давайте ваш нож, – сказал Сергей таким тоном, будто ему до смерти не терпится выпить. – Водка у нас, между прочим, «Столичная». – Это было замечено скромно, но все-таки так, что старуха должна была оценить, какими деликатесами собираемся мы ее угощать.

Как ни странно, но на старуху это подействовало. Она, правда, проворчала что-то, но не стала спорить, когда Сергей взялся за ручку двери, и даже отодвинулась в сторону, чтобы дверь можно было отворить.

Мы вошли в кухню. Здесь была обыкновенная плита, пристроенная к русской печке, и можно было наверняка сказать, что ни плита, ни печка давно не топились. Хозяева,

наверное, ели хлеб с колбасой, а может быть, питались и одной водкой. Много ли, в сущности говоря, человеку нужно?

Хозяйка признала свое поражение полностью. Она то-ропливо прошла в другую дверь и, правда, не пригласила нас следовать за собой, но оглянулась с таким выражением лица, что это можно было принять хоть и не за любезное, но все-таки за приглашение.

Впрочем, она, кажется, собиралась быть даже любезной. Во всяком случае, войдя вместе с нами в Петькину комнату, она сказала: «Располагайтесь» – и сделала такое движение, как будто хотела выйти и оставить нас одних. Но Сергей закричал ей:

– Александра Федосеевна, давайте нож, хлеб, и сразу сядем!

Тут старуха, увидя, что пока обмана нет, улыбнулась какой-то другой, не своей улыбкой, тоже противной, но все-таки не такой злой.

В комнате Петьки стояли кровать с железной сеткой и плоским тюфячком, застланная темным полушерстяным одеялом, квадратный стол, покрытый клеенкой, на котором он, вероятно, писал полученное нами письмо, несколько гнутых венских стульев и диван, который, по замыслу, должен был, вероятно, иметь спинку, но почему-то ее не имел.

Над столом свисал патрон с очень пыльной лампочкой без всякого абажура. Больше в комнате ничего не было. Окна заклеивали, наверное, даже не прошлой зимой, а несколько лет назад – так пожелтели полоски газетной бумаги.

Пока я осматривал комнату, Сергей открыл чемодан, вытащил бутылку водки, банку килек и знаменитое вино, которым угощают иностранных послов. Очень быстро открыл он обе бутылки. У него были причины торопиться, потому что старуха уже входила, неся четыре граненых стакана, в каждый из которых было всунуто по одному ее пальцу, и тарелку с черным засохшим хлебом.

Юра открыл кильки ножом, который старуха вытащила из кармана. Мы сели за стол, запыхавшись от спешки. Как будто все мы бежали наперегонки к бутылке с водкой, но прибежали одновременно, и водку теперь придется делить на четверых.

Юра налил старухе полстакана и спросил:

– Вы как, Александра Федосеевна, любите?

– Да мне все равно, – ответила Александра Федосеевна и приставила толстый палец к стакану немного выше уровня водки.

Сергей налил еще – палец тоже поднялся. Как будто шло соревнование между этим толстым, очень грязным пальцем и струей водки. Как только водка догоняла палец, он поднимался. Закончилось это соревнование на самом верху стакана, когда в нем больше и капля не поместилась бы.

– Мы, Александра Федосеевна, будем пить вино, – сказал Сергей. – Во-первых, мы в поезде хорошо тяпнули, а во-вторых, нам сегодня в пять часов надо у главного инженера быть. Вот вечером вернемся и тогда уже выпьем.

Старуху не интересовало, к какому главному инженеру мы идем и почему вернемся. Вероятно выпив поллитра, она с утра мечтала опохмелиться. Хотя у нее оставалось сем-

надцать рублей от Петиных двадцати, может быть, она считала нужным распределить их так, чтобы целую неделю выпивать или же просто решила додержаться до вечера. Словом, какие-то были у нее свои хитрые планы, и, очевидно, судьба послала нас в очень трудную для нее минуту.

Подняв стакан, как ни странно рука у нее не дрожала, она, от торопливости ничего не произнеся, торжественно и серьезно влила его себе внутрь. Сережа начал было говорить какой-то тост, но, поняв, что это совершенно лишнее, поднял стакан с вином. Мы с Юрой тоже поднимали свои стаканы. Если бы это был просто грязный стакан, я бы, наверное, выпил вино, тем более что Сергей налил каждому очень немного, но, так как я видел в этом стакане толстый старухин палец, я не решился пить. Увидя, что старуха целиком занята сложными своими переживаниями, связанными с проглоченным стаканом водки, я опустил стакан, даже не коснувшись его губами.

Старуха между тем кончила переживать. Тогда она опустила два пальца в банку с кильками, схватила кильку за хвост, вытащила и опустила ее головой вперед всю, целиком, себе в рот. Юра фыркнул, но, вспомнив вовремя, что смеяться над пожилым человеком нехорошо, сделал вид, что чихнул, и даже достал для правдоподобия носовой платок.

– Ну-с, Федосеевна, – сказал Сережа, переходя на интимный тон, – так как, вы дружите с нашим Петром?

– Когда деньги платит, так дружим, – сказала Федосеевна и хихикнула. Ей это казалось, очевидно, смешным.

Сергей взял бутылку и, не дожидаясь старухиных указаний, налил ей опять полный стакан.

Удивительная это все-таки была выпивка. Мы сидели четверо за столом и перед всеми стояли налитые стаканы. Со стороны посмотреть – собралась дружная компания и ведет за рюмкой неторопливый разговор. А на самом деле все было не так. Мы трое не прикасались к стаканам. Пила одна старуха. И я никогда не видел, чтобы так пил человек.

Второй стакан она тоже опрокинула, и даже по горлу незаметно было, что она глотала. Снова толстые ее пальцы поймали кильку за хвост, и килька нырнула ей в горло головой вперед. Я хотел было сказать Сергею, что, пожалуй, старухе хватит, а то от нее ничего не добьешься, но куда там! Я даже рот не успел раскрыть, как старуха, на этот раз сама, вылила остатки водки в стакан и, не задерживаясь ни на секунду, перелила их себе в рот.

После этого нам оставалось только ждать, что произойдет дальше.

Процесс опьянения шел быстро. Одна стадия, не задерживаясь, переходила в следующую. Сначала старуха покраснела, и что-то похожее на веселье мелькнуло у нее в глазах. Но тут же, минутой спустя, веселье исчезло. На глазах у нее выступили слезы, и что-то она сказала непонятное, но, наверное, грустное, потому что вид у нее был такой, будто горевала она о безвозвратно ушедшей молодости. Но и период тоски прошел так же быстро, не успев как следует осуществиться. Старухе захотелось петь. Наступила музыкальная стадия опьянения. Она спела половину музыкальной фразы, кажется, даже вторую ее половину, и настала стадия разговоров, та, которую мы, собственно говоря, ждали. Старуха погрозила нам пальцем, как будто разгадала какие-то хитрые наши замыслы, улыбнулась, как

будто нашу хитрость видит насквозь, и сразу об этом за-  
была. Она подперла толстым кулаком толстое грязное лицо  
и задумалась.

– Скажите, Александра Федосеевна, – спросил Сергей,  
решив, что настало время для разговора, – Петька никуда  
ехать не собирался? Вы не слышали?

Старуха посмотрела на меня. Это получилось случайно  
– она могла бы посмотреть в окно, или на Юру, или на  
диван. Встретившись с ней глазами, я понял, что она уже  
была где-то в другом мире, в четвертом или пятом изме-  
рении. Никаких средств общения с ней не существовало.  
Мы ее видели, а она и не видела и не слышала нас. Какие-то  
в ней происходили биологические процессы. Может быть,  
мелькали даже и мысли в голове, но отдельные, разо-  
рванные, ничем не связанные между собой. Чему-то она  
опять будто бы улыбнулась, потом опять не то всхлипнула,  
не то икнула, потом положила голову на стол, что-то про-  
бормотала и заснула.

– Концерт окончен, – сказал мрачно Сергей. – Пошли к  
Тоне.

В это время вернулся из магазина старик. Мы узнали об  
этом по грохоту в сенях, по обрывку песни и по короткому,  
но энергичному взрыву ругани. Старик, видно, вернулся в  
боевом настроении и, как опытный тактик, предпочитал  
переходить в наступление первым. Впрочем, не зная, что в  
Петиной комнате сидим мы, он прошел, не заглянув к нам,  
в другую комнату, в которой, очевидно, жили хозяева.  
Сергей, держа в одной руке чемодан, в другой портфель,  
стоял у двери, прислушиваясь.

– Ушла, проклятая! – закричал старик, не обнаружив в

своей комнате жены. – Ну погоди, придешь, я тебе покажу, на чье имя дом!

Потом была тишина. Потом уже невнятное старик пробормотал что-то о том, что он, если захочет, вообще не пустит ее, и на этом запас его энергии кончился.

– Теперь будет спать, – спокойно сказал Сергей, открыл дверь и вышел.

На улице было по-прежнему тихо и безлюдно. Только в самом конце улицы стоял грузовик, которого раньше не было. Над кабинкой водителя возвышался шкаф и край матраса. Два человека вынесли из дверей и понесли к машине стол. Последние жители уезжали из Ямы. Я подумал о том, куда переедут старик со старухой. Конечно, им дадут комнату в новом доме. Конечно, и в новых домах попадают алкоголики, тупые и злобные люди, и все-таки в моем представлении не могли старики Анохины существовать нигде, кроме как в этом прогнившем доме, кроме как на этой мертвой улице, в этом умирающем мире. Для них были естественны липкая грязь на дороге, и покосившиеся заборы, и какие-то мелкие секретки, вся эта жизнь, которая уже не вяжется с людьми, живущими в новых квартирах с современной ванной и отдельной кухней, не вяжется с обыкновенным сегодняшним бытом. Я оглянулся на дом, который мы оставляли. Он стоял молчаливый, притаившийся, с пыльными стеклами, покосившимся крыльцом, плотно прикрытый входной дверью. Я не знал про старика и старуху ничего, кроме того, что они противные люди и пьяницы, но мне казалось, что дом скрывает какие-то преступления, тайные сговоры, темные дела.



## Глава шестая

### *Жена и сын*

Тоня Груздева жила в четырехэтажном стандартном доме на первом этаже. Мы позвонили, и она сама открыла нам дверь. Это была маленького роста, худенькая женщина с большими испуганными глазами. Я не точно сказал. Когда она увидела трех незнакомых мужчин с чемоданом и портфелями, она, конечно, испугалась. Но потом, когда мы ей объяснили, кто мы и что мы, и оказалось, что она о нас слышала и по Петиним рассказам нас знает, когда она улыбнулась и пригласила нас зайти, глаза у нее все еще были расширены и казались испуганными. Я потом уже понял, что глаза у нее расширяются не от испуга, а просто от волнения, от всякого сильного чувства. Наверное, от радости тоже, хотя радостной мне пришлось увидеть ее не скоро. Она, как я понимаю, была человеком сильных и скрытых чувств, очень, наверное, глубоко и серьезно переживала то, что многих людей даже не затронуло бы. Вот уж действительно свела ее судьба с Петей, с его пьянством и буйными возвращениями домой!

В комнате стояли никелированная кровать, стол, накрытый клеенкой, шкаф, наверное еще родительский, потому что уже лет пятнадцать таких шкафов не делают, и детский манежик, в котором мельтешил необыкновенно жизнерадостный парень с румяным и толстощеким лицом. Увидя нас, он начал подпрыгивать и издавать непонятные звуки. Этот способ выражения чувств, вероятно, единственно возможен в его возрасте. Мы не без основания ре-

шили, что он нас приветствует, столпились все трое возле манежика и начали развлекать молодца.

Надо сказать, что, поскольку мы все трое пока бездетные и о педагогике имеем самые общие представления, особенного разнообразия в наших приемах не наблюдалось. Мы все трое вытянули вперед правые руки, выпрямили на каждой руке по два пальца (указательный и средний) и начали тыкать несчастного младенца этими пальцами в самые разные места. При этом мы все трое на разные тона тянули букву «у-у-у-у». Мы все помнили, что называется это «делать козу». Ничего другого никто из нас предложить ребенку не мог. Нормальный ребенок заревел бы благим матом, но Володька с его неисправимой жизнерадостностью не подкачал. Он только еще больше развеселился от этих устрашающих жестов и начал просто заливаться хохотом.

Проделав этот ритуал, мы бросились к чемодану и к портфелям и завалили бедного ребенка такой грудой игрушек, что он понял: дело становится нешуточным. Тогда он сел на пол и начал их разбирать. Как ни странно, его внимание привлекли стерильные игрушки. Он начал совать их в рот, считая нужным попробовать на вкус эти яркие штуки непонятного вида. Мне осталось утешаться тем, что две моих обезьяны и замечательный медведь станут предметом Володькиной хотя и более поздней, но зато долговечной привязанности. Мы уже ушли от Тони, когда Юра вспомнил, что игрушки надо было давать по одной.

Таким образом, мы разделились с Володей. Мальчонка был так поглощен игрушками, что больше ни на что не обращал никакого внимания и, по-моему, даже не заметил нас потом, когда мы пытались с ним попрощаться.

После этого мы вытащили из чемодана все наши деликатесы и оставшиеся от запасов спиртного две бутылки шампанского.

Тут наконец осуществилось то, что такими яркими красками расписывал в поезде Юра. Тоня побежала на кухню варить кету, а мы трое стали накрывать на стол и раскладывать по тарелкам закуски. Юра оказался прав: довольно скоро все, кроме варившейся на кухне рыбы, было готово, и мы расселись вокруг стола. Тоня была спокойная, радушная женщина. Мы видели ее в первый раз, а чувствовали себя так, будто знаем ее давным-давно. И ей, видно, казалось совершенно естественным, что мы располагаемся в ее комнате, как у себя дома. Она сразу стала членом нашей компании. Так же, между прочим, как стала сразу совершенно своей и Нинка. Я подумал было, что вот, мол, двоим из братиков повезло с женами. Хотел было высказать свою мысль, но вовремя вспомнил, что не стоит говорить такое жене Петьки, пьяницы, бросившего ее с ребенком. Никак я не мог привыкнуть до конца к этой мысли. Все мне казалось, что это какое-то наваждение, какая-то морока, напущенная домовым из доживающего последние дни гнилого, клоповного дома в Яме.

Но вот выпит первый бокал шампанского, то есть, собственно, не бокал, а граненый стакан, и начинается разговор.

Тоня, конечно же, ничего не знала о Петькиных письмах. Горько улыбается она, когда Сергей рассказывает придуманную Петькину биографию, которая в этих письмах излагалась. Мы рассказываем о письмах без осуждения, стараясь быть спокойными. Рассказываем с той ин-

тонацией, с какой врач излагает симптомы болезни профессору-консультанту.

Потом мы рассказываем подробности нашего визита к Петьке, рассказываем про старика и старуху, говорим, как это все было для нас неожиданно, а Тоня слушает, подперев кулачком голову, и молчит, и только глаза у нее расширены от внимания, от напряженных мыслей, которые вызывает в ней наш рассказ.

Потом Сергей достает Петино письмо и протягивает ей.

Она читает это письмо, и глаза у нее расширяются еще больше. Она, наверное, не согласна с Петей, она ведет с ним про себя не слышный нам разговор.

Потом она вспоминает, что надо посмотреть рыбу, и уходит на кухню. Что-то долго смотрит она эту рыбу, и я почему-то представляю себе, что она стоит у плиты и не видит рыбы, а шевелит губами, продолжая вести свой взволнованный спор с Петром. Может быть, из расширенных ее глаз одна за другой медленно скатываются слезы.

Потом она возвращается. Рыба еще не готова. У Тони покраснели глаза. Слишком горяч был, наверное, пар из кастрюли.

Она садится и молчит. Молчим и мы. Что будешь говорить!

И тут взрывается Сергей. Он начинает объяснять, что виноваты мы, потому что по душевной лености предпочитали верить этим письмам, в то время как давно надо было приехать. Как всегда, у Сергея все звучит немного преувеличенно. Конечно, мы оказались ленивыми друзьями и могли бы гораздо раньше понять, что происходят с

Петром нехорошие вещи. Но у Сергея получается так, что мы одни во всем виноваты, а сам Петя просто ангел, которого плохие друзья довели до ручки.

Тоня слушает, подперев голову кулачком, и глаза у нее большие-большие. Испуганные, как я думал сначала, напряженно-внимательные, как я понимаю теперь.

И когда Сергей замолкает, Тоня, выждав и убедившись, что больше ему говорить нечего, думает еще минутку и отрицательно мотает головой.

– Нет, – говорит она, не обращаясь к нам, а как будто думая вслух, и уверенно подтверждает: – Нет! Не в том дело, что вы не приезжали, да и не в том, что вы поступили в институт, а он не поступил. И старуха со стариком ни при чем. Что же, что они пьяницы, неужто ж Петя таким лягушкам подчиняться может!

Я сперва не понимаю, почему она говорит «лягушкам», но потом думаю, что старуха в самом деле похожа на старую, раздувшуюся лягушку. Может быть, скорее на жабу.

– Нет, – окончательно решает Тоня, – и не в них дело. Петя ведь человек добрый и работник хороший. Седьмой разряд у нас даром не дают. Он только очень слабый. Я почему говорю – добрый: ведь он от меня ушел потому, что ему меня было жалко. Он, знаете, все собирался новую жизнь начать. Уйдет куда-нибудь, ну хоть в эту Яму, к Анохиным, возьмет себя в руки, опять на работу поступит, а тогда уж игрушек купит Володьке – он ведь очень Володьку любит, – мне отрез или там, например, духи и придет. И все будут говорить: чудо произошло с человеком. Он хочет все сразу. Он понемногу не может.

Я слушаю Тоню и понимаю, что обо всем этом было

думано-передумано не один день да и не одну ночь. Наверное, и с Петькой было об этом говорено-переговорено. И Петька с этим, наверное, соглашался. Теперь, когда я видел Тоню, я понимаю, что не случайно он женился на ней. Не та была Тоня женщина, на которой можно случайно жениться. И худенькая была она, и росточка небольшого, а сила убежденности была в ней огромная. Не с чужих слов она думала. Таких, как она, попробуй в чем-нибудь убедить. Такая должна все сама передумать, сама все понять и решить. Зато уж если решила, ее не собьешь.

— Мы первое время с ним хорошо жили, — снова заговорила Тоня. — И пить он не пил. Ну, иногда принесет к обеду четвертинку. И когда Володька родился, он приехал за нами праздничный такой, нарядный. Потом месяца не прошло, я его к обеду ждала, а он только утром пришел. Расцарапанный, в синяках, пиджак где-то сняли, часы, пропуск на завод пропал. Ну, я понимала, что ему плохо. Я ругать-то его не стала. Поел он, чаю выпил, лег спать. Я в консультацию пошла. Надо было Володьку показать. Прихожу, а его уж нет. И письмо лежит. Пишет, что я очень уж хороша, что он со мной жить не может потому, что он очень плохой, но что он твердо решил: он исправится и тогда ко мне придет. Ну, а где ему одному исправиться... Через год его и с завода уволили. Я почему узнала: мне бухгалтерия деньги перестала переводить. Он там заявление оставил, чтоб половину зарплаты мне. — Тоня невесело усмехнулась. — Что ж, мне деньги его нужны, что ли? Я Володьку и сама прокормлю.

— Не понимаю, — сказал Сергей, — может быть, у него наследственный алкоголизм, что ли? Мы ведь родителей своих не знаем.

– Да ну, – Тоня махнула рукой, – какой тут наследственный! Просто дружки хороши. А он человек слабый. Тут есть один такой, Клятов. Он из заключения вернулся, с Петей в одном цехе работал. Потом будто бы Клятов этот что-то с завода вынести хотел, я точно не знаю. Его уволили. Говорят, где-то работает. Врет, думаю. Но деньги у него есть. Одевается чисто. Боюсь, на плохие дела пошел. Вот он Пете деньги дает и пьет с ним. Не знаю, не знаю... Очень он плохой человек! И что Петя нашел в нем – не понимаю. И зачем Петя Клятову нужен, тоже понять не могу.

– Он и вчера ему деньги дал, – сказал Юра.

– Да? – У Тони снова расширились от удивления или от испуга глаза. – Как-то все сразу. И деньги Клятов дал, и Петя куда-то уехал. – Тоня подумала. Опустив глаза, она передвинула стакан, в котором уже перестало шипеть выдохшееся шампанское, переложила зачем-то вилку и нож и нерешительно сказала: – А я ведь так и думала, что Петя куда-то бежит... то есть уезжает.

В это время Володька решил наконец поделиться с присутствующими впечатлениями о новых игрушках. Он с удивительной энергией замельтешил в своем манежике, замахал руками и заболтал на своем тарабарском языке что-то, по-видимому, одобрительное: не то «да-да-да», не то «ба-ба-ба». Во всяком случае, понимать это следовало так: что игрушки ему понравились и возбудили в нем целый рой интереснейших мыслей. Тоня вскочила и кинулась к нему. Убедившись, что ничего страшного не произошло, она вытерла ему на всякий случай нос, потом вспомнила о рыбе, охнула и стремительно умчалась на кухню.

Через минуту она вернулась, держа кухонным полотенцем кастрюлю со знаменитой кетой, разложила ее по тарелкам, и хоть лицо у нее и сохранило по-прежнему горестное выражение, она все-таки улыбнулась и попросила нас есть.

Хотелось бы сказать, что у нас от всех треволнений пропал аппетит, но врать не буду. Мы набросились на рыбу, как голодные звери. Одна Тоня ничего не ела и по-прежнему с горестной своей улыбкой, думая о чем-то своем, передвигала стакан с шампанским, перекладывала вилку и ножик и, наверное, сама не замечала, что делает. Просто руки у нее привыкли двигаться. И думать привыкла она, непременно что-то руками делая.

Сергей совсем потерял совесть. Он съел всю рыбу, которую ему положили, посмотрел на Тоню, увидел, что она занята своими мыслями, смущенно кашлянул, полез в кастрюлю, положил себе еще здоровенный кусок и торопливо съел его, надеясь, кажется, что никто этого не заметит.

Тоня, наверное, действительно не заметила. Но теперь, когда Сергей насытился, ему стало неловко за свинское свое поведение. Он кашлянул еще раз и, делая вид, что все время размышлял о предмете нашего разговора, спросил у Тони:

– А почему вы думали, что Петя уезжает?

– Я, знаете, – проговорила Тоня медленно, как будто смущаясь, – когда Володьку утром отношу в садик, так мы с ним проходим мимо пустыря. Там, говорят, будут магазин строить. Петя там часто стоял, прятался, на Володю хотел посмотреть. Но только нам не показывался. Там бетонные панели наложены, так вот он за ними прятался и



смотрел. Я-то много раз замечала, но все делала вид, что не вижу. Он, думаю, стыдиться будет и убежит. Пусть хоть посмотрит на сына.

– Ну, а сегодня? – спросил я.

– Вот и сегодня тоже, – сказала Тоня, – только мне показалось, что ему хотелось к нам подойти. Он два раза совсем почти высунулся. Да, видно, вспомнит все и опять спрячется. Я даже нарочно постояла, будто газету читаю. А показать, что я его вижу, опять побоялась. Думаю, убежит.

Снова вспомнили мы все трое Петьку такого, как мы его знали, живого и веселого человека. Да что там веселого, просто обыкновенного человека, такого же, как каждый из нас или каждый из наших сослуживцев. Не знаю, как Юра и Сергей, а я не мог себе представить нашего Петьку, который прячется за бетонными панелями, чтобы посмотреть хоть издали на родного сына, и больше всего боится, чтоб его не увидела жена, которую он любит. Пусть прошло девять лет, но не может же человек перемениться совсем, ведь ему всего только лет двадцать семь или двадцать восемь. Надо же ухитриться так себе жизнь испортить!

– Тоня, – резко сказал Сергей, – как вы думаете, куда он мог бежать?

– Не знаю, – ответила Тоня, – он ведь нервничал очень, это же по письму видно. И времени подумать не было. Разве он мог рассуждать! Нет, не знаю. – Она опять подумала. – Был у него, правда, один приятель, – продолжала она, – Костя Коробейников. С Петей вместе работал, и они подружились. Он тоже в детском доме вырос, тоже в войну

родных потерял. Костя все писал куда-то, и ему милиция нашла родных. Он от них письмо получил. Отец в колхозе работает в Новгородской области. Он к родным и уехал. Петя ему писать хотел. Не знаю, написал или нет.

– А район? – спросил Юра.

– Не помню, – сказала Тоня, – не то на «В», не то на «К». Он уже года два как уехал, так я позабыла.

– Тоня, – сказал Сергей, – постарайтесь вспомнить и не обижайтесь на нас: мы сейчас уйдем. Нам еще надо на телеграф – дать телеграммы. Потом к Пете какой-то человек должен зайти, помните, он в письме пишет? Может, Анохины проспят, что-нибудь скажут. Если хоть маленький хвостик будет, мы разыщем его. Не может быть, чтоб никто не знал, куда он поехал. Как бы далеко это ни было, мы поедем за ним.

Тоня еще ниже наклонила голову. Она сомневалась. Не в том, наверное, что мы поедем за Петей, а в том, что Петя вернется к ней. Мы простились с Володькой, которого после долгих уговоров удалось заставить махнуть нам небрежно рукой, после чего он с новой энергией продолжил беседовать с какой-то гигиенической игрушкой на тарбарском своем языке. Мы простились с Тоней на лестничной площадке, пообещав завтра зайти или позвонить на завод и сообщить ей, что нам удалось узнать.

Мы не предполагали, что завтра встретимся с ней в совершенно неожиданном месте и в совершенно неожиданных обстоятельствах.

## Глава седьмая

### *Клятов. Начинается долгая ночь*

И вот мы опять, скользя по глинистой мокрой дороге, спускаемся в Яму. Чемодан мы оставили у Тони. У каждого в руке только портфель, и все-таки идти очень трудно. По-прежнему моросит дождь. Он сеет и сеет мелкими каплями и еле слышно шумит. Это не тот успокаивающий шум дождя, несущего плодородие полям, сверкающую чистоту улицам, особенную свежесть воздуху. Этот дождь только шепчет, будто уныло и бесконечно жалуется. Монотонно и медленно падают капли с деревьев и крыш. И кажется, это сама Яма в последние свои дни отводит душу и скучно рассказывает, какую плохую, тоскливую жизнь довелось ей прожить.

Еще нет восьми. Темнеет. И как же под этим мелким дождем мертво выглядит Яма! Хоть бы собака какая залаяла, хоть бы кошка пробежала под дождем, спеша спрятаться под крышу, хоть бы женщина с пустыми ведрами попалась навстречу...

Никого. Ни человека, ни зверя. Только доски и бревна намокают и гниют, только падают на мокрую глину капли с деревьев, карнизов и крыш.

Мы уже побывали на телеграфе. Юра ухитрился дозвониться Нине. В отделении связи было слышно все, что говорится в телефонной кабине, и Юра, не желая вводить присутствующих в курс наших дел, объяснялся настолько иносказательно, что, по-видимому, у всех создалось впечатление, что мы трое запьянствовали, пропили все деньги

и просим выслать нам еще. К счастью, Нина хорошо знала Юру и слушала не смысл его слов, довольно бестолковый смысл, а его взволнованный тон. Он без конца повторял одно и то же. «Тут очень плохо, очень, очень плохо!» – кричал он. Потом переводил дыхание и начинал снова: «Очень, очень, очень плохо! Он спился! Семен, Павел, Иван, Леонид, Семен, Яков. Он убежал. Уран, Борис, Евгений, Женя, Александр, Леонид».

Главное все-таки Нина поняла: во-первых, что Юра страшно взволнован и, во-вторых, что нужно телеграфом выслать триста рублей. Она сказала, что сейчас же побежит в сберкасса, которая до восьми, и, наверное, успеет сегодня же перевести. Как мы утром убедились, эта несложная операция ей удалась. Голову прозакладываю, что после этого она всю ночь не спала и старалась разгадать таинственное значение Юриных иносказаний.

После конца этого путаного телефонного разговора Юра и Сергей послали длиннющие телеграммы к себе на работу и в них намекали на какие-то страшные несчастья, по случаю которых и просили предоставить им недельный отпуск. Прodelав все эти телефонно-телеграфные операции, мы покинули асфальт и ступили на неверную, скользкую глину Ямы.

Неужели все жители уже выехали отсюда? Хоть бы из одной трубы шел дым, хоть бы на одном крылечке сидели люди! Только капли каплют на мокрую глину, и сквозь монотонный звук этих капель особенно отчетливо слышна тишина.

Молчим и мы. Как будто тут, в этом заколдованном, мертвом царстве, нельзя говорить. Только иногда

кто-нибудь из нас, поскользнувшись или ступив в лужу, шепотом чертыхается. Невеликое дело – чертыхнуться, но, когда чертыхаешься шепотом, даже обыкновенные эти слова становятся значительными и странными.

Но вот мы уже на Трехрядной улице, и уже видна полусгнившая лавочка перед домом, полусгнившее, покосившееся крыльцо.

Я, да, наверное, и каждый из нас, думал о том, как мы проникнем в Истину комнату. Чего угодно можно было ожидать от стариков Анохиных. Они могли уйти, заперев наглухо дом, и пьянствовать где-нибудь в другом месте, они могли передрались и убить друг друга, предоставив милиции возможность заподозрить в этом двойном убийстве нас. Они могли, наконец, забаррикадировать дверь и категорически отказаться нас впустить.

На этот последний случай у меня в портфеле лежала специально купленная бутылка водки. Предполагалось, что мы покажем се старухе в окно и таким образом заслужим доверие.

Мы поднялись на крыльцо и постучали. За дверью было тихо. Мы постучали в окно. Ни звука. Мы колотили в дверь кулаками, а потом уже каблуками, стучали и в одно окно, и в другое, кричали, что у нас есть водка и что Петя заплатил за комнату и приказал нас впустить, напоминали старику, что дом на его имя и он имеет право нам открыть, даже если старуха противится. Дом молчал. Тогда Юра отдал мне свой портфель, с мрачным лицом взялся за ручку двери, напрягся и дернул ее изо всех сил. Мы все чуть не попадали с крыльца в грязь – с такой несоразмерной с Юриным напряжением легкостью дверь открылась. Она просто была

не заперта. Мы вошли в захламленные сени и решили, что главным препятствием будет следующая дверь, из сеней на кухню. Но эта дверь тоже была открыта. Как будто старики за время нашего отсутствия покинули дом, оставив в нем только вещи, не имеющие никакой цены, которые не стоило брать с собою. Когда мы из кухни вошли в коридор, стал слышен какой-то неясный шум. Шум этот в довольно точном ритме нарастал, потом вдруг затихал, потом начинался снова и опять нарастал.

Мы прислушались. Шум исходил не из Петинной комнаты, а из другой, хозяйской, в которой мы еще не были. Сергей решительно открыл дверь в эту комнату. Только тогда мне стало ясно происхождение непонятного шума. Лежа в разных углах комнаты – старуха на кровати, старик на узеньком диванчике, – храпели супруги Анохины. Это был богатырский храп. Особенно удивительные фиоритуры выделявала старуха. Прodelав определенный цикл с нарастаниями и спадами, она под конец почему-то присвистывала. Вероятнее всего, для того, чтобы отделить один цикл от следующего. Старик вел втору. Он храпел грубей и однообразней. Он не признавал особых тонкостей, но зато по мощности, пожалуй, старуху превосходил.

– Объяснение придется отложить, – сказал Сергей. – Пошли к Петьке.

Мы вошли в Петькину комнату. Здесь было все так, как мы оставили, кроме только того, что стаканы с вином были пусты. Допито было и вино, оставшееся в бутылке. Очевидно, после нашего ухода старуха на некоторое время пришла в себя и подкрепилась знаменитым напитком, предназначенным, как мы уже знаем, для иностранных послов.

Мы составили портфели на пол, уселись рядом на Петькину кровать, положили ноги на стулья и спинами уперлись в стенку. Мы здорово устали за этот день. Не столько физически устали, не так уж много мы ходили, сколько от волнений и неприятных известий. Целый день были мы в напряжении. Сейчас мы сидели расслабившись. Не хотелось говорить, хотя тем для разговора вполне хватало. Слышно было, как монотонно, в несовпадающем ритме падали капли с дерева и с крыш, одни чаще, другие реже, одни звонче, другие глуше. И храп стариков Анохиных то нарастал до высоких нот, то стихал. Потом раздавался старухин разбойный посвист, и все начиналось заново. Как будто работала разболтанная старая машина, в которой уже изнашивалась каждая деталь, которая свистит, охает и кряхтит, но еще работает в каком-то хоть и замедленном, а все-таки ритме.

Я задремал, что-то вспомнил во сне и, вздрогнув, проснулся, услышал, что посапывает Юра и ровно дышит Сергей. Я снова начал задремывать. Я чувствовал, что засыпаю, и не хотел противиться сну и все-таки открывал глаза, потому что сидеть было неудобно и по-настоящему заснуть я никак не мог. Монотонно стихал и нарастал храп, монотонно капали капли. Я был на границе между бодрствованием и сном. Иногда я отчетливо понимал, где я сейчас нахожусь. Иногда виделись мне какие-то картины, будто из другого мира. За что-то меня отчитывал наш редактор, а я доказывал, что совершенно не виноват. Потом почему-то ворчал мой сосед по квартире, поглаживал усы и говорил, что нам надо, сложившись, произвести ремонт мест общего пользования. В этих местах общего пользования капала из кранов вода. И сквозь все эти путанные

представления проступала комната, в которой мы сидим, мутные от пыли стекла окон, монотонный шум капель и такой же монотонный храп стариков. И вдруг появился какой-то еще звук, прерывистый и негромкий. С трудом я открыл глаза и увидел, что в пыльное стекло окна тихо постукивает палец. Чья-то рука была видна в окне. Я вздрогнул и проснулся окончательно. К туманному стеклу прижалось чье-то лицо, чьи-то глаза всматривались в комнату и, наверное, за мутным стеклом не могли ничего разглядеть. Я открыл, совсем открыл глаза и ничего за окном не увидел. Но это не могло быть сном. Я тронул за руку Юру и Сергея. Они проснулись: Сергей сразу, а Юра что-то пробормотал, но потом тоже открыл глаза.

– Кто-то стучал в окно, – прошептал я, – и заглядывал в комнату.

Мы сидели молча, прислушиваясь. В старом доме всегда, если вслушаться, живут какие-то шумы: потрескивают половицы, возятся мыши. Мало ли что слышится в старом доме...

Но нет, что-то новое слышали мы, какие-то тихие, совсем тихие звуки. Что-то поскрипывало, потрескивало. Как будто дверь отворилась? Но нет, слишком тихо. Как будто бы шаги? Но нет, шаги человека тяжелее и громче. И все-таки шорохи приближались. Мы как замороженные смотрели на дверь. И вот медленно-медленно она начала отворяться. Мы этого ждали. Как ни тих, еле различим был шорох в коридоре, все-таки он уже был совсем близко. Мы это скорее чувствовали, чем слышали. Теперь мы видели, как медленно-медленно дверь движется. Она приотворилась немного, ровно настолько, чтоб можно было просунуть голову. И голова просунулась. И осмотрела комнату.



Может быть, человек, который стоял за дверью, нас не увидел? Может быть, он подумал, что мы спим? Мы были совершенно неподвижны. Нет, нас, вероятно, выдали наши глаза, широко открытые, внимательно смотрящие на него. Тогда он спокойно открыл дверь и вошел. Не глядя, уверенно протянул руку к выключателю. Под потолком загорелась тусклая, пыльная лампочка.

— Здравствуйте, — сказал человек. — А Петуха что же, дома нет?

Электрический свет будто расколдовал нас. Все стало ясно. Ничего, оказывается, необыкновенного не происходило. Просто храпели старики, просто с крыш падали капли. Просто пришел к Пете приятель, стукнул сперва в окно, а когда никто на стук не отозвался, вошел в комнату и зажег свет.

Это был невысокий парень в синем плаще и кепочке набекрень. Черты лица у него были мелкие, носик остренький, небольшой, губы тонкие, светлые маленькие глаза. И все-таки, не знаю почему, чувствовалось, что человек он сильный и, коли придется подраться, долго раздумывать не будет. Хотя руки у него и были маленькие, с короткими пальцами, но очень легко было себе представить эти руки сжатыми в кулаки, беспощадно бьющими человека, наносящими стремительные удары в лицо, в нос, в глаза.

— А вам какого Петуха? — спокойно спросил Сергей. — Один вон храпит в той комнате.

— Нет, — усмехнулся маленький человек, — мне моего дружка Петю. Мы с ним сегодня на танцы пойти условились. Скоро уж клуб закроют, потанцевать не успеем.

Мы с Юрой молчали. Следовало этому парню врать.

Мы не могли ему сказать, что Петя уехал неизвестно куда и, может быть, совсем уехал. Врать лучше одному. Наверное, Сергей уже придумал, что говорить, во всяком случае, вид у него был уверенный и спокойный.

— Да вот мы тоже его поджидаем, — сказал он. — Приехали из С. повидаться, да не застали. Придет, наверное. Куда он денется.

— Так... — сказал парень. — А вы что же, дружки его?

— Вместе в детском доме были, — равнодушно ответил Сергей.

— А-а-а, — протянул парень, внимательно оглядывая нас, — слышал, слышал, что есть у него в С. друзья.

Сергей не проявлял никакого интереса к разговору, он даже зевнул лениво и сонно. А парень, наоборот, был заинтересован.

— А он ждал, что вы придете, или вы так, неожиданно, неожиданно-негаданно?

— Взяли да и приехали, — сказал Сергей.

— Надолго? — спросил парень.

— Как дела задержат, дня на два, может, на три.

— Так... — Парень кивнул головой. — Ну, поджидайте своего дружка, а если придет, скажите, что я был.

— А вас как, извините, зовут? — спросил я.

— Паша меня зовут. Да он знает. Мы с ним условились.

— А фамилия? — настаивал я. — Чтобы не ошибиться.

— Фамилия? — пожал плечами парень. — Зачем вам фамилия? А впрочем, секрета тут нет. Гавриков, Паша Гавриков. Когда Петя придет, вы ему передайте. Скажите, что я до двенадцати буду ждать, где условились. На танцах.

Парень кивнул, очень, впрочем, небрежно, и вышел. Теперь мы отчетливо слышали его шаги по коридору и

скрип двери, которую он открыл. А потом слышали, как резко хлопнула дверь из сеней на улицу.

Сергей вскочил, быстро добежал до выключателя, погасил свет и бросился к окну. Я тоже подошел к окну. Парень шел по улице, скользя по липкой грязи. Он посмотрел на окна Петинной комнаты. Нас он сквозь пыльное стекло, наверное, не видел. Мы стояли немного в стороне, не хотели показывать, что он нас интересуется. Впрочем, то, что в комнате погасили свет, это-то ему было прекрасно видно. Значит, мог он и предполагать, что погасили мы свет, чтобы понаблюдать за ним. Он шел уверенно, не оборачиваясь. Руки он засунул в карманы и, кажется, насвистывал. А может быть, нам казалось. Через стекла было плохо слышно.

Во всяком случае, вид у него был равнодушный и независимый. Как будто бы он хотел показать, что ничего важного: зашел, мол, к приятелю, думал пойти с ним потанцевать, да не застал; ну, пойду и один на танцы.

— Что-то мне кажется, что его фамилия не Гавриков, а Клятов, — сказал Сергей, — и не на танцы собирались они с Петей идти.

## Глава восьмая

### *Долгая ночь кончается неожиданно*

Когда Гавриков, или Клятов, исчез, мы долго еще стояли у окна и смотрели на мертвую улицу. Дождь наконец перестал, но с крыши и деревьев продолжало капать. Где-то под половицами скреблась мышь. Старый дом был полон звуков. Что-то шуршало за обоями, тараканы или

еще какая-нибудь нечисть. Иногда трещали доски. Дом гнил, рассыхался, растрескивался. Да, конечно, именно в таких старых домах зародилась легенда о домовых, злых или добрых, которые хозяйничают тогда, когда все в доме спит.

– Давайте, ребята, поспим немного, – пробормотал Юра сонным голосом.

Мы сели на кровать. Спать мне хотелось ужасно, прямо глаза слипались. Но, как только я начинал засыпать, кто-то словно толкал меня. Я открывал глаза и не сразу понимал, где я и что это за ужасная комната. Вспомнив все, я снова начинал засыпать. И снова будто кто-то меня будил. Я поднимал голову и озирался. Все было по-прежнему. Ничего, кажется, не случилось. Это тревога не оставляла меня в покое, это тревога не давала мне спать и будила меня. Тревожная явь мешалась с тревожными снами. Я видел во сне, как маленький кулак Гаврикова стремительно бил кого-то в лицо. По избитому лицу текла кровь. Слышалось мне во сне, что кто-то рыдал надрывно и горько. И снова метался я и приходил в себя и снова видел ту же комнату и слышал: храпят Анохины, скребется мышь, тараканы шуршат за обоями.

Один раз, проснувшись, я почувствовал: что-то изменилось. Я испуганно огляделся. Кто-то возился в углу, сидя на корточках. У меня заколотилось сердце. Не сразу я сообразил, что Сергея нет на кровати.

Было почти совсем темно. Только тусклый лунный свет, с трудом пробившись сквозь облака, еле проникал в комнату через пыльные стекла.

– Сережа, – шепотом позвал я.

– Тише, – также шепотом ответил человек, сидевший в углу на корточках.

Он выпрямился, и только теперь я разглядел, что это действительно был Сергей.

– Ты что? – шепотом спросил я.

– Иди сюда, – также шепотом сказал он.

Не знаю, почему мы оба говорили шепотом. Стариков разбудить было невозможно, а больше никто не мог нас услышать. Просто в той атмосфере, которой дышал этот дом, обоими нами владело ощущение, что надо таиться. Будто всякое слово, сказанное громко, могло быть услышано, могло вызвать к действию какие-то страшные, неведомые нам силы.

Я вскочил и подошел к Сергею. Сергей держал в руке скомканный листик бумаги. Он расправил его и вгляделся, стараясь прочесть написанные карандашом неразборчивые буквы.

– Понимаешь, – объяснил он шепотом, – я все соображаю, куда все-таки Петька мог уехать? Я подумал, может, сохранилась какая-нибудь запись? Осмотрел комнату, смотрю, в углу мусор. Под веником нашел бумажку. Тут что-то написано. У тебя спички есть?

Так же, как нельзя объяснить, почему мы говорили шепотом, непонятно и то, почему мы не зажгли электричество. Видно, здорово были у нас напряжены нервы. Видно, владело нами желание быть настороже, избежать какой-то нам самим непонятной угрозы.

Я зажег спичку. Сблизив головы, мы наклонились над бумажкой. Две буквы «К» были написаны наверху и подчеркнуты. Потом было написано «Новг» и стояла точка.

Потом было написано подряд три буквы – «ВЛД», и потом, отдельно, через тире, – «р-н». Потом было написано «Едрово», и отдельно внизу: адрес Кости.

– Как Тоня его назвала? – спросил Сергей.

– Костя Коробейников, – сказал я, – КК, а Новг. – это, конечно, Новгородская область, это тоже она говорила.

– А Едрово? – спросил Сергей.

– По-моему, Радищев ехал через Едрово.

– Какой Радищев?

– Тот самый. «Путешествие из Петербурга в Москву».

– Тогда, может быть, ВЛД – Валдай?

– Может быть. Это, кажется, где-то близко.

Мы шептались, склонив друг к другу головы. Юра сладко посапывал во сне. Я вдруг подумал, что мы, точно малые дети, поддаемся влиянию старого дома, пустынной Ямы, по которой через год или два пролягут асфальтированные улицы и встанут рядами высокие современные дома. Чепуха какая-то!

– Почему мы говорим шепотом? – громко сказал я. Сергей ничего не ответил. Отвечать и не надо было.

Я и сам почувствовал, что спорь не спорь, а нормальный, громкий человеческий голос здесь звучит неестественно, нарушает тишину, свойственную этому пустынному, мертвому месту. Здесь было естественно говорить шепотом или, во всяком случае, приглушенно.

Очевидно, Сергей тоже чувствовал это. Он подумал и сказал по-прежнему шепотом:

– Надо, вероятно, лететь до Москвы. Может быть, отсюда есть прямой поезд до Новгорода.

– А может быть, лететь лучше до Ленинграда? – сказал

я, снова вернувшись к шепоту. – Новгород – это где-то близко от Ленинграда.

Сергей вынул из кармана записную книжку и аккуратно вложил в нее кусочек бумаги с этим полушифрованным адресом.

– Давай вздремнем, – сказал я. – Надо хоть немного поспать.

Пока мы шептались, Юра, так и не проснувшись, спокойно раскинулся на кровати. Мы пытались его растолкать, чтобы объяснить ему, что на этой кровати должны спать трое, а не один, но разбудить его нам не удалось. Сережа взял его за ноги, а я за плечи, и мы, не особенно деликатничая, усадили его. Он никак на это не реагировал. Только пробормотал что-то, что, очевидно, относилось не к нам, а к каким-то людям, с которыми в это самое время он во сне вел какие-то разговоры. Минуты не прошло, и, примирившись с насилием, он продолжал спокойно посапывать.

– Здоров спать, – сказал Сергей, и мы с ним уселись на освободившиеся места.

И снова потянулась ночь. Снова я то задремывал, то просыпался и каждый раз, просыпаясь, видел, что становится светлее. Ночь перевалила за середину. Облака разошлись, и от этого быстрее светало. Я подумал, что если бы Яма была еще жива, наверное, сейчас начали бы перекликаться петухи. Но по-прежнему было тихо. Видно, ни одного петуха здесь уже не осталось. Все реже и реже падали капли. День обещал быть солнечным. Анохины потихли. Старик, видно, повернулся на другой бок, и его не было слышно. Старуха еще посвистывала, но тоже будто потише. Вместе с полутьмой летней северной ночи рас-

сеивалось то чувство тревоги и тайной опасности, которое заставляло нас с Сережей шептаться. Перестала скрестись мышь. Перестали шуршать за обоями тараканы. Я находился в старом доме, который скоро снесут, в районе, по которому скоро будут проложены новые улицы, который осветят высокие фонари с лампами дневного света. Ничего таинственного не было ни в районе, ни в доме. Ничего мрачного не предвещало потрескивание и побряхтывание дома, притихший храп стариков Анохиных. Плохо было, конечно, с Петром. Ну что ж, неужели мы трое, не приведем его в порядок?! Я стал думать о том, как мы его разыщем, объясним ему, что нечего от нас прятаться. Как привезем мы его в С., получит он комнату, ну, не сразу, хоть через год, через полтора, вызовет Тоню с Володькой, и тогда уже все вместе отпразднуем общий наш день рождения.

Так все это представлялось мне ясно, таким все это казалось мне благополучным, радостным и спокойным, что я наконец окончательно и крепко заснул.

И все-таки беспокойно я спал. Снились мне быстро сменявшие друг друга сны. Опухший, опустившийся Петька стоял, прижавшись к бетонным панелям, сложенным на пустыре. Володька прыгал в своем манежике. По мертвым улицам Ямы бегала черная кошка. Кто-то тряс меня за плечо. Много еще было разного, чего я и не помню. Но что бы я ни видел, какие бы разные, не связанные между собой представления ни менялись в этом бесконечно мелькающем сне, все пронизывала, через все проникала горькая, почти физически ощущаемая мною тоска.

И снова кто-то тряс меня за плечо. И почему-то я не



хотел просыпаться. Я цеплялся за эти быстро сменявшиеся видения потому, что все надеялся увидеть что-то радостное, что непременно, я это хорошо знал, должно было мне представиться. И тогда, я это тоже знал, меня отпустит тоска и все станет хорошо.

Но меня неумолимо трясли за плечо. И, цепляясь за сон, я все-таки вынужден был с ним расстаться. Я открыл глаза и увидел, ничего еще не понимая, комнату, тускло освещенную солнцем, с трудом пробивавшимся через пыльное стекло, Сережу и Юру, стоявших с ничего не выражавшими лицами, и милиционера, наклонившегося надо мной. Это он, милиционер, настойчиво будил меня.

Я удивленно смотрел, не понимая, откуда и зачем он появился и какое он занимает место в быстро меняющемся потоке сновидений.

– Проснитесь, проснитесь, гражданин, – говорил милиционер.

И только услыша его голос, я понял: сновидения кончились, я уже в другом, реальном мире.

Я не знал, что произошло, но чувство тоски, преследовавшее меня во сне, с новой силой на меня навалилось.

– Ваши документы, гражданин, – сказал милиционер, который тряс меня за плечо.

Я достал бумажник. Вынул паспорт и военный билет, потом вытащил корреспондентское удостоверение и все это протянул милиционеру. Он не торопясь открыл паспорт, прочел первую страницу. Потом полистал, наверное, искал прописку, и все, что написано в штампе прописки, тоже прочел, с начала и до конца. Потом он так же внимательно просмотрел военный билет, потом прочел коррес-

пондентское удостоверение и, ни к кому не обращаясь, сказал, что оно действительно по первое сентября. Я почувствовал себя виноватым, хотя великолепно знал, что здесь я не в газетной командировке и что продлить удостоверение мне ничего не стоит, да и редакция на любой запрос ответит, что действительно я штатный сотрудник газеты «Уралец». Но все же я чувствовал себя виноватым.

Да, это было бы несущественно в обычное время, но сейчас, в присутствии милиционера, эта ерунда приобретала важный смысл. Хотя милиционер не сделал из этого никаких выводов, а просто отметил для себя этот факт, мне стало перед ним неловко. Почему-то хотелось, чтобы все документы были в абсолютном порядке. Хотелось щегольнуть строгим соблюдением законов и правил. Чувство мое было схоже с чувством человека, переходящего перекресток под внимательным взглядом постового. Такой прохожий обычно не просто переходит улицу, а переходит ее, можно сказать, показательно. Он смотрит сначала налево, потом, как написано на плакатах, направо и идет совершенно прямо, ни на шаг не отступая от впаянных в асфальт бляшек, всем видом своим показывая, что он точно выполняет установления и может считаться не просто пешеходом, но пешеходом в некотором смысле образцовым.

Впрочем, милиционер, повторяю, не придавал значения тому, что удостоверение просрочено, и молча вернул мне документы.

Кроме Сергея и Юры, кроме того милиционера, который тряс меня за плечо, есть еще в комнате второй милиционер, стоящий у двери, и человек в синем костюме, который почему-то держит в руках мой портфель.

– Покажите, что в вашем портфеле, – говорит этот человек.

То ли застёжки почему-то заело, то ли у меня дрожат руки, но я никак не могу его открыть. Я понимаю, что это ужасно. Могут подумать, что я нарочно. Что я спекулянт или грабитель, что портфель набит бриллиантами.

Я волнуюсь. Все сильнее дрожат руки, и вдруг... он наконец открылся. Я достаю трусы, рубашку, электробритву, блокнот, который по привычке я взял с собой. Человек в синем костюме перелистывает блокнот и тщательно осматривает с двух сторон каждый листок. Я не тороплю его. Теперь в портфеле осталась только проклятая бутылка водки, приготовленная, чтобы соблазнять старуху, если она нас не пустит в дом.

Сгорая от стыда, я вытаскиваю эту бутылку, но человек в синем костюме не обращает, кажется, на нее внимания. Он возвращает мне все обратно. Я складываю имущество; оно как будто разбухло и не влезает. Я впикиваю его кое-как. Теперь портфель не хочет закрываться, но моя собранность и воля побеждают его упрямство. Застёжки щелкают, и я успокаиваюсь.

Во всем происходящем, в сущности говоря, нет ничего страшного. Естественно, что Яма, из которой выселены почти все жители, может служить местом, где скрываются темные люди. Да и у стариков Анохиных – я только теперь расслышал, что храп в их комнате прекратился, – вряд ли безупречная репутация. Стало быть, совершенно естественно, что милиция держит всю Яму, и в частности этот дом, под наблюдением. Я начал понимать, что дело не так просто, только тогда, когда человек в синем костюме сказал ничего не выражавшим голосом:

— Мы, товарищи, сейчас с вами проедем в городское управление милиции. Наши работники хотят с вами побеседовать.

Право же, ни в чем не был я виноват. Право же, отлично я понимал, что ничего плохого с нами тремя произойти не может. И все-таки мне стало неприятно и захотелось оправдываться. Не в чем-нибудь определенном, потому что вины за собой я никакой не знал, а вообще оправдываться. Доказывать, что я точно соблюдаю законы и заслуживаю полного доверия. Тут же мне стало смешно. Я подумал, что похож на того хорошего мальчика в классе, который держит руки на парте, на виду, для того чтобы учитель не подумал, что это он пустил в товарища шарик из бумаги, который на самом деле пустил другой, гадкий, мальчик.

Я глупо и жизнерадостно улыбнулся и, страшно смутившись, пробормотал что-то вроде того, что и мы с этими товарищами с удовольствием побеседуем. Человек в синем пиджаке посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал и только рукой указал на дверь.

Взяв свои портфели, мы все трое гуськом вышли из комнаты. В коридоре стоял еще один милиционер, и я подумал: что-то слишком много народу для обычной проверки документов. В сенях был тоже милиционер. А когда мы вышли на крыльцо, то увидели, что перед домом стоит закрытая милицейская машина, известная во всех городах страны под выразительным названием «раковая шейка».

Оставшиеся еще в Яме жители собрались возле этой машины. Тут была женщина, которая попалась нам на встречу с пустыми ведрами, и какой-то старик, весьма благообразный, смотревший на нас с осуждением, пред-

полагая, по-видимому, что мы являемся крупной межобластной шайкой мошенников, пойманной наконец милицией, и портфели носим только для того, чтобы внушать честным людям доверие.

Еще человек пять стояли вокруг. Я их не разглядел. Я и в самом деле чувствовал себя мошенником и старался не встречаться с осуждающими взглядами честных советских людей. Мы погрузились в «раковую шейку». Тут уже сидели, очевидно разбуженные раньше нас, старики Анохины. Старик не обратил на нас никакого внимания, а старуха улыбнулась ласковой, сладкой улыбкой, стараясь, видно, показать, что мы старые знакомые и прекрасно друг друга знаем. С нами сел и милиционер, который молчал всю дорогу. Мы все тоже молчали. Я не знаю, полагается ли разговаривать между собой подозреваемым людям, но так как мы, очевидно, были подозреваемыми, то на всякий случай молчали, чтобы как-нибудь не нарушить правила.

## Глава девятая

### *Разговоры в милиции*

Мы въезжаем во двор серого кирпичного дома. Я в первый раз в жизни чувствую себя преступником. Не могу сказать, что это приятное чувство. Я, конечно, знаю, что не крал и не убивал, но почему-то мне вспоминаются все судебные ошибки, о которых я слышал. Действительно, застали нас в каком-то темном месте. Я стараюсь взглянуть на обстоятельства дела глазами следователя и сам себе представляюсь субъектом очень подозрительным. Ну и что

же, рассуждаю я, что меня никогда еще не привлекали к суду. Все преступники когда-нибудь совершали преступление в первый раз. Я, правда, начал довольно поздно. Может быть, у меня замедленное развитие, и поэтому я вступил на путь преступности позже, чем большинство. Я гоню от себя эти мысли. Я издеваюсь сам над собой. Я убеждаю себя, что, конечно, внимательный и чуткий следователь – а судя по литературе, они все внимательные и чуткие – без труда разберется в деле, отделит овец от козлиц и меня, невинную овцу, торжественно отправит домой, пожелав успеха в труде и личной жизни.

И все-таки настроение у меня преотвратительное. И веду я себя почему-то именно так, как ведут себя самые что ни на есть опытные преступники.

То я чувствую, что у меня вид оскорбленной невинности, и понимаю, что как раз такой вид принимают при задержании настоящие грабители и убийцы. То появляется у меня на лице улыбка, которой мог улыбнуться честный газетчик, задержанный по ошибке и знающий, что ему ничего не стоит доказать свою невиновность. Я тут же соображаю, что у этого газетчика была бы именно такая улыбка, даже если бы он только что зарезал целую семью. Лицо мое как-то инстинктивно, независимо, кажется, от моего сознания, принимает самые разнообразные выражения, а мое сознание сразу бракует их как явно подозрительные. Поэтому, если посмотреть со стороны, лицо мое непрерывно меняется, как будто у меня очень сложный нервный тик. Я понимаю, что этот «ряд волшебных изменений» очень подозрителен, но ничего не могу с собой сделать.

Так, непрерывно изменяясь, я и захожу в кабинет следователя. Сергея и Юру уводят куда-то в другое место — мне не видно куда. Я знаю по литературе, что следователь должен мне сейчас предложить папиросу, и торопливо соображаю, что будет менее подозрительно: если я закурю или если поблагодарю и откажусь. Но следователь почему-то не предлагает папиросы, что очень странно, потому что противоречит накопленному за многие годы опыту советской детективной литературы.

Стариков Анохиных отделили от нас еще в коридоре и увели в какой-то другой кабинет. Это меня обрадовало. Очевидно, подумал я, уже разобрались, что мы не такие подонки, как они, и замешались в эту историю случайно. Потом я с ужасом вспоминаю про бутылку водки и стремительно лечу в бездну отчаяния. Ясно, что в глазах следователя я выгляжу алкоголиком, приготовившим наутро опохмелку. Где алкоголизм, там и преступление, с горечью думаю я.

За письменным столом сидит человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. Он опять проверяет мои документы, расспрашивает меня, как я и мои друзья оказались у Анохиных, давно ли мы знаем Петю, почему мы к нему приехали и почему, не застав его, все-таки у него остались?

Он слушает меня и заполняет протокол допроса.

То, что каждое мое слово записывается, заставляет предполагать, что дело серьезное. Мне не положено спрашивать лейтенанта — это я понимаю, но меня мучает мысль, что же такое произошло. Я перебираю в голове всякие возможности: поножовщину, хулиганство, даже

убийство в драке, и все-таки то, что нам сообщают потом, когда допрос уже кончен, оказывается страшней моих самых страшных предположений.

Я рассказываю и о детском доме, и об Афанасии Семеновиче, и об экзаменах, и о девяти годах, и о 7 сентября. Я рассказываю о Петином письме и о том, как старуха нам его не передала, а старик продал за четвертинку. Письмо интересует лейтенанта милиции. Оно у меня, и я охотно его показываю. Лейтенант милиции нажимает на кнопку звонка, входит рядовой милиционер и уносит Петино письмо. Я начинаю волноваться и говорю, что это письмо нашего друга и мы хотим его сохранить. Лейтенант успокаивает меня и говорит, что нам письмо отдадут.

Потом лейтенант спрашивает:

– Скажите, а что, по-вашему, Груздев имеет в виду, когда пишет, что телеграмма пришла как раз в тот момент, когда он решился потерять остатки совести?

Я смотрю на лейтенанта и моргаю глазами. Честно сказать, меня этот вопрос ошарашивает.

– Не знаю, – говорю я, – мы на это не обратили внимания.

Мысли у меня в голове начинают вертеться с невероятной быстротой. «Остатки совести», – думаю я. Может быть, действительно имеется в виду преступление. А может быть, все гораздо проще и речь идет о какой-нибудь ерунде. Например, он собирался попросить у Тони денег, зная, что не отдаст.

Я долго молчу. Лейтенант меня не торопит.

– Но ведь он пишет, – наконец говорю я, – что опомнился благодаря телеграмме.



– Да, – соглашается лейтенант, – но все-таки как же он собирался потерять остатки совести?

И опять я молчу. Я просто не могу понять, почему мы не придали значения этой фразе? Может быть, потому, что были слишком оглушены всем содержанием письма? Может быть, потому, что знали Петю и не могли подозревать его в преступлении? Все-таки опуститься и пьянствовать – это одно, а стать преступником – это совсем другое. Но почему я, собственно, думаю, что Петька стал преступником? Какие у меня основания? Может быть, за домом Анохиных следили по совершенно другим причинам. Старуха, может быть, сбывала краденое или спекулировала. А Петька просто уехал в Клягино, к Афанасию Семеновичу.

Наконец, я говорю решительно, что ничего не могу предположить насчет этой фразы и что смысл ее мне неясен.

Лейтенант молча записывает мое показание, потом достает пачку фотографий и раскладывает их по столу.

– Посмотрите, пожалуйста, эти фотографии, – говорит он.

Я склоняюсь над столом. На всех фотографиях молодые парни. Лица очень разные. Один с какими-то дурацкими баками необычайной формы. У другого тонкие усики на верхней губе.

– Знакомого вам человека здесь нет? – спрашивает лейтенант.

Одно лицо мне кажется знакомым. Это парень с тонкими губами, с остреньким носиком, с маленькими светлыми глазами.

Я показываю на эту фотографию.

— Вот Гавриков, — говорю я, — он вчера вечером приходил.

— Гавриков? — спрашивает лейтенант.

— Может быть, Клятов, — говорю я.

— А почему вы думаете, что он Гавриков или что он Клятов?

Я рассказываю о вчерашнем визите этого парня, о том, как он назвал себя Гавриковым и как мы подумали, что, может быть, на самом деле он Клятов, потому что старик Анохин сказал нам, что днем раньше Петя занял у какого-то Клятова деньги и заплатил за комнату.

— Сколько денег взял Груздев у Клятова, не знаете? — спрашивает лейтенант.

Я знаю только, что за комнату Петя отдал двадцать рублей. А сколько вообще взял, понятия не имею.

И тут я произношу убедительную речь в защиту Пети. Я начинаю спокойно. Я говорю, что, может быть, Петя связался с очень плохими людьми. Нам вчера этот Гавриков, или Клятов, очень не понравился. Может быть, среди его приятелей были и уголовники. Но я, да и мы все трое, знаем Петю с детства и готовы за него поручиться. Пусть он человек слабый. Может быть, он стал пьяницей, но преступником он стать не мог. Дальше я ссылаюсь на Петино письмо. Разве такое письмо преступник мог бы написать? Чепуха! Человек мучается оттого, что опустил. Стесняется показаться своим друзьям. Значит, он не только не потерял совести, а, наоборот, совесть его мучает все время. Наконец, он, правда, пишет, что решился потерять остатки совести, по тут же пишет, что вовремя опомнился.

– А куда он мог уехать? – спрашивает лейтенант милиции.

И по тону его должно быть ясно, что это совершенно неважно и спрашивает он об этом просто так, потому что к слову пришлось.

И сразу я понимаю: это, наоборот, очень важно. Поэтому нас и привезли сюда. Поэтому с нами и разговаривают и тратят на нас время, которого, видимо, сейчас немного у этого лейтенанта и у его товарищей.

– Мы сами все время об этом думаем, – говорю я. – Нам обязательно нужно его найти. Мы вчера позвонили в С., чтоб нам дали отпуск и выслали деньги. Мы хотим поехать к нему. Понимаете, ему нужно вернуть веру в себя. А то что же это такое: человек раскис, считает, что все для него потеряно...

– И куда же вы думаете ехать к нему? – спрашивает совсем равнодушно лейтенант милиции. – Раз вы взяли отпуск и деньги выписали, значит, вы знаете куда?

– В Клягино, к Афанасию Семеновичу, – говорю я, – по-моему, больше ему ехать некуда.

Лейтенант долго пишет. Я прошу разрешения закурить. Разрешение получаю и курю с таким видом, будто меня совсем не занимает, что пишет лейтенант.

Наконец лейтенант, дописав протокол до конца, дает мне прочесть его.

Я читаю внимательно. Да, все точно так, как я говорил, но в то же время не совсем так. Факты точны, а что-то ушло и пропало. Я понимаю, что не в силах никакой протокол передать мою уверенность в том, что не мог Петька совершить преступление. Если и была пьяная драка, то, ко-

нечно, надо его наказать, но наказать, помня, что он человек хороший, что он только споткнулся и обязательно станет на ноги.

Но факты изложены точно. Спорить не о чем. Я подписываю протокол в тех местах, которые указывает лейтенант, и думаю, что, поскольку допрос, по-видимому, окончен, я имею право спросить, что совершил Петька, в чем, собственно, его обвиняют.

Но лейтенант встает и говорит:

– Пойдемте со мной.

Мы идем по коридору, и я вижу, что из комнаты в конце коридора выходит другой лейтенант и с ним Юра, у которого недоступно строгий вид и очень серьезные, даже испуганные глаза. Мы проходим друг мимо друга, делая вид, что друг друга в первый раз видим. Почему мы считаем нужным скрывать наши отношения, я не знаю. Вероятно, исходя из предположения, что здесь, в милиции, существуют какие-то особенные правила поведения. Так как эти правила вам неизвестны, то лучше не делать ничего сверх того, что наверняка позволено.

Итак, мы расходимся с каменными лицами, и я даже не решаюсь оглянуться и посмотреть, куда пошел Юра со своим лейтенантом. Впрочем, я и не успел бы это, наверное, сделать. Мой лейтенант открывает дверь той самой комнаты, из которой только что вышел Юра, и просит меня зайти. Я захожу. Лейтенант тоже заходит и закрывает дверь.

В комнате письменный стол, сидит еще один лейтенант, но не за письменным столом, а на стуле у стенки. На двух других стульях рядом с ним сидят мужчина в штатском и

женщина... Про женщину как-то неудобно сказать «в штатском». Какая-то женщина в обыкновенном черном пальто.

Мой лейтенант садится за стол. Я сажусь с другой стороны стола, не понимая, что тут будет происходить. Лейтенант опять достает бланки допроса и начинает снова спрашивать мое имя, отчество, фамилию, год рождения, место работы...

– Вы же меня спрашивали об этом! – говорю я, возмущенный этим проявлением, с моей точки зрения, бюрократизма.

Лейтенант объясняет, что следует все это повторить для понятых. Я соображаю, что мужчина и женщина, сидящие в стороне, – это и есть понятые, и начинаю добросовестно отвечать на вопросы.

Итак, я повторяю снова свои анкетные данные. Закончив записывать их, лейтенант достает из ящика стола и показывает мне зажигалку.

– Скажите, – спрашивает лейтенант, – вам эта зажигалка знакома?

Изображенный на зажигалке человек целится в кого-то из пистолета. Лейтенант то поднимает ее вертикально, то опускает в горизонтальное положение. Лицо человека то закрывает черная маска, то маска исчезает.

– Это Петькина зажигалка! – радостно говорю я.

– Петра Груздева? – переспрашивает лейтенант.

– Да, да, да, – подтверждаю я и рассказываю, как мы подарили эту зажигалку Петьке девять лет назад, когда провожали его сюда, в этот город, когда, казалось, все складывается прекрасно и всем предстоит счастливая

судьба, и ничего страшного будущее не сулит, а сулит только счастье, только успехи, только вечную дружбу...

Казалось бы, сейчас радоваться нечему. По крайней мере, одного из нас судьба обманула. Но эта зажигалка возвращает меня в прошлое, и мне снова кажется, что мы еще только открываем чистую книгу жизни, не испорченную горестными и стыдными записями.

Потом я замолкаю. Я вспоминаю о том, что у нашего друга Петьки стыдных и горестных записей очень много, что, вероятно, плохие дела натворил он, если меня так подробно допрашивают, если быстро бежит по бумаге перо лейтенанта, записывая каждый мой ответ.

Потом я читаю протокол и расписываюсь на каждой странице, потом читает протокол женщина и тоже расписывается. Наконец, последним расписывается мужчина, и на этом дело кончается. Мы с лейтенантом выходим. Навстречу нам идет по коридору Сережа с тем лейтенантом, с которым недавно шел Юра. Мы с Сережей тоже делаем вид, что первый раз в жизни встретились друг с другом. Мой лейтенант подводит меня к скамейке, на которой сидит Юра, просит подождать и уходит в дверь напротив.

Мы с Юрой сидим и даже не смотрим друг на друга, чтобы не нарушить какие-нибудь правила. Потом я решаю, что раз нас посадили рядом и оставили одних, значит, имели в виду возможность, что мы поговорим друг с другом.

— О чем тебя спрашивали? — начинаю я разговор, но Юра смотрит на меня зверскими глазами, и я понимаю, что он считает мой вопрос серьезным нарушением закона.

Я замолкаю. Мне очень хочется курить, но не у кого спросить, можно ли курить в коридоре.

В это время открывается дверь, и в коридор выходит Тоня. У нее очень испуганные глаза. Она смотрит на нас и, кажется, не узнает. Мы оба встаем. Только тогда она вспоминает, кто мы такие, торопливо подходит к нам и, не здороваясь, говорит приглушенно и быстро:

– Не верьте, ничему не верьте! Этого быть не может. Я ручаюсь, что этого не было!

Мы стоим растерянные, не зная, чему мы не должны верить.

Тоня быстро идет дальше по коридору, не попрощавшись с нами, ничего нам не объяснив. Я смотрю ей вслед и вижу, что она сутулится, что она как-то неровно идет. У меня мелькает мысль: не упала бы она. Но она скрывается за поворотом коридора.

Наконец в другом конце коридора появляется Сергей с бывшим Юриным лейтенантом. Теперь уже, очевидно, это лейтенант Сережин. Они доходят до нашей скамейки, и Юрин-Сережин лейтенант говорит:

– Вас хочет видеть начальник, пройдемте к нему.

Начальник сидит, оказывается, в том самом кабинете, из которого вышла Тоня. Это майор милиции. Мы быстро поднимаемся по лестнице званий! Он просит нас сесть. Долго смотрит на нас и говорит:

– Я хочу ввести вас в курс дела: ночью сегодня ограблена квартира инженера Никитушкина. Это очень уважаемый в городе человек. Он здесь проработал больше тридцати лет. Теперь он на пенсии. Его жена пыталась позвать на помощь. Они живут в отдельном домике за городом. Грабители убили ее. Инженер Никитушкин в тяжелом состоянии в больнице. В одном из грабителей он

опознал Клятова. Того самого, который вчера приходил к Груздеву. Лица второго грабителя он не разглядел. Есть серьезные основания предполагать, что вторым был ваш друг Груздев Петр Семенович. Тем более, что на месте преступления найдена зажигалка, которую вы опознали, подтвердив, что она принадлежит Петру Груздеву. Добавлю, что скрылись оба: и Клятов, и второй, может быть Груздев.

Мы сидим ошеломленные. Все можно было предполагать. Но предположить, что Петька убийца, – совершенно невозможно. Не знаю, как Юра и Сергей, но я даже ни о чем не думаю. У меня в голове пляшет дикий хоровод мыслей. Майор, нагнувшись к нам, говорит очень серьезно и значительно:

– Вы ничего не можете добавить к вашим показаниям?

Я смотрю на Сергея. Сергей, помолчав, пожимает плечами. Юра, кажется, совершенно растерялся. Пожимаю плечами и я.

После этого нам отдают Петино письмо – его, очевидно, сфотографировали – и отпускают нас.

Мы выходим на улицу, долго не понимая, куда и зачем идем. Наконец Сергей останавливается и говорит:

– Пойдемте на реку. Может быть, там есть спокойное место. Надо поговорить.

## Глава десятая

### *Разговор на холме*

Речка в городе узенькая и мелкая. Все-таки по берегам устроены набережные.



Мы шагали молча. Набережная кончилась, пошли поросшие травой откосы. Мы взобрались на вершину невысокого холма. Здесь стояла скамейка. Ее, вероятно, поставили специально, чтобы люди отсюда любовались рекою и городом. Вид и в самом деле довольно красивый. Я, впрочем, в тот день его не рассмотрел как следует.

Мы сели и долго молчали.

Начал разговор Юра.

– Не могу себе представить Петьку, который убивает беззащитную, старую женщину, – тоскливо сказал он.

Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он молчал. Он неподвижными глазами смотрел на речку, медленно текущую меж поросшими травой берегами, и, наверное, не видел ни речки, ни берегов. Наверное, он представлял себе эту старую женщину и отвратительные сцены, которые происходили прошлой ночью в домике за городом, где проработавшие всю жизнь старики собирались пожить на покое последние годы.

– Нет, не могу, – сказал он наконец. Его даже всего передернуло.

Я чувствовал себя безумно усталым. Вряд ли усталость эта была от беспокойного сна. Сколько раз приходилось мне не спать ночь напролет и в университете, и на работе в последние годы. Вымоешься утром холодной водой, и как рукой снимет усталость. А сейчас не хотелось ни разговаривать, ни даже думать. Я чувствовал себя совершенно неспособным принимать ответственные решения, обсуждать их, отстаивать свою точку зрения. Я хотел просто, чтобы ничего не произошло. Чтобы не было этого убийства и этих отвратительных Анохиных, чтобы в Яме уже были

выстроены новые дома. Пусть бы не приходила Нине в голову дурацкая мысль ехать нам к Петьке праздновать день рождения...

Позже, когда я вспоминал свое состояние, мне было стыдно за мои тогдашние мысли. Я тогда все за себя огорчился. Что вот приходится мне участвовать в этой отвратительной и страшной истории. Что вот, мол, как было бы хорошо, если бы все это случилось в мое отсутствие и я никогда ничего об этом бы не узнал. Между тем очень скоро мне пришлось вспомнить, что речь идет не обо мне, а о Петьке, что нам троим многое надо решить. Мне напомнил об этом Сергей.

– А ты как думаешь? – спросил он меня.

Я только пожал плечами в ответ. Мне хотелось вообще ничего не думать

– Итак, дорогие братики, – сказал Сергей, – поскольку нас из милиции отпустили, мы сейчас срочно едем на вокзал, берем билеты на первый поезд в С., и пусть Петька выпутывается из этой истории как хочет. Так, что ли?

– Не понимаю тебя, – сказал Юра, – что же мы еще можем сделать?

– Ух, тюлени, – у Сергея от негодования даже голос стал сиплым, – где вас воспитывали!

– Не понимаю тебя, – повторил Юра, – ты считаешь своим другом человека, пошедшего на грабеж и убившего старую, беспомощную женщину?

– Нет, – резко сказал Сергей, – я считаю своим другом человека, которого подозревают в убийстве. Человека, против которого много серьезнейших улик. Если бы я работал в милиции, я бы, может быть, тоже был убежден, что

он убил. Но я провел с ним все детство и юность и знаю, что он невиновен. И никакими уликами меня не убедишь.

– С другой стороны, – сказал Юра тихо, как бы раздумывая, – если человек опустился и все время находится в алкогольном бреду, откуда мы знаем, что он может наде-  
лать?

Сергей долго молчал. Потом встал и несколько раз прошелся по вершине холма. Я думал о том, как странно, что меня как будто и не волнует этот разговор. Как будто мне и неважно, убил Петька или не убил. Единственное, что мне важно, – чтобы меня оставили в покое. Какие-то дурацкие мысли лезли мне в голову! Например, можно ли лечь на траву полежать или это запрещено? Хорошо бы купить мягкий билет, думал я, и до самого С. проваляться, укрывшись с головой одеялом. И еще я удивлялся тому, что Юра, обычно вспыльчивый, легко возбудимый, горячий человек, сейчас почему-то необыкновенно спокоен, а Сергей, человек спокойный, уравновешенный, весь кипит от волнения. Я, впрочем, думал и об этом совсем равнодушно, как если бы это были посторонние люди. Вероятно, мозг мой, перегруженный волнениями, требовал отдыха. Я думал еще, что надо сделать над собой усилие для того, чтобы снова стать активным, действующим лицом в этой драме, которую необходимо довести до благополучного конца. Думал и гнал от себя эти мысли. Я просто не был способен на какие бы то ни было усилия.

– Подумайте сами, – негромко заговорил Сергей, продолжая ходить взад-вперед мимо скамейки, – вчера вечером Клятов приходил к Петру. Они, очевидно, заранее условились, потому что Петр пишет в письме, что вечером к

нему придет человек, и просит этому человеку не сообщать, что он, Петр, уехал совсем. Никто другой не приходил. Значит, речь шла о Клятове. Вероятно, Клятов убедил Петра идти на грабеж. Вероятно, он его запутал в долгах, запугал, убедил, скажем, в том, что никого из хозяев не будет дома. Я ведь не оправдываю Петьку, я понимаю, что он опустил, что он связался с подонками – словом, что он «наделал дел», как сам пишет. Но в то, что Петька пошел на убийство, – не верю! Получилось иначе. Пришла Нинкина телеграмма, Петя решил бежать. Не только от нас, а и от Клятова, который, наверное, держал его в руках так крепко, что Петьке было не выпутаться. И вообще от всякого бреда, который вокруг него. Клятов пришел, увидел, что Петьки нет, нашел другого соучастника и пошел на грабеж.

– Почему же ты это не сказал в милиции? – спросил Юра.

– Потому что милиция все это знает и сумеет, наверное, без меня разобраться. Она только одного не знает, что знаю я. Но как раз этого я объяснить не могу. Я знаю Петьку, а майор Петьку не знает. Я знаю, что Петька может оказаться в руках Клятова, но я знаю еще и то, что на убийство Петька не пойдет.

– Не понимаю, – сказал Юра, – что же мы можем для Петьки сделать? Ты сам говоришь, что объяснить майору, какой человек Петька, мы не можем.

– Во-первых, мы можем верить Петьке. Во-вторых, мы можем разыскать его и спросить, как было дело. Если виноват – пусть отвечает. Но пусть он мне сам скажет, что виноват. Пока я в это не верю. А если он не виноват, подумаем с ним вместе, как разбить обвинение. – Сергей

помолчал и добавил: – Не верит же Тоня в его вину. Наверное, она про убийство нам говорила там, в милиции.

Юра осваивал новую идею. Ему всегда нужно было для этого время. Зато уж усвоив, он твердо за нее держался. С меня тоже начало сходить оцепенение, которое несколько минут назад казалось мне непреодолимым.

– Я предлагаю следующее... – Сергей сел на скамейку между Юрой и мной. (Юра смотрел на Сергея с напряженным вниманием, ожидая, очевидно, откровений.) – Я предлагаю следующее, – повторил Сергей, – мы все трое едем искать Петьку.

– Где искать Петьку? – спросил Юра.

– Прежде всего у Афанасия. Ручаюсь, что, когда Петька понял, что надо спастись от нас, от Клятова, от самого себя, он подумал про Афанасия. Первым же поездом едем в Клягино. Если Петька там, поговорим с ним. Пусть он мне скажет, что он не убийца. Я поверю ему. Вы поймите – он делает самое глупое, что только можно: скрывается.

– Почему же он скрывается, если он не убивал и не грабил? – Юра по-прежнему внимательно смотрел на Сергея, искренне стараясь его понять.

Хотя я и знал, что Юре всегда нужно все подробно и толково объяснить, меня все-таки начинали раздражать его вопросы. Меня порадовало даже то, что я раздражился. Временный паралич воли – не знаю, как иначе назвать то, что со мной происходило, – видимо, кончался. Вместо дурацких мечтаний о мягком вагоне и полном бездействии я начал соображать, действительно ли Клягино единственное место, где может оказаться Петр. С интересом я слушал доводы Сергея, который, видимо, твердо был убежден, что ехать надо именно в Клягино.

– Куда он мог поехать? – говорил Сергей. – Только к Афанасию Семеновичу. Каждый из нас в таком случае поехал бы к Афанасию.

– Ну хорошо, – медленно проговорил Юра, – а если у него за эти годы появились друзья, которых не знаем ни мы, ни Тоня? Если кто-нибудь из этих друзей уехал, скажем, на Дальний Восток и как раз недавно прислал письмо, что там есть работа и дают общежитие. Тогда что?

– Что же ты предлагаешь? – спросил Сергей, сдерживая раздражение. – Ты же должен понять: если Петька не участвовал в ограблении – а я убежден в этом, – то, во всяком случае, улики сложились против него серьезные. Он, как нарочно, делает все, чтобы подозрения подтвердились. Согласись сам, с точки зрения работников розыска, совершенно логична точка зрения: если человек невиновен, он скрываться не будет. Петька скрылся в тот самый день, когда был ограблен Никитушкин. Подозрительно? Безусловно. Мы должны его убедить в том, что единственный выход явиться в милицию и сказать: «Я только сейчас узнал, что в Энске ограблен инженер Никитушкин. Мои друзья сообщили мне, что меня считают соучастником ограбления. Я ни в чем не виноват: уехал я из Энска в этот самый день совершенно случайно и, как только услышал, что меня подозревают, пришел к вам. Я не виноват но хочу, насколько смогу, помочь следствию». Пусть будет хоть тысяча улик против Петра, но если следствие сейчас даже убеждено, что он виноват, когда он явится сам, убеждение будет поколеблено.

– А если Петьки в Клягине нет? – спросил Юра.

– Сели Петьки в Клягине нет, – сказал я, – так мы, по

крайней мере, поговорим с Афанасием Семеновичем, расскажем ему все, посоветуемся с ним. Надеяться найти Петьку мы можем только в Клягине, больше адресов у нас нет.

Юра молчал. Очень тоскливое было у него лицо. Он никак не мог примириться с тем, что Петьку подозревают в ограблении и убийстве. Ему, по-моему, казалось, что, в сущности, все очень просто. Надо только объяснить следователям, что мы Петьку хорошо знаем, что он, конечно же, никак не может быть преступником. Юра в глубине души был убежден, что доказать Петькину невиновность так же просто, как доказать, что солнце встает на востоке и садится на западе.

— Что же ты предлагаешь? — снова раздраженно спросил Сергей.

Юра его как будто не слышал. Он достал папиросу, чиркнул спичкой, затянулся, выпустил дым. Потом посмотрел на речку, грустно вздохнул и сказал:

— Надо ехать.

— Пошли, — сказал Сергей.

Мы начали неторопливо спускаться с холма.

— Сейчас пойдем на почтамт, — негромко говорил Сережа. — Во-первых, получим деньги и ответы на телеграммы. Во-вторых, надо позвонить Нине. Ты, Юра, скажи ей, что мы решили, раз уж вырвались с работы, поехать на несколько дней к Афанасию. Говори просто и весело. Понимаешь? Незачем кричать на весь почтамт, что Петьку подозревают в убийстве.

Деньги и ответы на телеграммы уже пришли. С Ниной соединили довольно быстро. Пока Юра кричал в трубку:

«Алло, алло, ты меня слышишь?» – я из автомата позвонил в железнодорожную справочную. Оказалось, что нужный нам поезд отправляется только в двенадцать часов ночи. Когда я вышел из автомата, то услышал бодрый Юрин голос, разносившийся на весь почтамт.

– Решили поехать в Клягино, – кричал он, – погулять, проветриться, понимаешь? Павел, Роман, Ольга, Виктор, Евгений, Тимофей, Роман, Иван, еще Тимофей, мягкий знак, Семен, Яков. – Тон у Юры был не свойственный ему, развеселый и лихой. Как будто жизнерадостный забулдыга предупреждал жену, что задержится с товарищами в ресторане и чтобы она его не ждала.

Вероятно, посетители почтамта, слушавшие этот разговор, решили, что Клягино – новомодный курорт, где жизнь идет разгульно и беззаботно.

Что подумала Нина, мне страшно предположить. Сопоставляя с прошлым нашим разговором, она, вероятно, поняла, что до сих пор очень мало знала своего мужа и что на самом деле человек, которому она отдала свою молодость, страшнейший запивоха. Не представляю себе, как иначе могла объяснить странный Юрин звонок женщина, не знающая подлинных обстоятельств дела.

## **Глава одиннадцатая**

### ***Приехали к Афанасию***

У меня никогда не было дома в том смысле, в каком понимают дом люди с биографией, сложившейся благополучно. Я говорил уже, что не знаю своих родителей,



никогда не знал домашних вечеров, которые с таким наслаждением описывали почти все люди, вспоминая свое благополучное детство. Мне доводилось видывать в окнах первых этажей ребят, склонившихся над тетрадкой или увлеченно читающих книжку; мать, зашивавшую разорванную рубашку; отца, углубившегося в журнал или газету.

В моей жизни такого не было. Мне это удавалось только увидеть иногда, в чужом окне, стоя на темной улице. Я говорю о себе, имея, разумеется, в виду каждого из четырех братиков.

Вероятно, мы многое упустили в детстве. Вероятно, лучше расти в семье с ласковыми родителями, с братьями или сестрами, с добродушной бабушкой. Я говорю «вероятно», потому что не могу сравнивать. Жизнь в семье известна мне по литературе, по некоторым случайным наблюдениям, по случайным рассказам, слышанным мною от товарищей. И все-таки наше детство тоже прошло не плохо.

Детский дом, директором которого был Афанасий Семенович, находился, по чести говоря, в очень неприятном месте. Когда я бывал в Клягине уже взрослым, я всегда удивлялся, почему для детского дома выбрали именно это село. Оно находится в восьми километрах от районного центра и станции железной дороги. Здесь есть несколько больших двухэтажных каменных домов и много полукаменных (первый этаж кирпичный, второй – бревенчатый). В этих домах жили когда-то торговцы, владельцы двух небольших ткацких фабрик, скупщики льна – словом, всякие купцы второй и третьей гильдии. Когда я стараюсь

представить себе, чем жило наше Клягино до революции, я всегда вспоминаю «В овраге» Чехова. Наверное, здесь была такая же дикая, беспросветная жизнь. Так же обманывали и обвешивали, так же, затаившись в своих домах, как медведи в берлогах, копили деньги и обманывали друг друга купцы, фабриканты, домовладельцы, так же какие-нибудь Хрымины-младшие катались по праздникам в санях или в колясках. Может быть, впрочем, хотя бы в некоторых из этих домов и был какой-нибудь, по тогдашним понятиям, уют: горели керосиновые лампы, топились печи, пеклись пироги. В наше время эти дома, каждый из которых, худо ли, хорошо ли, приспособлен для одной семьи, перенаселены, большие комнаты переделаны на клетушки, не похожие друг на друга люди живут тесно и от этого друг друга не любят, часто ссорятся из-за пустяков, враждуют и жалуются друг на друга. Это в больших домах. Там помещаются общежития ткацких фабрик или работников больницы, школы, сельсовета, колхоза. Гораздо лучше жить тем, у кого маленькие домики с садиком. К сожалению, этих маленьких домиков не очень много. Вероятно, здесь существовали какие-то умершие теперь виды торговли, потому что зачем-то селились же здесь купцы, зачем-то отстраивали себе двухэтажные хоромы.

Клягино удивительно неуютное село. И все-таки именно в Клягине обосновали детский дом, в котором выросли мы четверо и в котором директорствовал Афанасий Семенович. Вероятно, именно большие каменные дома прельстили его в Клягине. Наш детский дом занимал целых два таких здания. В одном помещался спальный корпус, в другом – учебный корпус и столовая. Восьмилетняя школа

была неподалеку, а старшеклассников возили в районный центр на автобусе. Совсем недалеко за селом начинался лес, большие пруды, в которых разводили карпов, и славная речка, в которой можно было купаться, и даже плавать, и даже нырять с разбегу.

Нет, места кругом были хорошие, жаловаться грех.

На нашей памяти благоустроились и запятые нашим детским домом корпуса. Афанасий Семенович был человек бешеной энергии. Под всякими предложениями он по кусочку оттапывал землю то у фабрики, то у кинотеатра, и в конце концов у нас образовался очень большой двор, в котором было место для игры в городки, и баскетбольная площадка, и еще много свободного места, где можно было бегать и играть в разные игры. Футбольное поле, правда, во дворе не помещалось, но Афанасий Семенович добился, что под самым селом построили стадион. Он принадлежал сельсовету, но мы приняли большое участие в его постройке и три дня в неделю безраздельно на нем хозяйничали.

Последним достижением была пристройка к учебному корпусу. В первом этаже помещалась большая светлая столовая, а во втором – великолепный спортивный зал и кинобудка, так что в случае нужды в зале можно было показывать кино. Ужас скольких хлопот стоила эта пристройка, скольких споров и ссор со строителями, скольких жалоб в рай- и облисполкоме, в рай- и обкоме партии!

Сдали эту гигантскую стройку как раз в тот год, когда мы поступили в вуз. На следующее лето мы трое приехали к Афанасию Семеновичу отдохнуть. Он с таким вкусом, с таким наслаждением водил нас по новой столовой и спортзалу, что, честное слово, нам даже стало обидно, что

не придется обедать в этой столовой и заниматься гимнастикой в этом зале.

Поезд наш пришел в город, в восьми километрах от которого находилось село Клягино, в девять часов вечера. Последний автобус уже ушел, и мы, не раздумывая, зашагали пешком по такой знакомой, совершенно пустой в вечернее время дороге. По обеим сторонам шел лес, чудесный лес нашего детства. Афанасий Семенович был довольно строгий директор, но режим в детском доме был либеральный. В свободное время можно было уходить гулять по лесу, и если ты опаздывал к ужину, стоило забежать на кухню, чтобы получить у нашей поварихи тети Кати или у дежурной полный ужин, даже еще с прибавкой.

Мы шли по темной дороге. Нам не хотелось разговаривать. Мы вспоминали. Может быть, наш дом, где мы выросли, был хуже семейных домов с ласковой матерью и веселым отцом, но все-таки это был наш дом, в котором прошло наше детство, и детство это было для каждого из нас хорошим временем, полным радостей и забот, надежд и мечтаний. Не знаю, вероятно, детство в семье еще лучше, но и наше тоже было хорошим.

Часа через полтора показались огни Клягина. Теперь главную улицу села осветили фонарями, и перед фабриками стояли фонари, и перед кинотеатром тоже стоял фонарь, и промтоварный магазин, недавно выстроенный, освещался изнутри всю ночь.

Была уже половина одиннадцатого, когда мы вошли в село. В спальном корпусе погасли огни, и только в нижнем этаже тускло светило окно. Тут лампочке полагалось гореть до рассвета. Потом мы прошли мимо детдомовского

гаража, потом мимо общежития фабрики и наконец вошли в широко распахнутые ворота детского дома. Ворота никогда не запирались. Думаю, что в этом был умысел нашего Афанасия, как издавна звали его за спиной воспитанники. Он понимал, Афанасий, что, если ворота закрыты, непременно хочется убежать.

На втором этаже, как всегда, светилося окно. Афанасий Семенович сидел у себя в кабинете. Весь день он был в хлопотах, в беготне, в том неумолчном шуме, который неизбежно производят сто тридцать детей, собравшихся вместе. И, только вернувшись из спального корпуса, пожелав спокойной ночи отдельно каждому из ста тридцати ребят, Афанасий шел к себе в кабинет и сидел допоздна в опустевшем, затихшем доме, наслаждаясь тишиной и покоем. Здесь он писал письма, решал шахматные задачи, продумывал вопросы, требовавшие решения.

Мы довольно долго стучались в дверь. Очевидно, дежурная по кухне крепко заснула. Наконец слышались шаги Афанасия. Его шаги не спутаешь ни с чьими другими. Он чуть прихрамывает. Раны войны зажили, но одна нога все-таки не в порядке. Он, не торопясь, открыл дверь, совсем не удивился, увидя нас, даже не поздоровался с нами и только сказал:

– Я ждал вас раньше.

Он повернулся и пошел по лестнице вверх. Мы заперли дверь и пошли за ним.

И вот мы сидим в кабинете: Афанасий Семенович за своим письменным столом, мы трое – на диване.

– Ну, что скажете? – говорит Афанасий Семенович.

Мы не знали не только что сказать, а что и подумать.

Здесь Петр или не здесь? Если не здесь, почему Афанасий Семенович нас ждал? Если Петр приехал, почему Афанасий Семенович молчит?

Мы переглянулись, и первым собрался с духом Сергей.  
– Петя здесь, Афанасий Семенович? – спрашивает он.

Странно. Мы, три человека с высшим образованием, с некоторым, можно сказать, жизненным опытом, сидим на том же самом диване, на котором сживали много лет назад, с тем же чувством, какое бывало, когда нашалишь и позовут «пред светлые очи» и с трепетом ждешь разнosa. Афанасий Семенович молчит и смотрит на нас. Он очень серьезен, даже хмур. А обычно, когда приезжают его бывшие воспитанники, он весел и оживлен. Мы молчим.

– С чем вы приехали? – спрашивает вдруг Афанасий Семенович.

Мы опять растерянно переглядываемся. Никто из нас ничего не понял.

– То есть как? – робко спрашивает Сергей.

– С чем вы приехали? – повторяет Афанасий Семенович. – Вы приехали ругать Петра, поминать ему его грехи? Да или нет?

– Нет, – говорю я.

– А зачем? – спрашивает Афанасий. (Мы молчим.) – Говорить ему, что он хороший? Что он ни в чем не виноват и что жизнь его до этого довела?

– Нет, – говорит Юра.

– Так зачем вы приехали? – почти кричит Афанасий Семенович. – Хвастаться перед собой, что вы хорошие друзья? Что вы не покинули товарища в беде? На девять лет покинули, а тут вдруг всполошились! Ах, как неудобно

получается: наш друг спился, жену с ребенком бросил, босяком стал, еще нас, не дай бог, в чем-нибудь обвинят.

– Афанасий Семенович, – бормочет растерянню Юра, – мы ж ничего не знали...

Афанасий Семенович даже задохнулся. С ним это бывало, когда он впадал в крайнюю степень ярости. В этих случаях даже отчаянные хулиганы скисали. В этих случаях Афанасий мог и стулом запустить. Мог и графином с водой шмякнуть об пол. Он, по-моему, и сейчас начал судорожно искать руками что-нибудь, что можно сломать или разбить. Потом удержался, правда, но ему это недешево стоило.

– Вы сюда приехали врать мне? – крикнул он. – Дураками прикидываться? Сказки будете мне рассказывать, что всему верили? Умные люди, с высшим образованием, такими вдруг дурачками стали, прямо блаженненькие какие-то. Петька, слабый человек, растерялся, сказочки вам про себя пишет, а вы, изволите видеть, верите? Девять лет не видите друга под разными отговорками и всем отговоркам верите?... Да что же, я у себя в доме вас полными идиотами вырастил?

Все, как бывало когда-то. Произошло ЧП. Подрались с ребятами на улице, нахватали двоек в школе и скрыли – и вот сидим пред грозными очами, и провалиться сквозь землю хочется.

Хорошо, если бы так же, как бывало когда-то. Можно извиниться перед ребятами, которых побили на улице. Можно упросить учителя и исправить двойку. Все можно было тогда исправить, в детское наше время. А как исправишь сейчас? Что, если погиб Петр и никакими силами не соберешь нашего друга из обломков. И в тысячу раз

страшнее, чем в детстве, сидеть сейчас под яростным взглядом Афанасия.

– Грех можно простить, – продолжает Афанасий. Он говорит неожиданно тихо, хотя и не менее яростно. – Преступление можно простить. Каждую вину можно простить. Равнодушия нельзя простить. Чистенько сделано, ничего не скажешь! Не придерешься. Что Петр писал? Что у него дела идут превосходно, что он уважаемый человек, портрет висит на заводе, депутат райсовета, чуть не Герой Труда. Браво, Петя, молодец! Небось и письма храните. Если будет когда-нибудь такое собрание, на котором спросят, как же вы друга кинули, у вас аккуратненько все пришпилено: пожалуйста, можем предъявить. Нас обманывали, нам наш друг голову морочил. Он виноват. А мы чистенькие, нас обвинять не в чем. Да совесть-то есть у вас? Она-то ведь знает, что друг ваш девять лет в письмах кричал «спасите», если эти письма читать как следует. Или не говорила совесть? Или думали так: поедем, деньги на поездку истратим, подарок какой-нибудь привезем, вино какое-нибудь дорогое, деликатесы. Вот билетами да деликатесами от совести и откупимся. Тут уж совесть и сама скажет: хорошие товарищи, замечательные товарищи!...

Афанасий Семенович теперь стоял за столом, и, как бывало в прежние, детские годы, встали и мы все трое. Ужасно было то, что Афанасий был прав даже в мелочах: и вино дорогое купили, и деликатесы достали, и Петькины письма хранили. Не для собрания, правда. Знали, что не может быть такого собрания. Ну, а для чего же? Все-таки для чего? Неужели для того, чтобы, если совесть зашевелится, ей предъявить: вот, пожалуйста, оправдательные документы в порядке.



Юра и Сергей были совершенно белые, просто ни кровинки в лице. Вероятно, такой же белый был и я.

– Ну, – спросил Афанасий Семенович, – что скажете, «порядочные люди»?

Он смотрел на нас в упор и ждал ответа. Надо было отвечать. Но у меня язык прилип к гортани, как прилипал когда-то в детские годы. Я посмотрел на Юру – у него дрожали губы. У Сергея на лице ничего не отражалось. Он был, кажется, такой же, как всегда, только бледный, но, когда он заговорил, я по голосу понял, что он так же взволнован, как и мы. Голос у него срывался, был какой-то неестественно хриплый.

– Знать не знали, – сказал он почему-то очень медленно, – а подозревать – подозревали и скрывали подозрения друг от друга и от себя, так что...

Он долго молчал, и я не понимал, почему он молчит и что он хотел сказать этим загадочным «так что». А потом я заметил, что у него дрогнуло лицо, и понял вдруг, что он изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать.

Ох, как тихо было в кабинете! И какая насыщенная была эта тишина!

Сергей все-таки удержался и не заплакал, хотя слезинка выползла у него из угла глаза.

– Так что, – повторил он, – вы правы.

Афанасий Семенович еще помолчал минуту и потом сказал:

– Пойдемте. Петр у меня дома. Он боялся, что вы приедете, и просил меня скрыть его от вас. Я ему обещал и обману его. Поведу вас к нему. Если спасете Петра, значит, все-таки в вас что-то человеческое осталось, а не спасете – значит, вы рвань и подонки.

Чуть заметно волоча ногу, он вышел из кабинета. Мы трое пошли за ним.

## Глава двенадцатая

### *Встреча с Петькой*

Дом, в котором жил Афанасий Семенович и еще несколько сотрудников детского дома, находился в самом конце нашего большого участка. Одна его стена, глухая, без окон, выходила на другую улицу. Вход был со двора. Афанасий Семенович был человек одинокий, занимал однокомнатную квартиру с довольно просторной кухней и даже ванной. В комнате стоял письменный стол, большая тахта и узкий, но длинный диван, на котором стелилась постель в том случае, когда кто-нибудь приезжал в гости. Это роскошное здание было построено, когда мы еще учились в школе и, стало быть, были воспитанниками детского дома. До этого Афанасий Семенович жил в своем служебном кабинете. Вероятно, с той поры у него и осталась привычка сидеть в этом кабинете допоздна. Я, в сущности говоря, не знаю, когда он бывал в своей квартире. Свободных дней у него, по-моему, никогда не было. Вероятно, дома он только ночевал.

Все мы, его воспитанники последних десяти или одиннадцати лет, знали эту квартиру великолепно не потому, чтобы кто-нибудь пытался туда залезть, хотя ничего не могло быть проще. Любая копейка свободно открывала дверной замок. Если копейки не было, можно было по огромной липе, росшей у самого дома, влезть на чердак и

через дощатый люк, который легко поднимался, спуститься в ванную комнату. Какой идиот проделал люк именно в ванной, не знаю. Мой жизненный опыт, впрочем, подсказывает, что многие поступки строителей нормальный человек понять не способен.

Так вот, повторяю, никто из воспитанников никогда не пытался залезть в квартиру, хотя среди нас были юноши с богатой не по возрасту биографией. Афанасия Семеновича любили все. Если бы кто-нибудь осмелился что-нибудь у него украсть, думаю, что воспитанники сами применили бы санкции, более, пожалуй, суровые, чем те, которые в этих случаях применяет закон.

Но Афанасий Семенович был человек рассеянный. В этой рассеянности была известная система. Он всегда забывал дома именно то, что как раз в этот день было ему совершенно необходимо. В этом случае он ловил первого попавшегося воспитанника, долго искал ключ от квартиры, который висел у него на кольце в числе очень многих ключей, и, найдя, говорил:

— Сбегай, миленький, ко мне. У меня там в нижнем правом ящике стола лежит черная тетрадь, а в ней сложенный вчетверо лист бумаги; ты увидишь, там написано наверху: «Акт». Принеси мне его, голубчик, пожалуйста...

Ключ иногда он искал долго, но если кто-нибудь из ребят говорил: «Да вы не волнуйтесь, я и без ключа открою», он делал вид, будто не слышит. Ему, наверное, неприятно было сознание, что он живет в квартире, в которую каждый может войти.

Он очень мало изменился за те годы, что мы не виделись. Когда мы подошли к дому, он вынул свое знаменитое

кольцо, велел Юре посветить и, пока Юра чиркал спичку за спичкой, долго искал ключ. Наконец ключ был найден, дверь отперта, и мы вошли в квартиру. Комната была ярко освещена. На узком диване, на котором обычно спали гости, на этот раз спал Петька. Он подогнул колени так высоко, что они находились совсем близко от подбородка, а под голову подложил согнутую руку. Странно, но он всегда так спал. Одно время из-за этой манеры за ним даже укрепилось прозвище «Калачик». Я совершенно забыл об этом прозвище и вспомнил только сейчас, глядя на безмятежную сонную Петькину физиономию. Что-то такое трогательное, детское было в этой его, позабытой мною, позе, что мне стало страшно. Неужели этот самый Петька Калачик, посапывающий сейчас так же безмятежно и ровно, как посапывал когда-то в нашей спальне, — неужели он и есть спившийся босяк, бросивший жену и ребенка, выгнанный с позором с работы, задумавший с Клятовым грабеж и убийство? Может быть, эти же или подобные мысли пришли нам всем. С минуту или больше мы стояли над Петькой, и никто не решался его разбудить. Наконец Афанасий Семенович откашлялся и потряс его за плечо. Петька открыл глаза. Он увидел нас, стоящих вокруг, и вскочил. В глазах его мелькнул ужас. Как будто не мы, друзья, а преследователи настигли его, спящего. Как будто это он грабил с Клятовым двух стариков. Как будто это он, ни минуты не поколебавшись, убил несчастную старушку, испуганную и растерянную.

Петька сел на диване. Сна у него не было ни в одном глазу. Он с упреком посмотрел на Афанасия Семеновича.

— Я же просил вас...— сказал он с укором.

– «Просил, просил»...– проворчал Афанасий Семенович. – Голову на плечах надо иметь. Друзья же приехали. Может, чего помогут, чего посоветуют.

Петька молча протянул руку Сергею, потом мне, потом Юре. Мы все поздоровались с ним тоже молча.

– Рассаживайтесь, – сказал Афанасий Семенович, – заседание совета по спасению утопающего объявляю открытым.

Он сел на стул, на других стульях расселись мы. Никто не решался начать разговор. Все молчали.

– Ну, что говорить...– опустив глаза в пол, сказал наконец Петька. – Вы письмо мое получили?

Мы промолчали, только Сергей чуть заметно кивнул головой.

– Вот самое страшное и позади, – продолжал Петя. – Честно сказать, я все эти годы очень боялся минуты, когда вы всё узнаете. Я понимал, что узнаете вы непременно. Не может того быть, чтобы не узнали. Я представлял себе всегда самое скверное. Вот, думаю, затесался я спяну в драку, задержали меня, и кто-нибудь вам об этом сообщил. Добились вы свидания... Приходите в тюрьму... Хорошо хоть, до этого не дошло.

У Юры были очень испуганные глаза. К счастью, Петр на него не смотрел. К счастью, он и на меня не смотрел. Я за свое лицо никак не мог поручиться.

Ничего нельзя было понять. Дернуло же Петьку как раз сейчас заговорить о тюрьме и радоваться тому, что тюрьма его миновала. Случайно это или не случайно? Ведь он-то, наверное, лучше нас знает, о чем уславливался с Клятовым. Ведь не делаются такие дела без подготовки. Вероятно,

свелили за этим несчастным инженером, где-то разузнавали, есть ли у него дома деньги, и сколько, и где он хранит их, в каком шкафу и на какой полке, и не сдал ли в сберкассy. Чемy же радуется Петька? Что, собственно, хорошо? Что, собственно, он имеет в виду, говоря, что до этого не дошло? Я искоса посмотрел на Афанасия. Он сидел внимательный, но спокойный. Даже какая-то удовлетворенность выражалась у него на лице. В самом деле: запутался его воспитанник, опустилcя. Но вот друзья хоть поздно, но спохватились, вот и он уже все узнал. Теперь он не даст этому воспитаннику покоя, не позволит ему барахтаться на дне, заставит его взять себя в руки...

Вероятно, я понял бы удовлетворенный вид Афанасия, успокоенный тон Петьки, если бы... Если бы не светлая ночь в Яме, не храп пьяных стариков, если бы не вопрос майора милиции: как мы думаем, куда мог исчезнуть Груздев?...

Всякое прошлое можно забыть, но только тогда, когда оно мертво, когда оно не тянет свои длинные руки в настоящее, в будущее, во всю дальнейшую жизнь...

— Ну ладно, ребята, — сказал Петька, — я виноват перед вами. Наврал вам действительно с три короба, совестно даже вспомнить. Честно говоря, я все время боялся, как бы не спутать. От письма до письма как-никак целый год проходил. Можно бы и забыть, что писал прошлый раз. Особенно при моем-то образе жизни. Вот представьте себе: этот год я написал, что не могу приехать, потому что квартиру получаю, а следующий год опять пишу: мол, не приеду, получаю квартиру. И адрес тот же, что в прошлом году. Представляете? Вот это да! Одну и ту же квартиру два раза получил. Вы бы сразу обо всем и догадались.

Петька засмеялся счастливым смехом. Да, я сказал точно: именно счастливым. У него, видно, отлегло от души. Столько лет мучился он этой неправдой, которую нагромождал год от года, столько лет боялся, что когда-нибудь неправда откроется. И вот наконец эта тяжесть спала с него. Все было уже открыто. Вся правда сказана. Как будто дорога пошла вверх. Как будто дно пропасти было пройдено. Начинался подъем.

Ох, если бы все уже было открыто!

Кажется, мы улыбнулись. Я, впрочем, не помню. Петьке, во всяком случае, показалось, что мы оценили его шутку и, хоть не смеемся громко, в душе поняли, как это было бы смешно, если бы он два раза получил одну и ту же квартиру.

А скорей всего, впрочем, он и смеялся не оттого, что ему было смешно, а оттого только, что рухнула наконец бесконечная ложь, путаница, которую сам он нагромоздил и которую не решался разрушить.

Ох, если бы и вправду рухнула эта ложь!

Мы все трое молчали.

— Вы, ребята, у Тони были? — спросил Петька, отводя глаза в сторону. Ему было неловко и тяжело говорить о Тоне.

Сергей кивнул головой.

— Я знал, — усмехнулся Петька, — что вы к ней пойдете. Я адрес нарочно вам написал. Прямо-то просить мне было неудобно, ну и я, так сказать, намеком. Они, думаю, ведь какие товарищи. Замечательные! Редко кому таких судьба посылает.

Он смутился, смутился до того, что весь покраснел. Ему показалось, что это фальшивые слова и фальшивая инто-

нация. Точно у нищего: «Добрый господин, не оставьте вашей милостью...» Так и здесь: «Вы же хорошие друзья, вы меня не оставите».

— Тоня — женщина замечательная, — серьезно и убежденно сказал Петя. — Перед вами я виноват, а перед ней в сто раз больше. — Он улыбнулся немного смущенно. — А Володьку видели? Вот богатырь парень! Я уж к Тоне не ходил — стыдно было, а перед тем, как бежать из Ямы, за бетонными плитами спрятался. Там у нас бетонные плиты сложены, строить что-то собираются, а Тоне в ясли мимо ходить. Она прошла, меня не видала, а Володька будто даже и улыбнулся. Ну, правда, может, мне просто показалось. Я все-таки издалека смотрел.

Он помолчал, как будто вспоминая, как он выглядывал из-за этих бетонных плит, боясь, чтобы случайно его не увидели.

— Нет, с этим кончено, — продолжал он с очень серьезным лицом, — с этим совсем кончено, навсегда. Тоня простит меня, я знаю, что простит, и станем жить, как люди. — Он еще помолчал. — Я ведь, знаете, отчасти и не ходил к Тоне потому, что знал, что простит и даже словом не помянет. Даже просить ее не придется. Простит, и все. Это даже представить себе невозможно. Ведь такой оказываешься негодяй, когда представишь себе это, что слов нет. И еще, знаете, почему не шел? Это уж совсем стыдно, но я скажу. Мы с вами сказки читали маленькими. Хорошо-то я их не помню, а одно запомнил. Да и вы, наверное, тоже. Вот, мол, существует чудовище, страхолюда такая, а принцесса его полюбила. И вдруг чудо. И является он к ней прекрасным принцем. И музыка играет, и все радуются.



Может, я путаю, но что-то в этом роде в сказках было. Вот и мне хотелось из страхолюды в прекрасного принца превратиться и к ней прийти. – Он улыбнулся. – В сказках-то это просто! Никак меня не устраивало, чтобы не прекрасным принцем, а просто, скажем, нормальным человеком стать. И, скажем, не сразу, а постепенно. Никак это не устраивало. Обязательно хотелось чуда. Без чуда я был не согласен. Вдруг, понимаете, яркий свет – и страхолюда превратился в красавца, и музыка играет, и все радуются... На самом-то деле я просто выбраться из болота не мог. Мне, понимаете ли, казалось, что уж только за то, что я согласен хорошим стать, мне положено чудесное превращение. Вот ночью не спишь – мечтаешь. А утром все на часы смотришь: когда же водку начнут продавать; мелочи наскребешь на четвертинку и ждешь. И знаешь ведь, что чудес не бывает и что нужно не о чуде мечтать, а на эту мелочь кефира или кофе напиться и пойти к начальнику цеха попросить, чтобы на работу обратно принял, да, может, еще и второй раз попросить, и третий и не обижаться, когда отказывает. И впроголодь жить до зарплаты. И собутыльникам твердо сказать: я больше вам не товарищ. И работать, напряженно работать, каждый день восемь часов двенадцать минут. И часть получки Тоне послать. И в выходные дни, когда свободен, быть одному, потому что к Тоне-то надо вернуться, уже когда утвердишься. А пока не утвердишься – никак невозможно. И все это долго надо делать, не неделю, не две... Гораздо проще вместо этого представить себе яркий свет и музыку, и ты появляешься молодой и красивый в нарядном кафтане... Вот, братики, какое дело. И еще я вам одну вещь расскажу, только о ней

попрошу вас никому не говорить. И стыдно мне за нее очень, да, по чести сказать, и неприятности у меня из-за нее могут быть...

Мы молчали. Я окончательно перестал что-нибудь понимать. То есть я понимал, что Петька собирается рассказать про историю с Клятовым. Но какими же странными словами он предварял свой рассказ! Согласитесь сами, что слово «стыдно» не полностью выражает то, что должен испытывать человек после грабежа и убийства. И слово «неприятности» вряд ли подходит к долгим годам заключения. Это было первое мое чувство, когда Петька сказал, что он должен нам сообщить еще одну вещь. А потом я спохватился: ну да, он же не грабил и не убивал. Мы в это верим. По крайней мере, условились в это верить.

Я посмотрел на Сергея. Я надеялся, что он мне подаст знак: не волнуйся, я все беру на себя, я сам все скажу. Но он смотрел на меня растерянно и, кажется, надеялся, что я возьму на себя этот ужасный разговор. И на Юру я посмотрел. Бывают же чудеса, может же он хоть один раз проявить себя как человек твердый, решительный, на которого вполне можно положиться. Но у него были такие испуганные глаза, что мне и смотреть расхотелось. Итак, мы все трое молчали. Молчал и Афанасий Семенович. Молчал и Петька, собираясь с силами, чтоб рассказать нам страшную правду.

Если бы он только знал, насколько настоящая правда страшнее той, которую он решил нам по секрету сообщить.

— Так вот, — начал наконец Петр, — вы Клятова видели? (Мы кивнули.) Значит, он приходил. — Петька рассмеялся. Да нет, не рассмеялся, усмехнулся еле заметно. — Я ему

деньги должен, придется отдавать. Двести рублей я у него взял. Я просил пятьдесят, чтоб с хозяйкой расплатиться и на жизнь себе оставить, но он уговорил взять двести. Завтра, говорит, у нас денег много будет, разочтемся с тобой без труда. А пока на, держи. Может, жене пошлешь, или выпить захочется, или чего из одежды купишь.

Петр опять замолчал. Молчали и мы.

– Двести рублей я ему отдам. Не сразу, конечно, ну хоть по двадцать рублей в месяц. Если, скажем, я сначала буду рублей восемьдесят зарабатывать. Двадцать – Тоне, двадцать – ему. Прожить можно. Пропивал-то я, бывало, и больше. А теперь пить не буду. Мне рублей сорок останется, я и проживу. А потом я больше зарабатывать стану. У меня ж квалификация неплохая.

Петька опять замолчал. Я, да, наверное, и все мы, понимали, что он никак не решается нам рассказать про договоренность свою с Клятовым, про то, что хотя на минуту, хотя только в мыслях согласился он перейти грань между просто опустившимся человеком и преступником. Насколько же более страшные вещи должны были мы ему рассказать.

И тут я заколебался. В конце концов, девять лет мы не видели Петьку и ничего не знали о нем. Много, очень много может за девять лет произойти с человеком. А что, если Петька хитрее, чем кажется? Что, если, получив Нинкину телеграмму, он придумал всю эту историю с раскаянием, со стыдом, с бегством для того только, чтобы, пока мы спим в его комнате, спокойно пойти на грабеж? Что, если по дороге он подстерег Клятова и дал ему инструкцию, как себя с нами вести, что нам говорить, а сам,

посмеиваясь, поджидал его за углом? Может быть, для него и насвистывал Клятов? Я помню, что когда он шел по улице, то насвистывал. Может быть, это был сигнал Петьке, что, мол, выходи, все в порядке? Может быть, встретились они там, где мы уже не могли их видеть, и улыбнулись друг другу. Мол-де, этим ребятам, которые так некстати приехали, голову совсем заморочили, так что они теперь покажут в милиции то, что нам надо. Меры безопасности приняты, можно отправляться. И, успокоенные, пошли грабить.

Но если так, почему же Петька приехал к Афанасию Семеновичу? Ведь именно здесь-то наверняка его и будет искать милиция.

Что ж! Может быть, Клятову есть где спрятаться, у него есть фальшивые документы, а Петьке негде, и документы для него не приготовлены. Когда пришла телеграмма от Нины, моментально созрел план разыграть раскаяние, стыд за прошлую ложь, бегство от друзей и все остальное. Может быть, для этого он и сидел за бетонными панелями, делая вид, что прячется. И ведь прятался-то хитро, так, что Тоня его заметила. Он понимал, что Тоня расскажет про то, как он, скрываясь, смотрел на сына потому хотя бы, что это, кажется ей, подтверждает ее убеждение в том, что хоть Петька и опустившийся человек, но уж, во всяком случае, не грабитель и не убийца.

Все эти мысли промелькнули у меня очень быстро. Это на бумаге кажется, что они были долгие. Но, думая все, о чем я рассказал, я чувствовал, что это плохие мысли, не товарищеские, не честные мысли, и мне было Стыдно за них, так стыдно, что я даже покраснел.

Покраснеть-то покраснел, а все-таки где-то во мне будто сидел какой-то чертик и все повторял, что, конечно, Петьку я знаю хорошо, – а вдруг убил он? Убил, а теперь думает: если задержит милиция, скажу, мол, следовательно на допросе, что действительно собирался, мол, на грабеж с Клятовым, но опомнился вовремя, одумался. Может быть, и полагается за этот замысел какое-нибудь наказание, но уж, наверное, не очень тяжелое.

Гнал я, гнал этого чертика, а он все твердил свое. Правда, еле слышно, потому что, как только можно было, я заглушал его голос, а все же твердил и твердил.

– Так вот, – сказал наконец Петька, – Клятов этот разведаль, что один инженер, большой человек в прошлом, получавший и зарплату большую и разные премии, а теперь ушедший на пенсию, решил сыну, который живет в Москве, подарить «Волгу», и будто бы сегодня, скажем, он снял со сберкнижки большие деньги, а послезавтра должен их в магазин нести. И если, мол, завтра зайдём мы с Клятовым к старикам, а живут они за городом в отдельном домике, и немножко их попугаем, то можем эти деньги легко забрать. А повезет – и еще чего прихватим, может, ценности есть какие: золото, бриллианты, женские украшения. Ну, я и согласился.

Петька опять помолчал. А чертик мой, который гадости мне нашептывал, разошелся вовсю: может быть, конечно, и так, говорил он, а может быть, и очень ловко придумано. Вроде во всем признается, ничего не скрывает и в то же время ни в чем не виноват.

И как я ни приказывал этому чертику замолчать, все же стало казаться мне, что не искренне говорит Петька, что

разыгрывает страшную душевную драму, и неискренне разыгрывает, театрально.

– Клятов за мной вечером должен был зайти, – сказал Петька, – а тут телеграмма пришла от Юриной жены, что едут братики. И такое меня охватило чувство, что даже и сказать не могу; может быть, если бы вы не приехали, я бы уже был бандитом, грабителем.

И тут наступило такое долгое молчание, что даже сейчас, когда я вспоминаю о нем, мне становится страшно.

Мы все слышали это молчание. Один только Петька его не слышал. Счастливая улыбка была у него на лице. Улыбка, которая казалась просто глупой, – так она сейчас была не к месту. Петр встал и начал прохаживаться по комнате и все улыбался, глупо, по-детски, и мы смотрели на него совершенно растерянные и не знали, что делать. Наконец, идиотски счастливым тоном Петька заговорил.

– Теперь все позади, – сказал он и улыбнулся и все мерил комнату шагами: пять шагов в одну сторону, поворот, пять шагов в другую, – теперь я даже рад, что так все получилось, что чуть-чуть не стал преступником. Мне нужен был удар палкой по голове, чтобы оглянуться и понять, до какого ужаса я дошел. Вот судьба меня и трахнула палкой: смотри, голубчик, куда докатился. Теперь уж нельзя думать, что обойдется. Теперь уж нельзя, если схватит отчаяние, выпить стакан водки и возмечтать, что все ошибка, а на самом деле я хороший. Придет добрый дядя, погладит по голове и скажет: ты, Петя, замечательный человек. Ни в чем ты не виноват.

Петя все продолжал ходить и улыбался странной улыбкой, а мы сидели не шевелясь, глядя на него с ужасом.

Он не замечал ужаса в наших глазах потому только, что весь переполнен был особенным своим настроением. Весь переполнен был и горестным чувством, что все так было ужасно, и радостным чувством, что все прошло и самое страшное не случилось.

— Нет, виноват, виноват, — заговорил снова Петя, — до такого низа дошел, что дальше уж некуда. И все-таки остановился. Это я вам должен быть благодарен. Это вы меня, братики, спасли. Хоть и не знали, что со мной происходит, а спасли. Я как телеграмму от Юриной жены получил, так меня будто ледяной водой облили. Что ж, думаю, такое, как же я им в глаза посмотрю? Бежать, бежать... И убежал. Не от вас, а от преступления убежал. — И снова он молчал, улыбался странной своей улыбкой, прохаживался по комнате: пять шагов в одну сторону, поворот, пять шагов обратно, опять поворот.

И снова мы смотрели с ужасом на него, а он нашего ужаса не чувствовал и не угадывал.

— Теперь все изменится, — говорил Петька, — я в себе теперь столько силы чувствую, вы себе даже представить не можете. С пьянством покончено навсегда, это я точно знаю. Оказывается, это даже не трудно. Твердо себе приказал, и все. Мне теперь даже странно, почему я раньше таким слабым был. Когда встряхнуло меня по-настоящему, я будто опомнился. И чувствую, что тяга к вину и вся грязь, в которой жил, и Анохины, и вся эта Яма — только наваждение. Как захотел — напрягся и скинул. И нет его. Теперь, конечно, много еще дел. И Тоню надо вернуть, и сына, и на работе доказать, что ты другой человек... Но это все ничего, потому что это уже не вниз идти, а вверх... Хорошо,

Володька еще маленький. Он вырастет и знать ничего не будет. Отец как отец, уважаемый человек, высокой квалификации. А может, я и кончу хоть не вуз, хоть техникум для начала. А потом... Ну ладно, рано пока думать об этом. А когда Володька совсем вырастет, я ему все расскажу. Пусть знает, как отец в пропасть катился, но удержался на самом краю...

Юра со всей силой ударил кулаком по столу и вскочил.

— Да замолчи ты наконец, черт тебя побери! — заорал он.

Он был вне себя. Его прямо трясло. Петька остановился и растерянно смотрел на него, не понимая, что он сказал такого, чем вызвал Юрину ярость. Честно говоря, я был благодарен Юре: кто-то должен был оборвать этот непреклонный, невыносимый монолог.

— А что такое, ребята? — спросил Петька. Очень растерянное и жалкое было у него лицо.

Юра молчал. Он на свой истерический выкрик истратил, видно, все силы. Несправедливо было надеяться, что он возьмет на себя всю тяжесть предстоящего разговора.

И опять молчание длилось.

И наконец, не потому, что я решил взять разговор на себя, а потому только, что во что бы то ни стало хотел прервать нестерпимое это молчание, я заговорил.

— Знаешь, Петя, — сказал я, — а этого инженера с женой ограбили все-таки и даже жену убили.

Петя смотрел на меня и, кажется, с трудом понимал, о чем я говорю.

— Что ж, Клятов один пошел? — спросил он каким-то чужим голосом. — Он говорил, что одному не управиться.

— Нет, — сказал Сергей, он, видно, тоже собирался с



силами, – грабили двое, и милиция считает, что второй – это ты!

## Глава тринадцатая

### *Добровольная явка*

Мне кажется, что Петька не сразу понял смысл того, что мы ему сообщили. Он смотрел на нас с удивлением и что-то соображал про себя. Может быть, он старался себе доказать, что не могло получиться так, как мы говорили. Не мог Клятов обойтись без Петьки, не мог в один вечер найти ему замену. Про убийство он, наверное, даже не думал, он пропустил его мимо ушей. Уж слишком это было невероятно.

Впрочем, думаю, что в первые минуты чувства владели им сильнее, чем мысли. Даже не чувства вообще, а одно определенное чувство. Вероятно, оно походило на то, что чувствует человек, сбросивший с усталых плеч тяжелый груз, вздохнувший, распрямивший плечи и вдруг почувствовавший, что груз не только по-прежнему лежит на плечах, но стал еще тяжелее, еще больше пригибает к земле.

Прошрое, от которого он, казалось ему, избавился или начал избавляться, снова владело им больше, чем когда-нибудь.

Так думал я, пока все мы молчали и глядели на Петьку, а Петька постепенно только осознавал всю бездонную глубину той пропасти, на краю которой он стоял.

– Как же это, ребята? – сказал вдруг Петька растерянно

и обвел всех глазами, как будто ждал, что кто-нибудь рассмеется и скажет: «Да нет, Петя, это мы пошутили».

Мы трое сидели хмурые и невольно отводили глаза. Но самым хмурым был Афанасий Семенович. Я, да и все мы, почему-то не сообразили, что для него ведь тоже это была новость. Ошарашивающая, оглушающая новость.

Петька закрыл лицо руками. Такое горе выразалось в его фигуре, в его опущенной голове, даже в руках, которые закрывали лицо, что проклятый чертик примолк, понимая, вероятно, что сейчас минута, не подходящая для того, чтобы нашептывать подозрения.

– Петя, – сказал Сергей очень мягко, – если ты говоришь, что не участвовал в преступлении, так чего ты боишься? Тебя, может быть, арестуют на время следствия, но теперь же знаешь какие научные методы, всякие анализы, исследования... Раз ты не грабил, значит, нашел Клятов кого-то другого. Уверяю тебя, что его поймают.

С точки зрения логики Сергей был совершенно прав, и все-таки для Петьки это было довольно слабым утешением. Наука-то наука, но ведь и наука ошибается. И когда от нее зависит твоя судьба, то, честно говоря, начинаешь испытывать некоторые сомнения в безусловной точности этой самой науки. Поэтому, вероятно, лицо Пети не выражало спокойствия и уверенности, когда он наконец отнял от лица руки. Если говорить честно, лицо его выражало прежде всего страх.

Я это говорю совсем не в осуждение. На месте Петьки я бы тоже очень испугался. Да еще надо понять, что нервы его были истрепаны постоянным пьянством, что, вероятно, и мозг его был не совсем нормален. Ну, словом, любо-

пытные пусть прочтут любую брошюру о вреде алкоголя. Не сразу же восстанавливается то, что алкоголем разрушено. А постоянное чувство униженности! А окружение чудовищных стариков с Трехрядной улицы! Да, наконец, сама Яма – мрачное и страшное место... Короче говоря, тут и нормальный человек испугался бы, а Петька, конечно же, в то время был не совсем нормальный.

– А вы точно знаете? – спросил Петька.

Сергей не торопясь, очень обстоятельно рассказал, как мы ночевали в Петькиной комнате, как утром нас забрала милиция, как в этой милиции нас допрашивали и как нам стало ясно, что подозревают именно его, Петра Груздева. В частности, и потому, что в доме Никитушкиных нашли зажигалку, которую мы признали принадлежащей ему. Сергей рассказывал очень спокойно. Я думаю, что он хотел внушить Петру это спокойствие, заставить его понять, что именно сейчас, в этих очень трудных, даже опасных обстоятельствах, надо быть спокойным и рассудительным.

Петька слушал молча, очень внимательно, иногда кивая головой, как будто подтверждая, что так он себе все и представляет.

Наконец Сергей кончил свой рассказ, и опять наступило молчание. Чтобы не возвращаться к этому, сразу скажу, что весь дальнейший разговор перемежался долгими паузами. Молчал Петька, продумывая наши советы, молчали мы, чтобы не мешать ему думать. А иногда мы все молчали, потому что искали самый разумный и самый честный выход, искали, и сомневались, и не могли решиться. Словом, пауз в этом нашем разговоре было, пожалуй, больше, чем слов.

– Да, – сказал наконец Петька, – когда человеку не везет, так уж не везет.

И тут вдруг взорвался Афанасий Семенович.

– «Не везет, не везет»! – закричал он. – Пил бы меньше, так и везло бы. С женой повезло, с сыном повезло, с друзьями повезло! С чем тебе не повезло, дурень ты?

Он был очень горячий человек, наш Афанасий. Что-что, а покричать он любил. Мальчишками мы всегда знали, что если он орет, так не для того, чтобы произвести впечатление или внушить какую-то свою педагогическую мысль, а оттого только, что не орать не может, оттого что волнуется, даже не волнуется, а страдает именно за того, на кого он кричит. Может быть, поэтому на всех нас так действовал его крик. Может быть, искренность его ярости и делала его хорошим педагогом.

– Конечно, конечно, – сказал Петька, – знаю, что сам виноват. Только я ведь не грабил и не убивал.

– Да? – закричал Афанасий Семенович. – А ты не знал, что Клятов мерзавец? Ты не знал, что он на все способен? Дружишь с бандитами, а потом удивляешься, что тебя подозревают...

Афанасий встал и начал ходить по комнате. Иногда очень сердитым голосом он произносил: «не везет», «с кем знаешься» и еще «дьявол», «черт» и другие непедagogические слова.

– Хорошо, – сказал Петька, – согласен, сам виноват. Да ведь прошлого-то не вернешь.

– Прошлого никогда не вернешь! – рявкнул Афанасий. – Ты не о прошлом, ты о будущем думай.

– Что ж будущее... – Петька пожал плечами. – Конечно,

улики против меня, это я понимаю, не маленький. И милиция права, что меня ищет. Придется скрываться. Как теперь докажешь, что не виноват? Какой суд поверит? Рублей сто у меня еще есть, уеду куда подальше, авось не найдут.

Теперь наступила самая длинная пауза за весь разговор. Афанасий Семенович, по-моему, просто задохнулся от ярости. Он открывал и закрывал рот, вдыхал и выдыхал воздух и, видно, не мог даже слов найти, чтоб выразить свое негодование.

Мы с Сергеем и Юрой молчали. Случилось именно то, чего каждый из нас боялся. Именно бегство топило Петра окончательно. В самом деле, с какой стати будет скрываться человек, который ни в чем не виноват? С другой стороны, действительно бывают судебные ошибки. Представляете себе, каково человеку невинному отбывать наказание за грабеж и убийство...

В эту минуту чертик, с которым я все время внутренне спорил, молчал. Не мог бы Петька вести себя так естественно, если бы он был виноват. Мне даже стыдно стало за мои сомнения. Я окончательно поверил в Петькину невинность.

– Слушай, Петя, – сказал наконец Сергей. (Я понимал, что ему нелегко было собраться с духом.) – Ты хочешь сделать страшную, непоправимую глупость. С той минуты, как ты убежишь, ты станешь преступником. Это ты должен совершенно ясно понять. Вероятно, тебя поймают, и тогда уже ты доказать свою невинность не сможешь никак. Если даже случится такая невероятная удача, что тебе удастся удрать, скрываться тебе придется всю жизнь. Всю

жизнь каждый случайный взгляд будет казаться тебе подозрительным. Каждый стук в дверь будет тебя пугать. У тебя не будет ни одного спокойного дня и ни одной спокойной ночи. Я уж не говорю о том, что Вовку ты никогда не увидишь. Тоню ты никогда не увидишь. Сейчас она тебя любит. Пройдет несколько лет, она забудет тебя, выйдет замуж, и у Володьки будет другой отец. Ты сейчас решаешь на всю жизнь. Я понимаю: добровольно явиться страшно. Больше того, я тебе прямо скажу: бывает, что следователи ошибаются, бывает, что судьи ошибаются. Может быть, они ошибутся и в твоём деле. Тогда ты будешь невинно осужден и тебе придется сидеть в тюрьме или в колонии много лет. Но как бы этих лет ни было много, им будет конец. Если ты сейчас скроешься, то твоему вечному страху конца не будет. Ты будешь приговорен к наказанию, которого наш закон не знает: к пожизненному наказанию. Это первое. И второе: мы тебе найдем адвоката, мы пойдем к прокурору и к председателю суда, дойдем до председателя Верховного суда и Генерального прокурора. Мы будем тебя защищать всеми силами, потому что мы твердо знаем, что ты не виноват. Вот и все. А теперь решай.

Занятие наукой, по-видимому, дисциплинирует мозг. Я бы, например, никогда не сумел так ясно и отчетливо все объяснить, как Сергей. Даже Афанасий Семенович перестал пыхтеть и негодовать. Нам всем осталось одно — ждать, что скажет Петр. Мы и ждали.

Петр молчал и думал. Вероятно, то, что с ним происходило, нельзя назвать словом «думал». Как я себе представляю, это была скорее борьба чувств. Какие-то чувства —

инстинктивные – побуждали его бежать, какие-то другие чувства, более подчиненные разуму, пытались заставить его собраться с силами и идти в милицию, к прокурору – словом, куда-то, куда полагается являться подозреваемому.

Удивительно быстро менялось у него выражение лица. Колебания и решимость сменяли друг друга. Наконец, очень жалкая, очень беспомощная улыбка появилась у него на лице.

– Знаете, товарищи, – сказал он извиняющимся тоном, – вы, наверное, правы, но я не могу решиться. Такая уж у меня задалась судьба! Я попробую убежать. Убегу – хорошо. Поймают – ну что ж.

И тут вдруг Юра всхлипнул. У него было очень несчастное лицо. Это было уж черт знает что такое! Как раз сейчас, когда мы должны внушить Петру мужество для действительно трудного шага, когда мы должны заразить его волей и решимостью, – начинать хныкать точно младенец... Хорошенькое дело получится, если все мы начнем всхлипывать. Вместо делового разговора пойдет сентиментальная сцена в стиле раннего Гёте или раннего Карамзина. Мысль эта очень меня обозлила. Иначе, честно сказать, я мог бы и сам заплакать.

– Петя, – сказал Афанасий Семенович, – ты, конечно, сам должен решить, но пойми: это же проба воли. До сих пор вся твоя жизнь строилась на безволии. Смотри, до чего она тебя довела. Теперь нужно один раз решиться. Неужели у тебя и на это не хватит силы? Я не умею говорить громких фраз, но подумай: я, человек, вырастивший тебя, твои братики, выросшие с тобой, – мы твердо знаем, что ты не виноват. Если ты сам явишься в милицию, то, если даже

тебя арестуют, ты всегда будешь знать, что мы четверо и Тоня пятая верим тебе и за тебя боремся. Если ты убежишь, ты убежишь не только от суда, но и от нас пятерых. Больше на земле не будет ни одного человека, который бы верил тебе и тебя любил. Может быть, сейчас это кажется тебе не таким уж важным, но вспомни, Петя, до чего ты дошел, когда был одинок. Скрыться почти невозможно, раньше или позже тебя поймают, и тогда оснований считать тебя виновным будет в тысячу раз больше. Но Сережа правильно говорил: если даже тебя не поймают, для тебя закрыто все лучшее в жизни – дружба, любовь, откровенность. Всю жизнь скрываться. Всю жизнь дрожать. Ни с кем никогда не поговорить по душам. Петр, подумай про все это. Мы для тебя стараемся, о тебе заботимся. Будь мужчиной, Петр!

– А куда нужно идти? – спросил сдавленным голосом Петя.

– Это нужно подумать, – сказал Афанасий. – Я ведь тоже работник милиции. Не штатный, правда.

Он вдруг перешел на шутливый тон. Думаю, что это было правильно. Ему хотелось разрядить страшно напряженную атмосферу разговора. Ему хотелось снять приглушенные голоса и долгие паузы.

Афанасий вытащил из кармана милицейский свисток.

– Вот видишь, мне даже свисток дали, чтоб свистеть на случай, если драка или хулиганство какое.

Он поднес свисток к губам. Хорошо хоть, не свистнул. Страшно неуместно прозвучал бы в нашем разговоре милицейский свисток. Он весело улыбнулся и похлопал Петра по плечу.



– Эх, Петя, – сказал он, – чего не бывает в жизни! Бывает и так, что кажется, жизнь кончена, выхода нет. А потом соберешься с силами, наберешься духу, и ничего. Оказывается, можно жить.

Странно, мы все, и Петр в первую очередь, понимали, что весь этот нарочито бодрый, даже шуточный тон Афанасий Семенович напустил на себя для того, чтобы внушить Петьке не то чтобы бодрость – о какой уж бодрости можно тут говорить! – а просто заставить его собраться, принудить к усилию воли, которое только и могло сейчас Петьку спасти.

И все-таки, хоть и очевидно напускная, эта бодрая шуточная интонация подействовала на всех нас, и на Петьку в первую очередь. Уже невозможно было больше всхлипывать, драматически переживать, накручивать ужасы. Все стало гораздо проще. Петька попал в трудное положение, надо разумно обсудить, что можно сделать. Так как очевидно, что бежать совершенно бессмысленно, значит, надо прийти и сказать: «Вы меня ищете? Мне об этом сказали. Вот я и пришел. Вы считаете, что я преступник, а я знаю, что нет. Вы будете доказывать свое, я – свое».

– Между прочим, – сказал спокойным и деловым тоном Афанасий, – у меня был такой воспитанник, Степа Гаврилов. Кажется, при вас он был еще маленький. Он позже поступил, когда расформировали сто шестьдесят третий детдом. Он теперь в Энске живет. Юридический факультет кончил. В коллегии работает. Адвокат. Сам-то он, пожалуй, для такого дела молод, но хоть посоветует. Я к нему поеду.

– А куда все-таки идти, Афанасий Семенович? – повторил Петя.

Афанасий Семенович задумался.

– Я полагаю так, – сказал он, – сейчас мы поспим. Придется вповалку спать. У меня есть два тюфяка – уляжемся. Завтра с утра поедem в райцентр. У нас тут в Клягине всего-то и есть один постовой да участковый. К ним, пожалуй, даже как-то несолидно являться. Ну, а в райцентре по всей форме отделение милиции. Вот мы туда приедем, и как хочешь, Петя: можем все вместе с тобой, можешь ты один...

– Лучше я один, – сказал извиняющимся голосом Петя.

– Пожалуйста, – согласился Афанасий Семенович, – мы в сквере посидим, оттуда до милиции квартала два. Будем издали за тебя болеть. А потом через полчаса или час я зайду к начальнику отделения. Мы с ним хорошо знакомы. Узнаю, когда тебя отправят, насчет передач и все такое. Потом на денек заеду в детдом и сразу в Энск искать тебе защитника. Решено?

– Решено, – сказал Петя почти что весело. Во всяком случае, твердо.

– А теперь, – сказал Афанасий Семенович, – марш за тюфяками. Они в сених. Выпьем чаю – и спать.

Началась суeta. Мы побежали в сени. Оказалось, что в сених перегорела лампочка. Мы этого не заметили, когда входили в дом. Прошли сени быстро, незачем было свет зажигать. А вот почему Афанасий Семенович не вкрутил новую, понять невозможно. Он сам сказал, что собирается уже месяца три заняться лампочкой, да все забывает. Значит, наверное, перегорела она с полгода тому назад.

Впрочем, мы нашли тюфяки и без лампочки, хотя в сених много было всякого навалено.

Афанасий Семенович за это время поставил чайник на электрическую плитку и отправил нас в ванную мыть руки. Мы болтали ни о чем. Каждый из нас старался создать, хотя бы у самого себя, ощущение, что деловой разговор кончился, мы собираемся спать, будем сейчас чай пить и болтать о чем придется.

Болтал и я, как и другие, и старался не думать о том, что завтра Петька пойдет с повинной в милицию. И все-таки иногда вспоминал об этом, и каждый раз, когда вспоминал, у меня замирало сердце от страха.

Вероятно, в десять раз сильнее замирало от страха сердце у Петьки, когда он думал о завтрашнем дне. Но он держался молодцом, не показывал виду и болтал, как и все, о разных пустяках.

Искали мыло. Нашли. Уступали друг другу место у умывальника. Еще раз удивились чудачеству строителей, пробивших люк на чердак именно в ванной комнате. Во-первых, зимой, наверное, холодом несет с чердака, во-вторых, лестница в ванной мешает. Потом передавали друг другу полотенце. Потом Сергей напомнил какую-то историю из нашего детдомовского прошлого, и все довольно убедительно смеялись и вспоминали разные подробности. Вообще все старались вести себя так, будто просто съехались бывшие воспитанники, теперь уже взрослые, солидные люди: время растрогаться, вспоминая детство, и посмеяться над детскими волнениями.

Пока так болтали, ни о чем, закипел чайник, принесли чашки из шкафа, вытерли их, наконец уселись.

Все-все было фальшиво — и смех, и воспоминания, и болтовня. И все это понимали. Но что можно было делать? Все-таки это был лучший выход из положения, Даже не лучший. Единственный!

Резали хлеб. Резали сыр. Резали колбасу. Шутили. Смеялись. На самом деле, я думаю, все, и особенно Петька, мечтали о том, чтобы скорей наступило завтра, чтобы кончилось это неискреннее веселье, фальшивая бодрость, невеселая игра в веселых друзей, встретившихся после долгой разлуки.

Афанасий Семенович разлил чай, и я, грешный, подумал, что хоть бы лечь спать поскорее. Если сразу и не засну, решил я, то уж непременно сделаю вид, что сплю. А потом вспомнил, что предстоит еще утро, и еще одно чаепитие, и сборы, и ожидание автобуса, и езда, и расставание в сквере.

Как Петька ни смеялся на скверные шутки, которые в меру наших сил мы отпускали по очереди, как ни старался он сделать вид, что занят только текущими, так сказать, делами, я чувствовал так же, как, наверное, и все, что ни на секунду не отпускает его мысль о завтрашнем.

А чертик, которого я так старался подавить, теперь, повторяю, сам замолк. Мнимый преступник решил явиться на честный суд. Как же сомневаться в его невиновности?

И мне было до боли жалко Петьку, который так идиотски, так бессмысленно губил свою жизнь.

Наконец чай был налит, сахар положен, бутерброды приготовлены, и в это время зазвонил дверной звонок.

## Глава четырнадцатая

### *Исчезновение*

Для меня звонок этот был совершенно неожиданным. Судя по тому, как долго все мы сидели не двигаясь, как долго никто из нас не мог сказать ни слова, мы все прямо опешили. В самом деле, углубившись в Петькины переживания, в решение принципиального вопроса о том, надо ему самому являться в милицию или следует удирать во все лопатки, мы забыли, что уже работает мощная машина розыска, что стучат телеграфные аппараты, звонят телефоны, в поездах, машинах и самолетах едут люди, чтобы найти, настигнуть, задержать мерзавцев, ограбивших дачку старого инженера под городом Энском.

Все, и я в том числе, делали вид, что в звонке этом нет ничего особенного. Может быть, по какому-нибудь срочному делу пришел дежурный воспитатель из спального корпуса. Может быть, кто-нибудь из бывших воспитанников приехал в такой поздний час и, не найдя Афанасия Семеновича в кабинете, решил побеспокоить его на квартире.

Ерунда! Все работники детского дома, если срочно нужен был Афанасий Семенович, стучали в окно. Это знали и педагоги, и воспитанники, и бывшие воспитанники. Я не знаю вообще, зачем был поставлен дверной звонок в квартире у Афанасия. Насколько я помню, никто и никогда этим звонком не пользовался.

— Тетя Катя, наверное, — сказал как-то очень уж равнодушно Афанасий Семенович, — а может быть, дежурный.

Открой, Юра, пожалуйста, только спички возьми: в прихожей свет не горит.

Юра встал и, перед тем как пойти, потянулся и зевнул. Он хотел этим показать, что ничуть не волнуется. Все нормально: пришел кто-то по неожиданному делу, Афанасий Семенович даст нужные указания, и человек уйдет.

Я не знаю, зачем мы делали вид, что ничуть не обеспокоены. Мы знали все, что произошла катастрофа, что за Петькой приехали из розыска, что наш великолепный план, наш честный и мудрый план рухнул. Петька не успеет прийти сам в милицию, не обезоружит этим своих обвинителей. Его задержат как последнего бандита, пытающегося скрыться от следствия.

Впрочем, думал я, мы все четверо покажем на следствии, что он уже решил добровольно явиться, что утром мы должны были ехать, что он только от нас узнал об ограблении и поэтому не мог явиться раньше. Не могут же не поверить нам четверым. Афанасий – человек безупречной репутации, да и мы трое никогда не судились и даже не обвинялись ни в чем.

Поверить-то поверят, а все-таки это уже не то. Одно дело, если человек мог удрать, но не захотел и явился сам. И совсем другое дело, если человек после ограбления уехал из города и задержан в чужой квартире. Пусть друзья его сколько угодно уверяют, что как раз на следующий день он собирался пойти в милицию. Нет, как ни говорите, это совсем не то.

Все эти мысли промелькнули у меня за те короткие секунды, пока Юра потягивался, чтоб показать, что он совершенно спокоен, а все мы сидели с подчеркнуто равно-

душными лицами и показывали друг другу, как мы не волнуемся и как уверены, что звонят по какому-нибудь пустяковому делу.

Юра не торопясь прошел через комнату и уже открывал дверь в переднюю, когда раздался второй звонок. Афанасий не выдержал, встал и пошел за Юрой. Он не успел еще дойти до двери, как вскочил Петя. Мы все волновались. Представляю себе, как же волновался он.

Вместе с Афанасием, во всяком случае почти одновременно с ним, он вышел из комнаты и закрыл за собою дверь. Мы остались вдвоем с Сергеем.

Потом Юра доказывал, что мы просидели вдвоем самое большее три минуты. Может быть, по часам получается и так. В то время мне казалось, что прошло гораздо больше. Я почему-то смотрел в потолок. Мы с Сергеем продолжали делать вид, что совершенно спокойны. Не знаю, куда он смотрел, во всяком случае, не на меня. Мы старались не встречаться взглядами. Мы, мол, ничуть не волнуемся, ничего не случилось особенного: просто пришли по делу, заставили нас прервать воспоминания о былых временах. Сейчас дело уладится, и мы будем вспоминать дальше.

Мы великолепно понимали, что это пришли за Петькой. Мы не разбирали слова, но разговор из прихожей доносился до нас довольно явственно. Было совершенно понятно, что разговор тревожный. Взволнованно звучал голос Афанасия. Пришедших было несколько человек. Я слышал разные голоса. Как потом выяснилось, Афанасий еще в прихожей начал объяснять, что Петька как раз завтра утром собирался явиться в милицию сам. Раньше он не мог потому просто, что даже не знал об ограблении, убежден

был, что Клятов если не отменил, то, уж наверное, отложил налет. Я себе представляю, что, когда приходят человека арестовывать, неубедительно звучат уверения, что как раз завтра утром он собирался явиться сам.

Все эти объяснения продолжались очень недолго. Главный из тех, что пришли за Петькой, прервал, правда очень мягко, Афанасия Семеновича и сказал, что он с удовольствием выслушает это потом, а сейчас просит провести к Петру Груздеву.

Афанасий Семенович опомнился и пошел вперед, показывая дорогу. Даже в эти минуты, слыша приближающиеся шаги, слыша растерянный голос Афанасия Семеновича, мы с Сергеем продолжали делать вид, что не понимаем, кто звонил, и не придаем этому значения. Мы оба упорно цеплялись за дурацкую надежду, что все обойдется. Ночь проспим на тюфяках, утром чаю попьем, сядем в автобус, поедем в райцентр...

То, что недавно еще так пугало меня, казалось мне таким непереносимо трудным и тягостным, сейчас, когда произошла – конечно, произошла! – катастрофа, казалось мне просто чудесной прогулкой, которую, к сожалению, почему-то отменили.

Не очень долго пришлось нам с Сергеем валять друг перед другом дурака. Шаги приближались быстро. От входной двери до комнаты всего-то и было шага четыре. Афанасий Семенович распахнул дверь в комнату и сказал голосом, который старался сделать спокойным:

– Это за тобой, Петя.

Мы с Сергеем встали. В дверь вошел Афанасий, потом невысокий, коренастый человек в сером костюме, потом



лейтенант милиции, потом еще один человек, в трикотажной рубашке под коричневым пиджаком. За ними за всеми торчала голова Юры на вытянутой шее. Он встал на цыпочки, чтобы увидеть Петьку, и казался страшно высоким.

Мы с Сергеем растерянно посмотрели друг на друга. — Петя вышел, Афанасий Семенович, — сказал я, — он же там, с вами в прихожей.

— Как — в прихожей?

Афанасий быстро вышел из комнаты, лейтенант милиции повернулся и пошел за ним. Двое в штатском подошли один ко мне, другой к Сергею, и оба сказали совершенно одновременно, как будто хором:

— Разрешите ваши документы, гражданин?

Чтоб не нарушать ход событий, расскажу сейчас же то, что мне стало известно позже от Юры, который побежал за Афанасием.

Афанасий, рассказывал Юра, выбежал из комнаты совершенно растерянный. Он понимал, что Петька делает самое глупое, что только можно придумать в эту минуту, — пытается скрыться. Он рассчитывал, что беда будет небольшая, если Петька окажется все-таки здесь, в квартире. Тогда попытку скрыться можно объяснить растерянностью, испугом, паникой — словом, худо ли, хорошо ли, можно объяснить. Афанасий помчался на кухню. В кухне стояли только газовая плита, баллон с газом и кухонный столик. Петьки там не было. Афанасий заглянул в ванную. Он страшно нервничал. Юра рассказывает, что он повторял все время тихо, почти неслышно: «Петя, Петя...»

В ванной, конечно, Пети тоже не оказалось. Афанасий

кинулся в кладовку. В кладовке было навалено всякого барахла целая куча, но вещи все были мелкие, и с первого взгляда стало ясно, что человек тут спрятаться никак не мог.

Надо заметить, что лейтенант милиции всюду следовал за Афанасием Семеновичем и так же внимательно, как он, или даже еще внимательней осматривал кухню, ванную и кладовую. То, что в прихожей Пети тоже нет, стало ясно с первого взгляда. Лампочка, правда, тут не горела, но лейтенант зажег фонарик и в полминуты обшарил лучом все стены и углы.

Убедившись, что Петя каким-то таинственным образом исчез из квартиры, Афанасий выскочил во двор. Темень стояла непроглядная. Дом был оцеплен, но милиционеры притаились за домом и за деревьями. Афанасий их не увидел.

– Петя! – крикнул он очень громко.

Он был вне себя, наш Афанасий, как всегда, когда несчастье настигало его воспитанника. Были люди, говорившие потом, что он хотел помочь Петьке убежать. Надо совершенно не знать Афанасия, чтобы подумать такое. Он умный человек и, конечно, лучше всех нас понимал, что бегство для Петьки катастрофа. Во что бы то ни стало надо было его задержать, если не в доме, то хотя бы около дома. Надо было заставить его вернуться, сейчас же, немедленно вернуться. И еще он понимал, что Петька сбежал сдуру, от идиотской паники, что голос Афанасия может заставить его прийти в себя, одуматься, понять, какую он делает глупость.

– Петя! – крикнул Афанасий еще раз, еще громче.

Он прислушался. Во дворе была тишина. Тогда Афанасий Семенович, сам не зная зачем, выхватил из кармана свой милицейский свисток и засвистел во всю силу.

Представьте себе село Клягино. Глубокую ночь. Представьте себе тишину, царящую в селе. Как же далеко разнесся этот резкий, неожиданный свист! Где бы ни был Петька, он должен был его слышать.

Одно только не пришло в голову Афанасию. Милицейский свисток был не у него одного. Милицейский свисток мог только еще больше напугать Петра. Откуда же мог Петр знать, что таким необычным способом его директор, его Афанасий, в сущности говоря, его приемный отец, просит его, умоляет его вернуться.

Афанасий Семенович долго бы еще свистел, надеясь, что из темноты вдруг появится одумавшийся, пришедший в себя Петька, но в это время лейтенант милиции положил ему руку на плечо.

— Зачем вы свистите? — негромко сказал он. — Перестаньте свистеть сейчас же.

— Вы поймите, — взволнованно начал объяснять Афанасий Семенович, — он же убежит, скроется, у него же деньги есть. Он может уехать далеко. И ведь все сдуру. Он же собирался завтра явиться. Мы условились все ехать с ним. А явиться он один хотел. Мы собирались подождать в сквере. Знаете сквер имени Карла Либкнехта?

Из темноты появился бегущий милиционер. Он выбежал из калитки в той самой глухой стене, к которой примыкал дом. Калитка эта всегда была открыта настежь.

Милиционер очень торопился.

— Вы звали, товарищ лейтенант? — спросил он.

– Зачем вы ушли с поста? – резко сказал лейтенант. – Кто вам позволил уйти с поста? Сейчас же назад!

– Я думал, – растерянно сказал милиционер, – вы свистели.

– Сейчас же назад! – негромко скомандовал лейтенант.

Милиционер повернулся и сразу исчез в темноте.

Дом, повторяю, был окружен с трех сторон: там, куда выходили окна, стояло по милиционеру, четвертый милиционер стоял на улице, вдоль которой тянулась глухая стена. Трудно было себе представить, что можно бежать через эту глухую стену, но на всякий случай и там поставили милиционера.

– Идемте в дом, – сказал довольно резко лейтенант Афанасию Семеновичу.

Все трое – Юра все время стоял рядом с Афанасием – вошли в дверь. Лейтенант тщательно закрыл ее и проверил, защелкнулся ли замок.

Юра говорит, что ему казалось, будто лейтенант очень сердит. Почему он сердит и на кого сердится, Юра тогда не понимал.

Честно говоря, вся эта ночь вспоминается мне как-то урывками, и я не уверен, что всегда правильно передаю последовательность событий. Помню довольно неприятный разговор, который вел с нами со всеми человек в трикотажной рубашке под коричневым пиджаком. Он никак не мог понять, каким же образом все-таки исчез Петька, и, по-моему, не верил нам, когда мы говорили, что тоже не можем этого понять.

Точно не помню, но, вероятно, этот разговор происходил до осмотра квартиры. Во время осмотра выяснилась

очень любопытная вещь. Довольно быстро обойдя кухню, переднюю, кладовую, работники милиции надолго задержались в ванной. Их заинтересовал люк, ведущий на чердак. В самом деле, это, по-видимому, был, кроме наружной двери, которая исключалась, единственный путь, которым Петька мог уйти. Они внимательно осмотрели ступеньки лестницы, подняли люк и все трое залезли на чердак. Они ходили по чердаку. Мы отчетливо слышали их шаги. И даже разговор доносился до нас. Только слов мы не могли разобрать. Потом, кажется, они вылезли на крышу.

Мы четверо стояли в это время в передней у двери в ванную и молчали. Уж очень мы были подавлены всем происшедшим. Чертик, которого я с таким трудом подавил, теперь, конечно, разболтался вовсю. Сомнения снова овладели мною. В самом деле, откуда я, в сущности, знал, что Петька собирался явиться в милицию. Правда, он поддался нашим уговорам, но, может быть, потому только, что понимал: от нас не отвяжешься. Кто его знает, в конце концов, что он собирался делать дальше. Приехали бы мы в райцентр, трогательно расцеловались бы с ним и уселись в сквере имени Карла Либкнехта ждать, пока Петька пойдет за два квартала в отделение милиции. А Петька, не дойдя до отделения, свернул бы в переулок, и поминай как звали.

Честно говоря, мне и тогда было стыдно думать так плохо о старом друге. Чертик хоть и нашептывал скверные мысли, но я ему воли не давал: «Петька старый друг, которого я знаю с детства, — возражал я чертику. — Не может быть, чтоб он нас обманывал».

Чертик спокойно отвечал, что в этом доводе больше эмоций, чем логики, и что, с другой стороны, когда за Петькой пришли, он все-таки убежал.

Конечно, в ответ я мог объяснить Петькин побег паникой, растерянностью, нервами, которые не выдержали, и всякими другими, тоже, к сожалению, чисто эмоциональными мотивами.

Чертик умолкал, но в самом его молчании угадывалось сомнение.

Снова мы слышали шаги на потолке: видимо, товарищи из милиции слезли с крыши и шли к люку. В самом деле, скоро они все трое спустились по лестнице. Двое штатских торопливо вышли из квартиры, даже не простившись и хлопнув дверью. Лейтенант милиции остался с нами один.

— Придется, товарищи, подождать, — сказал он и, пропустив нас вперед, вошел в комнату.

Мы все расселись на стульях и на диване. Наступило долгое молчание. Оно прерывалось только тяжелыми вздохами Афанасия Семеновича. Наш директор все не мог прийти в себя и примириться с тем, что произошло. Он вздыхал и иногда бормотал слова и даже короткие фразы, смысл которых разобрать было невозможно.

— Как же он мог удрать? — сказал он вдруг громко и отчетливо и повернулся к лейтенанту. — Александр Степанович, как же он мог удрать?

Я страшно удивился, что Афанасий Семенович знает имя-отчество лейтенанта и говорит с ним, как с хорошим знакомым. Но лейтенант, видимо, считал это совершенно естественным и ответил хоть и укоризненно, но дружелюбно:

— Свистеть не надо было, Афанасий Семенович.

— А при чем тут свист? — удивился Юра. Лейтенант помолчал, видно, подумал, не выдает ли он тайну следст-

вия, но потом решил, что не выдает, и заговорил неторопливо и как-то покровительственно. Так, как взрослые объясняют детям, почему, например, когда чайник кипит, то крышка подпрыгивает.

— Ему одна дорога была — на чердак. Пока вы дверь открывали, он в ванную, по лестнице и в люк. Тут бы ему все равно крышка, и надо ж было вам засвистеть...

— А при чем тут свист? — опять спросил Юра.

— Дом-то оцеплен, — сказал лейтенант, как будто объясняя вещи, понятные всем, кроме нас, несмышлелышей. — С каждой стороны по работнику милиции, а сзади, где глухая стена, Поздеев стоял на улице, наш клягинский милиционер. Хоть туда ни одного окна и ни одной двери не выходит, мы все же предусмотрели, поставили человека. А когда вы засвистели, Поздеев, значит, решил, что его зовут, что тут тревога, и прибежал. Я так думаю, что гражданин Груздев в это время с крыши на улицу и спрыгнул. Это, конечно, предположение, но других вариантов, по-моему, нет. Вариант один, Афанасий Семенович.

Участковому — я уже понял, что это здешний, клягинский, участковый, — кажется, очень нравилось слово «вариант». Подумав немного, он добавил:

— Вполне возможный вариант, единственно возможный вариант. Не надо было свистеть, Афанасий Семенович.

Ужасная получилась ерунда. Мало того, что Петька бежал, хотя не хотел бежать, — так, по крайней мере, мы условились думать, — мало, говорю, того, что он бежал, еще получается, что и бежать ему помог Афанасий Семенович. Тот самый, который так уговаривал, что единственный и самый разумный выход самому явиться в милицию.

Из-за окон доносились до нас невнятные звуки. Как будто машина ехала, люди перекликались, раздавались короткие свистки, видимо, подавались какие-то сигналы. Чувствовалось, что большая облава идет на Петьку.

Я сидел и думал, что, в сущности говоря, сам не знаю, чего я хочу. Конечно, я хочу, чтобы Петька оправдался и доказал, что он не убивал и не грабил. Но, во-первых, можно ли это доказать? Если можно, то, конечно, своим бегством он себе здорово навредил. А если нельзя? Если он действительно преступник и ему предстоит долгое многолетнее заключение? Я подумал, чего бы я желал в этом случае Петьке: удрать или быть пойманным? Я вспомнил его мальчишкой, с которым мы дружили, юношей, с которым одновременно держали экзамены, по отношению к которому мы оказались плохими товарищами. И все-таки, все-таки, решил я, если он убил, если он грабил, пусть сидит в тюрьме. Не хочу я ему добра. Не заслужил он добра.

Меня так разволновали все эти мысли, что я встал и начал ходить по комнате. По тому, как напрягся Александр Степанович, по тому, как он все время следил за мною, я понял, что выходить из комнаты никому из нас не следует. Что мы хоть не арестованы, даже не задержаны, но все-таки находимся под некоторым подозрением.

Афанасий Семенович, который все думал о своем, вздохнул и сказал, не обращаясь ни к кому, а как бы просто думая вслух:

— Его ведь не удержишь сейчас. Темно. Час, не меньше, еще до света.

— Задержат, — сказал участковый. — Большая сила поднята. Уже из района, наверное, приехали нам в помощь. На



вокзал сообщено и на автобусную станцию. Ему никуда не деться.

Прошел час, и два, и три. Было уже совсем светло, когда вернулись те двое штатских, которые приходили с участковым. У них был очень усталый вид. Видно, здорово досталось им этой ночью. Они не сказали, задержан Петька или нет. Но по тому, какие они задавали вопросы, как они снова и снова спрашивали о всех местах, куда может Петька податься, мы поняли, что, вопреки прогнозам участкового, вопреки всем привлеченным к облаве – не знаю, как иначе это назвать, – Петька каким-то совершенно непонятным образом все-таки скрылся.

Расспросив нас обо всем, что мы знали или могли знать, они наконец ушли. Мы так устали к этому времени, что даже чай не пили, а сразу повалились на тюфяки и заснули. Проснулись мы уже около часа дня. Афанасий Семенович пошел нас провожать до автобуса. Еще до сих пор чувствовалась тревога в селе. Несколько милиционеров попались нам навстречу, хотя в Клягине отродясь не бывало больше одного милиционера. Дружинники с красными повязками прогуливались по улицам с таким видом, как будто прогуливаются они для собственного удовольствия, наслаждаясь ясным, прохладным, осенним днем.

Вероятно, охота на Петьку продолжалась. Его готовы были схватить в каждом селе, в каждом городе, на каждой железнодорожной станции, на каждой автобусной стоянке. Вероятно, и лес был прочесан, и берега реки осмотрены. Кажется, не оставалось места, где мог бы спрятаться человек.

Шло время. Мы давно уже вернулись к себе в С и, часто

встречаясь в свободные вечера, гадали, где Петька, куда он мог скрыться. Логика говорила, что скрыться ему некуда, и все-таки прошел месяц, и два, настала зима, выпал снег, и, сколько мы ни писали Тоне, ответ от нее приходил один: Петьку по-прежнему ищут и не могут найти.

## Глава пятнадцатая

### *Удивительные удачи*

Следующие главы написаны мною, Евгением Быковым, по рассказам Петра Груздева. Вероятно, было бы лучше, если бы Петр их написал сам. К сожалению, должен сказать, что писать он совершенно не способен. Он отличный рассказчик, но попробуйте попросить его изложить на бумаге только что увлеченно и ярко рассказанную им историю и вы получите нечто вроде докладной, поданной домовым техником в правление ЖЭКа о том, что над квартирой № 17 протекает крыша и для починки таковой требуется два листа железа.

Кроме того, он не любил рассказывать историю своего бегства. Вероятно, было в этой истории что-то непереносимо тяжелое для него. Часто, уже разговорившись, он вдруг замолкал, ссылаясь на усталость, или «неохоту», или неожиданно возникшие дела. Тогда уж никакими силами не удавалось вытянуть из него ни слова.

Мне удалось восстановить историю того, как Петр бежал и как скрывался, из отдельных отрывков, сообщенных им в разное время, в разной обстановке, по разным поводам.

Когда я изложил все эти отрывки связно, во временной

последовательности, в том виде, в каком вы их сейчас прочтете, и дал ему для проверки, он сказал, что все точно, и даже удивился, откуда я все это знаю.

Итак, получив Петину санкцию, включаю в свой рассказ следующие пять глав.

История Петькиного исчезновения начинается с той минуты, как он неожиданно для самого себя встал и пошел вслед за Афанасием Семеновичем.

Петька в эту минуту даже не думал о бегстве, хотя все ему было ясно.

Он понимал, что звонят люди, пришедшие за ним. Он понимал, что не получится красивая сцена, которая была задумана. Он, подозреваемый в преступлении, не подойдет спокойно к дежурному по отделению милиции и не скажет: «Я пришел, чтобы доказать свою невиновность».

Нет, его задержат так, как задерживают обыкновенного грабителя, и ему придется доказывать не только то, что он не грабил, но и то, что он не пытался скрыться.

Это было, конечно, очень неудачно. И все-таки это была еще совсем не причина для того, чтобы пытаться сейчас откровенно и трусливо бежать. Во-первых, бежать невозможно. Во-вторых, пока еще можно доказывать, что он и не пытался скрыться и даже не знал о грабеже. Если он сейчас попытается убежать, никакой разницы между ним и любым бандитом уже не будет.

Словом, он и не думал о побеге.

После того как братики мыли руки и делали вид, что весело болтают на случайные темы, свет в ванной не был погашен. И вот, еще не понимая, что он собирается сделать, под влиянием скорее инстинкта, чем разума, Петька по-

вернул выключатель, и свет в ванной погас. В это время Юра и Афанасий стояли лицом к входной двери и, значит, спиной к Петру. Все происходило в немногие секунды. Афанасий Семенович, подойдя к двери, спросил, кто там, чего он, кстати говоря, обыкновенно не делал, и из-за двери мужской голос ответил ему:

– Афанасий Семенович, вам телеграмма.

В каких-то детективных романах когда-то читал Петька, что если приходят кого-нибудь арестовывать, то на вопрос, кто там, отвечают деловым, безразличным тоном, что принесли телеграмму.

Действительно ли это обычный прием или просто выдумка романистов, он не знал. Так или иначе, этот знакомый по детективным романам ответ пробудил в Петьке, так сказать, заячий инстинкт. Он не думал и не рассуждал – на размышления не было времени. Он тихо вошел в темную ванную и закрыл за собою дверь. На это потребовалось две-три секунды. До него доносились голоса незнакомых ему людей и голос Афанасия, который говорил, что Петька здесь и что они утром собирались все вместе ехать в районное отделение милиции.

Что говорил Афанасий, Петька в точности не разобрал, но общий смысл из отрывочных, ясно прозвучавших слов до него дошел. Впрочем, сознание его и сейчас работало довольно плохо. Он не продумывал и не оценивал свои поступки. Заячий инстинкт заставил его быстро подняться по лестнице, бесшумно открыть люк и, вылезши на чердак, бесшумно его опустить. Это заняло тоже несколько секунд. Вероятно, он уже был на чердаке, когда Афанасий Семенович открыл дверь в комнату и сказал: «Это за тобой, Петя».

Стараясь двигаться бесшумно, Петя подошел к маленькому окошку в крыше, выходящему на ту сторону, где была глухая стена и куда не выходило ни одно окно и ни одна дверь дома. Почему Петька пошел именно в ту сторону? Вероятно, ему страшно было проходить над потолком комнаты. Как ни осторожно он двигался, шаги могли быть в комнате слышны. Он, впрочем, не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал. Он старался только двигаться как можно бесшумней. Окошечко в крыше было маленькое, и все-таки человек, особенно такой худощавый, как Петька, мог в него пролезть. Глаза его немного привыкли к темноте, и он разглядел, что под окошечком стоит довольно большой ящик. Не знаю уж, кто, когда и зачем его поставил – может быть, маляры, красившие крышу, – но Петька потрогал его руками и, убедившись, что он достаточно крепок, подумал: «Везет».

Он встал на ящик и наполовину высунулся в окошко, стараясь пригнуться к крыше, чтоб не быть очень заметным. Он прислушался. Как будто внизу, на улице, никого не было. И все-таки ему было тревожно. Он не слышал милиционера, стоявшего возле дома, но какие-то звуки, слишком тихие, чтобы дойти до сознания, им как-то, кожей, что ли, воспринимались. Очень осторожно он выполз на крышу. Крыша была новая, крепкая, железные листы не прогибались. Петр дополз до края и чуть-чуть высунул голову над карнизом. Внизу было тихо, но Петька не верил тишине. Он лежал не двигаясь и ждал, чтобы глаза привыкли к мраку. Постепенно он стал различать, что метрах в двух или трех от того места, где высывалась над карнизом его голова, темнота сгущается. Могло быть, конечно,

что эта сгущенная темнота просто воз с сеном или телеграфный столб. Даже размеры сгущения темноты нельзя было определить. А мог это быть и человек, подстерегающий беглеца. То, что, когда приходят арестовывать грабителя, дом окружают, Петька понимал великолепно. Он лежал притаившись и слушал. И вот в мертвой тишине он явственно расслышал вздох. Человек, стоявший внизу, — теперь уже ясно было, что это человек, — видно, тоже долго прислушивался и наконец перевел дыхание.

«Не везет», — подумал Петька, и страшная тоска охватила его.

Если бы не такой ужасно стыдной была возня, которая ему предстояла, он бы просто, наверное, окликнул милиционера и спрыгнул вниз, чтобы милиционер его задержал. Но больно уж совестно было.

Петьке казалось, что от момента, когда он закрыл за собой дверь в ванную, прошло уже очень много времени. На самом деле, наверное, прошло не больше двух или трех минут, когда раздался милицейский свисток. Тоскливого зова Афанасия: «Петя, Петя!» — Петька не слышал, а вот свисток прозвучал в ночной тишине необыкновенно громко. Петьке показалось, что свистят во много свистков. Вероятно, на самом деле он слышал, как Афанасий засвистел второй раз. Страх умножил количество свистков. Петьке казалось, что, несмотря на темноту, преследователи видят его, что они окружили его, что они сейчас, сию минуту, его схватят. Он весь съежился и физически чувствовал, что его хватают за плечи. Действительно, милиционер, стоявший внизу, вдруг зашевелился. Теперь было ясно видно, что это человек. Он двинулся, может быть, за тем,

чтобы схватить Петьку. Но нет, он побежал, быстро и ничуть не скрываясь, вдоль стены.

«Везет, – подумал Петька, – удивительно как везет». Он встал на корточки, уверенный, что милиционер сейчас куда-нибудь завернет и скроется, иначе зачем ему было бежать?...

Милиционер действительно скрылся в калитку. Улица была пуста. Не раздумывая ни секунды, чувствуя, что сейчас нужно быть смелым и решительным, потому что пошла полоса удивительных удач, Петька спрыгнул с крыши на улицу и побежал вдоль стены в другую сторону, не в ту, конечно, куда побежал милиционер.

Детский дом был расположен на окраине Клягина. Минуты не прошло, как Петька, обогнув последний дом, оказался на самом краю села. Он шел вдоль домов, в тени, потому что, если бы вышел в поле, его могли бы разглядеть на фоне хоть и темного, но все-таки звездного неба. Места здешние он знал великолепно. Он помнил каждый кустик и каждое дерево. Он помнил, что если пройти еще метров сто до амбара, который будет по левую руку, и свернуть за амбар, то окажешься за холмом, совсем вроде низеньким, а на самом деле скрывающим человека даже самого высокого роста. Опыт мальчишеских игр вспомнился ему с удивительной ясностью. Бывал он в этих играх разведчиком, приходилось ему и скрываться от разведчиков. Он спокойно свернул за амбар, выпрямился и быстро зашагал. Он шагал по ночной дороге, веселый и бодрый, как шагал когда-то мальчишкой, воспитанником детского дома. По контрасту с недавним отчаянием казалось ему сейчас, что вся жизнь у него впереди, что ничего еще не испорчено, что

казнить себя не за что, бояться нечего, что он хозяин своей судьбы и, конечно, сделает ее прекрасной, удивительной, великолепной судьбой.

«Везет, – повторял он про себя, – удивительно везет, необыкновенно везет!»

Ему казалось, что благоволящая к нему судьба заставила вдруг убежать милиционера, для того чтобы он мог спокойно спрыгнуть с крыши и скрыться. Ему казалось, что, показав ему один раз свое благоволение, судьба обязательно будет благоволить ему и дальше.

Короче говоря, он был в превосходном настроении.

Дорога пошла вниз, к речке; он перешел речку по дощатому мостику и зашагал дальше, по дороге к совхозу.

На что он, собственно говоря, рассчитывал? Куда он шел и где надеялся скрыться? Вероятней всего, слишком был он измучен вечной угнетенностью, вечным сознанием того, что опускается, что идет ко дну, что нет сил вырваться из трясины, что виноват перед сыном, перед Тоней, перед своими братиками. Вероятней всего, нуждаясь в отдыхе, мозг его ухватился за первую же удачу или за то, что на первый взгляд могло показаться удачей, и отдыхал в этом бессмысленном, в этом дурацком ликовании.

Иногда до него доносились издали милицейские свистки и крики. Разумом он понимал, что это свистят и перекликаются его преследователи, но ничуть не волновался и даже не ускорял шаг. Слишком уверен он был в том, что сегодня кривая вывезет, и поэтому ничто его не пугало и не огорчало. Так он шел часа два, и небо стало уже светлеть. Впереди виднелись здания совхоза. Не думая ни о чем, не боясь встретить сторожа или дежурного, у которых он



обязательно вызвал бы подозрения, Петька подошел к совхозным складам в самом отличном состоянии духа.

Надо сказать, что в эту ночь и в последующие многие дни и ночи ему действительно необыкновенно везло, если, конечно, это можно назвать везением. Немного не доходя до низкого длинного склада, он увидел большой грузовик с прицепом, стоящий чуть в стороне от дороги. Он уже прошел было мимо грузовика, не обратив на него внимания, когда вдруг услышал, что дверца кабины отворяется. Он остановился и посмотрел назад. Сонная, взлохмаченная голова высывалась из-за дверцы кабины.

– Слушай, браток, сколько времени, не знаешь?

Хотя у Петьки давным-давно уже не было часов, он, не задержавшись ни на секунду, сделал вид, что посмотрел на часы, и уверенно сказал:

– Двадцать минут четвертого.

– У-у-у, – протянула голова, – пора, значит, ехать. Смотри, как темно. Поздно у вас светает.

Дверца кабины открылась, и шофер легко спрыгнул на землю.

Петька подошел к нему.

– Совхозная машина? – спросил он шофера. Шофер в это время потягивался, размахивал руками, сгибал и разгибал ноги, чтобы размяться после сна в неудобной кабине. Он ответил не сразу:

– Какая совхозная – издалека еду. Я тут ночевать пристроился, потому что зверей боюсь. Черт его знает, в лесу остановишься, уснешь, а ночью в кабину медведь заглянет или волк, а то лось рогатый. Лось, конечно, зверюга добродушная, а все равно страшно. Закурить есть у тебя?

У Петьки была еще почти нетронутая пачка «Памира». Они взяли по сигарете и закурили. Петька стал спрашивать, откуда и куда ведет машину шофер. Оказалось, что он работает на лесопункте в соседней области, километрах в трехстах отсюда, а едет из города, до которого тоже километров триста в другую сторону. Так что маршрут у него километров шестьсот, а в оба конца тысячу двести. С лесопункта в город он вез строевой лес, а из города везет оборудование для мастерской. У них на лесопункте и машины, и тракторы, и электромоторы работают, а ремонтировать негде. Мелочь какая испортится – за сто километров гони машину. Это куда годится? Директор закупил оборудование для ремонтной мастерской и послал привезти его. А потом говорит, что шестьсот километров пустую машину гонять нечего, велел дать прицеп и нагрузить машину хлыстами. Хлысты, как выяснилось из разговора, – это длинные спиленные стволы строевого леса. По мнению шофера, тут была какая-то комбинация, вроде того что лесопункт дает заводу машину хлыстов, а завод лесопункту оборудование для мастерской. Шофер, конечно, спорить не стал, его дело маленькое. Но если это будет повторяться, то он помолчит, помолчит и на собрании выступит. Конечно, мастерская нужна, без нее прямо зарез, но и лес разбазаривать тоже не годится.

– А слесаря у вас есть в мастерской? – спросил Петька.

Шофер помрачнел. Вероятно, это была всем надоевшая, всех замучившая тема.

– Плохо, – сказал шофер. – Раз, два и обчелся. И квалификация низкая. Одно слово, что слесаря. Директор целый дом держит, не заселяет, на четыре комнаты. Ду-

мают, может, комнатами завлечет людей. Но пока что никто не въезжает. Охотников нет. Глушь у нас большая. Не едут к нам.

«Везет, удивительно везет», – подумал Петька, потом помолчал, будто раздумывая, и сказал как бы с сомнением:

– Поехать к вам разве?

Шофер удивленно посмотрел на Петьку.

– А ты что, слесарь?

– Седьмого разряда, – небрежно сказал Петр.

– И документы в порядке? – спросил шофер. Петька небрежно кивнул головой, как будто это само собой разумеется и иначе быть не может.

Шофер затянулся сигаретой, бросил ее и затоптал ногой. Он не хотел, чтоб у Петьки создалось впечатление, будто его любой ценой хотят заманить на лесопункт. Но Петька отлично почувствовал, что шофер заволновался. Видно, очень на лесопункте нужны были слесаря.

Так оба ходили вокруг да около минут пятнадцать; наконец шофер прямо спросил, что заставляет слесаря высокой квалификации переезжать из города в глухой лес. Петька в ответ рассказал наскоро придуманную свою историю. В общих чертах история была такая: работал он будто бы в Энске на заводе, получил будто бы комнату и жил с женой. Потом начал с женой ссориться, а она будто бы увлеклась инженером. Он с горя стал выпивать и в конце концов решил уехать из Энска. Работу он-де, конечно, может легко получить, но комнату сразу нигде не дают, а он человек нервный, измученный семейной драмой и на общежитие не согласен. Ему комната нужна. Как он появился в совхозе среди ночи, он тоже объяснил: его

бессонница мучает. Его пустили переночевать в конторе, а он среди ночи проснулся – и сна ни в одном глазу. Лежал, лежал и вышел погулять. Лесопункт ему больше нравится, чем совхоз. Тут все-таки и железная дорога недалеко, и село большое рядом, а он придает большое значение влиянию природы в смысле ликвидации последствий семейной трагедии.

Эта последняя фраза своей витиеватостью и некоторой даже загадочностью произвела на шофера большое впечатление. Во всяком случае, он перестал сомневаться в том, что у Петра достаточные основания стремиться на лесопункт.

Петька показал ему свои документы. Документы были в полном порядке. Из трудовой книжки было ясно, что даже уволился он с завода по собственному желанию. На заводе к Петьке неплохо относились и хоть вынуждены были уволить, но жизнь ему портить не хотели. Яма, страшные старики Анохины, Клятов, сговор об ограблении – все это не было отражено в документах, и шоферу Петька об этом не сообщил.

Короче говоря, еще окончательно не рассвело, как они, уже усевшись рядом в кабине и дружно беседуя, ехали за триста километров, на неведомый Петьке лесопункт.

Удивительно, но Петька совсем не считал, что он обманывает шофера. Умом он понимал, что врет, но сильнее ума было убеждение, что он окончательно и навсегда поменял свою судьбу, не только сегодняшнюю и завтрашнюю, но и прошлую. Потом, вспоминая свой побег, Петька сам удивлялся, как он тогда не понимал, что прошлое изменить невозможно. Он твердо решил начать новую жизнь,

как бы скинул с себя грязные лохмотья и надел новый чистый костюм. Только что, несколько часов назад, ушел он из Клягина, где его искали оперативные работники, чтоб арестовать. И несмотря на это, пусть хоть на короткий период, он забыл, что ограбление состоялось, что у следственных работников есть все основания подозревать его в соучастии. И уж совсем накрепко он забыл, что, в сущности говоря, он и есть соучастник, потому что не пошел же и не сообщил, что Клятов собирается грабить старого инженера.

Он начинал новую жизнь. Это было здорово. Это была очень хорошая и чистая жизнь. В ней не было места пьяным скандалам, уголовщине, негодьям-друзьям, вроде Клятова, брошенному ребенку и брошенной жене, всем кошмарам, которые он пережил. Все это было позади.

Будет время, когда Петька с ужасом и стыдом вспомнит каждый из позорно прожитых своих дней. Будет время, когда он оглянется назад и перечтет все до одной печальные строки. Этого не избежать. Это неотвратимо. Это обязательно будет. Но сейчас светает, и он со славным товарищем шофером сидит рядом в кабине грузовика. Стекла опущены, лесной ветерок свеж и приятен, навстречу летят деревья, деревья, деревья... Солнце встает над лесом, и хоть на время кошмары ушли. Здесь нет места кошмарам.

«Везет, везет, – повторял он про себя в каком-то упоении, – удивительно везет, необыкновенно везет!»

Они с шофером даже пели какие-то песни. Вообще все было до странности хорошо. Часов в девять они позавтракали в селе. Им дали в столовой по яичнице и по чашке кофе с молоком. Потом они выехали на отличное шоссе, и Петру совсем не было страшно, когда проезжали мимо

постов безопасности движения. Даже когда у железнодорожного переезда их остановил милиционер и что-то внушал шоферу, который, кажется, допустил какое-то нарушение, Петр шутил с милиционером и не помнил, что люди в такой же форме где-то в Клягине ищут его. Не помнил, что, наверное, о нем сообщили на все вокзалы, во все аэропорты. Какое ему было до этого дело?... Они ехали по шоссе, по сторонам стоял лес, впереди была новая жизнь. То, что происходило раньше, происходило с кем-то другим. Этот сегодняшний Петр к тому не имел никакого отношения. Не мог же в самом деле веселый, жизнерадостный, добрый человек готовить какое-то преступление, бояться ареста, прыгать с крыши, убегать от кого-то, таяться. Вокруг были доброжелательные люди, которые удивительно хорошо к шоферу и Пете относились. Они накормили их чудесным обедом в столовой какого-то районного городка и пожелали счастливого пути, и Петька с шофером, сытые, веселые, добрые, отправились дальше.

К лесопункту они подъехали вечером. Последние километры пятьдесят пришлось ехать по проселочной дороге. Машину иногда здорово встряхивало, но это только веселило шофера и пассажира. Они подружились к этому времени окончательно. Шофера звали Алексей Федорович, проще говоря – Леша. Он был, кроме всего, еще и охотник и обещал взять Петю с собой на охоту. Он был холостой, но переписывался с одной девушкой и дал Пете понять, что это серьезно, что у них общие интересы и что девушка исключительно его понимает. Словом, разговор был самый хороший.

Лес становился гуще, выше, и наконец уже в сумерки показался лесопункт. Некоторые окна светились. В поселке

вечерами работал движок, и в домах горело электричество. Промелькнули дома, очень хорошие дома, недавно поставленные. Бревна и тес не успели еще потемнеть. Проехали контору, клуб, наконец остановились у гаража.

Только сейчас Петька почувствовал, что очень хочет спать. Леша сказал, что уже поздно идти к директору, а у него в комнате есть свободная койка. Он предлагал попить чаю, но Петька отказался.

Дом, где жил шофер, был совсем рядом. Петр разделся, лег и укрылся одеялом. Ему было удивительно хорошо. Он бы и раздеваться не стал, так ему спать хотелось. Прямо лег бы поверх одеяла, как часто делал раньше. Но в жизни, которую он начал заново, это не полагалось. Вот по какому поводу, единственный раз за этот день, вспомнил Петька прошлую свою жизнь. Вспомнил и сразу забыл. Она как будто к нему, к сегодняшнему Петру, никакого отношения не имела.

## **Глава шестнадцатая**

### ***Всё удачи, удачи, без конца удачи***

Когда Петька вспоминал о своей жизни на лесопункте, у него становилось необыкновенно легко на душе. Как будто он хорошую сказку вспомнил. Как будто все еще радовался тем чудесам, которые с ним происходили. Самое удивительное, что никаких чудес с ним, в сущности говоря, и не произошло. Был обыкновенный лесопункт, насколько можно понять, даже не из самых лучших, и люди там были, как всегда бывает, хорошие и плохие. И хороших людей, как тоже бывает всегда, было больше.

Вероятно, люди, окружавшие Петра, и обстоятельства его жизни на лесопункте любому другому показались бы самыми обычными, ничуть не удивительными.

Как будто девять лет Петр прожил в аду и, когда его отпустили на землю, очень обрадовался тому, что здесь никого не жарят на сковородках и у прохожих нет рогов и копыт.

Итак, на следующий день утром Леша напоил Петьку чаем и повел в контору. Директор лесопункта внимательно просмотрел Петькину трудовую книжку, порасспросил его о прошлом и предложил поступить на месячный испытательный срок. Насколько я понимаю, слесаря были действительно нужны позарез, но Петька вызывал некоторые сомнения. В самом деле, слесарь высокой квалификации вдруг сам приезжает в глухой лесопункт и изъявляет желание остаться на постоянную работу. Это выглядело несколько странно.

Петька, впрочем, охотно согласился. Обиделся за него Леша. Петька про Лешину обиду всегда вспоминал с какой-то умиленной благодарностью. Его очень растрогало то, что чужой человек, с которым и знакомы-то были они чуть больше суток, так близко к сердцу принимал Петины интересы.

Особенно волнующим казалось Петру то, что Леша целый месяц сердился на директора. Все говорил, что бюрократизм, мол, черствое отношение, что от этого производство страдает. Он даже на собрании выступил.

На собрании Леша произнес громовую речь о том, что недостаток слесарей создает трудности, а когда он, Леша, нашел и привез слесаря седьмого разряда, так директор



создал тому условия, которые, как Леша сказал, «морально не стимулируют».

Так как тем не менее слесарь, которого морально не стимулировали, сидел здесь же на собрании и все знали, что он работает хорошо и недовольства не выражает, Лешина речь, по-видимому, не произвела должного впечатления. Директор в заключительном слове на нее ничего не ответил, и Леша остался со своей обидой непонятым.

Комнату Пете дали сразу. Ему казалось, что комната замечательная, а на самом деле была она самая обыкновенная. С кроватью, матрасом и подушкой. Постельное белье ему тоже дали, сказав, что потом вычтут из зарплаты, но он заплатил наличными сразу за три смены. Ему было очень важно показать другим и, главное, пожалуй, себе, что он не босяк какой-нибудь и может платить наличными. В комнате, кроме кровати, была тумбочка, стол и две табуретки. Петя выпросил у строителей краски и все выкрасил белым цветом. Дня через три приехала передвижная лавка. Петя купил ситца и соорудил занавески. Дом был закончен только прошлой весной, дерево пахло смолой, а после того как Петька вымыл пол – он и это делал с большим удовольствием, – в комнате еще стало пахнуть влажным деревом. Пете навсегда запомнился этот запах.

Очень нравилась Петру мастерская. Она помещалась в бревенчатом срубе. В ней была большая кирпичная печка, в которой днем, когда движок не работал, на щепках можно было вскипятить чайник или разогреть кашу. Потом, когда похолодало, ее топили как следует. Так что в мастерской было всегда тепло. Дрова на лесопункте отпускались по потребности.

Инструмент в мастерской был хороший, новый, тот самый, который Леша вез на своей машине. Кроме Петьки, там были два слесаря, оба совсем молодые, оба невысокой квалификации. Петьке приходилось их много учить, что он охотно и делал.

Рабочие дни его проходили однообразно. Именно это доставляло ему огромную радость. Перед работой он заходил в столовую, завтракал и шел в мастерскую, инструменты были разложены аккуратнейшим образом. Петр обстоятельно продумал, почему их следовало разложить именно так, а не иначе. Иногда приходилось делать серьезный ремонт или починку. Потом, в долгие тюремные ночи, он любил вспоминать, как охотно он и его товарищи выполняли задания, как их хвалили, особенно один тракторист, которому они быстро и хорошо починили трактор, как довольны были на кухне в столовой, когда они им запяли котел.

Оказалось, что он очень соскучился по работе и теперь наслаждался самым ее процессом. Ему доставляло огромное удовольствие сдать заказ и посмотреть на довольное лицо заказчика. Даже просто склониться над тисками и спиливать напильником лишний металл, вдыхая запах этого металла и машинного масла, было удивительно приятно. И просто наслаждением оказалось строго осмотреть работу товарища и сдержанно ее похвалить.

Сейчас, когда Петька выбрался из тумана, в котором жил последние годы, он как ребенок радовался тому, что, оказывается, в руках у него профессия, что он может сделать то, что другой сделать не сумеет, что он нужный человек и к нему относятся с уважением.

Как ни странно, его совсем не тянуло к выпивке. Видно, уж очень сильна была полученная им травма. Когда в поселок приезжала автолавка, многие запасались бутылкой, чтоб распить ее с приятелем вечерком или в воскресный день за обедом. Петр смотрел на них с удивлением. Ему противно было представить себе, что люди глотают этот прозрачный яд. У него от отвращения сжималось горло.

Самое удивительное то, что он ничуть себе не удивлялся. Все было нормально: в прошлом перенесена тяжелая болезнь. Сейчас он совершенно здоров, и странно вспоминать, какие чудовищные видения, какие странные желания мучили его в бреду.

Однажды его похвалил сам директор. Это случилось, когда он починил бензопилу, которую решили уже отправлять на завод, думая, что на месте ее починить нельзя. Ему пришлось задержаться из-за этой пилы допоздна, а директор увидел, что в мастерской горит свет, и зашел. Петька как раз кончил ремонт и проверял мотор. Директор наговорил ему много очень приятного.

Страшно подумать, сколько должно было слететь наслоений, сколько отпасть всякой дряни, чтобы из-под маски босяка и пропойцы проступил умелый мастер, человек, которого уважают и который сам себя уважает и знает себе цену. Даже писать приятно про воскресшего человека. Как же радостно было тому, кто сам воскрес!

Никакие скверные мысли не тревожили в это время Петра. То ли гнал он их от себя? Да нет, чем сильнее гонишь скверные мысли, тем упорнее они возвращаются. Это был какой-то заскок, какое-то выпадение памяти. Вероятно, если бы Петька сам спросил себя, был в его жизни этот

кошмар или не был, кошмар бы вернулся снова. Но ему интересно и хорошо жилось и не приходили в голову никакие черные мысли. Ему было хорошо, он их не звал.

Впрочем, все-таки изредка они приходили. Однажды ночью Петька проснулся в холодном поту от ужаса. Он вспомнил во сне одно слово, которому прежде не придавал почему-то значения. Не расслышал его внутренним слухом, когда оно было произнесено. Он вспомнил то, что ему рассказали: Клятов не только ограбил инженера, причем вдвоем с кем-то, кого он успел подыскать вместо Петьки, но то ли сам Клятов, то ли этот таинственный человек, заменивший Петьку, убил жену инженера, старую женщину.

Петька даже сел на кровати от внезапно охватившего его чувства ужаса. В доме было совсем тихо. Только монотонно верещал сверчок. Хотя дом был еще совсем новый, сверчок уже поселился где-то за печкой. Петьку очень радовало, что живет в комнате такой незаметный, спокойный друг. Но сейчас даже сонное верещание показалось тревожным, о чем-то предупреждающим. Петька вскочил, босиком подошел к окну и откинул занавеску. Осенний дождь шел на улице. Осенний ветер гнал облака, гнул кроны деревьев. Листья, еще не успевшие упасть, шумели так взволнованно, как будто узнали очень важную новость и торопились кому-то ее передать, кого-то срочно о чем-то предупредить.

Петька знал, что предупреждают его, и даже знал, о чем предупреждают. Он только не хотел себе признаваться, что знает. Он старался думать о том, что кончилось лето, наступает осень, скоро снег пойдет, холода начнутся; о том, что надо как-нибудь съездить в район пальто купить, а то ему ведь и надеть нечего.

Он думал, и мысли, кажется, были спокойные, обыкновенные мысли. И все-таки снова изнутри подымался голос заячьего инстинкта. Петька чувствовал потребность куда-то бежать, от кого-то спастись, скрыться так, чтоб его никто не увидел.

Холодно было стоять па полу босиком. Хотя печка и была натоплена, но с пола дуло. Холодно было стоять в одном белье у окна: окно еще не было заклеено. Но Петька боялся одеться, как будто если оденется, то неизвестно, может быть, заячий инстинкт заберет силу и он, вопреки своему желанию, вопреки разуму, побежит, не раздумывая, не рассуждая, неизвестно куда. Он оставит этот лесопункт, с которым уже сжился и где ему хорошо, эту комнату, в которой ему тепло и спокойно, эту мастерскую, в которой его ценят и относятся к нему с уважением, этих людей, к которым он привык и которых любит...

Петьке захотелось курить. Надо было пройти всего только два шага до пиджака, висевшего на гвозде, и взять в кармане сигареты, но Петька боялся отойти от окна. Ему казалось, что, как только он отойдет, кто-то, находящийся там, на улице, заглянет снаружи в комнату и увидит Петьку. Кто там сторожит за окном и почему так страшно, что он Петьку увидит, об этом думать нельзя было ни в коем случае. Иначе потеряешь самообладание.

Огромного напряжения воли потребовала от Петьки несложная операция – достать из пиджака сигареты и закурить. Спичка прыгала у него в руке, когда он поднес ее к сигарете.

Когда он отошел от окна, занавеска, которую он придерживал рукой, естественно, опустилась, и это немного

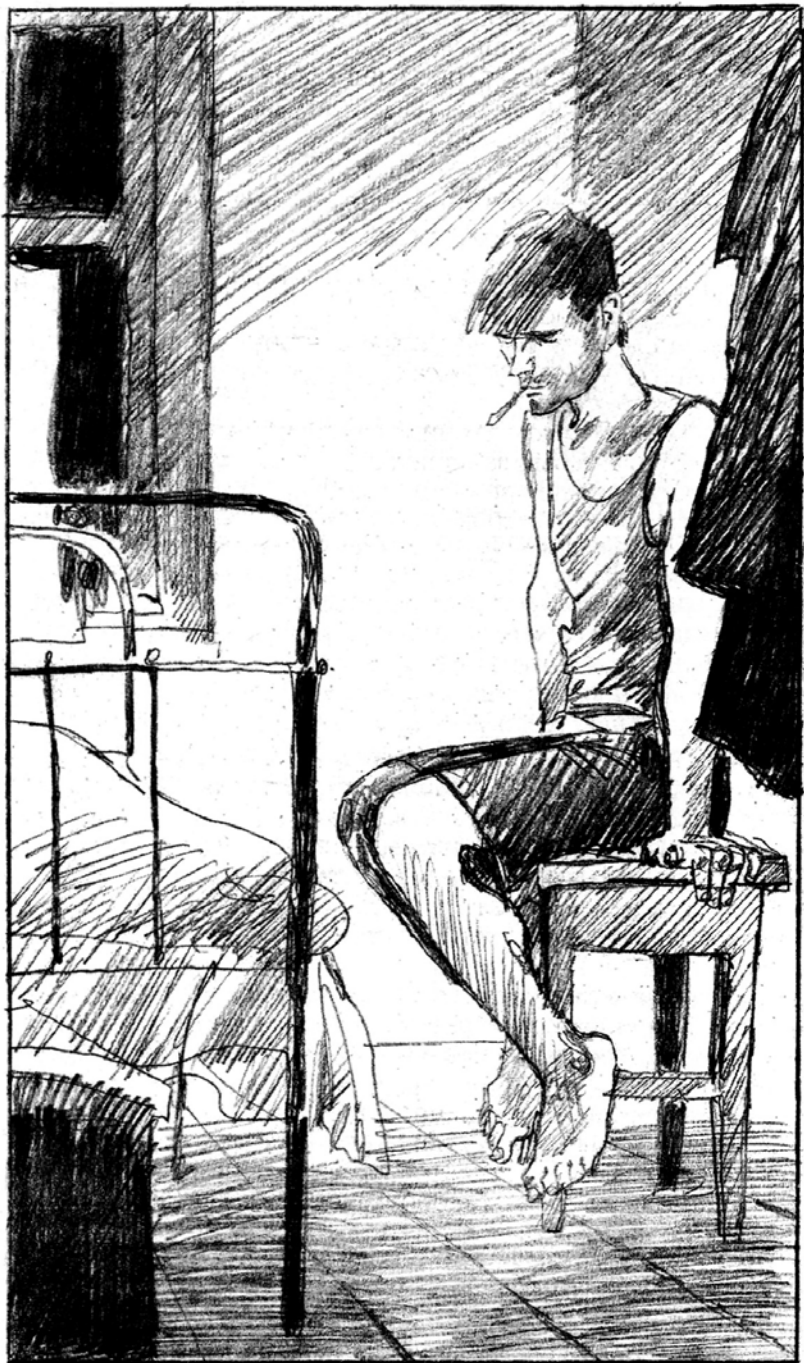
его успокоило. Теперь этот кто-то, находящийся там, на улице, если бы и заглянул в окно, все равно ничего не увидел бы. Свет в комнате не горел, а без света, сквозь ситец, ничего не разглядишь.

До самого утра Петя просидел на табуретке около печки. Он был босой и в нижнем белье. Он то грел у печки ноги, то прижимался к печке спиной, чтоб не дрожать от холода. Осенний ветер завывал на улице. Шумели последние листья на деревьях, те, которые ветер не успел сорвать. Петька старался представить себе сына – толстенького и веселого; Тонины глаза – широко раскрытые, напряженно думающие. Петька старался вспомнить и представить себе какие-то смешные истории из детдомовской жизни, все то, что было действительно или казалось теперь веселым и радостным. Все хорошее, что только было в прошлом.

Он ни на секунду больше не заснул в эту ночь, но в конце концов все-таки успокоился.

Успокоился хотя бы настолько, чтобы одеться, подойти к умывальнику умыться и часа за два до начала рабочего дня пойти в мастерскую.

Ключ от мастерской хранился теперь у него. Он не только уже окончательно был зачислен в штат, но и назначен заведующим. Пост, конечно, не слишком большой, но все-таки свидетельствовал о том, что ему доверяют. Да хоть и небольшая, а все-таки прибавка к зарплате. У него уже были деньги, чтобы послать Тоне. Но беда в том, что он боялся отправить перевод. По переводу могут узнать, где он. Ну, об этом он и думать не хотел. Одним словом, отправить перевод он не решался.



В мастерской он взялся за работу, которую не успел кончить вчера, и работа его совсем успокоила. Он ее кончил как раз к тому времени, как открылась столовая. Он пошел позавтракал и встретил в столовой Лешу. Леша сказал, что его посылают в район за продуктами и что Петр мог бы отпроситься, поехать с ним и купить пальто.

– Со дня на день снег пойдет, – сказал Леша. – Что же, ты в пиджачишке одном будешь ходить?

Петька зашел к директору, и тот его охотно отпустил. Они поехали с Лешей в район. В универмаге оказалось недорогое, но теплое пальто, и как раз Петькин размер.

– Повезло вам, – сказал продавец, отдавая Пете пальто, – это хороший фасон, они редко у нас бывают.

«Повезло, повезло, – повторял про себя Петька, – удачи, удачи, все время удачи».

Они получили на складе продукты, пообедали в ресторане, в котором кормили хуже, чем в их столовой на лесопункте, и поехали домой.

Только они выехали из города, как в воздухе заплескали белые мухи.

Прошлую ночь недаром так завывал ветер, недаром так шумели деревья. Они знали, они предупреждали, что кончилась осень и началась жестокая зима.

– Везет тебе, – сказал Леша, – как раз вовремя пальто купил.

«Удачи, удачи, все время удачи», – еще раз подумал Петька, и хоть не полностью, хоть отчасти, но удалось ему все-таки создать в себе то счастливое, победное настроение, которое овладело им когда-то, в ту страшную ночь. Петька не уточнял, в какую страшную ночь. Он не хотел об этом думать.



Пока ехали, снег покрыл дорогу, деревья в лесу, крыши домов. Поселок выглядел теперь веселым, белым и радостным. Петька пошел в мастерскую, и все его поздравляли с покупкой и говорили, что пальто очень хорошее, такое редко достанешь, и что Петру Семеновичу повезло.

И он повторял про себя: «Повезло, повезло» – и убеждал себя, что он удачник, что ему везет и будет везти. Только в самой глубине души он знал, что в прошлый раз, в ту ночь, когда он убежал от милиции, не надо было себя убеждать, что ему везет. Удачи сами приходили одна за другой.

Для себя Петька особенно не уточнял, в какую это было «ту» ночь. Он знал, какая это была «та» ночь, и нечего было об этом думать.

Он задержался в мастерской допоздна, чтобы его поездка не отразилась на работе. Все уже ушли, а он еще работал. Печка хорошо грела, было тепло, за окном все шел, шел, шел снег. И от этого тепло было особенно приятно.

Он опаздывал в столовую – она уже должна была закрыться. Но ему не хотелось уходить, пока работа не кончена. Уже совсем стемнело, когда в мастерскую зашел верный друг Леша. Он понял, что Петр не успеет поужинать, и принес хлеба и колбасы. Они на электрической плитке вскипятили чайник. Чай и сахар всегда лежали у Петьки в ящике. Попили чаю.

Когда они вышли из мастерской, снег перестал идти. Заворачивал морозец. Снег уже начинал скрипеть под ногами. От его белизны на улице было гораздо светлей, чем обычно. Простились у Лешиного дома. Петька пришел к себе, снял пальто, затопил печку. Сидел, смотрел на огонь,

пока печка не прогорела. Потом печку закрыл, разделся и, перед тем как лечь в постель, подошел к окну.

За окном лежала заснеженная улица. Снег пушистыми шапками покрывал крыши домов. Снег лежал на ветках деревьев, на тех самых ветках, которые вчера так тревожно о чем-то его предупреждали. Сегодня они были неподвижны, спокойны, красивы. Петя лег и укрылся с головой. Ему тоже было сегодня спокойно. Сверчок верещал во сне, и было очень приятно, что в комнате живет такой незаметный, спокойный друг. Петька с наслаждением вытянулся и сразу заснул.

## Глава семнадцатая

### *Разные настроения*

И утром тоже все было прекрасно. День выдался солнечный, ясный, безветренный, с небольшим морозцем. Трудно было представить себе, что еще вчера улица была мокрой и грязной, а деревья беспокойными и тревожными. Петька как раз кончал одеваться, когда в окно стукнул Леша, верный друг. Петька торопливо надел пальто, кепку и выскочил на крыльцо.

Он видел еще из окна, что погода хорошая, а все-таки, когда вышел на воздух, все вокруг было как подарок. Такой свежий воздух, такой солнечный свет, такой белый снег, такое ясное небо, что Петя постоял минуту, жмурясь и наслаждаясь днем. Он бы, конечно, слепил снежок и запустил в Лешу, который смотрел на него улыбаясь и понимая его состояние, но было неудобно. По улице ходят

люди, и вдруг заведующий мастерской играет в снежки, точно школьник. Петя принял серьезный вид и спустился с крыльца. Пошли в столовую, обмениваясь короткими замечаниями о том, что погода хорошая и что Петр сегодня закончит ремонтировать мотор; о том, что Леша получил письмо от девушки и та просто удивительно до чего его понимает...

У всех в поселке было приподнятое настроение. Клава, молоденькая официантка, принесла им по гуляшу и по кофе, сказала, что обещали к вечеру привезти пиво и что погода замечательная. И повариха Марья Андреевна высунулась в раздаточное окно и тоже сообщила, что погода очень хорошая. И даже Леша подтвердил, что погода — первый сорт. И Петя согласился, что просто на редкость погодка.

Под всеми этими разговорами о погоде подразумевалось нечто большее. Имелось в виду, что у всех отличное настроение, что дела идут превосходно и, если по правде сказать, жить очень хорошо.

Когда Петя вошел в мастерскую, два его помощника, молодые парни, поздравили его с хорошей зимой, и все трое стали возиться с мотором, который они обещали завтра отремонтировать, а между собой договорились, что кончат сегодня. Это был обычай, который уже установился в мастерской: принимая заказ, срок брали с запасом и потом сдавали работу раньше, чем обещали. И заказчики бывали довольны, и в мастерской царило хорошее настроение.

Увлечшись мотором, не заметили, как время пришло обедать. Пообедали быстро, и у Пети еще оставалось время

до конца перерыва. Он пошел прогуляться. Еще, кроме погоды, его радовало новое пальто. Оно очень ловко обвиселось на фигуре и было как раз впору, даже удивительно как впору. Правду говоря, дело было не в том, что пальто оказалось таким уж необыкновенно хорошим. Просто Петя давным-давно не имел обновок. Он уже позабыл, какое это бывает приятное чувство, когда на плечах у тебя новая вещь, хорошо сделанная, красивая и удобная. Не то чтобы он, конечно, хвастался новым пальто, но все-таки было приятно, когда люди, шедшие навстречу, поздоровавшись, на секунду задерживали на нем взгляд, и Петя понимал, что им нравится пальто, что они одобряют его покупку.

Некоторые даже спрашивали, не новое ли пальто, Петя небрежно объяснял, что вчера поехал с Лешей в город посмотреть, не подвернется ли что хорошенькое в магазине, и вот как раз подвернулось.

Петька не говорил да, кажется, и сам уже не помнил о том, что до вчерашнего дня у него вообще пальто не было, и неизвестно, что бы он делал сегодня в мороз, если бы Леша случайно его не уговорил съездить в город.

Возле конторы он встретил секретаршу директора. Это была немолодая женщина, вдова бывшего директора, умершего лет пять назад. Весь лесопункт знал, что у нее скверные отношения с теперешним начальством. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что не ее муж здесь главный. Ей казалось, что теперешний директор делает все не так, что если бы ее муж не умер, то лесопункт был бы самым первым в стране. Болея за судьбу лесопункта, она считала своим долгом давать директору указания и част-

ные, по каждому отдельному случаю, и общие, так сказать методические: как надо руководить вообще, как надо разговаривать с людьми, и массу других, таких же необходимых.

По чести сказать, директор часто испытывал острую потребность уволить Лию Матвеевну, так сказать по непригодности или по собственному желанию. По крайней мере, мечтал он иногда сказать ей пару слов на своем мужском языке. Но он был человек добрый, помнил, что она совершенно одинока, что единственный ее интерес заключается в этой ее воображаемой руководящей роли, и поэтому молча выслушивал навязчивые советы, а когда становилось невтерпёж, ругался про себя, сохраняя на лице выражение заинтересованного внимания. Между прочим, директором он был неплохим, хотя и не выполнял советов Лии Матвеевны.

Так вот, Лию Матвеевну и встретил Петя возле конторы.

Они поздоровались, обменялись впечатлениями о погоде, а потом Лия Матвеевна сказала:

— У вас есть дети, Петр Семенович?

Неожиданный этот вопрос ошеломил Петю. В анкете он указал, что детей у него нет. Он предпочитал, чтоб у него удерживали налог за бездетность. Справку-то о сыне достать ему было неоткуда. Беда была в том, однако, что он не помнил, как сказал Леше: есть у него дети или нет. Жителей на лесопункте немного, тем для разговоров и того меньше. Врать не следовало ни в коем случае. То есть врать можно было, но всем одинаково. А то в случайном разговоре могло выясниться, что человек болтает языком всем

по-разному, и к человеку этому, конечно, начали бы относиться настороженно.

Чтобы иметь время подумать, Петя ответил вопросом:

– А что такое, Лия Матвеевна?

– Сегодня звонили из райотдела милиции, – ответила Лия Матвеевна, – спрашивали, кто из мужчин появился у нас новый за последние полгода. Ну, я сказала про вас – больше-то у нас новых никого нет – и потом подумала: почему они только мужчинами интересуются? Не алиментное ли дело?

Петька засмеялся, чтобы показать, что ничуть не заинтересован, ничего не ответил и, махнув рукой, пошел дальше.

Голова у него ужасно кружилась. Кругиплыли перед глазами. Больших усилий стоило идти по прямой. Если бы он дал себе волю, он бы шатался как пьяный.

«Не везет, не везет, – повторял он про себя. – Неужели и здесь настигли?... Куда же скрыться?... Куда же скрыться?... Надо скорей решать...»

У него так колотилось сердце, что казалось, он сейчас упадет и не сможет подняться. Он повернулся и медленно пошел обратно в сторону мастерской, в сторону дома, в котором жил. Перерыв еще не кончился, и много народа ходило по улице. Молодые парни начали швыряться снежками и влепили – нечаянно, конечно, – снежок в спину Петьке. Петька понимал, что его ударил снежок, но чувствовал, будто его сзади схватили за шиворот. Он минуту постоял неподвижно. Ему казалось, что его не пускает дальше держащая за шиворот рука. Потом он все-таки опомнился и пошел. Вид у него был такой, что на него

оборачивались. Он даже не заметил, как дошел до мастерской. Увидя ее совсем близко, он подумал, что не только не сможет сейчас работать, но не сможет даже разговаривать со своими двумя ребятами. А ребята из окна мастерской разглядели, что у Петьки безумный вид, выскочили на улицу и подошли к нему.

– Что с вами, Петр Семенович? – спросил один из них.

– Я полежу немного. Вы работайте, – сказал Петька и постарался улыбнуться. Он сам почувствовал, что улыбка у него кривая, искусственная, не похожая на улыбку.

Ребята все-таки довели его до крыльца и хотели даже войти с ним в комнату, но он повторил:

– Вы идите, ребята, работайте, я полежу немного и приду.

Они его раздражали, эти доброжелательные, славные парни, которые так хорошо, так заботливо к нему относились. Он бы, кажется, начал драться, если бы они не остановились на крыльце и не оставили его в покое. Они, испуганно на него глядя, дождались, пока он вошел в дом, а потом все-таки ушли. По крайней мере, выглянув в окно, он не увидел их возле дома. Тогда он, не снимая пальто, сел на кровать и положил голову на руки. Ему надо было подумать. Ему просто необходимо было подумать. А мысли кружились у него в голове как сумасшедшие, и ни на одной он не мог задержаться.

«Надо успокоиться, надо успокоиться», – повторил он несколько раз и будто загипнотизировал сам себя. В голове у него прояснилось.

Ох, лучше б не прояснялось у него в голове! Что за дурак он был все это время! Какой черт подшутил над ним,

заставил его поверить, что здесь он в безопасности, что здесь его не настигнут?... Он стал вспоминать, как это получилось. Надо же! Вдруг ему почему-то показалось, что прошлой жизни как будто не было, что здесь он начал другую жизнь и поэтому за прошлое не должен отвечать.

«Нет, брат, ответишь, — с непонятным злорадством говорил он сам себе, — по прежней жизни за все рассчитаешься до копейки. А потом новую начинай».

За что рассчитываться-то, в сущности? За убийство? За грабеж? Но он не убивал и не грабил. Как докажешь?... Ведь даже братики сомневались. Они не позволяли себе сомневаться — и все-таки сомневались. Он это отлично чувствовал в том разговоре у Афанасия Семеновича. В сущности, правильно, если его засудят. Да, не убивал и не грабил. Но собирался. Если бы не пришла телеграмма, что братики едут, пошел и ограбил бы.

«Может быть, и убил бы?» — спросил он сам себя. «И убил бы, — ответил он сам себе, — если б, конечно, сложились обстоятельства. От растерянности, от того, что в таком деле нельзя сворачивать на половине пути... Виноват, виноват! — беззвучно кричал он сам себе и бил себя кулаками по вискам. — Нечего было дружить с бандитом, и брать у него деньги, и становиться в зависимость от него!»

«Но ведь все-таки не грабил, не убивал...» — повторял внутри какой-то очень слабый голос. «Случайно, — отвечал он сам себе, — и твоей заслуги тут ни на грош... Что полагается за это? — продолжал он думать. — Пятнадцать лет, наверное. Или расстрел...» Почему-то ни годы тюрьмы, ни расстрел его не пугали. Если, скажем, пятнадцать лет тюрьмы... Что ж тут такого! Заслужил, и обижаться не на



что. У него путались мысли. То он вспоминал, что все-таки не грабил и не убивал, то забывал об этом. Не тюрьма его пугала и не расстрел. Ему страшно было встречаться с людьми. С Лией Матвеевной. С директором лесопункта. С двумя парнями из мастерской. С Лешкой!... Когда он вспомнил о Лешке, у него даже голова закружилась. Лешка будет смотреть на него как на грабителя и убийцу. Лешка, который так просто ему поверил, который принес в мастерскую хлеб и колбасу, чтобы ему, Петьке, не пришлось лечь спать голодным.

«Надо бежать, бежать, – решительно сказал он себе. – Пусть хоть в лесу поймают».

Он встал и начал торопливо застегивать пальто и вдруг подумал: «От чего, собственно, бежать? А если ищут кого-то другого? Например, Сидорова. Позвонили, узнали: нет Сидорова на лесопункте. Есть Груздев. Ну и бог с ним, с Груздевым. Он нам не нужен».

Так уговаривал он себя, а на самом деле не сомневался, что ищут именно его. Просто ему хотелось себя уверить, что еще можно на что-то надеяться. Он старался, так сказать, поддаться надежде. Он старался сам себе доказать, что оснований для волнений, в сущности говоря, нет никаких или очень мало. Что-то плохо у него это получалось. Кое-как он хоть внешне успокоился.

«Дурак! Из-за ерунды разволновался. А волноваться оснований пока нет. Ведь не сказали же, что ищут именно Груздева...»

Он все надеялся, что удастся и на этот раз, как бывало прежде, себя загипнотизировать и снова впасть в это прекрасное, бездумное состояние, когда кажется, что с про-

шлой жизнью расчеты кончены, а новая жизнь идет просто великолепно.

Нет, не удавалось. Прошлая жизнь висела над ним, и никаким, совершенно никаким образом невозможно было от нее избавиться.

Все-таки хоть выглядел-то Петька сейчас как будто почти нормально. Он заглянул на всякий случай в осколок зеркала, который лежал на тумбочке. Как будто бы ничего. Он причесался.

Глядя в зеркало, причесываясь, поправляя на себе пальто, он думал о том, что, во всяком случае, у него еще есть время все решить. Сегодня он отремонтирует мотор. Завтра попросит его уволить, сошлется на болезнь, на какое-нибудь письмо, которое будто бы получил. И послезавтра с попутной машиной спокойно уедет.

Правда, внутри слабый голос все продолжал повторять одно и то же слово, как будто заскочившая пластинка, которая без конца повторяет одну музыкальную фразу.

«Бежать, бежать, – повторял голос, – скорее, скорее бежать».

Петька старался к нему не прислушиваться. В конце концов, есть же время подумать. Только сегодня звонили. Пока соберутся, пока достанут машину, пока приедут... Тоже ведь лесопункт не ближний свет...

Петька причесался и еще раз внимательно посмотрел на себя в осколок зеркала. Лицо у него было, может быть, и не совсем такое, как обычно, но можно было сказать, если спросят, что сердце пошаливает или болит печень.

Наконец Петька решился. Он распрямил плечи, чтобы принять как можно более бодрый вид, и вышел из дома. Он

посмотрел вдоль по улице в ту и другую сторону. Возле конторы стоял грузовик. Не их грузовик. Не из их гаража. Свои грузовики Петя знал наперечет. Это был грузовик чужой, приехавший, конечно, за ним. В этом-то ни на одну секунду не возникло у Пети сомнений.

И не думал он ни секунды. Да и что уж тут было думать. Им снова руководил заячий инстинкт.

Он повернулся и пошел в другую сторону, уходя от грузовика, стараясь идти поближе к домам, рассчитывая, что здесь он менее замечен. Он поднял воротник пальто, потому что никогда еще не ходил по лесопункту с поднятым воротником, и надеялся, что издали его если и заметят, то не узнают.

## **Глава восемнадцатая**

### ***Петя прячет голову в снег***

За первым же домом он повернул налево. Впереди был узкий проход между домами. В домах этих жили семейные. Об этом и не зная можно было догадаться по бросающейся в глаза обжитости участков. Здесь теснились курятники, клетки для кроликов, а в одном углу была сделана загородка, где нагуливала жирок свинья, имевшая уже и сейчас весьма преуспевающий вид.

Петя так торопился, что задевал то забор, то заднюю стенку клетки для кроликов, а когда вышла на крыльцо хозяйка с помойным ведром, то чуть было не попал под выплеснутые помои.

– Куда это вы, Петр Семенович? – услышал он голос

хозяйки, но даже оглядываться не стал. Не до нее ему было. Он торопился в лес. Ему почему-то казалось, что в лесу можно укрыться, спрятаться, исчезнуть навсегда, пропасть с глаз людских.

Да, больше всего его пугали глаза людские.

Лес начинался сразу же за домами. Поселок, повторяю, был небольшой, всего только одна улица, два ряда домов по ее сторонам.

И вот, продравшись между загородкой для свиньи и клеткой для кроликов, он оказался в лесу. Здесь идти стало очень трудно. Снег был неглубок, но все-таки прикрывал какие-то ямы, провалы, маленькие пеньки. Петька то проваливался в яму, то спотыкался о пенек. Он не мог понять, давно ли он идет по лесу, далеко ли отошел от поселка. Он обернулся. Поселок был еще совсем близко, метрах в пятидесяти. Петька, однако, забыл о поселке и думать. Он похолодел от ужаса по другой причине: от самых его ног тянулся отчетливый ряд глубоко вдавленных следов. Необычайно ясно они были видны в этот солнечный день на сверкающем снегу, расчерченном светлыми тенями деревьев.

Как собака на цепи! Цепь может быть и длинная, но все равно от нее не уйдешь. А если кто захочет поймать, возьмет за тот конец и выберет, не торопясь, цепь всю до конца, а на конце ты болтаешься, беспомощный и несчастный.

«Не терять голову, не терять голову, – повторял он про себя. – Спокойно подумать».

Он стоял, глядя на поселок, и соображал: «Если идти по улице, шоссе будет направо, и идет оно в ту сторону. Ага, значит, мне надо идти налево».

Поселок как бы застыл под первым снегом, под ярким зимним солнцем. Ничто не двигалось. Даже свинья неподвижно стояла в своей загородке. Она, видно, съела все, что ей было дано, и решила, что, поскольку новой выдачи ждать пока рано, двигаться без толку ни к чему. Петра удивило, что женщина, которая выплескивала помои, тоже стояла неподвижно, держа в руках пустое ведро и глядя на него. Почему-то ему не показалось опасным, что она как будто наблюдает за ним и, значит, увидит, куда он пойдет. Он побрел по снегу, то проваливаясь по колено, то спотыкаясь. Ему казалось, что главное – оторваться от этой цепочки следов, которая держит его, как цепь держит собаку.

Он торопился. Как можно скорей надо было выйти на шоссе. Шоссе укатано. На шоссе следов не увидишь. На шоссе не будешь проваливаться и спотыкаться. Он торопился.

Надеялся ли он на что-нибудь? Нет, конечно, пи на что не надеялся. В душе-то он понимал великолепно, что уйти никуда не уйдет, что через полчаса, через час его схватят, и верти тогда головой сколько хочешь, все равно всюду вокруг будут людские глаза.

«Людские глаза! – повторял он про себя. – Человечьи глаза, глаза человечьи! Глаза людские!...»

Он занимался бессмысленным повторением слов, чтобы хоть на секунду отвлечься от страшных мыслей. Страшные мысли обступали его. Страшные мысли гнались за ним. Он от них старался освободиться хоть ненадолго, но они, как нарочно, лезли в голову. Никак не удавалось от них избавиться. Он боялся не тех людей, которых еще не видел и не хотел себе даже представлять, не тех, которые

приехали за ним на этом чужом грузовике не их лесопункта, не из их гаража.

Все-таки бессмысленное повторение слов, ни на секунду не останавливающаяся карусель бестолковых мыслей как-то отвлекли его. Он и не заметил, как вышел на шоссе. Проваливаясь глубоко в снег, он перебрался через канаву.

Да, шоссе было укатано. Видно, немало прошло по нему машин с тех пор, как перестал падать снег. По шоссе было легко шагать. Петька ускорил шаг.

Он шагал, по-прежнему повторяя бессмысленные слова, стараясь, чтоб, не задерживаясь, крутилась в мозгу бестолковая карусель мыслей, боясь подумать о том единственном, о чем следовало бы подумать.

Он испугался, увидя, что навстречу ему идет человек, но тут же успокоил себя: человек идет не с той стороны, с которой опасно, да и человек-то один, без машины.

Он так был занят этими успокоительными мыслями, что не заметил, когда разминулся с этим человеком, что тот поклонился и даже сказал какую-то фразу. Уже пройдя после встречи метров сто, он вспомнил, что человек этот бригадир, который его хорошо знает, и что сказал он, кажется, «здравствуйте, Петр Семенович».

Он думал о том, что обращение по имени-отчеству относится к тому приснившемуся ему отрезку жизни, когда он был заведующим мастерской, уважаемым человеком, Петром Семеновичем. Как странно, что поклон и уважительное отношение донеслись из этого сна, который он уже перестал видеть, в реальный мир, где он бредет без всякой надежды, бродяжка и забулдыга, подозрительный человек – Петух!

Он и на этой мысли не задержался. Разные мысли водили в его голове хоровод. Протанцевала и исчезла вместе с другими и эта мысль.

Ни на секунду он не подумал, что и женщина с полойным ведром, и бригадир, встретившийся на дороге, – всё это люди, которые видели его и, значит, расскажут, куда он пошел и где его надо искать. Даже мысли такой у него не было. Он только потом все это вспомнил. Времени вспоминать потом-то было у него сколько угодно.

Итак, Петька шел по шоссе. Совершенно особенная тишина стоит всегда в снежном лесу. Может быть, и каркнули где-то вороны, может, и прошел, чуть шурша, ветерок по деревьям – Петька не слышал этого. Ему нужна была тишина – он тишину и слушал.

Он даже не сразу понял, что какой-то негромкий монотонный звук проступает сквозь тишину. Потом уже он сообразил, что это шумит машина. Шоссе шло в гору, и колеса скользили по укатанному снегу. Мотор работал с трудом, гудя то громче, то тише. Когда Петька сообразил, что за звук доносится сзади, он побежал. Ноги его скользили и разъезжались на гладком снегу. Он бежал, как бегут в кошмаре. Бегут, зная, что не убежать, что сейчас настигнут, и все-таки бегут.

Мотор все гудел то более высоким, то более низким тоном. Как будто ворчал про себя – то сердито и недовольно, то утешаясь и веселясь.

А Петька бежал, задыхаясь, скользя, теряя сознание. Какое же перекошенное от ужаса у него было в это время лицо! Как же странно он выглядел в этом величественном, спокойном, безмолвном лесу, если б был кто-нибудь, кто

мог его видеть. Он потерял шапку и не заметил этого. Он не заметил потом и того, что ему вернули эту шапку и что он надел ее на себя. Кажется, он упал. У него на теле оказались потом синяки, но и этого он тоже не помнил.

А сзади все гудел и гудел мотор, то на высоких, то на более низких нотах, как будто ворчал и сердился, что должен догонять какого-то бродяжку, который прикинулся на время человеком и, представьте себе, всех сумел обмануть.

Петьке приходила в голову мысль, что надо свернуть с шоссе, спрятаться за деревьями и пропустить машину мимо себя. Он даже представил себе, как будет хорошо, когда неумолчный рев мотора будет не приближаться к нему, а удаляться. Все дальше и дальше удаляться, пока не затихнет совсем. Тогда наступит та полная тишина, о которой больше всего мечтал Петька.

К сожалению, не было времени оглянуться и посмотреть, далеко ли машина. Но когда шоссе свернуло в сторону, он подумал о том, что теперь, даже если машина близко, он сколько-то времени, хоть несколько секунд, будет невидим. Это его почему-то обрадовало. Непонятно почему. Ни на секунду за время этого страшного бегства он не думал о спасении – у него даже не мелькнула надежда. Даже тень надежды у него не мелькнула.

Дышать стало непереносимо трудно. Несмотря на морозец, он был весь в поту. У него стучало в висках и дыхание со свистом вырывалось из легких. Он больше не мог бежать. И остановиться он не мог. Больше всего он боялся показаться людским глазам. Почему-то он не представлял себе людей с руками, ногами, туловищем, головой. Он



представлял себе только людские глаза. Эти глаза смотрели на него с ужасом, с отвращением, с унижительным сочувствием, с брезгливым удивлением. Каждая пара глаз – с другим выражением.

Петька остановился. Он не в силах был больше бежать. Шатаясь, он подошел к канаве, скатился в нее и с трудом выбрался по другому склону. Он, кажется, сел в снег, но заставил себя подняться. Он пошел, шатаясь как пьяный. Голова у него кружилась, грудь поднималась и опускалась, дыхание свистело.

Он шел, понимая, что за ним остаются отчетливые, отпечатанные на снегу, следы. Понимая, что, сколько бы он ни шел, всюду останутся эти указатели его пути. Когда появятся глаза, которые его преследуют, указатели громко закричат: он там, спешите, он недалеко ушел!

И все-таки Петька шагал, хотя все тело его содрогалось, как котел с бурно кипящей водой, и пестрые пятна вертелись перед глазами. Он с трудом различал дорогу. Не дорогу, собственно, а промежутки между деревьями, в которые можно было пройти.

Потом он увидел кустарник. Обособленные островки кустарника. Петька позже не помнил, какие это были кусты. «Малина, может быть», – предполагает он. Прямые прутья, голые, без листьев и без колючек. Почему-то ясно было, что ему следует дойти до этого кустарника. Не для того, чтоб спастись. Нет, надежды по-прежнему не было никакой. Он не думал даже о надежде. Он брел волоча ноги и, кажется, заметил, что теперь не четкие, отпечатанные следы остаются позади, а какие-то полосы, проложенные в снегу волочащимися ногами. А может быть, не заметил, а

только подумал об этом. И все-таки, когда он дошел до кустарника, он на секунду испытал облегчение, что путь кончен. Не то чтобы этот путь куда-то его привел, от чего-то его избавил. Нет, жизнь была такой же безнадежной, как и тогда, когда он этот путь начинал. Но все-таки путь был копчен.

Он лег на снег лицом вниз. Снег охлаждал горячее лицо. Потом стало холодно. Тогда он закрыл лицо руками. Он лежал, ничего не видя, и это было единственное, что можно было сделать, чтобы хоть сколько-то секунд не встречаться с глазами, которые его преследуют.

Петька не плакал, ничего не ждал, ни о чем не думал. Он просто лежал, уткнувшись в землю, закрыв руками лицо, и ничего не чувствовал, ничего не думал, ничего не ждал.

Грузовик, который видел Петя, действительно привез из райцентра оперативных работников. И действительно приехали они за тем, чтобы захватить Петю. Чтобы не насторожить преступника, не вспугнуть его прежде времени, все они были в штатском. Машина с лейтенантом милиции и двумя милиционерами должна была приехать часом позже, когда, как предполагалось, преступник будет уже задержан.

Если бы не то невозможное нервное напряжение, которое, ни в чем внешне не выражаясь, все время владело Петей, может быть, он и не обратил бы внимания на появившийся в поселке чужой грузовик. Работники розыска не очень и торопились. Они зашли в контору, переговорили с директором и взяли директора и Лию Матвеевну в качестве понятых. Все вместе они отправились в мастерскую. Ус-

ловились делать вид, что директор показывает мастерскую заезжим товарищам.

В мастерской Петьки не было. Тогда пошли в дом, в котором Петька жил. Ребята из мастерской рассказали, что товарищ Груздев себя плохо почувствовал. Естественно было предположить, что он решил немного полежать в постели.

В комнате Пети тоже не было.

Тогда приезжие начали тревожиться. Им была известна история таинственного исчезновения Груздева из села Клягина. Они боялись, чтоб таинственное исчезновение не повторилось.

Теперь, уже не скрываясь, они стали опрашивать всех, кто им встречался на улице, и очень скоро добрались до женщины, которая выходила, чтобы вылить помой, и видела, как Петька ушел в лес. Приезжим стало ясно, что долго Петька бродить по лесу не станет. Он должен понимать, что куда бы он ни пошел и как бы ни метался, следы всюду будут указывать его путь. Не трудно было догадаться, что он обязательно пойдет на шоссе. Да и женщина, последней видевшая его в поселке, говорила, что он свернул налево перед тем, как она потеряла его из виду.

Решено было садиться в грузовик и ехать по шоссе.

За это время слухи о том, что Петр Семенович оказался знаменитым преступником и его сейчас ловят, обошли весь поселок. Все жители, кроме лесорубов, которые рано утром ушли в лес, толпились около грузовика. Непонятно откуда, но всем уже было известно, что Петька знаменитый преступник. Когда работники розыска вышли на улицу, они увидели, что грузовик окружен молчаливой толпой.

Впрочем, это только казалось, что толпа молчалива. На самом деле в толпе тихо, почти беззвучно передавались слухи, один другого чудовищней. Все рассказы о знаменитых преступниках, о странных и страшных кровавых преступлениях, которые кто-либо из стоявших в толпе когда-нибудь слышал или читал, трансформировались и адресовались к Петьке. Следует сказать, что никто или почти никто сознательно не врал. В людях играла фантазия. Людям казалось, что запавшие им в память истории о грабителях и убийцах и в самом деле относятся к Петьке.

Все уже, разумеется, знали, что три молодых человека, совершенно безобидного вида, приехавшие на грузовике, на самом деле работники розыска. Это название слишком сложно и непривычно, оно, естественно, заменилось знакомым словом «сыщик». У слова «сыщик» есть постоянный эпитет «великий». Все известные сыщики были великими. Итак, три великих сыщика приехали, чтобы задержать заведующего мастерской. Естественно, что заведующий был преступником, и даже знаменитым. Все взволнованно обсуждали, как он ловко прикинулся скромным заведующим мастерской. Фамилия Груздев была, разумеется, не его фамилией. Он присвоил ее, забрав документы у настоящего Груздева, которого убил.

Словом, много было сказано всякого вздора, и чем нелепей был слух, тем большее он внушал доверие. Главное, однако, заключалось в том, что Петька теперь вызывал не уважительное и дружелюбное отношение, как раньше, а всеобщий интерес и страх.

Только Леша, верный друг Леша, страдал за Петьку ужасно. Он любил его действительно серьезно, как любят люди собственное свое создание.

Ведь это он, Леша, нашел где-то на дороге так необходимого лесопункту слесаря. Ведь это он привез его на лесопункт и рекомендовал директору. И какой же это оказался превосходный слесарь! Нет, Леша не мог поверить, что его слесарь на самом деле кровожадный преступник.

Неизвестно откуда, но еще до того, как работники розыска вышли на улицу и быстрым шагом пошли к машине, стало известно, что знаменитые сыщики сейчас поедут на грузовике ловить знаменитого преступника.

Как ни отбивались приезжие, как ни умоляли не мешать, все-таки в грузовик влезло человек десять, в том числе, конечно, Леша. Гнать их было некогда. Грузовик тронулся, прокатился по улице и свернул на шоссе. Толпа на улице осталась стоять, ожидая дальнейших событий.

Работники розыска сидели у бортов. В кузове их было двое, третий сидел в кабине. Все трое внимательно смотрели на плывущий назад ровный снежный покров по сторонам шоссе. Очень скоро они остановили машину, увидя следы на снегу. Впрочем, слезать никто не стал. Даже отсюда, из кузова, было видно, что следы ведут к шоссе. Здесь Петька вышел из леса, значит, расчеты были правильны. Теперь ему хода обратно в лес нет. Где бы он ни свернул, следы зафиксируют его путь. Машина пошла дальше.

— А что он сделал? — спросил наконец собравшийся с духом Леша у приезжего, внимательно следившего за гладким снегом.

— Грабеж с убийством, — буркнул приезжий, не оборачиваясь.

Леша похолодел.

Скоро увидели идущего навстречу бригадира. Остановили машину. Бригадир рассказал про встречу с Петькой. Поехали дальше.

Колеса грузовика буксовали. Шоссе шло в гору, и свеженакатанный снег очень скользил. Все-таки ехали недолго, всего несколько минут.

– Сто-п! – закричали вдруг все: и те, кто сидел или стоял в кузове, и те, кто сидел в кабине.

Все ясно увидели цепочку следов, которая, отойдя от шоссе, вела по свежему снегу в лес. Теперь цепочка не отпустит преступника. Теперь он готов! Он пойман! Он взят!

Только Леша не кричал. Он очень переживал эту историю. Он понимал, что Петр его обманул, что Петр – грабитель и убийца, и все-таки ему не хотелось ловить его. Все-таки осталось еще у него хорошее чувство к этому человеку, которого он когда-то привез, с которым они вместе покупали пальто, с которым они говорили о самом главном – например, о том, что Лешина девушка Лешу исключительно понимает.

Все попрыгали из грузовика на землю. Все перебрались через канаву. Узенькая цепочка следов отчетливо шла по снегу, и даже видно было, что Петю шатало. Следы сворачивали то в одну, то в другую сторону.

Шли по следу. Работники розыска вынули пистолеты. Все молчали.

Метров сто прошли, не больше, когда работники розыска остановились. За ними остановились все. Впереди, под кустарником, была отчетливо видна казавшаяся необыкновенно маленькой черная фигурка человека, лежавшая на животе, уткнувшись лицом в снег.

Дальше работники розыска пошли одни. Жестами и мимикой они строго запретили следовать за ними. Преступник мог быть вооружен. Преступник мог отстреливаться.

Нет, он не отстреливался. Он лежал не двигаясь, мечтая хоть на несколько секунд продлить тишину, отсрочить минуту, когда на него будут смотреть глаза.

Работники розыска наклонились над Петькой. Двое взяли его под руки. Рывком они поставили его на ноги.

– Документы! – сказал старший.

Петька молчал. Тогда старший засунул руку во внутренний карман и вытащил паспорт. Мельком он проглядел его, положил уже в свой, а не в Петькин карман и зашагал обратно. За ним двое вели Петьку. У Петьки было странное, отсутствующее лицо, будто это не его арестовали, не его ведут навстречу соседям и товарищам по работе.

Соседи и товарищи по работе смотрели на Петьку, а Петька старался не видеть их глаз. Глаза эти смотрели на него с ужасом, с отвращением, с унижительным сочувствием, с безгловым удивлением. Каждая пара глаз – с другим выражением. Все было так, как чудилось ему в его бредовых видениях. Все было точно так. И даже Лешин взгляд, растерянный, удивленный, непонимающий, пришлось ему перенести.

Его посадили на грузовик, грузовик развернулся и поехал обратно. Теперь дорога шла вниз, и грузовик ехал быстро. Петька смотрел вперед, как будто вокруг и не было людей, как будто он был один в машине. А люди смотрели на него, каждый со своим выражением. И только Леша отвернулся в сторону и смотрел на проносящийся мимо

лес. Это была единственная услуга, которую он мог оказать бывшему своему товарищу.

## Глава девятнадцатая

### *Дорога в тюрьму. Размышления*

Приехали в поселок. Преступника провели в контору. Предложили ему сесть на табурет в комнате, в которой работали директор лесопункта и Лия Матвеевна. Машина из районного центра опаздывала. Народ продолжал толпиться возле конторы. К начальнику все приходили по делам разные люди. Лия Матвеевна печатала на машинке. Преступник сидел на табуретке и чувствовал, что, хотя все, кажется, заняты своим делом, общее внимание устремлено на него.

Некуда было деться от взглядов. Лия Матвеевна печатала на машинке, но Петька чувствовал, что она все время на него поглядывает. Косили на него глаза и приходившие к директору посетители. Это были знакомые люди, но почему-то они не здоровались. Петька не мог понять — от смущения или чтоб его не смущать. Могло быть и то, что они не хотели с бандитом здороваться. Петьке теперь это было все равно. Раза два он встречался взглядом с директором. Директорские глаза говорили без слов: «Вот и верь после этого людям».

И в окно все время заглядывали любопытные. Некоторые даже прижимали лицо к стеклу. Понимали, что это нехорошо, даже неприлично, но не могли удержаться.

Петька сидел с отсутствующим видом и терпел. В



сущности, он ни о чем не думал. Скользили какие-то мысли, не задерживаясь, не запоминаясь: что-то о братиках, об Афанасии Семеновиче, о Клятове.

Наконец пришла машина из города. Обыкновенная «Волга». Рядом с шофером сидел лейтенант милиции. Он и вылезать из машины не стал.

Двое повели Петьку. Двое сели на заднем сиденье, по краям. Петька в середине. Третий сел в кабину грузовика. Народ толпился вокруг. Из окна смотрел на Петьку директор. Рядом с ним виднелось через стекло взволнованное лицо Лии Матвеевны. Взгляды, взгляды, взгляды!... «Провожают, точно министра», – мысленно пошутил Петька, но ему не стало от шутки весело.

Наконец машины тронулись. Петька вздохнул с облегчением, когда, промелькнув, исчезли сзади дома поселка. Замелькали деревья. Вот здесь он вышел из леса, здесь он встретил бригадира. Здесь он бежал. Здесь он ушел в лес.

Петькины спутники молчали. Молчал и Петька. Так, не сказав ни слова, доехали до города. Проехали магазин, где он покупал пальто. Странно было представить себе, что это было только вчера. Как все изменилось за сутки.

Подъехали к райотделу милиции. Петьку провели в небольшую комнату с зарешеченным окном и обитой железом дверью. Петька знал, что такие комнаты называются как-то по-особенному, но не мог вспомнить как. Потом вспомнил – камера. Часа два просидел он на койке, потом за ним пришли, опять посадили в машину. Вокзал. Поезд. Отдельное купе. Петька попросил разрешения, лег на полку и сразу заснул. До Энска было восемнадцать часов

езды. Петька почти всю дорогу проспал. Просыпался иногда только на минуту. Два работника розыска все время сидели на нижней полке; один спал наверху.

В Энске на вокзале ждала «Волга». Петьку довели до машины под руки. Будто три добрых товарища шагали они с работниками розыска.

Сели в машину. Поехали по городу. Петя смотрел на знакомые улицы, узнавал дома, магазины, кинотеатры. Как ни странно, он не думал ни о том, куда его везут, ни о том, удастся ли ему доказать, что он не виноват. Доказать, что просто случайно улики сложились в цепь, которую разорвать невозможно. Ни о чем он не думал. Как будто просто с хороших заработков взял такси и решил прокатиться по городу. Он даже заметил, что за время его отсутствия строившийся двенадцатиэтажный дом стал на три этажа выше, и подумал: «О, как быстро строят теперь!»

Сжалось у него сердце, только когда машина подъезжала к зданию тюрьмы. В прежнее время он несколько раз проходил мимо этого здания и не обращал на него особенного внимания. Здание как здание. Только что стены очень высокие да на окнах решетки. Ну что ж, на окнах многих фабричных корпусов тоже решетки бывают.

Машина подъехала к воротам. Ворота, сплошные, обитые железом, медленно распахнулись. Въехали во двор. Вышли из машины. Вошли в комнату. Люди, которые привезли Петю, получили расписку, написанную человеком с усами, в военной гимнастерке, но без погон, и ушли, не простившись с Петей. Часовые повели Петю в какое-то другое помещение; там у него снимали отпечатки пальцев, фотографировали его, измеряли рост. Потом парикмахер

обстриг его под машинку, потом его вели по длинному коридору, потом он вошел в камеру.

Начался первый Петин тюремный день. В камере было, кроме Пети, три человека. Все трое начали спрашивать, за что попал Груздев. Петя объяснил, что подозревается в краже. Ему казалось, что если он расскажет про убийство и ограбление, то его все начнут презирать и даже разговаривать с ним не будут. А время в тюрьме надо чем-то занять. Петя не говорил прямо, что не виноват. Он боялся, что соседи по камере только засмеются. Наверное, в тюрьме все утверждают, что не виноваты. Однако он уклончиво объяснил, что следствие, мол, покажет, виноват он или не виноват.

Потом был обед. Потом был долгий вечер. Потом легли спать.

Лежал Петя с закрытыми глазами и думал. И сколько он ни думал, как ни прикидывал, все равно получалось плохо. Пил он с Клятовым? Пил. Уславливался грабить Никитушкиных? Уславливался. Нашли в доме Никитушкиных его зажигалку? Нашли. Скрылся он в ту же ночь из города? Скрылся. Убежал от Афанасия, когда милиция пришла за ним? Убежал. Скрывался на лесопункте? Скрывался. Пытался, наконец, убежать, когда на лесопункте его разыскали? Пытался.

Ему было ясно, что от всех этих уличающих обстоятельств никуда не денешься. Если бы он был судьей, он бы сам вынес очень суровый приговор.

Тоска навалилась на Петю. Тоска душила его, и он, барахтаясь, стараясь от нее освободиться, искал утешения, искал хоть какое-нибудь светлое пятно в неясном своем, туманном будущем.

В конце концов, стал рассуждать Петя, вряд ли его расстреляют. Скорее всего, тюрьма. Ну что же, и в тюрьме люди живут. В конце концов, что хорошего было в его жизни последнее время? Пьянство да тоска. Как трезвеешь – так тоска. Чтоб прогнать тоску, пьянствуешь дальше. Какой ему могут дать срок? Самый большой, кажется, пятнадцать лет. Сейчас ему двадцать семь; когда выйдет, будет сорок два. Цветущий возраст.

Он усмехнулся про себя. Горько, но усмехнулся. Зато, в конце концов, эти пятнадцать лет он проживет нормально. И стыдиться некого. Там же все преступники. Ну хорошо или плохо – рассуждать не приходится. Все равно этого не миновать. Только б скорей кончилось все это: следствие, допросы, суд.

Трое товарищей Петра по камере спали. Чуть-чуть приоткрыв глаза, он увидел, что все они ровно дышат и лежат с закрытыми глазами. Впрочем, лежал с закрытыми глазами и он сам. Так что, может быть, и они только притворяются спящими. Может быть, каждый из них тоже думает о своем.

Так. На чем он остановился? Он остановился на том: что как было бы хорошо, если бы все это скорее кончилось. И тут Пете пришла в голову мысль поистине замечательная. В самом деле, это же зависит от него самого. Достаточно ему сразу во всем признаться, и следствие быстро закончится. В конце концов, следователи тоже люди занятые, им, наверное, тоже неохота долго возиться. Улики бесспорные, подследственный признается – чего же еще делать? И на суде он признается. Все подтвердит. Со всеми обвинениями согласится. Быстро вынесут приговор, и

начнется другая жизнь. В тюрьме, конечно, жизнь плохая, но ведь не хуже, чем была его жизнь последнее время.

Не то чтобы у Петра было хорошее настроение после того, как он принял такое серьезное решение. Но, по крайней мере, он стал гораздо спокойнее. Все определилось. Все стало на свои места. Бояться больше нечего. Будущее точно известно.

И неправды не будет. Он ничего не скрывает. Никто не сможет его ни в чем разоблачить. А Петька очень устал от того, что два с половиной месяца вся жизнь была построена на лжи.

Почему-то ему не пришло в голову, что и дальнейшую жизнь он тоже на лжи собирается строить. Раньше он скрывал, что он заподозрен в преступлении и что его ищут. Теперь он будет скрывать, что невиновен в этом преступлении.

Мог ли он в то время рассуждать нормально? Нервная система его, измотанная постоянным пьянством, потом отчаянным бегством из Клягина и жизнью под угрозой разоблачения, была, конечно же, ненормальна. В его представлении смещались формы и масштабы предметов. Перепутывались понятия. Пустяки становились необычайно значительными. Значительные факты, казалось, не заслуживают внимания. Мелочи создавали настроение. На основе случайных настроений принимались решения кардинальнейшие.

Так или иначе, ему стало спокойнее, когда он решил признаться во всем. И он заснул.

Перед тем как перейти к дальнейшим главам, я попросил Ивана Степановича Глушкова, следователя прокуратуры, теперь пенсионера, который вел дело Петра, написать свои воспоминания о деле Груздева. Естественно, что именно он лучше всех знал все перипетии и неожиданные повороты следствия. Он охотно согласился. Думаю, что согласие его было вызвано прежде всего тем, что, выйдя на пенсию, он очень скучал и никак не мог найти занятие, которое заполняло бы его жизнь.

Прочтя добросовестно написанные им воспоминания, я почувствовал, что, при всей своей обстоятельности, они несколько односторонни. Они довольно точно излагают факты. Однако не малую роль в рассказе должны, казалось мне, играть мысли и чувства подследственных. От Груздева, как я уже говорил, я имел об этом подробнейшую, хотя и не систематизированную информацию. О мыслях и чувствах Клятова я мог строить достаточно обоснованные предположения, подкрепленные фактами о поведении Клятова на следствии, на суде и после суда. В том виде, в каком Иван Степанович передал мне свои воспоминания, они были несколько суховаты. Поэтому я попросил у него разрешения кое-что, не очень существенное, из его воспоминаний убрать. И дополнить их изложением чувств и мыслей Петра, известных мне с его слов, и предположительных чувств и мыслей Клятова.

Две первые главы воспоминаний Глушкова я помещаю без изменений. В следующих же главах читатель без труда поймет, что написано Глушковым и что добавлено мною.

## Глава двадцатая

### *Уход на пенсию откладывается*

Седьмого сентября утром я подал заявление Федору Николаевичу, начальнику следственного отдела областной прокуратуры, с просьбой освободить меня от работы в связи с уходом на пенсию. В конце дня он вызвал меня к себе.

Мы с Федором Николаевичем оба начинали в Энске назад тому лет сорок. За эти годы и мне и ему довелось работать во многих городах. Неоднократно наши пути сходились, и мы некоторое время работали вместе. Потом нас рассылали в разные концы страны, и мы только обменивались приветами при случайной оказии. И вот к концу жизни судьба снова свела нас обоих там же, где мы начинали, – в энской прокуратуре.

Кажется, для нас обоих была радостной эта встреча. Как-никак, хоть и с большими перерывами, сорок лет совместной работы. Можно хорошо друг друга узнать.

Надо сказать, что за все эти сорок лет мы с Федором никогда не ссорились. Бывали случаи, когда мы держались прямо противоположных точек зрения. Приходилось спорить, даже жестоко спорить. И все-таки не поссорились мы ни разу. Ладыгин – энский городской прокурор, тоже человек уже пожилой, – бывал при некоторых наших спорах. Он удивлялся тому, что, споря, мы никогда не повышаем тона, никогда не горячимся. Мне это кажется совершенно естественным. Если тебе важно найти правильное решение вопроса, то нет причин ссориться. Ну, а если ты думаешь

только о том, чтобы во что бы то ни стало победила твоя точка зрения, правильна она или неправильна, всегда находится повод для крика и ссор.

Итак, Федор Николаевич в конце дня вызвал меня к себе.

– Рановато вроде тебе на пенсию, – сказал он, – шестьдесят четыре года. Можно бы еще лет пять поработать.

Я объяснил, что устал, что думаю переехать в пригород, пожить со старушкой матерью последние ее годы, покопаться в земле, подышать свежим воздухом. У матери шесть корней яблонь. Так что, может, я еще на старости лет какие-нибудь новые сорта выведу, память по себе оставлю.

– Что-то нашего брата на природу тянет, – сказал Федор Николаевич. – «Лунный камень» Коллинза читал? Там тоже сыщик Кафф на старости лет розы стал разводить. Шерлок Холмс, кажется, пчелами увлекся.

– Работа нервная, – объяснил я. – Пока на отдых не уйдешь, редкую ночь спишь спокойно. Понятно, что тянет на тихую сельскую жизнь.

– Ну вот что, – сказал Федор Николаевич, – сутки даешь мне, Иван? Я подумаю, и ты подумай. А завтра решим.

Я пошел домой, чувствуя себя уже пенсионером. Даже прогулялся вдоль набережной. За сорок лет впервые мне было некуда торопиться. Вечером мы с моей Марьей Филипповной пошли в кино на двухсерийный фильм, потом гуляли и говорили о том, как будет хорошо и спокойно жить у матери за городом, и еще о том, что мне надо научиться играть в преферанс по маленькой или, еще лучше, заняться шахматами. Всю жизнь я завидовал то Ботвиннику, то Смыслову, то Петросяну, да так и не собрался хоть



одну книгу прочесть по теории шахмат. Теперь времени не занимать. Сиди себе на лавочке под деревцем и изучай дебюты и эндшпили.

Назавтра сразу же, как только я пришел в прокуратуру, меня позвали к Федору Николаевичу.

– Инженера Никитушкина ограбили, – сказал Федя, – жену убили. Его самого тоже ударили чем-то тяжелым по голове. К счастью, старик потерял сознание, и мерзавцы решили, что он убит. Ночью выезжал на место Иващенко. Парень без году неделю работает. Возьмись, Иван Семенович. Иващенко я дам тебе в помощники, а руководи ты. И дело будет в верных руках, и для Иващенко школа – лучше не придумаешь. А насчет твоего заявления решим так: я его кладу в сейф. В день, когда ты закончишь следствие, или нет – когда суд осудит преступников, я пишу на заявлении «согласен», и отправляйся разводить яблоки. Договорились?

– Тут не поспоришь, – согласился я.

Не могу сказать, чтобы все это меня обрадовало. Я уже чувствовал себя вольной птицей. У меня даже походка стала другая – медленная, ленивая, пенсионерская походка. Но я понимал, что выхода нет. Разбой, да еще с убийством! У нас в городе давно такого не случалось. Я пошел к себе в кабинет. Дима Иващенко ждал меня в коридоре. Он находится в том периоде развития, когда следовательская работа связывается с воспоминаниями о Шерлоке Холмсе или комиссаре Мегрэ. В эти годы человек помнит только те редчайшие случаи, когда действия следователя направляют гениальное озарение, поразительная догадка или необыкновенное понимание тайн человеческой души. Конечно,

такое, вероятно, тоже бывает. Но гениальные озарения гроша ломаного не стоят рядом с дактилоскопической экспертизой, тонким химическим анализом да, наконец, просто с хорошим знанием всех людей в городе, которые могут совершить преступление.

Итак, Дима Иващенко ждал меня в коридоре, курносый, розовый от возбуждения.

В руках он держал папку и, видимо, мучился нетерпением: ему хотелось скорее поделиться страшными тайнами, которые в этой папке скрываются. Убежден, что его глубоко возмущало и то, что я шагал размеренной, неторопливой походкой, и то, что я медленно выбирал ключ из связки, и то, что я не спеша отпирал кабинет. Ему казалось, что в таких случаях следователь должен двигаться энергичными, быстрыми шагами, смотреть пронзительным взглядом, не терять ни секунды времени. Я же по долготеленному опыту знал, что торопливость в нашем деле никогда не приводит к добру, и шагал той походкой, которой меня наделила природа.

Наконец Иващенко сел перед моим столом и начал торопливо развязывать завязки папки. Я спокойно ждал. Трудно было поверить, что ему двадцать три года. На вид ему было лет шестнадцать. Волосы у него были светло-желтые, глаза круглые. Казалось, что он очень испуган чем-то. На самом деле испуг тут был ни при чем. Он выглядел так всегда. Те несколько месяцев, которые он проработал в нашем учреждении, в некоторой степени дисциплинировали его. По крайней мере, докладывать дело он начал как будто спокойно, как будто не торопясь, хотя я чувствовал, что внутри он весь дрожит от возбуждения.

Обстоятельства дела были таковы: двое, с лицами, скрытыми под платками, в двенадцать часов ночи позволили в дом инженера Никитушкина в пригородном поселке Колодези. Они сказали, что принесли телеграмму. Анна Тимофеевна, жена Никитушкина, открыла дверь. Они убили ее, ударив тяжелым предметом в висок. Вероятней всего, это был кастет.

Оба грабителя были в перчатках. У одного из них поверх желтой перчатки был надет кастет. Увидев раненую, как ему показалось, жену, Никитушкин пытался привести ее в сознание.

В спальне на столе лежали накануне снятые инженером со сберкнижки шесть тысяч рублей, которые он приготовил, чтобы внести завтра за машину «Волга». Один грабитель, тот, что в желтых перчатках, прошел в спальню, в течение нескольких минут нашел деньги и вышел обратно. В это время у второго грабителя упал платок с лица. Инженер Никитушкин опознал монтера, который недели за две до этого чинил у них в доме электричество. Никитушкин сказал: «Монтер» – и сразу же получил удар в висок, от которого потерял сознание. Вероятно, удар этот нанес грабитель, у которого был на перчатке кастет. Считая, видимо, что оба старика мертвы, грабители убежали из дома. Электричество они не погасили, поэтому приблизительно в час ночи сосед Никитушкиных Серов, страдающий бессонницей, вышел пройтись по воздуху, удивился, увидя у Никитушкиных свет, постучался в дверь, заглянул в окно и поднял тревогу. На месте при осмотре обнаружена зажигалка английского производства, видимо потерянная одним из преступников. В записной книжке

Анны Тимофеевны оказалась запись: «Монтер Клятов. Крайняя улица, 28. Вызывать открыткой».

Клятова на квартире, которую он снимает уже с полгода у застройщицы Петрушиной, не оказалось. Возникло предположение, что второй грабитель – Петр Груздев, бывший рабочий механического завода, год назад уволенный за пьянство и прогулы. Груздев Петр Семенович год назад, уйдя от жены, поселился в Яме, по Трехрядной улице, дом шесть, у домовладельцев Анохиных. При обыске у Анохиных оказалось, что в комнате Груздева ночуют три гражданина, жители города С., приехавшие накануне с целью навестить своего друга. Груздева они не застали и обнаружили оставленное для них письмо, в котором он пишет, что много лет обманывал их, сообщая о своей благополучной судьбе. На самом деле Груздев давно уже спился и опустился. В письме есть любопытная фраза о том, что полученная Груздевым телеграмма о приезде друзей удержала его от окончательного падения. Друзья Груздева опознали предъявленную им зажигалку и рассказали, что подарили ее Груздеву девять лет назад. Объявлен розыск Клятова и Груздева.

Клятов, трижды судившийся, дважды осужденный, нигде не работал, пьянствовал, дружил с Груздевым и однажды вместе с ним был задержан милицией и отправлен в вытрезвитель.

Груздев последний год нигде не работал, многим известен как совершенно спившийся человек, постоянный собутыльник Клятова. Уже сняты на пленку отпечатки пальцев, идентифицированные с отпечатками Клятова. На зажигалке есть еще чьи-то отпечатки. Идентифицировать

их не удалось. Отпечатков пальцев Груздева в картотеке нет.

Я помолчал, подумал. Иващенко смотрел на меня глазами человека, ждущего, что сейчас будут высказаны гениальные истины. Мне, говоря по чести, дело представлялось настолько сложным, что даже стало обидно откладывать из-за этого уход на пенсию.

– Значит, Клятова Никитушкин опознал? – спросил я.

Иващенко молча кивнул головой. В глазах его выражался восторг. Так как в том, что я сказал, никакой мудрости не было, меня даже рассердило это.

– Кроме Груздева, у Клятова были еще друзья и собутельники?

– Случайные, – сказал Иващенко. – Постоянный был один – Груздев.

– Значит, по-видимому, единственная версия, что разбойное нападение совершено Клятовым и Груздевым?

Иващенко огорченно кивнул головой. Ему было просто неловко, что такому гению розыска, как я, приходится заниматься столь нехитрой задачей.

– Собственно говоря, – продолжал я, – что мы можем выяснить сейчас, до задержания преступников? Вопрос первый: откуда Клятов узнал, что Никитушкин снял шесть тысяч рублей со счета в сберкассе?

– Никитушкин в плохом состоянии, – сказал Иващенко, – он потрясен гибелью жены, да и ударили его по голове очень сильно. Кое-что он все-таки рассказал: «Волгу» они с женой хотели подарить сыну, который должен скоро приехать. Они и пригласили-то сына тогда, когда из магазина пришла повестка на машину. Никитушкин говорит,

что они с женой, Анной Тимофеевной, очень многим рассказывали, что восьмого получают «Волгу». Возможно, что, когда Клятов чинил у них электричество, Анна Тимофеевна сама ему рассказала про деньги. Счет у Никитушких в сберкассе на улице Гоголя. Сберкасса большая, и, когда Никитушкин брал деньги, народу там было немало. Он вкладчик этой сберкассы уже пятнадцать лет, его там хорошо знают. Старик рассказывал всем, что покупает «Волгу». Его поздравляли и контролер и кассирша. Народу было в это время довольно много. Кто угодно мог услышать.

– Правильно, – сказал я, – однако сберкассе надо проверить: Клятов вряд ли часто там околачивается, Груздев тоже. Вызови работников сберкассы. Всех до одного. Вызывай, конечно, на разное время.

Иващенко кивнул головой и записал что-то в блокнот. Записывать было совершенно не нужно, потому что вряд ли такое естественное задание можно забыть. Записал он, собственно, для того, чтобы показать мне и себе тоже, какой он исполнительный и точный работник.

– Серов, – сказал Иващенко, – это тот человек, который первый поднял тревогу, говорит, что в поселке Колодези много было разговоров о покупке «Волги».

Никитушкина там любили и радовались за него. Клятов вполне мог случайно услышать разговор на эту тему.

– Хорошо, – сказал я, – вызовем Серова и спросим его, с кем и когда велись на эту тему разговоры. Не помнит ли он, не присутствовал ли Клятов при таком разговоре. Вызовем тех, кто разговаривал. Наконец, узнаем в магазине автомобилей, кто посылает открытки записавшимся на очередь

и не мог ли из них кто-нибудь сообщить Клятову. Проверим почтальона в Колодезях. Открытку он мог прочесть. Может быть, он кому-нибудь рассказывал, пусть даже не Клятову. Клятов мог узнать из третьих рук. Узнаем у врача, когда мы сможем поговорить подробно с Никитушкиным. Так как все же возможно, хотя и маловероятно, что вместе с Клятовым грабил кто-то другой, а не Груздев, попросим милицию посматривать, не начал ли кто широко тратить деньги.

Кажется, больше до задержания Клятова и Груздева ничего нельзя сделать.

— Иван Семенович, — спросил Иващенко, — а как вы думаете, скоро задержат их?

— Скоро ли, я не знаю, но могу тебе предсказать вот что: первым задержат Груздева. Клятова позже, и, может быть, значительно позже. Клятов рецидивист и, если пошел на такое дело, наверное, обеспечил себя липовыми документами. Груздев, по-видимому, просто опустившийся пьяница, которого подбил на преступление Клятов. Вероятно, он бежал от паники и растерянности. Документы у него почти наверняка свои, и задержать его легче. Могу тебе сделать еще одно предсказание: Груздев признается на первом же допросе, Клятов будет тянуть с признанием сколько возможно.

— Почему вы так думаете? — спросил Иващенко.

— Да потому, что знаю по опыту разницу между рецидивистом и начинающим преступником... Значит, так, Дима, составь список, кого мы будем допрашивать из Колодезей, кого из сберкасы, кого из магазина, и давай заниматься делом. И все время держи связь с больницей. Как только врачи позволят, поедем к Никитушкину.

## Глава двадцать первая

### *Следствие бывает очень скучным*

Когда я кончал юридический факультет, меня никак не привлекала работа прокурора. В числе его обязанностей, рассуждал я, произносить на процессах пламенные речи и сжигать огнем негодования сидящего на скамье подсудимых преступника. А я не оратор, говорю всегда плохо, медленно, вяло.

Не хотел я быть и адвокатом. Работа адвоката не внушала мне уважения. В те годы, когда я кончал институт, была очень распространена такая точка зрения: адвокат – болтун, который за деньги наговорит тысячу громких фраз и будет с одинаковым темпераментом защищать и ни в чем не повинного человека, и самого страшного преступника. В сущности говоря, рассуждал я с юношескою самоуверенностью, если судья умен и беспристрастен, никакой адвокат в процессе не нужен, судья сам во всем разберется.

Работа судьи тоже меня не прельщала. В конце концов, судья просто делает выводы из обвинительного заключения, подписанного прокурором, но составленного следователем на основании всех полученных данных. Стало быть, следователь и есть главная фигура. От того, как он проведет следствие, зависит и позиция прокурора и решение суда.

Конечно, это очень наивные рассуждения, совершенно не учитывающие сложности человеческих характеров, той противоречивости, которой, к сожалению, слишком часто обладают улики.



Однако во времена моей молодости рассуждения эти казались мне неоспоримо логичными. Я забывал, что в реальной жизни существует не некий идеальный следователь, лишенный предвзятости, безошибочный и точный в логике и понимании людей, а обыкновенный человек, которому свойственны человеческие слабости, невольные пристрастия, симпатии и антипатии, наконец, убежденность, не всегда соответствующая истине.

Теперь я понимаю, что реальные судебные дела, с которыми сталкиваются судьи, прокурор и адвокат, неизмеримо сложнее, чем те примерные случаи, которые мы разбирали в юридическом институте. Я понимаю и то, что улики могут случайно сложиться в неопровержимую цепь. Следователь может быть совершенно убежден в правильности своих умозаключений, а истина окажется совсем другой.

И все-таки в свое время я выбрал специальность следователя. И все-таки даже сейчас, когда я понимаю, что жизнь сложнее тех рассуждений, которые заставили меня выбрать мою профессию, — все-таки и сейчас я внутренне убежден, что именно следователь — главная фигура каждого уголовного дела. Если следователь объективно собрал и проанализировал доказательства, то с его точки зрения неизбежно будет смотреть на дело прокурор, его точку зрения обязательно подтвердит в приговоре суд.

Много скучного и однообразного в работе следователя. Бесконечные допросы и передопросы, протоколирование каждого следственного действия — все это утомительно и неинтересно. И все-таки я люблю свое дело. В конце концов, и великий актер не только выходит на сцену кланяться.

За его успехом тоже стоят долгие часы утомительной черновой работы. И великий ученый, прежде чем совершить прославившее его открытие, сто раз ошибался, отбросил тысячу неверных предположений, сомневался, на правильном ли стоит он пути.

Поэтому я боюсь тех романтически настроенных молодых следователей, которые верят в неожиданные озарения, в неожиданные парадоксальные решения, в сверкнувшие, как молния, в мозгу гениальные мысли. Может быть, все это и бывает. Но я все-таки больше верю в тщательно продуманный допрос, в хорошо составленный протокол, в добросовестную работу экспертов. Меня немного пугал Иващенко: я чувствовал в нем романтическое отношение к своей профессии. Слишком много азарта. Слишком много фантазии.

Впрочем, я рассчитывал, что сумею опустить моего поэтически настроенного помощника на реальную почву обыкновенной логики и убедительных доказательств.

Итак, работа началась.

День за днем мы вызывали всех тех, через кого Клятов мог узнать, когда Никитушкин возьмет деньги в сберкассе. Извещение магазина было отправлено Никитушкину 2-го сентября. Написал извещение заместитель директора Сидоренко. Сдала открытку на почту секретарша директора Кугушева. Как мы ни прослеживали их связи, нигде никаких выходов на Клятова не оказалось. Заместитель директора был человек солидный, известный в городе, никак не связанный с уголовным миром. Секретарша, молодая девушка, недавно кончила школу и тоже не внушала никаких подозрений. Она держала экзамен в машинострои-

тельный техникум, не прошла по конкурсу и учится на заочном факультете. Сирота. Живет со старой бабушкой, вырастившей и воспитавшей ее. Днем работает, вечерами обычно занимается дома. Изредка ходит в кино. Девушка скромная, серьезная.

И заместитель директора, и секретарша уверенно показали, что никому не говорили о том, что Никитушкин должен получить машину. Почтальонша Козина, разносившая письма в поселке Колодези, работала на почте уже десять лет. Ничего дурного о ней никто не мог сказать. Она утверждала, что даже не прочла открытку, которую относил Никитушкину.

— Если каждую открытку читать, так разноску к ночи закончишь, — говорила она. — Тут думаешь, как бы разнести скорей, а чтением заниматься некогда.

Оставалась сберкасса. Никитушкин получил открытку четвертого числа, пятого позвонил в сберкассу и заказал на шестое деньги. Машину он должен был получить восьмого. Значит, деньги были у него дома два вечера: шестого и седьмого. Значит, Клятов должен был знать не только то, что шестого Никитушкин получает деньги, но и то, что седьмого деньги будут еще у него, что отнесет он их в магазин только восьмого. Иначе естественно было бы осуществить разбойное нападение шестого, тогда, когда деньги наверняка у Никитушкина. Заведующая сберкассой, Евстигнеева, знала, что шестого Никитушкин получил деньги. Знала и то, что он заказал деньги пятого. Евстигнеева, старый работник, не внушала никаких подозрений. Она была одинока, жила в отдельной однокомнатной квартире, никаких подозрительных связей не имела и, по ее показаниям, никому про Никитушкина не рассказывала.

Оставались кассирша и контролерша. Контролерша Шабанова, тоже немолодая, проработала в кассе пятнадцать лет. Характеристики превосходные. Замужем. Муж — главный бухгалтер завода. Оба люди спокойные, аккуратные, ведущие размеренный образ жизни. Никаких подозрительных связей нет. Кассирша Закруткина, молодая девушка, работает два года, кончила школу, потом шестимесячные курсы финансовых работников. Не замужем. Живет с матерью, кастеляншей в больнице; характеристики и у матери и у дочери превосходные.

Вероятно, читателю скучно разбираться во всех этих ничем не замечательных людях. Представьте себе, что каждого из них пришлось подробно допрашивать, вести подробнейшие протоколы и ждать, пока каждый из них прочтет каждую страницу протокола и каждую страницу подпишет. Представив себе все это, может быть, вы поймете, как иногда бывает скучно, как бесконечно скучно быть следователем.

Между тем из милиции сообщили, что Груздев находился у директора детского дома в селе Клягине и благодаря недосмотру работников розыска ухитрился бежать. Розыск продолжается. Сведений о Груздеве пока нет.

Наконец позвонили из больницы: нам разрешали приехать к Никитушкину и допросить его. Звонил профессор Сергиенко, словно бы сам испуганный тем, что наконец дает разрешение на разговор с Никитушкиным.,

— Никитушкин еще очень слаб, — объяснял он. — Во-первых, я разрешаю разговор не больше чем на полчаса, потом, по мере возможности, избегайте острых тем. Про Анну Тимофеевну старайтесь поменьше говорить. По

чести говоря, я не дал бы разрешения, но Никитушкин сам волнуется и хочет дать показания.

Решили так: Иващенко будет вести протокол. Дадим для опознания фотографии Клятова и Груздева, в понятые пригласим дежурного врача и дежурную сестру.

Приехали.

Никитушкин лежал в маленькой отдельной палате. Профессор Сергиенко сам встретил нас внизу в вестибюле и повел к нему. Он уговаривал нас быть по возможности краткими и задавать только совершенно необходимые вопросы.

– Скажите, профессор, – спросил я, пока мы поднимались по лестнице, – будет жить Никитушкин?

– Теперь думаю, что будет, – сказал профессор, – но, конечно, это уже не тот человек. Сами увидите.

Когда мы вошли в палату, мне стало ясно, что Сергиенко имел в виду. Я месяца три назад видел Никитушкина, когда он солнечным днем прогуливался по улице Ленина. Я с ним не знаком, но, конечно, знал его в лицо. Трудно в Энске найти человека, который бы его не знал. О нем рассказывали легенды. Чтобы не отвлекаться от допроса, скажу только, что три месяца назад это был высокий, бодрый старик, энергично шагавший по улице, с улыбкой отвечавший на поклоны. Сейчас, в палате, я даже не узнал его, так он изменился. У него впали щеки и глаза стали мутные и невыразительные. Он, видно, бодрился перед допросом, даже, кажется, хотел улыбнуться нам. Лучше бы и не пытался: получилась печальная, жалобная улыбка. Я попросил профессора Сергиенко остаться. Я не был уверен, что Никитушкин сможет подписать протокол, да и опо-

знание надо было проводить при понятых. Позвали еще старшую сестру. Допрос начался.

Никитушкин лежал высоко на подушках, вытянув руки поверх одеяла. С самого начала и до конца разговора пальцы обеих рук шевелились. Они то слабо перебирали пододеяльник, то шевелились бессильно и бесцельно. Несколько раз он, кажется, пытался поднять руки, но сил не хватало. Руки снова опускались, и только пальцы всё двигались, двигались...

Рядом с кроватью стоял столик, за ним расположился Иващенко. Я уже говорил, что ему предстояло вести протокол.

Алексей Николаевич говорил так тихо, что я, наклонившись к нему, с трудом разбирал слова и повторял их отчетливо для Иващенко.

Да, Никитушкин помнит точно, что это был монтер, тот, который недели две назад чинил им электричество. Он тогда подошел к калитке и спросил, не надо ли чего починить. Анна Тимофеевна была очень хозяйственная женщина, а у них одна розетка не работала. И потом, она хотела у кровати поставить две новых розетки, чтобы читать перед сном. У нее часто бывала бессонница. Его самого, Никитушкина, она выгнала погулять. Гулять-то он не гулял, но посидел на улице возле дома. Монтер работал, наверное, часа полтора. Никитушкин слышал, что Анна Тимофеевна все время разговаривает с монтером, но о чем они говорили, не слышал. Могла ли Анна Тимофеевна сказать, что они шестого возьмут со счета деньги? Конечно, нет. Они еще сами не знали. То есть знали, что скоро получат машину. Он позвонил Сидоренко, и тот сказал:

«Жди, Алексей Николаевич, на днях получишь открытку». Они с Сидоренко хорошо знают друг друга. В тридцатых годах работали вместе.

Соседи? Да, соседи знали, что они получают машину. Кто именно знал? Трудно сказать, тем более что Анны Тимофеевны нет. Он говорил инженеру Горелову из пятнадцатого номера и Серовых как-то встретил из двадцать первого, тоже рассказал. Вообще они не скрывали. Чего ж тут скрывать? Может быть, и Анна Тимофеевна кому-нибудь рассказывала. Может быть, и Гореловы или Серовы кому-нибудь рассказывали. Может, и он кому-нибудь еще говорил, да запямятовал. У него последние годы слабеет память. Анна Тимофеевна всегда ему напоминала, когда он что-нибудь забывал. Она ведь тоже была в возрасте. Все-таки восьмой десяток. Но у нее была память, как в молодости. У нее была исключительно ясная голова. Он теперь и не знает, как он будет без Анны Тимофеевны.

— Говорили кому-нибудь, когда получили открытку?

— Да, говорили. Нас поздравляли многие. В Колодезях все, наверное, знали.

Все трудней и трудней разбирать слова Никитушкина. Он устал и разволновался. Профессор Сергиенко хмурится; он, очевидно, считает, что время кончать, но нам необходимо, чтоб Никитушкин опознал Клятова. Иващенко берет пачку фотографий и одну за другой показывает Никитушкину. Алексей Николаевич смотрит равнодушными глазами. Я не могу даже понять, видит он или не видит. Только не переставая шевелятся пальцы. И вдруг точно чудо происходит. Глаза широко открываются. Он видит фотографию Клятова. Он пытается приподняться, и пальцы

начинают шевелиться быстро-быстро. Чувства бушуют в старике.

– Монтер, – говорит он неожиданно громко. И продолжает опять еле слышно: – Я его сразу узнал по голосу...

Потом у монтера платок с лица упал, а второй грабитель еще в спальне был. Монтер крикнул ему: «Давай скорей, Петр!» А он, Никитушкин, узнал его и сказал: «Монтер».

А тут второй выбежал. Монтер говорит: «Успокой старика, Петр. Узнал, понимаешь, меня, старый черт!»

Этот второй, в желтых перчатках, замахнулся. Никитушкин почувствовал сильный удар и больше ничего не помнит.

Я переспрашиваю:

– Значит, вы точно слышали, что монтер сказал: «Давай скорей, Петр!» и «Успокой старика, Петр»?

Старик кивает:

– Да, именно: Петр.

– А в каком костюме был этот Петр, не помните? – спрашиваю я.

– В костюме? – Никитушкин хмурится, старается вспомнить. – В темноватом таком как будто. Да, наверное, в темноватом.

Это кажется ему несущественным. Он возвращается к мысли, которая все время волнует его. Он не может понять, зачем нужно было убивать Анну Тимофеевну. Неужели они бы деньги не отдали? Она, главное, так радовалась, что сын приедет. Это она ведь придумала «Волгу» ему купить. Мы, говорит, и на пенсию проживем. Мы люди старые. Она ведь тоже пенсию получала. Восемьдесят рублей. А сыну и в отпуск, говорит, на машине поехать, и по городу по де-



лам... Анна Тимофеевна о сыне очень заботилась... Да вот не дождалась... Слезы текут по сморщенным щекам старика. У него дрожат губы, и он не может говорить дальше.

Сергиенко подает знак сестре, сестра убегает, Сергиенко щупает пульс старика, а пальцы Никитушкина все продолжают шевелиться. Кажется, они пытаются сказать все то, что не может выговорить Алексей Николаевич. Сестра возвращается со шприцем в руке. Старику делают укол. Дима Иващенко пока занимается протоколом. Никитушкин подписывает одну страницу и больше не может. Он очень ослабел. Профессор Сергиенко и сестра подписывают протокол в качестве понятых. Они свидетельствуют, что Никитушкин опознал фотографию Клятова. Они свидетельствуют, что, согласно показаниям Никитушкина, Клятов назвал второго грабителя Петром.

Мы прощаемся с Алексеем Николаевичем и уходим. Мне все помнятся его пальцы, которые непрерывно шевелятся, пальцы, по которым можно угадать, как на самом деле живо и остро чувствует человек с мутными, кажущимися равнодушными глазами.

И еще я думаю, когда мы спускаемся по лестнице, сдаем в гардероб халаты и получаем пальто, что теперь отпали последние сомнения: соучастника Клятова зовут Петр.

## **Глава двадцать вторая**

### ***Следствие становится интересным***

Наконец Груздев был задержан и доставлен в Энск. Из МВД сообщили, что, вероятно, скоро задержат и Клятова. Мы с Димой отправились в тюрьму допрашивать Груздева.

Когда Груздева ввели в камеру, мы оба с интересом на него посмотрели. Он был в темной клетчатой рубашке, стрижен под машинку и ничем особенным не выделялся из тех, кого обычно приводят на допросы. Все стрижены под машинку. У всех руки сложены за спиной – тюремная привычка. Все обычно в темных рубашках.

На анкетные вопросы Груздев отвечал без всякого выражения, ровным, спокойным голосом. У меня было ощущение, что он нетерпеливо ждет, когда кончится формальная часть допроса и начнется разговор по существу.

Наконец я отложил ручку и спросил спокойным, даже равнодушным тоном:

– Скажите, Груздев, признаете вы себя виновным в том, что совместно с Клятовым Андреем Осиповичем ограбили квартиру инженера Никитушкина?

– Признаю, – спокойно сказал Груздев.

– А в убийстве жены инженера Анны Тимофеевны признаете себя виновным?

– Не помню, – сказал Груздев, – может, я убил, может, Клятов.

Честно говоря, меня очень удивило, что он признался сразу и без всяких колебаний. Я посмотрел на Диму. Дима чуть прикрыл глаза. Не хотел, наверное, чтобы Груздев заметил, как загорелись они любопытством.

– Расскажите, как это происходило? – спокойно спросил я.

– Вы знаете, гражданин следователь, – сказал Груздев, – честно скажу, не помню.

– Ну как же вы не помните, – спросил я, – дело-то ведь не шуточное – разбойное нападение с убийством? Знали, на что идете. Небось готовились заранее.

– Наверное, готовились, – согласился Груздев, – только этим Клятов занимался. Он разузнал, что Никитушкин «Волгу» получает и восьмого должен за нее деньги вносить в магазин. Он всему делу голова. А меня в помощь взял. Я что ж... Я как он скажет.

– То есть вы хотите сказать, что дело было задумано Клятовым и вам он предложил соучастие?

– Точно, точно, – закивал головой Груздев.

– Хорошо. Когда же он вам предложил соучастие?

– Я думаю, пожалуй, в середине августа был первый разговор.

– Какого числа?

– Наверное, пятнадцатого или шестнадцатого. Точно-то я не помню.

– Значит, пятнадцатого или шестнадцатого августа. Какой же был разговор?

– Ну так, вообще. Клятов сказал, что он электричество чинил у инженера одного в Колодезях. Там вещей много ценных. А главное, инженер машину «Волга» покупает. Его очередь скоро подходит, и, значит, деньги на машину будут у него дома. Машина, мол, стоит пять тысяч шестьсот, значит, наверное, тысяч шесть инженер возьмет из сберкасс. Вот, мол, было бы хорошо нам на двоих.

– А вы что сказали?

– Я сказал, что и верно хорошо.

– Ну и что?

– Ну и все. На том разговор и кончился.

– А следующий разговор когда был?

– Дня через три-четыре. Опять Клятов начал говорить, что деньги, мол, прямо будут лежать, нас дожидаться. На-

верное, всего только день или два лежать будут. Долго такие деньги дома не держат.

– Вы понимали, что он предлагает вам ограбить Никитушкиных?

– Да как сказать, не то чтобы понимал, но догадывался, что разговор неспроста.

– Прямо было сказано, что он предлагает ограбить, совершить разбойное нападение?

– Точно не помню. Нет, кажется, еще не в этот раз, кажется, позже.

– А число называл Клятов, когда, по его мнению, у Никитушкиных будут деньги дома?

– Нет, это он позже называл.

– Вы что же, каждый день об этом с Клятовым говорили?

– Почти каждый. Точно-то я не помню, но, как выпьем, так и пойдет разговор. Сейчас, мол, мы довольны, если трешку на пол-литра достали, а тогда, мол, пей, гуляй сколько хочешь, ну и всякое такое. Денег он мне в долг давал понемногу – то пять рублей, то десять. А потом однажды говорит: пойдешь, мол, Петя, со мной у Никитушкиных деньги брать? Дело, мол, не трудное. Старики с перепугу сами отдадут. Показал мне пугач – знаете, в магазинах продаются из пластмассы? Только в магазинах они белые, а этот Клятов черной краской выкрасил, и стал он похож на настоящий. Ну конечно, для того, кто с настоящими дела не имел.

– А вы, Груздев, имели дело с настоящими пистолетами?

– Да так особенно не имел, но случалось видеть.

– Где же вы все эти разговоры с Клятовым вели?

– Да, знаете, пол-литра купим – и к нам в Яму, а у нас почти все дома пустые стоят. В любой двор заходи и садись на скамеечку.

– Что же вы ему ответили в тот раз, когда он спросил, пойдете ли вы с ним?

– Я выпивши был и сказал, конечно, что пойду. Мне тогда надо было у него еще денег попросить, так я боялся, что он не даст, если откажусь.

– Значит, вы согласились?

– Да, согласился.

– А день, когда вы пойдете грабить, он не называл?

– В тот раз не называл.

– А когда же он сказал, что грабить пойдете седьмого сентября?

– Накануне сказал.

– То есть шестого сентября. В котором часу? Где?

– Вечером. Пришел ко мне в Яму часов, наверное, в девять. Старуха Анохина дома была, так он меня из дома вызвал. Пошли во двор, сели. Клятов и говорит: «Ну, Петька, наше время пришло. Никитушкин из сберкасы деньги взял. Завтра часиков в одиннадцать пойдём с тобой».

– Откуда Клятов знал, что Никитушкин взял из сберкасы деньги?

– Он про это ничего не говорил.

– Так. Значит, предложил он вам седьмого сентября идти грабить Никитушкиных. Вы согласились?

– Мне сперва страшно стало. Я хоть глупостей и много наделал, а преступлений пока еще не совершал. Ну, Клятов

бутылочку выставил. Мы с ним выпили. Потом он еще за бутылочкой сбегал. Словом, обо всем договорились. Условились, что он за мной часиков в одиннадцать зайдет и мы поедem к Никитушкиным.

Я все время очень внимательно следил за Груздевым. Он говорил охотно. Мне казалось, что он не только ничего не скрывает, но даже не хочет скрыть. Он очень много-словно, с подробностями, часто лишними, рассказал, как на следующий день, то есть седьмого сентября утром, ему принесли телеграмму о том, что приезжают его друзья, припомнил точный текст, хотя никто его об этом не спрашивал. Телеграмма была в деле. Ее нашли при обыске в квартире Анохиных. Рассказал, как он решил скрыться от друзей и ушел из дома. Как он ходил по городу, зашел в кино, чтоб время протянуть. Какую картину смотрел, не помнит. Потом распил с кем-то у магазина бутылочку на троих. И обратно в тот же кинотеатр, успел на следующий сеанс.

— А деньги у вас откуда были? — спросил я.

Он тогда вспомнил про двести рублей, которые ему дал накануне Клятов с тем, что Груздев отдаст из своей доли. Об этих двухстах рублях мы уже знали из показаний Анохиных. Словом, рассказ Груздева полностью подтверждался. Потом будто бы еще раз выпил у другого магазина и еще раз пошел в кино. И опять не помнит, какую картину смотрел. Потом подстерег Клятова, когда тот зашел к нему, в дом Анохиных. Когда Клятов туда шел, так он его пропустил, а на обратном пути перехватил все-таки.

Все это он рассказывал охотно, обстоятельно, я бы даже сказал — с каким-то своеобразным удовольствием. Я был

совершенно убежден, что так же гладко пойдет допрос до конца, однако вдруг с Груздевым случилось какое-то непонятное превращение.

Дело было так: он перехватил Клятова, когда тот возвращался из Ямы и время было отправляться к Никитушкиным.

— Как вы добрались до Колодезей? — спросил я. И вдруг Груздев ответил:

— Не помню.

— То есть как не помните? Шли вы пешком или ехали на автобусе?

— Не помню, — упрямо повторил Груздев.

— Груздев, — сказал я, — вы так подробно и ясно нам все рассказали, вы так точно помнили каждую мелочь — и вдруг вы перестали все помнить? Согласитесь сами, что это странно.

— Вы поймите, гражданин следователь, — сказал Груздев, — все дело готовил Клятов, а меня взял помогать себе. Я для храбрости крепко выпил. На такое дело в первый раз боязно идти. И, конечно, ничего не помню.

— Значит, вы не помните, как добрались до Никитушкиных?

— Нет, не помню.

— А как вошли к Никитушкиным?

— Не помню.

— Ну что, вы постучали в дверь или позвонили?

— Не помню.

— Кто вам открыл дверь?

— Не помню.

Передо мной сидел другой человек, хмурый, замкнутый. Будто подменили его.

– Где живут Никитушкины?

– Не помню.

– Где лежали деньги?

– Не помню.

– Куда вы дели деньги?

– Не помню.

– Слушайте, Груздев, – сказал я, – вы рассказываете, что выпили два раза по полтораста грамм с большими перерывами в течение целого дня. Вы человек много пьющий. Неужели вы были так пьяны, что ничего не помните?

– Клятов еще дал мне для храбрости выпить, – хмуро говорит Груздев. – Ну, я ничего и не помню.

Я вынимаю из ящика зажигалку и показываю Груздеву.

– Скажите, – спрашиваю, – это ваша зажигалка?

На зажигалке изображен человек, целящийся из пистолета. Я держу ее то вертикально, то горизонтально, и на лице у человека то появляется, то исчезает маска.

– Как вам сказать, – пожимает плечами Груздев, – вообще-то моя, мне ее когда-то друзья подарили. Но теперь я уж не знаю, моя или не моя.

– Как это понять? – спрашиваю я.

– Видите ли, – объясняет Груздев, – перед тем... Словом, перед тем, как пришла телеграмма, что мои друзья едут, я у Клятова взял в долг двести рублей. А он много раз мне предлагал продать зажигалку. Очень она ему нравилась. Десять рублей даже давал. А я не соглашался. Все-таки у меня только она от друзей и осталась. А тут он уперся. Дашь, говорит, в залог зажигалку – получишь две сотни. А мне деньги очень были нужны.

– Зачем? – спрашиваю я.



– И за квартиру я задолжал, и жене давно не давал денег. Да и потом, на такое дело шли. Всяко могло получиться.

– То есть это грабить Никитушкиных?

– Ну да, ну да, – хмуро соглашается Груздев. – Я ему и дал зажигалку. С тем, конечно, что он мне ее вернет. Долг с меня получит и зажигалку вернет.

– И вернул он вам зажигалку?

– Где там! Дальше все так завертелось... Не до зажигалки было.

– То есть что завертелось? Ограбление Никитушкиных?

– Ну да, ну да, ограбление Никитушкиных, бегство, – хмуро говорит Груздев и повторяет вполголоса, как будто для себя: – Ограбление Никитушкиных, бегство...

– Вы не помните, где вы ее потеряли?

Груздев смотрит на меня с удивлением и говорит:

– Я же вам говорю, у меня ее Клятов забрал.

Я долго пишу протокол. Груздев сидит хмурый, как в воду опущенный. Наконец я кончаю. Груздев читает его как-то медленно, без интереса, расписывается на каждой странице, и вид у него такой, будто это его совершенно не касается, и скучно ему, и безразлично.

– Хорошо, Груздев, – говорю я, – идите и подумайте. Советую вам хорошо подумать. Тем, что вы ничего не помните, вы не отделаетесь. Раньше или позже придется вам рассказать все подробно.

Я вызываю конвойных, и Груздева уводят. Мы с Иващенко долго молчим.

– Ничего не понимаю, – говорю я.

– Так подробно все рассказывал, – пожимает плечами Иващенко, – и вдруг будто его подменили.

Я встал и начал прохаживаться по камере.

— Человек первый раз в жизни совершил преступление, — рассуждал я. — Он сам хочет все откровенно рассказать. Он все и рассказывает, пока не доходит до самого преступления. Рассказывать о нем выше его сил. Даже не то что рассказывать — вспоминать о нем.

— Почему же он так спокойно рассказал о том, как они условились с Клятовым? Да, в сущности, почти все спокойно рассказал. Как он поймал Клятова возле своего дома. Все это он прекрасно помнил. И вдруг то, как добрались до Колодезей и где живут Никитушкины, не может вспомнить. Нет, — Иващенко встал, но, сообразив, что вдвоем нам ходить взад-вперед невозможно — места мало, сел опять, — тут что-то не то. Может быть, он боится Клятова?

— Тоже ерунда, он же понимает: пока он в заключении, Клятов ему не опасен.

— Иван Степанович, — сказал Иващенко, — а если... он ни в чем не виноват?

— А признался из любезности к нам? — усмехнулся я. Но Иващенко, кажется, был увлечен своей идеей:

— А если он просто понял, что все улики против него, что опровергнуть их невозможно, и решил лучше уж самому признаться.

— Фантазия следователю нужна, — сказал я, — однако неограниченная фантазия не помогает следствию. В общем, давай сделаем так: пока вызывать его подождем. Направим на экспертизу, послушаем, что психиатры скажут. За это время, может быть, задержат Клятова. Послушаем, что он нам сообщит. А пока данных нет, не будем строить необоснованные версии.

## Глава двадцать третья

### *Наконец Клятов!*

Передо мной лежат следующие главы написанных по моей просьбе записок Ивана Степановича Глушкова о следствии по делу Клятова – Груздева. Не сомневаюсь, что они написаны добросовестно и совершенно точны. Однако автор видит события только с одной следовательской точки зрения. Между тем участниками этой долгой и запутанной истории были и работники органов дознания, и работники прокуратуры, и судьи, и адвокат Степа Гаврилов, и свидетели, и мы, Петины друзья.

Поэтому я полагаю, что в интересах читателя мне следует снова вступить в права автора этого повествования. Мною будут использованы, кроме личных впечатлений, разговоры с участниками дела и, конечно, записки Глушкова. Однако в некоторых случаях, например в описании чувств и мыслей Клятова, кое-что, разумеется, написано мною предположительно. Думаю, что предположения мои в большей части совершенно достоверны.

Черт дернул Клятова пойти на танцевальную площадку. Комнату он снимал у глухой старухи. Паспорт у него был на имя Игнатьева Алексея Степановича. Прописка обошлась без всяких сложностей. Приехал он только три недели тому назад, а если человек живет на курорте меньше месяца, кто же обратит на это внимание. В конце ноября он собирался переехать в Сухуми. Там многие отдыхают в зимнее время, и тоже никого это не удивляет. Пил он умеренно. И всегда один. Водку покупал каждый раз в

другом магазине, опускал на окнах шторы и запирал дверь. Скучновато, зато безопасно.

Надо же было ему пойти на танцевальную площадку...

Впрочем, иначе и не могло быть. Клятов с юных лет любил флирт. Это иностранное слово он узнал лет семнадцати и с той поры без флирта не мог обойтись.

Выберешь, например, девушку покрасивее, подойдешь к ней: «Два часа смотрю на вас, не могу понять, отчего вы такая симпатичная...»

А она поднимет ресницы и говорит в ответ: «Бросьте петь».

Вот уже отношения и завязались. Он был большой хват, Клятов, и если решал познакомиться с девушкой, то на дороге не становись.

Вот и пошел на танцевальную площадку. Не удержался.

И девушка попалась такая бойкая. Ты ей слово – она тебе два. Флирт разворачивался вовсю. Танцы кончились, вышли, и вдруг к девушке подошел какой-то невидный из себя, в сером костюмчике, и отвел ее в сторону. Клятов только начал решать, затеять драчку или нет: с одной стороны, надо бы поучить нахала, с другой стороны, он с чужими документами. Может, не стоит связываться? И вдруг с двух сторон его взяли под руки. Ну, он не маленький, сразу понял. Опомниться не успел, как уже посадили в машину, – и прощайте, милая барышня, больше мы не увидимся.

Тот, который отвел в сторону девушку, тоже оказался из розыска. Он через минуту сел рядом с шофером. Вероятно, и без танцевальной площадки было бы то же самое. Адреса у него не спросили, а подъехали аккуратненько к дому глухой старухи.

За обыск он не беспокоился. И в самом деле, ничего не нашли, только денег триста рублей, и те в кармане пиджака. Можно было домой не ездить.

И вот в отдельном купе в компании с тремя из розыска едет Клятов в город Энск, и настроение у него отвратительное. Лет пятнадцать дадут – это уж дело верное. Эх, не надо было пришивать стариков Никитушкиных! Кому они мешали?... В крайнем случае, можно было связать. Ну, да в таком деле, бывает, и не удержишься.

В камере Клятов обживаетея быстро и приходит к выводу, что тюрьма в Энске не хуже других – жить можно.

О том, как вести себя на следствии, Клятов не думает. Есть стандарт, выработанный многими поколениями уголовников: все отрицать, сознаваться только в крайнем случае и только в том, что точно доказано.

Итак, начинается первый допрос. Допрашивают два следователя – пожилой и молоденький. Клятов прежде всего отрицает, что он Клятов. Он Алексей Степанович Игнатьев и знать ничего не знает.

Эта попытка совершенно безнадежная. Клятову предъявляют его фотографию из предыдущего дела, за которое шесть лет назад он получил пять лет тюрьмы. Предлагают сличить отпечатки пальцев из предыдущего дела с его отпечатками. Словом, Клятову приходится признаться, что он Клятов. Он, по совести говоря, и сам понимал, что долго отрицать это не удастся, но порядок есть порядок. Опытный уголовник должен вести себя как положено.

Дальше его спрашивают, чинил ли он свет в доме инженера Никитушкина.

Да, он чинил свет. А что, разве нельзя подработать?  
Кто его пригласил и кто с ним расплачивался?

Анна Тимофеевна, жена Никитушкина. Спросите ее, она вам подтвердит.

Это очень слабый ход. Таким образом, Клятов как бы говорит, что он понятия не имеет об убийстве Анны Тимофеевны. На самом деле он великолепно знает, что Анна Тимофеевна убита, и следователи великолепно знают, что он это знает, и великолепно понимают, зачем он врет.

Клятов и не надеется, собственно говоря, их обмануть. Но порядок есть порядок. Следует все отрицать. Знает ли Клятов Груздева?

Конечно, знает. Пил с ним много. Однажды даже в милицию вместе попали. Заходил к нему перед отъездом проститься, но не застал. Груздев куда-то ушел или уехал. У Груздева сидели какие-то приезжие. Сказали, что его друзья.

Почему Клятов сказал этим приезжим, что пойдет на танцплощадку и встретится там с Груздевым?

Да просто чтобы не выдавать Петьку. Может, эти его друзья не знали, куда он пошел. Да и вообще сказал на всякий случай. Думать-то некогда было. Вот и сказал первое, что пришло в голову.

Почему же, спрашивает старший следователь, если он в ограблении Никитушкина участия не принимал и, значит, ни в чем виноват перед законом не был, почему же тогда он уехал с чужим паспортом на фамилию Игнатьева и где он этот паспорт достал?...

Где достал? Клятов нарочно хватается за второй вопрос, чтобы иметь время придумать ответ на первый. Купил на толкучке.

– Так прямо со своей фотографией и купили?

– Нет, фотографию дал и полцены заплатил, а через час мне его принесли с моей фотографией.

Клятов врет. Он не хочет выдавать человека, который достал ему фальшивый паспорт. Следователи великолепно понимают, что он врет, и понимают, зачем он врет. Клятов, впрочем, и не рассчитывает, что ему поверят. Ему важно одно: попробуй опровергни толкучку. А человек, который ему паспорт достал, может, еще пригодится. Дадут, наверное, много – лет пятнадцать. Может быть, удастся бежать. Тут без паспорта не обойтись.

– Но зачем же вы все-таки жили по фальшивому паспорту? – спрашивает следователь постарше.

Клятов уже сообразил, как отвечать.

– Надоело под наблюдением жить, гражданин начальник, – говорит он с душевной, искренней интонацией. – Что такое Клятов? Преступник. Хотя и отсидел свое, а все равно для всех человек темный. Хотелось новую жизнь начать.

Он играет роль человека, когда-то совершившего преступление, отбывшего наказание и желающего начать новую жизнь. Он играет роль человека, наивно и неумело постаравшегося создать условия для этой своей новой, другой, чистой жизни. Он играет плохо, неубедительно, примитивно.

Что сделаешь! По правде говоря, театральные институты он не кончал. Да и положение у него трудней, чем у актера на спектакле. Он знает отлично, что следователи видят его насквозь и ни на секунду ему не верят. Он знает отлично, что, в конце концов, они его загонят в угол и ра-

зоблачат. Он только соблюдает правила игры. Он уголовник и должен вести себя как положено.

Удивительно другое: следователи великолепно понимают нехитрую игру Клятова. Они знают, что придется провести много допросов, опознаний, что будут очные ставки, что придется уличать Клятова постепенно, что это потребует массу времени, изобретательности. И все-таки допрос Клятова им нравится гораздо больше, чем допрос Груздева. Клятова они видят насквозь. Он ведет себя именно так, как должен вести себя такой человек, как Клятов. Конечно, возиться с ним придется долго. Ну что ж, такая у них работа!

С Груздевым... С Груздевым тоже как будто все ясно. И все-таки тут они чего-то не понимают. После трех побегов неожиданно моментальное и охотное признание. Что это? Искренность человека, впервые пошедшего на преступление и раскаивающегося, или хитрость?

Но об этом потом. Сейчас продолжается допрос Клятова.

На что Клятов жил после того, как его уволили с завода? Ведь он нигде не работал. А у него нашли триста рублей. Да Груздеву он дал двести. Да дорога ему, наверное, денег стоила. Да пил он много. Да еще есть надо было.

Как – на что жил? Зарабатывал, ходил по домам, предлагал свет починить. Он же раньше монтером был. Вот как к Никитушкиным – пришел и предложил.

А почему же все-таки па работу не устроился?

– Косо смотрят, гражданин начальник. Как узнают, что из тюрьмы, так лица вытягиваются. А я человек самостоятельный, унижаться охоты не имею.



– Назовите квартиры, где вы чинили электричество.

– Разве упомнишь, гражданин начальник? Войдешь в подъезд, обойдешь все квартиры, где-то починишь. Получил свой трояк или пятерочку и ушел.

Следователь вынимает из ящика зажигалку и показывает Клятову:

– Вам знакома эта зажигалка?

– Как же не знакома – это Петуха зажигалка, Груздева.

– Он ее потерял у Никитушкиных?

– А я не знаю, гражданин начальник. Я там не был.

– Груздев говорит, что он, когда брал у вас двести рублей в долг, отдал вам в залог зажигалку.

– Мало чего он говорит. Что ж я, дурной – двести рублей даю и зажигалку беру в залог? Ей красная цена пятерка.

Допрос продолжался еще долго. Однако, в сущности говоря, без конца повторялось одно и то же. Иващенко начал нервничать и однажды, не сдержавшись, повысил на Клятова голос. Глушков бросил на него подчеркнуто внимательный взгляд, и Дима взял себя в руки.

Сам Глушков был внешне совершенно спокоен. Он, впрочем, и на самом деле почти не волновался. Он же говорил Иващенко, что Груздев признается сразу, а Клятов будет тянуть сколько можно. Все шло точно так, как он предсказывал. Клятов, вопреки очевидности, вопреки логике, все отрицал. Он соблюдал обычай. Глушков отлично понимал это. Знал он и то, чем вся эта тягомотина кончится. В какой-то момент Клятову будет некуда деваться, и он признается. Возможно, хотя такие случаи бывают редко, Клятов не признается до конца. Ну что ж? Объективные данные достаточно убедительны. Подкрепим каждый пункт обвинения, и пойдет дело в суд без признания.

Когда Глушкову показалось, что для первого допроса достаточно, он посоветовал Клятову хорошенько подумать и вызвал конвойных.

Следствие продолжалось. Несколько раз допрашивали Груздева. Много раз допрашивали Клятова. Груздев по-прежнему признавался и утверждал, что ничего не помнит. Клятов по-прежнему все отрицал. Клятову предъявили протокол допроса Груздева. Клятов сказал, что Груздев его оговаривает.

Было совершенно понятно, что Клятов врет и что раньше или позже он признается, как говорится, под тяжестью улик. Было совершенно непонятно, почему Груздев так легко, даже охотно признается. И все-таки с течением времени Глушков все меньше сомневался, что Груздев действительно виноват. Это был слабый человек, втянутый в преступление Клятовым, пошедший на грабеж в пьяном виде и ужаснувшийся, когда протрезвел. Глушков считал, что последняя попытка побега отлично характеризует Груздева. То, что он мог бежать по свежему снегу, зная, что за ним остаются следы, то, что он мог, поняв окончательно, что удрать невозможно, лечь и уткнуться головой в снег, просто чтоб ничего не видеть и не слышать, — все это очень ясно, казалось Глушкову, выявляет его характер. Слабый, подверженный влияниям, поддающийся настроениям, человек с расшатанной алкоголем нервной системой. Человек, которым командует не разум, а чувства и настроения. Вот что такое был, по мнению Глушкова, Груздев. Именно такой человек, поняв, что отрицать свою вину бессмысленно, мог убедить себя, что тюрьма — это не так страшно, мог примириться даже с долгими годами заключения и, махнув на все рукой, сразу признаться.

Итак, продолжались допросы, писались и подписывались протоколы.

После одного из допросов Иващенко сказал Глушкову:

– Все-таки, Иван Степанович, одно мне совершенно непонятно: откуда знал Клятов, что именно седьмого сентября деньги у Никитушкиных будут лежать дома?

– Постой, постой, Дима, – сказал Глушков, – тут ничего особенно непонятного нет. Никитушкина была, по-видимому, женщина разговорчивая, об этом говорит ее муж, это подтверждают и Серов, и Горелов. Никитушкины не скрывали, что покупают машину. Вполне вероятно, что, пока Алексей Николаевич сидел на скамейке перед домом, его жена рассказала об этом Клятову.

– Но это же было в середине августа. День, когда они будут получать машину, она еще не знала, – сказал Иващенко.

Глушков пожал плечами.

– Никитушкин до того, как Клятов чинил у них электричество, звонил Сидоренко, и Сидоренко сказал, что скоро они получают открытку. Об этом Анна Тимофеевна могла тоже рассказать.

– Но открытка пришла только за три дня до седьмого сентября.

– Ты, Дима, часто бывал в Колодезях? А я бывал много раз. У моей матери дом в деревне Семенове. Это километра три за Колодезями. Летом мы с женой уезжаем туда в субботу до понедельника. И вечером часто ходим в Колодези. Поселок небольшой, но оживленный. Пенсионеров там ужас сколько! Чуть не в каждом доме пенсионеры. И все друг друга прекрасно знают. Одни еще прежде по ра-

боте были знакомы, другие уже там подружились. Никитушкины люди общительные. Алексей Николаевич сам говорил, что они многим рассказывали.

— Но ведь Клятов-то не в Колодезях живет.

— Подожди, подожди...— Глушков усмехнулся. Придется разъяснять азбучные вещи своему молодому помощнику. Ему даже нравилась неопытность и наивность Димы. Рядом с Димой он ощущал себя особенно умелым и опытным. — Знаешь, сколько каждый день новостей в Колодезях? Уйма. Кошка пробежала — новость, собака залаяла — опять новость. В общем-то, большинству и делать нечего и говорить не о чем. Ну, днем покопались на огородах, почитали газеты, сходили в магазин. А вечером? Поселок гудит от разговоров. Торговка ягоды принесла — уже есть о чем поговорить. И тут вдруг такая сенсация! Никитушкины получают машину. Ручаюсь, что от того дня, когда пришла открытка, и до самого седьмого сентября каждый вечер об этом болтали на каждой скамейке.

— Что же, — спросил Иващенко, — Клятов туда каждый вечер и ездил?

— Зачем каждый вечер? Два-три раза в неделю совершенно достаточно. Часиков в девять прошелся по поселку. Уже темно. Его в темноте никто не узнает. Послушал, о чем говорят на скамейках, вот и все дело. Кстати, есть еще довод за то, что узнал нужную дату Клятов не через сберкассу, а именно от кого-то, кто видел открытку из магазина или, по крайней мере, слышал о ней. Никитушкин позвонил в сберкассу и заказал деньги пятого числа. Получил деньги шестого. Если Клятов узнал об этом через сберкассу, он, конечно, пошел бы грабить шестого. Шестого деньги на-

верняка у Никитушкина дома. Деньги Алексей Николаевич получал часов в пять. Магазин работает до шести. Ехать за машиной поздно. Но, получив деньги шестого, он вполне мог утром седьмого внести их в магазин. Если же Клятов знает, что Никитушкин должен внести деньги восьмого, он уверен, что седьмого деньги будут в доме наверняка, а шестого – неизвестно.

– Убедительно, – сказал Иващенко, – но все-таки доказать это невозможно.

– Мы проверили и сберкассу, и почтальона, и почтовое отделение. Никто не вызывает никаких подозрений. Значит, скорее всего, была просто случайность. Кстати, поработаешь с мое, Дима, узнаешь, что случайность всегда надо принимать в расчет. Она вмешивается в человеческую жизнь довольно часто. Я, впрочем, не настаиваю на своей версии. Может быть, случилось что-то другое, еще менее вероятное. Может быть, Клятов проходил мимо сберкассы. В это время Никитушкин, которого Клятов знал в лицо, как раз выходил с деньгами и кому-то сказал, что восьмого получает машину. Я только хочу тебе объяснить, что, если мы не сможем выяснить, откуда Клятов узнал, что седьмого у Алексея Николаевича деньги будут дома, это совсем не значит, что Клятов в ограблении не виноват. Ну, все. Значит, на послезавтра назначаем очную ставку.

## Глава двадцать четвертая

### *Друзья встречаются вновь*

И вот, в который уж раз, ведут Клятова на допрос. «Опять все будет то же самое», – думает Клятов.

– Вы признаете, что ограбили квартиру Никитушкиных и убили гражданку Никитушкину?

– Нет, гражданин начальник, не грабил и не убивал.

Клятов понимал, конечно, что все равно дела его нехороши, но кто его знает, как еще повернется. Пока надо тянуть. Потянешь, может, чего и выскочит. У следователей, рассуждал Клятов, тоже, видно, с доказательствами слабовато. Свидетелей нет. То, что старик Никитушкин его опознал, – сомнительно. Старик больной, мало что ему взбредет в голову. Сам говорит, что у грабителей лица были платками закрыты. Как же ему можно верить?...

Особенно убеждало Клятова в слабости доказательств то, что следователи ссылались на признание Груздева. Клятов считал, что его пытаются подловить. Скажут, мол, что Груздев признался, он решит, что деваться некуда, и признается тоже. По ночам в камере, когда не спалось, Клятов тихонько хихикал, прикрывая рукою рот: он-то, Клятов, знает, что Петька ничего показать не может. Стало быть, следователи врут. То, что Петькину подпись показывают, так этому тоже три копейки цена. Кто хочешь может написать «Груздев» с росчерком. Да Клятов и не видал никогда, как Петька подписывается.

Может, какой-нибудь соплик и поддался бы на эту удочку, ну а Клятов не маленький. Его голыми руками не возьмешь. Скорей всего, Петька даже не сидит. А если и посадили по подозрению, так выпустят. Но чтобы Петька признался – это вы бабушке своей расскажите. Может, старушка вам и поверит.

На допросах Клятов, конечно, этого не говорил. Он утверждал только, что Груздев его оговаривает.

Когда ему сказали, что сейчас приведут Груздева и будет очная ставка, он все еще думал, что его стараются запугать. Он очень удивился, когда конвойные действительно ввели Петьку.

Груздев вошел туча тучей. Когда он решил признаться, он и не подумал о Клятове. Он думал о себе, о своей печальной судьбе, о том, как ужасно много лет просидеть в тюрьме, не будучи виноватым. Вина же Клятова казалась ему фактом, который и доказывать-то нечего, до такой степени он бесспорен. Следует помнить, что Груздев в ограблении не участвовал и никаких подробностей ограбления, конечно, не знал. Признав свое участие, он, естественно, не мог ни о чем и спрашивать. Ему, одному из грабителей, полагалось лучше других знать все обстоятельства дела. То, что Клятов давно признался, ему казалось совершенно бесспорным.

Ему ни разу не пришло в голову, что, если бы Клятов признался и рассказал все, как на самом деле было, его, Груздева, вероятно, даже не арестовали бы.

Он впервые представил себе всю реальную сложность положения, когда его предупредили, что сегодня будет очная ставка с Клятовым. В это время сделать он уже ничего не мог. Отказываться от показаний бессмысленно.

Столько уж подписал он протоколов, столько уж раз подтвердил свою вину, что глупо было теперь – так сказать, после драки – кулаками махать.

Итак, бывшие друзья сидели друг против друга, и следователь предупреждал их о правилах поведения на очной ставке.

Оба слушали молча.

Обоим следовало в короткие минуты многое для себя решить.

Груздев никогда не любил Клятова. Дружба у них была по пьяному делу. Да еще потому, что у Клятова часто бывали деньги, а у пьяницы Груздева не хватало сил отказаться от угощения. То, что Клятов мерзавец, Груздев, трезвый, понимал превосходно, но были долги, которые он не мог заплатить, была проклятая слабость. Словом, если это можно назвать дружбой, то была дружба.

Спьяну Груздев согласился идти с Клятовым грабить, потом убежал, ну об этом уже было рассказано. То, что именно Клятов, хотя Груздев его и подвел, ограбил Никитушкина, у Петьки сомнений не вызывало. Не могло быть такого совпадения. Клятов готовил дело, назначил его на определенный вечер, и в этот самый вечер кто-то другой ограбил этих самых людей. Поэтому, рассуждал про себя Груздев в те считанные минуты, пока следователь писал в протоколе вводные фразы, он ничем Клятова не подводит. Да и выхода у Груздева нет. Отказывайся не отказывайся, теперь все равно не поверят.

Клятов очень удивился, когда ввели Петьку, но все еще думал, что его, Клятова, просто хотят подловить. В том, что Груздев не будет давать ложных показаний, он не сомневался. Клятов был не умен и ужасающе бескультурен. Но примитивное умение разбираться в людях его бурная биография ему дала.

«Для чего же очная ставка? — лихорадочно думал он. — Что он может сказать? Что договаривались брать квартиру Никитушкиных? Ну что же, что договаривались. А потом он не пошел, и я не пошел...»



– Клятов, признаете ли вы, что...

– Нет, гражданин следователь, не признаю, никого я не грабил и не убивал.

– Груздев, признаете ли вы, что...

– Да, признаю.

Клятов опешил. Этого он никак не ждал. Он бы с радостью дал в ухо этому мерзавцу Петьке, который его, Клятова, оговаривает. К сожалению, драться здесь невозможно. Его схватят раньше, чем он дотянется до Петьки. Искреннее негодование бушевало в нем. Ему казалось, что этот негодяй бесстыдно клеветает на него. Ему казалось, что он, Клятов, ни в чем не повинен, что он жертва клеветы. В нем бушевали благородные страсти.

Между тем Груздев поначалу спокойно рассказывал все именно так, как происходило на самом деле.

Предложил ему Клятов взять квартиру Никитушкиных. Он, Клятов, чинил у них проводку и видел, что квартира богатая и вещи все дорогие. Потом в другой раз Клятов ездил специально в Колодези и услышал там разговор, что восьмого раненько утром инженер едет в магазин получать «Волгу». Стало быть, седьмого вечером деньги на «Волгу» будут наверняка у него дома.

В этом месте Петькиных показаний Глушков посмотрел на Диму, и Дима чуть заметно кивнул, показывая, что помнит версию Глушкова.

– Договорились, – продолжал Груздев, – что Клятов зайдет за мной в Яму на Трехрядную улицу. Но ко мне в этот день приехали старые друзья, и я решил, что у меня дома встречаться неудобно. На всякий случай мы условились, если что помешает, встретиться без четверти двенадцать прямо в Колодезях у автобусной остановки.

До этого все, что говорил Петька, было правдой. Клятов решил, что в этом и заключаются Петькины показания и что только в этом Петька признался. Однако, помолчав немного, Груздев продолжал:

– Ну, приехал я, как мы условились, на остановку. По дороге выпил для храбрости. А потом мне Клятов еще дал выпить. Он не знал, что я уже пил. Я захмелел. Дальше, помню, мы шли куда-то, в какой-то квартире были. Как старушку убивали, этого я не помню. Потом на улицу выскочили. Клятов сказал: «Ты иди в одну сторону, я – в другую, и лучше сразу же уезжай от греха». Я и поехал к Афанасию Семеновичу. Я у него в детском доме вырос, он человек хороший, и больше мне ехать было некуда.

Груздев замолчал. Глушков повернулся к Клятову:

– Клятов, вы подтверждаете показания Груздева?

Клятов молчит. Он судорожно думает. Благородное негодование продолжает в нем кипеть. Он действительно грабил Никитушкиных, но ведь не с Груздевым же. Чего же Груздев, подлюга, врет?!

И вдруг Клятову приходит гениальная мысль.

Мысль эта до того ослепительна, что Клятов с трудом удерживается, чтобы не улыбнуться радостной улыбкой.

Последний раз Клятов судорожно перебирает доводы «за» и «против». Может быть, следователи подговорили Петьку? Нет, следователи на это не пойдут, теперь насчет следствия правила строгие, да и Петька не тот человек. Может быть, он и в самом деле так напился, что ему помнится, как он Никитушкиных грабил? Нет, такое не почудится спьяну, это Клятов знает точно. Сам, слава богу, бывал пьян.

Значит, врет? Зачем? Почему? Да черт с ним! Зачем бы ни врал. Раз сказал и протоколы подписывал, значит, не отопрется. А будет отпираться, так что Груздеву, что Клятову вера одна, и кто из них врет – попробуй разбери.

Клятов долго молчит, и следовательно наконец его окликают:

– Клятов, так вы признаетесь?

И Клятов, помолчав еще немного (пусть поверят, что он колеблется, не решается, собирается с духом), смотрит широко открытыми глазами прямо в глаза следователю и решительно говорит:

– Да, гражданин следователь, признаю. Не все, правда. Кое-что Груздев, видно, спьяну напутал. Но главное признаю.

Еще помолчав, будто собираясь с мыслями, он начинает рассказывать.

Он еще тогда заметил квартиру, когда чинил электричество. Квартира богатая. Груздев правильно говорил: вещи все дорогие. Да не в вещах дело. Куда их, вещи? С продажей намучаешься. И тут жена инженера сказала ему, что они скоро, мол, получают машину «Волга». Он, Клятов, и стал ездить в поселок. Думал, может, услышит, когда будут машину брать. И верно, один раз услышал. Говорили какие-то люди, что, мол, восьмого Никитушкины берут машину.

Он, Клятов, хоть от преступной жизни и отошел, потому что в тюрьме сидеть ему неохота, а все-таки привычка соображать, что к чему, у него осталась. Не для чего-нибудь, а так, для фантазии. Шестого он пришел к Груздеву. Бутылочку захватил. Распили. Он Груздеву свою

фантазию и рассказал, не с какой-нибудь целью, а просто так, для разговора. Груздев как будто бы на его рассказ и внимания не обратил. Потом стал у него просить деньги в долг. Двести рублей. Он, Клятов, спрашивает: а из чего отдавать будешь? Деньги у Клятова были: чинить электричество много охотников находилось. Но только дарить эти деньги он не собирался. Чего же ради! Сам заработал, сам и проживу. Груздев тогда и говорит: давай, Андрей, завтра квартиру твоего инженера возьмем. Дело вроде верное. Вещей брать не будем, а только деньги. Проживет Никитушкин-сын без машины. Он, Клятов, засомневался. Но потом ему в голову одно соображение пришло.

В кабинете следователя слышен только медленный голос Клятова, да шорох пера по бумаге, да шелест заполненных страниц, которые следователь откладывает в сторону.

Ему уже давно, рассказывает Клятов, надоело на подозрении жить. Недели за две перед этим он на толкучке случайно паспорт купил. Видно, у специалиста. Тот ему за цену паспорта и карточку вклеил. Вот, думал Клятов, сожгу свой паспорт, возьму этот новый и уеду в другой город. Никто меня там ни в чем подозревать не будет. На работу поступлю. Одним словом, начну новую жизнь. Но только с деньгами у него не получалось. Никак ему больше двух-трех сотен не удавалось скопить. А если в другой город уехать, на первое время деньги нужны немаленькие. Вот он и решился в последний раз рвануть сразу сумму и «завязать».

Условились они с Груздевым без десяти двенадцать прямо в Колодезях встретиться. А он, Клятов, утром на

трезвую голову подумал, решил отказаться. Зашел вечером к Груздеву, а того дома нет, и какие-то чужие люди у него в комнате. Ничего не сделаешь, надо в Колодези ехать. Поехал. И Груздев явился. Сперва-то заметно не было, что он выпил. Клятов по дороге купил бутылочку, и они с Груздевым в глухом местечке над речкой ее распили. Он, Клятов, сказал было, что идти не хочет, но Груздев так рявкнул, что Клятов замолчал. Груздев ему кастет показал: «Гляди, говорит, какую я штуку достал». Он, Клятов, испугался: «Ты, говорит, Петя, лучше эту штуку оставь, а то убийство может получиться». А Петя смеется. «Да нет, говорит, что ты, я его просто так взял. Я его в карман положу и вынимать даже не буду».

Клятов переводит дыхание и некоторое время молчит. Ему как будто бы трудно рассказывать эту историю, которая так плохо кончилась. Иващенко торопливо записывает в протокол показания Клятова. Груздев молчит. Он смотрит на Клятова, и нельзя понять, что он думает. Во всяком случае, ни словом, ни жестом он не возражает Клятову. Глушков внимательно следит за лицом Груздева. Ничего не прочтешь на этом лице!

Собравшись с силами, Клятов рассказывает дальше.

Они подошли к дому Никитушкиных ровно в двенадцать. Никитушкины уже спали. Они позвонили, сказали, что телеграмма. Расчет был простой. Раз Никитушкины сына ждут, значит, понятно, что сын купит билет и телеграмму даст. А если уже была телеграмма, тем более им интересно. Может, у сына что переменялось, и он второй раз телеграфирует. Действительно, Анна Тимофеевна сразу открыла. Они вошли. Она закричала.

Опять пауза. Видно, Клятову нелегко рассказывать.

Если бы, говорит наконец Клятов, он знал, что Груздев пьян, он бы, конечно, поберегся. Но по Груздеву видно не было. Он держался обыкновенно. Клятов не успел опомниться, как Груздев взмахнул рукой и ударил старушку в висок. Еще когда он руку поднял, Клятов увидел, что у него на руке кастет. Ну, что же тут сделаешь? Секундное дело. Лица у них были платками завязаны, чтоб не опознали, так что он и выражения-то лица не видел у Груздева. Может, тот забыл, что у него кастет на руке. Может, он просто припугнуть старушку хотел. Скорее всего, что так. Потому что Груздев не убийца. В первый раз на дело пошел. Так что это, наверное, просто несчастный случай.

Эти слова Клятов говорит, как бы раздумывая. Чувствуется, что он не только не хочет оговорить Груздева, но, наоборот, приводит все возможные доводы в его пользу. Эти слова и тон, которым они сказаны, должны убедить следователей в искренности Клятова.

И опять Клятов молчит. Как бы вспоминает с ужасом страшные эти подробности, которые привели невольно и неожиданно к убийству ни в чем не повинной старой женщины.

Глушков его не торопит. Иващенко еле успевает заносить в протокол обстоятельные, подробные показания.

Ну, тут, продолжает, собравшись с силами, Клятов, старик в сени вышел. Увидел, что жена лежит. Кинулся к ней, бормочет что-то, за руку ее теребит, лоб трогает. А Груздев будто и не понимает, что убил женщину. Побежал в комнату. Клятов не знал, что Груздев может наделать, только знал, что за ним следует наблюдать. Зол он, Клятов,

был ужасно. Надо же такое натворить! В сенях старик один остался, шум может поднять. Клятов не побежал за Петром. Крикнул, поторопил его. Старик, однако, сидел по-прежнему возле жены и не двигался. Удар его, что ли, хватил, этого Клятов не знает. У Клятова еще и платок с лица упал. Минуты не прошло – Груздев из комнаты выскочил. Деньги у него в руке, в той самой, на которой кастет надет. Он кастет так и не снял. А старик смотрит на Клятова, говорит: «Монтер, монтер...» Узнал, значит. Вот несчастье! Что будешь делать? А Петька, долго не думая, размахнулся, да как даст старику по голове. Старик, конечно, упал. Ну, а они с Петькой на улицу выскочили. Петька так стал Клятову противен, что Клятов только и думал, как от него скорей отвязаться. Улица пустая. Они квартала два пробежали, остановились.

Петька сунул ему деньги, он и считать не стал, потом оказалось, что там семьсот рублей было, и говорит: «Ты – в одну сторону, я – в другую. И лучше сразу же уезжай от греха». Наверное, Груздеву фраза эта запомнилась, но спяну он забыл, кто ее сказал. А сказал ее сам Груздев. Сказал и бегом побежал в переулок. Клятов думал было его догнать, денег-то он мало получил, а потом плюнул. У него было такое настроение: ноги бы скорее унести. Он прямо на вокзал отправился, дождался первого поезда и уехал. Рублей четыреста прожил, а триста у него нашли. Вот и получается семьсот.

Наступает молчание. Рассказ кончен. Иващенко торопливо кончает записывать показания Клятова. Потом Глушков поворачивается к Груздеву.

– Груздев, – говорит он, – вы подтверждаете показания Клятова?

– Нет, – говорит Груздев, – не подтверждаю. Неправда все это, неправда!

## Глава двадцать пятая

### *Друзья разошлись во взглядах*

Во время обстоятельного, неторопливого рассказа Клятова Петя несколько раз чувствовал, что сейчас потеряет сознание. Ему хотелось прервать неторопливую речь своего друга, хотелось броситься на Клятова и ударить его в лицо. Только то, что он находится в кабинете следователя и что здесь очень строгие правила поведения, которые нельзя нарушать, удерживало его.

С другой стороны, его охватывало такое отчаяние, что он чувствовал себя просто не в силах защищаться, оправдываться, опровергать. В самом деле, сколько раз он подписывал показания, в которых признавал, что участвовал в ограблении Никитушкиных. Мало того, не зная подробностей, он утверждал, что был пьян и подробностей не помнит. И с какою же силой оборачивалось теперь это против него! Что он может опровергать, если сам говорил, что ничего не помнит?

Он бы, может, и промолчал и примирился от безнадёжности с тем, что из соучастника стал инициатором преступления и убийцей. Настроение у него было такое, что он без сожаления пошел бы на расстрел, только бы кончить наконец с этой неудавшейся жизнью. Но очень уж его взбесило, что он же, оказывается, еще и обсчитал Клятова, дал ему из шести тысяч только семьсот рублей.



По сравнению со всеми обвинениями это была ерунда, о которой и говорить не стоило. Но она была такая обидная, эта ерунда, что злоба на Клятова захлестнула Петьку. Тогда, подчиняясь опять не разуму, а чувству, в раздражении и выпалил Груздев неожиданное «не подтверждаю».

— Что вы не подтверждаете, Груздев? — спросил Глушков.

— Все, все не подтверждаю, все неправда с начала и до конца!

Его всего трясло. Видно было, что он вне себя.

— Подождите, Груздев, — сказал Глушков, — я могу показать вам подписанные вами протоколы допросов, где вы признаете, что участвовали в ограблении. Может быть, вы считаете неправдой, что вы убили Никитушкину?

— Да, и это неправда! Все, все неправда, что он говорит!

— Ваши показания, — неторопливо сказал Глушков, — отличаются от показаний Клятова в частностях. Что именно в показаниях Клятова вы опровергаете?

— Все, все! — заговорил Петя. — Ничего не было! Все отрицаю. Все он врет с начала и до конца!

Клятов усмехнулся. Ох и взбесила же эта усмешка Петю! Усмешечка эта выражала довольно отчетливо и коротко длинную мысль. Вот как звучала она, если выразить ее словами: «Вы сами видите, гражданин следователь, я ни от чего не отрекаюсь, все вам спокойно рассказал, а этот чудак признавался, признавался да вдруг и полез на попятный. Мы-то с вами, гражданин следователь, понимаем, конечно, что просто он не хочет отвечать за свое преступление».

Следует сказать, что и на самом деле неожиданный

Петин взрыв выглядел очень неубедительно. Бывают случаи в следовательской практике, когда преступник признается на следствии и все отрицает в суде. В этом есть хоть наивный, но все-таки свой расчет. Я, мол, признался под давлением, а сейчас на открытом разбирательстве дела утверждаю, что все мои признания неправда. В таком отрицании есть какая-то логика. В Петькином же взрыве не было логики никакой. На десяти допросах признавал, а на очной ставке отказался.

Глушков чертыхнулся про себя, однако взял новый лист бумаги и приготовился писать.

– Вы отрицаете, – спросил он, – что вместе с Клятовым задумали ограбление Никитушкиных?

Петька растерялся и молча смотрел на Глушкова.

– Да или нет? – спросил Глушков. – Задумывали ограбление вместе с Клятовым или нет?

– Задумывал, – растерянно сказал Петр. У него голова шла кругом.

– Уславливались вы с Клятовым вечером седьмого сентября встретиться? Да или нет?

– Уславливались, – сказал Петька.

Он уже великолепно понимал, что играет безнадежную игру. Он почти не думал, что говорит, и почти не слышал своих слов. Одно дело – объяснить братикам или Афанасию Семеновичу, как это все получилось, и совсем другое – объяснить это под строгим и пристальным взглядом следователя, глядя на ироническую усмешечку Клятова. Петя чувствовал себя совершенно бессильным. Говорить про свою проклятую жизнь, про Тоню и про Володьку, про письма, которые он писал братикам, про нагромождение

лжи, накопившейся за девять лет, про телеграмму Юриной жены, про переворот, который в нем совершился...

– Да или нет, да или нет...– повторил Петька слова Глушкова, и повторил их еще и еще раз, и долго бы повторял, потому что чувствовал, что в этом вопросе все дело. «Нет» он ответить не может, «да» он ответить не хочет. Рассказывать историю своей жизни – это же просто курам на смех здесь, под протокол...

– Успокойтесь, Груздев, – резко сказал Глушков. – Скажите нам, встретились вы с Клятовым седьмого сентября вечером или не встретились?

– Пишите что хотите, – сказал Петька.

– Мы хотим писать правду, – сказал Глушков, – и расскажите нам ее.

– Правду? – спросил Петька. – Пожалуйста, могу правду. Нигде мы не улавливались встречаться, а условились, что Клятов за мной зайдет. Но я в этот день получил телеграмму, что едут мои друзья. Мне стало стыдно, и вообще я понял, что потом уж возврата не будет. Я Клятову был должен деньги, и братиков, то есть друзей моих, мне было стыдно видеть. Потому что я им девять лет про себя врал. А врал я из самолюбия. Мне было обидно, что они все институты кончили, а я нет. Вот я и убежал и письмо им оставил. И нигде у Никитушкиных я не был, и никого не грабил, и не знаю, где они жили, эти Никитушкины. А Клятов грабил с кем-то другим. С кем, я не знаю. Вот если хотите правду, то и пишите. А о встрече в Колодезях и речи не было.

– Подождите! – Глушков негромко хлопнул ладонью по столу. – Вы только сейчас подтвердили, что улавливались с Клятовым встретиться. Так это или не так?

– Все не так. И Клятов знает, что я с ним не ходил к Никитушкиным. Так что он нарочно врет, чтоб меня запутать. А я отрицаю. Все отрицаю. Так и запишите. И больше я все равно ничего не скажу.

– Хорошо, – говорит Глушков, – значит, вы отрицаете все свои прежние показания?

– Да, отрицаю.

– Вы говорите, что условились с Клятовым ограбить Никитушкиных, но в последнюю минуту одумались и убежали?

– Да, одумался, понял, что я хоть и пьяница, и ничтожный, пустяковый человек, и жену бросил с ребенком, а все-таки не преступник.

– Зажигалку у Никитушкиных потеряли вы или Клятов?

– Я же говорил, – растерянно отвечает Груздев, – Клятов у меня в залог ее взял.

– Клятов, кто потерял зажигалку – вы или Груздев?

– Я ж говорил, гражданин следователь, какой дурак двести рублей даст под залог этой штуки. Пятерка ей красная цена. Груздев сам, наверное, и потерял.

Глушков быстро пишет. Он почти точно передает содержание речи Груздева. Он сокращает только подробности, которые кажутся ему несущественными для уголовного процесса. Они и в самом деле несущественны. Но только вместе с ними уходит из показаний Груздева сторона, так сказать, эмоциональная, уходят те чувства, которые толкали Груздева на бегство из дома, на письмо, оставленное братикам, на все поступки, которые, если оценивать их с точки зрения логики, были поступками нелепыми, странными, необъяснимыми.

И все-таки, если смотреть на протокол как на перечень поступков, он был совершенно точен. Груздев, перечтя его, не нашел никаких упущений. Он почувствовал только, что песенка его спета и что все то, что совершенно ясно ему, и братикам, и Афанасию Семеновичу, теряет какой бы то ни было смысл, какое бы то ни было правдоподобие в этом точном переложении языком протокола. Вслух он прочел последнюю фразу: «Больше добавить ничего не имею», вздохнул и расписался на каждой странице.

Конвойные увели его.

Клятов аккуратно перечел свои показания, подписал их буквами хотя и аккуратными, но явно обнаруживающими малограмотность, и, пока вызывали конвойных, пустил еще последнюю ядовитую стрелу вслед Груздеву.

– Да, брат, – сказал Клятов задумчиво, будто себе самому, ни к кому будто бы не обращаясь, – когда уж попался, так турусы нечего разводить. Что сделал, то и признай. Нечего себе и людям голову морочить.

Клятова увели. Глушков откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул.

– Да, – сказал он, – сцепы шекспировской силы. Как ты думаешь, почему Груздев вдруг все стал отрицать?

– Во-первых, – раздумывая, проговорил Иващенко, – быть слабовольным пьянчужкой, которого соблазнил на преступление рецидивист, – это одно, а быть организатором грабежа и убийства – это совсем другое.

– Страшные истерики эти преступники. Я думаю, что в груздевских сегодняшних разговорах больше истерики, чем разума. Вероятно, у них с Клятовым какие-то счеты. Думаю, что насчет семисот рублей Клятов взял грех на

душу. Скорее, он Груздева обсчитал. Ты заметил, кстати, как Груздев взбесился, когда Клятов про семьсот рублей заговорил? Я думаю, что истерика была не потому, что Груздев из второстепенного лица перешел в главные герои, а из-за каких-то счетов с Клятовым. Тут, наверное, кроме денег, еще что-то. Они ненавидят друг друга. А кто кого втравил – это, знаешь, вопрос темный. Когда дело кончается неудачно, каждому кажется, что другой был зачинщиком. Правда, наверное, посередине. Обоим хотелось ограбить и хорошо пожить. Клятов рассказал про Никитушкиных, конечно, не просто так, для фантазии. С другой стороны, если бы Груздеву не хотелось пойти на преступление, он бы пропустил это мимо ушей. – Глушков закрывает папку с протоколами и встает. – Ладно, Дима, – заключает он, – иди домой. Сегодня буду докладывать прокурору. Повозиться, конечно, еще придется, но все-таки дело, по-моему, ясное.

Следователи расходятся. Глушков долго сидит у прокурора, докладывает. Прокурор слушает очень внимательно. Сейчас, когда Глушков связно рассказывает про показания Груздева и Клятова, сличает их между собой, сличает с показаниями Никитушкина, с протоколом осмотра никитушкинской квартиры, все выстраивается в очень точную и связную картину. Ни одна деталь не противоречит обвинению. Прокурор задает много вопросов, и на каждый вопрос Глушков отвечает уверенно и доказательно. Сейчас все бывшие у него сомнения отпали, ему кажется, что обвинительное заключение получится совершенно точным и неопровержимым.

Он рассказывает о том, что Груздев отказался от своих

показаний. Это кажется ему вполне объяснимым. Взаимная ненависть часто возникает у пойманных соучастников. Спор между ними идет о том, кто виноват больше, кто меньше. Когда Груздев услышал версию Клятова, по которой он, Груздев, оказался главным виновником, он попытался скомпрометировать клятовский рассказ. То, что он отказался от показаний, типичная истерика морально падшего человека.

У прокурора тоже не возникает никаких сомнений. Глушков говорит, что преступление идиотское, дикое, бестолковое. Хотя Груздев показался ему человеком не злобным, но сейчас он ему понятнее, чем Клятов. Опустившийся пьяница как раз и мог неизвестно зачем убить жену Никитушкина. Опустившийся пьяница и человек, впервые пошедший на преступление. Естественно, он взволнован, ему страшно, и он приводит себя в состояние эдакой лихости. Неизвестно зачем взял кастет, взмахнул рукой, убил человека – словом, «все могу, ничего не боюсь, на все наплевать». И его дальнейшее поведение, в сущности, сплошная истерика. Побег от Анохиных, побег от директора детского дома, совершенно идиотская попытка бежать с лесопункта. Бестолковщина, истерика, глупость.

– Я даже верю, – говорит Глушков, – что он дал Клятову семьсот рублей и не помнит, куда девал остальные деньги. Скорее, удивляет меня Клятов. Этот-то опытный. Этот-то рецидивист. Какого черта он пошел на плохо подготовленное, плохо продуманное преступление?...

На улицах уже темно, когда Глушков идет домой. Метет метель. Снег бьет в глаза. Идти тяжело, но настроение у Глушкова превосходное. Следствие, бесспорно, идет к

концу. Он еще раз перебирает звено за звеном всю цепь доказательств. Кажется, все неопровержимо. Хороший будет процесс.

В это же время лицом к окну стоит в камере Груздев. Метет метель, снег бьет в стекла, налипает у переплетов. Сзади соседи по камере ведут скучные тюремные разговоры. Груздев не хочет их слушать. Даже видеть не хочет. Ему надо понять, почему, каким образом он попал в такую страшную ловушку. Как он попал в нее, он понять не может, но что выбраться из нее невозможно, это он понимает великолепно. Сначала он ведь признал только, что был соучастником Клятова. Он считал, что от этого все равно ему не отвертеться. Для того чтобы не попасться на мелочах и не затягивать следствие, он сказал, что был пьян и ничего не помнит. А теперь он стал главным преступником. Теперь он стал убийцей. Вероятно, ему грозит смертная казнь.

«Ну и черт с ним, – думает Груздев, – пусть расстреляют. Кончится эта проклятая жизнь, в которой никогда не было удач и всегда были одни неудачи. Будь она неладна, вся эта моя жизнь».

Тоска наваливается на него. Такая тоска, что, не будь соседей по камере, он бы завыл.

В другой камере, выходящей на другую сторону тюремного здания, веселит соседей интересными рассказами Клятов. Получается из его рассказов, что в колонии, где он сидел пять лет, было очень весело и хорошо. Что признаться в преступлении очень приятно. И следователям будто подарок делаешь, и самому легче. Короче говоря, получается, что все превосходно. Соседи не понимают,



почему у него хорошее настроение, но смеются его рас-  
сказам и думают, что с таким соседом и в тюрьме сидеть  
веселей.

В это же время пришел с работы домой Степан Ива-  
нович Гаврилов. Он не женат и живет одиноко. Он затопил  
печку и сел у огня. Дрова разгорелись легко, он согрелся и  
немного повеселел. Конечно, приятно, когда трещат дрова,  
но вообще-то радоваться особенно нечему. Что он сегодня  
сделал? Дал несколько советов. Один – насчет частного  
домовладения, другой – по вопросу о завещании и третий –  
о незаконном увольнении. В будущем, вероятно, такие  
советы будет давать электронная машина. Третий год он в  
коллегии. Защищать приходилось иногда, но все по на-  
значению. И дела, честно говоря, неинтересные. Бороться с  
обвинением было бессмысленно. Что, у него такой уж пу-  
гающий вид? Почему клиенты его обходят? Три года назад,  
когда его никто не знал, у него были шансы. Одно удачное  
выступление в суде по серьезному делу, пусть хоть по на-  
значению. Подсудимый оправдан! По городу идет слух о  
талантливом адвокате Гаврилове! Клиенты занимают оче-  
редь за час до открытия консультации, а то к Гаврилову не  
попадешь. Теперь он уже перестал быть неизвестной ве-  
личиной, в которой неожиданно может открыться все, что  
угодно. Он величина совершенно известная. Все уже зна-  
ют, что он бездарен, и никаких неожиданностей не ждут.  
Бездарен он или талантлив – это, допустим, еще вопрос. Но  
то, что он за эти три года потерял последние остатки уве-  
ренности в себе, – это факт. Значит, все равно неожидан-  
ностей наверняка не может быть и не будет.

Степан Иванович – лицо, читателю неизвестное. Упо-

минается о нем в последних абзацах главы потому, что в следующих главах ему придется играть очень большую роль.

## Глава двадцать шестая

### *Афанасий приехал в Энск*

Поезд в Энск приходил в шесть утра, но Афанасий Семенович уже к пяти оделся и умылся. Он без конца раздумывал, правильно ли его решение. Степу он не видел лет пять. Конечно, мальчишкой он был способным, но, в конце концов, не из всех способных мальчишек вырастают способные люди. Хватит ли у Степана опыта на такое серьезное дело?

К тому времени, как поезд пришел, Афанасий Семенович уверил себя, что мысль обратиться к Степе была глупая мысль, что надо у Степы просто узнать, кто лучший адвокат в городе, да с тем и поговорить.

Однако, выйдя на перрон, он начал приводить себе противоположные доводы: наверное, рассуждал он, для своего детдомовского парня Степа сил не пожалеет. А кто его знает, этого знаменитого адвоката. Может, он просто проговорит быстренько, что прошу о снисхождении. Тоже, наверное, бывают адвокаты-халтурщики. Словом, погрузившись в трамвай, в котором ехало очень мало народа — часы пик еще не начались, — Афанасий Семенович окончательно решил, что первоначальная мысль была хорошая и нечего раздумывать. Надо уговорить Степана. Конечно, объяснив ему, что дело серьезное и отнестись к нему надо добросовестно.

Остановка, на которой он должен был сходить, оказалась недалеко. Улица была еще совершенно пустынна, когда Афанасий Семенович увидал наконец номер 23 и вошел в подъезд.

Дом был старый, без лифта, и Афанасий Семенович два раза отдыхал на площадках, пока поднялся на четвертый этаж. В квартире уже не спали, дверь сразу же открыл пожилой человек довольно любезного вида и, узнав, кого надо, на всю квартиру заорал: «Степа, к тебе!» Степан умывался на кухне, выскочил с намыленной физиономией, но, увидя Афанасия Семеновича, так удивился, что забыл об этом, бросился целоваться и вымазал своему бывшему директору мыльной пеной все лицо. Пришлось Афанасию Семеновичу тут же идти умываться. Потом быстро смыл мыло Степан, и оба, очень развеселившись от этого приключения, прошли в комнату.

В комнате был письменный стол с настольной лампой, диван с неубранной постелью, высокая, до потолка, книжная полка, шкаф, стулья и маленький диванчик. Степа стащил с Афанасия Семеновича пальто и шапку, унес их в переднюю, притащил чайник, который, видно, уже кипел на кухне, достал сыр, масло и колбасу.

Чай пили на углу письменного стола. Афанасий Семенович все собирался начать разговор, ради которого приехал, но Степан забрасывал его вопросами о своих бывших товарищах.

Воспитанники Афанасия Семеновича были раскиданы по всей стране. Он получал от них письма из Средней Азии и с Дальнего Востока, из Норильска и из Одессы, из Магадана и Таллинна. Среди них были люди самых различных

профессий: рабочие и инженеры, колхозники и врачи. Самое интересное, что Афанасий Семенович помнил их всех наизусть. Он мог, не задумываясь, сказать, кто из его учеников живет в Конотопе и где сейчас находится Федька Маслов, причинивший ему в свое время бездну хлопот и неприятностей.

Правда, он от всех или почти от всех получал письма, но все-таки безошибочно помнить, кто живет в поселке Палатка, Магаданской области, а кто – в грузинском городе Самтреди, кто защитил кандидатскую диссертацию, а кого выбрали в правление колхоза «Свет Октября», было тоже не просто.

Афанасий Семенович очень любил разговаривать о бывших своих воспитанниках и мог о каждом рассказать бесконечное количество историй. Но на этот раз он прервал поток вопросов и несколько продвинулся ближе к делу, спросив:

– Ну, а как у тебя дела, Степа?

– Вертятся, – сказал Степан необычайно бодро. – Как говорится, дела идут, контора пишет.

Афанасий Семенович искоса взглянул на него и сразу отвел глаза. Степан наливал чай и, кажется, не заметил этого. Афанасий Семенович взял чашку, насыпал сахар, размешал его не торопясь, отпил немного и поставил чашку на стол.

– Что, дел мало получаешь?

– Да нет, дела есть, – уклончиво ответил Степан. Он понимал отлично: Афанасий уже догадался, что Степан от своих дел не в восторге. Не отвертишься, придется все равно рассказывать. Но Степан не любил жаловаться и

считал, что негостеприимно начинать разговор со своих собственных горестей.

– У меня к тебе дело, Степа, – сказал Афанасий Семенович. – Ты Груздева помнишь? Он был постарше тебя лет на пять. Они еще вчетвером всегда ходили.

– Братики? – спросил Степан.

– Вот-вот, братики.

– Помню. Ну как же, они мне всегда казались такими взрослыми, почти как вы сами. Еще бы – тринадцать лет и восемнадцать! В детстве каждый год играет роль.

– Ну, а Груздева-то самого помнишь?

– По совести говоря, нет, всю четверку помню.

– Ну ладно, суть не в этом. Тебе на работу скоро идти?

– Час еще есть.

– Ну хорошо. Тогда я тебе расскажу, что случилось с этим Груздевым.

Рассказ о Петьке занял немало времени. Афанасий Семенович историю особенно не приукрашивал. Из его слов можно было понять, что Петька совсем не жертва ущемленного самолюбия или каких-нибудь других серьезных и глубоких причин. Получалось так, что просто человек разболтался, спился, опустил и в оправдание себе придумал это оскорбленное самолюбие, стал врать братикам в письмах, бросил жену с ребенком, завел дружбу с темными людьми. Перед Степаном вырисовывалась довольно неприглядная фигура. Степан, однако, пробыл в детском доме у Афанасия не один год и отлично знал, что директор своих воспитанников хвалит очень редко, а ругает часто и не всегда по заслугам. Знал и то, что о тех воспитанниках, которых Афанасий не любит – а попада-

лись и такие, хотя и не часто, — так вот о таких Афанасий по возможности старается вообще не говорить.

Степан слушал рассказ с большим интересом. История Пети показалась ему не совсем обыкновенной, и, хотя Афанасий Семенович всячески снижал ее драматизм и напирал на ее, так сказать, обычность, Степану показалось, что дело тут не так просто.

Чай остывал в его чашке; он откинулся на спинку стула и слушал, приоткрыв рот, как приоткрывал рот когда-то, слушая в детском доме сказки или страшные истории, которые любили старшие мальчики рассказывать младшим.

Он вообще чувствовал себя почему-то снова ребенком. Снова он сидел с Афанасием, снова слушал его, и вдруг ему даже пришла в голову мысль, что Афанасий рассердится и прикрикнет: «Закрой рот, что ты ворон ловишь!» Он не удержался и улынулся.

— Что такое? — спросил Афанасий Семенович. Степан объяснил, почему ему стало смешно, и оба они посмеялись. Потом Афанасий продолжал рассказ, и через минуту Степан снова слушал его с приоткрытым ртом.

История Петьки принимала все более драматический характер. Он уже получил телеграмму от Нины и заметался, торопясь удрать, пока братики не приехали. На вечер условлено ограбление Никитушкиных. Клятов должен зайти за ним. Клятову он должен двести рублей. Он оставляет письмо братикам. Он решает ехать к Афанасию Семеновичу. Поезд, нужный ему, уходит в двенадцать ночи. До двенадцати надо скрываться от братиков, от Тони, от Клятова. На вокзале опасно. Братики могут сразу поехать домой и прийти на вокзал. Клятов может додуматься

и явиться туда же. Он идет в кино. Он не помнит даже, какая была картина. В половине двенадцатого кончается сеанс, и он торопится на вокзал. Оказывается, он голоден. Раньше он этого не замечал. Он заходит в ресторан и покупает пакет с двумя булками, в которые засунуты котлеты, и двумя яйцами. Кто-то окликает его. Он решает, что его настигли братики или Клятов, и, не глядя, кто его окликнул, бежит на перрон. Он входит в вагон, и поезд сразу же трогается.

– Вот в каком он был состоянии, – говорит Афанасий Семенович и отхлебывает уже остывший чай.

– Степа, – кричит из передней уже знакомый Афанасию Семеновичу голос, – ты на работу не опоздаешь?

– Нет, нет, Яков Ильич, – отвечает Степа.

Дверь отворяется, в комнату заглядывает пожилая женщина.

– Степа, – говорит она, – мы уходим, а у тебя гость, ты возьми у меня там в шкафчике яйца, а в комнате на столе конфеты. Неудобно же, человек с дороги. – Тут она, спохватившись, улыбается Афанасию Семеновичу, кивает ему и исчезает.

Хлопает дверь.

– Афанасий Семенович, – говорит Степан, – вы разрешите, я позвоню в консультацию, что задержусь.

Он выходит. Телефон, видно, в передней. Слышно, как он говорит, что будет часов в десять, не позже. Афанасий Семенович сидит и думает, что осталось самое трудное: рассказать про приход милиции и побег.

Степа возвращается, садится и сразу же, приготовясь слушать, открывает рот.

Афанасий Семенович неторопливо рассказывает про появление Петра у него, про приезд братиков, про то, что ограбление, оказывается, совершилось, и даже с убийством, про то, как явилась милиция и убежал Петр, про то, как позже поймали его на лесопункте. Про то, как сейчас он сидит здесь, в Энске, в тюрьме и ждет, пока кончится следствие и начнется суд.

Рассказ окончен. Афанасий Семенович берет чашку и опрокидывает в рот, не заметив даже, что чашка пуста и чай давно уже выпит. Степа встает и начинает ходить по комнате.

– Ужасная история, – говорит он, – просто ужасная! Случай тяжелый. Вы ведь, наверное, хотите, чтобы я вам порекомендовал адвоката?

– Нет, – говорит Афанасий Семенович, – я хочу, чтобы ты взял на себя защиту Петра.

Степан смотрит на Афанасия Семеновича безумными глазами.

– Я? – говорит он. – Почему именно я?

– Эх, Степа, – говорит Афанасий Семенович, – когда ты будешь постарше, ты, наверное, поймешь, что не все в жизни можно логически объяснить. Самое сложное то, чего человек не может понять, он может почувствовать. Я думаю, что Груздева не спасти красивой речью. Груздева можно спасти, только поверив ему именно сейчас, когда он опустился до дна, когда он прошел совсем рядом с ужасным преступлением. Когда он в отчаянии. Ну, а кто же мне поверит, как не ты?

– Одну минуточку, – говорит Степа, убегает из комнаты и возвращается, неся в руках вазу с конфетами. – Пожа-



луйста, Афанасий Семенович, ешьте. Я не сообразил раньше взять. Это Марьи Дмитриевны конфеты, но мы с ними живем по-семейному, и они у меня берут, если что надо, и я у них.

Конфеты не ко времени. В чашках чаю уже нет, а в чайнике он остыл. Афанасий Семенович и внимания на конфеты не обращает. Он смотрит на Степана и спрашивает:

– Ну как же, Степан, возьмешься?

– Нет, – говорит Степан, – простите, Афанасий Семенович, не могу.

Оба долго молчат. Степан подправляет какую-то высунувшуюся книгу на полке, спрашивает, не подогреть ли чайник, и, выяснив, что не нужно, достает из шкафа галстук и начинает его завязывать перед маленьким зеркалом, висющим на стене.

– Почему? – спрашивает Афанасий Семенович.

– Не могу, – повторяет Степа. – Понимаете, дело сложное, большое, в городе шуму будет много. Я об ограблении Никитушкиных слышал. Процесс привлечет широкое внимание. Тут генерал нужен. А я младший лейтенант.

Галстук не завязывается. Степан раздраженно дергает его, уродливый узел распускается, и Степан начинает завязывать заново. Афанасий Семенович вынимает старый портсигар карельской березы и достает папиросу. Это признак немаловажный. Весь детский дом знал, что, если Афанасий закурил, стало быть, происходят серьезные события. Афанасий достает спички, начинает чиркать, и спички не зажигаются. Степан завязывает галстук второй раз, и галстук опять не завязывается.

– Ты мне что-то неправду говоришь, Степа, – сомневается Афанасий Семенович. – Адвокаты ведь не носят погоны. Как узнаешь, кто генерал, кто лейтенант?

Степан срывает галстук, который решительно не завязывается, и подходит к Афанасию Семеновичу. Афанасий Семенович кладет спички, которые решительно не зажигаются, вынимает изо рта папиросу и ждет, что скажет Степан.

– Хотите, чтоб я сказал откровенно? – спрашивает Степан. – Хорошо, я скажу. Я плохой адвокат. Понимаете, просто плохой адвокат. Возьмусь за дело и завалю. Хороший адвокат доказал бы, что Груздев не виноват, я не сумею. Понимаете?

– Как у Груздева, – усмехается Афанасий Семенович. – «Я слабый человек, я плохой человек, все хорошие, а я ничтожество». – И вдруг он встает, решительный, резкий, и кричит на всю квартиру, которая, правда, к счастью, пуста: – А я педагог хороший? Я дрянь педагог, если вырастил вас такими хлюпиками! Мразью такой! Думаешь, мне сто раз не хотелось бежать из детского дома? Хотелось. И сестра у меня есть, старушечка в городе Колывани. Зовет: приезжай стариковать вместе. А я не еду. Почему? Потому что нельзя. Для вашего брата стараюсь. «Плохой адвокат»! Голова на плечах есть, образование имеешь. Не смей говорить мне, что ты плохой. Делать надо что можешь. Трус ты, вот что! Такой же, как Груздев. И опустился так же.

Степа застывает, держа снова распущенный галстук в руке.

– Право, Афанасий Семенович, – говорит он, – давно такого удовольствия не испытывал. Снова как будто мальчишка и вызвали меня пред светлые очи...

Афанасий Семенович усмехнулся, опять достал папиросу и чиркнул спичкой. Спичка сразу зажглась, и папироса закурилась.

– Хорошо, Афанасий Семенович, – продолжает Степа, – поскольку вы директор, не смею спорить. Нет, это я без шуток, я всерьез. У вас какие-нибудь дела в городе еще есть?

– К Тоне надо зайти, к жене Петинной, но это после пяти.

– В общем, – говорит Степа, – я сейчас чистое белье на постель постелю, вы поспите, потом, если хотите, прогуляйтесь. Я вернусь не скоро. К семи. Постарайтесь быть в это время дома. Я что можно узнаю о деле Груздева. Потом мы с вами пойдем пообедаем. У нас тут столовая рядом до девяти.

– Спать я не буду, – говорит Афанасий Семенович, – пойду город посмотрю.

– К черту, – кричит Степан и швыряет галстук на кровать, – думаешь, не обойдусь без тебя?! Надену свитер, и все. Вздумал капризничать. – Он достает из шкафа свитер, молниеносно надевает его и успокаивается. – Я вам ключ оставлю и покажу, как дверь отпирать, а запирается она сама. Захлопнете, и все. Значит, в семь часов встречаемся. И, вы извините, я побегу.

Он надевает пальто и кепку, объясняет, как отпирать дверь, и быстро сбегает вниз по лестнице. Афанасий Семенович возвращается в комнату, но сразу квартиру потрясает отчаянно громкий дверной звонок. Афанасий Семенович открывает дверь. В дверях стоит Степан. Он запыхался. Видно, быстро взбежал по лестнице.

– Афанасий Семенович, – говорит он тихо, – а вы уве-

рены, что Груздев не убивал или, по крайней мере, не участвовал в ограблении?

– Я твердо уверен, Степан, – так же тихо говорит Афанасий Семенович. – Петя не убивал и не грабил.

– Хорошо, спасибо, – говорит Степан и сбегает вниз.

## Глава двадцать седьмая

### *Бывший директор и бывший воспитанник*

Степан вернулся не в семь, а в восемь. Афанасий Семенович ждал его уже давно, отказался от чая, который ему предлагали соседи, и увлеченно читал «Судебные речи известных русских юристов». Степан прибежал, неся килограмм сосисок; достал у соседей большую кастрюлю, налил воды и поставил на электрическую плитку. Потом он стал носиться по квартире, принося то тарелки, то ножи и вилки, то горчицу, и в заключение принес те самые конфеты, которые утром уже брал у соседей, а сейчас попросил второй раз.

Афанасий Семенович молчал и поглядывал на Степана. Энергия в Степане прямо кипела, но невозможно было понять, узнал он что-нибудь и как вообще решил: браться за дело или не браться?

Вода в кастрюле наконец закипела, сосиски были брошены в воду, на письменный стол постелена салфетка, и Степан с Афанасием Семеновичем уселись на углу стола.

– Ну, как ты решил, Степа? – спросил, не удержавшись, Афанасий Семенович.

Степан, не отвечая, вскочил и выбежал из комнаты. Он вернулся через три минуты, неся в руках коробку с пирожными.

– Понимаете, – объяснял он, распаковывая коробку, – в одной руке я нес сосиски, в другой – пирожные. Ключ у меня есть еще один, кроме того, что я вам отдал, но он что-то плохо открывает. Я пирожные поставил на лестничной площадке, дверь открыл и вошел. А про пирожные и забыл. Потом вспомнил и испугался, что их взял кто-нибудь. Но нет, ничего, стоят. Вы очень проголодались?

– Не очень, – коротко ответил Афанасий Семенович, решив, что больше о деле никаких вопросов задавать не будет.

Степан, впрочем, разложив сосиски по тарелкам, начал разговор сам.

– Значит, так, – сказал он, – во-первых, следствие по делу Клятова и Груздева скоро должно быть закончено. Во-вторых, у Клятова уже есть защитник. Это самый знаменитый в городе адвокат Грозубинский. Он очень славный старик и, так сказать, шефствует надо мной. Помогает советами, литературу рекомендует и все такое. Ну, по этому делу мне, конечно, с ним советоваться неудобно, поскольку мы противники.

– Почему противники? – спросил Афанасий Семенович.

– Ну как же... Он, вероятно, будет доказывать, что Груздев подговорил Клятова на ограбление и убил Никитушкину. Я, вероятно, буду доказывать наоборот, что Груздев вообще в ограблении не участвовал, а что Клятов грабил с кем-то другим.

– Ты что же, познакомился с делом? – спросил Афанасий Семёнович.

– Нет, что вы! Пока следствие не кончено, дело никому не покажут. Грозубинский считает, что дело, судя по всему, очень трудное. Я его предупредил, что мне предлагают защищать Груздева. Он посоветовал мне отказаться. Это он честно поступил. Правду-то говоря, я для него опасности не представляю. Как барашек для льва. Вы, кстати, подумайте хорошенько, стоит ли в мои руки судьбу Груздева отдавать. А то у нас тут еще есть очень хороший адвокат – Колесников. Ему лет сорок. Он уже серьезные процессы вел. Я могу его попросить отнестись особенно внимательно.

Афанасий Семенович за долгие годы работы в детском доме научился понимать не только то, что человек говорит, но и то, что он думает и чувствует. Так и сейчас он понимал, что Степан уже весь захвачен делом. Он, конечно, без спора передал бы его в другие руки, но расстроился бы ужасно. Афанасий Семенович ощущал это великолепно и поэтому отмахнулся от слов Степана, коротко ответив:

– Не говори ерунду. Говори о деле.

Степан торопливо прожевал половину сосиски, которую успел засунуть в рот, и продолжал:

– Так вот: с делом Грозубинский еще не знаком, но слухов по городу ходит много. Многие знали Клятова и Груздева, многие навестили Никитушкина в больнице и выслушали его рассказы. Так что слухи в основном безусловно достоверны. Точка зрения Грозубинского такая: Клятов рецидивист и в душе бандит ужаснейший, но именно потому, что не раз сталкивался с законом, сам бы

на такое дело не пошел. С другой стороны, Груздев – опустившийся человек, пропивший и честь и совесть. Он никогда еще не чувствовал тяжелой руки закона и по неопытности бесстрашен. Клятов, наоборот, ни за что не пошел бы на убийство, потому что знает – это штука серьезная. Груздеву все нипочем. Он для храбрости выпил, и море ему по колено. Это в общих чертах, конечно. Грозубинский считает, что никаких сомнений у суда возникнуть не может. Он целую лекцию прочитал о том, что мне в моем возрасте братья за такое безнадежное дело бессмысленно. Я тут схитрил, сказал, что вы меня просите, и я не могу отказаться. Тогда он мне прочел нравоучение о том, что, когда речь идет о делах профессиональных, разум должен быть на первом месте. Все-таки очень порядочный человек. И действительно хорошо ко мне относится...

– Два вопроса, – перебил Степана Афанасий Семенович. – Первое: из чего видно, что он к тебе хорошо относится? И второе: может быть, он прав и тебе действительно лучше отказаться?

Следует иметь в виду, что если в первом вопросе Афанасий Семенович был искренен, то во втором – он лукавил. Ему хотелось еще раз проверить Степана и, главное, узнать, что в этом деле так его увлекло.

– Отвечаю по порядку, – сказал Степан не очень внятно, жуя сосиску. Он проглотил ее, впрочем почти не разжеванную, и продолжал уже более отчетливо: – Хорошо он ко мне относится потому, что на суде будет спор между защитниками Клятова и Груздева. Конечно, Грозубинскому выгодней иметь противником такого мальчишку, как я, чем, скажем, Колесникова. Так что он добровольно отка-

зывается от преимущества. Если я откажусь, вы можете поручить дело опытному, знающему человеку.

– Ну, а второе? – спросил Афанасий Семенович.

– Второе, – сказал Степан и неторопливо проглотил еще одну сосиску, продумывая, как лучше все объяснить. – Второе то, что у меня возникли некоторые сомнения в виновности Груздева.

– Какие же?

– А вот какие. Первое: если бы Груздев грабил, он не поехал бы к вам. Отбросим моральные соображения. Он же понимает, что у вас его прежде всего будут искать. Второе: если бы Груздев грабил, он бы не стал вам и братикам рассказывать о том, что он условился с Клятовым идти грабить и убежал в последнюю минуту. Третье: если бы Груздев грабил, он не стал бы за полсуток до того, как идти грабить, наекать в письме к братикам, что он, мол, готов был окончательно потерять совесть, но приезд братиков его спас. Чересчур это дальновидный расчет для Груздева. Он пьяница, забулдыга, но не такой уж хитроумный мерзавец. Грозубинский, со слов Никитушкина, которые ему передали, рассказал любопытную деталь. Клятова Никитушкин опознал, второго грабителя он не опознал. Однако помнит, что когда второй убежал в другую комнату, где взял деньги, то Клятов его позвал: «Петр». Странно, что такой опытный преступник, как Клятов, громко называет своего соучастника по имени. Не нарочно ли он обкладывает Груздева уликами? Наконец, в ваш райцентр из Энска уходят два ночных поезда, в двенадцать часов и в два часа ночи. Вы говорите, что Груздев купил в вокзальном ресторане пакет с едой. Но в два часа ночи вокзальный ресторан закрыт. К вам он когда приехал?



– В десять утра, – сказал Афанасий Семенович. – Говорит, что до света ждал, ночью боялся один через лес идти, так что, может быть, выехал в двенадцать, а может быть, в два.

– Скажите, – спросил Степан, – вы говорили, будто кто-то его на вокзале окликнул?

– Так он мне сам рассказывал.

– Тоже надо запомнить.

Афанасий Семенович достал папиросу из портсигара и закурил. Только поэтому было видно, как серьезно и взволнованно относится он к разговору. Он за этот день и так уже выкурил папирос десять, если не больше.

– Слушай, Степа, – сказал Афанасий Семенович, – ты понимаешь сам, как я хочу, чтобы ты нашел промахи в следствии. Но ведь следствие вели, вероятно, опытные люди, знающие свое дело и стремящиеся раскрыть истину. Ни ты, ни Грозубинский с делом еще не знакомились. Знаете о нем только по слухам. Не увлекайся тем, чтоб опровергать следственные материалы до тех пор, пока не познакомишься с делом. Представь себе, что все установленное следствием соответствует истине, в каком положении ты окажешься на суде?

Степан протянул руку и, даже не спросив разрешения, взял из лежащего на столе портсигара Афанасия Семеновича папиросу. Из этого безусловно следовало, что он очень взволнованно и напряженно думает. Он вообще никогда не курил.

– Как правило, – сказал он, пуская дым не затягиваясь, – в судебном разбирательстве участвуют сплошь опытные и знающие свое дело люди. Опытный прокурор говорит на

основании данных, полученных опытными следователями. Опытный адвокат опровергает их. Опытные судьи решают спор между ними. Если бы опытные следователи никогда не ошибались, зачем бы нужен был суд? Кончили следствие, решили, какое наказание положено за установленное преступление, и все. А почему-то опытные люди после того, как следствие кончено и обвинительное заключение написано, разбираются, спорят, опровергают друг друга для того, чтобы вынести то или другое решение. Вы думаете, редко оправдывают подсудимых? Не очень часто, конечно, но и не так уж редко.

– Но если следователи обладали материалом, то ты ведь нового материала внести не можешь? – спросил Афанасий Семенович.

– Вот тут у нас и будет с вами разговор, – сказал Степан и запыхтел папирсой, выпуская, как всякий некурящий человек, клубы дыма и производя звуки, которые мог бы производить небольшой игрушечный паровоз.

У Афанасия Семеновича папироса вообще потухла. Однако он, не замечая этого, будто бы втягивал дым и будто бы выпускал его. Он тоже почувствовал, что разговор будет серьезный.

– Коллегии предложат назначить защитника Груздеву, – продолжал Степан. – Если хотите, я могу попросить, чтоб коллегия назначила меня. Тогда вам это ничего не будет стоить. Если хотите, чтоб было верней, пойдите завтра в коллегия и внесите деньги. Я их вам сегодня дам, у меня есть. И скажите, что вы просите, чтоб защищал Груздева я...

– Деньги у меня у самого есть, – перебил Афанасий Семенович, – я завтра внесу. А что ты еще хотел сказать?

– Понимаете, в чем дело, – Степан замялся, – конечно, может быть, в обвинительном заключении будут пункты, с которыми можно спорить. Вполне возможно, что следствие допустило противоречия, на которые я смогу обратить внимание суда. Вероятно, однако, что таких противоречий не будет. А между тем, думаю, что можно найти свидетелей, которые поколебали бы обвинительное заключение. Например, Груздев рассказывал вам, что его кто-то окликнул в вокзальном ресторане. Кто? Он не оглядывался и не знает. Можно ведь попытаться найти этого человека. А если их было несколько, если они компанией зашли в ресторан? Тогда это же алиби! Я имею право попросить коллегия направить запрос в учреждение. Имею право просить суд вызвать свидетеля, объяснив суду, что именно он может показать и почему это важно для дела. Но я не знаю, куда мне нужно посылать запрос и кого мне нужно вызвать в свидетели.

– Что же делать? – спросил Афанасий Семенович.

– Не знаю, – немного резко сказал Степан. – Знаю только одно: если бы кто-нибудь мне сказал: «Дорогой Степан Иванович, мне удалось случайно узнать, что некто Сидоров был в вокзальном ресторане и видел в двенадцать часов ночи седьмого сентября Петра Груздева», я попросил бы суд вызвать Сидорова свидетелем. Или, например, этот неизвестный человек сказал бы мне: «Знаете ли вы, Степан Иванович, что заведующего сберкассой, в которой Никитушкин держал деньги, видели на бульваре гуляющим под ручку с гражданином Клятовым». Или, например, третий случай: вы меня знакомите с неким Ивановым, который сидел с Груздевым в кино и вышел с ним вместе оттуда в

одиннадцать тридцать. Или еще пример: к вам пришел человек и сказал, что он ехал в поезде, отходящем в двенадцать ночи, с Груздевым. Представляете себе, как бы все сразу изменилось...

Афанасий Семенович заметил наконец, что папироса его не курится, и чиркнул спичкой.

— Конечно, изменилось бы, — сказал он. — Как у вас в Энске с гостиницами, трудновато?

— Нет, зимой ничего, — ответил Степан.

— Если б я братиков вызвал сюда пожить, — спросил Афанасий Семенович, — ты мог бы выхлопотать им номер?

— Наверное, мог бы, — сказал Степан.

— Узнай утречком. Я завтра поеду домой ночным поездом, тем, который в двенадцать отходит. Ты проводишь меня?

— Конечно. Теперь, Афанасий Семенович, последнее. Имейте в виду, это очень важно. Завтра позвоните по этому телефону следователю прокуратуры Ивану Степановичу Глушкову, объясните, кто вы, и скажите, что вы хотите с ним встретиться. Изложите ему все наши сомнения. Попросите проверить, видел ли кто-нибудь Груздева на вокзале. Груздев мог об этом на следствии не рассказать. Попросите проверить кинотеатры. На всякий случай попросите проверить сберкаассу. Вероятно, они это сделали, однако напомнить не мешает. Сделайте это обязательно.

— Сделаю.

Больше в этот день о деле Груздева не было сказано ни слова. Вечером они говорили о детском доме, и Афанасий Семенович дал подробнейший отчет о бывших товарищах Степана. Степан рассказывал, как он получил комнату. Он

жил у хозяйки. Стоял в горсовете на очереди, думал, что получит еще года через три. Вдруг вызывают его повесткой в горсовет: «Вы однокомнатную хотите?» – «Да мне хоть бы комнатку, метров семь». Товарищ из горсовета даже руками развел. «Вы, говорит, человек исключительный. Теперь все отдельные квартиры хотят. Возьмите-ка смотровой ордерок, сходите посмотрите». Степан побежал смотреть, через час вернулся. «Беру!» – кричит. И на следующий день переехал. Не прогадал. Соседи замечательные. Живут прямо как одной семьей.

На следующий день после завтрака Степан опять убежал в консультацию. Афанасий Семенович тоже зашел туда, сказал, что он близкий человек, можно сказать, приемный отец подсудимого Груздева. Что он хочет, чтоб его приемного сына защищал адвокат Гаврилов. Потом он внес деньги в кассу и неизвестно почему прошел мимо Степы, делая вид, что никогда его и в глаза не видел. Потом он долго ходил по городу. Купил игрушек маленькому Вовке Груздеву и конфет Тоне. Позвонил Глушкову. Условился, что примут его через час. Просидел у Глушкова часа полтора. Вышел из прокуратуры хмурый. Послал телеграмму в детский дом: просил, чтобы утром машину прислали на станцию. Потом зашел к Тоне, потом поехал посмотреть дом Никитушкиных – Тоня ему дала адрес. Потом съездил на вокзал, купил билет.

Степан примчался домой, как и вчера, около восьми.

– Были у Глушкова? – спросил он еще в дверях.

– Был, – сказал Афанасий Семенович.

– Ни и что?

– Выслушал очень внимательно. Записал. Поблагодарил.

– Ну и что?

– Ну и все.

Степан молча начал выкладывать на стол разные продукты. Афанасий Семенович руками замахал и отобрал себе на дорогу самую малость. Ни тот ни другой о деле Груздева не говорили ни слова. Только когда они стояли уже на перроне возле вагона, Афанасий Семенович протянул Степану лист бумаги и сказал:

– Тут адрес Тони Груздевой. Может, понадобится. И имена, отчества, фамилии и адреса братиков. Они дадут тебе телеграмму по домашнему адресу. Ты о гостинице позаботься. А встретит их Тоня.

Степан небрежно сунул в карман лист бумаги и кивнул головой. Подождав, пока поезд тронется, и помахав рукой на прощание, Степан пошел домой пешком и всю дорогу думал, качал головой, а иногда даже разговаривал сам с собой, так что прохожие оборачивались.

К счастью, на улице было темно, и никто из прохожих не признал в этом, очевидно безумном, человеке молодого адвоката Гаврилова.

## **Глава двадцать восьмая**

### ***Подзащитный и адвокат***

Шли дни. Снова и снова допрашивали Клятова. Снова и снова допрашивали Петра.

Клятов твердо стоял на своем. Нельзя было в его показаниях найти хотя бы мелкое противоречие. Если его показания лживы, то как же за все время не сбился он хотя бы

в пустяке. Следователи с каждым допросом все больше верили ему. Все, что он говорил, сходилось с показаниями Никитушкина, с объективными данными, все выстраивалось в завершенную, стройную картину.

Сложнее было с Груздевым. Груздев сначала признался. Потом отказался от признаний. Потом снова признался. Потом снова стал отрицать свою вину. Следователи замучились с ним. В тот период, когда он признавался, его возили в Колодези. Дом Никитушкиных он показать не смог. Может быть, потому, что Клятов его сюда приводил пьяным, ночью, в темноте. Может быть, потому, что он просто прикидывался, собираясь в очередной раз отказаться от признания.

Следователи размышляли: Клятов – рецидивист. Он понимает, что, раз попался и уличен, ломаться нечего. Груздев, втянутый в преступление, впервые столкнувшийся с законом, то на что-то надеется, то впадает в отчаяние, то снова наивно рассчитывает выйти сухим из воды. Вероятно, правду говорит все-таки Клятов.

Шли дни. Допросы, допросы, допросы...

Нового ничего. Картина, кажется, ясная. Следователь признает «предварительное следствие законченным, а собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения». Об этом объявляют Клятову. Клятов хочет иметь защитника. Клятову и его защитнику, адвокату Грозубинскому, предъявляются для ознакомления все материалы дела.

Груздев от защитника отказывается. Потом вдруг заявляет, что непременно хочет иметь адвоката, и не кого-нибудь, а именно члена коллегии защитников Гаврило-

ва. И «ходатайствует о вызове защитника для участия в ознакомлении с производством по делу». Я пишу теми словами, какими это ходатайство определено в законе и занесено в протокол. Потом «обвиняемый Груздев просит разрешить ему и защитнику знакомиться с материалами дела раздельно». И эту фразу я выписываю из протокола.

Материалы дела были предъявлены Груздеву. Груздев небрежно и равнодушно перелистал их. У Гаврилова ознакомление с делом заняло три дня.

Пока Гаврилов знакомился с делом, Груздев в долгие тюремные ночи понял, что он погиб, впал в отчаяние и решил, что всякие попытки защищаться бессмысленны. Именно в это время его вызвали из камеры на свидание с адвокатом. Настало время адвокату Гаврилову, как положено по закону, увидеться с обвиняемым наедине.

Степан подошел к проходной и предъявил пропуск. Провожатый повел его в узкий, длинный кирпичный корпус. Комнаты, в которых адвокатам полагалось разговаривать со своими подзащитными, помещались в первом этаже. В одну из них ввели Степана. О тюрьме в ней напоминала только решетка на окне. Здесь и дверь не была обита железом и «глазка» не было в двери. У окна стояли письменный стол и два стула по обеим его сторонам. Гаврилову все это было не внове – он уже не раз бывал в таких комнатах и разговаривал с подзащитными. Каждый раз у него оставалось неприятное чувство от того, что его собеседника после конца разговора уводили обратно в остервеневшую ему камеру. Гаврилов был адвокат молодой, и для него этот печальный факт не стал еще повседневностью. Сегодня неприятное чувство было у него в тысячу раз



сильней. Ему предстояло видеться и говорить с бывшим своим товарищем по детскому дому. Посидеть бы им с Груздевым да вспомнить, например, как Афанасий, несмотря на свою больную ногу, занимался с ребятами гимнастикой зимой и летом, в жару и мороз, во дворе, под открытым небом. Или о том, что каждый вечер перед сном он прощался с каждым воспитанником отдельно. Как было ужасно, если сегодня он не пожелал тебе спокойной ночи, не посидел хоть минуту на краю твоей кровати. Значит, уж очень сегодня ты обозлил его.

За дверью слышались шаги, вошел подсудимый; конвойные остались в коридоре и плотно притворили дверь.

Последний раз Гаврилов видел Груздева девять с лишним лет тому назад, когда четверо братиков, счастливые и взволнованные, уезжали держать экзамены в институт. В детском доме тогда было большое волнение.

Конечно, Гаврилова оно пока еще мало касалось, но все-таки волновался и он. Неважно, что он пока что малыш, а братики уже кончили школу. Все равно, если братики поступят в институт, значит, каждый из малышей в свое время тоже сможет поступить. Поэтому на братиков смотрели почтительно, и, когда дежурный воспитатель уходил, во всех спальнях начинались разговоры: поступят они или не поступят? Большинство говорило, что не поступят. Не потому, что не верили в них, а потому, что из смешного школьного суеверия боялись сглазить, накликать на братиков неудачу.

Они казались тогда Степану весьма почтенными молодыми людьми. Он и сравнить не мог себя, тринадцати-

летнего пацана, с этими зрелыми мужчинами. Сам Афанасий серьезно и подолгу беседовал с ними!

Когда вошел Груздев, Степан вздрогнул. Неожиданно старым показался ему его товарищ по детскому дому, которому никак не могло быть больше чем двадцать восемь или двадцать девять лет. Груздев сутулился, может быть, от того, что привык, идя под конвоем, держать руки сложенными за спиной. Нет, не только от этого. Страшная была в нем подавленность. Какое-то безнадежное равнодушие отражалось на его лице. Постоянное, привычное равнодушие. А эти мешки под глазами, а эти складки у рта! Не может быть, чтоб это был тот самый взволнованный и счастливый парень, которого весь детский дом провожал держать экзамены в институт!

Груздев смотрел на Степана хмуро. Обычно подзащитные приходят на свидание с адвокатом в состоянии некоторого возбуждения. Им хочется высказать доводы в свою пользу, которые пришли им в голову в длинные часы тягостных раздумий. Им хочется услышать от адвоката, что положение не безнадежное. Есть много шансов, что дело решится в их пользу.

Ничего такого не отражалось на лице Петра. Просто, очевидно, думал он, будет еще один разговор. Ну что ж, он привык, перетерпит. Его дело слушаться, а начальники как хотят. Гаврилов полминуты, не больше, смотрел на Петра, но его тут же охватило чувство безнадежности. Надо проговорить речь, попросить снисхождения и поскорее сплавить этого Груздева куда там ему положено: в тюрьму или в колонию.

Гаврилов почувствовал, что, если он поддастся этому

настроению, дело можно считать заранее проигранным. Не только это дело, но и все будущие дела. Адвокатская практика станет для него тяжелым бременем, без упорства в борьбе и без надежды на успех.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал Гаврилов, стараясь быстро привести себя в состояние активности. – Вы меня не помните? Мы с вами воспитывались в одном детском доме в селе Клягине, у Афанасия Семеновича. Я, правда, был на пять лет младше вас, так что вы на меня небось и внимания не обращали. Гаврилов моя фамилия, Степа Гаврилов.

Тусклые глаза смотрели на Степана, тусклым голосом ответил ему Петр:

– Да, я не помню вас.

– Ко мне Афанасий Семенович приезжал, – несколько слишком бодро продолжал Степан, стараясь преодолеть безнадежно вялый тон разговора.

– Он уже знает, что я признался в убийстве и грабеже?

– Да, знает, – сказал Гаврилов, – знает, что были даны такие показания. И Афанасий Семенович и я в грош их не ставим.

– Как же так? – без особенного удивления сказал Груздев. – Они ведь подписаны.

– А мы с Афанасием Семеновичем им, повторяю, не верим, – сказал суховато Гаврилов. А про себя подумал: «Вот так, суше, без сентиментальных воспоминаний».

– Что ж, вы меня защищать собираетесь?

– Да.

– А я передумал и не хочу, – неожиданно громко и резко сказал Петр.

«Очень хорошо, – подумал Гаврилов, – главное – вывести его из равнодушия».

– Объясните почему, – холодно сказал он.

– Потому что не хочу. Потому что я виноват и должен отвечать. Вы меня совсем тряпкой считаете? Согласился идти на грабеж, потом отказался. Признался в грабеже, потом опять отказался. Адвоката прислали – отлично, пусть защищает. Вы-то чего за безнадежное дело взялись? Деньги небось с Афанасия захотелось сорвать? Разве нет способов заработать честно?

– Вы можете оскорблять меня сколько угодно, – сказал Гаврилов равнодушно. – Я обязан вас защищать и буду. Так что давайте говорить по делу.

– Я откажусь, – закричал Груздев, – от всего откажусь! От адвоката, от показаний и от отказа от показаний! Пусть как хотят, так судят. Я ничего говорить не желаю и не буду. Поняли?

– Психовать собираетесь? – деловито спросил Степан. – Ваше дело. Но только экспертиза ведь была. Так что и не надейтесь. Психиатрам поверят больше, чем вам. Скажут, ну хоть не скажут, так подумают: обыкновеннейший симулянт. – Степан наклонился и негромко стукнул ладонью по столу. – Ваша позиция мне ясна, – сказал он, – теперь выслушайте меня. Я взялся за ваше дело по двум причинам. Во-первых, меня просил Афанасий Семенович. Во-вторых, я не считаю ваше положение безнадежным. Вероятно, многое в следствии может быть опровергнуто.

– А побеги? – спросил язвительно Петр. – Невинный человек – и вдруг удирает, скрывается.

– Если уж вы со мной, со своим адвокатом, так

психуете, то как-нибудь, наверное, мы убедим суд, что удирали вы в истерическом состоянии. Нельзя же всерьез считать, что вы надеялись скрыться в снегу, когда вас ловили на лесопункте.

– Ну, а побег из Клягина? Блестящий по смелости побег. Какая уж тут истерика!

– Ха, – презрительно усмехнулся Гаврилов, – обыкновенная вещь – перетрусили. Хотели прийти в отделение милиции, поклониться на четыре стороны и сказать: «Братцы, вяжите меня!» И вдруг за вами приехали и собираются задержать как обыкновеннейшего беглеца. Вы, кажется, Афанасию Семеновичу рассказывали, что все не могли бросить пить. Сразу хотели из страхолюды превратиться в красавца. Так ведь и тут нечто подобное. Вместо красивой сцены, после которой начальник отделения милиции бросается вам на шею, а в Верховный суд сообщают о вашем благородном поступке, вас силком под руки в машину и в тюремную камеру. Конечно, не сказка. Да ведь сказок-то не бывает. Зато в жизни хоть и не так красиво, но все на самом деле.

– Афанасий и это вам рассказал! – хмуро пробурчал Груздев.

– Да поймите вы, – яростно сказал Степан, – вся эта прекрасная ложь, которую вы себе спьяну напридумывали, ничего не стоит!

– Уж будто бы вы врать не собираетесь, адвокат... – Груздев насмешливо улыбнулся.

– Ради вас не собираюсь, – ответил Степан. – И берусь за ваше дело не для Афанасия. Я его люблю и считаю замечательным человеком, но врать и для него бы не стал.

– А почему же вы за мое дело беретесь? – спросил Груздев с той же усмешечкой. – Улик целая куча, признание есть. Правда, потом отказался, но это же истерика.

– Врете! – рявкнул Степан.

– Ну, вру, – согласился Петр, – а как вы это докажете?

– Самым обыкновенным образом. Сличая показания, допрашивая свидетелей, анализируя каждый ваш шаг. Я вам скажу, как было дело. Вы с Клятовым сговорились насчет грабежа. Потом оказалось, братики едут. Убежали. Тогда Клятов взял другого соучастника и с ним ограбил Никитушкиных. Когда его схватили, он все отрицал. Как всякий бандит. А потом услышал, что вы признаетесь, и сразу сориентировался. Раз восемьдесят процентов зря признали, значит, вам и сто с гаком навалить можно. Тоже признаете. А не признаете, все равно в вашу вину поверят. Нормальный преступник всегда признает как можно меньше. А о том, что вы не нормальный, знают только шесть человек: три братика, мы с Афанасием да Тоня, ваша жена.

– Все это хорошо. Но как же вы суд в этом убедите?

Груздев все еще усмехался, но усмешечка эта потеряла свою, так сказать, убедительность. Она относилась к предыдущей сцене, а теперь сцена уже шла другая. Груздев скрывал это плохо.

– Очень просто. В отличие от вас, психовать не буду, а спокойно разберу. Без ваших истерик. Просто все разберу. Шаг за шагом. И никакие ваши признания перед спокойным разбором не устоят.

– А если я откажусь от адвоката? – сказал Груздев уже без усмешки, а как бы раздумывая.

– Знаете что, мне это надоело, – сказал Степан. Он встал и застегнул молнию на клеенчатой папке, в которой лежали выписки из дела. – Первый раз в жизни вижу, чтобы приходилось уговаривать человека получить оправдание. Я думаю, что на оправдание можно рассчитывать. Думаю, потому что знаю: вы не грабили. Отказываетесь? Ваше дело. Мне сидеть и смотреть, как вы передо мной выкаблучиваетесь, некогда. Всего лучшего.

Самое важное было, чтобы по спине Гаврилова Петр не заметил, как он боится, что ему позволят уйти. Этого, кажется, удалось избежать. Вид у Гаврилова со спины был самый решительный. Он взялся за ручку двери и распахнул ее. Конвойные, сидевшие на скамейке в коридоре, вскочили. «Все пропало», – подумал Гаврилов. И в это время услышал сзади очень негромко сказанное:

– Постойте!

Конвойные подошли, и один из них спросил:

– Кончили, товарищ адвокат?

– Нет еще, – сказал Гаврилов, – вы не можете принести нам свежей воды?

– Одну минуточку.

Конвойный закрыл дверь, Гаврилов повернулся. Петя стоял, опираясь на стол обеими руками, и чувствовалось, что стоит он с трудом, что его ноги не держат.

– Садитесь, – сказал Гаврилов. – Сейчас выпьете воды, и поговорим серьезно.

Петя сел. Гаврилов торопливо осмотрел камеру. Действительно, графина с водой не было. Дверь открылась. Конвойный принес воду. Он еще извинился, что в камере графин не поставили. Гаврилов сказал, что это ничего, за-

крыл дверь, налил в стакан воды, секунду поколебавшись, выпил сам, налил второй стакан и дал Петру. Петр тоже выпил. Рука у него дрожала.

– Теперь рассказывайте, – сказал Гаврилов.

Я опускаю подробный и длинный рассказ Груздева, потому что все, о чем он рассказывал, читателю известно. Несколько раз Петр пил воду, но, в общем, держался хорошо.

В тот момент, когда Гаврилов решительно пошел к выходу, Петя почувствовал, что уходит последняя возможность поговорить с человеком, который тебе верит и хочет тебе помочь. Петру очень страшно стало остаться одному со своими противоречивыми показаниями, со своими психозами и истериками, с умелым и уверенным в себе Клятовым. Теперь, когда Степан вернулся, ему стало легче, и он держал себя в руках.

Когда рассказ был окончен, Степан спросил:

– А у вас или у Клятова не было еще какого-нибудь знакомого, которого тоже зовут Петр?

– Нет, – сказал, подумав, Петя.

– А в сберкассе у вас никого знакомых не было?

– Вкладчики мы не крупные. Так что в этих кругах знакомства не заводили, – сказал Петя с вымученной улыбкой.

– Теперь скажите, – спросил Гаврилов, – кто вас окликнул в вокзальном ресторане? Откуда был этот человек? С завода или так, знакомый по пьяному делу? Попробуйте вспомнить.

– Нет, не вспомню, – сказал Петр. – Я испугался, когда услышал, что меня зовут. Мне не до того было, чтобы



смотреть кто. Единственно, что окликнули меня «Петух». А так меня на заводе звали.

– Хорошо, – сказал Гаврилов, – сейчас мы расстанемся. Я к вам приду примерно через неделю. Постарайтесь за это время вспомнить, кого вам напоминает голос, окликнувший вас на вокзале. И последнее: ваша жена просила узнать, что вам передать. Имейте в виду, что Афанасий оставил ей деньги. Так что вы ее не разорите.

– Нет, – сказал Груздев, – ничего не надо. Когда превращусь из страхолюды в красавца, тогда приду и в ножки ей поклонюсь. А до этого ничего не хочу. Если можете, постарайтесь передать ей это слово в слово.

– Опять хотите как в сказке?

Довольно дружелюбно они пожали друг другу руки, и Гаврилов ушел.

## Глава двадцать девятая

### *Станция Едрово*

Письмо от Афанасия Семеновича пришло уже в разгар зимы в адрес редакции «Уральца», на мое имя. Афанасий Семенович сообщал, что был в Энске, поручил Петину защиту Степе Гаврилову, воспитаннику клягинского детского дома, побывал у следователя прокуратуры Ивана Степановича Глушкова и дал ему свои показания. Глушков будто бы выслушал его очень внимательно и все его показания подробно записал. Афанасий Семенович считал, что кто-нибудь из нас должен съездить в Энск и тоже дать показания Глушкову, а кто-нибудь написать в Энский областной суд заявление о том, что хочет быть допрошенным.

Лучше, советовал Афанасий Семенович, если Глушкову даст показания один, а в суд напишет другой. Таким образом в деле будут показания двоих. Если они вообще могут чем-нибудь помочь, то этого достаточно.

Как будто бы все было хорошо. И адвокат принял дело, да еще свой, клягинский. И следователь выслушал, даже не только выслушал, а все записал. И все-таки в самом тоне письма, независимо от его содержания, сквозило сомнение, больше того – неверие.

Я позвонил Сергею, и мы условились вечером быть у Юры.

Как только все собрались, я прочел письмо вслух, стараясь не навязывать свою интонацию.

– Печалится Афанасий, – хмуро сказал Сергей, когда я кончил.

Мы старались не говорить друг другу о том, что все трое боимся за Петьку. Слишком уж скверно, трагически скверно сложились для него улики. Одна зажигалка чего стоила! Тоня писала, что в городе рассказывают, будто Никитушкин слышал, как Клятов назвал второго грабителя Петром. Да еще Петькино бегство, вернее сказать, три бегства. Словом, мы понимали, что дела нашего друга далеко не блестящи.

Обсудив вопрос по существу, мы решили, что давать показания следователю поеду я. На суд мы, конечно, поедем все трое, но свидетелем на суде выступать будет Сергей. Говоря по совести, мы с Сергеем считали, что Юрку выпускать с показаниями опасно. Он может растеряться и сказать что-нибудь, что произведет па суд неблагоприятное впечатление. Кроме того, он может вспылить, и

тогда одному господу известно, что он наговорит в сердцах.

С Юрой мы нашими соображениями не делились. Он, впрочем, их, вероятно, угадывал и даже соглашался с ними, потому что спорить не стал.

Итак, сейчас предстояло ехать мне. Договорились, что утром я до работы зайду за билетом на вокзал и вечером поеду. С этим разошлись. Все трое были хмурые и молчаливые. Противно было у всех троих на душе. И на улице мы с Сергеем сразу же разошлись. Тяжелая это была тема — история преступления Петра Груздева. Уж столько мы о ней говорили, что сил больше не было. А ни о чем другом и мысли не шли в голову.

И вдруг в половине первого ночи, я уже собирался ложиться спать, Сергей явился ко мне домой. Он торопливо разделся в передней и начал говорить, как только вошел в комнату. Он, оказывается, вспомнил то, что рассказывал нам Петр в Клягине. Будто бы, когда Петр уезжал из Энска, его на вокзале кто-то окликнул. Кто — он не помнит.

— Возможно, — сказал Сергей, — Петька этого следователю и не рассказал. Ну, а уж Афанасий Семенович рассказал наверняка. Суть дела в том, что если даже следователь обратил внимание на этот факт, то, скорее всего, не поверил ему. А если поверил, то почти наверняка не нашел человека, который Петьку окликнул. Иначе Афанасий понял бы это по ходу допроса и написал бы об этом в письме.

Я сказал, что, конечно, об этом тоже расскажу следователю и попрошу разыскать таинственного свидетеля.

— Не в том дело, — сказал Сергей, — следователь скажет тебе, что рассказ Петьки настолько неточен, что найти

человека просто немыслимо. И между прочим, в самом деле, что может сделать следователь? Объявить на заводе, что просит дать показания тех, кто видел Петра Груздева седьмого сентября около двенадцати ночи в вокзальном ресторане. А если какой-нибудь дурак решит соврать, чтоб спасти товарища?

– Что же еще мы можем сделать? – спросил я. Сергей вытащил из кармана бумажный обрывок и положил на стол.

– КК, – сказал он, – Константин Коробейников, село Едрово, Валдайского района, Новгородской области. Если помнишь, работал с Петькой на одном заводе.

Я сперва даже не понял, откуда эта записка. Потом мне вспомнилась ночь, Яма и записка, найденная Сергеем в мусоре под веником. В то утро в милиции никто из нас о ней не вспомнил. Она так и осталась в кармане у Сергея. Он нашел ее, когда был уже в С., у себя дома. И тоже не придавал ей значения, но на всякий случай сунул в ящик. А сегодня вспомнил о ней.

– Что же сможет сделать Коробейников? – спросил я.

– Поехать в Энск, прийти на завод и поспросить ребят.

– То есть то же самое, что может сделать и следователь.

– Нет, не то же самое. Коробейников проработал на заводе несколько лет, он знает там всех и каждого, у него больше шансов найти, чем у следователя. Ну, в конце концов, не найдет, что ж делать... А представь себе, если найдет?

– Ты хочешь, чтоб я ехал в Едрово?

– Это займет у тебя лишний день, самое большее – два. Я смотрел в справочнике, это тридцать километров от

станции Бологое. Есть прямой поезд от Москвы. Езжай. Завтра последний самолет в Москву летит в шесть вечера. Поезд на Новгород отходит в час ночи. Раненько утречком будешь в Едрове. И уговори Коробейникова поехать в Энск. Сейчас зима, на недельку его всегда отпустят. Если он скажет, что у него нет денег, дай ему пятьдесят рублей. Вот, я принес.

– Почему ты?

– Потом посчитаем, что каждый истратил, и разделим на троих, а сейчас бери.

Меня не очень привлекала эта поездка. До Энска прямой поезд, а тут пересадки, какое-то село, да еще неизвестно, что за человек Коробейников. С другой стороны, вдруг он действительно сможет найти человека, который окликнул Петьку. Не такое у Петьки положение, чтоб упускать хотя бы ничтожный шанс.

– Ладно, – сказал я. – Решено. Еду...

Дорога была действительно утомительной. Я попал на Ленинградский вокзал за четверть часа до отхода поезда. К счастью, билеты были. Рано утром поезд остановился на маленькой станции, где даже чая нельзя было выпить. Село было большое, раскинувшееся широко. Сельсовет, куда я прежде всего отправился, оказался закрыт. К счастью, я высмотрел небольшое, но очень современное сооружение, в котором три стены из четырех были стеклянные. Как я и предположил, это оказалась столовая. Я съел яичницу, выпил жидкого чая, согрелся, пришел в себя и отправился в сельсовет. Всех встречных по дороге я спрашивал про Костю Коробейникова. О нем никто ничего не слышал. Я допытывался так настойчиво, что на меня стали смотреть с

подозрением. В сельсовете секретарь сообщил, что Коробейников в селе Едрове не проживает. Этот туповатый молодой человек смотрел на меня очень недоверчиво. Он, по-видимому, был твердо уверен, что меня следует задержать. Следует-то следует, но, с другой стороны, опасно. Как будто я и ростом повыше его и в плечах пошире.

Мрачный вышел я из сельсовета. Очевидно, проклятая бумажка, брошенная в мусор, ввела нас в заблуждение. Оставалось одно – ехать обратно.

Случайно обернувшись, я увидел, что секретарь вышел из сельсовета сразу за мной и торопливо пошел, почти побежал куда-то по улице. Как я понял, за подмогой, чтобы все-таки не дать подозрительному человеку убежать и доставить его куда следует.

Станция была маленькая и довольно грязная. Вместо буфета стоял бак для кипяченой воды, на дне которого плескалось немного мутной жидкости. В комнате для ожидания я был один. Поезд на Москву, как говорило расписание, должен был пройти через полтора часа, а касса, как сообщала надпись над окошечком, должна была открыться за полчаса до поезда. Я сел на лавку. Так было здесь пустынно, будто по этой линии уже много лет не ходят поезда. Я обрадовался, когда появился новый человек. Он вошел, внимательно меня оглядел и сел на лавку напротив. Несколько минут мы молчали. Наконец неожиданно вошедший спросил:

– Это вы искали Коробейникова?

– Да, – настороженно ответил я.

– Я Коробейников.

– Мне в сельсовете сказали, что Коробейников в селе не проживает.

– Моя фамилия Волков.  
– Почему же вы Коробейников?  
– Это мне в детском доме такую фамилию дали. А теперь родители нашлись, так я стал по родителям Волков. И документы все переменили.

Идиот был этот секретарь сельсовета. Сказал бы просто: «Коробейников есть, только теперь у него новая фамилия – Волков».

В общем, с Коробейниковым мы разговорились. Он, оказывается, действительно дружил с Петром, но с тех пор как два года назад уехал, больше не переписывался. Послал два письма, но Петька в ответ ни слова. Ну и Костя тоже замолчал. А полгода назад вдруг пришло от Петьки письмо. Он писал, что хотел бы переехать в Едрово. Город ему надоел, хочется сельской жизни, если есть какие-нибудь ремонтные мастерские, с удовольствием бы переехал.

Как я понимаю, это письмо Петька написал в редкую трезвую минуту. Коробейников думал так же. Он знал всё про Петькины художества. То есть не всё. Про сговор с Клятовым и ограбление он ничего не знал.

Коробейников договорился в мастерских и написал Петьке, чтоб тот приезжал. И в ответ получил открытку. Петька сообщал, что приехать не сможет, потому что получил новое предложение. Просил извинить за хлопоты и желал счастья.

Я понимал, о каком новом предложении шла речь. Очевидно, они с Клятовым задумали это проклятое ограбление.

– Между прочим, меня уже спрашивали о Петьке, – сказал, помолчав, Коробейников. – Через несколько дней

после того как пришла открытка, приезжал какой-то с новгородским автобусом.

– А кто такой? – насторожился я.

– Не знаю, – сказал Коробейников, – в штатском.

Он, видно, что-то подозревал. Он, видно, предполагал, что этот человек был из милиции. Если, говоря о человеке, подчеркивают, что он был в штатском, значит, предполагают, что обычно он носит форму.

– Я показал ему Петины письма, – как-то между прочим добавил Коробейников.

По чести говоря, я колебался: рассказывать Коробейникову про Петькины дела или нет? Не хотелось мне позорить Петьку еще перед одним человеком.

Я начал издалека. Рассказал, что я один из Петькиных друзей, братиков, что мы росли вместе, и все такое. Коробейников, оказывается, про нас знал, знал даже наши имена и спросил, кто я: Юра, Сергей или Женья?

Теперь мне было легче приступить к главной теме. Легче, но все-таки не легко. Я решил лучше сразу, как головой в воду.

– Знаешь, Костя, – сказал я (мы как-то незаметно с ним перешли на «ты»), – Петьку обвиняют в ограблении с убийством.

Не останавливаясь, я рассказал всю историю. Костя слушал, ни разу не прервав. Он только смотрел на меня, боясь хоть слово пропустить.

Открылась касса. Я замолчал, взял билет до Москвы, и мы вышли на перрон. Не такая это была история, чтобы рассказывать ее при кассирше. Костя все молчал. Я не мог понять, соглашается он со мной, когда я пытаюсь доказать, что Петька на самом деле не виноват, или не соглашается.



Долго я рассказывал. Мы ходили по перрону взад-вперед, и мне было страшно посмотреть на Костю. Вдруг да замечу в его глазах недоверие?...

Когда я кончил, Костя долго молчал. Думал.

– Нет, – сказал он наконец с глубоким убеждением, – Петька убить не мог. Не такой человек. – Опять помолчал и спросил: – Что я-то должен сделать?

Я объяснил, что надо ему поехать в Энск, поискать на заводе того человека, который окликнул Петьку.

– Поеду, – сказал Костя.

Я заговорил о деньгах. Мы просим его взять у нас... потому что у него может не быть денег... Он прервал меня:

– Нет, денег не надо. У меня есть. За неделю до суда дайте мне телеграмму.

Мы обменялись адресами, и он обещал сейчас же подробно написать.

Больше говорить было, собственно, не о чем. Молчать было тоже не очень удобно. Времени оставалось немало.

– Как ваши семейные дела? – спросил я.

Тема была для нас обоих далеко не безразличная. Мы ведь все, и братики и он, – потерянные дети военного времени. И Костя, единственный из нас, вернулся в свою семью.

– Не так это все просто, – сказал, помолчав, Коробейников. – В газетах пишут, что вот, мол, нашли потерянного сына или дочь, и все. Как будто на этом история кончается. Здесь ведь только начало или, скажем, середина. Трудное начинается дальше. Вот вы, взрослый человек, со своей судьбой, уже не такой короткой, со своими друзьями, своими привычками, входите в семью, у которой совсем

другая судьба, другие вкусы, другие привычки, и говорите: здравствуйте, я ваш сын или я ваш брат. А они тебя помнят двухлетним пузырем, когда ты только «ба-ба-ба» умел говорить.

Я как-то раньше никогда об этом не думал. Нам всем, братикам, очень хотелось найти свои семьи. Нам всем, мне во всяком случае, действительно казалось, что тут и будет конец истории. А какой тут конец!...

Коробейников разговорился. Ему, наверное, давно хотелось рассказать о всех сложностях своей новой жизни. Но в селе ему рассказывать было некому. Со мной он мог поговорить наконец свободно. Насколько я понял, семья у него была хорошая: и родители, и брат, и сестра – все были славные люди. И все-таки сложностей оказалось много. Отец – бухгалтер в колхозе. Человек молчаливый и замкнутый. Мать работает в сельсовете конторщицей. Костя – квалифицированный слесарь, и в мастерских по его квалификации работы почти нет. Учиться тут тоже негде. Костя чувствовал, что здесь просидеть лет пять – так закиснешь. А у него были планы, твердо намеченные. Он техникум собирался кончать, а как теперь стариков оставишь? Они на него не надышатся. Да и он привязался к ним. Сколько лет искал! А разговаривать не о чем. Все прошлое разное. Только с братом находит о чем говорить.

Костю как прорвало. Он говорил, даже когда я стоял на площадке вагона. Торопясь, он договаривал, что муж у сестры славный и сестра ничего, с ними можно поговорить, а вообще ему на заводе люди больше нравятся. И перспективы там ясней. А как стариков оставишь? Отец молчит, молчит да вдруг подойдет, погладит по голове и сразу

нахмурится. Похожи они с отцом очень, прямо одно лицо, а характеры совсем разные. А мать, как увидит его, Костю, так сразу плачет. Это она за все прошедшие годы выплакивается. Значит, выходит, оставлять стариков никак невозможно...

Говорил, даже когда поезд тронулся. Он шел по перрону и спешил что-то мне еще досказать, только я не мог уже расслышать ни одного слова.

## Глава тридцатая

### *Гора родила мышь. У Тони*

Из Москвы я вылетел рано утром. Часов в одиннадцать автобус привез меня из аэропорта в город Энск, и я позвонил из автомата Глушкову. Аккуратный Афанасий Семенович сообщил в письме его номер телефона.

Глушков назначил мне разговор на четыре часа дня. За оставшееся время я успел взять билет на поезд, отходящий в восемь вечера, позавтракал и прошелся по городу. К Тоне идти было рано. Я рассчитывал, что после Глушкова останется время хоть на часок забежать к ней поговорить.

Ровно в четыре я входил в здание областной прокуратуры. Глушков оказался пожилым, спокойным человеком с маленькими усиками щеточкой, с зачесанными наверх довольно редкими волосами, в больших очках с тонкой оправой.

Я представился, объяснил, что хочу дать показания по делу Петра Груздева, и замолчал.

Глушков неторопливо достал из ящика пачку листов

(«Протокол допроса» — было написано на каждом), взял авторучку, проверил на листке блокнота, как она пишет, остался, видимо, доволен и начал заполнять протокол.

Он аккуратно спросил мое имя — и написал имя, спросил отчество — и написал отчество, спросил фамилию — и написал фамилию.

У него был такой равнодушный вид, как будто он аккуратно выполнял давно наскучившие ему обязанности. Как будто сидит он, скажем, на почте и пишет адреса для тех, кто не слишком грамотен или забыл дома очки. Нехитрая у него обязанность: написал точно адрес и фамилию, значит, письмо дойдет, а до остального ему и дела нет.

Мне с моего стула было видно, какой у него ровный, хорошо выработанный почерк. Как будто всю жизнь он занимался тем, что аккуратно переписывал бумаги.

Меня его спокойствие раздражало потому, может быть, что сам я очень волновался. Как будто и не было для того причин, а все-таки, когда я, попросив разрешения, закурил, рука, которой я чиркнул спичку, дрожала.

Заполнив вводную, так сказать, анкетную часть протокола, Глушков положил ручку и спросил меня по-прежнему спокойно:

— Что же вы желаете показать по делу Петра Семеновича Груздева?

Я начал говорить. И в поезде от Едрова до Москвы, и в самолете от Москвы до Энска, и на вокзале в очереди за билетом — все время я повторял будущие свои показания. Должен сказать, что получались они у меня довольно складные. И вдруг, когда дошло наконец до дела, я почувствовал, что говорить, в сущности, не о чем.

Ну конечно, я рассказал, что мы с Петром воспитывались в одном детском доме, учились в одной школе, одновременно держали экзамены в институт.

Глушков слушал меня очень внимательно. Он смотрел сквозь очки с таким серьезным видом, как будто именно от моих показаний зависит, как решится все дело. Руки он сложил на столе и не сводил с меня своего спокойного, очень внимательного взгляда. И все-таки я чувствовал по каким-то неуловимым признакам, которые и назвать-то не мог бы, что все это одна видимость. Понимает Глушков, что пришел старый друг подсудимого, человек, наверное, порядочный, не вор, не жулик, однако по делу ничего не знающий. Что будет он рассказывать, какой был хороший мальчик Груздев, когда ему было восемь или двенадцать лет. И скажет он, что не мог Груздев совершить преступления. Надо этого Евгения Быкова выслушать, потому что следователь обязан выслушать всякого, кто хочет дать показания, надо запротоколировать, по возможности короче, все его лирические разговоры. А потом надо заняться делом, то есть еще раз проанализировать улики, сопоставить точные факты – словом, делать то, что всякий следователь делать обязан.

Может быть, я преувеличиваю, но, сидя в кабинете довольно казенного вида, перед спокойно смотрящим на меня и слушающим следователем, я вдруг почувствовал, что и не смотрит на меня следователь, и не слушает он меня, а думает о чем-то своем, о каких-то уликах, о чьих-то конкретных и убедительных показаниях. Что если бы дал он себе волю, то просто спросил бы:

«А что, собственно, вы конкретного можете рассказать,

гражданин Быков? Ради каких убедительных фактов занимаете вы мое время, которого мне и так не хватает?»

Честно говоря, я очень плохо помню, что именно я говорил. Помню, что несколько раз перескакивал с одной темы на другую, и каждый раз Глушков меня поправлял очень спокойно и вежливо:

— Давайте, гражданин Быков, по порядку.

Значит, он меня все-таки очень внимательно слушал. Значит, неверно, что он думал о другом. Может быть, впрочем, для таких случаев, как мой, мозг его был приучен думать одновременно и о том, что говорит болтливый свидетель, не пропуская ни одного противоречия, ни одной несуразицы, и в то же время думать о своих действительно серьезных делах. Так или иначе, я, собиравшийся говорить долго, много и убедительно, скоро почувствовал, что и слов у меня больше нет и, главное, нет больше мыслей. Я замолчал.

Глушков помолчал тоже, давая мне возможность добавить что-нибудь, если у меня есть что добавить, и, убедившись, что я молчу устойчиво, спросил очень спокойно, даже, мне показалось, любезно:

— Но ведь вы Груздева не видели девять лет до того, как произошло ограбление Никитушкиных. Вы только получали от него письма, и письма эти были насквозь лживые. Я правильно понял вас?

Я кивнул головой. Я просто не знал, что сказать.

— Значит, если не считать одного разговора ночью в Клягине, все эти девять лет вы о Груздеве ничего достоверного не знаете?

Я кивнул головой.

– И когда вы в последний раз, до девятилетнего перерыва, видели Груздева, ему было восемнадцать лет?

Глушков говорил подчеркнуто ровно, без всякого выражения. Он только устанавливал обстоятельства, бесспорно вытекающие из моих показаний.

Я понимал, что Глушков не собирается переводить меня из категории свидетелей в категорию подсудимых или обвиняемых и что для этого у него нет и не может быть никаких оснований, и все-таки мне было непереносимо стыдно и, непонятно почему, очень страшно.

Наверное, Глушков думал обо мне то же, что я сам, если не хуже. Во всяком случае, он постарался мне свои мысли не открывать. С совершенно серьезным лицом он записал мои показания и дал мне прочесть протокол. Хотя разговор наш продолжался больше часа, его изложение на бумаге заняло меньше страницы. В письменном виде мои показания выглядели совсем глупо. Насколько я помню, написано было примерно следующее: «Я воспитывался в одном детском доме с Груздевым и учился с ним в одной школе. Потом мы девять лет не видели друг друга. В течение этих девяти лет Груздев писал мне и моим друзьям письма, где рассказывал о своей жизни, полной успехов и достижений. Все его письма были сплошной ложью. Я убежден, что он не мог ограбить инженера Никитушкина и убить его жену. Добавить я ничего не имею».

И в институте, и в редакции считалось, что мне присуще чувство юмора. Сообщаю моим товарищам по работе, что на этот раз у меня его совершенно не оказалось. Я подписал этот протокол, не испытывая ничего, кроме острого чувства стыда, и мечтая только о том, чтобы унести поскорее ноги.

Глушков, с таким же серьезным, непроницаемым лицом, встал и пожал мне руку так, как будто я был вполне заслуживающим уважения свидетелем. Я вышел из его кабинета сам не свой.

К счастью, у самого подъезда прокуратуры кто-то как раз расплачивался за такси. Я сел рядом с шофером, назвал Тонин адрес и стал с нетерпением ждать, когда машина отъедет и здание прокуратуры скроется наконец из виду.

Я отправился к Тоне.

Тоня осунулась за те несколько месяцев, что я ее не видел. И глаза у нее стали еще больше. А испуг, или то, что мне казалось испугом, в глазах остался. Как я понял, после того как поговорил с ней, теперь-то это был на самом деле испуг. Видно, очень ее мучила все время мысль о горьком Петькином будущем.

Хотя мы виделись с ней один или два раза, она меня встретила как старого друга и очень мне обрадовалась.

– Ой, Женя! – тихо сказала она, увидя меня. – Как, вы здесь?

Наверное, очень она стосковалась по человеку, с которым можно поговорить о Пете, обсудить, есть ли у него шансы доказать свою невиновность, может быть, услышать, что дела идут хорошо и что, конечно же, Петя будет оправдан.

Она меня затащила в комнату и, по-моему, с нетерпением ждала, пока я сделаю ритуал взаимных приветствий с Володькой. К счастью, я еще днем догадался купить хоть и несимпатичного, но ярко раскрашенного зайца. Володька, впрочем, обрадовался мне еще раньше, чем этого зайца увидел. Он все-таки был мужчина и, видно,



скучал по мужской компании. По крайней мере, увидя меня, он запрыгал в своем манежике. Я сделал ему «козу», потрепал по жидким его волосикам и, вручив своего зайца, мог наконец сесть за стол и начать разговаривать с Тоней.

— Ну как вы думаете, Женя? — спросила Тоня, со страхом глядя на меня. Страх был оттого, что она ждала: вот сейчас я скажу, что положение безнадежно, и тогда конец всяким надеждам.

Я, конечно, начал ей рассказывать о своем посещении следователя Глушкова, и из рассказа моего, кажется, получилось, что следователь выслушал меня внимательно и сочувственно и что мы с ним, по-видимому, нашли общий язык.

Нет, я не хотел врать Тоне. Просто очень уж испуганные были у нее глаза. Очень уж волновалась она, ожидая, что я скажу.

Она и в самом деле на секунду мне поверила, даже улыбнулась. Но только жалкая была у нее улыбка.

— Я тоже была у следователя, — сказала Тоня, — он сам меня вызвал. На завод позвонил. Мне и отпрашиваться не пришлось. Сами говорят: иди, мол, Тоня, скорей. Я с ним долго разговаривала. Старалась ему объяснить, какой Петя. Часа, наверное, полтора у него просидела. А потом он записал мои показания, и оказалось, всего одна страничка. Это значит, он мне не поверил? Да?

Я ей сказал, что дело не в этом. Следователь записывал только точные факты, а их, конечно, было немного. Но все-таки он-то ведь слышал все, что говорила Тоня, и, конечно, запомнил. И конечно, ее слова повлияли на него хотя бы в том смысле, что он стал к Петьке относиться

лучше и, наверное, теперь не склонен объяснять дурно все Петины поступки.

Я врал и сам знал, что вру, и хуже всего то, что и Тоня это понимала. Она все выслушала, но не придала тому, что я говорил, никакого значения. Она продолжала какой-то свой разговор, который, наверное, вела всегда один и тот же с каждым своим собеседником.

– Я думаю так, – сказала она. – Пете расстрел, наверное, не дадут, потому что, кто убил Никитушкину, неизвестно. Но, конечно, могут дать большой срок. И я решила так: мы с Володькой за ним поедem. Ну, не сразу, может быть. Надо подождать, пока уже он на месте определится, чтоб его потом в другое место не перевели. А тогда мы комнату обменяем и переедем. Там и свидания, говорят, дают, редко, конечно, но все-таки дают. И ему легче будет, и мне спокойнее. Пусть хоть пятнадцать лет. Что ж, Володьке семнадцать исполнится. Он школу только кончит, а потом мы все втроем поедem куда захотим. Я, знаете, Женя, и с юристом говорила у нас на заводе; он говорит, это можно. Я думала, ко мне адвокат зайдет или хоть вызовет меня, но он не зашел. А вот Афанасий Семенович был у меня. Мы долго с ним говорили. Хороший он человек.

– А почему вы уверены, Тоня, что Петьку осудят? – спросил я.

– Ну как же, Женя... Подробностей я, конечно, не знаю, что там следователям известно, но только я так думаю: очень все против Пети сложилось. Я вот себе представляю, я бы следователем была. У меня бы, наверное, сомнений не было: виноват Петя. Как же, с Клятовым якшался, а уж Клятов-то грабил. Сам Никитушкин его опознал. Это все в

городе говорят. Я-то Петю знаю, и знаю, что он условиться с Клятовым мог. Но чтобы грабить пошел? Да никогда в жизни! Ну и что же? Я знаю, братики знают, Афанасий Семенович знает, а следователь не знает. Нет, засудят Петю. Тут и говорить нечего. Сколько положено, отсидит. Там, говорят, работу дают. Значит, будет работать. Значит, с Клятовым и другими такими он и видаться не будет.

Ох, как все у нее было продумано! Небось она уже узнавала и какие правила обмена, может ли она свою комнату обменивать. И наверное, из получки хоть несколько рублей откладывала на случай, если надо будет ехать.

Тоня вдруг спохватилась, что не угостила меня чаем, и, как я ни отказывался, побежала хлопотать, и принесла чайник, и заставила меня выпить стакан чаю, и огорчалась, что я не ем бутерброды, и мне пришлось объяснить, что я очень сытно пообедал в столовой.

Мне кажется, Тоня так уже свыклась с мыслью о поездке вслед за Петей, что ей не казалось это ни тяжелым, ни опасным, хотя, правда же, с маленьким ребенком не всякая бы решилась сниматься с места и ехать, в сущности, неизвестно куда.

Я сдуру завел разговор о том, что мы, трое братиков, можем помочь в смысле денег. Но Тоня сразу прервала меня.

– Вот что, Женя, – сказала она, – я уже думала об этом. Я знала, что вы не откажете, если я попрошу, но только я так решила: сейчас не надо. Если будет такая минута безвыходная, я вам сама телеграмму пришлю. А пока – нет, не надо. Я справлюсь. Мне и на заводе работу повыгоднее дают. У нас ведь люди хорошие па заводе. Я даже отложила

немного. А если понадобится, я обязательно дам телеграмму.

Было уже семь часов. Я объяснил Тоне, что могу опоздать, сказал ей, что мы непременно все трое приедем на суд. Хотел ей пожелать бодрости и силы, но вовремя удержался. Наверное, силой Тоня могла еще со многими поделиться.

Я вынул Володьку из манежика и расцеловал его. У него был мужской характер, он не признавал эти нежности, но, как человек вежливый, мужественно их вытерпел. Мне было трудно уходить. Невольно я представлял себе, как останется Тоня одна и будет ходить по комнате, и рассчитывать, хватит ли денег им с Володькой доехать до места, и гадать, как там с детскими яслями и легко ли будет найти работу. А потом накормит Володьку, уложит спать и ляжет сама – и все будет думать, думать, думать...

Я вышел на улицу. Ночь была морозная, звездная. Небольшой запас времени у меня был. Я решил пойти пешком до вокзала. Улицы были пустынные. Снег поскрипывал под ногами. В небе безмолвно перемигивались звезды. Я шел и думал.

«Петька, Петька, – думал я, – надо же было так тебе испортить собственную жизнь!... Я знаю, что ты не грабил и не убивал. И Тоня знает, и Афанасий знает. И ничего, ничего не можем мы сказать в твою защиту. Ты не виноват в грабеже и в убийстве. Да, но ты виноват в позорном пьянстве, в том, что дружил с грабителем Клятовым, в том, что никаких сомнений не может вызвать ни у кого, что именно такой человек, как ты, мог ограбить и мог убить...

Петька, Петька, ведь если тебя осудят, то, кроме нас,

твоих друзей, и Тони, твоей жены, никто не усомнится, что приговор справедлив. Выступим мы на суде, и судьи, изучившие дело, удивятся, что у такого подонка есть верная жена и верные друзья. Не уголовники, не люди преступного мира! И никак не сможем мы разбить цепь улик, потому что и исследование доказательств, и исследование личности не будут противоречить друг другу.

Только одно есть у тебя в жизни, Петя, – Тоня, которая без колебаний поедет за тобой вместе с сыном.

Если хоть один человек, не рассуждая, за тобой поедет, значит, все-таки ты не совсем плохой, Петя.

Ты не виноват в убийстве и в грабеже, но в очень многом ты виноват.

Что мы все сможем сказать на суде? Что ты сам сможешь сказать на суде?»

Безмолвно перемигивались в небе звезды. Поскрипывал под ногами снег. Морозец забирался под пальто. Я зашагал быстрее.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

#### Глава тридцать первая

##### *Скоро суд!*

Суд был назначен на понедельник 13 февраля.

Мы были уверены, что Петька невиновен, но понимали: шансы на оправдание очень невелики. Раз дело передано в суд и судом назначено к слушанию, значит, следователи убеждены, что подсудимый виноват. Значит, прокурор, подписавший обвинительное заключение, согласен со следователями. Значит, судьи, ознакомившись с делом, пришли к выводу, что у следователей и прокурора достаточно оснований для обвинения.

Короче говоря, мы очень волновались.

В конце января опять пришло письмо от Афанасия Семеновича. Он писал, что теперь, когда Степа Гаврилов взялся за Петино дело, его, Афанасия, мучают сомнения: может быть, имело смысл пригласить адвоката постарше и поопытней? По словам Афанасия Семеновича, Гаврилов тоже считает, что обвинение Груздева солидно обосновано. Следователь выступал в том цехе, где прежде работал Петя, и просил, если кто-нибудь видел Груздева на вокзале 7 сентября около двенадцати ночи, сообщить ему, следователю. Ни один человек, как выяснилось, Петю на вокзале не видел.

Не выяснено следствием следующее:

1. Откуда преступники узнали, что Никитушкин взял деньги в сберкассе. Сберкасса проверили очень тщательно, и нет оснований кого-нибудь подозревать. Правда, сберкасса большая, народ там толчется всякий. С другой стороны, в Колодезях Никитушкин многим рассказывал, что получает машину. Кто угодно мог услышать разговор об этом.

2. Неизвестно, куда делись деньги, шесть тысяч, взятые у Никитушкиных.

Что касается остального, то, хотя прямых улик против Пети нет, косвенные улики складываются в неразрывную цепь.

Писал Афанасий, что очень ему беспокойно за Петра, так беспокойно, что он стал на старости лет суеверен. Вообще письмо было очень грустное. Грусть была в самой интонации, в подтексте, который угадывался даже за шутливыми фразами. В конце письма Афанасий переходил, так сказать, к инструктивной части. Гаврилов познакомил Тоню с человеком, у которого связи в гостинице. Мы дня за два до приезда должны дать Тоне телеграмму. Номер в гостинице будет забронирован, и Тоня встретит нас на вокзале.

«Не удивляйтесь, — писал Афанасий Семенович, — что Степан вас не будет встречать. Вообще лучше вам с ним до процесса не видеться...» Достаточно того, что он, Афанасий, останавливался у Степана и несколько раз с ним разговаривала Тоня. Может создаться впечатление, что адвокат Гаврилов подговаривает свидетелей показывать то, что полезнее для подсудимого. Степану и так трудно. Не хватает еще, чтоб его заподозрили в нечестных приемах защиты.

Юра начал было возмущаться тем, что свидетель даже не может увидаться с адвокатом, но мы объяснили ему, что надо думать о том, как доказать невиновность Петьки, а не об этических нормах, установившихся в юриспруденции.

Письмо Афанасия произвело на нас всех тяжелое впечатление. Мы привыкли к тому, что всегда, когда кто-нибудь из нас падал духом, именно Афанасий шуткой или убедительными доводами умел подбодрить, вернуть хорошее настроение. Видно, сейчас очень у него было тяжело на душе.

Мы решили, что надо приехать хотя бы за три дня до суда и поговорить с Тоней. У нее есть, наверное, более поздние сведения.

– Почему-то Афанасий ничего не пишет про кинотеатр, в котором Петька просидел четыре сеанса, – сказал я. – А это большой промах следствия. Я сам пойду в этот кинотеатр и поговорю с контролершами. Вы понимаете: если Петьку видели на последнем сеансе, не мог он грабить Никитушкиных.

Юра очень загорелся этой идеей:

– А я поеду в Колодези и постараюсь узнать, кто и где говорил о никитушкинских деньгах. Не могла же Клятову с неба прийти телеграмма, что, мол, грабить надо именно седьмого.

Мы совершенно согласились с тем, что в Колодези надо съездить и постараться узнать о разговорах. Нам, однако, пришлось часа полтора уговаривать Юру, что это должен делать кто угодно, только не он: Юрка, с его вспыльчивостью, прямоотой, нетерпеливостью, никак не годился для работы частного сыщика.



Юра обижался, кричал на нас, чуть с нами не поссорился, но в конце концов с помощью великого дипломата Нины его удалось уговорить уступить расследование в поселке Колодези Сергею.

Зато Юра внес предложение сейчас же послать телеграмму Коробейникову, чтобы он приехал к началу суда. Мы с Сергеем говорили об этом, еще когда шли к Юре, но сделали вид, что эта идея никому из нас даже не приходила в голову. Юра просиял, немедленно написал текст телеграммы, который мы все одобрили, и передал его по телефону. Телефон у него был в коридоре, и, к счастью, мне пришлось в голову спросить, на чью фамилию адресована телеграмма. Оказалось, конечно, что на фамилию Коробейникова. Я уже говорил, что в Едрове Коробейников был известен под фамилией Волков. Поэтому пришлось посылать вторую телеграмму. Впрочем, Юре я об этом ничего не сказал, а то он опять бы расстроился, и послал вторую телеграмму по дороге домой с главного телеграфа.

День суда приближался. Решено было, что выедем мы девятого, чтобы приехать десятого к вечеру. Одиннадцатое и двенадцатое оставались на запланированные нами следственные действия. Коробейников прислал телеграмму, что будет тоже десятого, но утром.

Мы все трое бодрились, но настроение у нас было очень скверное. Восьмого вечером я рассказал всю историю Груздева моим товарищам по редакции. Я рассказывал про одного парня, которого когда-то знал. Я старался быть совершенно объективным, излагал все обстоятельства дела так, как они могли быть изложены в обвинительном заключении. Вероятно, помимо моей воли, в рассказе скво-

зило сомнение в Петькиной виновности. Тем не менее сотрудники газеты «Уралец» решили единодушно, что Петька бесспорно виноват.

Тяжело было у меня на душе, когда я шел домой после этого разговора. Я решил Сергею и Юре не рассказывать о своем дурацком эксперименте. Им было и так невесело.

Опять мы трое ехали в Энск. Как эта поездка была не похожа на нашу сентябрьскую поездку! Опять на вокзал прибежала Нина и принесла посылку для Тони. В посылке была шерстяная кофточка и пластмассовые игрушки. Мы делали вид, будто веселые друзья опять сдут на товарищескую встречу. Мы ввали сами себе и друг другу, даже не очень стараясь, чтобы вранье походило на правду.

Но как только отошел поезд, с нас как рукой сняло показную веселость. Мы хмуро расселись по углам и так долго молчали, что обрадовались, когда проводница принесла постели. Сразу стали укладываться спать. Весь следующий день мы только изредка обменивались фразами, не имеющими отношения к делу Груздева. Противно было без конца и без смысла обсуждать одно и то же.

Заснеженная равнина мелькала за окнами. Проплывали уже знакомые нам вокзалы. Молча мы вышли из купе, когда поезд подходил к Энску, молча сошли на перрон, когда поезд остановился. Тоня ждала нас на перроне. Не знаю, как выглядели мы, но она за это время очень изменилась. Как будто и лица не осталось – только одни глаза. Испуганные, растерянные глаза. Она смотрела как-то просительно, даже умоляюще. Она надеялась, что мы привезли с собой запас уверенности и бодрости. Какая уж тут бодрость! Мы хмуро поздоровались и поехали все вместе в гостиницу.

Номер действительно был забронирован. При этом очень хороший номер-люкс. Он был, правда, рассчитан на двоих, но администрация согласилась поставить дополнительную кровать. Люкс стоил дорого, но, во-первых, если поделить на троих, получалось не так уж страшно, а во-вторых, были зато две комнаты, и санузел, и телефон.

Тоня поднялась с нами в номер и подождала, пока мы умоемся и наденем чистые рубашки. Потом пошли в ресторан обедать. Мрачный получился обед. Тоня рассказала, что Афанасий должен приехать тринадцатого, в день процесса. Останется у нее, у Тони. Не положено свидетелю останавливаться у адвоката. Нам лучше с Гавриловым не встречаться, особенно Сереже, который вызван свидетелем. Она виделась со Степаном два раза, ходила к нему в консультацию. Больше постарается тоже до суда не встречаться. А вообще-то дела у Пети, кажется ей, очень плохи. Надо же, чтоб еще зажигалка нашлась у Никитушкиных! Наверно, этот мерзавец Клятов нарочно се подкинул.

Мы угрюмо слушали Тоню и даже не пытались ее уговаривать, что все еще может кончиться хорошо, что Петя выйдет из зала суда освобожденный от подозрений. Сами мы не верили в это. И не могли обманывать Тоню. Она-то лучше нас знала положение дел.

Нам уже принесли черный кофе, когда в зал, растерянно оглядываясь, вошел Костя Коробейников. Я его окликнул, он подошел к нам, поздоровался со мной и Тоней, познакомился с Сергеем и Юрой. Я думал, хоть он внесет оживление, но он сам был как в воду опущенный. Встретили его на заводе хорошо, быстро устроили пропуск. К

Петьке относятся сочувственно, и почти все уверены, что он не мог ограбить и убить. Беда, однако же, в том, что никто его на вокзале не видел. Костя будет спрашивать еще вторую смену, но ребята говорят, что дело мертвое. После того как следователь докладывал на собрании, весь завод в курсе дела, и до сих пор никто не откликнулся, значит, никто Петьку на вокзале не видел.

— Одно из двух, — сказал Костя, — или Пете послышалось, что его окликнули, или это был какой-нибудь случайный собутыльник, которого никак теперь не найдешь.

Он замолчал. Молчали и мы. Что тут было говорить.

— Подождите унывать, ребята, — добавил Костя. — Я еще вторую смену поспрашиваю. Всех, кто болен, обойду, узнаю, кто в отпуску; правда, сейчас зима, время не отпускное, но мало ли, есть такие любители...

Никто из нас не верил, что именно тот человек, который был на вокзале, оказался сейчас больным, что до него не дошли слухи о докладе следователя и он, единственный на заводе, ничего об этом не знает.

Костя, как выясняется в ленивом и тоскливом разговоре, нашел нас не просто. Поехал к Тоне, ее не застал, поехал сначала в другую гостиницу — там нас не оказалось, сюда пришел, поднялся в номер — нас нет. Хорошо, дежурная посоветовала заглянуть в ресторан.

Больше говорить не о чем. Костя прощается, он торопится на завод. Записывает наш номер телефона, обещает каждый вечер звонить и уходит.

Да, говорить больше не о чем. Мрачные, поднимаемся мы наверх, надеваем пальто и вчетвером выходим на улицу.

Морозный ясный вечер. На краю неба восходит огромная круглая луна. Фонари кажутся тусклыми – так ярок лунный свет. К нашему удивлению, на стоянке такси стоит свободная машина. Для Энска случай не очень частый. Едем в поселок Колодези. Это от города километров пять. Смотрим дом Никитушкина. В доме темно. Закрыты ставни, заперты двери. Инженер Никитушкин с сыном живет в городской квартире. После суда сын заберет старика в Москву, чтобы последние годы он не оставался один. А может быть, последние месяцы. Плохо со здоровьем у инженера Никитушкина.

Мы выходим из машины. Тоня показывает Сергею, где стоянка автобуса, обращает его внимание на ориентиры, по которым он найдет дом. Ясно, что сюда нужно приезжать засветло. Сейчас улица пустынна. Разговаривать не с кем, Сергей все запоминает и даже записывает в блокнот.

Потом опять садимся в машину, едем к Яме. Подъезжаем к тому самому спуску, к которому полгода назад подвезло такси оживленных, веселых братиков, собиравшихся торжественно праздновать общий день рождения. За полгода здесь мало что изменилось. Асфальтированная, освещенная фонарями улица. Светятся окна в домах. Потом вдруг улица обрывается. Развороченная дорога уходит вниз. Внизу, освещенная только луной, покрытая снегом, лежит Яма. Она кажется мертвой. Ни в одном окне не горит свет. Ни один человек не идет по улице. Или здесь вообще не осталось жителей, или осталось совсем мало. Это последняя зима Ямы. Весною начнется строительство. Сколько, наверное, крыс, клопов, тараканов останутся без жилья! Интересно, живут ли здесь еще старики Анохины

или их переселили в новый дом? Как-то будут чувствовать себя в новом доме эти последние представители каменного века!

Мы их увидим на суде. Они вызваны свидетелями.

Мы все четверо долго стоим и смотрим на это пустынное, безлюдное место, на это нагромождение мертвых домов. Покрытых снегом. Освещенных луной.

– Сгинь, сгинь, сгинь, Яма! – негромко говорит Юра.

И Сергей заканчивает заклинание:

– Аминь!

## Глава тридцать вторая

### *Сыщик-любитель*

Сергей проснулся рано. Он принял душ, побрился, оделся и собирался будить нас с Юрой. Но мы, по его словам, спали так сладко, что Сергею стало нас жаль, и он решил прежде пойти позавтракать.

Сегодня, впервые в жизни, ему предстояло заняться совершенно незнакомой, но, по сведениям, почерпнутым из литературы, страшно интересной работой сыщика-любителя.

Понимая, что работа эта нелегкая, особенно для человека неопытного, он позавтракал – два яйца и стакан чая. Ему удалось уговорить буфетчицу налить в стакан одной заварки. Он полагал, что крепкий чай возбудит ту энергию мысли, которая сыщику необходима.

Когда он вернулся в номер, мы всё еще спали. Сергей твердо решил будить нас, но вовремя вспомнил, что Юре

сегодня делать нечего, а мне предстоит идти в кинотеатр, который начинает работать только с двенадцати часов.

«Пусть хорошенько выспялся», – подумал он, тихо оделся и вышел.

Было девять часов утра. Стояло холодное сумеречное утро. В Энске зимой светает поздно. Дорогу к остановке автобуса он хорошо помнил и дошел быстро, чувствуя прилив сил и энергии.

Автобус уже стоял. Здесь была конечная остановка. Сережа сел у окна, проковырял дырку в изморози, покрывавшей стекло, и стал ждать. Минут через пять в кабину влез водитель, двери закрылись, автобус пофыркал, подождал и, не торопясь, переваливаясь, как утка, из стороны в сторону, покатился по улице. Сережа оказался единственным пассажиром.

«Это естественно, – рассуждал он про себя. – Колодези – место дачное, учреждений особенных там нет. Наверное, оттуда утром идут полные автобусы, а туда пустые. А вечером наоборот. Те, кто живет в Колодезях, а работает в городе, вечером едут домой».

Ему понравилась логика собственных рассуждений. Для работы сыщика он был, по-видимому, вполне пригоден.

Доехали до Колодезей скоро, за пятнадцать минут, и Сергей очень обрадовался, увидя у остановки много народу. Видимо, здешние жители, сохраняя свое здоровье, любили совершать по утрам прогулки. Сережа решил, что будет с кем поговорить, и стал продумывать, с чего надо начинать разговоры. Конечно, следует притвориться городским жителем... или нет, зачем врать, – приедем, на-

слышанным о природных красотах поселка и решившим полюбоваться ими. Тогда будет естественно, что он пройдет по улице и раз, и другой, и третий. Посидит на скамеечке, если устанет, завяжет от нечего делать разговор со встречным человеком и незаметно выведает все, что нужно. К сожалению, как только автобус остановился, люди, по-видимому совершавшие моцион, ринулись через переднюю и заднюю дверь в машину. Сереже с трудом удалось вылезти. Спрыгнув на снег, он увидел, что на остановке никого не осталось и заводить разговоры совершенно не с кем.

«Странно, – подумал Сергей, – работа уже началась, значит, эти люди едут не на предприятия или в учреждения. Тогда куда же они едут и зачем?»

Он посмотрел на автобус. Салон был набит до предела. Водитель не мог закрыть двери, потому что на подножках, держась за поручни, висели люди. Больше всего было женщин. Очень много пожилых. Сережа подошел к автобусу и заглянул в окно. У всех сидевших пассажиров на коленях стояли хозяйственные сумки. Стоявшие пассажиры почти все тоже держали сумки в руках. Сережу вдруг осенило. Они едут в магазины, решил он; потом подумал еще и высказал про себя второе предположение: или на рынок.

Постепенно пассажиры утрамбовались, дверцы закрылись, автобус сделал круг и, не торопясь, потрусил обратно в город.

Было уже почти светло. Морозец пощипывал нос и щеки. Сережа прошел по улице взад и вперед, надеясь встретить какого-нибудь пожилого человека, который со-



вершает утренний моцион и мечтает о собеседнике. Он, Сережа, прошелся бы с этим почтенным пенсионером, навел бы разговор на недавно случившееся в поселке ограбление и выведal бы всю подноготную. Однако ни один пенсионер не показывался. То ли они совершали утренний моцион раньше и теперь уже завтракали, то ли они, что в пожилом возрасте очень вредно, привыкли спать допоздна. Сереже второй вариант казался возмутительным. Ему было достоверно известно, что пожилые люди, спящие восемь часов в сутки, долговечнее тех, кто спит десять часов. Но пенсионеры, видимо, этого закона не знали. Улица была пуста.

Уже совсем рассвело. Сережа шел не торопясь, прогулочной походкой, и мороз начал пощипывать нос и щеки. К счастью, Сережа заметил домик с вывеской. Он подошел поближе. Вывеска оповещала, что в домике находится чайная. Окна были закрыты ставнями и заперты на железные запоры. Тем не менее сквозь щели пробивался свет, и из-за дома доносились какие-то звуки. Сережа хотел было пройти за дом и узнать, скоро ли чайная откроется, но в это время огромный пес беззвучно ринулся на него. Помня, что в этих случаях главное сохранять неподвижность, Сережа застыл. Пса это удивило. Он недоверчиво оглядел Сережу и на всякий случай зарычал. Сережа не двигался. Они стояли друг против друга, словно групповая скульптура. Стояли долго. Потом пес завилял хвостом. Сережа решил, что это может быть провокацией, и остался недвижим. В это время из-за дома вышел человек в ватнике, начал вытаскивать болты и раскрывать ставни. На Сережу он смотрел подозрительно. Сережа не решался

заговорить. Он не знал, вызывает ли у собак подозрение, только если человек двигается, или разговор они тоже считают проявлением враждебности. Наконец кто-то, судя по голосу – женщина, находившаяся за домом, позвала: «Путя, Путя, Путя!» Очевидно, псу принесли еду, потому что он сразу же потерял всякий интерес к Сереже и скрылся за домом. Тогда Сережа спросил мужчину, открывавшего ставни:

– Скажите, пожалуйста, чайная скоро откроется?

– Сейчас откроем, – хмуро сказал мужчина. Сережа решил, что надо пока пройтись, чтоб не внушать подозрений, и пошел по улице дальше.

Улица была по-прежнему пуста. Видимо, все пенсионеры находились в состоянии зимней спячки, а все домохозяйки и мужчины, не достигшие пенсионного возраста, уехали в город за продуктами. Казалось бы, дети должны были кататься на санках или играть в снежки, но: или в поселке не было детей, или они тоже любили поспать. Сережа посмотрел на часы. Было уже половина одиннадцатого.

Дома через два от чайной оказался магазин. Выглядел он очень скромно: маленький домик с решетками на окнах, с выцветшей вывеской. Магазин уже открылся. Сережа вошел. Монументальная продавщица сидела, сложив руки на пышной груди, и смотрела равнодушными глазами. Сережа оглядел прилавки. Ассортимент был незавидный.

– Это все, чем вы торгуете? – спросил он весело.

– А вам что нужно? – простуженным, равнодушным голосом спросила продавщица.

– Ну что-нибудь такое...

– Такого у нас не бывает, – завершила продавщица разговор.

Было ясно, что тем для дальнейшей беседы нет. Сережа покрутился, стараясь показаться этаким городским жителем, изучающим сельские нравы, просвистел даже сквозь зубы кусочек какой-то мелодии и небрежной походкой вышел.

Улица по-прежнему была пуста. Чайная уже открылась. Сережа решил, что за горячим чаем заведет разговор об ограблении, разузнает все, что нужно, и вечером расскажет Степану. У заведующей чайной, сидевшей за буфетом, было добродушное, милое лицо, и Сережа решил, что с ней-то разговориться будет нетрудно. Однако заведующая сухо сказала, что чая нет, самовар только поставили и закипит он через полчаса, не раньше. Осмотрев буфет, Сережа промямлил, что пока до чая съел бы салат. Заведующая молча протянула салат и сказала:

– Двадцать восемь копеек.

– А хлеба у вас нет? – спросил Сережа.

– Одна копейка, – сказала заведующая и положила на тарелку с салатом горбушку. – Семен! – низким голосом крикнула она и ушла в заднюю комнату, как будто не видя положенные на прилавок тридцать копеек.

Где-то за дверью она пошептала с Семеном, снова появилась за буфетом и, разглядев наконец два пятиалтынных, сказала:

– Копейки нет. – Подумала и добавила:– Вообще ни копейки нет. Выручку вечером сдаем инкассаторам. Приезжают в закрытой машине. Вооруженные. С утра сдачу нечем давать. Вот как хотите.

– Ладно, – сказал Сережа, – что за разговор из-за копейки. У вас, говорят, прошлым летом инженера одного ограбили?

– Было, – отрезала заведующая, – но больше не будет.

Сережа посмотрел на нее с удивлением, но решил продолжать разговор:

– Говорят, будто бы грабитель на улице подслушал, что инженер деньги взял на машину.

– Дураков больше нет, – отрезала заведующая.

– Это вы в каком смысле? – удивился Сергей.

– А в том, что теперь хоть весь поселок общите – двадцати рублей не найдете. Только то, что надо на расходы, держат. Рублей пять или десять. И замки все понаделали такие, что хоть ломом бей – не откроются. Теперь у нас так. Строго!

У Сережи возникло страшное подозрение. «Неужели, – подумал он, – она меня тоже за грабителя принимает? Черт побери, как это неприятно! И не узнаешь ничего».

У него пропал аппетит. Очень захотелось скорей уйти из чайной.

– Знаете что, – сказал он почему-то даже искательно, – пусть салат пока постоит, я пойду погуляю. А как самовар закипит, я приду.

И вдруг с заведующей совершилось чудесное превращение. Она заулыбалась и сказала:

– Да ну, что вам по морозу ходить! Замерзнете. А самовар сейчас закипит. Минут через пять, не больше. Я вам скажу, между прочим, у нас-то вору делать нечего. Все напуганные. А есть поселки, где большие тыщи лежат. Почему, спрашиваю, дома деньги держите? Да ну, говорят,

лень в сберкассе ходить. Вы подумайте только! Такие примеры! Никитушкиных ограбили, даже с убийством. А им лень до сберкассы дойти! И ценности многие имеют. Золото! А у нас что! У наших у всех деньги в сберкассе. Три рубля нужно, и то в сберкассе бегут. И милиция, знаете, настороже. Нет, у нас дело мертвое.

– Слушайте, – сказал Сережа растерянно, – зачем вы мне это рассказываете? Вы, что же, думаете, я грабить пришел?

– Ну что вы! – заулыбалась заведующая. – Я же вижу: человек приличный, я так, к слову... Минуточку, я погляжу, может, и самовар вскипел.

Она скрылась за дверью и через минуту показалась опять, улыбаясь необычайно любезно.

– Закипает уже, – сообщила она. – Шумит вовсю! Я заварочку хорошую положу.

Сережа чувствовал, что влип в неприятнейшую историю. С ужасом вспомнил он, что паспорта-то у него нет. И уйти не уйдешь! Не выпустит проклятая ведьма.

А проклятая ведьма рассыпалась:

– Вы если курите, так закуривайте. У нас ничего, можно. Может, у вас сигарет нет? Так у меня возьмите. Я сама-то некурящая, а для гостей держу!

– Да нет, спасибо, я не курю, – сказал Сергей упавшим голосом.

Он понимал, конечно, что вся эта идиотская история кончится благополучно. В конце концов, проверят в гостинице паспорт, и все. Но сраму придется хлебнуть. У него даже мелькнула дикая мысль выскочить из чайной и бежать бегом. Он, впрочем, сразу понял, что далеко не убе-

жишь. И хотя он ни в чем виноват не был, но досада его взяла большая. Надо же на такую идиотскую историю налететь!

В это время перед чайной остановилась милицейская машина.

Все стало предельно ясно.

Вошел Семен, тот самый, который открывал ставни. За ним показалась мощная фигура милиционера. В глазах у Семена сверкал тот же азарт, который, вероятно, сверкал в глазах у Сережи, когда он ехал в поселок Колодези. Великий, непреодолимый азарт сыщика-любителя.

– Вот этот, – сообщил, задыхаясь от волнения, Семен.

– Разрешите ваши документы, – сказал милиционер.

– Паспорта у меня с собой нет, – фальшивым голосом сказал Сережа. – Паспорт в гостинице.

Он достал служебное удостоверение, профсоюзный билет и даже, неизвестно зачем, справку о том, что он совершенно здоров и курорт Сочи ему не противопоказан.

Милиционер все это внимательно осмотрел и спросил:

– Как же все-таки с паспортом? Если паспорт человек отдал в гостиницу, надо брать справку о том, что паспорт сдан.

Сережа униженным голосом долго уговаривал милиционера поехать в гостиницу и проверить паспорт. Потом милиционер звонил по телефону, который, оказывается, был в задней комнате, и Сережа понял, что заведующая не позвонила в милицию, а послала Семена потому только, что боялась, как бы Сергей, услыша телефонный разговор, не убежал. Милиционер, видимо получив санкцию, согласился поехать с Сережей в гостиницу. Сережа ехал в ми-



лицейской машине и сквозь зарешеченные окна видел, что на каждом крыльце стоят люди, и из каждого окна смотрят люди, и поселок, который раньше казался ему пустынным, оказывается, густо населен.

В гостинице Сереже быстро вернули паспорт. Милиционер его посмотрел и, козырнув, совсем другим тоном сказал:

– Вы извините, товарищ. После этого ограбления в поселке, знаете, всякого стали бояться. Как новый человек появится – так милицию вызывают! Замучились мы прямо.

Короче говоря, когда без пяти двенадцать дня я, сытно позавтракав, собирался идти в кинотеатр, а Юра все еще спал как убитый, в номер ввалился Сергей, потный и взволнованный. Он вкратце изложил свою историю. Я расхохотался, но Сергею все это почему-то ничуть не казалось смешным. Он даже, кажется, немного обиделся на меня за смех. Кончив свой печальный рассказ, он сказал:

– Впрочем, одно я установил точно: от конечной остановки в городе до конечной остановки в Колодезях автобус идет пятнадцать минут. Следовательно это, конечно, установил еще до того, как дело было передано в суд. А вообще, вероятно, каждой работой нужно заниматься серьезно. Сыщик-любитель – это такая же глупость, как, например, в наше время атомщик-любитель.

– Так что же, – спросил я, с трудом сдерживая смех, – мне тоже не идти в кинотеатр?

– Нет, – сказал Сергей, – ты пойді. Ты-то ведь знаешь, о чем спрашивать. Заметил ли кто из контролерш Петьку? Это конкретный вопрос. А мне задание дали дурацкое. Разузнать, мог ли Клятов услышать разговор.



— Ну ладно, — сказал я. — Ты теперь отдыхай, а мне все-таки придется идти. Может быть, дело не в том, что частное расследование бессмысленно, а просто в том, что ты плохой сыщик. До свидания.

Пустив под конец эту ядовитую фразу, я ушел.

## Глава тридцать третья

### *Еще один сыщик-любитель*

Когда я пришел в кинотеатр «Космос», первый сеанс уже начался. За время короткой дороги я, казалось мне, продумал линию поведения. Опыт Сергея ясно показывал, что вести приватные беседы с сотрудниками, делая вид, что ведешь их просто для интереса, дело опасное. Решат еще, что ты собираешься подойти к последнему сеансу забрать выручку, пока не приехали инкассаторы, и отправят в милицию. Администрация гостиницы и так уже потрясена, вероятно, появлением Сережи под конвоем. Если еще и я явлюсь под охраной милиционера, наш двести пятый номер будет окончательно взят под подозрение. Поэтому я решил пойти к директору кинотеатра или, в крайнем случае, к администратору и все откровенно ему объяснить.

Оказалось, что директор ушел в отдел кинофикации. Администратор был на месте, и меня, не споря, пропустили через контроль. У администратора был крошечный кабинетик, из которого маленькое окошечко, задвинутое деревянной заслонкой, выходило в помещение, где находились кассы.

За столом в кабинете сидел совсем молодой человек с

очень красивым, немного женственным лицом. Он вежливо указал на кресло, стоящее по другую сторону стола, и мне показалось, что и жест его и лицо, выражавшее готовность вдумчиво и внимательно выслушать, что скажет посетитель, невсамделишные, ненатуральные. Как будто молодому и очень неопытному студенту театрального института задали этюд: вежливый, хорошо воспитанный руководящий работник принимает посетителя.

— Слушаю вас, — солидно сказал администратор, и это тоже было ненатурально. Слишком солидно и барственно для обыкновенного администратора в обыкновенном кино.

— Дело вот в чем, товарищ, — сказал я, протягивая удостоверение, — я сотрудник газеты «Уралец» из города С.

— Очень приятно, — торжественно наклонил голову администратор, — чем могу быть вам полезен?

Я с трудом удержался от улыбки. В самом деле, уж очень смешна была эта солидная немногословность у человека, которому было двадцать, самое большее двадцать один год.

— У вас в Энске... — подавив улыбку, продолжал я. На столе зазвонил телефон.

— Кинотеатр «Космос», — сказал администратор, взяв трубку. И вдруг совершенно другим голосом продолжал: — Здравствуй, Валечка! Ну как настроение? В субботу? Да, свободен. На лыжах? С удовольствием. Только с деньгами у меня плохо. Укради из кассы тысяч сорок. Не хочешь в тюрьме сидеть? Ну ладно, оставайся честной. Ничего, доедем на электричке. У тебя что, перерыв? Хорошо. Вечерком зайдешь? Не Художественный театр, но посмотреть можно. Ну хорошо, значит, до вечера.

Он обладал удивительным даром преобразования, этот администратор. Только что я видел молодого парня, шутиливо болтавшего с девушкой о всяких своих молодых делах. Трубка не успела лечь на рычаг, и за столом опять сидел спокойный, сдержанный и, несомненно, руководящий работник.

— Да, извините, так чем я могу быть полезен?

— Дело в том, — начал я опять, — что в Энске, как вы, вероятно, слышали, в сентябре месяце произошло ограбление с убийством. Ограбили инженера Никитушкина в поселке Колодези. Вы слышали об этом? (Администратор кивнул головой.) Обвиняются двое: Клятов и Груздев. Ну, Клятова я не знаю, а Груздев — мой старый друг, с которым мы вместе выросли в детском доме. Чтоб не занимать ваше время, — я нарочно говорил серьезно, как будто пришел с просьбой к директору треста или заместителю министра, — скажу коротко: я и другие его друзья убеждены, что он не виноват. Мы хотим заявить об этом на суде. Нам известно, что в день убийства седьмого сентября Груздев четыре сеанса подряд просидел в вашем кинотеатре...

— Простите, одну минуточку, — перебил вдруг администратор, — подождите меня, я скоро вернусь. Тут одно неотложное дело.

Он выбежал из кабинета, закрыв за собою дверь.

«Черт, — подумал я, — такой деятель должен во МХАТе работать, а не в кино! Какие у него могут быть неотложные дела? Чистый цирк!»

Я ждал пять минут. И десять минут. И уже начал нервничать. И собирался идти искать администратора, когда он спокойно вошел в кабинет.

– Извините, что задержал, забыл дать некоторые указания. Слушаю вас.

Я собирался повторить рассказ с самого начала, решив, что, вероятно, администратор, занятый делами государственной важности, уже позабыл, о чем был разговор, по только я начал говорить, как администратор решительно меня перебил:

– Я помню, помню об этом разбойном нападении на Никитушкиных. Словом, вы хотите доказать, что в этот вечер ваш друг просидел в нашем кинотеатре четыре сеанса. Какого числа это было?

– Седьмого сентября, – сказал я.

– Да, да, – закивал головой администратор, – припоминаю, седьмого сентября. Ну я-то не видел его. Надо спросить контролерш. Сейчас посмотрим, кто в этот день работал.

Он достал из ящика стола толстую тетрадь и стал не торопясь ее перелистывать.

– Так, – бормотал он про себя, – конец третьего квартала: четвертое сентября, пятое сентября, шестое сентября. Вот! Седьмого дежурили: Асланова и Рукавишникова. Вам повезло, они обе дежурят сегодня. Можете с ними поговорить. Если хотите, я их вызову. Поодиночке, конечно. Кто-то должен остаться проверять билеты.

– Буду вам очень благодарен, – сказал я.

Администратор вышел и через три минуты вошел с пожилой полной женщиной, которую я уже видел на контроле.

Я повторил свою просьбу, и она выслушала ее с ничего не выражающим лицом.

– Вы помните, Марья Никифоровна? – спросил администратор, желая мне, очевидно, помочь.

– Как же, – сказала Марья Никифоровна, – еще мы с Аслановой о нем говорили. Картина была такая, что зрителя калачом не заманишь, и вдруг этот чудака на один сеанс пришел, потом на другой. Я ей тогда говорю:

«Верочка, вот нашелся чудака, второй сеанс смотрит». А она говорит: «Может, это автор. Может, ему так своя картина нравится, что он по всем городам ездит, смотрит и насмотреться не может». Картина была «Первый рейс» или «Последний рейс», уж не помню. В зале хоть шаром покати. Потом смотрим, на третий сеанс идет. Вера и говорит: «Марья Никифоровна, может, он сейчас нас с вами бить будет за то, что такие картины показываем?» Но он ничего, билет предъявил и прошел. Я говорю: «Ты, Вера, держись. Он, скорее всего, в тебя влюбился. У него сильное чувство». А она говорит: «Если б влюбился, он бы в фойе торчал. Что ему в зале делать? Я здесь, он там... Какая это любовь!» Ну посмеялись.

– Скажите, Марья Никифоровна, это про что картина? – спросил я.

– А я и не поняла, – сказала Марья Никифоровна. – Сколько картин смотрела – все поняла, а эту не поняла. Там что-то все тонут, тонут, без конца тонут. А потом всех спасают. Спасают, спасают, аж в глазах рябит. Из морской жизни, словом.

– Скажите, – спросил я, – а Вера, с которой вы шутили, тоже его запомнила?

– Запомнила, конечно, хотя она его только на трех сеансах видела. Потом не выдержала – ушла. Свидание у нее

было в этот день с женихом. Попросила меня, старуху, за двоих отстоять. Ну, у меня жениха нет, я согласилась.

Я записал фамилию контролерши: Рукавишникова. Имя, отчество – Марья Никифоровна. Сказал, что ее, может быть, вызовут в суд, на что она ответила, что придет с удовольствием. Потом она ушла. Я спросил администратора, в какое время точно кончается последний сеанс.

Это, оказывается, бывает по-разному. И картина может быть длиннее или короче, и хроника может быть или не быть. Но у администратора каждый день был отражен в дневнике. Оказалось, что картина называется «Спокойное плавание», и последний сеанс кончился в одиннадцать часов тридцать пять минут. На всякий случай я спросил, сможет ли администратор подтвердить это на суде. Администратор сказал, что, конечно, сможет, а я записал его имя, отчество и фамилию: Петр Николаевич Кузнецов. После этого мы с администратором любезно распрощались.

На улице я спросил прохожего, как добраться до вокзала, и он, тоже очень любезно, начал мне показывать остановку, от которой шел нужный мне автобус. Я слышал, что кто-то кричал: «Гражданин, гражданин!», но понял, что это относится ко мне, только тогда, когда меня тронули за плечо. Я обернулся. Это Рукавишникова меня звала. Она стояла передо мной в накинутом на голову вязаном шерстяном платке и слова сказать не могла, так запыхалась.

– Что такое, Марья Никифоровна? – спросил я. Она глубоко вздохнула и как будто немного успокоилась:

– Скажите, а зачем вы меня расспрашивали?

Я удивился:

– Как – зачем? Чтобы установить, где был Груздев вечером седьмого сентября.

– Так меня уже следователь вызывал, и я все показала. И Веру Асланову тоже вызывал. И мне показали троих мужчин, и среди них Груздева. И я его опознала. И Вере тоже троих мужчин показывали. И она тоже Груздева опознала. И меня еще на суд вызывают. Повестка вчера пришла. А Веру не вызывают. Но, может, еще и ей придет повестка. И Петра Николаевича тоже к следователю вызывали. И ему тоже в суд повестка пришла.

– Почему же вы мне сразу не сказали?

– Да я в свидетелях-то первый раз. Порядка не знаю. Спрашивают – я говорю. Если что не так – вы извините.

Спорить с ней, доказывать, что морочить человеку голову нехорошо?... А! Я пошел к остановке, сел в автобус и заметил время, когда автобус тронулся.

Всю дорогу я размышлял: значит, следствие проверило Петькины слова о том, что он четыре сеанса просидел в кино, убедилось, что это правда, и тем не менее передало дело в суд. И судья, ознакомившись с делом и, стало быть, с протоколом допроса Рукавишниковой, согласился, что оснований для обвинения достаточно. И в самом деле, конечно же, Петя мог успеть в Колодези. Седьмого сентября народу в кино было мало. Петр мог выйти сразу, через пять минут сесть в автобус. Пятнадцать минут езды, еще пять минут, чтобы встретиться с Клятовым и дойти до Никитушкиных. Так. Значит, кинотеатр ничего не опровергает.

«Теперь проверим, успевал ли Петр на двенадцатичасовой поезд», – подумал я. Автобус остановился у самого вокзала. Он шел одиннадцать минут. В одиннадцать три-

дцать пять кончился сеанс. Пять минут – выйти из кино и дойти до остановки. Пять минут – ожидание автобуса. Двадцать одна минута. Четыре минуты остается.

От остановки до кассы я дошел за минуту. Шел, правда, быстро. Но Петр же знал, что поезд отходит в двенадцать, значит, тоже торопился.

Я выбрал окошечко кассы, у которого никто не стоял, и поговорил с кассиршей. Объяснил, что я еще точно не знаю, но, может быть, мне придется двенадцатичасовым сегодня ехать. Так вот, как она советует, брать билет сейчас или перед поездом? Возьму сейчас, а потом окажется, что ехать не надо. А если не возьму и надо будет ехать, так, может, не достану? Кассирша сказала, чтоб я не волновался, поезд этот всегда наполовину пуст, так что если перед поездом приеду хоть за две-три минуты, то успею.

– Зачем же вообще пускают этот поезд? – заинтересовался я. – Или, может быть, это только зимой так, а летом полно?

Кассирша объяснила, что летом тоже поезд почти пустой. Дело в том, что станция, до которой он идет, тупиковая, так что пускают поезд, несмотря на убытки. Надо же людям ездить.

– Значит, и летом за две минуты до отхода можно билет взять?

– Да хоть за минуту, – сказала кассирша, – что зимой, что летом. А перрон тут рядом. В минуту добежите.

Тогда я, поглядывая все время на секундную стрелку, очень быстрым шагом прошел в ресторан. Действительно, в буфете продавались пакеты с яйцами, булками и всякой едой. Очереди у буфета не было никакой. Я присчитал



все-таки две минуты на то, чтобы купить пакет и расплатиться, и выбежал на перрон. Еще раньше у кассирши я узнал, что поезд, которым ехал Петька, отправляется с первого пути. Пока все сходилось. Петины слова не опровергались ничем. Записав в блокнот по минутам весь расчет времени, я отправился в гостиницу.

Конечно, ерундовые были у меня достижения, но все-таки следовало спокойно оценить важность полученной информации.

Теоретически рассуждая, Петр одинаково мог успеть и в Клягино к Афанасию, и к Никитушкиным в Колодези. Это теоретически. Однако на самом деле всегда, хоть на две-три минуты, уходит времени больше. Наконец, неужели, идя впервые в жизни грабить, человек может до последней минуты сидеть в кино, смотреть четвертый раз скучную картину? Теоретически может. Психологически не может.

Я обрадовался, решив, что это соображение поселит сомнения у суда в Петькиной виновности. Однако потом мне пришла в голову мысль, от которой я помрачнел.

В самом деле, откуда известно, что Петя досидел последний сеанс до конца? Он мог досидеть и до середины. Во-первых, ему было в это время не до картины. А если он и смотрел картину, так он же ее видел четвертый раз. Считаем, сеанс идет час сорок минут. В десять он начался. Минут сорок Петя посидел, а потом вышел. Даже если хотел выпить для храбрости, так и то успевал. Но, наверное, в кинотеатре у выхода из зала тоже кто-то стоит. Может быть, этот человек видел, когда Петька вышел: в конце сеанса или в середине? Но в конце сеанса выходят толпой,

тут уж вряд ли различают лица. А в середине сеанса в зале темно. Невидная в темноте фигура подошла к двери и попросила открыть. Как ее разглядишь?

Мне стало очень тоскливо. Я подумал, что Петька запутался страшно и непоправимо. Что никакими силами его не освободишь из этой сети неопровержимых улик.

Одно только бесспорно: быть одновременно в Колодезях и на вокзале Петька никак не мог. Значит, все зависит от Коробейникова. Найдет он таинственного человека, который окликал на вокзале Петьку, – Петька спасен. Не найдет – погиб наш Петя.

## **Глава тридцать четвертая**

### ***Третий сыщик-любитель добывается своего***

Даже удивительно, до чего большие наши заботы соседствуют с заботами маленькими. Казалось бы, я да и все мы должны были жить это время только одной нашей большой заботой о Петьке. Однако, когда я поднимался по лестнице, меня волновало, как рассказать братикам о своем походе. Несколько часов назад я громко смеялся над рассказом Сергея о его похождениях в поселке Колодези. И вот теперь мне предстояло рассказать о таких же, если не более нелепых, похождениях частного сыщика в кинотеатре «Космос».

Сергей и Юра ждали меня с нетерпением. Юра ходил по комнате и застыл, услышав, что я открываю дверь. Сергей лежал, отдыхая после своей триумфальной поездки по городу в милицейской машине. Оба уставились на меня,

ожидая новостей, но я нарочно неторопливо разделся в передней, повесил пальто на вешалку, медленно вошел в комнату и сел в кресло.

– Значит, так, – сказал я, – пришел я в кинотеатр к администратору...

– Подожди, – перебил меня Сергей, – потом расскажешь подробности; сначала скажи, видели Петьку в кинотеатре?

– Видели, – сказал я.

– И он действительно просидел четыре сеанса?

– Действительно просидел четыре сеанса.

– Ура! – закричал Юра.

– Подожди, подожди, – сказал я, – дай я расскажу по порядку.

Я медленно стал излагать ход событий. Описал администратора Кузнецова, вежливого до предела, но заставившего меня ждать минут пятнадцать, пока он ходил по каким-то неотложным делам. Описал контролершу Рукавишникову и ее подругу Веру, которые отлично помнили, как Петька просидел четыре сеанса подряд.

И у Сергея и у Юры от восторга горели глаза. А я рассказывал ровным, спокойным голосом, стараясь не упустить ни одной подробности.

Когда я закончил рассказ о разговоре с Рукавишниковой и о том, как, попрощавшись с Кузнецовым и с ней, вышел из кинотеатра, Юра даже захлопал в ладоши от восторга и сказал:

– Ну, Петра Груздева можно считать по суду оправданным.

– К сожалению, нет, – тяжело вздохнул я.

– Почему? – насторожился Сергей.

– Потому что, – сказал я медленно, – и Рукавишникову и эту вторую контролершу, Веру, уже вызывали к следователю и они рассказали ему гораздо раньше все то же самое, что рассказали мне. Каждой из них показывали трех мужчин, и каждая из них безошибочно узнала среди этих троих Груздева. Кстати, администратор Кузнецов тоже давно уже допрошен следствием.

И Юра и Сергей обалдели.

– Как же так? – спросил Сергей.

Юра все еще пребывал в состоянии психологического шока.

– Очень просто, – сказал я. – Последний сеанс седьмого сентября кончился в одиннадцать часов тридцать пять минут. Теоретически Петр, выйдя с последнего сеанса, мог к двенадцати часам успеть в поселок Колодези. Кроме того, никому не известно, досидел ли он последний сеанс до конца или ушел в начале сеанса. В общем, и Рукавишникова и Кузнецов вызваны в суд. Поэтому вы сами услышите их показания.

Я мог быть доволен. И Юра и Сергей были так поражены концом рассказа, что даже не подумали смеяться над моей неудачей. После этого уже без особого интереса они прослушали рассказ о поездке на вокзал и точный расчет времени, из которого было ясно, что, даже досидев последний сеанс до конца, Петька вполне успевал к двенадцатичасовому поезду.

– Да, – сказал Сергей, когда я кончил, – теперь все зависит от Кости. Найдет он этого загадочного человека, Петька спасен. Не найдет – Петька погиб.

– Не верю в сыщиков-любителей, – сказал я. – Уж если такие титаны, как мы с тобой, Сережа, провалились, значит, рассчитывать не на что. Ты верно сказал: сыщик-любитель такая же ерунда в наше время, как любитель-атомщик.

Все, что происходило потом в этот безумно длинный, длинный, длинный день, можно определить коротким словом: тоска. Делать нам было совершенно нечего. Настроение было не такое, чтобы пойти, скажем, в краеведческий музей или местный драматический театр – словом, приобщиться к культурным ценностям города Энска. Я, впрочем, сделал некоторую попытку уйти в интеллектуальную жизнь, спустился вниз и купил в киоске какую-то книгу. То ли книга была неинтересная, то ли я был в то время никуда не годный читатель, но я просмотрел, кажется, страницы полторы и бросил. Даже не помню, о чем была книга. Уезжая, я забыл ее в гостинице.

Юра и Сергей бесхитростно тосковали, даже не пробуя переключиться на духовные интересы. Оба они то валялись на кроватях, упорно глядя в одну точку, то вскакивали и начинали ходить по комнате. К нашему счастью, в середине дня наступило некоторое оживление. Оно было связано с обедом. Мы условились идти обедать не раньше пяти. Начиная с четырех, все трое поглядывали на часы. Не потому, что были так уж голодны, – просто обед сулил массу развлечений. Надо было завязать галстук, причесться, надеть туфли вместо надоевших тапочек.

Ровно в пять спустились в ресторан. Хотя какая-то музыкальная машина играла все время одни и те же мелодии, официанты были негостеприимны и даже нелю-

безны, а кормили очень невкусно, как выразился Сергей – ядохимикатами, – все-таки вместо надоевших стен номера были другие, менее надоевшие стены.

Вернулись в номер. Время тянулось просто непереносимо. Взяли шахматы у дежурной по этажу, попробовали играть. Зевали так, что ход за ходом приходилось брать обратно. Обозлились. Вернули дежурной шахматы.

Я пошел вниз купить сигарет в ларьке и принес колоду карт.

– Для шахмат мозги слабоваты, – сказал я хмуро, – а на подкидного дурака может хватить.

Но оказалось, что никто не помнит, как играть в подкидного дурака.

– Может, ребята, кто-нибудь умеет гадать? – с надеждой спросил Сергей.

Но и гадать никто не умел.

Вечером пришел Костя Коробейников. Мы было разволновались и обрадовались, но вид у него был такой унылый, что стало ясно – радоваться нечему.

Костя уже побывал и в первой и во второй смене, переговорил со всеми не только в цеху, но и в заводоуправлении и даже в бухгалтерии. Никто на вокзале Петьку не видел.

– Черт его знает, ребята, – сказал Костя, – не мог же Петр выдумать! Может, окликнул его кто-нибудь не с завода?

Костя никуда не торопился, да и неудобно как-то прийти и сразу уйти. Затеялся разговор. Разговаривали лениво, только для того, чтобы не молчать. Костя рассказал, что на заводе его встретили хорошо, о чем мы уже

знали, и что к Пете все относятся с сочувствием, что нам тоже было известно. Для того чтобы разговор окончательно не погас, я спросил, как у него дома. Костя несколько оживился. Он, когда получил нашу телеграмму, побежал к заведующему мастерскими и рассказал ему всю историю. Тот, хороший человек, сказал, чтобы Костя непременно ехал, поскольку нужно выручить невинного. Только родители не хотели отпускать его, не почему-нибудь, а по чувству. Они четверть века искали сына, и им все казалось, что если он уедет, то может снова исчезнуть. Глупости, конечно, но все-таки можно понять старых людей. Мать даже плакала. Костя ей честное слово дал, что вернется. Между прочим, Костя за эти полгода сжился со своей семьей. И в Едрове прижился. Там народ неплохой и к нему хорошо относятся. Заведующий мастерскими одобряет Костю за то, что у него дисциплина заводская. Считает, что, глядя на Костю, и другие повышают свою дисциплину. В общем, хотя на заводе славный народ и встретили его хорошо, а все-таки дом его в Едрове. На суд он, конечно, останется, а потом сразу домой.

В сущности, рассказ был довольно интересен, но мы были просто неспособны слушать о чем-нибудь, что не имеет прямого отношения к Петьке.

Костя сам это почувствовал и рано ушел. Мы протомились еще несколько часов. Думали было спуститься поужинать, но вспомнили про музыкальную машину и нелюбезных официантов и ограничились тем, что зашли в буфет на этаже и съели по яичнице.

Легли спать рано. Я долго не мог заснуть. Судя по вздохам, доносившимся до меня, Сергей и Юра тоже не спали.

Настало двенадцатое число. До сих пор помню, каким этот день тоже оказался томительным, непереносимо длинным. Каждый из нас горы был готов своротить, чтоб доказать невиновность Груздева. Но гор не было, и сворачивать их не приходилось. Оставалось ждать, просто ждать и ничего не делать с самого утра и до самого вечера.

Молча мылись, брились и одевались. Молча завтракали в буфете, молча ждали единственного развлечения – обеда.

Время от времени кто-нибудь с неожиданной энергией начинал обсуждать, кто бы это мог окликнуть Петьку или куда грабители девали шесть тысяч рублей. Все понимали бесцельность этих разговоров. Перед обедом дали друг другу слово ни о чем, что связано с завтрашним процессом, не говорить. Кто заговорит – рубль штрафа. Тогда замолчали совсем, потому что ни о чем другом говорить не могли. В положенное время молча спустились обедать, с отвращением ели «ядохимикаты», с отвращением слушали музыкальную машину. Поднялись наверх, разлеглись по кроватям. Часа два все молчали. Через два часа Юра спросил:

– Слушай, Женя, а твой администратор Кузнецов сам не заметил Петьку, когда он четыре сеанса просидел?

– Дай рубль, – мрачно сказал я.

– Ответь – тогда дам.

– Дай – тогда отвечу.

– Ух и жмот же ты! На рубль.

Я аккуратно спрятал рубль в карман и сказал:

– Не знаю.

– Дурак, – сказал Юра и отвернулся. Опять лежали, молчали.



Восемь часов... Девять часов... Десять часов... В половине одиннадцатого постучали в дверь.

– Войдите! – крикнул Юра, думая, что это уборщица или кто-нибудь из администрации.

Дверь открылась. Нет, не открылась – распахнулась. Взорвалась!

В комнату вошли... Нет, вбежали! Нет, ворвались двое! Коробейников и еще один человек, лет, по-видимому, за шестьдесят.

Мы вскочили как ошалелые. Пришедшие дышали тяжело, видно, бегом поднимались по лестнице. Поэтому, наверное, с полминуты молчали. Потом Коробейников сказал:

– Вот... привел... Алексей Семенович Ковригин... видел Петьку... седьмого сентября... на вокзале.

Ковригин, еще тяжело дышавший, кивнул головой.

– Садитесь, – сказали хором мы с Сережей.

– Разденьтесь, разденьтесь сначала, что за разговоры в пальто! – закричал Юра.

Коробейников и Ковригин молча разделись. Мы трое прыгали вокруг них, вешали их пальто в шкаф, клали их шапки на полку, суетились как сумасшедшие.

Потом вошли в комнату, расселись кто где.

– Я уже думал, мертвое дело, – сказал Коробейников, улыбаясь счастливой улыбкой. – Всех расспросил. Больше спрашивать некого. Как последний день до суда скоротать? Дай, думаю, навещу Алексея Семеновича Ковригина. Он мастером у нас был, а потом на пенсию ушел, еще когда мы с Петькой работали. Хороший человек. Зашел, а мать жены – они с ней вместе жили – говорит: «Эко вспомнили!

Алексей Семенович с женой года полтора уже у сына живут в совхозе. Сын у них главный агроном. У него квартира хорошая, и воздух там свежий. Как Алексей Семенович на пенсию вышел, так и переехали». — «Далеко?» — спрашиваю. «Километров, — говорит, — тридцать. На электричке сорок пять минут». Ну, я и поехал. Адрес взял, дорогу она мне объяснила. Сказала, что Алексея Семеновича, бывает, навещают, так что езжайте спокойно. Алексей Семенович встретил хорошо, обрадовался, чайком угостил. Ну, я про свои едровские дела рассказал. А потом спрашивает: «А ты, Костя, что, в отпуск приехал?»

Я объяснил, что, мол, ищу того, кто Петьку окликнул. Он виду не подает, а спрашивает: «Это какого числа было?» — «Седьмого, — говорю, — сентября». А он к жене: «Шура, Вера Ивановна какого числа рождение празднует?» А та говорит: «Седьмого сентября». Алексей Семенович помолчал, подумал. «Ну, — говорит, — пляши, Костя, нашел ты своего свидетеля. Я Петьку Груздева в двенадцать часов ночи седьмого сентября видел на вокзале...» Ну, я, конечно, Алексея Семеновича в охапку и в поезд. Он человек хороший, не сопротивлялся. Вот теперь пусть сам рассказывает.

Ковригин слушал Коробейникова с лицом, ничего не выражавшим, как будто рассказ никакого отношения к нему не имел. Мы все трое повернулись к нему и ждали, что он скажет. Он начал не торопясь, спокойно и обстоятельно:

— Седьмого сентября теща моя, мать жены, свой день рождения празднует. Женщина пожилая, почтенная. Мы с женой всегда ей оказываем уважение. И на этот раз поехали

с женой и сыном. Я теперь, можно сказать, не пью, ну, а по такому случаю несколько рюмок выпил. Вышли от тещи часов в одиннадцать, чтоб на электричку в одиннадцать тридцать попасть. Однако опоздали. Как раз мы подходили – она ушла. А следующая в ноль часов двадцать минут. Ну, Алеша, это сын мой, говорит: «Пойдем, папа, пиво пить». И Шура, моя жена, спорить не стала. «Ладно, – говорит, – и верно, пить хочется». Сели в ресторане. По сто грамм еще выпили и по кружечке пивка взяли. Вдруг вижу, Петя Груздев идет. Кулек с едой у него в руках. Видно, в буфете взял. Ну, я его окликнул. «Петух!» – кричу. Он, правда, не обернулся, спешил, видно, очень и почти что бегом на перрон выбежал. Вот, если это полезно будет, я могу на суде показать.

– Это, значит, было около двенадцати? – спросил Сергей.

– Приблизительно без пяти минут.

– Вы точно помните время?

– Ресторан как раз закрывался. А он в двенадцать закрывается.

Не буду перечислять все вопросы, которые мы задали Алексею Семеновичу. Сейчас мне кажется, что в большей части они были не нужны. Просто нам хотелось узнать как можно больше подробностей, убедиться в том, что показания Ковригина сыграют роль на процессе. Алексей Семенович на все вопросы отвечал подумав, спокойно и совершенно уверенно. Решено было, что Ковригин сегодня домой не поедет. Переночует у тещи, а завтра раненько утром явится в суд и скажет, что хочет дать показания. Если его спросят какие, он объяснит. К сожалению, ока-

залось, что его жена и сын хотя Петьку и видели, но в лицо его не знают, так что их вызывать в суд ни к чему.

Словно камень упал у нас с души. И вдруг все мы почувствовали, что страшно голодны. Решили идти ужинать в ресторан – буфет уже был закрыт. Уговаривали Ковригина пойти с нами, но он отказался, объяснив, что поздно являться к теще неудобно. Костя тоже отказался. У товарища, у которого он остановился, спать ложились рано, и ему не хотелось будить людей.

Проводили их до выхода из гостиницы. Пошли в ресторан. Как ни странно, оказался свободный столик. Заказали к ужину бутылку вина. Выпили за здоровье Петьки. За здоровье Ковригина. За здоровье Коробейникова.

Юра сказал, что Ковригин – человек такой солидный, что не поверить ему не могут. Сережа сказал, что ему нравится, как Ковригин говорит: словно взвесит сначала фразу в уме, а потом уже скажет. Я сказал, что должен же когда-то кончиться для Петьки период неудач. Должен же когда-нибудь наступить счастливый период. Словом, разговоры велись самые жизнерадостные, полные оптимизма. Казалось, что все предreshено: Петька будет оправдан, бросит пить и станут они с Тоней жить счастливо. Поговорили даже о том, какой будет Володька талантливый, когда вырастет, и как он кончит один институт, и еще другой институт, и защитит диссертацию.

Мы отдыхали от уныния и безнадёжности. Весело мы поднялись к себе в номер и заснули в отличнейшем настроении.

## Глава тридцать пятая

### *Признаете себя виновным!*

Совершилось преступление. Преступники скрылись. Следователи, эксперты, специалисты самых различных профессий осматривают место преступления. Изучаются следы, отпечатки пальцев, рисуется план комнаты, фотографируется труп. Всеми способами воссоздается точная картина преступления. Все это лежит на работниках органов дознания.

Потом начинает работать огромная машина розыска. В глухой деревне или в шумном городе сотни, может быть, тысячи людей оповещены: скрылся преступник. Вот его словесное описание, вот его фотография (если есть фотография): следите, проверяйте, ищите.

Наша страна огромна. Преступник, может быть, скрывается в маленькой белорусской деревне, а может быть, в городе Владивостоке, в глухом северном поселении или на жарком базаре южного города. Ему все равно не скрыться. Где бы он ни прятался, его найдут! Фальшивые документы не смогут его спасти. Все равно, раньше или позже, он будет задержан. И доставлен туда, где украл, ограбил, убил. Отрицать вину бесполезно: ему будут предъявлены улики, а при теперешнем уровне розыскной техники улик не может не быть. Но признать свою вину недостаточно. Показания подсудимого должны совпасть с объективными показаниями улик. Только тогда следователь пишет обвинительное заключение. Оно поступает к прокурору. Прокурор внимательно, даже придирчиво, прочитывает его.

Добросовестно ли проведено следствие? Убедительны ли собранные доказательства? Подтверждается ли признание точными данными? Да, доказательства неопровержимы, сомнений нет: преступление совершено именно этим человеком или этими людьми.

Еще до того, как написано обвинительное заключение, вступает в дело адвокат. Он встречается с подсудимым, они долго разговаривают наедине. Никто не имеет права слышать их разговор. Адвокат взвешивает каждый факт. Он обязан защищать подсудимого. Он обязан, если просить оправдания безнадежно, искать смягчающие обстоятельства. Настаивать на тщательном исследовании всех фактов, которые говорят в пользу обвиняемого. Он должен продумать и взвесить все возможности защитить или хотя бы смягчить наказание.

И все-таки решает, виноват преступник или нет, только суд. Именно для того, чтоб судьи не упустили ни одного довода ни в пользу обвинения, ни в пользу оправдания подсудимого, на суде спорят прокурор и адвокат. В законе сказано: прокурор обязан на суде отказаться от обвинения, если данные судебного следствия убедили его в невиновности подсудимого. В законе сказано: адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подсудимого.

Как бы убедительны ни были улики, квалифицированный юрист, знающий все законы, все права, предоставленные подсудимому, должен использовать свои знания и опыт, чтобы ни один довод в пользу его подзащитного не был упущен. Судебных ошибок не должно быть. Невинно осужденных не должно быть. Обстоятельства могут сложиться так, улики могут совпасть так, что вина человека

кажется бесспорной. Надо еще проверить. Пусть судьи выслушают доводы «за» и доводы «против». Как бы тщательно ни было проведено следствие, оно снова проводится на суде. Тут сталкиваются разные точки зрения. Тут идет спор. Судьи заново исследуют доказательства. Судьи объективно выслушивают обвинителя и защитника. Только убедившись, что доказательства оспорить нельзя, что вина, несомненно, доказана, что преступник подлежит наказанию, они в соответствии с законом выносят приговор.

Мне рассказывал человек, много лет работающий судьей, что он каждый раз, когда выносит приговор, волнуется так, как будто это его первый процесс.

Следствие увлекательно и волнующе, и все-таки последнее слово говорит суд. Итог подводит суд. Судьбу обвиняемого решает суд.

Итак, слушается дело по обвинению Клятова и Груздева в разбойном нападении и убийстве.

В половине десятого утра во двор здания суда въезжает тюремная машина с закрытым кузовом. Из машины выскакивают молодые парни – бойцы конвойных войск. Командует офицер. Они проходят по всему пути, по которому придется идти обвиняемым. В просторном, широком коридоре уже ждет начала заседания довольно много народу. Здесь и те, кто вызван в качестве свидетелей, и товарищи инженера Никитушкина, и товарищи Груздева, который, по данным обвинительного заключения, ограбил инженера и убил его жену, и просто любопытные.

Товарищей Клятова нет. У Клятова никогда не было товарищей. А если и были хоть какие-нибудь, так они сидят по тюрьмам и колониям.

Конвойные освобождают широкий проход. По этому проходу идут, сложив руки за спиной, подсудимые. Конвоиры сопровождают их с обеих сторон. Груздев смотрит вниз. Он ни с кем не хочет встречаться взглядами. Клятов с любопытством осматривается и даже, кажется, улыбается, во всяком случае, лицо у него веселое. Подсудимые скрываются в специальной комнате. В этой комнате крепкая решетка на окне. В этой комнате с них не спускают глаз конвоиры.

Снова публика заполнила коридор. Продолжаются прерванные разговоры. Почти никто не говорит о преступлении, о преступниках, о предстоящем судебном заседании. Почти все говорят о пустяках. Если записать разговоры, человек, прочтя их, скажет, что разговоры эти велись, наверное, в фойе театра или кино. Человек, который своими ушами их слышал, никогда этого не скажет. Все говорят каким-то особенным, приглушенным тоном. Темы самые обычные, а голоса взволнованные. Никто не может не думать о преступлении, о преступниках, о предстоящем судебном заседании.

Толпа замолкает. В коридор входит инженер Никитушкин. Его ведет под руку сын, человек лет сорока. Старик идет очень медленно. В толпе многие его знают. Шепот идет по толпе. Сочувственный шепот. Почти никто не видел его последние полгода. Полгода назад это был старый, но бодрый и жизнерадостный человек. Теперь он с трудом передвигает ноги. У него трясется голова. Многие почти-тельно здороваются с ним. Старик отвечает всем, но, кажется, даже не видит, кто с ним поздоровался, кому он ответил. Сидящие на скамье встают, уступают старику место.



Деловой походкой в зал проходит Сергей Федорович Ладыгин. Его тоже многие знают. Он много лет прокурор области. В городе его любят. Он известен своим беспристрастием. Еще минут пять тихо жужжат в коридоре разговоры, и опять пауза. Проходит адвокат Грозубинский. И его тоже знают. Почти во всех нашумевших в городе процессах он выступал. Пожилые люди помнят известный процесс, когда улики были, казалось, бесспорны и его подзащитный был, как все думали, обречен. Тогда обвинял тоже Ладыгин. После судебного следствия, проведенного очень тщательно – и в этом была большая заслуга Грозубинского, – Сергей Федорович отказался от обвинения. Подсудимый был оправдан. Кажется, после этого процесса Грозубинский подружился с прокурором. Во всяком случае, в городе говорят, что по вечерам они часто играют в шахматы.

Потом в зал заседаний проходит молодой человек, который почти никому не известен. Даже по походке видно, что он очень взволнован. Раздаются вопросы: кто это, кто? Немногие знающие объясняют, что это защитник Груздева, молодой адвокат Гаврилов.

Появляется женщина с широко открытыми, испуганными глазами. Шепотом передается по толпе, что это жена Груздева. Ей сочувствуют. Все убеждены, что шансы Груздева на оправдание очень малы. Гораздо меньше, чем у Клятова. У Клятова к тому же Грозубинский, а у Груздева – какой-то мальчишка.

Свидетели понемногу собираются. Чуть волоча ногу, входит Афанасий Семенович. Он подходит к нам, братьям. Здоровается. Знакомится с Коробейниковым. Отходит в сторону. Ему сейчас не до разговоров.

Снова появляются конвойные. От комнаты, где сидят подсудимые, до входа в зал заседаний коридор пуст. По этому пустому пространству, вдоль выстроившихся конвойных и в сопровождении конвойных, снова проходят, сложив за спиной руки, Груздев и Клятов. Груздев снова опустил глаза и ни на кого не смотрит. Клятов снова весело глядит на толпу, и кажется, сейчас подмигнет, что, мол, ничего, ребята, все в порядке.

Подсудимые и конвойные скрываются за дверью зала заседаний, а в коридоре начинают гадать: почему Клятов бодрится? Что это, простое бахвальство или Грозубинский уже нагнел, как выручить подзащитного? Потом офицер открывает дверь, и публика, не торопясь, втягивается в зал.

На помосте стоит стол, и за столом три кресла с высокими пирамидальными спинками. У среднего кресла спинка выше, чем у других. На ней герб РСФСР. Это кресло председательствующего. Направо от публики за барьером сидят подсудимые. С обеих сторон барьера стоят конвоиры. Перед барьером длинный стол, за которым сидят адвокаты. По левую сторону от публики тоже длинный стол, и за ним сидит представитель государственного обвинения прокурор Ладыгин.

Публика медленно рассаживается по скамьям. Они сделаны из светлого дерева, с высокими спинками и подлокотниками. В первом ряду – свидетели. Инженера Никитушкина усаживает сын и сам садится рядом.

Гаврилов внимательно оглядывает первую скамью. Он проверяет, все ли его свидетели явились. Да, кажется, все. Вот Кузнецов, вот Рукавишникова, вот Афанасий Семенович, вот Сережа, единственный вызванный в суд свиде-

тель из братиков, усевшийся на первую скамью. Вот, наконец, Ковригин.

Молчание. Неподвижно сидят подсудимые. Неподвижно стоят конвоиры. Шуршат бумагами защитники и обвинители. Публика молчит. Наконец открывается дверь, ведущая в совещательную комнату, и входят председательствующий и члены суда. Все встают.

Председательствующий, Федор Елисеевич Панкратов, кладет перед собой толстую папку с делом. Секретарша быстрой походкой проходит на свое место рядом с судейским столом. Садятся Панкратов и члены суда. Садится публика, подсудимые, защитники, обвинители. Торжественно и тихо.

Председательствующий объявляет, что слушается дело по обвинению... Он называет фамилии Груздева и Клятова и перечисляет статьи, по которым они привлекаются. Не-юристу непонятно, в чем преступление. Но, во-первых, все сидящие в зале знают существо процесса, а во-вторых, все изложено в обвинительном заключении, которое будет оглашено.

Секретарша, худенькая молодая женщина, докладывает, что явились все участники процесса: обвинители и защитники, потерпевший и свидетели. Судья предупреждает свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний, просит их расписаться, что они предупреждены, и удалиться из зала. Свидетели расписываются один за другим и выходят. Первая скамейка пустеет. Офицер закрывает дверь. Председатель приказывает встать подсудимому Груздеву. Стандартные вопросы и стандартные ответы. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения...

Впрочем, не все стандартно. Выясняется, что подсудимый не знает года и места своего рождения. Председатель спрашивает почему. Подсудимый рассказывает о том, как его подобрали во время войны, – словом, все, что читателю уже известно.

Вручена ли ему копия обвинительного заключения? Да, вручена.

– Садитесь, – говорит председательствующий.

Груздев садится. Он ни разу не посмотрел на публику. А публика не спускает с него глаз. Мы, братики, и Коробейников смотрим на него с мучительным чувством жалости. Как его изменила тюрьма! Дело не только в том, что он острижен под машинку, что необычайно жалкой выглядит его почти голая голова, что сейчас кажется, будто у него торчат в разные стороны уши, а никто из нас, знающих его много лет, никогда этого не замечал. Дело в том, что беспросветное отчаяние выражает его лицо, его стриженная голова, его торчащие уши, его опущенные плечи.

Те же самые вопросы задает председательствующий Клятову. Оказывается, Клятов родился в 1930 году в рабочем поселке, километрах в ста от города Энска. Трижды судился, один раз был осужден условно, два раза отбывал наказание: один раз – три года, другой раз – пять лет, оба раза за воровство. Один раз судился у себя в поселке, другой раз – в Москве. Еще раз в Москве был арестован за нарушение паспортного режима. Работал? Получается, что почти не работал. В Энске, правда, работал несколько месяцев на заводе, но был уволен за то, что пытался вынести резиновую грелку, в которую налил технический спирт.

Клятов отвечает па вопросы, казалось бы, почтительно,

но как-то уж слишком лихо. Всем ясно, что настроение у него отличное. Формально он ничего лишнего не говорит, но в самом тоне его столько бойкости, что легкий смешок проходит по залу. Судья строгим голосом делает ему замечание, и Клятов выслушивает его почтительно, но как будто слишком почтительно. Нельзя понять, то ли он уверен, что его оправдают, то ли так привык к тюрьмам, что ему не страшно получить еще один срок.

Грозубинский хмурится. Он недоволен своим подзащитным. В суде надо вести себя без шутовства.

Председательствующий объявляет состав суда, обвинителя и защитников, разъясняет подсудимым и потерпевшему их права, спрашивает, есть ли отводы, есть ли ходатайства. Отводов и ходатайств ни у кого нет, и председательствующий приступает к чтению обвинительного заключения.

Я не буду излагать его. Читатели уже знают факты, которые лежат в его основе. Укажу только, что в убийстве Анны Тимофеевны Никитушкиной обвиняется Груздев. Следствие учло, что до тех пор, пока Груздев признавал свою вину, он не отрицал, хотя и не признавал убийства. Ссылки на то, что он не помнит, следствие считает неубедительными. Клятов же сначала и до конца упорно утверждал, что он, Клятов, Никитушкину не убивал. В обвинительном заключении указывается, что на последующих допросах Груздев отказался от своих показаний, заявил, что он вообще в разбойном нападении участия не принимал, но это его заявление не подтверждается никакими объективными данными.

Федор Елисеевич Панкратов читает обвинительное за-

ключение неторопливо и отчетливо. Каждая фраза ясно слышна. В то же время интонация Панкратова нейтральная. Он излагает документ, к которому пока еще никак не относится. У него нет мнения: правильные выводы делает следствие из фактов или неправильные. Свое мнение у него появится позже, когда здесь, в зале суда, будут исследованы все доказательства, будут допрошены все свидетели, выслушаны обвинители и защитники.

В конце обвинительного заключения излагаются номера статей, по которым обвиняются Груздев и Клятов. В их числе статья 102 пункт «а». Убийство из корыстных побуждений. В зале шепчутся. По этой статье возможна смертная казнь.

Чтение окончено. Председательствующий спрашивает Груздева, попятно ли ему обвинение. Груздев вскакивает и говорит:

— Понятно.

— Признаете ли вы себя виновным?

Груздев молчит. Недолго молчит, может быть, три или четыре секунды. Но как долго тянутся эти секунды и как много говорит это молчание! Оно говорит, что подсудимый колеблется, что он сам не знает, признавать свою вину или не признавать. Не будет же колебаться человек, если он невиновен.

Весь зал единодушен в том, что эта пауза почти равносильна признанию. Только мы с Юрой страдаем за Груздева и не сомневаемся, что он невиновен. Только Коробейников, заколебавшийся было, вспоминает, что Ковригин видел Груздева в вокзальном ресторане в то самое время, когда, согласно обвинительному заключению, он был в поселке Колодези.

– Нет, не признаю, – говорит наконец Груздев. Говорит нетвердо, неуверенно, и самый тон его подсказывает мысль о том, что непризнание вызвано глупой надеждой, что этим можно помочь делу, уйти от ответственности, избежать многих лет заключения, а может быть, смертной казни.

Тот же самый вопрос задает председательствующий Клятову. Клятов вскакивает и бодро, слишком бодро, говорит, что он свою вину признает.

Грозубинский морщится. Ему не нравится бодрый тон Клятова. Несомненно, тон этот произведет неблагоприятное впечатление на судей. Впрочем, Панкратов, кажется, не обратил на него внимания. Во всяком случае, ничем не показал этого.

## Глава тридцать шестая

### *Вариант Клятова и вариант Груздева*

Начинаются консультации о том, в каком порядке допрашивать подсудимых. Ладыгин считает, что первого нужно допросить Клятова. Защита не возражает. Члены суда согласны.

Начинается допрос Клятова:

– Расскажите, что вам известно по этому делу?

Я не буду повторять рассказ Клятова. Он точно, во всех деталях, повторяет сказанное им в камере следователя во время очной ставки с Груздевым. Неизменным осталось и его как будто снисходительное отношение к Пете. Он знает, что Груздев все будет отрицать, что Груздев всю вину будет валить на Клятова. Он, Клятов, не сердится за это на

Груздева. Он, Клятов, понимает, что Груздев не со зла, а просто по наивности. Под следствием не был, под судом не был. Думает, скажет, что не виноват, ему и поверят. Он, Клятов, другой человек. Он и следствие знает, и суд знает. Уж если попался – делать нечего, признавайся, и все. Хочешь не хочешь, до правды доберутся.

В последних фразах Клятов пересолил. Слишком явно виляет хвостиком, почти неприкрытая лесть: вы, мол, люди мудрые, куда уж мне вас обмануть.

Расчет Клятова неверен. В суде лесть не пройдет. Впрочем, и вреда она Клятову не приносит. И судьи и обвинитель достаточно ясно представляют себе его характер. Старый уголовник, рецидивист, примитивно мыслящий, убого чувствующий, борющийся за то, чтобы получить срок на год или два меньше, в этой борьбе пускающий в ход нехитрые, легко разгадываемые приемы.

Клятов ведет себя так, как и должен вести себя такой человек. Важно другое. Оговаривает он Груздева или говорит правду? Что-то на оговор не похоже. Все, что он говорит, подтверждается объективными данными. Ну, посмотрим, что скажет Груздев.

– Клятов, садитесь. Груздев, встаньте.

Груздев встает. Коротко остриженная голова. Торчат уши. Лицо ничего не выражает. Со стороны посмотреть – типичный преступник. Впрочем, вероятно, каждый просидевший несколько месяцев в тюрьме выглядел бы ничуть не лучше.

– Что вы можете рассказать по этому делу?

Ничего не выражает лицо Груздева. Разве только опущенная его голова создает впечатление отчаяния. Впрочем,



это ни о чем не говорит. В отчаяние впадет и преступник, пойманный и осужденный за совершенное преступление, и невинный человек, которому грозит осуждение. Публика, пожалуй, сочувствует больше Клятову. Этот совершенно понятен. Уголовник и уголовник. А Груздева пойдй разгадай. Впрочем, послушаем, что он скажет.

Груздев молчит.

— Ну, — спокойно говорит Панкратов, — мы ждем, Груздев.

— Я не виноват, — говорит наконец Груздев. — То есть виноват в том, что сговорился с Клятовым идти на грабеж. И в том, что пил, виноват, что от жены ушел, и деньгами не помогал последнее время, и друзей обманывал. Во многом, во многом виноват. Но только Никитушкиных не грабил. И в доме у них никогда не был. Когда согласился идти на грабеж, пьяноват был, да и настроение было такое, что хоть в петлю. Может быть, даже и пошел бы, если б телеграмму не получил, что друзья едут. Я и убежал-то от них. В глаза смотреть было стыдно. Я думал, Клятов без меня грабить не пойдет. А он кого-то другого нашел. А убийство и задумано не было. Я об убийстве услышал, только когда братики в Клягино приехали. Я там у Афанасия Семеновича был. Он директор детского дома. Вырастил меня. Я его за родного отца считаю...

Можно подумать по тексту Петькиных показаний, что он говорил взволнованно и убежденно. К сожалению, это не так. Он говорил глухо, без всякого выражения, монотонно. Внешне казалось, что он ничуть не волнуется. Как будто повторяет заученный урок. На публику он произвел очень неприятное впечатление. У Гаврилова просто сердце

упало. Он знал, что Петька – человек эмоциональный, умеющий говорить горячо. Почему же именно здесь, в суде, когда решается его судьба, все это куда-то исчезло и он так механически произносит, может быть, самую важную в своей жизни речь?

Ладыгина Петькины показания убедили в том, что обвинение совершенно правильно считает Груздева главным преступником. «Придумал версию, заучил ее и повторяет как попугай. А факты все в противоречии» – вот, в общем, содержание мыслей Сергея Федоровича. Может быть, отчасти на его отношение к Груздеву повлияло то, что он уже внутренне давно согласился с обвинительным заключением, иначе не подписал бы его; что он давно был убежден в виновности Груздева и поэтому, естественно, охотнее принимал доводы в пользу его осуждения, чем доводы в пользу его оправдания.

Так же точно охотнее принимает мозг защитника доводы в пользу того, что подзащитный его невиновен. Именно поэтому, вероятно, обвинитель и защитник имеют одинаковые права. Именно поэтому в процессе дана возможность состязаться двум противоположным точкам зрения.

– Однако, – говорит Панкратов, – на предварительном следствии вы сначала показывали прямо противоположное.

Оглашаются показания подсудимого Груздева, данные им на первых допросах. Лист дела пятьдесят девять и следующие...

Панкратов читает отчетливо и неторопливо те первоначальные показания Груздева, где он признавал свою вину и объяснял, что не помнит подробностей, потому что был совершенно пьян.

– Как прикажете понимать вас, Груздев? – спрашивает Панкратов. – Когда вы говорили правду: тогда или теперь?

Долгое молчание. В зале ни звука. Тишина такая, будто зал совершенно пуст.

– Отвечайте на вопрос, Груздев, – раздается снова спокойный голос Панкратова. – Когда вы говорили правду: тогда или теперь?

– Теперь, – раздается глухой, невыразительный голос Груздева. Голова его по-прежнему опущена, как будто он не отрицает свою вину, а полностью ее признает.

– Чем же тогда объяснить, – спрашивает Панкратов, – что на предварительном следствии вы признавали свою вину?

– Я думал, – так же монотонно, так же не поднимая головы говорит Груздев, – что улики совпали, что оправдаться мне все равно невозможно. А так как я не знал, что было на самом деле, я и придумал, что был пьян и ничего не помню.

– Почему же, – спрашивает Панкратов, – после показаний Клятова, подтверждающих вашу вину, вы вдруг отказались от своего признания?

– Он услышал, что я признаюсь, и решил все на меня свалить, будто я и подготовил, будто я и убил. Он кого-то другого вместо меня в товарищи взял, а когда услышал, что я сдуру все признаю, да еще говорю, что подробностей не помню, он решил, что, если я главный, значит, он меньший срок получит.

Панкратов спрашивает обвинителя, есть ли у него вопросы.

– Да, – говорит Ладыгин, – есть. Скажите, Груздев,

откуда у вас зажигалка, которую вы потеряли на месте преступления?

– Я ее не терял, – говорит Груздев.

– Ну, а откуда она у вас? – настаивает Ладыгин.

– Мне мои друзья ее подарили, когда они поступили в вузы, а я нет. Я уезжал из С., а они мне на вокзале и пода-  
рили. На память и в утешение, что ли.

– Я прошу, – обращается Ладыгин к судьям, – предъя-  
вить подсудимому Груздеву найденную в доме Никитуш-  
киных зажигалку.

Судья берет зажигалку и показывает ее Груздеву.

– Это та самая зажигалка? – спрашивает он.

– Та самая, – хмуро говорит Груздев.

– Она обнаружена на месте преступления в доме Ни-  
китушкиных.

– Я ее накануне Клятову отдал.

– Скажите, Груздев, – говорит Ладыгин, – при каких  
обстоятельствах вы передали Клятову зажигалку?

– Ну, как – при каких? Он мне перед тем, как мы  
должны были к Никитушкиным идти, двести рублей в долг  
дал. Мне деньги очень нужны были. И за квартиру время  
пришло платить, и жене я хотел переслать. Ну, Клятов  
обещал деньги мне принести и принес.

– Куда? – спрашивает Ладыгин.

– Ну, в Яму, к Анохиным, я у них комнату снимал. И  
вдруг говорит: «Подари, говорит, мне зажигалку». Он ее у  
меня много раз просил, но я не давал. Все-таки память... А  
он говорит: Не хочешь подарить – дай в залог. Двести  
рублей отдашь – получишь обратно». А мне деньги позарез  
нужны были. Я и отдал.

– Скажите, Груздев, – спрашивает Ладыгин, – вы послали деньги жене?

– Нет, – говорит Груздев, – не послал.

– Почему же?

– Деньги мне Клятов вечером принес, а утром телеграмма пришла от братиков, от друзей моих, что они едут. У меня все в голове закрутилось. Я от них скрывал и что пью, и что от жены ушел, и что ребенка бросил. Врал им про себя всякое. А теперь они едут. Как я им в глаза посмотрю? И еще я решил на преступление не идти...

– Не понимаю, – спрашивает Ладыгин, – какая связь между телеграммой и тем, что вы вдруг решили на преступление не идти?

– Ну как же! – Груздев впервые с начала слушания дела поднимает голову. И голос у него меняется. Он теперь говорит убежденно и свободно, будто твердо зная, что ему не могут не поверить: – Вспомнил, конечно, друзей своих, с которыми мы выросли вместе, и то, что сегодня наш день рождения. Это мы так придумали считать день, когда в детский дом к Афанасию Семеновичу поступили. И понял, что не могу идти на преступление. Я тогда последним человеком буду. Ну, может, я этого и не думал, а просто почувствовал, что не могу. Значит, мне бежать нужно. От братиков – раз. От Клятова – два. А без денег далеко ли убежишь? – Тут Груздев как-то сразу сникает, плечи у него опускаются, и опять видна коротко остриженная голова, торчащие растопыренные уши.

– Клятов, – спрашивает Ладыгин, – вы подтверждаете, что Груздев шестого сентября вечером отдал вам свою зажигалку?

Клятов встает и улыбается. Улыбка у него снисходительная и добродушная. Смысл ее легко угадывается. Если перевести ее на слова, она бы звучала так: конечно, Груздев запутался и уж сам не знает, чего соврать, я его понимаю и даже ему сочувствую, но врать не могу. Говорит Клятов другие слова, но вместе с интонацией они имеют по существу тот же смысл.

– Нет, не подтверждаю, – говорит Клятов. – Я, верно, эту зажигалку у него видел и несколько раз просил мне ее продать. Но он не хотел. И в этот раз уговаривал. Дай, говорю, хоть на время, ведь у тебя моих двести рублей, как бы сказать, в залоге. Но он опять ни за что. Это, говорит, мне память от друзей, не могу. Ну, не хочешь, говорю, черт с тобой, помни мою доброту.

– Вопросов больше не имею, – говорит прокурор. Судья поворачивается к адвокатам.

Грозубинский, привстав, говорит, что вопросов не имеет. Гаврилов задает вопрос.

– Скажите, Груздев, – спрашивает он, – куда вы убежали, получив телеграмму?

– Телеграмму в десять утра принесли. Она меня прямо как обухом по голове ударила. Как же, думаю, так, я же все время письма писал, хвастался, а они вдруг приедут и все увидят? Я им тогда письмо написал. Мне следовательно показывал это письмо. Они копию сняли, оно в деле есть. В общем, решил к Афанасию Семеновичу бежать от братиков и от Клятова тоже. Я с ним условился идти Никитушкиных грабить, а при братиках как же можно. Да и вообще вспомнил, что когда-то человеком был. А если на грабеж пойду, уж мне человеком снова не стать. Письмо я Ано-

хиной оставил – это тетя Саша, квартирохозяйка моя, – и решил к Афанасию Семеновичу бежать. Поезд туда ночью идет. А братики днем приезжают. Ну, я по городу походил. Устал, да и страшно ходить: может, Клятова встречу, может, братиков. Тревожно мне стало. Решил в кино посидеть. Там-то уж никого не встретишь!

– В какое кино вы пошли? – спрашивает Гаврилов.

– Я и не посмотрел название. Новое большое кино. Я прежде-то в кино редко ходил. Я и не помню, когда последний раз был. В этом-то кино я, кажется, никогда и не бывал.

– И сколько вы сеансов просидели?

– Не помню, три или четыре.

– А какую картину смотрели?

– Даже не помню, – улыбается Груздев, – вроде что-то про море. Я, знаете, очень разволнованный был.

– Куда вы пошли после кино?

– На вокзал. К Афанасию Семеновичу поезд в двенадцать часов отходит – это я точно помнил.

– Вы что же, ездили к нему этим поездом?

– Ездить не ездил, а собирался. Доехал до ресторана.

– Объясните точнее, – спрашивает Гаврилов, – что значит: доехали до ресторана?

– Ну, значит, – хмуро говорит Груздев, – на вокзал приехал, стопочку выпил, потом еще...

– Словом, в тот раз не поехали?

– Нет, не поехал. Но знал, что поезд в двенадцать отходит. На вокзал приехал, билет купил и чувствую: есть хочу. Я целый день не ел. Зашел в буфет, взял пакет, там пакеты с продуктами продаются, ну и побежал на поезд.

– Вы встретили кого-нибудь из знакомых на вокзале?

– Нет, не встретил. То есть кто-то крикнул будто: «Петух!» – но я испугался, думал, может, Клятов или братики. Я очень боялся встретить кого-нибудь. Я бегом побежал на перрон, поезд уже стоял, я в вагон залез и сел от окна подальше.

– А как вы ехали от кинотеатра до вокзала?

– Восемнадцатый номер там ходит, автобус, остановка рядом с кино.

– Вы долго ждали на остановке?

– Нет, сразу автобус подошел.

– Больше вопросов не имею, – говорит Гаврилов. Председательствующий обращается к членам суда.

У членов суда тоже вопросов нет. Панкратов предлагает Груздеву сесть и вызывает Никитушкина. В зале особенное, взволнованное молчание.

Сын Никитушкина просит судью разрешить его отцу давать показания сидя. Панкратов разрешает. Солдат приносит стул, и Никитушкин садится.

Начинается допрос потерпевшего.

## **Глава тридцать седьмая**

### ***Обвинитель и защитница***

– Расскажите, – говорит председательствующий, – что вам известно по делу?

Никитушкин молчит. Мертвая тишина в зале. Председательствующий не торопит. Он сам здешний старожил, помнит Никитушкина чуть ли не с детства и знает про него



много историй. Знает историю о том, как строился новый завод. Молодой инженер Никитушкин настаивал на коренных переделках проекта, принятого государственной комиссией. Сколько было шума в городе, как возмущались наглым мальчишкой почтенные, опытные инженеры. А наглый мальчишка, никому ничего не сказав, сел в поезд с одним портфелем и поехал в Москву. Все знают, что он пробился к Орджоникидзе, хотя никто не знает как. Вероятно, перед его убежденностью и упорством оказались бессильны секретари. Серго попросил его уложиться в десять минут. Они просидели до глубокой ночи. Серго сам его не отпускал. На следующий день комиссия, состоявшая из крупных ученых, выехала в Энск. Проект был пересмотрен. Серго хотел назначить Никитушкина главным инженером. Никитушкин отказался. «Не созрел, товарищ Орджоникидзе, – сказал он, – разрешите поработать в цеху».

Панкратов помнит, как во время войны Никитушкин неделями не выходил с завода. Когда налаживалась штамповка танковых башен – дело в то время новое, не подтвержденное опытом, – сколько упорства, изобретательности, воли вложил в это Никитушкин. Когда дело пошло, он сутки проспал в кабинете директора на диване. Директор уж стал волноваться, вызвал врача. Врач сказал: «Пусть спит – сильное переутомление».

Еще год назад Панкратов видел Никитушкина на городском активе. Подумал тогда, что старику, наверное, семьдесят, а больше шестидесяти не дашь. Сейчас Никитушкину не дашь меньше восьмидесяти.

Панкратов задумался и пропустил первую фразу потерпевшего.

— Анна Тимофеевна, — говорит старик дрожащим голосом, — меня попросила выйти, в саду посидеть. Окно было открыто. Я слышал, они разговаривали, но о чем — не слышал. А когда Клятов работу кончил и уходил, мы с ним простились.

Старик говорит не очень разборчиво, но медленно. Секретарше не трудно его записывать. Теперь, когда она привыкла к его голосу, она разбирает каждое слово. В зале так тихо, будто, кроме Никитушкина, и нет никого.

Старик продолжает рассказ. Он переходит к страшной ночи седьмого сентября:

— Как раз часы пробили двенадцать. У нас часы с боем. Они точные. Мы их каждый день по радио проверяем. И вдруг звонок в дверь. Анна Тимофеевна говорит: наверное, телеграмма. Мы ждали от сына телеграмму о выезде. Ты, говорит, лежи, я открою. Надела халат и пошла. Вот (долгая пауза)... больше я ее (долгая пауза)... живой и не видел.

Бесконечно тянется пауза. Панкратов не торопит. У него у самого сжимается сердце от жалости к старику. Со скамей для публики видно, как вздрагивают у старика плечи. Он не может сдержаться. Сын подходит к нему, гладит его по плечу, что-то шепчет на ухо.

— Да, да, да, — говорит старик, — сейчас, сейчас.

Все-таки он еще долго молчит. Может быть, ему нужно дать капель? Панкратов хочет попросить солдата принести старику воды, но старик начинает говорить дальше, и голос его звучит размеренно и, как ни странно, спокойно:

— Ну, я услышал мужские голоса. Разные голоса. Думаю, странно, что телеграмму двое принесли. Потом будто бы голос Анны Тимофеевны, а слов не разбираю. Это она,

наверное, испугалась и закричала. Я глуховат, сперва не понял. Я и не думал ничего такого. Все-таки надел халат. Решил пойти посмотреть. Тут резко так говорит мужской голос: «Дай ей, Петр, чтоб замолчала». И в сенях будто упало что-то. Я заторопился, вышел, смотрю: двое мужчин в сенях и Анна Тимофеевна лежит. Лица у мужчин платками завязаны. Ну, я к Анне Тимофеевне бросился. Смотрю, у нее на виске кровь и глаза закатились. Ну, я (опять долгая пауза)... посмотрел и вдруг понял: мертвая.

Сын стоит за спиной отца, поглаживает его по плечу. Старик справляется с собой.

– Я, наверное, сознание потерял. Я думаю, ненадолго, на минуту, на две. Потом, помню, сижу на полу рядом с Анной Тимофеевной. А этот монтер один почему-то. У него лицо платком завязано было, а теперь платка нет. Я увидел лицо, сразу вспомнил: он у нас электричество чинил. Монтер. Он наклонился, платок с пола поднял. Платок у него с лица на пол упал. Я пошевелился. Он платок завязывать не стал. Просто к лицу прижал и на меня смотрит. Я говорю: «Монтер». Он отвернулся и крикнул: «Давай скорей, Петр!» Я и по голосу тоже узнал. Его голос, монтера. А тут второй выбегает из комнаты, и в руке пачка денег. Я их накануне из сберкассы взял. Я уж давно в очереди на «Волгу» стоял. Мы с Анной Тимофеевной сыну хотели «Волгу» подарить. Вот эти деньги на столе и лежали. Я наутро условился с шофером. Он за мной должен был заехать, деньги отвезти. Моя очередь подошла...

Старик молчит. Вспоминает. Думает. Или борется со слезами.

В зале мертвая тишина.

– Что же было дальше? – мягко спрашивает Панкратов.

Никитушкин не полностью владеет собой. Самые важные для него воспоминания отвлекают его от связного рассказа. Вопрос Панкратова напоминает ему, что он еще не все рассказал.

– Дальше? – говорит он. И повторяет: – Дальше? Так вот, выбегает из комнаты второй. А я все смотрю на монтера и повторяю: «Монтер...» Тогда монтер говорит: «Успокой старика, Петр, узнал, понимаешь, меня, старый черт». Тогда этот, у которого деньги в руке, другой рукой взмахнул, а рука в желтой перчатке, и какая-то черная полоса пересекает пальцы.

– Может быть, кастет? – спрашивает Панкратов.

– Может быть, – соглашается старик. И вдруг оживает: – Да, наверное, кастет. Теперь я думаю, что кастет. А тогда я подумать не успел. Помню только, мелькнула рука в желтой перчатке. Потом очень сильная боль. Потом я потерял сознание.

Старик замолкает. Воспоминания очень взволновали его. Сын поглаживает его по плечу. Панкратов спокойно ждет, как будто не замечает, что Никитушкин замолчал.

– Дальше, – продолжает старик, – я ничего не помню. Мне сказали, что сосед наш Серов вышел пройтись. У него бессонница бывает, и он, когда не спится, идет гулять. Видит, дверь открыта и свет горит, он заглянул. Ко мне подбежал, а потом кинулся людей будить. «Скорая помощь» приехала, милиция. Меня на носилки положили – и в машину. Тут я уж в себя пришел. Стал просить, чтоб меня с Анной Тимофеевной оставили, но мне сказали: нельзя. Вот. Это все.

Долгое молчание в зале. Хотя старик и кончил рассказ, все ждут, может, он еще скажет, может, вспомнит еще хоть какую-нибудь мелочь. Но старик молчит.

— Клятов, встаньте! — резко говорит Панкратов. И совершенно другим, мягким, даже ласковым голосом обращается к старику: — Товарищ Никитушкин, посмотрите, пожалуйста, на подсудимого Клятова и скажите: вы узнаете в нем того, кто ворвался в вашу квартиру и кого вы называете монтером?

Старик долго, внимательно смотрит на Клятова. У Клятова лицо спокойное, как будто ничего особенного не происходит.

— Да, — говорит старик, — узнаю, это он, монтер.

— Садитесь, Клятов, — говорит Панкратов. — Груздев, встаньте.

Поднимается Груздев. Он стоит опустив голову, не потому, что хочет скрыть свое лицо от Никитушкина, а потому, что не хочет встречаться взглядами с публикой, сидящей на скамьях.

— Поднимите голову, Груздев! — резко говорит Панкратов и опять ласково обращается к Никитушкину. — Посмотрите, пожалуйста, товарищ Никитушкин, на подсудимого Груздева, он вам не напоминает второго грабителя?

Никитушкин долго смотрит и отрицательно качает головой:

— Не могу сказать. У того ведь лицо было платком закрыто, а голоса его я не слышал. Так что нет, не могу сказать.

— Товарищ прокурор, — обращается Панкратов к Ладыгину, — у вас есть вопросы?

– Есть, – говорит Ладыгин и поворачивается к Никитушкину: – Скажите, пожалуйста, товарищ Никитушкин, Клятов был в перчатках, когда они ворвались в квартиру?

– Да, – кивает головой Никитушкин. – В черных перчатках.

– А второй грабитель был тоже в перчатках?

– Да, – говорит Никитушкин, – только в желтых.

– А в каком костюме был второй грабитель?

– В светлом, кажется. Так мне теперь кажется. Летний такой костюм.

– Такой, как сейчас на подсудимом Груздеве?

Никитушкин всматривается в Петра.

– Как будто... Как будто нет. Я, впрочем, плохо помню. Я не могу сказать.

– Вы сказали сейчас, что второй преступник, тот, которого Клятов назвал Петром, был в светлом летнем костюме. Но на предварительном следствии вы показывали, что второй грабитель, Петр, был в темноватом костюме. Когда вы были точны, тогда или сейчас?

Никитушкин молчит, думает, наконец говорит, будто колеблясь:

– Мне трудно сказать. Тогда, вероятно, сознание было у меня затемненное. Теперь мне кажется, что он был в светлом костюме. В то время мне все виделось как в дурном сне. Я боюсь дать неправильные показания.

– В туфлях или ботинках был грабитель? – спрашивает Ладыгин.

– Этого я не помню. Кажется, даже не видел.

– Больше у меня нет вопросов, – говорит Ладыгин.

– Товарищи защитники? – спрашивает Панкратов.

– У меня нет, – качает головой Грозубинский.

– У меня есть, – говорит Гаврилов. – Скажите, товарищ Никитушкин, значит, Клятов называл второго грабителя Петром?

– Да, – говорит Никитушкин.

– Может быть, он говорил как-нибудь иначе? Петя, скажем, или еще как-нибудь. Вы точно помните, что он сказал: «Петр»?

– Точно помню, – говорит Никитушкин.

– У меня больше вопросов нет.

– Подсудимые, у вас есть вопросы?

Подсудимые по очереди встают и говорят, что у них вопросов нет.

– Спасибо, товарищ Никитушкин, – говорит Панкратов.

Сын отводит старика на скамью, усаживает его и сам садится рядом.

– Пригласите свидетельницу Груздеву, – говорит Панкратов.

Офицер выходит из зала, из коридора слышен его голос: «Свидетельница Груздева», – и в зал входит Тоня.

– Подойдите, пожалуйста, сюда, – говорит Панкратов.

Тоня подходит к судейскому столу.

– Вы Антонина Ивановна Груздева? (Тоня кивает головой.) Вы вызваны свидетельницей по делу вашего мужа. Вы обязаны говорить всю правду, и только правду.

Не видно, чтоб Тоня волновалась, хотя, конечно, она волнуется.

– Кем вы приходитесь подсудимому Груздеву?

– Я его жена, – говорит Тоня.

– Когда вы поженились?

— Четыре года назад.

— Вы продолжаете жить вместе?

— Нет.

— Почему? (Тоня молчит.) Вы развелись с Груздевым?

— Нет, — говорит Тоня.

— Почему же вы не живете вместе?

— Он сам не захотел, — говорит Тоня. — Он совестился, что пьет. Иногда спьяну скандалы устраивал, ругался и очень потом совестился. И решил, что уйдет и вернется, когда возьмет себя в руки и пить перестанет.

— У вас есть дети?

— Сын.

— Сколько ему лет?

— Два года.

— Груздев давал вам деньги на содержание сына?

— Да, конечно, давал. Он в бухгалтерии заявление оставил. Мне половину его зарплаты переводили.

— До каких пор вам переводили деньги?

— Пока его не уволили.

— Сколько времени назад его уволили?

— Кажется, года полтора.

— Значит, вы получали деньги только первые полгода жизни ребенка?

— Да, первые полгода, — упавшим голосом отвечает Тоня.

— У представителя обвинения есть вопросы?

— Да, есть. Скажите, Груздева, вот вы говорите, что подсудимый Груздев много пил и спьяну устраивал скандалы. Часто он скандалил?

— Да нет, не так часто. — Тоня очень растеряна. Она



упомянула о скандалах для того только, чтобы сказать, что не бросил ее Груздев, а просто совесть его замучила. А получается так, будто она пожаловалась суду, что Петя скандалил.

– Ну все-таки – каждый день?

– Ой нет, что вы!

– Через день?

– Да нет!

– Раз в неделю?

Тоня собралась с духом. Она как-то вытянулась вся и, кажется, даже как будто стала и ростом выше.

– Я хочу вот что сказать, – говорит она, – конечно, муж мой и пил сильно, и, бывало, скандалил, и, конечно, теперь уж он привык пить, и ему трудно отказаться от рюмочки. Но только он не оттого пил, что бездельник или бродяжка. Жизнь у него неудачно сложилась. От друзей он отстал: они вон какие, а он вон какой! В жизни ничего не добился. Перед женой ему совестно, что вот он какая-то вроде пустышка. И силы у него нет. А выпьет, захмелеет, и кажется ему, что он все ошибки жизни исправит, семью обеспечит, сына мужчиной вырастит. А протрезвеет и видит: еще больше нагрешил. Он очень совестливый человек, на редкость совестливый. Но только очень слабый. А к совести надо еще и силу иметь. А то что ж от совести без толку мучиться. Ни себе, ни другим не легче. А что он мне деньги не присылал, так разве мы не муж и жена? Мужу плохо – жена продержится. Жене плохо – муж поможет, вот как я понимаю.

Ладыгин так ошеломлен неожиданным взрывом сочувствия к Груздеву, что больше не задает вопросов. Сви-

детельница обвинения вдруг произнесла защитительную речь. Пусть эта речь ничего не доказывает. Она любящая жена и, значит, пристрастная свидетельница. Вероятно, ее показания необъективны. Впрочем, нет. Все сидящие в зале чувствуют – речь Тони доказала одно: не может такая женщина любить совсем плохого человека. Публика озадачена и начинает менять свое отношение к Груздеву. Мы с Юрой, сидя на последней скамейке, изнываем от желания сказать Тоне, что она молодец и умница. Если бы можно было в зале суда аплодировать, мы разразились бы громкими аплодисментами.

А судьи? Судьи сидят спокойные, и, что у них в душе, никто не знает.

Задаёт вопрос Гаврилов:

– Скажите, Груздева, муж вам когда-нибудь рассказывал про свои отношения со старыми своими друзьями, братиками, как они друг друга называли, и про то, что он единственный из них не попал в институт?

– Ой да нет же! – восклицает Тоня. – В том-то и дело, что никогда не рассказывал. Да если б я знала, что он им в письмах другую свою жизнь, придуманную, рассказывает, я бы его убедила им правду написать. А побоялся, я бы сама им написала. Как же можно – друзья же! Друзьям не стыдно признаться. И попросить помочь друзей можно. Это уж потом, когда Петя исчез, братики ко мне пришли и рассказали. Разве ж я знала, что у него такая заноза в душе сидит?...

У Гаврилова больше вопросов нет. Председательствующий просит Груздеву подойти к столу.

– Скажите, вам знакома эта зажигалка? – Он показывает ей знаменитую Петькину зажигалку.

Тоня долго молчит, она будто бы всматривается, будто бы старается вспомнить. Наконец слабым, неуверенным голосом говорит:

– Нет, не знаю.

И всем в зале ясно, что она врет. Святая эта ложь или не святая, но это все-таки ложь.

– Вы уверены, что не знаете? – спрашивает Панкратов.

И опять, после коротенькой паузы, она отвечает.

– Да, уверена.

– Оглашаются показания Антонины Груздевой, – говорит Панкратов, – данные на предварительном следствии. Лист дела семнадцать, оборот. «Зажигалку эту я хорошо знаю. Она принадлежит моему мужу, Петру Груздеву. Он мне рассказывал, что это подарок его друзей, живущих в городе С.».

Бедная маленькая Тоня, не с твоей искренностью и прямоотой лезть в несвойственную тебе область лжи и обмана. Говорила бы правду, как эта правда ни горька. А теперь вот попробовала соврать, и уже ничему сказанному раньше тобой не верит зал. Вполне теперь кажется вероятным, что и высокую совестливость своего мужа ты выдумала, желая, чтоб его оправдали. И весь созданный тобой образ слабого, но честного человека распадается на глазах. И снова все видят сидящего за барьером забулдыгу, скандалиста и, вероятно, преступника.

Ладыгин доволен. В сущности, показания Тони подтверждают обвинение. На задней скамейке мучаемся бесильным сочувствием мы с Юрой. Гаврилов кусает губы: так прекрасно показывала.

А судьи?

Судьи сидят неподвижно. Лица их ничего не выражают.

Идет судебное следствие, исследование личности подсудимых, исследование доказательств. К каким результатам оно приведет, пока неизвестно. Судебное следствие продолжается.

– Садитесь, Груздева, – говорит председательствующий.

– Я соврала, – говорит Тоня задыхаясь. – Я соврала, но только про зажигалку. Все остальное я правильно говорила.

– Садитесь, Груздева, – повторяет председательствующий, не повышая голоса.

Тоня идет к скамье свидетелей, и всем видно, что у нее покраснели глаза, что она с трудом сдерживается, чтоб не заплакать.

– Пригласите свидетеля Ковалева, – говорит председательствующий.

Офицер выходит в коридор, слышно, как он говорит – «Свидетель Ковалев!»

В зал входит Сережа, свидетель со стороны защиты. Судебное следствие продолжается.

## Глава тридцать восьмая

### *Рекомендации, а не показания*

Сергей говорит неторопливо, серьезно, как будто читает лекцию внимательным студентам. Он коротко излагает биографию братиков и заканчивает ее тем, как они четверо поехали поступать в вузы и Петр, единственный из

них, не поступил. Словом, все то, что было рассказано в первых главах книги.

Говорит он очень сжато, суховато даже, и поначалу трудно понять, оправдывает он или осуждает Петю. Он как бы взвешивает и оценивает события.

– Мне самому трудно определить, – говорит он, – верили мы письмам Груздева или просто нам было легче и удобнее верить им. Возможно, мы ради собственного спокойствия не решались подвергать их сомнению.

Рассказывает Сергей о приезде в Энск, о стариках Анохиных, о Петинном письме, о вечере в доме на Трехрядной улице, о приходе Гаврикова-Клятова.

Рассказывает потом о встрече с Петей у Афанасия Семеновича; о том, как Петя впервые узнал, что ограбление все-таки совершилось; о том, как он колебался, являться ему в милицию или не являться; как окончательно решил явиться, но в это время пришла милиция и он, неожиданно для всех и, видно, для себя тоже, убежал.

– Вот все, что мне известно по делу, – заключает он. Начинает задавать вопросы председательствующий:

– Скажите, свидетель, вы уверены в том, что Гавриков, приходивший на квартиру к Груздеву, – это Клятов? Не торопитесь, посмотрите на обвиняемого внимательно.

Сергей смотрит на Клятова. Выражение лица у Клятова совсем не то, что было у Гаврикова. Но те же тонкие губы, те же маленькие глаза, те же выпирающие, как будто напряженные скулы. Клятов не возражает против того, чтобы его опознали. Пожалуй, сейчас ему это даже выгодно. Поэтому вдруг на одну долю секунды лицо его принимает выражение некоторой лихости, некоторого дешевого фатовства, которое видели мы в тот памятный нам всем вечер.

– Да, – уверенно говорит Сережа, – именно этот человек называл себя Гавриковым.

– Скажите, – спрашивает председательствующий, – в письме, которое Груздев оставил для вас у Анохиных, говорится, что благодаря вашей телеграмме он вовремя опомнился, а до получения телеграммы решился потерять остатки совести. Как вы объясняете эту фразу?

Сережа долго молчит, словно перебирает все возможные объяснения. Потом говорит спокойно:

– По-моему, тут возможно только одно объяснение. Груздев условился с Клятовым идти на грабеж, а когда получил телеграмму, то вспомнил наше детство и дружбу. То, что раньше казалось возможным, стало невыносимым.

– Что вы хотите этим сказать? – спрашивает Панкратов.

– Постараюсь объяснить точнее, – говорит Сергей. – Человек опустил. Бесконечное безделье и пьянство кажется ему нормальным состоянием. И вдруг он сталкивается, вернее, в нем пробуждаются под влиянием телеграммы воспоминания о времени, когда он был человеком нормальным, с какими-то стремлениями, с энергией, с умением преодолевать препятствия. И когда он вспоминает себя таким, разбойное нападение кажется ему невозможным. Я думаю, что только это и могло быть.

– У меня один вопрос, – говорит Гаврилов. – Скажите, пожалуйста: когда вы находились в доме Анохиных и туда пришел Клятов, он спрашивал Груздева?

– Да, – говорит Сергей.

– Как он его назвал? Груздев, или Петр, или, может быть, еще как-нибудь?

Сергей старается восстановить в памяти весь разговор.

– По имени, – говорит он, немного подумав.

– Петр? – спрашивает Гаврилов.

– Да, Петр. Или нет, как-то сокращенно. Не сокращенно, верней, а по-своему. Я даже подумал, что это кличка, а не имя. Да, да, да, помню: Петух.

– Вопросов у меня больше нет, – говорит Гаврилов.

У Грозубинского вопросов нет.

Задаёт вопросы Ладыгин:

– Вы очень логично объяснили нам, почему подсудимый Груздев написал в адресованном вам письме, что ваша телеграмма удержала его от того, чтобы потерять остатки совести. Но может быть, эта фраза написана Груздевым специально, чтобы послужить потом доказательством его непричастности к преступлению?

– Не думаю, – говорит Сергей. – Мне кажется невероятным, чтобы человек в искреннем, интимном письме написал фразу с таким дальним прицелом, а потом самым наивным образом потерял свою, известную многим зажималку на месте преступления. Наконец, если бы он так далеко заглядывал в будущее и так тщательно подготавливал заранее доказательства своей невиновности, вероятно, он сумел бы устроить так, чтоб мы не встречались с Клятовым. Если он не мог предупредить Клятова заранее, чтобы тот не приходил, нетрудно было перехватить его по дороге. Наконец, у самого дома. В Яме по вечерам улицы пустынные.

Это сильный довод. Ладыгин не может не почувствовать его убедительности. Он переходит к моменту бегства Пети из Клягина.

– Как вы объясняете, – спрашивает Ладыгин, – что, окончательно решившись явиться в милицию, условив-

шись с вами о всех подробностях явки, Груздев вдруг, когда милиция явилась сама, осуществил такой ловкий и хитрый план побега?

– Я думаю, – говорит Сергей, – что ловким и хитрым кажется всякий план, когда он удается. Если бы, скажем, милиционер, который стоял с задней стороны дома, не побежал на свист Афанасия Семеновича, Груздева бы через двадцать минут задержали. Тогда мы с вами не говорили бы, что план его хитрый и ловкий, а ясно бы видели, что он просто продиктован растерянностью и отчаянием.

– Но все-таки он пытался убежать. И бежал удивительно удачно.

– Если человек попадает под машину, – говорит спокойно Сергей, – это удивительная неудача. Если человек выиграл за тридцать копеек «Волгу» – это удивительная удача. Не будете же вы обвинять человека, купившего лотерейный билет, в том, что он купил его по тонкому и дальнему расчету.

– Хорошо, – соглашается Ладыгин, – допустим, что успех побега – это удивительная удача. Но попытка побега все-таки была?

– Попытка побега на лесопункте тоже была, – отвечает Сергей, – и, если бы она удалась, можно было бы тоже сказать, что побег – результат плана отчаянно смелого, хитро продуманного. Однако попытка не удалась, и теперь мы ее можем рассматривать только как свидетельство растерянности Груздева и отсутствия какого бы то ни было заранее составленного плана.

– Правильно, – говорит Ладыгин, – но все-таки были планы или их не было, с чего бы бежать невинному человеку?



– Человек не всегда подчиняется разуму, – пожимает плечами Сергей. – Словари определяют слово «паника» как безотчетный, неудержимый страх. Вероятно, под влиянием именно такой паники, не думая о последствиях, ни на что не надеясь, и бежал Груздев.

У прокурора вопросов больше нет.

– Садитесь, – говорит Панкратов.

Сергей садится на первую скамью. На задней скамье ликуем мы с Юрой. Нам кажется, что показаниями Сергея уничтожен один из главных доводов обвинения – бегство из Клягина. Юра мне признается, что у него у самого это бегство вызывало сомнения. Сейчас, считает он, Сережа все так блестяще разъяснил, что сомнений не остается – Петр не виноват.

Я настроен менее радостно. Я тоже согласен, что бегство разъяснено превосходно, но думаю, что и без этого бегства улики для обвинения более чем достаточно. Мы шепотом спорим, замолкая, как только на нас останавливается строгий взгляд председательствующего, и снова начинаем яростно шептаться, как только председательствующий отводит глаза.

В это время в зал вошел вызванный из коридора Афанасий Семенович. Начинается его допрос.

Афанасий Семенович тоже коротко рассказывает про детство и юность братиков, очень хорошо говорит о Пете, но, впрочем, говорит и о том, что человек он слабохарактерный, легко подчиняющийся влияниям.

– Я всегда понимал, что, если Груздев попадет в плохую компанию, он испортится. Я только думал, что в любом случае его друзья будут с ним. Я считаю серьезной виной

его трех друзей то, что они отпустили его в другой город одного, в тяжелом состоянии после проваленного конкурса. Но не о них сейчас речь. Когда я говорю о том, что Груздев – человек, подверженный влияниям, я имею в виду и хорошие и дурные влияния. Да, под дурным влиянием Груздев может испортиться. Может начать пить. Может спиться, в конце концов. Может в пьяном состоянии нахулиганить. Все это мне представляется возможным. Думаю, однако, что, например, ввязавшись в пьяную драку, он всегда будет убежден, что защищает того, кто прав. Ему всегда будет казаться, что он против совести не поступает. Я совершенно понимаю, что он мог бросить жену с ребенком, но уверен, что он бросил их, считая, что без него им будет лучше. Он не их обрекал на одиночество, он обрекал на одиночество себя. Он, как бы сказать, себя за свои пороки выгонял из семьи. Именно по этому свойству его характера я убежден, что на грабеж и тем более на убийство Груздев пойти не мог.

Афанасий кончил. Пауза. Первым задает вопросы председательствующий.

– Вы утверждаете, – говорит Панкратов, – что на грабеж Груздев пойти не мог. Однако Груздев сам признал, что он условился с Клятовым пойти именно на грабеж и, стало быть, для себя решил этот вопрос. Допустим, что телеграмма друзей заставила его опомниться и отказаться от преступления. Ну, а если бы эта телеграмма пришла на сутки позже?

Афанасий Семенович долго думает, потом говорит:

– Я думаю, что настоящий преступник из-за случайной телеграммы ничего в своих планах не изменил бы. Веро-

ятно, все дело в том, что весь, если так можно выразиться, духовный организм Груздева протестовал против ограбления. Для Груздева телеграмма была не причиной, а поводом отменить грабеж. Я убежден, что Груздев не грабил и, уж во всяком случае, не убивал. И если бы даже не было телеграммы, Груздев нашел бы какой угодно другой предлог не идти на грабеж.

— Скажите, — спрашивает Панкратов, — как он объяснил свой приезд к вам в Клягино?

— Он рассказал мне всю свою историю, не скрывал того, что опустил, был, как он считает, по справедливости уволен с работы, бросил жену с ребенком. Он с ужасом рассказывал мне, что условился с Клятовым идти на преступление, и считал, что только телеграмма друзей, то есть, по его мнению, чудо спасло его. Он был убежден, что без него Клятов грабить не пошел. Он считал, что вовремя опомнился. Он понимал, что и без преступления его прошлое достаточно позорно и прошлое это надо загладить. Он твердо верил, что начинается новый этап в его жизни.

— В котором часу он приехал к вам в Клягино? — спрашивает Ладыгин.

— Часов в девять утра.

— Когда он, по-вашему, выехал из Энска?

— Ночных поездов два. В двенадцать часов и в начале третьего. Есть еще поезд в пять часов дня. Пришел Груздев в детский дом рано утром, сказав, что ночью ему было страшно идти. Это вполне возможно. Дорога лесная и пустынная. Он говорил, что приехал двенадцатичасовым поездом и до рассвета ждал на вокзале.

— Железнодорожный билет он вам показывал? — спрашивает Ладыгин.

– Нет. Вероятно, он его на вокзале выбросил.

– Значит, единственное основание считать, что он выехал двенадцатичасовым поездом, – это его слова?

– Да, – говорит Афанасий, – я привык верить своим воспитанникам.

– Ну, – пожимает плечами Ладыгин, – это скорее рекомендация, чем показание.

Потом начинает спрашивать Гаврилов. Все его вопросы наводят Афанасия на подтверждение того, что Петя был когда-то хороший мальчик, не хулиганил и не воровал. Афанасий Семенович охотно это подтверждает.

Все – и судьи и публика – охотно верят, что в детстве Петр был мальчик славный. К сожалению, все – и судьи и публика – знают, что он спился, опустился, нигде не работал, и, естественно, считают, что от такого бездельника и пьянчуги можно ожидать какого угодно преступления.

У Гаврилова сердце сжимается от тоски. Он ясно видит, что обоснованной позиции для защиты нет. Остается единственный шанс – Ковригин, который видел Петра на вокзале. Конечно, это серьезный свидетель, но...

Вызывают Ковригина.

Судебное следствие продолжается.

## Глава тридцать девятая

### *Ковригин терпит крах*

Алексей Семенович Ковригин вошел в зал, и сразу все почувствовали: вошел человек серьезный и почтенный.

– Расскажите, что вам известно по этому делу? – спросил Панкратов.

Ковригин не торопясь, очень спокойно и обстоятельно начал рассказывать известную уже нам историю о том, что он теперь живет у сына за городом, что 7 сентября у его тещи день рождения и они поэтому с женой и сыном к ней приехали в город. Возвращаясь домой, они опоздали на электричку и, поджидая следующую, зашли в вокзальный ресторан. Выпили по сто граммов и по кружке пива. Просидели с полчаса и собрались уходить, потому что состав уже подали, когда неожиданно он увидел Петра Груздева. Груздева он знал хорошо, потому что работал с ним на одном участке. Считал его парнем неплохим. Потом Петр опустил, стал закладывать лишнее, и его с завода уволили. Так вот, было уже без малого двенадцать часов ночи. Это он знает потому, что в двенадцать ресторан закрывается. Их предупредил официант, что пора уходить; они с трудом выпросили еще по кружке пива и с официантом расплатились за все.

Груздев шел от буфета. В буфете продаются специальные пакеты. Там яйца, булочки, печенье. Все заранее упаковано, и даже соль положена. Так вот, такой пакет был у Груздева в руке. Он увидел Петра сперва со спины и сомневался, он ли это. А потом Петр повернулся к нему в профиль. Ковригин ясно увидел, что это он, и громко окликнул его. Но Петр не повернулся, а, наоборот, побежал к выходу на перрон. Он окликнул Петра громче, но Груздев еще скорей побежал и скрылся на перроне. Вот все, что он может показать. За Груздевым он не побежал, потому что обиделся немного. Что же, человека зовешь, а он не откликается. Да потом, им самим уходить было пора, а пиво в кружках еще оставалось.

– Скажите, товарищ Ковригин, вы точно помните, что это было седьмого сентября прошлого года? – спросил Гаврилов.

– День рождения моей тещи я точно помню, – усмехнулся Ковригин.

– Среди тех, кто сидел с вами за столом, кто-нибудь еще знал Груздева?

– Нет, ни сын, ни жена Груздева никогда не видели.

– Вы уверены, что это было около двенадцати?

– На часы я, правда, не смотрел, но ресторан закрывается в двенадцать, а официант уже предупреждал, что пора уходить. Наверное, было без пяти или без десяти двенадцать.

– Скажите, товарищ Ковригин, как именно вы окликнули Груздева?

– Ну как? Обыкновенно и окликнул.

– По имени, по фамилии, по прозвищу?

– По прозвищу: Петух.

– Отчего его так прозвали?

– Да знаете, он к нам на завод поступил совсем молоденький, восемнадцати лет. Паренек был хороший, но задиристый. Работал на совесть, но и обижать себя не давал. И зовут Петр. Постепенно стали все его Петухом звать. Так это прозвище за ним и осталось.

– У меня больше вопросов нет, – говорит Гаврилов.

Задаёт вопросы Ладыгин:

– Скажите, товарищ Ковригин, в котором часу вы пришли к вашей теще?

– Сын освободился часов в семь, в полдевятого у нее были.

– Спиртные напитки пили?  
– Водки выпил лафитника три или четыре.  
– То есть граммов двести?  
– Пожалуй что так.  
– Да еще на вокзале сто граммов и пиво?  
– Получается, так.  
– Так что вы были немножечко под хмельком?  
– Да, пожалуй. Немножечко. Пьяным-то не был, но немного навеселе.

– Хорошо, – говорит Ладыгин, – значит, просидев два с половиной часа за столом, выпив в общей сложности триста граммов водки, вы увидели человека, который казался вам похожим на вашего знакомого Груздева. Так?

– Ну, пусть будет так, – неохотно соглашается Ковригин.

– Вы сперва не решились окликнуть его, потому что не были уверены в том, что это ваш знакомый?

– Да, сперва не решился, – соглашается Ковригин.

– Потом этот человек проходил мимо вас, находясь к вам в профиль. На каком расстоянии приблизительно он был от вас?

– Ну, он шел вдоль окон, а мы сидели в третьем ряду столиков. Считайте, полтора метра по диагонали каждый столик, да полтора от столика до столика. Метров девять-десять.

– Вы его громко окликнули?

– Громко. В ресторане уже было тихо, все почти разошлись, так что он должен был слышать.

– Но он не обернулся?

– Нет, не обернулся. Даже вроде быстрее побежал.

– Уверены вы, что он побежал быстрее потому, что хотел избежать встречи с вами? Может ведь быть, что он просто торопился на поезд.

– Ну, это я не могу сказать.

– Значит, – говорит Ладыгин, – давайте подведем итоги. Вы увидели человека, напомнившего вам вашего знакомого. Будучи слегка под хмельком и находясь от него на расстоянии девяти-десяти метров, вы его окликнули. Он, вместо того чтобы задержаться, пошел еще быстрее, может быть, потому, что не хотел с вами встречаться, может быть, потому, что торопился, а может быть, и потому, что это был просто другой человек, которого звали вовсе не Петр, которого никто никогда не называл Петухом и который просто не понял, что вы обращаетесь к нему.

Ковригин хмуро говорит:

– Может, конечно, и так.

– Не помните, какого цвета был па этом человеке костюм?

– Не обратил внимания. Темный как будто.

– А не светлый?

– Кажется, темный. А впрочем, я издали видел.

Ладыгин удовлетворенно кивает головой. Гаврилова охватывает отчаяние. В сущности говоря, единственный козырь бит. Теперь Гаврилов даже не понимает, почему он так на него надеялся. Больше серьезных свидетелей у защиты нет. Есть, конечно, единственная подробность, которая говорит в пользу Груздева. Клятов у братиков спрашивал Петуха. Очевидно, это прозвище было у Груздева давно. Еще на заводе его называли Петух, как молодого, задиристого парня. Почему же в доме Никитушкиных



во время грабежа Клятов окликнул его «Петр»? Впрочем, с другой стороны, вероятно, Клятов был взволнован. Даже рецидивисту не так просто идти на разбойное нападение. А тут еще произошло убийство. Да, то, что Клятов назвал сообщника «Петр», ничего не доказывает.

Объявляется перерыв. Гаврилов торопливо складывает бумаги в портфель. Вслед за публикой он выходит из зала. Мы смотрим на него не то растеряннo, не то вопросительно. Мы надеемся, что он хоть кивнет нам головой: «Не волнуйтесь, мол, все еще впереди». Но он не в силах притворяться. Он отводит глаза и проходит мимо.

Чуть дальше лицом к лицу он сталкивается с Афанасием Семеновичем. Афанасий смотрит на него выжидающе, вопросительно. Может быть, адвокат подаст ему хоть какой-нибудь знак, что не надо отчаиваться. Он, Афанасий, не юрист и в судах за свою жизнь бывал мало, но почему-то у него создается впечатление, что дело для Пети поворачивается безнадежно. Как же так? Он, Афанасий, твердо знает, что Петр не виноват, неужели же адвокат ничего не может сделать? Какой же он адвокат?

У Гаврилова нет сил ни подать знак, что «не волнуйтесь, все будет в порядке», ни улыбнуться, ни даже сделать вид человека, спешащего по делу. Он проходит мимо, с лицом, которое ничего не выражает. Это еще хорошо. Оно бы могло выражать растерянность, даже отчаяние.

У самого выхода из здания суда он проходит мимо разговаривающих Ковригина и Коробейникова. Оба замолкают, увидев Степана. Оба ждут, что он им хоть что-нибудь скажет. Он не говорит ничего. Он проходит мимо, как будто не видит их.

Сейчас два часа дня. Перерыв до четырех. Он, Степан Гаврилов, должен подумать. Должен поговорить сам с собой наедине.

## Глава сороковая

### *Два часа перерыва. Гаврилов размышляет*

Много позже, когда история ограбления Никитушкиных была расследована до конца и преступники осуждены, я приехал в Энск собирать дополнительный материал для этой книги. Вот тогда я и попросил следователя Глушкова написать записки, которые в выдержках здесь приводил и буду приводить еще. Тогда же я был на приеме у Панкратова и у Ладыгина и попросил каждого из них припомнить возможно подробней, о чем они думали в течение двух часов первого на процессе перерыва.

Мне казалось это очень важным потому, что мысли их должны дать читателю представление о том, к чему привел первый этап процесса.

Я записал их рассказы и показал свои записи. Они внесли некоторые поправки, не очень значительные, и признали мою запись в основном правильной.

Более долгий разговор был у меня со Степаном Гавриловым. Мы подружились после суда и дружим по сей день. Прочтя мою запись, он внес довольно много поправок. Они в большинстве случаев вызывались тем, что, зная весь дальнейший ход процесса, он, излагая мне свои рассуждения во время первого перерыва, внес кое-какие мысли, которые относились к последующим дням. Мы с

ним тщательно очистили запись от хронологической путаницы, и Степан согласился, что теперь все изложено правильно.

Следующая за этим предисловием глава написана мной на основании рассказов Панкратова, Ладыгина и Гаврилова.

Панкратов жил в нескольких кварталах от здания суда. Он с удовольствием, не торопясь, прошагал до дома. Морозец был небольшой, ветер совсем не чувствовался, погода бодрила. После четырех часов напряженной работы приятно было шагать по морозу, обдумывая все перипетии заседания.

Панкратов был опытный судебный работник и знал, что, пока судьи не ушли в совещательную комнату, нельзя до конца предугадать вес доказательств и убедительность доводов сторон. Он помнил случаи, когда под влиянием неожиданных показаний свидетеля или заключения эксперта прокурор отказывался от обвинения, и все дело поворачивалось совершенно новой стороной. Он помнил, как доводы, выдвинутые адвокатом, заставляли судей пересматривать свою, уже сложившуюся точку зрения. Надо сказать, что мнение Панкратова отчасти определилось уже после того, как он познакомился с делом. Однако бывали случаи, когда, в связи с неожиданно вскрывшимися обстоятельствами, свидетели садились на скамью подсудимых, а подсудимые тут же в суде освобождались из-под стражи.

Разумеется, это бывало редко. И все же такие случаи бывали. Обычно они происходили потому, что следствие было проведено недостаточно тщательно, без учета ка-

ких-то обстоятельств или улик. Опыт подсказывал Панкратову, что в деле Клятова – Груздева доказательства убедительны. Бесспорно, что разбойный налет совершен обоими подсудимыми, но кто из них убил Никитушкину, пока уверенно сказать невозможно. Пока единственный серьезный свидетель защиты – Ковригин. И ничего достоверного он не показал. На расстоянии девяти-десяти метров от него быстро прошел, а потом побежал человек, похожий на Груздева, который к тому же не обернулся, когда его окликали. Груздев это был или не Груздев – вопрос спорный. Все остальные свидетели защиты, включая жену Груздева, давно уже с ним не общались и сохранили только хорошие воспоминания о прежнем Петре.

Кого еще предстоит допросить? Анохиных, которых вызвал Ладыгин. Собственно, будет только старуха Анохина. Старик спьяну обморозился и лежит в больнице. Она сможет, наверное, показать какие-то факты, дополняющие отрицательную характеристику подсудимого. Что-нибудь вроде того, что он много пил и скандалил спьяну. Может быть, даже подворовывал. Потом Рукавишникова – билетер из кинотеатра, которая будто бы видела Груздева, просидевшего подряд четыре сеанса. Скорее всего, тут расчет времени не очень точный. В конце концов, Груздев мог уйти и раньше, просидев не четыре сеанса, а три с половиной. Вряд ли показания Рукавишниковой особенно существенны. Да, остается только один вопрос: кто убил?

Панкратов поднялся к себе на второй этаж, отпер дверь и вошел в квартиру. Жены не было дома. Она обедала обычно в заводской столовой. Сын, студент-дипломник, занимался у себя в комнате. Он обрадовался отцу. Им не

часто приходилось обедать вместе. Обычно обеденное время у них не совпадало. Сегодня сын ждал к обеду отца и очень проголодался. Он разогрел кастрюлю со щами, и оба сели за стол. С утра сын был в институте и узнал кое-что новое. Защита диплома назначена на 5 марта. Руководителя диплома не удалось сегодня увидеть.

— А у тебя что-нибудь серьезное?

— Ограбление Никитушкиных.

— А, слышал. Сложное дело?

— Тяжелое, но не сложное.

На этом разговор о суде закончился.

В это же время Ладыгин, живший довольно далеко от суда, пошел обедать в молочное кафе. Он был язвенник и предпочитал молочные продукты. После обеда он решил пройтись. Известно, что прогулка помогает пищеварению. Да и погода стояла хорошая.

Он шагал не торопясь, с удовольствием вдыхая чистый морозный воздух.

«Какое страшное дело! — думал Ладыгин. — Никитушкин — человек кристальной жизни. Все значительное, с чем связана история промышленности Энска, так или иначе входит в его биографию. И вдруг налет двух мерзавцев, пустых, ничтожных людей. Анна Тимофеевна убита, а сам он превратился в беспомощного старика. Ну хорошо, Клятов кончил семь классов. Вероятно, с юных лет связан с воровским миром. Два раза судился, восемь лет просидел. А Груздев? Посмотреть на его воспитателя, дававшего показания, на его друзей, сидящих в публике... Все интеллигентные люди. Как выступал его товарищ, Сергей Ковалев... Он, конечно, идеализирует Груздева и старается

его выгородить. Не почему-нибудь, просто потому, что не может себе представить своего друга преступником. Это оставим в стороне. Но какая четкость мышления, какая логика, какая вдумчивость! И рядом Груздев. А ведь оба остались сиротами в раннем детстве. Обоих вырастили и воспитали в одном и том же детском доме. Почему все стали настоящими людьми? Почему из одного воспитанника получился мерзавец? И почему от этого мерзавца зависит жизнь старой женщины, зависит благополучная старость безупречного человека?»

Ладыгин медленно шагает по набережной. Он хорошо еще помнит время, когда никакой набережной здесь не было и берег полого спускался к реке. Тут стояли какие-то полусгнившие деревянные домики, сараи, курятники. Теперь от них следа не осталось. Интересно, где живут их бывшие жители? Как чувствуют они себя в новых домах. Привыкли уже к водопроводу и канализации, к газу и горячей воде или скучают по заваленным разным хламом, сараям, по петуху, поющему утром, по собаке, спящей в дощатой будке?

Ладыгин шагает вдоль тротуара. Внизу река, покрытая льдом и снегом. Набережная кончается. Говорят, ее будут строить дальше, до железнодорожного моста. Пока дальше тянется пологий берег, а по другую сторону – протоптанные в снегу тропинки, невысокая горка, на вершине которой скамейка. Летом тут сживают по вечерам влюбленные пары или просто любители помечтать в одиночестве.

Зимой на горке редко увидишь человека. По скользкому снегу нелегко взобраться наверх, да и сидеть на холоде радости мало. Впрочем, сейчас на скамейке кто-то сидит.

Ладыгин всматривается – это Гаврилов, защитник Груздева. Не надо ему мешать. Ему есть о чем подумать.

Ладыгин поворачивается и, не торопясь, шагает по набережной обратно.

Гаврилову действительно было о чем подумать. Он снова и снова перебирал доводы «за» и «против». Доводов «против» Груздева было сколько угодно. Доводов «за» было гораздо меньше.

Что можно сказать в защиту Груздева? То, что как раз в вечер убийства подвыпивший Ковригин видел на вокзале человека, напомнившего ему его приятеля – Петуха. Может быть, это был Груздев, а может быть, нет. То, что контролерша Рукавишникова видела, как на четыре сеанса подряд в кинотеатр входил Груздев. Если он просидел четыре сеанса до конца, он, возможно, не грабил. Но он мог войти на четвертый сеанс и через полчаса уйти. Тогда он вполне успевал добраться до Колодезей. Даже если он просидел четвертый сеанс до конца, все равно он мог успеть к назначенному времени. Конечно, есть некоторая натяжка в том, что человек, собираясь идти на ограбление, сидит четыре сеанса в кино, но, по чести говоря, что ему было делать? Дома – братики, с которыми он не хочет встречаться, а идти некуда. Остается сидеть в кино.

Нет, положим, дело не так просто. Клятов заходит за Груздевым в одиннадцать. Если Груздев по-прежнему собирался грабить Никитушкиных, почему он не перехватил Клятова у своего дома, почему не подстерег Клятова на улице? Кругом полно домов, из которых уже выселены жители, закоулков, незапертых сараев. Было где спрятаться и дождаться Клятова. Но известно, что весь вечер Груздев

сидит в кино. Значит, он не собирался перехватывать своего соучастника.

Может быть, они условились встретиться прямо в Колодезях? Но тогда зачем Клятов заходил к Груздеву домой? Опять концы с концами не сходятся. Тут есть какая-то ошибка в рассуждениях. Что-то тут недодумано.

Второе: орудие убийства не обнаружено. Это был, очевидно, кастет. Куда этот кастет делся?

Третье: если Груздев в двенадцать ночи был у Никитушкиных, значит, Ковригин, несомненно, видел на вокзале не Груздева, а кого-то другого. Значит, Груздев мог уехать только поездом, который отходит в два часа ночи. Сесть в автобус в Колодезях Клятов и Груздев не могли. В это время автобусы не ходят, а если и шел какой-нибудь запоздавший, то, конечно, пустой и их непременно заметили бы. Они могли пройти до города пять километров. Положим на это час. Значит, в городе они в начале второго. Городские автобусы уже не ходят. Может идти автобус только на аэродром, но это совсем в другую сторону. Значит, до вокзала Груздев тоже должен шагать пешком километра четыре. Может успеть, а может и не успеть. Надо учесть, что он, безусловно, очень устал. Такси? Но таксистов наверняка всех опросили. Да, скорее всего, и вообще всех шоферов города. Значит, вряд ли он успевал даже на двухчасовой поезд. Разве что нигде не потерял ни минуты. И все-таки это не доказательство, потому что теоретически он успеть мог.

Но к двум часам ночи, даже раньше, уже были, конечно, сообщены на вокзал приметы преступников. Неужели такой неопытный преступник, как Груздев, мог обвести во-



круг пальца всю железнодорожную милицию? Очень сомнительно.

Наконец, то, что Клятов называет своего соучастника «Петр». На заводе его звали «Петух». Клятов у братиков тоже спрашивал «Петуха». Почему взволнованный, возбужденный Клятов называет его не привычной кличкой, а никогда не употреблявшимся именем «Петр»? Это странно, но это не довод для суда. Всем известно, как неожиданно ведут себя люди в состоянии волнения.

В конце концов, можно предположить и другое: взволнованному, возбужденному Клятову, привыкшему называть Груздева Петухом, могло показаться, что, если он назовет его «Петр», никто не догадается, кто это такой.

Что стоит это сомнительное рассуждение по сравнению с личностью Груздева, спившегося, ничтожного человека, который давно уже дружит с Клятовым?...

Гаврилова охватывает отчаяние. По совести говоря, если бы можно было, он отказался бы от защиты. Сидел бы в консультации, давал бы советы. Тихое дело. К сожалению, «адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого». Не вправе и не вправе, и кончено с этим.

Клятов врет. Он врал, когда говорил, что невиновен. Это бесспорно. Потом он услышал собственными ушами, что Груздев признается. И тогда сразу признался тоже. Казалось бы, вполне объяснимо. Что же делать, соучастник признал вину, спорить бессмысленно. Но что, собственно, заставило Клятова во всем признаться, как только он услышал, что признается Груздев? Никитушкин его опознал, стало быть, спорить с тем, что он, Клятов, участвовал в

ограблении, было и раньше бессмысленно. Теперь признал свое участие и Груздев. Это веский довод для обвинения, но гораздо менее веский, чем опознание Никитушкиным. Значит, Клятов признался не потому, что показания Груздева делали отрицание невозможным, а потому...

Мысли закружились у Гаврилова в голове. Он чувствовал, что стоит где-то рядом, совсем рядом с истиной. Он попробовал поставить себя на место Клятова. Никитушкин опознал. Вина Клятова как будто бесспорна. А Клятов упирается, не признается. Почему? Потому что, не признаваясь, он ничего не теряет и, признаваясь, ничего не выигрывает. Груздев признался – сразу признается и Клятов. Почему? Что он выигрывает сейчас от своего признания? Он выигрывает очень много. Груздев показывает, что был пьян и ничего не помнит. Раз он ничего не помнит, он не может отрицать, что убил Анну Тимофеевну. Значит, с Клятова снимается обвинение в убийстве. Значит, ему не грозит смертная казнь.

Почему же раньше Клятов не признавался? Он ведь и раньше мог свалить убийство на Груздева.

Гаврилов чувствовал, что истина совсем рядом, вот-вот он ухватит ее за хвост.

Что изменилось? Груздев признавался и раньше. Клятову предъявлялись протоколы его показаний, а Клятов не признавался. То есть пока он не услышал собственными ушами признание Груздева, он все отрицал. А как только услышал – признался. Что изменилось?

Во-первых, Клятов, вероятно, не верил тому, что Груздев признался. Почему он мог не верить? Он знает, обязательно знает – он опытный уголовник, – что следо-

вателям запрещено ссылаться на несуществующие показания и тем более показывать фальшивые протоколы. Значит, должны быть очень серьезные причины, чтобы Клятов, зная это, не верил предъявленным ему показаниям Груздева. Причина может быть только одна. Клятов точно знает, что его соучастником был не Груздев, а кто-то другой. Кто?

Дело не доследовано. Вот позиция защитника. Следствие доверилось очень скверным характеристикам Груздева. Эти характеристики справедливы. Но мы судим Груздева не за пьянство, не за аморальное поведение в семье, а за разбойный налет с убийством.

В сущности, единственная тяжкая улика – зажигалка. Насчет зажигалки показания подсудимых расходятся. Можно допустить, что врет Клятов. Можно допустить, что врет Груздев. Но зачем было Груздеву врать, если он сразу признался, что участвовал в ограблении? Когда он признавал это, никакой роли не играло: он потерял у Никитушкиных зажигалку или ее потерял Клятов. Зачем было в то время Груздеву врать?

Наконец, ни у Клятова, ни у Груздева не обнаружены деньги. Шесть тысяч рублей за два месяца не истратишь. Где деньги? Это не расследовано.

Сколько бы мы ни шли по делу, все время возникают сомнения. Всякое сомнение в пользу подсудимого.

Гаврилов смотрит на часы и охает. Без десяти четыре! Успеет ли он добежать? Он стремительно шагает по набережной. Успел! Он проходит по коридору суда. На него смотрят Афанасий Семенович и Коробейников, Ковригин и трое братиков. У Гаврилова непроницаемое лицо. Он не

может ни взглядом, ни жестом ободрить и успокоить тех, кто волнуется и мучается за Груздева. Он не знает, как решит суд. Он не знает, согласится ли суд направить дело па следствие. А если и согласится, найдет ли следствие настоящего преступника. Все-таки теперь у него не сжимается сердце от отчаяния. Он знает, о чем будет говорить, и надеется изложить свою точку зрения достаточно убедительно.

Все это он должен пока держать при себе. Нельзя людей обнадеживать, пока не уверен сам. Неуверенность и убежденность, отчаяние и надежда – это груз, который адвокат обязан нести один.

Гаврилов входит в зал, когда уже привели подсудимых. Сидят на своих местах Грозубинский и обвинитель. Впускают публику. Входят судьи. Все встают.

Судебное следствие продолжается.

## Глава сорок первая

### *Рукавишников опознает*

Что-то изменилось в зале суда. Нет, все сидят на своих местах: подсудимые, государственный обвинитель, адвокаты, судьи. Даже публика расселась в том же порядке, как в первой половине сегодняшнего заседания. На первой скамье сидят уже допрошенные свидетели, и каждый занимает то место, которое он занимал с утра. И все-таки атмосфера в зале другая. Закончился большой этап судебного следствия. В перерыве люди осмыслили этот этап. Сопоставили показания. Продумали поведение свидетелей и обвиняемых.

Нет, внешне ничто как будто не изменилось, только насыщенной, напряженной стала тишина в зале. Все понимали и раньше, что за разбойный налет с убийством по головке не гладят и что смертная казнь тут очень вероятна. Но одно дело – понимать это умом, и совсем другое – почувствовать неизбежность сурового приговора, который, может быть, прозвучит в этом зале завтра или послезавтра. Совсем другое дело – понять, что одному из этих сидящих за барьером коротко остриженных людей угрожает физическое уничтожение, смерть, конец.

В зале тихо. Вызывают свидетельницу Анохину.

Входит Александра Федосеевна. Непонятно, каким напряжением воли додержалась она до второй половины дня, не выпив, по-видимому, ни стопки. Так или иначе, на первый взгляд она трезва. Во всяком случае, почти трезва.

Она становится на трибуну. Панкратов начинает задавать ей вопросы.

Давно ли снимал у нее комнату Груздев, сильно ли он пил, часто ли бывал у Груздева Клятов, часто ли Груздев приходил домой пьяным?...

Оказывается, что и пил Груздев сильно, и домой приходил часто пьяным, и Клятов у него часто бывал.

Собственно говоря, ничего нового показания Анохиной в дело не вносят. Образ жизни Груздева и так всем хорошо известен. Два-три вопроса задает Ладыгин. Грозубинский спрашивает, приходил ли Клятов к Груздеву пьяным или трезвым. Старуха отвечает, что бывало всякое. Гаврилов спрашивает, как приехали груздевские друзья и как Груздев писал им письмо. В котором часу это было? И почему старуха не передала им письмо, как велел Груздев?

Старуха отвечает, что письмо не передала, потому что не обязана, она у себя в доме хозяйка, а Груздев и так уж за квартиру задолжал и только накануне расплатился, и что как тогда по двадцатое июля было заплачено, так с той поры она ни копейки не получила. Тут она вдруг, страшно растрогавшись, начала говорить, что она к Груздеву как к родному сыну относилась, ночи не спала, думала, как бы жильца не обидеть. А жилец за месяц вперед заплатил, сбежал, и она его полгода не видела. К ней многие обращались, просили комнату сдать, а она не хотела Груздева обижать и отказывала.

Панкратов говорит ей, что это к делу не относится и что она может садиться. Ее показания кончены. Но старуха не хочет молчать, вытаскивает какую-то бумагу и горячо объясняет, что старик ее теперь в больнице и она должна его интересы обеспечить. И ей следует получить за прошлое время за пять месяцев по двадцать рублей, а всего получается сто рублей.

Панкратов предлагает ей замолчать и сесть. На старуху, однако, это не действует. Она требует, чтоб судья наложил резолюцию и чтоб с этого подлеца (имеется в виду, по-видимому, тот же Груздев) сто рублей взыскали, потому что они, Анохины, старики бедные и деньги нужны им на «первую необходимость» (очевидно, имеются в виду предметы первой необходимости).

Тут только зал начинает понимать, что трезвость старухи была одной видимостью и что на самом деле она либо где-то уже ухитрилась выпить, либо выпитое накануне выиграло в ней с новой силой под влиянием необычной обстановки.

Панкратов негромко говорит офицеру, стоящему в дверях, чтобы свидетельницу удалили из зала. Анохину удаляют, и она хотя поддается силе, но громко возмущается и говорит, что в судах правды нет и, где ее, правду, искать, она не знает. Что сто рублей дарить ни за что ни про что пропойце Груздеву она не собирается и что...

На этих словах дверь закрывается, и мысль ее остается для публики не до конца проясненной.

Вероятно, в других обстоятельствах неожиданное выступление Анохиной сопровождалось хотя бы негромким смехом. Но все сидящие в зале с таким напряжением ждут продолжения событий, что никто даже не улыбается.

И вот уже спокойно подходит к судейскому столу Мария Никифоровна Рукавишникова и с достоинством ждет вопросов.

Панкратов спрашивает, что ей известно по делу, и она рассказывает, что обратила внимание на Груздева, когда тот пришел смотреть фильм второй сеанс подряд.

– Картина-то скучная, – говорит Рукавишникова, – себе в убыток работали, человек сто бывало на сеансе, не больше, а то и пятьдесят. А тут вдруг, видите ли, человек сеанс просмотрел и на другой явился. Мы уж подшучивать стали между собой, что он в контролершу влюбился, а потом, смотрим, и на третий, и на четвертый сеанс тоже пришел. Тут мы прямо обхохотались. Это, думаем, что ж такое. Никогда этого не бывало, чтоб человек четыре сеанса подряд смотрел. Да еще картина, извините, дрянь. Зрителя на нее силком не затащишь.

Панкратов просит ее посмотреть внимательно на подсудимых и сказать, кто именно из них просидел в кинотеатре подряд четыре сеанса.

Подсудимые встают. Рукавишникова смотрит сперва на Груздева, потом на Клятова, и лицо ее выражает растерянность.

Она молчит. Дольше молчит, чем нужно для того, чтобы опознать человека, которому она четыре раза отрывала от билета контрольный талон.

— Ну, Рукавишникова, — говорит Панкратов, — кто из подсудимых был у вас седьмого сентября на четырех сеансах подряд?

— Вот этот, — говорит Марья Никифоровна и указывает на Груздева.

А смотрит куда-то в сторону. Гаврилов оборачивается, чтобы проследить ее взгляд. Ему кажется... да, конечно, он не ошибся: Рукавишникова смотрит на Клятова. И в глазах у Рукавишниковой растерянность.

«В чем дело? — думает Гаврилов. — Почему она не сводит с него глаз? Неужели она его тоже знает? Откуда?»

Панкратов спрашивает адвокатов, есть ли у них вопросы.

У Грозубинского вопросов нет. У Гаврилова есть.

— Скажите, Рукавишникова, — спрашивает он, — подсудимого Груздева вы видели, когда он четыре раза подряд проходил на сеансы в кинотеатр, в котором вы работаете. А где вы видели подсудимого Клятова?

— Клятова? — переспрашивает Рукавишникова. — Вот этого, что ли?

— Да, вот этого.

Рукавишникова долго молчит.

— А я его и не видела никогда, — говорит она наконец уверенно, будто только сейчас рассмотрела Клятова как



следует. – Ну, может, и встречала когда на улице, так не обратила внимания, не запомнила. Мне сперва показалось, личность вроде знакомая, а потом вижу, нет. Может, и встречала где, на толчке или на базаре, а может, он к нам в кино когда заходил. Но только мы с ним незнакомые.

– Вы уверены, что не видели Клятова?

Рукавишникова молчит.

– Уверены или нет?

– Уверена, – твердо говорит Рукавишникова.

– У меня больше нет вопросов, – заключает Гаврилов.

Он уже знает все, что произойдет сейчас. Ладыгин задаст вопрос, видела ли Рукавишникова, как выходил из кинотеатра Груздев после четвертого сеанса. Рукавишникова скажет, что не видела, и ее показания потеряют всякую цену. Второе алиби рухнет с такой же легкостью, как и первое. Если Груздев не досидел четвертый сеанс до конца, значит, он безусловно мог к двенадцати часам успеть в Колодези.

Все так и происходит. Ладыгин действительно спрашивает Рукавишникову об этом, и она действительно говорит, что не знает. Алиби рухнуло. Потом Ладыгин спрашивает, уверена ли свидетельница, что Груздев просмотрел четыре сеанса именно 7 сентября. Да, в этом свидетельница уверена. 8 сентября она пошла в отпуск. Это можно проверить по приказу.

У Ладыгина тоже вопросов больше нет. Рукавишникова садится на скамью.

Вызывают свидетеля Кузнецова.

Входит молодой человек, лет двадцати трех, хорошо, даже щеголевато одетый. Вид у него очень скромный,

внушающий совершенное доверие. Сразу понятно, что это человек интеллигентный, воспитанный в хорошей семье, умеющий себя держать при любых обстоятельствах. Он спокойно идет через зал. Спокойно становится на место. Пожалуй, это первый свидетель, который, хоть внешне, совсем не волнуется. Правда, свидетель второстепенный. Он должен показать, когда кончился 7 сентября последний сеанс в кинотеатре, где он работает, и мог ли зритель выйти из кинотеатра в середине сеанса. Волноваться ему совершенно нечего.

Панкратов задает бесспорные эти вопросы. Кузнецов отвечает на них толково. Он предусмотрительно захватил даже заверенную в кинотеатре справку. В справке удостоверяется, что последний сеанс 7 сентября, когда шла картина из морской жизни, закончился в одиннадцать часов тридцать пять минут. Справку Панкратов приобщает к делу.

— Мог ли Груздев, придя на последний сеанс, не досмотреть его до конца и выйти в середине сеанса?

— Мог, конечно. Картина была, по совести говоря, скучная, и многие уходили не досмотрев.

— Должен ли был кто-нибудь видеть Груздева, если он уходил в середине сеанса?

— Нет, мог никто не видеть. С последнего сеанса выпускают через запасный выход. У выхода стоит дежурная. Но в зале темно, ей не видно, кто выходит, да и следит она за тем, чтобы через запасный выход не вошел кто-нибудь без билета. А тот, кто вышел, ее не интересует.

Собственно, на этом и кончаются все вопросы, на которые, по-видимому, может ответить Кузнецов. Впрочем, есть еще вопрос. Его задает Гаврилов:

– Скажите, а если бы он вышел после последнего сеанса вместе со всей публикой, его бы должны были заметить контролеры?

– Нет, – отвечает, немного подумав, Кузнецов. – Хотя эта картина сборов не давала, все-таки с последнего сеанса выходило человек пятьдесят. Контролерш, кроме дежурной, мы отпускаем, когда начинается последний сеанс. Ну, а дежурная не особенно смотрит. Ей важно, чтобы после конца сеанса никто не остался в зале. Бывает, придет человек подвыпивший или просто усталый и заснет. В частности, на этой картине такие случаи бывали довольно часто.

Гаврилов слушает вполуха. Его это мало интересует. Одна мысль крутится у него в голове, напряженная мысль, отвлекающая все его внимание: почему Рукавишникова так смешалась, увидев Клятова? В чем тут дело? В конце концов, может быть, все очень просто. Клятов мог попасться ей на глаза на улице, в том же кино она могла видеть его пьяным. Он мог прийти к ней на квартиру предложить чинить электричество. Почему тогда она прямо не сказала об этом? Судя по тому, как она растерялась, она искала какое-то решение, и решение это принять было довольно сложно. Что ей надо было решить? Может быть, она знала Клятова раньше: он же здешний, во всяком случае, долго жил здесь. Почему ей было тогда не сказать об этом, прямо? Она Клятова, конечно, знает. Почему она скрывает свое знакомство с ним? Она не преступница. Может быть, она купила у него что-нибудь, какую-нибудь краденую вещь? Мало вероятно. Может быть, она видела его с кем-нибудь и не хочет подводить этого человека?

Снова Гаврилову кажется, будто истина почти у него в руках. Почти, но все-таки не совсем.

Между тем допрос Кузнецова окончен. Панкратов уже говорит ему «садитесь», и вдруг Гаврилов приподнимается со стула.

– Я прошу прощения, – говорит он, – у меня еще два вопроса к свидетелю.

– Пожалуйста, – говорит Панкратов.

– Скажите, – спрашивает Гаврилов, – вы подсудимого Груздева знаете? Вот он сидит по левую руку от вас.

Кузнецов внимательно всматривается в лицо Груздева.

– Нет, – говорит он, – не знаю.

– А подсудимого Клятова? – спрашивает Гаврилов. Клятов встает, чтобы Кузнецов мог его получше разглядеть. Кузнецов внимательно вглядывается в него.

– Нет, – говорит он, – в первый раз вижу.

– Благодарю вас, – говорит Гаврилов, – больше у меня вопросов нет

– Садитесь, – говорит Панкратов.

Кузнецов садится на скамейку рядом с Рукавишниковой места нет, ему приходится попросить подвинуться Сережу, и он усаживается рядом с ним.

Вызывают следующих свидетелей. Это начальник цеха, в котором когда-то работал Петя. Он дает о Пете отличный отзыв и настаивает на этом отзыве довольно сердито, отменяя попытки Ладыгина поспорить с ним. Правда, он признает, что Петя сбился с пути, но тут же говорит, что мы, мол, на заводе недоглядели, что надо было взяться за парня, и всякие другие слова, которые, в общем, не имеют отношения к вопросу о том, грабил Груздев Никитушкиных или не грабил

Допрашивают еще двух человек с завода, и оба они говорят про Петра хорошее, но, что бы они ни говорили, все это относится к давним временам, к тому периоду жизни Груздева, когда он еще не спился окончательно, работал, жил с женой

Очень хорошо, конечно, что товарищи его защищают. Но, к сожалению, всем известно, до какого падения доводит людей пьянство, и поэтому хорошие отзывы о прошлом Груздева никакой роли не играют

Гаврилов задает свидетелям вопросы и, кажется, внимательно выслушивает их ответы, а на самом деле почти не слышит их, потому что напряженно думает об одном: почему Рукавишникова смутилась, увидев Клятова?

Слово предоставляется представителю психиатрической экспертизы, кандидату наук, лет тридцати трех – тридцати четырех, который прочитывает заключение экспертной комиссии, а потом отвечает на вопросы суда, обвинения и защиты. В заключении много специальных терминов, и представителю экспертизы приходится их разъяснять. Из его обстоятельных разъяснений я понял очень мало. Спасибо, хоть главное-то понял. Оба признаны нормальными. У Клятова обнаружено «эмоциональное огрубение»; что это такое, я и по сей день точно не знаю. Ясно стало одно: судить обоих будут по всей строгости. Никаких скидок на психическую неполноценность не будет

Время между тем идет. Уже семь часов вечера. Панкратов объявляет перерыв до десяти утра следующего дня

Выходит, не торопясь, публика. Выходят допрошенные свидетели. Выходят обвинители и защитники.

Мы все, так сказать Петькины болельщики, смотрим с волнением на Гаврилова. Может быть, он хоть что-нибудь скажет нам, хоть чем-нибудь обнадежит? Но он проходит мимо, будто нас и не видит. Мы все-таки смотрим ему вслед. Все еще надеемся. Сейчас он свернет на лестничную площадку и скроется. Но нет, он замедляет шаги. Он, кажется, не может решить, идти дальше или остановиться. Он останавливается. Он повернул назад. Он идет к нам.

В нас оживают надежды. Вот подойдет он сейчас и скажет: «Ну, поздравляю». Пусть хоть не так. Пусть хоть просто сдержанно объяснит, что, как ему кажется, шансы Груздева несколько повышаются. Он подходит к Афанасию и просит познакомить с братиками, о которых он так много слышал. Афанасий знакомит нас. Мы пожимаем, ему руки любезно, даже несколько заискивающе улыбаясь. Мы – что. Мы зрители. Один Сережа свидетель, да и то второстепенный. А Гаврилов – о, Гаврилов адвокат, от него многое зависит!

Гаврилов серьезен, даже тень улыбки не мелькает на его лице.

– Ну, как вам понравились показания Рукавишниковой?– спрашивает он.

Мы не знаем, что отвечать. Как могут показания понравиться или не понравиться? Они были, конечно, честные показания. Что она знала, то и рассказывала.

Гаврилов выдерживает небольшую паузу, как будто поджидая наш ответ.

– Мне показалось странным, – говорит он, не дождавшись ответа, – что она замялась, увидев Клятова. Вы заметили это?

Да, киваем мы головами.

Я лично действительно заметил какую-то уж очень долгую паузу. Пауза эта была тогда, когда Рукавишникову просили опознать Груздева. Тогда, когда она смотрела на скамью подсудимых и, значит, видела обоих – и Груздева и Клятова.

– Не понимаю, – говорит Гаврилов. – Я ей задал вопрос, знает ли она Клятова. Она ответила, что не знает и никогда не видела. Почему же, увидев Клятова, она растерялась? Чем он ее так смутил? – И без паузы завершает разговор: – Ну, извините, я пошел. У меня еще кой-какие дела. Значит, до завтра.

Он наклоняет голову. Это следует понимать как общий поклон, быстро поворачивается, проходит по коридору и исчезает на лестничной площадке.

Мы стоим немного растерянные. Какой-то, в сущности, странный вопрос задал он нам. Откуда мы можем знать, почему замялась Рукавишникова? Ему лучше знать. Он видел ее лицо в эту минуту, а к нам она стояла спиной. Наконец, он же адвокат.

Открываются двери зала. Расчищают дорогу конвойные. Проводят по коридору Груздева и Клятова.

Нам больше нечего делать в суде. Мы выходим на улицу. Юра предлагает всем идти провожать Тоню. Афанасий Семенович все равно идет к Тоне, он у нее остановился, а Сергей говорит, что у него болит голова и он пойдет в гостиницу – полежит. Я было соглашаюсь идти провожать, но потом у меня возникает какая-то не очень осознанная мысль, что лучше, пожалуй, пойти с Сергеем обсудить первый день процесса. Я говорю, что у меня тоже несвежая голова и я, пожалуй, тоже пойду в гостиницу.

Мы с Сергеем прощаемся с Тоней и Афанасием, решаем идти пешком и долго молча шагаем по улице.

## Глава сорок вторая

### *На улице и дома*

К вечеру потеплело и начал медленно падать снежок. Квартала два мы с Сергеем шагали молча. И когда Сергей наконец заговорил, я даже не понял, что он обращается ко мне. Как будто он размышлял вслух.

– Что же мы можем сделать? – говорил он темной улице, белому снегу, налипавшему нам на лица. – Поговорить с Рукавишниковой? Если уж на суде она не призналась, что знает Клятова, почему она признается нам? Может быть, все это просто почудилось Гаврилову и смотрела Рукавишникова на Клятова потому, что никогда не видела грабителей. С другой стороны, если такая мысль возникла, мы обязаны ее проверить.

Я с трудом разбирал слова Сергея. Он говорил, ни разу не повернувшись в мою сторону.

– Я не знаю, – сказал я, – можешь ли ты, свидетель на процессе, разговаривать с Рукавишниковой.

– А ты можешь? – спросил Сергей.

– Думаю, что могу. Я к процессу отношения не имею. Просто человек из публики.

– Да, лучше тебе с ней поговорить, – подумав, согласился Сергей. – Пойдем, я тебя провожу до кинотеатра, ты спросишь, где она живет.

Он довел меня до кинотеатра «Космос» и у входа за-



терялся в толпе. Я вошел и обратился к контролерше, молодой девушке, может быть, той самой, которая вместе с Рукавишниковой смеялась над чудачком, просмотревшим четыре сеанса подряд.

— Простите, пожалуйста, Рукавишникова Марья Никифоровна сейчас в кинотеатре?

Оказалось, что в кинотеатре ее нет.

— Скажите мне, пожалуйста, ее адрес.

— А вам зачем? — настороженно спросила молодая контролерша.

— Поручение от суда, — сказал я немногословно и многозначительно.

У девушки на лице появилось выражение причастности к тайне; казалось, что мы обсуждали секретное мероприятие, о котором чем меньше людей будет знать, тем лучше.

— Садовая, двенадцать, — тихо проговорила, почти прошептала девушка, — квартира тридцать два, второй подъезд.

Я поблагодарил девушку, сдержанно кивнув головой, как будто не хотел показывать входившим в кинотеатр, что мы с ней беседуем о вещах, не подлежащих оглашению. Выйдя, я у первого же встречного узнал, что Садовая улица находится сразу за углом, убедил Сергея не ждать меня и идти в гостиницу; без труда нашел нужный подъезд, поднялся на третий этаж, узнал, что Марьи Никифоровны нет дома, спустился вниз и, стоя возле подъезда, стал размышлять, что теперь делать.

Было полвосьмого вечера. Можно, конечно, зайти попозже. Но вдруг она придет совсем поздно? Не ломиться же ночью в квартиру. Я решил, что вернее всего зайти утром,

часов в восемь, и собрался уже уходить, как вдруг к подъезду подошла Марья Никифоровна.

– Здравствуйте, товарищ Рукавишников, – сказал я.

Она остановилась, кажется, очень испуганная. Смотрела на меня и молчала.

– Кто такой? Чего надо? – спросила она наконец растерянно.

Я почувствовал, что она действительно виновата в чем-то. Может быть, впрочем, она испугалась просто потому, что вечером ее остановил на улице человек, которого она не признала знакомым. Нет. Тогда она не молчала бы так долго. Я был убежден: она отлично понимала, зачем ее остановили и о чем с ней хотят разговаривать. Она торопливо продумывала, как себя лучше вести, как избежать разговора.

– Я друг подсудимого Груздева, – сказал я, – и хочу знать, где вы раньше видели Клятова и почему умолчали об этом на суде?

Рукавишникова, видно, собралась с силами.

– Ничего я не знаю, никакого Клятова не видела, и отстаньте вы от меня! – сказала она тоном, который вот-вот мог перейти в визгливый.

Ясно было, что, если я не дам ей понять, что многое знаю, я ничего не добьюсь. Конечно, я могу жестоко ошибиться и если ошибусь, то окончательно и навсегда потеряю преимущество, которое пока еще перед ней сохраняю. Да, пока еще сохраняю. Я чувствовал в ее голосе, казалось бы решительном, казалось бы спокойном, все-таки неуверенность. Голос, казалось мне, собирался перейти в крик. Такой, будто просто кричит женщина, ис-

пуганная неожиданной встречей па темной улице. И все-таки я чувствовал, что это подделка. Если какой-то, пусть даже маленькой, частицей правды я покажу ей, что мне кое-что известно, она расскажет все.

Да, я очень мало знал. Только одно вспомнилось мне: у Никитушкиных Клятов называл своего соучастника Петром. Может быть, этого окажется достаточно?

— Объясните мне, — сказал я, — при каких обстоятельствах, когда и где вы видели до суда Клятова и Петра?

Неподалеку от места, где мы стояли, светил высокий фонарь. Мне было видно, как снова расширились от испуга глаза Марьи Никифоровны.

— Не знаю я никакого Клятова, — пробормотала она совсем уже неуверенно.

Я почувствовал, что она опять растерялась.

Она молчала. Конечно, она колебалась. Еще небольшое усилие, еще хоть маленький фактик — и она поверит, что мне известно все или почти все, что скрыть ей ничего не удастся. А уж когда поверит, обязательно все расскажет сама. Не было у меня такого фактика. Глядя прямо Рукавишниковой в глаза, я торопливо перебирал в мозгу все, хотя бы неверные, хотя бы сомнительные, сведения, которые были в моем распоряжении. Да. Если еще минуту я промолчу, кончится моя власть над ней, полученная ценой неожиданности, в результате того, что совесть у нее нечиста, что какие-то обстоятельства скрыла она от суда. Не потому, вероятно, что обстоятельства эти ее обвиняли, а потому, что они обвиняли кого-то, к кому она хорошо относилась.

— Я говорю о Петре, — очень уверенно сказал я. Ох, если бы на самом деле я чувствовал хоть тень этой уверенности!

– Не знаю я никакого Петра! – почти закричала Марья Никифоровна.

– Нет, знаете, – сказал я, – и расскажете мне, как он связан с Клятовым, где вы их видели вместе.

– Почему это я вам расскажу?

– Потому, что сами не сможете промолчать, когда поймете, что из-за вашего молчания могут казнить ни в чем не повинного человека.

Мы стояли друг против друга, и снег медленно падал, посыпал белым пухом воротники, шапки, плечи. Казалось бы, мы стояли в обыкновенных позах спокойно разговаривающих людей, но такое напряжение выражалось, наверное, в наших неподвижных фигурах, что весело болтавшая компания молодых пареньков, проходившая мимо, замолчала и оглядывалась на нас до тех пор, пока мы оба не скрылись от них за пеленой падающего снега.

– Хорошо, – сказала Рукавишникова, – зайдите ко мне, я расскажу вам, что знаю. И пусть меня бог простит, если я хорошему человеку зло принесу.

Мы вошли в подъезд пятиэтажного стандартного дома, поднялись на третий этаж. Рукавишникова отперла дверь и пропустила меня вперед.

Здесь была маленькая передняя и две вешалки. Рукавишникова указала, на какую вешалку надо вешать пальто. Кто-то выглянул из двери и скрылся, убедившись, что пришли свои. Рукавишникова вошла в другую дверь, зажгла свет, предложила сесть за стол и села сама.

– Я вам вот что скажу, гражданин, – сказала она, – вы не думайте, что я скрыть хотела. Я суду мешать не хочу. Если я про что и умолчала, так потому только, что Петр Нико-

лаевич – человек хороший и преступления совершить не мог, это я вам ручаюсь. И семья у него отличная, и отца и мать все уважают, и невеста хорошая девушка – я ее знаю, она к нам часто в кинотеатр заходит. Да и нужды у него нет. Семья, сами знаете, обеспеченная.

«Петр Николаевич! Это она, вероятно, об администраторе, – торопливо сообщаю я, стараясь в то же время не упустить ни одного слова. – Кажется, в самом деле его зовут Петр Николаевич. Сейчас главное – не показать ей, что я ничего не знаю... Не может же быть, чтобы Груздев, скрываясь от Клятова, пришел в тот самый кинотеатр, куда, независимо от него, пришел к администратору Клятов!»

– А что я Клятова видела – это верно. Дело вечером было, седьмого сентября, часов в одиннадцать. Петр Николаевич уже уходить собрался, а тут Клятов пришел. Пусти да пусти его к администратору. Раньше-то я его никогда не видела, и вид у него, сами знаете, не авантажный. Но, с другой стороны, последний сеанс к концу идет, значит, в зал никто рваться не станет. Все-таки я для порядка пустить не пустила, а Петру Николаевичу постучала в окошечко. Он и вышел. Мне показалось, что он очень недоволен был, когда Клятова увидел. Но человек воспитанный, виду не подал. «Пожалуйста, – говорит, – заходите». А Клятов уперся: «Давай выйдем, поговорим, у меня к тебе дело». Вот они вдвоем и вышли на улицу. Я потом через четверть часа выглянула – стоят разговаривают. А еще через десять минут выглянула – вижу, нет. Ушли.

– Они вместе ушли или порознь, вы не видели?

– Нет, не видела.

– А еще когда-нибудь вы видели Клятова?

– Вот сегодня увидела.

– А еще?

– Нет, никогда.

– Значит, какого это было числа?

– Седьмого сентября.

– В тот день, когда Груздев у вас четыре сеанса просидел?

– В тот день и было. А с восьмого я в отпуск пошла.

– Кто-нибудь, кроме вас, Клятова видел?

– Нет, не видел. Напарница моя уже домой ушла, в фойе народу не было никого, последний сеанс ведь. Если б Клятов на полчаса позже пришел, он бы и Петра Николаевича не застал. Тот совсем уходить собрался.

– А Петр Николаевич в каком костюме был?

– В летнем таком, светлом, серого цвета.

– А на следующий день Петр Николаевич вышел на работу?

– А я и не знаю. Я на следующий день в поезде ехала. Отпуск у меня начинался.

– Марья Никифоровна, – сказал я, – вы должны завтра в половине десятого прийти в суд к судье Панкратову и сказать ему, что просите допросить вас вторично, потому что вы кое-что показали неточно и хотите дополнить свои показания. Если Панкратов спросит вас, что вы хотите еще показать, вы ему расскажете все то, что рассказали мне.

Я смотрел на Рукавишникову в упор и видел, что она все больше и больше колеблется.

– Гражданин, простите, не знаю, как вас, – сказала она наконец, – вы поймите, я не со зла, но Петр Николаевич очень хороший человек, и он, конечно, не грабил с Кля-

товым. А тут получится, что я против него показываю. Может, у него неприятности будут или что...

– Марья Никифоровна, – сказал я, – вероятней всего, Петр Николаевич ни в чем не виноват. Вы поймите: пусть он солгал, что Клятова не знает, по нерешительности или по каким-нибудь еще соображениям, но из-за этой его, может быть безобидной лжи, Груздева, который не виноват, могут осудить, могут даже к смертной казни приговорить. Как вы тогда спать будете, Марья Никифоровна? Как вы тогда людям в глаза смотреть будете? Наконец, скажу вам прямо: если вы до начала судебного заседания не будете у Панкратова, я встану во время заседания, попрошу меня допросить и расскажу все, что вы мне сейчас рассказали. Надо спасать невиновного человека. Суд должен знать всю правду.

Не могу сейчас вспомнить, что я еще говорил. Может быть, рассуждения мои и страдали иногда отсутствием логики, но уж отсутствием чувств они не страдали. Она все-таки славная была женщина, и напор моих чувств подействовал на нее.

– Ой, как вы на меня наседаете, – сказала она, – нехорошо даже с вашей стороны! – Это были уже последние, так сказать, «остаточные» сомнения. Но вдруг лицо ее опять исказилось от страха. – А если меня прямо на суде засадят за ложные показания? Я ведь расписывалась!

– Марья Никифоровна, – сказал я, – кто же вас засадит? Вам, наоборот, благодарны будут. О вас весь город будет говорить, что вот, мол, благородная женщина пришла и все как есть рассказала.

– Хорошо, – сказала Рукавишникова, – приду завтра в половине десятого.

Я с пафосом потряс ей руку и понес, кажется, какую-то околесицу, которую сейчас и припомнить-то не могу. Потом я простился, выбежал в переднюю, схватил пальто и шапку, без стука ворвался в чужую комнату, где двое пожилых людей спокойненько пили из блюдец чай, выскочил обратно, прежде чем они успели удивиться, влетел в совмещенный санузел и на третий раз, наконец, совершенно случайно попал в выходную дверь.

На улице продолжал сыпать снег. Я постоял, подумал: идти ли к Гаврилову? Во-первых, не знаю, полагается ли это. Может быть, это нарушит какие-нибудь их адвокатские обычаи или правила. Да наконец, самое главное: я не знаю, где он живет.

Тоня! Вот куда нужно бежать! И Афанасий и она – оба знают адрес Гаврилова.

По совести говоря, особенно волноваться было незачем. Если Рукавишникова завтра придет в суд и даст показания, Гаврилов их услышит и сам сообразит, что ему нужно делать. Однако мое настроение требовало немедленных действий. Согласитесь сами, что нельзя, узнав то, что я узнал, идти в гостиницу, выпить в буфете бутылку ряженки и лечь спать.

По улице навстречу мне неторопливо ехало такси с зеленым огоньком. Я с такой энергией бросился наперерез, что, когда я уже уселся на переднем сиденье, шофер все еще с опаской поглядывал на меня.

Когда мы доехали до Тони, я попросил шофера подождать. Три рубля погасили его сомнения. У двери Тониной квартиры я поднял такой трезвон, что Тоня открыла мне дверь, вся бледная от волнения. Я ворвался в комнату, ни-



чего ей не объясняя. Афанасий и Юра пили чай. Я, задыхаясь, совершенно невнятно прокричал, что Рукавишников раскололась, что Кузнецов седьмого сентября ушел вместе с Клятовым из кино. Что необходимо... срочно... сообщить... Гаврилову...

Вероятно, толком они ничего не поняли, но догадались, что новости важные и дело не терпит отлагательства.

Афанасию и Юре я все обстоятельно объяснил позже в машине, а вот что думала бедная Тоня, даже представить себе не могу.

Мы отвезли Афанасия к Степану, подождали, пока он сказал, что в окне Гаврилова свет – значит, он дома, – и поехали в гостиницу.

Мы трое обсуждали, какой неожиданный поворот получит дело после завтрашних показаний Марьи Никифоровны. Мы перебрали тысячу возможных вариантов. Через час пришел Афанасий. Он рассказал новости Гаврилову и оставил его одного, чтобы дать возможность спокойно подумать. Вчетвером мы нашли тысячу совершенно новых возможных вариантов. И, как обычно бывает, только одно не пришло нам в голову – правда.

Ушел от нас Афанасий уже в первом часу ночи.

## **Глава сорок третья**

### ***Опять размышления. Сберкасса!***

Рассказав про мой разговор с Рукавишниковой, Афанасий Семенович объяснил, что торопится к нам в гостиницу, и ушел, оставив Гаврилова одного.

Степан любил раздумывать, бродя по улицам, поэтому он выскочил из дома почти сразу за Афанасием.

Сначала, когда он услышал о показаниях, которые завтра собирается дать Рукавишникова, ему даже кровь бросилась в голову.

«Спокойно, спокойно, товарищ Гаврилов, – сказал он себе. – Не торопись радоваться».

Пройдясь по морозцу, остудившему его горячую голову, он понял, что сами по себе сведения Марьи Никифоровны вопрос о виновности Петра Кузнецова или Петра Груздева еще не решают.

«Прежде всего, – рассуждал Гаврилов, – странно, даже просто удивительно, что Груздев смотрит четыре сеанса в том же самом кинотеатре, в который заходит Клятов. Тот самый Клятов, от которого Груздев скрывается.

Отметим это как удивительное совпадение.

А если это не совпадение? Если на самом деле именно в этом кинотеатре и была условлена встреча Клятова с Груздевым? Если Груздев смотрел четыре сеанса подряд не потому, что старался скрыться от Клятова, а потому, что в заранее условленном месте поджидал своего соучастника, чтобы вместе идти на преступление?

Но при чем тут Кузнецов, молодой человек из очень уважаемой в городе, хорошо обеспеченной семьи?

И зачем же тогда Клятов идет к Груздеву домой, очевидно не зная, что приехали братики. Встреча с братиками была для него явно неожиданной. Если Груздев хотел, чтобы его ранее условленное свидание с Клятовым состоялось, почему он не подстерег Клятова на улице возле дома? Все это объяснимо, только если поверить Груздеву,

что он бежал и от братиков и от Клятова. Значит, то, что Груздев отсиживается в том же кинотеатре, в который за чем-то явился Клятов, все-таки случайное совпадение.

Удивительное, но, допустим, возможное.

Однако при чем же все-таки тут Кузнецов? Милый молодой человек. Никогда ни в чем дурном не замеченный, из безупречной, обеспеченной семьи, и все такое...

Может быть, чтобы что-то спрятать? Кузнецов вне всяких подозрений. Никому в голову не придет обыскивать его квартиру. Но откуда у Клятова связь с Кузнецовым? В деле на это ни одного указания. Опять свидетельство того, что дело не доследовано. Да, но на это можно ссылаться, только если явится Рукавишникова. Положим, если она не явится, я заявлю ходатайство о допросе Жени Быкова.

Хорошо, допустим, знакомство, даже связь между Клятовым и Кузнецовым будет доказана. От этого еще далеко до соучастия Кузнецова...»

Гаврилов размышлял, шагая по улице, не обращая внимания, куда его несут ноги. Хотя морозец был небольшой, все же начинало пощипывать уши и нос. Где он сейчас? Он огляделся. До дома, оказывается, всего два квартала. Очень хорошо. Надо пойти отогреться, чайку вскипятить. Гаврилов подошел к дому. В окнах квартиры темно. Значит, соседи уже спят. Еще лучше. Можно будет спокойно, в тихой квартире, продумать до конца эту запутанную историю.

В комнате Гаврилову показалось холодновато. Не затопить ли печку? Тут же решив, что это долго, лучше выпить чайку, он поставил чайник и вдруг вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Сразу же оказалось, что он му-

чительно голоден. Обнаружились консервы и два совершенно засохших куска хлеба. Съев с этими сухарями две банки бычков в томате и выпив две чашки чаю, Гаврилов почувствовал, что снова способен рассуждать. Он сел в кресло, подумал, что с удовольствием бы вздремнул, но взял себя в руки и преодолел сон.

«Для чего же все-таки нужен Кузнецов? Спрятать деньги? Об этом улавливаются заранее, а не за час до грабежа. Потом, Клятов знал, что после грабежа скроется. Деньги с собой захватить нетрудно. Наконец, если Кузнецов преступник, а только преступник согласится прятать добытое грабежом, то ему надо выделить долю. Зачем такому прожженному уголовнику, как Клятов, делиться добычей? Кроме того, Клятов наверняка из тех людей, которые никому не верят. А вдруг Кузнецов скажет потом, что никаких денег не получал? Не подавать же на Кузнецова в суд.

Костюм? Может быть, Клятов просил, чтобы Кузнецов одолжил свой костюм клятовскому соучастнику? Тут всякие предположения беспочвенны. Никитушкин не может уверенно сказать, какой на этом загадочном Петре был костюм. Стало быть, об этом и рассуждать нечего.

Кастет, перчатки, платки? Чепуха. Брось их в любую речку. Если Клятова не задержат, у него будет достаточно времени, чтобы все это выбросить, уничтожить, спрятать. А если задержат, то после того, как Никитушкин его опознал, — что прибавят к этому опознанию перчатки, платки, кастет?

Положим, когда Клятов приходил к Кузнецову, не мог же он предвидеть, что у него с лица упадет платок и Никитушкин вспомнит: «Монтер...»

Все равно ерунда. Клятов понимал, что с его репутацией после ограбления так или иначе придется скрываться. Значит, куда-то ехать. Значит, можно кастет, перчатки, платки бросить в любую реку. Нет, тут что-то другое.

Может быть, Кузнецова Клятов взял вместо сбежавшего Груздева? Стоп, товарищ адвокат. Не увлекайтесь, не принимайте желаемое за действительное. С чего вдруг человек скромных потребностей, с обеспеченным будущим и так далее пойдет грабить? Чепуха!

Допустим, что Кузнецов знаком с Клятовым. Допустим, что Клятов пришел о чем-то попросить Кузнецова. Скажем, тому человеку, которого Клятов взял вместо неожиданно сбежавшего Груздева, нужны перчатки или платок, чтобы закрыть лицо. Вот Клятов и просит у своего знакомого... Тоже чепуха. Завтра весь город будет говорить об ограблении Никитушкиных. Если Кузнецов не соучастник, конечно же, он пойдет и сообщит все, что ему известно.

Неужели Кузнецов соучастник? Нелепость!»

Как будто у Гаврилова где-то была пачка сигарет. Он хоть не курит, но для друзей одну пачку держит.

Гаврилов пошарил в шкафу, действительно нашел сигареты и закурил. Это был случай совершенно исключительный. Я уже говорил, что он курить не любил и не получал от курения никакого удовольствия. Впрочем, нельзя отрицать, что сигарета даже человека, не умеющего курить, выводит из состояния сонливости.

«Итак, продолжаем, — размышлял Гаврилов. — Каким все-таки образом в одном кинотеатре, в одно и то же время оказались все трое — Груздев, Клятов и Кузнецов? Случайность? Конечно, историю творит не случайность, и в

реальной жизни нельзя преувеличивать ее значение. Но нельзя и преуменьшать. Мог же Груздев благодаря тому, что Афанасий неожиданно засвистел в милицкий свисток – чистая случайность, – скрыться из Клягина. Исключать случайности из жизни так же глупо, как приписывать им руководящую роль.

Суммируем: мне, адвокату Гаврилову, стали известны факты, которые неизвестны суду. Обязан я известить об этих фактах суд? Да, обязан. На суде Кузнецову будут задавать вопросы, кроме меня, прокурор и судьи. Выяснится ряд обстоятельств, имеющих прямое отношение к делу и неизвестных ни мне, ни суду. Может быть, я действую в ущерб интересам моего подзащитного? Вздор! Мой подзащитный нуждается прежде всего в полном выяснении истины».

Гаврилов начинает клевать носом. Он все-таки очень устал за этот день. Он решает немного полежать на диване. Ложится не раздеваясь и засыпает сразу как убитый. Сквозь сон он слышит, как сосед Яков Ильич укрывает его одеялом. Он даже открывает глаза, порывается объяснить Якову Ильичу, почему ему так хочется спать, но, не успев ничего объяснить, засыпает снова.

Утром будильник звонит в половине девятого. Спасибо Якову Ильичу: он, наверное, поставил будильник. На столе еще теплый чайник, свежий хлеб, масло и вареные яйца. Очевидно, и об этом позаботились соседи. Поблагодарить некого – они уже ушли на работу.

Гаврилов торопливо умывается, пьет чуть теплый чай; надев пальто, выбегает из квартиры и мчится к троллейбусу.

В троллейбусе он продолжает размышлять.

«Что в деле, вообще говоря, не ясно? Прежде всего не ясно, откуда преступники узнали, какого числа Никитушкин взял деньги со счета. Следствие принимает версию Клятова, – будто он случайно подслушал на улице разговор об этих деньгах. Версия, которую нельзя опровергнуть, но нельзя и доказать. Берем ее под сомнение. Может быть, Кузнецов и нужен был для того, чтобы сообщить, когда Никитушкин возьмет деньги в сберкассе. Но откуда мог Кузнецов знать об этом? Может быть, у него есть в сберкассе знакомые? Вряд ли, но все-таки следует об этом спросить.

Еще одно: куда девались шесть тысяч рублей? Тут тоже какой-то туман. Клятов утверждает, что пять тысяч рублей из шести взял Груздев. Очень сомнительно. Не тот Клятов человек, чтобы бросаться деньгами. Груздев на тех допросах, на которых он признавался, утверждал, что не помнит, куда девал деньги. Наивная отговорка!

Опять приходит мысль, что Кузнецов именно для того и нужен, чтобы спрятать награбленное. Но зачем тогда Клятов перед самым ограблением приходит к нему? Условиться об этом? Но условиться они обязательно должны были заранее. Никто не знает, что они знакомы. Зачем давать возможность хотя бы случайным людям узнать об этом? Если задуман такой хитрый план, при котором третий соучастник наверняка останется засекреченным, зачем подвергать этот секрет риску?

Кстати, и сообщать о том, что Никитушкин взял деньги в сберкассе 7 сентября, поздно. К разбойному налету надо готовиться. За час до преступления узнать, есть ли в доме

деньги или их нет, – это годится для шалого хулигана, а не для рецидивиста, который уже сталкивался с законом и знает, что всякая непродуманная мелочь может стать уликой.

И все-таки самое главное: откуда, собственно, Кузнецов знал, что Никитушкин собирается 6 сентября брать в сберегательной кассе большую сумму? Может быть, отец Кузнецова знаком с Никитушкиным? Они могли встретиться хотя бы на улице. У Никитушкина не было оснований скрывать, что он покупает машину. Наоборот, он мог поделиться радостным известием: получил, мол, извещение, что очередь подошла, приехал за деньгами. После-завтра получаю «Волгу». Вечером старый Кузнецов мог рассказать об этом дома. Молодой Кузнецов услышал и сообщил Клятову. Возможно? Возможно.

Но не мог же молодой Кузнецов сообщить об этом Клятову за полчаса или за час до преступления. Потом Груздев показал, что условился с Клятовым об ограблении еще в середине августа. Не мог же Клятов предвидеть заранее, что Кузнецов-отец встретит Никитушкина, узнает, что он взял в сберкассе деньги, и расскажет об этом сыну.

Нет, все это домыслы, догадки, фантазии. Все это легко придумать и так же легко опровергнуть».

Неторопливо идет троллейбус. Мелькает за окнами зимний Энск, покрытый снегом, пасмурный, морозный. Остановка. Раскрываются двери. Входят и выходят пассажиры. Двери закрываются, троллейбус идет дальше.

«Сберкасса! Сберкасса! – повторяет про себя Гаврилов. – Шесть тысяч – крупная сумма. Такую сумму надо заказать в сберкассе накануне. По телефону хотя бы. Значит,



уже пятого в сберкассе знали, что Никитушкин шестого возьмет деньги. Значит, если, допустим, у Кузнецова есть связи в сберкассе, он уже пятого вечером мог об этом знать. Неужели он сообщает такую важную новость только седьмого вечером, когда Клятов приходит в кино?

Нет, это вообще ерунда. Клятов и Груздев уже шестого вечером договариваются идти на грабеж. Насчет дат их показания совпадают. Как ни кинь, все получается ерунда.»

Может быть, я сам себя убеждаю? В конце концов, какие доводы за то, что Груздев не виноват? Афанасию Семеновичу, трем братикам и мне хочется, чтоб он был не виноват. Вот мы и убеждаем сами себя.

Но, с другой стороны, стоило обратить внимание на то, что Рукавишникова растерялась, увидев Клятова, стоило расспросить ее толком, и выяснились совершенно неожиданные обстоятельства. Оказалось, что Клятов и Кузнецов знакомы и даже виделись в самый вечер убийства. Значит, расследовано не все. Не до конца! Значит, могут открыться еще и другие обстоятельства дела... И опять же сберкасса!»

Что это? Он не узнает улицу, по которой едет. Куда его завез проклятый троллейбус? Уже без четверти десять! Не хватает ему еще опоздать в суд!

Гаврилов становится у дверей и нетерпеливо ждет остановки. Наконец троллейбус замедляет ход и останавливается. Двери раскрываются, и Гаврилов спрыгивает на снег. Улица кажется совершенно незнакомой. Потом он вспоминает: это дальняя улица, на которой ему всего-то раз или два в жизни довелось побывать. Суд остался далеко позади. Он оглядывается. Старенькая «Победа» стоит возле дома. Какой-то человек выходит из подъезда и садится в машину.

– Товарищ! – кричит Гаврилов, машет рукой, чтоб обратить на себя внимание, и бежит через широкую улицу.

Он добегают вовремя, машина еще не тронулась. Гаврилов начинает кричать что-то сквозь стекло. Он хочет убедить водителя, что ему совершенно необходимо успеть на заседание суда, что он с удовольствием заплатит, что он торопится по очень важному делу.

Правда, через стекло ничего не слышно, но, несмотря на это, водитель распахивает дверцу и говорит очень спокойно:

– Пожалуйста, товарищ Гаврилов, садитесь. Куда вас довезти?

Гаврилов влезает в машину и, только когда она трогается, сообщает, что произошла счастливая случайность, что водитель его, очевидно, откуда-то знает.

Ему некогда думать об этом. Он снова возвращается к мыслям о деле.

«Должна где-то возникнуть сберкасса...» – думает он.

Водитель повторяет вопрос:

– Куда вас довезти, товарищ Гаврилов?

– В областной суд, – говорит Гаврилов, любезно улыбается, чтобы задобрить водителя, и снова думает о своем.

«Наверное, к Кузнецову заходят в кино приятели, девушки, за которыми он ухаживает. Может быть – кто-нибудь из них работник сберкассы? Пусть хоть не этой – другой сберкассы».

Гаврилову и сейчас почти все непонятно. Надежды у него появились, но он пока боится им верить.

Он не знает еще, по предчувствует, нет, он боится даже предчувствовать, что камень, неподвижно лежавший,

сдвинут с места и катится вниз. Он сокрушит случайно сложившиеся обстоятельства. Кого-то он спасет и кого-то погубит.

Водитель слегка толкает Степана:

– Приехали, товарищ Гаврилов.

Действительно, машина стоит возле здания суда. Гаврилов благодарно улыбается, достает из кармана трешку и пытается сунуть водителю в руку. Водитель почему-то смеется.

– Вы и сейчас меня не узнаете? – говорит он сквозь смех. – А ведь мы с вами в одном институте учились.

– Фу-ты черт! – фальшиво-радостным голосом говорит Гаврилов. – Действительно сперва не узнал. Вы извините, я очень тороплюсь. Буду рад встретиться.

Понимая, что совать трешку неудобно, Гаврилов прячет ее в карман, улыбаясь и раскланиваясь, вылезает из машины и стремительно бежит в подъезд.

Много позже, уже став известным в городе адвокатом, встретит Гаврилов случайно в гостях своего таинственного «водителя». И снова он его не узнает, но «водитель» сам, улыбаясь, напомним ему о встрече.

Гаврилов еще раз, уже не торопясь, поблагодарит его и по дороге домой расскажет, почему ему важно было тогда успеть в суд и как он мог опоздать, если бы не попалась машина.

Долго будут они разговаривать, бродя в тот вечер по улицам. Гаврилов обстоятельно разберет весь ход своих рассуждений и рассуждений обвинения. И весь ход первого крупного процесса, выигранного им.

Но до этого еще далеко.

А пока Гаврилов входит в здание суда и торопливо поднимается по лестнице. В коридоре пусто. Публика уже в зале. Подсудимые сидят за барьером. Грозубинский, обвинитель и секретарь суда на местах. Гаврилов только успевает сесть, как открывается дверь из совещательной комнаты. Все встают. Входят судьи.

Продолжается судебное следствие.

– Свидетельница Рукавишникова здесь? – спрашивает Панкратов.

## **Глава сорок четвертая**

### ***Прерванное свидание***

В это же самое время в кинотеатр «Космос» вошла Валя Закруткина. Кинотеатр еще не работал, сеансы начинались только с двенадцати, но Валя условилась накануне, что зайдет с утра к своему приятелю Пете Кузнецову, который работал в этом кинотеатре администратором. История отношений Закруткиной и Кузнецова не такая уж короткая, и в двух словах ее изложить трудно. Отношения эти начались еще в школе. Кузнецов и Закруткина учились в одном классе, и отношения их прошли все стадии, которые обычно проходит школьный роман. Когда-то Кузнецов, по свойственной мальчишкам отвратительной привычке, дергал Валю Закруткину за косы и относился к ней свысока, так, как и должен относиться нормальный мальчишка к ничем не замечательной, обыкновенной девочке. Прошло, однако, несколько лет, и в этих, казалось бы, твердо установившихся отношениях произошла удивительная

перемена. Кузнецов вдруг заметил, что Валя Закруткина не какая-нибудь обыкновенная девочка, а девочка замечательная. Чем она, собственно, замечательная, он не понимал и, вопреки всякой логике, точно установив ее необыкновенные качества, стал дергать ее за косы, пожалуй, даже чаще, чем прежде. Постепенно, однако, дерганье за косы прекратилось, начались длинные прогулки, разговоры на исключительно важные темы – словом, все то, что в этих случаях полагается. Потом был выпускной вечер, прогулка по набережной, когда постепенно усталые спутники один за другим разошлись по домам и наконец они остались вдвоем.

Они сидели на той самой скамейке, которая стояла на пригорке, там, где кончается набережная, и обсудили тысячу пятьсот вопросов, приняли тысячу пятьсот решений и тысячу пятьсот раз откладывали расставание.

Было, в частности, решено, что Кузнецов поедет в Москву держать экзамены в институт и, конечно, пройдет по конкурсу. Валя в это время поступит на работу здесь, в Энске, потому что отец у нее умер, а мать получает мало и Валина зарплата маме необходима.

Потом, предполагалось, Петя будет приезжать на каникулы, потом, закончив институт, он приедет в Энск; на этот приезд планировалось посещение загса и регистрация брака, потом... Потом начнется бесконечная радость и общее ликование, которое продолжится до самого конца жизни.

Следует сразу сказать, что все задуманное начало точно осуществляться. Прежде всего Кузнецов поехал в Москву и прошел по конкурсу в институт. Валя в это время окончила

краткосрочные курсы и стала работать кассиршей в сберегательной кассе, в той самой, в которой работает и сейчас. На зимние каникулы Кузнецов, как и было задумано, прилетел в Энск, и эти каникулы прошли очень весело. Взаимная любовь стала спокойней и крепче.

Потом от Кузнецова почему-то долго не было писем. Валя нервничала и часто плакала. Потом пришло очень грустное письмо, из которого ничего понять было невозможно. Петя писал, что у него скверное настроение, что ему не повезло и что он все расскажет при встрече. Адрес на конверте был написан другой, незнакомой рукой, что почему-то очень Валю взволновало, и она даже собралась где-то одолжить деньги, полететь в Москву и выяснить, что с Петей происходит. Денег она не достала, в Москву не полетела, а потом снова пришло письмо, опять непонятное. Петя писал, что у него тоска, жить ему не хочется, кругом мерзавцы и вообще все плохо. Тут Валя поняла, что дело нешуточное и надо Петю спасать. На этот раз у трех подруг она достала нужную сумму и даже купила билет на самолет. Но как раз в этот день пришло письмо: Петя писал, что на днях приезжает.

Тут можно было бы обстоятельно описать, как Валя волновалась и тосковала, какие строила предположения, как двадцать раз в сутки смотрелась в зеркало, не подурнела ли, не постарела ли — все-таки как-никак ей уже за девятнадцать, — какие советы и обсуждения проводились с подругами по поводу косынки, по поводу туфель, по поводу платья и по поводу пальто...

Я с удовольствием описал бы все эти совещания и обсуждения, но меня торопит сюжет, и я не считаю себя вправе надолго задерживаться.

Валя ждала телеграмму, но телеграмма так и не пришла. Просто однажды, когда она выходила после работы, кто-то взял ее под руку и сказал: «А вот и я».

Это был Петя, на самом деле Петя, тот самый Петя. И в чем-то не тот. Они прогуляли по городу до позднего вечера, иногда заходили в кафе, чтобы согреться. И снова выходили навстречу морозу и говорили, говорили, говорили...

Оказывается, Петя потерпел крушение, не очень страшное, но все-таки первое в жизни крушение. Оказывается, техника не его дело. Все было очень хорошо, пока он проходил физику и математику в объеме средней школы и даже держал конкурсные экзамены. Как-никак его отец известный в городе математик. Поэтому как-то с самого детства считалось, что Петр пойдет в технический вуз. Поэтому он был подготовлен лучше других. Сказались постоянные домашние занятия с отцом. А вот теперь, проучившись два семестра, он твердо знает, что техника не его дело. Заниматься всю жизнь совершенно не интересующим тебя делом – преступление. Любым делом можно заниматься, если это дело любимое. Но что может быть хуже, чем всю свою жизнь заниматься тем, что тебе не по душе.

Небольшим надо было быть оратором, чтобы убедить Валу в том, что Петр поступает совершенно разумно. Когда они наконец расстались в тот вечер, у нее не было никаких сомнений, что рассуждения Петра совершенно неопровержимы, что надо было оказаться очень умным человеком, чтобы вовремя спохватиться и, даже потеряв год, переменить институт.

Оказалось, что с вокзала Петр заехал домой, отца, естественно, не застал – он был на работе, – матери ничего толком не рассказал, так что разговор с отцом еще только предстоит.

Об этом разговоре Петр рассказал Вале на следующий день, перехватив ее, когда она шла на работу. Разговор был тяжелый. Отец никак не мог понять глубокой правоты Петра, но в конце концов все-таки сдался. Договорились на том, что Петр пока поступит на работу – безделье отец считал величайшим злом – и спокойно подумает, какую профессию себе избрать. Нашелся школьный приятель, отец которого работал директором в кинотеатре «Космос». Администратор кинотеатру был нужен, и Петр как будто бы подходил.

Итак, он стал работать администратором.

Конечно, им давно следовало бы с Валею пожениться. Отношения их еще укрепились в результате совместных волнений и переживаний. Но Петр все время оттягивал женитьбу, и Валя с ним была совершенно согласна. В самом деле, Валя с матерью жила в одной комнате и привести к себе Петра не могла. Петр мог привести Валью к отцу, но оба считали, что это совершенно недопустимо. Человек еще ничего не сделал, никак не определился, даже не знает, чем будет в жизни заниматься, и вдруг приводит к отцу жену. Конечно, в квартире отца у Петра была отдельная комната, но Валя первая настаивала на том, что жениться, пока нет, в сущности говоря, профессии, пока еще самому тебе не ясны твои перспективы, неприлично. Это равноценно тому, что прийти к отцу и сказать: «Пожалуйста, папа, посодержи мою жену. Мы еще не знаем, что будем делать, но это решим потом, а пока она поживет у нас».



Поэтому, хотя и Петру и Вале до ужаса хотелось жить вместе общим домом, поджидать друг друга с работы, пить по утрам вместе чай, все это откладывалось на неопределенный срок.

Директор кинотеатра «Космос» был человек, в общем-то, неплохой, хотя и ужасно ворчливый. Каждый раз, когда приходила Валя, он начинал ворчать, что она отвлекает Петра от работы, что у Петра сегодня масса дел и ему некогда. Кончалось это обычно тем, что директор хмуро говорил:

– Ну, пойдите пока погуляйте, я уж за вас поработаю.

И они уходили гулять.

Итак, накануне они условились встретиться в кинотеатре в десять часов утра. Сеансы, повторяю, начинались с двенадцати, и два часа они могли поговорить свободно. Валя и Петр сидели в крошечной комнате администратора и разговаривали о том, как будет хорошо, когда они поселятся вместе. Это была постоянная тема их разговоров. У них это называлось играть в будущее. Иногда они выбирали географический пункт, где будут жить.

Это мог быть Батуми или Норильск, но совершенно обязательно там они будут жить не просто хорошо, а замечательно. Иногда они сооружали квартиру, иногда выбирали профессию и товарищей по работе. Разумеется, это был необыкновенно тесно спаянный коллектив. В нем не бывало ни ссор, ни обид, все дружили и помогали друг другу. Иногда они продумывали свой воображаемый отпуск. Обремененный государственными заботами, Петр чувствует, что должен хорошо отдохнуть. Разумеется, Вале тоже дают отпуск. Они никому не оставляют своего адреса.

Они отправляются путешествовать. У них бывало много вариантов. Были альпинистские маршруты. Иногда они путешествовали по рекам, и тут тоже были разные возможности. Можно было ехать на пароходе, а можно на лодке, с приключениями.

Эта игра в придумывание никогда им не надоедала. Хотя она и была всего только суррогатом семейной жизни, но зато какая эта жизнь была хорошая...

Так и сегодня они пришли в кинотеатр пораньше, не зная еще, во что будут играть, но с удовольствием предвкушая игру.

И вот без четверти одиннадцать, когда еще верный час можно было посидеть поболтать, неожиданно зазвонил телефон.

Петру часто приходилось отвечать па телефонные звонки. Одни звонили – заказывали билеты, другие спрашивали, когда начало сеанса, третьи – какая идет картина. Специально для этих случаев он выработал особенную манеру вести разговор. Он отвечал на звонок: «Алёу!» Это слово включало в себя множество звуков, которые невозможно даже передать при помощи обыкновенных букв. Начиналось это «алёу» как обыкновенный ответ на телефонный звонок, потом переходило в некоторое подвывание и заканчивалось необычайно своеобразным звуком, средств для написания которого в русском алфавите нет.

Петр и в этот раз исполнил всю положенную гамму звуков. Невозможно было понять, то ли он пародирует сам себя, то ли отвечает с элегантностью, утрированной до пародии.

Это всегда смешило Валю и казалось ей очень тонкой и

остроумной игрой. Она и сейчас прямо прыснула, так показалось ей это смешно. Но вдруг лицо у Петра стало серьезным, даже взволнованным.

– Петр Николаевич Кузнецов слушает, – сказал он без всякой утрировки. – Позвольте – зачем? Я же давал показания. Дополнительные сведения? Хорошо. Пожалуйста, я приду. Ну, мне все-таки надо себя заменить кем-нибудь. Час даете мне? Хорошо, через час я буду.

Он положил трубку и несколько минут сидел молча, как будто что-то придумывал.

– Опять вызывают в суд? – спросила Валя; про вчерашний допрос Петя, конечно, подробно ей рассказал.

– Опять, – сказал Петр. – Не могу понять, что им нужно. Надо сейчас вызывать замену.

Он позвонил второму дежурному администратору, тому, которому не полагалось сегодня дежурить, и тот, правда не сразу, но согласился приехать через полчаса. Значит, полчаса они еще могли бы посидеть поболтать, придумать еще несколько вариантов будущих своих поездок, но Петр был такой взвинченный, что с ним сейчас ни о чем нельзя было говорить. Валя спросила, угрожает ли ему чем-нибудь этот вызов. Он сказал, что нет, конечно, ничем не угрожает, и даже посмеялся над ней, что она всюду видит угрозы. Что-то показалось ей странным в его тоне, но она решила, что это понятно: все-таки Петя волнуется.

Они встретили администратора, который согласился заменить Петра, уже в дверях. Петру как будто не терпелось. Они оба надели пальто, и Петр стоял, постукивая носком туфли об пол. Как будто его приглашали на очень интересный спектакль, и он легко мог на этот спектакль

опоздать. Администратор, который обещал заменить Петра, поворчав немного, разделся и сел у телефона. Петр пошутил насчет того, что он вызвал себе заместителя просто потому, что им с Валею хочется погулять. Администратор не оценил шутки и пробурчал что-то нелюбезное. Они с Валею вышли на улицу и пошли к автобусной остановке. Сначала подошел Валин номер, и Петр торопливо посадил ее и улыбнулся па прощание, но как-то невесело улыбнулся, и двери закрылись, и Валин автобус ушел.

Валя провертела дырку в замерзшем стекле и уставилась в неторопливо бегущие мимо, знакомые до подробностей дома. Народу в автобусе было мало, автобус был старенький, разболтанный, он дребезжал и поскрипывал, и Валя с некоторым удивлением поняла, что настроение у нее окончательно испортилось. Она стала думать почему.

В школе девочки говорили, что если поймешь, отчего плохое настроение, оно сразу исправится. Валя стала доискиваться до причин. Совсем недавно настроение было прекрасное. Кажется, ничего серьезного не произошло. Она стала перебирать минуту за минутой все время, прошедшее с той поры, как они с Петром встретились. Кажется, все было благополучно. Кажется, ничего особенного не случилось. И вдруг у нее даже сердце упало. Она поняла, что, наоборот, все неблагополучно, все ужасно, и самое ужасное то, что если уже не произошла, то должна произойти катастрофа. А самое, самое ужасное то, что Петр старался скрыть от нее, что ему что-то угрожает. Значит, опасность велика, так велика, что про нее даже сказать страшно. Валя вскочила и побежала к выходу. Автобус неторопливо подпрыгивал, трясся и дребезжал. Он мог все

жилы вытянуть, этот проклятый автобус. А Валя вспоминала каждую фразу, каждую интонацию, каждое выражение лица Пети и удивлялась сама себе, как она сразу не поняла, что не просто позвали Петра лишний раз дать показания. Нет. Случилось несчастье, Петя борется с этим несчастьем, а ее рядом с ним нет. Ничего не могла она себе представить такого, что могло бы случиться с Петром, и все-таки знала — случилось.

Наконец автобус остановился. Валя соскочила на землю и стала думать, как ей скорее добраться до суда. В такой она была растерянности, в такой тревоге, что никак не удавалось ей вспомнить, какой же тут прямой путь. Потом сама удивилась, как она могла позабыть про трамвай, идущий прямо к областному суду. Трамвай очень долго не шел. Так бывает всегда, когда его ждут с нетерпением. Наконец трамвай подошел. Валя всю дорогу стояла на площадке, старалась успокоиться и уговаривала себя, что ничего страшного быть не может. А тоска сжимала ей сердце, давая понять, что самое страшное непременно произойдет, если уже не произошло. Валя чувствовала прямо физическую тоску. Это не могло быть случайностью. Если она не понимала, в чем дело, то чувствовала надвигающееся несчастье, а это еще важнее, чем понимать.

Ужас, сколько муки она натерпелась, пока трамвай подошел наконец к остановке! Ей объяснили, что дело Клятова — Груздева слушается на втором этаже. Быстро взбежала она по лестнице, пробормотала что-то очень невнятное конвойному, который не должен был во время заседания никого, кроме вызванных свидетелей, впускать в зал. Тот растерялся и пропустил ее. Валя протиснулась на самую заднюю скамейку в самый далекий угол.

Перед судьями спиной к публике стоял Петр. Валя сперва его даже не узнала. Что-то было в нем особенное, другое, такое, чего никогда не бывало, когда они были вдвоем. Что-то очень несчастное, жалкое.

И все-таки Вале было теперь спокойнее. Она была здесь, могла помочь Петру или даже его спасти...

## Глава сорок пятая

### *Свидетелей допрашивают вторично*

— У суда возникли некоторые неясности, — сказал Панкратов. — Мы надеемся, что вы поможете нам разъяснить их.

Петя стоял неподвижно, и Вале казалось, что даже по затылку видно, как он волнуется, с каким напряжением ждет вопросов.

«Чего он боится? — удивилась она. — Допустим, он ошибся и сеанс кончился раньше на полчаса или, наоборот, позже. Ничего же страшного...»

Она хотела сама себя обмануть. Она знала: не зря волнуется Петр. Не зря изменилось его лицо, когда раздался этот проклятый звонок из суда. Она чувствовала, что прекрасная пора игр в путешествия, мечтаний о семейной жизни, о новых городах кончилась. Внезапно вдруг оборвалась. Она не могла понять почему, но точно знала: конец, все. Больше этого не будет.

— Вы утверждаете, — сказал Панкратов, — что никогда не знали и не видели обвиняемого Клятова. Посмотрите на него внимательно и скажите: так это или нет?

Была долгая пауза. Петя всматривался в лицо Клятова. Валя почувствовала, что неспроста задан вопрос. Все смотрели на Клятова. У Клятова было подчеркнуто равнодушное лицо.

– Да, – сказал Петр, – я действительно не видел этого человека. То есть, может быть, случайно и видел на улице, но, во всяком случае, не обратил на него внимания.

– Пригласите, пожалуйста, свидетельницу Рукавишникову, – сказал Панкратов.

Офицер, стоявший в дверях, вышел.

«Рукавишникова, – думала Валя, – кто же это такая?» И только когда Марья Никифоровна вошла в зал, вздохнула с облегчением. Это же контролерша! У Вали стало легко на душе. Добродушная, смешливая контролерша из «Космоса». Она прекрасно относится к Пете. От нее, конечно, нельзя ждать никаких неприятностей.

– Станьте здесь. – Панкратов указал на место поблизости от того, на котором стоял Петр. – Скажите нам, свидетельница, вы знаете подсудимого Клятова? Встаньте, подсудимый Клятов.

– Знаю, – помолчав, сказала Рукавишникова.

– Откуда вы его знаете?

– Ну, как знаю... Я его один раз всего и видела.

– Когда? Где? При каких обстоятельствах?

– Я его видела в кинотеатре «Космос». Седьмого сентября в одиннадцать вечера, может быть, в начале двенадцатого.

– При каких обстоятельствах вы его видели?

– Последний сеанс шел, когда он заявился. Стал администратора требовать.

– Какого именно администратора?

Рукавишникова мнется. Ей, видно, очень не хочется обвинять товарища по работе, даже в некотором смысле начальника. Ничего он ей плохого не сделал. И человек славный. И девушка у него хорошая.

– Вы, граждане судьи, не думайте, – говорит она, – я про Петра Николаевича ничего плохого не думаю, тут, наверное, случайность какая-нибудь. У него и семья такая известная в городе, и человек он хороший. Но я прошлый раз неправильно показала. Я не хотела, чтоб Петра Николаевича подозревали в чем-нибудь. Но мне вот люди объяснили, что могут невинного человека осудить. Так вы уж лучше до конца разберитесь, в чем тут дело.

– Так какого же именно администратора кинотеатра «Космос» хотел видеть Клятов? – спрашивает председатель.

– Кузнецова Петра Николаевича, – говорит Рукавишникова.

– И встретились они?

– Встретились.

– Как встретились?

– Ну, я Петру Николаевичу постучала в окошечко, он вышел. Будто недоволен был, когда увидел Клятова, но все-таки пригласил к себе. А Клятов говорит: «Выйдем, поговорим. У меня, – говорит, – дело есть». Они вдвоем и вышли на улицу. Я через четверть часа выглянула – они стоят разговаривают. А потом еще выглянула – их уже нет.

– Какого это, значит, было числа? – спрашивает Панкратов.

– Седьмого сентября, – отвечает Рукавишникова.



– Вы это точно помните?

– Как же не точно, я ж прошлый раз говорила: последний день работала. С восьмого в отпуск пошла.

– Значит, – спрашивает Панкратов, – седьмого сентября в кинотеатре «Космос» были и Кузнецов и Клятов? А потом вы их видели на улице. Они стояли и разговаривали.

– Да. Стояли и разговаривали.

– Скажите, друг к другу они обращались на «ты» или на «вы»?

– Петр Николаевич сказал: «Заходите». А Клятов ему: «У меня к тебе дело. Выйдем, поговорим».

– Значит, Кузнецов к Клятову обращался на «вы», а Клятов к Кузнецову на «ты»?... Свидетель Кузнецов, – спрашивает Панкратов, – вы подтверждаете показания Рукавишниковой?

– Нет, гражданин судья, не подтверждаю.

– Вы по-прежнему утверждаете, что Клятова увидели здесь, на суде, в первый раз?

– Да, Клятова я увидел здесь, на суде, в первый раз.

У Вали ум заходит за разум. Она ничего не понимает. Представить себе, что Марья Никифоровна врет, невозможно. Зачем ей врать? Она женщина добродушная и к Пете относится хорошо. Не могло же ей присниться. Представить себе, что Петя врет, тоже немыслимо. Зачем ему врать? Да и откуда он может быть знаком с Клятовым? Вале становится спокойнее. Конечно, это недоразумение. Привиделось что-то старухе. Нехорошо получается. Рукавишникова обозналась, а Петю из-за этого станут подозревать. В конце-то концов он свою непричастность докажет. Но все-таки неприятно.

Потом задает вопросы Грозубинский. Он дотошно выпытывает у Рукавишниковой, как был одет Клятов вечером 7 сентября. Не могла ли она обознаться? Что ей запомнилось во внешнем облике Клятова такого, что полгода спустя она его сразу опознала.

Рукавишникова начинает сердиться, но все-таки, когда Грозубинский допекает ее вопросами, оказывается, что точно она ничего не помнит. Помнит, что Клятов, а как он был одет, не может вспомнить.

Потом начинает противоречить себе: сперва говорит, что он был в сером костюме, потом – что в голубом. Сперва говорит, что он был с непокрытой головой, потом – что на нем была серая кепка.

Когда Грозубинский кончает задавать вопросы, зал остается совсем неуверенным, действительно ли Клятов и Кузнецов старые знакомые и встречались 7 сентября в кинотеатре, или просто свидетельнице померещилось.

Последним Грозубинский задает такой вопрос:

– Скажите, Рукавишникова, вы проверяете билеты в очках или без очков?

– В очках, – растерянно говорит Рукавишникова.

– А почему вы сейчас без очков?

– На билете же надо и дату проверить, и какой сеанс, а я дальнотзоркая.

– А Клятова вы видели в очках или без очков?

Рукавишникова долго вспоминает, потом говорит, что как будто была еще в очках, потому что просматривала газету.

– В тех очках, в которых вы проверяете билеты? – спрашивает Грозубинский.

– В тех самых, – подтверждает Рукавишникова.

– А в этих очках вы вдаль хорошо видите?

– Не то чтобы хорошо, но все-таки вижу.

– Когда вы на людей смотрите, черты лица немного, наверное, расплываются?

– Ну, без очков я вдаль, конечно, четче вижу.

– Благодарю вас.

Грозубинский подчеркнуто вежлив, даже, кажется, уважителен. И все-таки впечатление не в пользу показаний Рукавишниковой. Все понимают, что она могла напутать. Всем жалко Кузнецова, человека, который чуть-чуть не стал жертвой бессмысленного оговора.

– Есть ли у Гаврилова вопросы?

Да, у Гаврилова есть вопросы.

– Скажите, Кузнецов, – спрашивает Гаврилов, – у вас есть светло-серый летний костюм?

– Да, есть. То есть был.

– А где он сейчас?

– Я его продал.

– Когда?

– Точно не помню, в конце сентября или начале октября.

– Кому вы его продали?

– Я его сдал в комиссионный магазин.

– В какой комиссионный магазин?

– В большой, на улице Ленина.

– За сколько вы его продали?

– Рублей за сто, по-моему, или сто десять.

– Почему вы его продали?

– Надоел. И деньги были нужны.

– Долго вы его носили?

– Месяца четыре. В июле купил по случаю. У отца на работе продавал один инженер, он его, кажется, из Болгарии привез или из Румынии.

Всем ясно, что вопрос о костюме Гаврилов задал не с какой-нибудь определенной целью, не с тем, чтобы что-то выяснить, а для того только, чтобы показать: адвокат бодрствует, адвокат на страже интересов своего подзащитного.

С безразличным интересом смотрит на Гаврилова Грозубинский. Он хорошо относится к Гаврилову. Он понимает его волнение, его горячее желание повернуть факты так, чтобы обелить своего подзащитного. Он не только понимает, он одобряет это желание. Настоящий адвокат не имеет права, не смеет быть равнодушным.

Да, равнодушным не смеет быть, но и с ветряными мельницами сражаться не стоит. Грозубинский тоже умеет быть упорным, темпераментным, умеет использовать каждый довод в пользу своего подзащитного, подчеркнуть каждый сомнительный пункт в обвинительном заключении, обратить внимание суда на каждую неясность. Но тогда, когда это может помочь подзащитному. Ему кажется, что в этом деле все до такой степени ясно, что спорить с обвинением бессмысленно. Конечно, ограбление задумал и совершил Клятов. И конечно, убийство Никитушкиной произошло вопреки его воле. Не станет опытный рецидивист совершать бессмысленное, ненужное убийство. Конечно, убийца Груздев. Груздев, который был пьян, который шел на преступление впервые и пытался подавить страх демонстративной лихостью, кажущейся уверенно-

стью. Убил, наверное, случайно. В том смысле случайно, что не собирался убивать. Но все-таки, конечно, убил.

Грозубинский ограничил свою задачу очень точно. Он должен убедить суд, что Клятов грабил, но не убивал. Он должен постараться получить немного более мягкое наказание для Клятова, чем будет требовать прокурор. О большем в этом деле и мечтать нечего.

На что может рассчитывать Гаврилов? Может попытаться доказать, что убивал Клятов, а не Груздев. Грозубинский уверен, что это не так. Клятов расчетливый человек. Уж если бы он решился идти на убийство, не оставил бы он в живых беспомощного старика, который его опознал и, значит, несомненно будет главным свидетелем обвинения. Грозубинский считает, что отвести от Груздева обвинение в убийстве тоже, вероятно, не удалось бы, однако в этом была бы все-таки какая-то логика.

Грозубинский чувствовал все же, что планы Гаврилова гораздо более смелые. Он явно пытается доказать, что Груздев вообще в ограблении не принимал участия. Недаром вытащил он этого сомнительного Ковригина, которому после нескольких рюмок водки показался какой-то случайный человек похожим на бывшего его товарища по работе. Недаром вытащил эту подслеповатую пожилую женщину, которой показалось, что она узнала в Клятове неизвестного человека, полгода тому назад неизвестно зачем будто бы приходившего в кинотеатр к Кузнецову.

Как же легко оказалось свести на нет показания и Ковригина и Рукавишниковой!

Нет, Грозубинский не одобряет Гаврилова. Совершенно беспристрастно не одобряет, просто со своей профессио-

нальной точки зрения. Нечего гнаться за журавлем в небе. Можно упустить из рук синицу. Надо искать смягчающие обстоятельства, а не пытаться доказать недоказуемое.

Грозубинский хорошо относится к Гаврилову. Когда кончится процесс и Гаврилов переживет неизбежное разочарование, Грозубинский пригласит его как-нибудь к себе домой и за стаканом чая спокойно и доказательно разберет с начала и до конца весь процесс. Пусть учится молодежь!

Пока Грозубинский размышляет, Гаврилов продолжает задавать вопросы:

– Скажите, Рукавишникова, вы рассказывали, что к вашему администратору Кузнецову приходил подсудимый Клятов. Это было один раз?

– Я его видела один раз.

– А вообще к Кузнецову какие-нибудь знакомые, женщины или мужчины, приходили в кинотеатр?

– Так не припомню. Ну невеста, конечно, заходит часто.

– Кто его невеста?

– Валя. Девушка такая.

– Почему вы думаете, что она его невеста?

Рукавишникова смутилась. Она, видно, сочла, что влезла в личную жизнь Петра Николаевича. Может быть, даже открыла посторонним его отношения с девушкой, которые огласке не подлежат. У нее от смущения покраснело лицо.

– Да я не знаю, невеста или нет. Это мы так между собой ее называем. Валя, одним словом.

– Часто она приходит?

– Да пожалуй что каждый день. Только когда Петр Николаевич выходной, тогда не приходит.

– Приходит она днем или вечером?  
– Когда как. Когда днем свободна, то днем. А чаще вечером.

- Днем часто бывает занята?
- Да почти всегда.
- Работает, что ли?
- Конечно, работает.
- Где?
- Точно не скажу. Слышала, что в сберкассе.
- Как ее фамилия?
- Вали? Закруткина.
- И в какой сберегательной кассе она работает?
- Не знаю. Кажется, где-то в центре.

Теперь уже весь зал понимает, что происходит. Ладыгин нагнулся вперед и слушает, боясь проронить хоть слово. Грозубинский даже рот раскрыл от напряжения. Секретарь суда пишет, не отрывая от бумаги ручку, торопясь занести каждое слово в протокол. Оказывается, не только Кузнецов на «ты» с Клятовым, но еще и невеста его работает в сберкассе. Все сидящие в зале боятся пошевелиться. Только у Гаврилова спокойный, кажется, даже равнодушный вид. Как будто он не придает этим вопросам и ответам никакого значения. Как будто и вопросы он задает и ответы выслушивает нехотя, по обязанности, ничего интересного от них не ожидая.

– Скажите, Кузнецов, – спрашивает Гаврилов, – где работает ваша знакомая Валя Закруткина?

– Закруткина? – переспрашивает удивленно Кузнецов. – В сберкассе.

- В какой сберегательной кассе?

– Я не помню номера. Рядом с кинотеатром.

– То есть в той самой сберегательной кассе, откуда Никитушкин шестого сентября взял шесть тысяч рублей для покупки автомашины «Волга»?

– Не знаю, – говорит Кузнецов. – Возможно.

– У меня вопрос к потерпевшему. – Панкратов молча кивает головой. – Скажите, товарищ Никитушкин, вы держали деньги в сберкассе, которая рядом с кинотеатром?

Никитушкин задумался. Он, кажется, единственный человек в зале, который ничего не слышит. Он думает о своем. Сын что-то шепчет ему на ухо. Сын помогает ему подняться. Наконец Никитушкин понимает вопрос.

– Да, да, – кивает он головой, – у меня в этой сберкассе уже много лет счет.

– Спасибо, – говорит Гаврилов. Никитушкин снова садится.

– Скажите, Кузнецов, – спрашивает Гаврилов, – вам говорила ваша знакомая Закруткина, какого числа Никитушкин взял или собирается взять, то есть заказал по телефону, деньги?

– Нет, – говорит Кузнецов, – конечно, не говорила. Она же не имеет права говорить. Тайна вклада.

– Вы уверены, – настойчиво спрашивает Гаврилов, – что ни она и никто другой вам об этом не сообщал?

– Конечно, уверен, – недоумевающим тоном говорит Кузнецов. – Мы с ней вообще на эти темы ни разу не разговаривали.

– Я прошу это занести в протокол, – говорит Гаврилов. – Вопросов у меня больше нет. Я заявляю ходатайство: допросить работника сберкассы Валентину Закруткину.



Ладыгин поддерживает ходатайство.

Председательствующий тихо советуется с членами суда и говорит, что ходатайство удовлетворено.

Заседание продолжается еще долго. По ходатайству прокурора оглашается письмо старых работников завода, в котором говорится о больших заслугах инженера Никитушкина, о его беспорочной многолетней работе, о его жене Анне Тимофеевне, которая тоже много лет работала на заводе. Сотрудники просят о суровом приговоре. Письмо написано темпераментно, искренне, и зал выслушивает его в торжественном молчании.

На несколько минут все отвлекаются от перипетий процесса и вспоминают самое существо дела, из-за которого все здесь собрались.

Вспоминают о долгой нелегкой и чистой жизни двух стариков. О заслуженной их, спокойной, благополучной старости. О двух мерзавцах, сидящих за барьером, кажущихся сейчас такими кроткими, безобидными, тихими.

Нет, настроение зала не изменилось. Какой бы суровый приговор ни вынесли судьи, зал примет его с удовлетворением.

Объявляется перерыв до десяти часов утра следующего дня. Вечернего заседания сегодня не будет. Публика неторопливо выходит из зала.

В толпе почему-то не очень заметен Кузнецов. Многие не осознали еще, какой поворот произошел в ходе процесса. Многие задерживаются в коридоре. Может быть, Гаврилов что-нибудь скажет.

Но Гаврилов проходит, ни на кого не глядя. С ним на ходу беседует Грозубинский.

– Я вас ругал, Степа, – говорит он, – а теперь думаю, что в вашей линии есть немалый смысл. Вы будете просить о доследовании?

– А вам кажется, что оснований недостаточно?

– Думаю, что после допроса Закруткиной будет вполне достаточно. Вы знали о ней раньше?

– Предчувствовал. Шел на авось. Но, как видите, оказался прав.

– Поздравляю. Умно и смело. Теперь у вас положение лучше, чем у меня. Посмотрим, что покажет Закруткина, но очень может быть, что Груздев действительно жертва случайных обстоятельств. Больно много совпадений. Ковригин видит его на вокзале. Допустим, он ошибся. Рукавишникова видит Кузнецова с Клятовым за час до убийства. Может быть, и она ошиблась. Но у Кузнецова, оказывается, еще и невеста работает в той самой сберкассе, где Никитушкин держал деньги! Порознь каждому факту грош цена. Но вместе – это уже версия, которая заслуживает внимания. Вы, пожалуй, правы: дело не доследовано. И все-таки голову прозакладываю, что Клятов Никитушкину не убивал. Может быть, Груздев, может быть, вы меня убедили, кто-то третий, но не Клятов. Он тертый калач и никогда на убийство не пойдет. Поэтому моему подзащитному безразлично, кто окажется главным преступником. Следовательно, мы с вами не противники. Если вам понадобится совет – я к вашим услугам. Рекомендую, кстати, сегодня хорошо отдохнуть. Завтра будет горячий день.

## Глава сорок шестая

### *Жених и невеста*

Валя нарочно задержалась и вышла из зала одной из последних. Она не хотела, чтобы Петр увидел ее в суде. В коридоре его уже не было. Убедившись в этом, она стала неторопливо спускаться по лестнице. Она останавливалась на каждом марше: все смотрела, не стоит ли Петр. Может быть, он встретил кого-нибудь и еще не ушел?

Выйдя из подъезда суда, она внимательно осмотрелась. Ни в коем случае ей нельзя было сейчас встречаться с Петром. Но Петра не было и на улице. Валя, свернув сразу же в пустынный переулок, медленно пошла по тротуару. Ей непременно надо было подумать.

...Когда Кузнецов снова обрел хладнокровие, ему показалось, что опасность для него миновала. Он даже несколько возгордился, представив себе, как легко было растеряться и выдать себя и Валю. Да, ему казалось, что больше всего он волновался, как бы не выдать Валю, хотя, по совести говоря, во время допроса он о ней и не думал. Так или иначе, оба они были, очевидно, спасены. Ему удалось главное: сохранить хладнокровие. Он еще раз вспоминал свои ответы. Не содержание ответов, а свой тон. Кажется, он ни у кого не мог вызвать сомнений. Даже на-верное не вызвал, поскольку он сейчас едет в автобусе, а не заключен под стражу. У него начало исправляться на-строение. А ведь сегодня днем, когда он услышал, что его опять приглашают в суд, он решил, что игра кончена.

...Валя медленно шла, выбирая переулочки попустынные. Холодно было на улице. Или, может быть, ей так казалось. И у нее немного кружилась голова. Дома и вывески, дворы и магазины плыли перед ее глазами. Как жалко, что в Энске мало скамеечек на улицах, — она бы посидела, пришла в себя.

Что же все-таки произошло?

Петр врал. Уж кто-кто, а она это отлично знает. Зачем? Чтобы скрыть свою вину. Ну и ее, Валину, вину тоже. Прежде всего свою. Что он врал, она-то знает это отлично. Мы все говорим «тайна» — и подразумеваем военную тайну, государственную тайну, политическую тайну, но ведь есть еще тайны попроще: тайна переписки, тайна вклада.

Если он врал об этом, значит, вероятней всего, он врал и о Клятове. Откуда он может знать Клятова? И откуда Клятов знает его? И какие у них могут быть дела? Такие важные, что за час до убийства Клятов заходит к Петру. Неужели Петр связан с убийством?

Это была такая нелепость, что Валя не приняла ее всерьез. Она про себя помянула ее только для того, чтобы перечислить все без исключения возможности, потом оставить из всех те, которые вероятны, и выбрать из них самую реальную. Петр, конечно, не грабитель и не убийца. Может быть, ему очень нужны деньги? Зачем? Петр сам говорил, что отец договорился с ним так: в семью вносить тебе ничего не надо, свой заработок тратить на себя. Петр получает немного. Но он не пьет. Нельзя же считать, что раз или два в неделю они выпивают по бокалу вина в молодежном кафе. Одевается скромно. Никогда об одежде особенно не думает. Когда они ездили на экскурсию в

Ленинград, одолжил деньги у отца. Между прочим, это было в конце сентября. Потом продал костюм, чтобы отдать деньги отцу. Отец, правда, деньги не взял, и Петр тогда подарил Вале отрез на пальто. Нет, каждый рубль, который он тратит, появился легально. Никаких тайных доходов у него нет. Да они и не нужны ему.

Валя совсем замерзла. Она зашла в закусочную, взяла стакан кофе с молоком и две булочки, согрелась и пошла опять куда глаза глядят, думать и передумывать.

...Панкратов, как и обычно, обедал дома. Сегодня он был рад, что дома никого нет. Он разогрел суп и котлеты и съел, не чувствуя вкуса. Снова и снова перебирал он в памяти все улики против Груздева. Они и сейчас казались неопровержимыми. Что против этих улик? В сущности говоря, каждый факт в отдельности сомнителен. Могла ошибиться Рукавишникова. Мог ошибиться Ковригин. Могла Закруткина не сообщать Кузнецову о том, что Никитушкин снял деньги со счета. Все могло быть случайным стечением обстоятельств. Но, с другой стороны, улики против Груздева тоже могли собраться случайно. Отправить дело на следствие? Что, собственно, надо исследовать? Вероятно, когда Клятов приходил к Кузнецову – если, конечно, это Клятов приходил, – может быть, кроме Рукавишниковой, его видел кто-нибудь еще. Конечно, сперва надо допросить, эту девушку из сберкасы. В конце концов, не обязательна альтернатива: или Груздев, или Кузнецов. А если Груздев участвовал в ограблении, а Кузнецов сообщил, когда Никитушкин снял со счета деньги?

...Вале теперь уже кажется подозрительным все поведение Петра. Что это за история с институтом? Люди, можно сказать, лоб расшибают, чтобы в институт попасть, а Петр попал и через полгода, видите ли, разочаровался. Валя сама сдерживает себя. Так невозможно. Теперь она превратит Петра в страшного злодея, вся жизнь которого — цепь кошмарных преступлений. Она невесело усмехается. Но все-таки есть же у нее бесспорные факты?

...Ладыгин зашел к себе в прокуратуру. На подпись у него лежало много бумаг; он попробовал их прочесть и отложил. Не в том он был сейчас состоянии, чтобы вникать в смысл этих бумаг. Нет, в виновности Груздева он по-прежнему не сомневался. Но, конечно, нельзя было верить Клятову на слово. Очень уж мало вероятно, что люди на улице громко разговаривают о том, что именно такого-то числа такой-то человек возьмет со счета столько-то тысяч. Вернее всего, действительно тут есть еще соучастники. Может быть, поговорить с Панкратовым? Пусть суд отправит дело на следствие.

Пришел молодой прокурор, которому Ладыгин назначил встречу. Ладыгин начал было с ним разговаривать, но почувствовал, что не думает о том, что говорит. Он извинился, сослался на головную боль и перенес встречу. Он сказал секретарше, что занят, и долго ходил по кабинету — думал.

...Ноги сами принесли Вальку к зданию кинотеатра «Космос». На этот раз картина, видно, шла хорошая. У касс стояли очереди. На ступеньках перед кинотеатром люди,

назначившие свидания, поеживаясь от холода, поджидали своих знакомых. Рукавишникова, в очках, проверяла билеты. Она улыбнулась Вале и, не дожидаясь вопроса, сказала, что Петр Николаевич у себя.

Петр говорил по телефону. Он кивнул и показал Вале на кресло, в котором она обычно сидела. Они долго не могли начать разговаривать. Непрестанно звонил телефон. Зрители заказывали билеты.

— На сегодня мест нет, — говорил Петр, — на завтра заказов не принимаем. Позвоните утром.

Наконец выпала минута, когда телефон молчал.

— Чего ты не раздеваешься? — спросил Петр.

— Дай согреться, — сказала Валя, — замерзла. Зачем тебя в суд вызывали?

— Идиотское дело, — сказал Петр. — Месяц назад какие-то хулиганы напали на старичка пенсионера. Ну мы, прохожие, ввязались, свели хулиганов в милицию. Нас всех, конечно, переписали, и вот сегодня я выступал свидетелем.

У Вали упало сердце. Делая вид, что ей все еще холодно, она спряталась как можно глубже в воротник, чтобы Петру не было видно ее лицо.

— Ну и что? Много им дали? — равнодушно спросила она.

Голос ее звучал глухо, может быть, от того, что она рот прикрыла воротником. Зазвонил телефон.

— Алёу? — сказал Петр с тем щегольским произношением, над которым они так смеялись еще сегодня утром. — На сегодня уже нет ни одного билета. Позвоните завтра с утра.

Петр положил трубку.

– Сколько им дали? – повторил он. – Я не знаю. Я только прокурора послушал. Он просил для двоих по три года и двоим по году.

– Зачем ты мне врешь? – очень тихо и очень отчетливо спросила Валя.

Зазвонил телефон.

– Алёу, на сегодня билетов нет. Пожалуйста. – Петр положил трубку. – Что ты, с ума сошла? Почему я тебе вру?

– Я сегодня была в суде и слышала, как тебя допрашивали.

И опять зазвонил телефон. И опять кто-то спрашивал, можно ли заказать билеты, и опять Петр говорил, что на сегодня билетов нет. Потом Петр повесил трубку и сказал:

– Зря ты ходила. Я не хотел тебя волновать и решил не рассказывать, зачем меня вызывали.

Он говорил так спокойно, что Валя подумала: может быть, он и правду говорит. Ей очень хотелось, чтобы он говорил правду, и она готова была в это поверить. Но вовремя вспомнила, что это вздор, чепуха, что уж кто-кто, а она точно знает, что Петру было великолепно известно, когда Никитушкин снял деньги со счета в сберегательной кассе. Уж кто-кто, а она-то знает. Она, которая рассказала по легкомыслию – простительному, как ей казалось тогда, преступному, как ей кажется теперь, – сама рассказала ему, что звонил Никитушкин и просил заказать на завтра шесть тысяч рублей. Сказал, что покупает машину.

– Меня ты зря выгораживал, – сказала Валя, – я виновата и не побоюсь об этом сказать.

Да, она уже решилась окончательно завтра рассказать,



что, нарушив служебный долг – кажется, это так называется, – выдала тайну вклада, которую не имела права выдавать. Должна была она, в конце концов, точно знать, виновна ли в ограблении и убийстве или произошло случайное совпадение.

Может быть, если бы Петр спокойно сказал: «Ну что ж, если тебе так легче, расскажи, что ты, ничего плохого не думая, выдала мне тайну вклада», она бы поверила, что Петр не связан с Клятовым, что не он рассказал Клятову, когда Никитушкин снимает со счета деньги; что, значит, она виновата только в том, что сболтнула то, чего не имела права сболтнуть, и, к счастью, ее болтовня не имела дурных последствий.

Но Петр сказал:

– Я тебя прошу, Валя, суду об этом не говорить.

– Почему? – спросила Валя. – Ведь не ты передал Клятову, когда именно у Никитушкина дома будут деньги. Чего же тебе бояться? Пусть расследуют дело до конца.

– Прежде всего, – сказал Петр, – я боюсь не за себя, а за тебя. У тебя могут быть неприятности. С дурным умыслом или без дурного умысла, но ты нарушила закон.

Валя посмотрела на Петра. Страшно ей было увидеть, как он взволнован. Валя не знала, что ей грозит за разглашение тайны вклада, но, уж наверное, не посадят ее в тюрьму. В крайнем случае, осудят условно или будут удерживать из зарплаты. Нечего Петру за нее уж так волноваться.

Зазвонил телефон.

– Да, – сказал резко Петр, – нет билетов, – и повесил трубку.

И сразу телефон зазвонил снова.

— К дьяволу, — сказал Петр. И совсем другим, ласковым, заискивающим тоном обратился к Вале: — Я не хочу, чтобы у моей жены была судимость. Тем более что твой поступок не имел никаких последствий. Ты пойми, Валечка, я никому об этих никитушкинских деньгах не говорил. Я не придал твоим словам никакого значения. Я и забыл о них совершенно и вспомнил только сегодня, когда проклятый адвокат стал меня спрашивать, не говорила ли мне моя знакомая Валя Закруткина про эти деньги. Давай мы с тобой снова об этом забудем.

Он пододвинул стул к креслу, в котором она сидела. Он наклонился к ней. Он взял ее за руку. И голос у него был такой ласковый, и ей так хотелось поверить ему, улыбнуться, выгнать из жизни этот неизвестно откуда пришедший тяжелый кошмар. И она поняла, что еще минута — и у нее не останется воли, решимости, упорства, и она встала с кресла.

— Петр, — сказала она, — выслушай меня. Это очень серьезно, то, что я сейчас скажу...

Петр, кажется, понял, что гипноз, на который он надеялся, перестал действовать, сорвался. Что влияние, под которое, казалось ему, уже готова подпасть, уже подпадает Валя, кончилось. Он тоже встал. Они стояли теперь друг против друга. Опять зазвонил телефон и перестал звонить, и никто из них даже не шевельнулся.

— Ты должен меня понять, Петр, — сказала Валя, — я хочу во что бы то ни стало быть совершенно уверенной, что к убийству Никитушкиной ты не имеешь никакого отношения. Я хочу сообщить суду все, что знаю по этому поводу.

Может быть, к тебе действительно приходил кто-то другой, а не Клятов и Рукавишникова обозналась. А может быть, адвокат Клятова просто сбил ее вопросами, а приходил к тебе на самом деле Клятов. Я узнать этого не могу. Но я расскажу суду все, что знаю. Пусть суд расследует. Пусть суд убедится сам, что ты не виноват. Если ты в самом деле не виноват, чего ты боишься?

— Подожди, Валя, — сказал Петр, и Вале послышалось, что голос у него дрожит. — Конечно, если ты настаиваешь, я не возражаю. Хотя честно тебе скажу: я боюсь. Бывают судебные ошибки, бывает, что улики так совпадают, так обвиняют невинного...

— Кто к тебе приходил? — спросила Валя. — Клятов или тот, кого Рукавишникова приняла за Клятова? Кто это был?

— Клянусь тебе, Валечка, я не помню. Это было давно. Мало ли ко мне заходит людей. Мало ли что могло почудиться проклятой старухе.

— В общем, так, — сказала Валя, — до завтра можешь думать. Но завтра ты должен прийти и сказать, что прошлые твои показания неправильны. Ты вспомнил, как Валя Закруткина рассказывала тебе, что шестого сентября Никитушкин возьмет деньги в сберкассе. Я завтра буду в суде. Если ты с утра не придешь и не скажешь, что хочешь дать показания, — показания буду давать я.

Она видела, что Петр хочет ей что-то сказать, даже, кажется, что-то говорит, но проклятый телефон опять звонил не переставая. Она повернулась и вышла из комнаты.

Она не помнила, как прошла по кинотеатру и, кажется, даже улыбнулась на прощание Рукавишниковой. Может быть, впрочем, это ей только потом казалось.

Она сбежала по ступенькам ярко освещенного подъезда кинотеатра и сразу свернула, чтобы уйти в плохо освещенную улицу. Но перед тем как свернуть, она обернулась и увидела – или, может быть, это тоже ей только потом казалось – Петра, который выскочил без шапки и без пальто и стоял, растерянno ища ее глазами между людьми, толпившимися на ступеньках.

Но где ж тут увидишь одинокую, растерянную, несчастную девушку, когда картина идет с успехом и черт знает сколько народу толпится у входа в кинотеатр.

## Глава сорок седьмая

### *Долгий вечер и долгая ночь*

Панкратов долго ходил по комнате, еще и еще раз продумывал весь процесс. Его очень интересовала точка зрения Ладыгина. Будет он возражать против того, чтобы отправить дело на следствие или нет?

Впрочем, Сергей Федорович скоро сам позвонил. Обоим было не слишком удобно начинать разговор о том, что единственно их только и волновало. Первым не удержался Ладыгин.

– Скажи, пожалуйста, – спросил он, – какое у тебя ощущение с этим клятовским делом?

– Я думаю, – сдержанно сказал Панкратов, – дело надо доследовать.

– Пожалуй! – Ладыгин помолчал. – Понимаешь, все-таки с этим Кузнецовым что-то таинственное. И Клятов к нему приходит, и тут еще вдруг эта Закруткина вылезает.

Нет, по-моему, дело совсем не такое простое, как кажется.

— Я боюсь, — сказал Панкратов, — как бы Кузнецов не скрылся, пока мы с тобой обсуждаем, направить дело на следствие или нет.

— Ты даже так думаешь? Ну что ж, пожалуй, ты прав. Я сейчас позвоню в угрозыск. До завтра.

Над головой Кузнецова сгущались тучи. Как показали дальнейшие события, он это великолепно понимал. Скорее, впрочем, не понимал, а чувствовал.

Да, он действительно выскочил вслед за Валею, надеялся задержать ее, уговорить, упросить, но, сколько он ни всматривался в людей, толпящихся возле кино, Вали не было.

Он вернулся в маленький свой кабинетик и задумался.

Надо же было, чтобы все так ужасно сложилось. А как все сначала удачно шло. Просто удивительно удачно. Этого Груздева прямо бог послал. Подумать только: он даже сам признался! Как будто чудо произошло. Боишься, как бы тебя не поймали, следишь за каждым своим шагом, и вдруг находится дурак, который является и говорит: «Никитушкиных это я грабил. Убил? Может быть, тоже я».

Еще сегодня днем, когда Кузнецов возвращался из суда, ему казалось, что все может кончиться благополучно. Поди докажи, что Клятов не почудился сослепу Рукавишниковой. И держал себя Кузнецов на суде, кажется, безукоризненно. Внутри все дрожало, но внешне он был спокоен и не мог вызвать никаких подозрений.

И как этот проклятый адвокат докопался до Закруткиной? И черт дернул Валью явиться в суд. Никто ее не вызывал. Да она и не собиралась. Они же только что расстались. И на тебе, сидит и слушает допрос.

Кузнецов похолодел. Он вспомнил разговор, который был только что здесь, в его кабинетике. Надо же было ему соврать про этих хулиганов, которых он будто бы помогал задерживать! Ведь сам же ей рассказывал, что вчера его вызывали по делу Клятова – Груздева. Даже повестку показывал. И вдруг все вылетело из головы. И он соврал.

И соврал хорошо: придумать на ходу такую историю с хулиганами, совершенно убедительную, рядовую, обыкновенную! Придумать, несмотря на то, что все не проходит эта проклятая дрожь внутри. И рассказать так спокойно, уверенно. Никаких подозрений не мог вызвать его рассказ. Если бы только не то, что вчера он рассказывал правду и, значит, никак не могла поверить Валя в его сегодня придуманную ложь.

– Дурак, дурак, – прошептал Кузнецов и дважды ударил себя кулаком по лбу. – Уж коли врешь, так помни, что раньше говорил.

Ему казалось, что если бы Валя его не поймала на лжи, то все было бы благополучно. Он еще вполне мог бы выкрутиться из этой истории. Потом, однако, он вспомнил, что дело совсем не в том, что Валя поймала его на лжи. Адвокат все равно просил суд вызвать Закруткину, и суд с его просьбой согласился. Значит, все равно Валя уже получила или вечером получит повестку. Значит, все равно завтра она будет давать показания в суде. И, конечно, покажет, что Кузнецов просил ее сказать, когда Никитушкин возьмет в сберкассе деньги, потому что он, Кузнецов, будто бы поспорил с кем-то, что узнает заранее, когда Никитушкин получает «Волгу». И о том расскажет, как после убийства он просил Валю никому не говорить, что она

выдала тайну вклада, потому что иначе вдруг его, Кузнецова, заподозрят.

В этой молодой девушке, совершенно обыкновенной, заурядной, хотя и хорошенькой, сотруднице сберкассы, таились чуткая совесть и высокое понятие долга. Хотя она никогда и не выступала на собраниях и не произносила речей, хоть ей и чужд был всякий пафос, всякая громкая фраза, хоть она и любила танцевать те танцы, которые не одобрялись в газетах, все-таки она была по-настоящему порядочным человеком. Кузнецов никогда раньше об этом не думал, а сейчас с ужасающей ясностью почувствовал и понял.

Да, если уж докопались до Вали, то конец, значит, до всего докопаются.

Может быть, можно было все-таки не называть Валю на суде? Нет, нельзя. Ведь это Рукавишникова сказала, что его невеста работает в сберкассе. Ну хорошо, допустим, он бы сказал, что не знает, в какой именно, или назвал бы другую кассу. Можно поручиться, что этот адвокат проверил бы все сберкассы города и добыл бы на суд Закруткину.

Нет, его, Кузнецова, ошибки никакой роли тут не играют или играют очень небольшую.

И так везло до сих пор. Груздев прямо загипнотизировал следствие. Следствие шло по проложенной Груздевым дорожке, не оглядываясь по сторонам. А теперь все рухнуло. Будь оно неладно!

В конце концов, рассуждал Кузнецов, что изменилось бы в мире, если бы изолировали на много лет никчемного, спившегося человека, выгнанного с работы? А теперь погибнет вместо него Петр Кузнецов, человек интеллигент-

ный, умный, способный принести много пользы. Какая же это справедливость, если вместо ничтожества осудят человека, полезного государству и обществу...

У Кузнецова мешались мысли в голове, иначе, может быть, он и сам бы нашел изъян в своих рассуждениях. Что делать сейчас?

Он достал бумажник и пересчитал деньги. Денег было семь рублей. Да еще в секретном отделении бумажника лежало две сотни. Как он ни был уверен в том, что его изобличить невозможно, все-таки двести рублей на всякий случай носил с собой.

Может быть, выйти сейчас, поехать в аэропорт, взять билет куда-нибудь подальше, например в Хабаровск или в Москву, и ищи Петра Кузнецова по лицу всей земли.

А куда он пойдет в Хабаровске или в Москве? В Москве у него есть знакомые, но такие, что примут его безо всякого удовольствия, если вообще примут. Уж переночевать-то у них наверняка нельзя. В Хабаровске вообще ни души знакомой. В гостиницу нельзя. Прописка. Сразу найдут. Может быть, на курорт куда-нибудь? Там можно снять частную комнату. Тогда нужно взять остальные деньги. Они дома. Можно зайти домой, сказать, что приятель пригласил на рождение, переодеть костюм, взять деньги – и в аэропорт.

Кузнецов даже вздрогнул. А если его там ждут? А если дом уже под наблюдением?

Да, но его могут найти и в кинотеатре. Петр почувствовал, что он не может здесь больше оставаться ни на минуту. Надо сейчас же уходить. Как он раньше не подумал об этом?



Он надел шарф, пальто и шапку. Было трудно застегнуть пальто – так дрожали руки. Он вышел, держа руки и карманах, чтобы случайно кто-нибудь не заметил эту проклятую дрожь.

На улице оглянулся. Кажется, никто не следит.

Он сел в трамвай, проехал несколько остановок, вышел с задней площадки, подождал, пока трамвай ушел, и внимательно огляделся. На остановке были люди, но никто из них не напоминал сыщиков. Он пошел в переулок, потом свернул в другой, потом в третий. Переулки были пустынные; за ним, конечно, никто не следил. Он увидел свободное такси, остановил его и поехал в аэропорт. Там, по крайней мере, можно поужинать и согреться.

В аэропорту народу было не очень много. Он разделся и прошел в ресторан. Заказал себе ужин и взял даже стопку коньяка. Думал, что выпьет и перестанет дрожать. Выпил, стало тепло, даже жарко, а внутри по-прежнему все дрожало.

Из аэропорта вышел около часа ночи. Ему страшно хотелось спать, но спать было негде. Во всем городе, во всей стране не было кровати, на которую он мог бы лечь, укрыться одеялом и вытянуться. К счастью, прибыл запоздавший самолет, и автобус аэрофлота повез пассажиров в город. Сел в автобус и Кузнецов. Народу было немного, и он, подняв воротник пальто, немного вздремнул.

И опять потянулось бесконечное, бесприютное время. Он ходил по боковым, темным улицам. Сколько-то времени просидел на бульваре. Потом опять ходил.

О чем думал Петр, шагая по безлюдной улице? Может быть, о том, как жаль расставаться со снежными сугроба-

ми, с темными окнами, за каждым из которых люди живут, чему-то радуются, на что-то надеются, ждут чего-то, и как жалко, что нельзя ни радоваться, ни надеяться, ни ждать, ни даже хотя бы огорчаться. Ведь когда человек огорчается, он тоже борется с неблагоприятными обстоятельствами, раздумывает о том, как их победить, и обязательно хоть немного, хоть на что-нибудь да надеется. А может быть, он ни о чем не думал. Может быть, он только чувствовал, почти физически чувствовал страшную, давящую тоску, от которой не было никакой надежды освободиться.

Видимо, он гулял долго. Около трех часов ночи его школьный товарищ Максим приехал из командировки и, не достав такси, отправился домой пешком. Он встретил Петра. Старые товарищи постояли, поговорили. У Максима был с собой только портфель, и стоять ему было не тяжело. Максим не заметил в поведении Петра ничего особенного. Петр был такой же, как обычно, смеялся, шутил и сказал, что решил, кажется, твердо идти в педагогический институт.

По-видимому, расставшись с Максимом, он еще побродил до тех пор, пока не замерз окончательно. Сквозь страшный вихрь мыслей, который проносился в его мозгу, все чаще возникала одна, даже для самого себя. Не сформулированная, но очень ясная мысль. Она была как музыкальная фраза, которая в начале симфонии еле угадывается, потом повторяется еще и еще раз, все ясней и отчетливей, и под конец доминирует над всеми звуками. Мысль эта, если ее переложить на слова, звучала бы коротко: надо кончать.

Он с трудом шел. У него мерзли ноги и лицо, и самое главное, не было никакой, хоть бы маленькой, надежды.

Не знаю, обвинял ли он неудачно сложившиеся обстоятельства, людей и судьбу в том, что так кончается его короткий жизненный путь, или, восстанавливая в памяти свои поступки, ясно понимал, что в каждом из них повинен он сам. Думал ли он о том, что много раз судьба давала ему возможность спастись, и он проходил мимо этих возможностей. А сейчас готов плача просить, чтоб дали такую возможность еще хоть раз.

Так или иначе, шел он к вокзалу и дошел, когда был уже пятый час утра.

Он прошел в зал ожидания, чтоб согреться. Он сел в углу у батареи центрального отопления. Зал был почти пуст, только несколько человек спали на скамейках да дежурный милиционер заходил иногда, чтобы отогреть руки.

Потом появилась буфетчица. Буфет открывался в шесть утра. Она стала греть кофе на электрической плите, вынимала из холодильника, расставляла на буфете бутерброды с сыром и колбасой, холодную жареную рыбу, весь нехитрый набор закусок, одинаковый на большой и на маленькой железнодорожной станции.

Петр задремал или заснул. Его разбудил товарный поезд, прошедший мимо станции, гудя, стуча и не останавливаясь. К этому времени буфет уже открылся, и первые посетители, рабочие, ехавшие на работу за город, на цементный завод, молча пили горячий кофе.

Петр тоже выпил стакан кофе и съел кусок жареной рыбы, а потом пошел в умывальную и вымыл руки. Он все время понимал, что то, что будет, неизбежно, и все-таки почему-то ему казалось, что это все не всерьез, что это все

он только изображает перед кем-то, может быть перед самим собой, и будет изображать до конца. Но только до конца, а самого конца так и не будет.

Потом он вышел на перрон и долго ходил по перрону – все ждал товарного поезда. Емугодились только товарные, они проходили не останавливаясь. Он пропустил три электрички и дальний поезд, простоявший пять или шесть минут. Потом он услышал по радио предупреждение, что гражданам пассажирам следует отойти от шестого пути, потому что по нему пройдет без остановки товарный поезд.

Тогда, не торопясь – поезда еще не было видно, – он прошел к шестому пути. Ему все еще казалось, что он только играет и будет играть до самого конца. Всем телом, всеми своими чувствами он был убежден, что самого конца не будет.

Наконец поезд показался. Кузнецов приготовился. Он все себя уговаривал, что больно будет секунду, может быть две, а потом не будет ничего. Ему даже казалось, что он хладнокровен. На самом деле спокойствие его объяснялось просто тем, что в душе он ни на секунду не верил в то, что решится сделать этот последний шаг. Он все-таки шагнул вперед, когда тепловоз был уже совсем близко, и остановился на самом краю перрона. И поезд прошел мимо, постукивая на стыках рельсов.

Боковым зрением, если так можно сказать, он увидел в последнюю секунду, перед тем как шагнуть, что с двух сторон к нему придвинулись двое. Теперь он посмотрел в одну сторону, потом в другую и разглядел обоих. Это были два ничем не замечательных человека, может быть случайно оказавшихся здесь. Но, помня, как они придвинулись

к нему, очевидно желая его схватить в последний момент, как они отступили, когда он не решился на последний шаг, он понял, что эти люди за ним следят и, куда бы он ни пошел, как бы ни побежал, как бы ни помчался, от него не отстанут.

Как ни странно, это открытие его успокоило. Теперь он имел право считать, что не решился броситься под поезд не потому, что струсил, а потому только, что его не допустили до этого последнего шага. Засунув руки в карманы, он прошелся по перрону, потом ему стало холодно, и он вернулся в вокзал. Людей, которых он заметил на перроне, в зале не было. Это ничего не меняло. Кто-то другой, один из этих дремлющих на диванах или стоящих возле буфета, не спускал с него глаз. Это-то Кузнецов понимал отчетливо.

Теперь у него выбора не было. Была только возможность — явиться с повинной. Он подождал, загадав сначала до восьми часов, потом до половины девятого. А в девять поднялся и, не торопясь, пошел в милицию.

В отделении была тишина. Задержанные за ночь, пьянчуги и буяны, утихомирились в своих камерах.

Дежурный писал что-то, видно, оформлял составленные за ночь протоколы. Кузнецов подошел к нему.

— Я пришел явиться с повинной, — сказал он фразу, которую придумывал всю дорогу от вокзала. — Я участвовал в ограблении инженера Никитушкина в поселке Колодези и тяжело ранил ударом в висок Никитушкина Алексея Николаевича. Деньги, в сумме четырех тысяч восьмисот рублей, находятся у меня дома.

## Глава сорок восьмая

### *Утро*

На третий день людей пришло больше, чем приходило в прошлые дни. Очевидно, слухи о неожиданном повороте, который произошел или, во всяком случае, может произойти в ходе процесса, шли по городу. Когда мы, три братика, вошли в коридор, там стоял гул от разговоров. Люди собирались в кружки, горячо спорили и, не сойдясь во мнениях, расходились. Мы прислушались к разговорам.

Некоторые считали, что дела Груздева сильно поправились. Те, кто поопытней, утверждали, что Гаврилов оказался толковым парнем и очень расшатал обвинение. Как всегда в таких стихийно возникающих обсуждениях, находились упрямцы, считавшие, что коль уж человека отдали под суд, стало быть, он мерзавец и нечего его оправдывать. Их оппонентами были сердобольные люди, которые никогда не теряют надежды, что преступника оправдают, и считают, что вообще никто не виноват и все заслуживают снисхождения. Может быть, в глубине души эти люди надеются на чудо: в конце концов окажется, что и убийства-то, в сущности, не было.

Прошел Гаврилов, кивнув нам головой. Прошли Ладыгин и Грозубинский. Потом солдаты конвойных войск оттеснили публику и в зал провели подсудимых. Клятов шел впереди, и вид у него был такой, будто он идет получать Почетную грамоту. За ним шел Груздев, мрачный как туча, опустив глаза в землю. Казалось, что Клятову предстоит оправдание, а Груздев ждет строгого осуждения. На

самом деле было как раз наоборот. Именно у Петьки появились некоторые, хотя пока и неверные, шансы на оправдание.

Пришла Тоня и молча поздоровалась с нами. Она, бедняга, худела день ото дня. Молодая девушка, которую я раньше не видал на суде, стояла неподвижно, глядя туда, откуда входила с лестницы публика. Она очень волновалась. Это было видно по рукам. Она то снимала, то надевала перчатку, то засовывала руки в карманы, то перекладывала сумочку из одной руки в другую.

Наконец стали пускать в зал. Девушка все стояла в коридоре. Она пропустила всех, вошла последней и села на первую скамью, где обычно сидят свидетели.

«Неужели это Закруткина?» – подумал я.

Уже офицер закрыл входную дверь, а она все не отрывала глаз от входа, все ждала кого-то, кто должен был – непременно должен был! – явиться и не являлся.

Вошли судьи. Все встали и стояли, пока Панкратов не сказал: «Садитесь». Стояла и девушка, но все смотрела на дверь: может быть, все-таки он войдет, тот, кого она поджидала.

– Свидетельница Закруткина, – сказал Панкратов. Девушка встала, подошла к судейскому столу и, пока слушала, что говорил ей Панкратов, предупреждая об ответственности, нет-нет да оборачивалась к двери: вдруг да войдет в последнюю секунду нетерпеливо ожидаемый ею человек?

Однако никто так и не вошел. Закруткина расписалась, что предупреждена об ответственности.

Начались вопросы. Оказалось, что ее зовут Валентиной

и она работает в сберкассе № 02597 контролершей. Не замужем, двадцати одного года, беспартийная, образование среднее...

– Скажите, Закруткина, – спросил Панкратов, – что вы знаете об Алексее Николаевиче Никитушкине?

– Это наш вкладчик, – сказала Закруткина. – Он у нас много лет имеет счет.

Она очень волновалась. Я даже не могу объяснить, почему это понял я, да и, кажется, все в зале. Наверное, были какие-то незаметные глазу, но доходившие до сознания признаки ее волнения. Это ни о чем, впрочем, не говорило. Обстановка судебного заседания заставляет волноваться почти каждого свидетеля, кроме разве что бывших здесь уже много раз.

– Когда вы узнали, что Никитушкин собирается снять со своего счета шесть тысяч рублей?

– Пятого сентября утром он позвонил, – очень тихо сказала Закруткина.

– Пятого утром, – повторил Панкратов. – Говорите громче, свидетельница. А когда он получил эти деньги?

– Шестого сентября днем, – сказала Закруткина.

– Значит, вы узнали о том, что он снимет со счета шесть тысяч, сутками раньше?

– Да.

– Вы говорили об этом кому-нибудь из посторонних вашей сберкассе людей?

Валя молчала. Потом она обернулась и еще раз, последний раз, посмотрела на дверь. Дверь была по-прежнему закрыта. Офицер неподвижно стоял перед дверью. Закруткина повернулась к суду.



- Да, говорила, – сказала она отчетливо и громко.
- Когда говорили?
- Пятого сентября вечером.
- Кому говорили?
- Моему жениху Кузнецову Петру Николаевичу.

– Значит, – сказал Панкратов, – в тот же день, когда Никитушкин позвонил и заказал на завтра шесть тысяч рублей, вы рассказали об этом вашему жениху Петру Николаевичу Кузнецову. Почему вы ему рассказали?

– Он меня недели две уже просил, как только Никитушкин закажет деньги, ему сообщить.

– Он вам объяснил, зачем ему это нужно?

– Да, объяснил. Он сказал, что поспорил с одним своим товарищем на десять рублей.

– В чем же была суть спора?

– Тот его товарищ будто бы хорошо знаком с сыном Никитушкина, для которого покупалась машина, и сын Никитушкина будто бы говорил этому товарищу...

Закруткина молчит. Шепоток проходит по залу. Все понимают, хотя лицо Закруткиной публике не видно, что она борется со слезами. Все ждут, что сейчас начнутся рыдания, истерика. Но Закруткина победила слезы. Она продолжает медленно, отчетливо выговаривая каждое слово:

– Я сейчас точно не помню, какую-то он мне рассказал историю, для чего ему нужно знать точно, когда Никитушкин возьмет деньги. Мне показалась эта история убедительной. Я и сказала.

– Оглашаются показания Закруткиной, данные на предварительном следствии, – говорит Панкратов, – лист

дела двадцать один, оборот: «Ни с кем, кроме товарищей по работе, я не говорила, что Никитушкин собирается брать большую сумму, и тем более никому не называла день, когда он должен эту сумму получить». Вы это показывали, Закруткина?

— Да, показывала.

— Значит, ваши показания на предварительном следствии не верны. Почему вы показывали неправду?

— Потому, что Петр Кузнецов меня просил об этом, — говорит Валя по-прежнему громко и отчетливо. — Восьмого сентября вечером, когда я пришла к нему в кинотеатр «Космос», он был очень взволнован. Если теперь, после того как Никитушкиных ограбили, сказал он, станет известно, что Кузнецов знал, когда у них были дома деньги, он может попасть под подозрение. Я понимала, что нарушаю правила, разглашая тайну вклада, но была твердо уверена, что Петя не мог иметь отношения к ограблению.

— А сейчас вы тоже в этом уверены? — спрашивает Панкратов.

Валя молчит.

— Так как же, Закруткина? — настаивает Панкратов.

— Теперь не уверена, — подняв голову, громко говорит Закруткина.

— Почему?

— Потому что я вчера была на суде. Я слышала, как Петр скрыл, что я ему рассказала. А как же скрывать, когда судьба подсудимых решается. Я ему сказала, чтобы он сегодня пришел и изменил показания. Но он не пришел. Я предупредила, что, если он не придет, я сама расскажу все, как было.

Так тихо в зале, что очень ясно слышно: кто-то осторожно, но настойчиво дергает дверь.

Офицер через щелку тихо говорит с кем-то, кто стоит в коридоре.

Валя повернулась к дверям и застыла. Теперь мне видно ее лицо. Она ждет. Она надеется, что это пришел Петр — пришел, чтобы рассказать правду и снять с нее эту тяжелую обязанность.

Панкратов ее не торопит. Он тоже смотрит на дверь. И адвокаты повернулись к двери, и вся публика, и подсудимые. Клятов насторожился. С него даже слетела бравада, которой он щеголял весь процесс. Только Груздев, повернувшийся тоже к двери, сохранил свой безнадежно унылый вид. Не знаю, понимает ли он, что происходят события, которые могут решить его судьбу. Или из пропасти отчаяния, в которую он погружен, не виден ни один солнечный луч.

Наконец отворяется дверь и входит милиционер. Стараясь ступать беззвучно, он идет через зал. Он мог бы греметь сапогами, зал все равно смотрит на него, слушает его шаги, ждет от него...

Впрочем, милиционер только подошел к столу, за которым сидит прокурор, передал ему записку, повернулся и вышел из зала.

Теперь все смотрят на Ладыгина. Записка, очевидно, короткая, Ладыгин прочел ее быстро и отложил в сторону. Наверно, ничего особенного, какое-нибудь срочное служебное известие. Все приходят в себя. Публика снова повернулась к суду. Панкратов спрашивает: есть ли вопросы у адвокатов? Есть ли вопросы у прокурора?

– Значит, показания, данные вами на предварительном следствии, неверны. Вечером пятого сентября вы сообщили вашему жениху Петру Кузнецову, что Никитушкин шестого сентября получает деньги. Так? – говорит Панкратов.

– Да, так, – подтверждает Закруткина.

– Неправильные сведения на предварительном следствии вы сообщили потому, что вас просил об этом Кузнецов?

– Да, – подтверждает Закруткина.

– Хорошо, садитесь.

Закруткина садится, и в это время встает Ладыгин.

– Мне сообщают, – говорит он, – что поступили сведения, могущие оказать влияние на ход процесса. Я прошу объявить перерыв на полчаса, чтоб я мог ознакомиться с этими сведениями и доложить суду.

Панкратов объявляет перерыв.

Судьи уходят. Публика медленно идет к выходу. Разговоров не слышно. Все понимают: в образе милиционера пришло важное событие. Какое? Неизвестно. Даже гадать невозможно. Надо ждать конца перерыва.

В течение этого получаса в коридоре не велись обсуждения и споры. Часть публики вообще не вышла из зала, а те, что вышли, молча курили на лестничной площадке или молча прогуливались по коридору.

Подсудимых так и не выводили из зала. Они сидели за своим барьером, на этот раз оба хмурые и безмолвные. Наигранная бодрость оставила Клятова. Видно, событие, которое произошло, о котором все мы могли только гадать, угадывалось Клятовым. Видно, событие это нарушало ка-

кие-то маленькие его расчетки, те, на которых основывалась его неиссякаемая внешняя жизнерадостность.

Очень долго тянулись эти полчаса. Вышедшие покурить уже накурились. Все больше и больше людей рассаживалось в зале по местам. Наконец вошли Ладыгин и адвокаты, и почти сразу, как только они сели, вошли судьи.

— Садитесь, — сказал Панкратов притихшему залу и, выждав, пока воцарилась полная тишина, обратился к Ладыгину: — Вы можете доложить суду новые сведения?

— Могу, — сказал Ладыгин, встал и, медленно отделяя короткой паузой каждое слово, сказал: — Допрошенный вчера в суде свидетель Кузнецов Петр Николаевич сегодня утром явился в милицию и сообщил, что он вдвоем с подсудимым Клятовым седьмого сентября ограбил квартиру Никитушкиных и нанес удар кастетом в висок Никитушкину Алексею Николаевичу. После оформления органами дознания показаний Кузнецова оперативная группа выехала вместе с Кузнецовым к нему домой. Кузнецовым были предъявлены четыре тысячи восьмьсот рублей, взятые у Никитушкиных. Кузнецов показал, что всего было взято шесть тысяч. Тысячу рублей он передал Клятову с тем, что еще две тысячи отдаст ему по первому требованию. Сто девяносто два рубля находились у Кузнецова в бумажнике. Кузнецовым также переданы оперативной группе кастет, которым был ранен Никитушкин, желтые перчатки, в которых он ходил на ограбление, и черный платок, которым он завязывал лицо. Ввиду того что показания Кузнецова резко меняют обстоятельства рассматриваемого судом дела, я полагаю, что оно должно быть возвращено на следствие.

– Каково мнение защиты? – спросил Панкратов.

– Я присоединяюсь к мнению прокурора, – сказал Гаврилов.

Грозубинский только встал и молча наклонил голову в знак согласия.

– Суд удаляется на совещание, – сказал Панкратов, и судьи ушли в совещательную комнату.

Теперь публика торопливо устремила из зала. В коридоре сразу начались разговоры. Их было даже из зала слышно. Только слов нельзя было разобрать. Будто непрерывно гудели веретена. Каждому не терпелось высказать свои соображения, услышать соображения других.

Очень хотелось высказать свое мнение и мне, услышать мнения других. И все-таки я остался в зале. Конвойные не увели подсудимых. Клятов и Груздев сидели по-прежнему за барьером. Я, не отрываясь, смотрел на Петра.

Он плакал, наш Петька. Сидел совершенно неподвижно и не всхлипывал, и лицо его не морщилось от плача. Просто слезы одна за другой скатывались по его щекам.

Долгие годы тюрьмы! Может быть, даже смертная казнь! Во всяком случае, позор! Загубленная жизнь! Вечное клеймо грабителя и убийцы! Все исчезло, словно черный мираж.

И совершенно было неважно, что перед барьером еще сидят конвойные и стерегут его как преступника. Это была только форма. Неважно было, в конце концов, отпустят его сейчас же здесь, на суде, или через день-два выпустят из тюрьмы.

А Клятов? Вся бодрость с него слетела. Почему он помрачнел? Ведь, в сущности говоря, для него ничего не

изменилось. Он и раньше был несомненно опознан Ники-тушкиным. Так же, как и прежде, на нем висело обвинение в убийстве. Что же привело его сейчас в такое печальное состояние? Неужели только то, что недополученные им из награбленных денег две тысячи теперь наверняка ушли из его рук? Все равно он ведь не мог получить их в тюрьме или колонии. И не мог не понимать, что проведет там долгие-долгие годы. Неужели надежда на эти бумажки должна была ему эти долгие годы скрасить? Неужели рассчитывал он убежать из тюрьмы, получить свою долю и пропить ее по кабакам? Удивительно нерасчетливый, до глупости нерасчетливый был этот расчет уголовного.

Быстрее, чем можно было ожидать, раздался звонок из совещательной комнаты. Снова заняли свои места адвокаты и прокурор. Торопливо прошла на свое место секретарь суда. Снова вышли судьи, и весь зал, стоя, выслушал определение, которое, тоже стоя, прочел Панкратов.

Именем РСФСР... Суд в составе председательствующего Панкратова и народных заседателей Сергеева и Голубкова... Определяет... Дело направить на исследование... В отношении подсудимого Груздева Петра Семеновича меру пресечения изменить, взять подписку о невыезде и из-под стражи освободить...

Судьи ушли.

Судьи ушли, а зал все еще молчал. Уж очень много неожиданных, ошеломляющих новостей обрушилось на людей сегодня! Как-то надо было переварить их, привыкнуть к ним, их осмыслить.

Зал молчал, а потом вдруг зашумел. Снял с зала оковы Юра.

Юра встал, прошел через зал, подошел спокойно к барьеру (конвойные немного растерялись, но, поколебавшись, никак на это не реагировали), перегнулся через барьер и протянул Петьке руку. Петька потянулся к нему, и они, стоя по разные стороны барьера, обнялись и трижды расцеловались.

И тут зал зашумел, заговорил, засмеялся. Будто сняли заклятие с неподвижно застывшего царства спящей красавицы.

Честь и слава обвинению и защите, которые боролись не за обвинение или оправдание, а за справедливость! Честь и слава судьям, не равнодушно, но беспристрастно исследовавшим людей и обстоятельства!

Я, во всяком случае, чувствовал именно так. Думаю, что так же чувствовал и весь зал. Во всяком случае, многие, проходя мимо барьера, за которым сидели обвиняемые, приветствовали Петра: кто – просто махнув ему рукой, кто – улыбнувшись, кто – крикнув, хоть негромко, все-таки это зал суда, сочувственное слово. А Петька улыбался, и слезы все текли и текли по его лицу. И у всех толпившихся у выхода из зала было прекрасное настроение. Каждый радовался тому, что не совершилась несправедливость, не будет осужден невиновный, что ушла угроза тяжелого наказания от человека, который преступления не совершал.

В коридоре я, Сережа, Юра и Афанасий Семенович задержались. Мы рассчитывали, что Петьку освободят и мы уйдем вместе с ним. Адвокаты и прокурор оставались в зале. Там, наверное, оформлялось освобождение Петьки, совершались какие-нибудь юридические формальности. С тех пор прошло три года, а я так и не удосужился спросить



Петьку, чем они там занимались. В коридоре было очень много народу. Не знаю, откуда всем стало известно, что мы Петькины друзья. Многие подходили к нам и просили передать Петру поздравления и пожимали нам руки. Приятно было видеть, как много людей радуются тому, что не произошла судебная ошибка, что не пострадал невинный.

То, что я сейчас скажу, я знал и раньше, но в тот день я это особенно ясно ощутил: люди могут быть злы, народ – добр.

Потом окружавшие нас расступились. Сын инженера Никитушкина подвел к нам отца.

Старик протянул Афанасию Семеновичу дрожащую руку.

– Пожалуйста, передайте товарищу Груздеву, – сказал Никитушкин, – мое поздравление. Я очень рад, что невинный не пострадал.

Афанасий Семенович наклонил голову и ответил:

– Примите благодарность Груздева и мою.

И сын повел Никитушкина по коридору, и все расступились перед ними, и гул разговоров прекратился и не был слышен, пока они не спустились по лестнице.

А потом люди, стоявшие в коридоре, опять стали обмениваться впечатлениями, и коридор заполнился ровным, ни на секунду не стихающим гулом. Было о чем поговорить.

Как на каждом судебном заседании, и сегодня было много любителей и знатоков судебных дел. Я не знаю почти никого из тех, кто толпился в коридоре, но, судя по разговорам, на процессе присутствовали многие адвокаты. Часто упоминалась фамилия Гаврилова. Как я понял, его

хвалили. Честно говоря, мне не приходило в голову, какую большую роль сыграл Степан в снятии с Груздева обвинения. Я привык думать, что работа адвоката заключается в том, чтобы произнести убедительную речь. Сегодня я понял, что это совсем не так.

Помню слова какого-то пожилого человека, которого окружало и внимательно слушало много народу.

— Это хорошая работа, — говорил пожилой человек. — По совести говоря, мне казалось, что у Гаврилова надежд никаких. Дело повернулось тогда, когда он заметил, что Рукавишникова растерялась, увидя Клятова. Он правильно обратил внимание, что очень неубедительно в обвинительном заключении объяснено, откуда Клятов узнал, когда именно Никитушкин взял деньги со счета. Сегодня, после показаний Закруткиной, Гаврилов мог, вне зависимости от явки Кузнецова с повинной, просить направить дело на следствие.

В это время дверь из зала открылась, и вышел Петр.

Это было как чудо. Вышел Петр просто и обыкновенно, в пиджачке, растерянный и смущенный. Никаких конвойных не было рядом с ним. За ним вышел Ладыгин и, не глядя ни на кого, прошел в одну из комнат суда.

Потом была заминка. Грозубинский и Гаврилов уступали друг другу дорогу. Гаврилов требовал, чтобы первым шел Грозубинский, как старший, а Грозубинский настаивал, чтобы первым шел Гаврилов, как герой дня.

Кончилось все, конечно, тем же, чем кончилась некогда подобная сцена между Чичиковым и Маниловым. Оба неожиданно сдались и одновременно ринулись вперед. Получилась недолгая толкотня, и оба как пули вылетели в коридор хотя и улыбающиеся, но смущенные.

Афанасий подошел к Гаврилову, обнял его и поцеловал.

– Дурень ты, дурень, – сказал он громко, на весь коридор, – будешь еще убеждать старика, что ты плохой адвокат?

В это время конвойные стали оттеснять толпу в коридоре в сторону. Надо было вести Клятова в комнату, предназначенную ему. Теперь уж ему одному.

Клятов прошел по коридору, сопровождаемый конвоирами, с подчеркнуто независимым видом. Все молчали, пока он не скрылся за дверью комнаты. Теперь про него все знали, как он подводил под монастырь Груздева. Спокойно, расчетливо подводил. Чтобы на всякий случай сберечь награбленные деньги.

Конвойный вынес и передал Петру пальто и шапку. Мы решили идти к нам в гостиницу.

Еще только один эпизод, происшедший в суде, мне кажется, следует рассказать. Все четыре братика, Афанасий и Гаврилов шли по коридору суда, между двумя шеренгами любопытных, которые не могли пропустить случай понаблюдать такое триумфальное шествие. Когда мы спустились по лестнице, мне дважды казалось, что какая-то знакомая фигурка мелькает впереди. Я был так взволнован всем случившимся, так радовался, что мы все вместе выйдем сейчас на улицу, что Петька свободен и может идти с нами куда захочет, что не обратил на эту фигурку внимания и не подумал, почему она кажется мне знакомой. Я вспомнил о ней позже, когда мы все сидели уже в гостинице, и понял тогда, что это была Тоня, бедная, маленькая Тоня, которую все забыли, о которой никто не вспомнил даже сейчас, хотя она, пережившая с Петькой столько горя,

могла надеяться, что о ней вспомнят и тогда, когда наконец настало хорошее время.

## Глава сорок девятая

### *Другой Петр*

Первое время после освобождения Петра мы не думали ни о чем, кроме того, что наша вера в Петьку оправдалась, что удалось доказать его невиновность, что он наконец свободен.

Были у нас и некоторые сомнения: достаточно ли потрянула его судьба, чтобы излечить навсегда? Об этих разговорах и об этих сомнениях я еще расскажу в своем месте. Через некоторое время мы уехали к себе в С.. Афанасий Семенович днем раньше отбыл в Клягино. Жизнь вошла в норму. У меня в редакции накопились рабочие долги, и пришлось срочно их покрывать. Сергей с головой ушел в диссертацию, Юра пропадал на заводе. Встречались мы только по воскресеньям. Почти каждый раз Юра показывал новое письмо от Пети. Петр писал, что капли в рот не берет. Что работает на заводе, куда его охотно приняли, хотя до процесса и слышать о нем не хотели. Очень уж большое сочувствие вызвала его история.

И вот постепенно стало возникать у меня в душе любопытство. А что же настоящий преступник, Петр-второй, как я его про себя называл? Как получилось, что вежливый администратор кинотеатра «Космос», которого никто ни в чем не мог заподозрить, оказался грабителем и убийцей?

По чести говоря, меня все больше и больше интересо-

вала эта загадочная история. Я написал Степе Гаврилову. В ответ Степа сообщил, что, как известно, ход следствия хранится в тайне и какова на самом деле непонятная эта история, пока следствие не будет закончено, не узнает никто.

Писал он еще, что процесс будет, вероятно, очень интересный и что, если б я сумел на недельку освободиться, он бы очень советовал мне приехать. Жить я могу у него, а в крайнем случае он постарается мне достать гостиницу.

Сначала эта мысль показалась мне нелепой, но потом все больше и больше стало разбирать меня любопытство. Конечно, Гаврилов сообщит о результате процесса, но только сидя в судебном зале, присутствуя при допросах, выслушав показания свидетелей, смогу я понять, каким образом скромный и тихий молодой человек, непьющий, собирающийся жениться на любимой девушке, сын почтенного преподавателя математики, вдруг пошел грабить и убивать.

Я начал исподволь готовить поездку. Я проявлял в редакции поразительную активность и добился того, что сверх выполненной мной нормы у меня в загоне лежало три больших материала. Потом я пошел к нашему главному, которому, конечно, и раньше уже рассказывал про Петькин процесс. Я сказал, что хотел бы взять отпуск на недельку. Разумеется, за свой счет. Главный спросил зачем. Я объяснил, что просто жить не смогу, пока не выясню эту загадку с Петром Кузнецовым.

Не сразу, правда, но все-таки разрешение было дано. Тогда я написал Гаврилову, просил телеграфировать день суда. В свое время пришла от него телеграмма, и я выехал в Энск.

Я опять выслушал в судебном зале второй, более подробный, допрос Закруткиной и Рукавишниковой, и многих людей еще, и очень длинный допрос самого Кузнецова. Насколько этот молодой человек был сдержан и молчалив, пока его преступление не раскрылось, настолько теперь он стал неутомимо разговорчив.

В частности, на основании деталей, упомянутых в допросе им и Валеи Закруткиной, написаны главы об их юношеском романе, о том, как Кузнецов вызвал у Вали подозрение, о сцене в кинотеатре, когда она уличила его во лжи.

Главное, историю преступления, историю падения милого юноши из трудовой, хорошей семьи, которая излагается дальше, я всю, с начала и до конца, услышал на этом процессе.

Не следует думать, что Кузнецов был откровенен. Он действительно говорил много, однако же некоторые свои поступки истолковывал очень уж смягченно, придавая им даже некоторый оттенок благородства. Не знаю, может быть, это была хитрость, а может быть, действительно прошлое виделось ему в розовом свете.

Председательствовал на суде Панкратов, обвинял Сергей Федорович Ладыгин. Надо сказать, что они не давали этому розовому свету освещать события. Вспоминая прежде данные показания Кузнецова, показания свидетелей и потерпевшего, они направляли его на путь истины, как только чувствовали, что он начинает приукрашивать свои побуждения и свои поступки. Думаю, что в результате на процессе были обстоятельно и достоверно освещены все события и все мотивы действующих лиц.

После конца процесса, пользуясь своими записями, я смог написать следующие главы, в которых изложена подлинная история преступления.

На процессе были подробно выяснены условия, в которых воспитывался и рос Кузнецов. Родился он в семье преподавателя математики, человека очень уважаемого и безусловно порядочного. Мать его была тоже преподавателем и вела курс литературы в старших классах средней школы. В общем, это была очень интеллигентная и дружная семья. По рассказам свидетелей, бывавших в доме Кузнецовых, там много шутили и смеялись, хотя и много работали. Между прочим, Николай Александрович Кузнецов был не рядовой преподаватель математики. Три его работы были опубликованы в специальном журнале.

В школе Петр Кузнецов учился хорошо. Правда, родители помогали ему, но он и сам не ленился, на уроках бывал активен и помогал товарищам.

Школу он закончил без троек. Некоторые его товарищи по классу знали, что они с Валею любят друг друга, и утверждали единодушно, что любовь с обеих сторон была преданная и чистая.

Кончив школу, Петр Кузнецов поехал в Москву поступать в институт. Он выбрал один из самых трудных институтов и, несмотря на очень большой конкурс, прошел и был зачислен студентом.

Он получил место в общежитии и начал учиться в чудеснейшем настроении, полный радужных надежд, казалось бы вполне теперь обоснованных.

На суде оглашались выдержки из первого судебного дела Петра Николаевича Кузнецова. Дело это слушалось в Москве, и никто в городе Энске о нем ничего не знал.

Кузнецову пришлось подробно рассказывать, как это его старое дело возникло.

По словам Кузнецова, студенческая его жизнь началась самым замечательным образом. На занятиях он оказался далеко не последним, в общежитии попал в комнату с замечательными ребятами, относились к нему все хорошо, словом, предзнаменования были самые радужные.

Через несколько месяцев у него сложились приятельские отношения с компанией студентов-третьекурсников. Кузнецову очень льстило, что такие взрослые ребята относятся к нему как к равному, зовут к себе в гости, едут с ним вместе из института. На этой почве у Петра произошло охлаждение с товарищами по общежитию. Он сам не говорил об этом или говорил очень глухо, но, по-видимому, Петр стал задирать перед своими сокурсниками нос и оказался несколько изолированным.

Глава компании третьекурсников носил фамилию Фуркасов. Он жил один в большой квартире в высотном доме. Дело в том, что отец его был не то советником посольства, не то атташе в одной из европейских стран, и в Москву родители приезжали редко. Квартира была большая, как будто нарочно приспособленная для всяческих вечеринок. Через некоторое время, видимо проверив, заслуживает ли Кузнецов доверия, стали и его на эти вечеринки приглашать. О том, что происходило на вечеринках, Кузнецов почти ничего не рассказывал. Впрочем, на прямые вопросы Ладыгина он вынужден был ответить, что там пили довольно много и вообще что там происходило всякое. По-видимому, эти молодцы многое себе позволяли. Меня в рассказе Кузнецова поразила одна подробность.



Оказывается, что бы ни происходило в квартире, хозяин требовал одного: перед тем как разойтись, гости должны были привести квартиру в идеальный порядок. Это называлось «уборочная кампания». Убирали тщательно, и через два-три часа невозможно было предположить, что тут всю ночь шла гулянка.

Может быть, я не прав, но мне эта рассудочная осторожность кажется ужасной. Ведь все делалось не из любви к порядку, а на всякий случай: вдруг неожиданно приедут родители, вдруг придет кто-нибудь, кого нельзя не пустить? В этом обнаруживается, по-моему, обостренная забота о конспирации. Все следы должны быть скрыты. Значит, очевидно, было что скрывать.

Что привлекало Кузнецова в этой компании? Вероятно, то, что в институте и общежитии он казался себе мальчишкой, а здесь чувствовал себя взрослым.

Что привлекало эту компанию в Кузнецове? Может быть, им просто нравилось, с каким восторгом он на них смотрел. Нравилось перед ним красоваться. К тому же, вероятно, он был посвящен только в небольшую часть их приключений, может быть, самую безобидную часть.

Однако несчастья Кузнецова начались не в этой квартире, а за городом, на лыжной вылазке. Лыжные базы были у курсов разные, и Кузнецов очень возгордился, когда Фуркасов предложил ему ехать не со своим курсом, а с ними, третьекурсниками. Между прочим Кузнецов упомянул, что ребята из его общежития очень иронически относились к компании Фуркасова. Правда, он считал, что ребята ему просто завидуют: их небось старшекурсники не приглашают.

Итак, поехали в субботу вечером с расчетом вернуться вечером в воскресенье. Оказалось, что прихватили довольно много водки. Утром все проснулись с головной болью. За завтраком еще немного выпили и отправились на лыжах.

В этой большой компании было только двое первокурсников: Кузнецов и Семен Корнеев. Корнеев считался очень способным парнем. С третьекурсниками его познакомил Кузнецов. В вечеринках он ни разу не принимал участия и в первый раз поехал с третьекурсниками на вылазку.

Как рассказывал Кузнецов, все началось с того, что Фуркасов с компанией стали приставать к девушкам из энергетического. Девушки позвали на помощь своих ребят, энергетиков. Энергетики за них вступились. Произошла небольшая драка, и фуркасовцы потерпели полное поражение. Для Корнеева и Кузнецова все это выглядело так: издали они видели, что фуркасовцы дерутся с какими-то парнями, потом прибежал Фуркасов, сказал: «Наших бьют» – и сунул Корнееву в руку нож. Корнеев и Кузнецов помчались спасать своих. По дороге Кузнецову тоже кто-то сунул нож в руку. Коротко говоря, Корнеев всадил нож в какого-то парня. В кого, за что, кто был виноват, он не знал. «Наших бьют» – вот все, что ему было сказано.

Девушки, из-за которых началась драка, привели милицию. Задержали Корнеева и Кузнецова. У обоих были ножи в руках. Оба считали не товарищеским выдавать тех, кто им дал ножи. Корнеев получил пять лет, а не больше, потому только, что раненый остался жив. Кузнецов получил два года условно. Фамилия Фуркасова на суде не была помянута, и никто из его компании на суд не пришел.

Конечно, неприятно в девятнадцать лет иметь судимость. Однако, в конце концов, условное осуждение можно выправить. Можно поблагодарить судьбу за урок и больше никогда не совершать ничего бесчестного, не говоря уже о преступном. Однако это оказалось только началом.

Во время следствия Кузнецов сидел в тюрьме. Вот именно тут он и познакомился с Клятовым. Согласно справке из Москвы, Клятов сидел по подозрению в краже и в дальнейшем, на суде, был оправдан. Зная клятовскую изворотливость, можно предположить, что он был виноват и просто ему удалось выйти сухим из воды.

Естественно, что в тюрьме Кузнецов был в ужасном состоянии. Ему казалось, что жизнь кончена, что отныне он человек отверженный, что с порядочными людьми ему теперь дело иметь нельзя. Особенно мучила его мысль о родителях и Вале. В это время он даже не очень думал об институте. Он внутренне примирился с тем, что института ему не видать как своих ушей. А вот мысли о родителях и Вале очень его мучили. По дурости он делился своими мрачными мыслями чуть ли не со всей камерой. Кажется, всем без исключения рассказывал он о том, как боится, что родители и невеста узнают об этой истории.

Клятов, оказывается, тоже когда-то жил в Энске, и с ним Кузнецов, пожалуй, был откровеннее, чем с другими. Слушал Клятов очень внимательно и постепенно выведал всю подноготную. Он расспрашивал и про Валю и узнал, что она работает в сберегательной кассе, которая находится рядом с кинотеатром. Словом, разведал много фактов, которые, казалось бы, никому вреда принести не могли.

Должен заметить, что правилен закон, к сожалению

принятый позже истории, о которой я рассказываю. Теперь запрещено держать в местах заключения вместе рецидивистов и людей, совершивших преступление в первый раз. Мне кажется, что это место в рассказе Кузнецова заставляет задуматься еще об одном. Ведь очевидно, что Корнеев и Кузнецов не были хулиганами. Очевидно, что ножи им подсунули настоящие мерзавцы, по подлой хитрости никогда не переходящие грань преступления. Ведь и у Корнеева и у Кузнецова было чувство, что они совершают благородный поступок: наших бьют — мы защищаем наших. Чего уж, кажется, благородней.

Что, всякая драка — преступление? Ерунда. Если девушку, женщину, старого человека, инвалида обижают хулиганы, убежден, что драться надо. Но нельзя драться пьяному и возбужденному человеку, который не может понять, кто на кого нападает и кого от кого следует защищать. Я думаю также, что надо вычеркнуть из сознания людей нож как оружие драки. Пусть памятью о драке будет синяк под глазом, но не смерть.

Я не мог не сделать этого отступления, хотя понимаю, что сказать «поножовщина ужасна» — совсем не значит уничтожить поножовщину.

Как только Кузнецова освободили, он подал в институт заявление, что просит его отчислить, и взял бумаги.

Думаю, что это было довольно трусливым поступком. Вполне вероятно, что его бы не исключили. Тогда вся история стала бы ему только хорошим уроком. Но у Кузнецова не хватило силы воли пойти к ректору и спросить: может он дальше учиться или нет?

Кстати, интересная подробность: из бывших своих то-

варищей Кузнецов решился позвонить только одному – Фуркасову. Он не хотел появляться в общежитии и просил забрать его чемодан. Соседям по общежитию звонить было стыдно, а с Фуркасовым, считал Кузнецов, они в какой-то мере соучастники.

Фуркасов ответил, что в общежитие не поедет, и дал понять, что с таким мерзавцем, как Кузнецов, дела иметь не желает. В параллель следует привести другую деталь: бывшие товарищи Кузнецова по общежитию, к которым он так и не зашел, прислали месяцем позже в Энск письмо, в котором очень ругали его за то, что он не простился и, главное, за то, что ушел из института. Они предлагали даже поговорить в ректорате, нельзя ли ему восстановиться.

Дальше я цитирую свои записи, сделанные на суде:

*Ладыгин.* Что вы им ответили?

*Кузнецов.* Я им ничего не ответил.

*Ладыгин.* Почему?

*Кузнецов.* В тюремной камере я больше всего боялся, что скажут отец, мать и моя невеста Валя. Клятов мне объяснил, что нужно самому взять из института бумаги, не ожидая исключения, и сказать дома, что я ушел из института сам. Техника, мол, не мое дело, и я желаю учиться, скажем, истории.

*Ладыгин.* Вы послушались Клятова?

*Кузнецов.* Да, послушался.

Дальше Кузнецов рассказал, что все у него устроилось удивительно гладко. Отец, немного поворчав, согласился на перемену института и поставил только одно условие: до поступления в институт Петр должен работать. Кузнецов поступил администратором в кинотеатр «Космос». Жизнь,

как говорится, входила в колею. Кузнецову уже казалось, что история, случившаяся в Москве, закончена, похоронена и никаких последствий иметь не может. Но однажды поздно вечером, когда он, закончив работу, подходил к дому, его окликнул Клятов.

## Глава пятидесятая

### *Как увяз коготок*

Вероятно, Клятов специально подстерег Петра у подъезда. Но он сделал вид, что встреча произошла случайно. Он вел себя так, как будто встретились старые друзья. Как будто счастливый случай свел их на темной улице. Кузнецов так растерялся, так боялся, что кто-нибудь из домашних увидит их вместе, что считал самым важным увести Клятова подальше от подъезда. Это удалось без особенного труда. Они долго ходили по улицам. Клятов жаловался на скверные свои обстоятельства, на несчастную свою жизнь и выпросил у Петра двадцать рублей. Кузнецов говорил, что если бы у него было с собой двести, он бы отдал их с удовольствием, так ему хотелось от Клятова избавиться. Может быть, Петр сам ему сказал, что работает в кинотеатре «Космос». Может быть, Клятов как-нибудь разузнал это. Во всяком случае, через три дня он позвонил в кинотеатр по телефону. Он сказал, что необходимо увидеться по очень важному делу. Кузнецов боялся, что, если он не согласится на свидание, Клятов придет к нему домой или в кинотеатр. Поэтому он согласился встретиться на улице.

Они встретились на ближайшем углу и пошли по темным переулкам, всячески избегая света. Сначала разговор был мирный. Клятов расспрашивал, как живет Петру в Энске и как уладились его отношения с родителями. И все-таки с самого начала Кузнецов чувствовал, что встреча эта непростая, что снова к нему протянулись цепкие руки из того прошлого, которое казалось навечно похороненным. Чувство это не на пустом месте возникло. Петр отлично понимал, что не стал бы Клятов так уж интересоваться его судьбой. Что не случайной была встреча у подъезда и не без причины придал он ей видимость встречи неожиданной. Да, в камере предварительного заключения, раздавленный навалившимся несчастьем, мог Кузнецов открыть Клятову обстоятельства, которые того совершенно не касались. Но с той поры было время подумать. Кузнецов великолепно понимал, что Клятов профессиональный преступник и не станет тратить время на то, чтобы бескорыстно слушать горестные излияния какого-то там студента. Не станет без всякой цели беспокоиться о чужих делах и с таким интересом о них расспрашивать.

По-видимому, страх перед предстоящим разговором внутренне сломил Петра еще до того, как этот разговор начался.

Выяснив, что родители ничего не знают об осуждении и что совет скрыть от них всю происшедшую в Москве историю оказался правильным, Клятов перевел разговор на Валю.

Этот мерзавец умел расспрашивать. И Кузнецов снова оказался игрушкой в его руках. Когда Клятов спросил, по-прежнему ли работает Валя в сберегательной кассе, в

его голосе звучала такая искренняя заинтересованность, что даже если бы Кузнецов во сто раз лучше знал этого человека, он все равно поверил бы, что Клятов интересуется им и всеми людьми, которые ему, Петру, дороги.

Кузнецов ответил, что да, Валя работает там же.

– Слушай, Петр, – обрадовался Клятов, – ты же можешь для меня узнать одну штуку!

Это было сказано таким легкомысленным тоном, как будто речь шла о том, чтобы узнать, в котором часу начинается сеанс в кинотеатре. И все-таки у Петра упало сердце. Он понял, что начинается разговор, ради которого и состоялась встреча.

– Какую штуку? – спросил Петр.

– Ерунда. Живет в городе такой старикан Никитушкин. Ты слышал о нем?

– Слышал.

– Сейчас он на пенсионе. А капиталы по старой памяти держит в сберкассе у твоей Вали. Старичок задумал купить «Волгу» и на днях должен снять свои капиталы. Все ли, не знаю, но все-таки «Волга» не копейки стоит. Значит, сумма заметная. Я бы тебе спасибо сказал, если б ты меня известили, когда он подпишет расходный ордер.

– Я не могу этого сделать, – сказал Кузнецов. – Ты сам знаешь: тайна вклада. Да и как я объясню Вале, почему это меня интересует? И потом, зачем тебе это знать?

– А тебе зачем знать, зачем мне знать?

Он задал этот вопрос веселым тоном. А у Кузнецова сердце сжималось от тоски. Он великолепно понимал, что оказался в цепких руках. Не согласится – Клятов пригрозит тем, что расскажет отцу о московских делах. Он пока не





угрожал, но понятно было, что в случае отказа будет угрожать.

– А ты шуточкой, – сказал он. – Мол, поспорил с товарищем на пять рублей, что за два дня скажешь, когда инженер машину купит. Почему ж любимому человеку не помочь пять рублей выиграть?

Кузнецову был невыносим этот развязный, веселый тон.

– Слушай, Андрей, – сказал он, – скажи все-таки: зачем тебе это нужно знать?

– А тебе зачем это нужно знать? – повторил Клятов идиотскую шутку. И потом сказал другим, деловым, серьезным тоном: – Двое ребят хотели бы у инженера одолжить денег и тысячу рублей дадут мне, если я сообщу им, когда эти деньги у инженера будут дома. Из этой тысячи пятьсот мне за комиссию, пятьсот тебе за информацию.

Петр начал уверять, что Валя ни за что не скажет, когда Никитушкин возьмет деньги, потому что это тайна вклада, охраняемая законом. Клятов рассмеялся и сказал, что какая же это, мол, любовь, если от любезного друга даже такой пустяк скрывают. Потом Клятов сказал:

– Вот что, Петр, довольно мы с тобой в игрушки играли. Я тебе друг, а ты мне другом не хочешь быть. О такой ерунде раз в жизни тебя попросил, и то отказываешься сделать. Ты знай – друзьям я верный друг, а врагам я злой враг. Если инженер машину купит, а я об этом заранее знать не буду, то твой папаша получит письмо. Мол, пишет вам, уважаемый педагог, бывший блатной, ныне избравший честную трудовую дорогу Андрей Клятов. Страшно я был огорчен, узнав, что ваш сын упорно скры-

вает от вас, что был осужден за поножовщину и из института за это исключен.

На улице, по которой они шли, было мало фонарей. Но все-таки изредка они попадались. Так вот эту свою фразу Клятов произнес, остановившись у фонаря, и свет падал ему на лицо. Верхняя губа его поднялась, обнажив зубы, как у злого зверька. И весь он как-то изменился. Теперь он был сильный и беспощадный. Кузнецов чувствовал в ту минуту, что Клятов может перекусить горло.

А Клятов, наверное, увидел, что достаточно своего попутчика напугал, снова стал добродушным, веселым, даже дружелюбным.

— Ты пойми, друг, — сказал он, — риска для тебя никакого. Барышня твоя сама молчать будет, потому что закон нарушила, служебную тайну разгласила. Ограбят твоего инженера или не ограбят — это не наше с тобой дело, мы тут ни при чем. А пятьсот рубликов — деньги хорошие. Можешь со своей барышней на курорт поехать, можешь вообще в другой город укатить. Прошу, мол, папаша, прощения, желаю проявить волю, жить с Валею самостоятельно. А какие, Петя, города в Советском Союзе есть. Картинка!

Не городами он, конечно, соблазнил Петра. Решился Кузнецов, вероятно, потому только, что думал: еще одну подлость совершу и буду свободен. Из осторожности все-таки он спросил:

— Хорошо, допустим, я узнаю у Вали и сообщу тебе. А ты завтра еще чего-нибудь потребуешь.

— Чудак человек, — сказал он, — чего ж я могу требовать? Тогда уже я у тебя в руках буду, а не ты у меня. Чуть что —

сообщишь, мол, Клятов выведал у меня в случайном разговоре, что Никитушкин такого-то числа деньги забрал. Стало быть, он участвовал в ограблении. И все. Мне как рецидивисту крышка, а тебе еще благодарность вынесут: следствию помог.

Короче говоря, Кузнецов согласился. Условились они, что каждый вечер будет Клятов звонить в кинотеатр. И что, узнав от Вали, что Никитушкин взял деньги, Петр ему скажет: «Фильм будет у нас идти с такого-то числа». Кроме того, условились, что каждый свой выходной с десяти до одиннадцати утра Кузнецов будет дома ждать его звонка.

Кузнецов понимал, что он в лапах у Клятова. Понимал, что вслед за этим требованием или просьбой будут еще другие требования или просьбы. Понимал, что будет запутываться все больше и больше. Чего же, кажется, проще: пойти к отцу и все рассказать. И кончилась бы власть Клятова.

– Однако вы не пошли к отцу и не рассказали? – спросил Ладыгин.

– Да, не пошел, – помолчав, согласился Кузнецов.

– Почему?

– Не решился.

– Опять отгоняли от себя неприятности? Лишь бы сейчас обошлось дело. А там видно будет, – сердито сказал Ладыгин. – Так или нет?

– Так, – хмуро подтвердил Кузнецов.

На следующий день Петр рассказал Вале историю о пари, которое он будто бы заключил с каким-то приятелем. Спор будто бы шел о том, кто раньше узнает, когда Никитушкин получает машину.

Валя всему поверила. В течение трех дней каждый вечер звонил Клятов, на четвертый день Валя зашла в «Космос» после работы и сказала, что Никитушкин по телефону заказал на завтра шесть тысяч рублей.

Через четверть часа позвонил Клятов.

— Да, — сказал Кузнецов, — с завтрашнего дня картина будет у нас идти.

— Что вам мешало обмануть Клятова? — спросил Ладыгин. — Вы могли сказать, что пока новостей никаких нет. Через два дня деньги были бы внесены в магазин, и пусть бы Клятов кусал себе локти.

— Я боялся Клятова.

— Вы могли объяснить, что Закруткина захворала и не была на работе.

— Мне не пришла эта мысль в голову.

— Не пришла, потому что вы не искали эту мысль. Рассказывайте дальше.

Даже по телефону, по тому, каким довольным голосом Клятов прощался, Петр почувствовал, что он очень обрадован. Рад был и Петр. Ему казалось, что наконец-то он освободился от проклятого дела. Он не хотел думать о стариках и о том, чем это им угрожало. Сам себя он утешал тем, что, в конце концов, жил сын Никитушкина до сих пор без машины, проживет и дальше. Люди получше его ездят на троллейбусах и автобусах и не горюют. Ну, поволнуются старики и успокоятся. Ничего особенного. А для него, Кузнецова, это спасение. Теперь пусть попробует Клятов еще приставать с просьбами! Он даже думал о том, что, вероятно, Клятов предпочтет после ограбления скрыться и, стало быть, вообще исчезнет из его жизни.

– Скажите, Кузнецов, – спросил Ладыгин, – вы понимали, что Клятову нужно знать, когда Никитушкин возьмет деньги в сберкассе, для того, чтобы ограбить его?

– Да, понимал, – ответил, поколебавшись, Кузнецов. – Я только не думал, что это будет связано с убийством.

– А то, что стариков ограбят, вас не волновало?

– Я старался не думать об этом.

– О чем же вы думали?

– Мне казалось, что все страшное позади. Прошрое похоронено. Годик подожду, потом буду держать в пединститут. Потом мы с Валеу поженимся и уедем куда-нибудь.

– А как вы собирались, – спросил Ладыгин, – использовать те пятьсот рублей, которые вам причитались от Клятова?

– Я решил, что мы с Валеу поедем в Сухуми, будем купаться в море.

– То есть у вас было прекрасное настроение?

– Да. Из песни слова не выкинешь. Два дня у меня было хорошее настроение. А на третий день вечером в кинотеатр явился Клятов.

– Значит, Рукавишникова не обозналась?

– Да, не обозналась. Это был именно он. Я помертвел, когда его увидел. Хорошо еще, что Валеу он не застал: она ушла на четверть часа раньше. Мы вышли на улицу и разговаривали, стоя под фонарем. Я был так сердит, что даже не думал о конспирации. Прежде всего я обрушился на него с упреками. Он меня выслушал совершенно спокойно и спросил, кончил ли я. Я резко ответил, что кончил и что пусть он уходит, я знать ничего не хочу. Тогда он мне спокойно сказал:

«Пойдем в местечко потемнее, поговорим, а то здесь уж больно мы на виду».

Как ни хвалился я перед самим собой, что вышел сухим из воды, избежав все опасности, а все-таки он приобрел надо мной не очень понятную мне самому власть. Иначе не объяснишь, почему, считая, что все наши с ним общие дела закончены и, стало быть, говорить не о чем, я все-таки за ним пошел. Он так уверенно повернулся и зашагал не оглядываясь, маленький, крепкий, несомневающийся, что я иду сзади. Просто невозможно было не пойти за ним. Мы дошли до сквера, пустынного в этот час, и сели на скамейку в густой тени.

«Вот что, Петр, – сказал он, – мы пойдем сейчас с тобой брать у Никитушкина шесть тысяч. Товарищ, с которым мы должны были идти, заболел, и больше мне пригласить некого».

Я помню, как поразило меня слово «пригласить». Как будто речь шла о прогулке, о танце, о вечеринке...

«Имей в виду, – продолжал Клятов, – что тебе повезло. Дело легкое и верное. Старики беспомощные, деньги сами отдадут, а не отдадут – припугнем. И шесть тысяч наши. По три на брата. Ну, меня еще, может, и будут подозревать, но тоже ерунда, доказать надо, а ты-то уж чист, как ангел небесный. На тебя никто и подумать не сможет».

Я стал отказываться, но он все мои возражения легко опровергал. Я сказал, что нет оружия. Он вынул из кармана кастет и протянул мне. Я сказал, что нужны перчатки, потому что, как все мы теперь знаем, на вещах остаются отпечатки пальцев. Он усмехнулся и вынул из кармана две пары перчаток. Я сказал, что нужно закрыть лицо, а то

потом встретят на улице и узнают. Он протянул мне большой черный платок и показал, как его завязывать так, чтобы лица совсем не было видно.

Ни одного возражения, так сказать, по существу дела я не высказал. Мне просто ничего такого не пришло в голову. Как будто я был старый, опытный уголовник, которого удерживают только сомнения в том, достаточно ли хорошо подготовлено очередное преступление.

Тем не менее Клятов понял, что угрозы открыть родителям мою московскую судимость может оказаться недостаточно. Он двинул следующую шашку, раньше стоявшую в резерве.

«Имей в виду, Петр, – сказал он, – если мы пойдем с тобой вместе, все старое закрывается. Если ты откажешься – придется мне одному пойти. Одному, правда, будет трудней, зато сумма удвоится. Но тогда уж не обижайся. И родителю напишу всю правду, и в милицию сообщу, что, мол, навел меня на квартиру Никитушкиных Кузнецов Петр Николаевич, администратор кинотеатра «Космос».

«Как это – навел?» – спросил я растерянно.

«Ишь ты, какой младенец! – удивился Клятов. – Ты по моей просьбе узнал через свою невесту, какого числа Никитушкин получает в сберкассе деньги, и сообщил мне. Так? Твоя Валя тоже понесет ответственность, но о ней разговор особый. А ты – прямой соучастник. Судить тебя будут вместе со мной. – Клятов процитировал наизусть: – «Соучастниками преступления, наряду с исполнителем, признаются организаторы, подстрекатели и пособники». А что такое пособник, знаешь? «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления сове-



тами, указаниями». Указаниями! А кто указал, когда у Никитушкиных будут дома деньги? Ты указал. Значит, и судить нас будут вместе. Ну, может, ты на год-другой меньше меня получишь. Хотя ты ведь тоже рецидивист, так что и это учтут. Мне все равно из Энска смываться. Так почему же на прощание свинью старому товарищу не подложить!»

Впервые я понял, в какой попал капкан. У меня голова закружилась от ужаса и отчаяния. И никакого выхода не было.

– Скажите, Кузнецов, – спросил Ладыгин, – а вы не подумали, что у вас есть очень простой выход: твердо ответить Клятову «нет», дойти до ближайшей милиции и предупредить, что Клятов идет грабить Никитушкиных. Почему вы не поступили так?

– Мне не пришла в голову эта мысль.

– Эта мысль опять-таки не пришла вам в голову, потому что вы ее не искали. Рассказывайте дальше.

Теперь Кузнецов больше не нуждался в наводящих вопросах. Он говорил не останавливаясь. Он как будто сам вспоминал все подробности того вечера, все чувства, тогда его волновавшие. Странное ощущение вызывал его рассказ. Он как будто говорил искренне, взволнованно. Как будто сам себя осуждал, с раскаянием вспоминал тогдашние свои поступки. Все это могло бы внушить сочувствие, если бы... Если бы не то, что и я и, наверное, все сидящие в зале помнили все время об одном: врет Кузнецов, что положение у него было безвыходное. Был у него выход, и даже очень простой. В сущности говоря, пустяки пугали его. Страшно признаться в том, что был он условно осуж-

ден на два года. Страшно признаться в том, что сказал Клятову, когда Никитушкин взял деньги в сберкассе. А то, что он идет на разбой, если и пугало, то гораздо меньше. Значит, мозг его не очень боялся преступления. В крайнем случае, был на него согласен Наказание, конечно, боялся. Но что ж наказание... Если все сделать умненько, может, и не поймают.

Поэтому зал внимательно, взволнованно, но не сочувственно слушал его вызывающий к сочувствию рассказ.

— Что говорить, — продолжал Кузнецов. — Клятов вытащил бутылочку из кармана, мы выпили, причем он внимательно следил, чтоб я выпил в меру, захмелел, да не очень, сказал, что потом еще даст: у него припрятано, и мне уже казалось, что ничего страшного нет. Что ж такого, возьмем у людей лишние деньги, которые им не нужны, которые они, в сущности говоря, выбрасывают, покупая машину не себе даже, а сыну, молодому, здоровому человеку. Клятов доказывал, что это ловкое и смелое дело, что мне исключительно повезло, что опытные рецидивисты за такими делами гоняются и редко когда получают, а мне прямо на блюдечке поднесли все готовенькое. И я уже соглашался с ним. Мне тоже казалось, что от такого дела только дурак откажется и что мы с Клятовым молодцы, ничего не боимся и берем свое там, где его находим. Померили перчатки. Мне мои были хороши. Радовались, что вот как будто на меня специально. Попробовал надеть кастет на перчатку, и он вошел свободно, и Клятов ахал и говорил, что прямо как на меня сделан. И мы отправились.

Часть пути проехали на автобусе. Я вошел спереди, он сзади, как будто мы не знакомы. Последние две остановки

прошли пешком. Поселок уже спал. Почти во всех домах свет был погашен. Остановились под большим деревом. Клятов вытащил из кармана еще бутылку, – не понимаю, где у него помещалось столько бутылок? Надели перчатки, завязали на лицах платки; на правую перчатку я надел кастет. Выпили еще, потом Клятов сказал: «Ну, с богом». Мы подошли к дому, и Клятов позвонил в дверь...

## Глава пятьдесят первая

### *«Монтер... Монтер...»*

– По чести сказать, я очень боялся. Разные чудились мне ужасы. Я представлял себе, что в квартире у Никитушкиных сидит засада работников милиции. Почему-то слышалось мне, как щелкают наручники, хотя я никогда не видел их, кроме как в кино, и не слышал, как они щелкают. Клятов, наверное, догадывался о моем состоянии и шепнул:

«Веселей, веселей, Петька».

Наконец за дверью послышались шаркающие шаги.

«Кто там?» – раздался женский голос.

«Телеграмма», – ответил Клятов.

Довольно долго отпирали дверь. Наконец она открылась. Перед нами стояла седая старушка с добрым лицом, в длинном, почти до пола, халате. Мы оба быстро вошли в квартиру: Клятов впереди, я сзади. Напоминаю: лица у нас были завязаны черными платками. Мы оба были в перчатках, у меня были желтые – на правой отчетливо виднелся черный кастет.

Очень ясно я помню, как менялось лицо у Никитушкиной. Сперва оно было добродушное, спокойное, готовое пошутить, поблагодарить. И вдруг оно стало растерянным, непонимающим, а еще через секунду испуганным. Широко открыв рот, она слабым, старушечьим голосом закричала. Этот крик тянулся на одной ноте бесконечно. Она отступила на два шага от нас, и остановилась, и стояла не двигаясь, и все тянула и тянула эту бесконечную ноту... Переводила дыхание и снова ее тянула.

Нет, она не звала на помощь. Кто бы его услышал, этот слабый, старушечий крик, тем более что Клятов аккуратно закрыл наружную дверь?...

«Замолчите, мамаша, – сказал он спокойно и кинул мне: – Дай ей, Петр, чтоб замолчала». Почему я ее не убил?

Я был до того взволнован, до того взвинчен и, наверное, до того хмелен и от водки и от страха, что не смогу спокойно и обстоятельно объяснить причины своих поступков. Думаю, однако, что не убил потому только, что очень жалобно она кричала. Она все тянула эту непереносимо долгую, непереносимо тоскливую ноту.

Тогда Клятов ударил ее кастетом в висок. Мне показалось, что не сильно. На самом деле это, наверное, не так. Никитушкина упала и больше не шевелилась.

Кажется, Клятов сам испугался.

«Черт, – сказал он негромко, – неужели убил?»

Мы оба наклонились над ней. Да, она не шевелилась и не дышала.

Я рассказываю долго. На самом деле все происходило очень быстро.

Через полминуты нас уже перестала интересовать Никитушкина. Нам нужно было скорее брать деньги.

«Пошли», – сказал Клятов.

Мы повернулись к двери и остановились. Старик в халате и туфлях стоял в дверях. Мы не слышали, как он вошел. Я очень боялся встретиться с ним глазами. Но старик на нас не смотрел. Он смотрел на жену, лежавшую на полу. Шлепая туфлями, он пошел прямо к ней, не обращая на нас никакого внимания. Он прошел мимо и, кажется, нас не видел. Он наклонился над старухой и очень ласковым, добрым голосом сказал: «Аня». И вдруг сел рядом с ней на пол. Он сидел, гладил ее по голове и очень тихо повторял: «Аня, Аня...»

В пустой, ярко освещенной передней, в которой все происходило, денег, конечно, быть не могло. Деньги надо было искать в комнате. Но нельзя было оставить здесь старика. Он мог прийти в себя, открыть наружную дверь и позвать на помощь.

Вероятно, в комнату должен был идти Клятов, а мне следовало остаться со стариком. Но в это время у Клятова с лица упал платок и он замешкался.

Мне так было все непереносимо, так хотелось скорей убежать отсюда, скрыться куда-нибудь, что я не вытерпел и побежал в комнату.

Как спокойно и уютно было в этой комнате! Две кровати стояли рядом, и над каждой горело бра. И книжки лежали на тумбочках. Вероятно, старики перед сном читали. А у окна поместилось большое старинное бюро. Кажется, я сколько-то времени простоял, ошеломленный этим ощущением устойчивого покоя, нормальной, размеренной жизни и страшного контраста с этим покоем, который внесли сюда мы.

Не знаю, сколько времени я простоял. Секунда равнялась часу, час равнялся секунде. Я слышал, что мне из передней кричит Клятов: «Давай скорей, Петр!» Я кинулся к бюро и начал торопливо отодвигать и задвигать ящики. Я все думал, что в каком-нибудь из них лежат деньги, и обязательно на самом верху. У меня было только одно желание – поскорее схватить эти деньги и убежать. Куда угодно, но убежать. Честное слово, если бы я был один и мне бы удалось уйти с деньгами, я бы, наверное, выбросил эти деньги в первую же канаву.

Ни в одном ящике денег не было. Во всяком случае, наверху. Рыться в ящиках я был не в силах. Не знаю, сколько времени это могло занять. А у меня, повторяю, было одно желание – поскорее кончить все и бежать.

Когда все ящики были обысканы, я отчаялся и решил, что будь оно все проклято, не хочу я этих дьявольских денег. Только одна мысль была у меня в голове: бежать, бежать. И вдруг я увидел, совершенно случайно увидел, что деньги лежат просто на столе. Несколько заклеенных пачек, перевязанных крест-накрест веревочкой.

Я схватил этот пакет, пытался засунуть его в карман. Он не лез. Потому ли, что был слишком толстый, или потому, что у меня тряслись руки. Я выскочил в переднюю. Ники-тушкин по-прежнему сидел возле жены. Перед ним стоял Клятов. Он завязывал платок на лице. Очевидно, я отсутствовал совсем недолго – минуту, две, может быть.

Старик, по виду совершенно спокойный, сидел на полу, спиной прижавшись к стене, вытянув на полу ноги, и очень тихо повторял, глядя на Клятова: «Монтер, монтер, монтер...»

Я очень испугался. Клятова старик узнал, подумал я, поймают Клятова, до меня доберутся. Впрочем, не знаю, подумал ли я это. Подумал ли я вообще что-нибудь. Слышу, Клятов мне говорит: «Успокой старика, Петр». Я взмахнул правой рукой, на которой был кастет, и, мне казалось, очень легко коснулся головы старика кастетом. Старик даже не охнул и плавно опустился – не упал, а опустился на пол.

Кажется, мы сразу выскочили на улицу. Мы так торопились, что даже не закрыли за собой дверь. Мы сразу свернули в проход между домами. Этот проход вел в лес. Поселок Колодези окружен лесом. Мы сперва побежали, а потом, когда стали задыхаться, быстро пошли по лесу. Не помню, сколько мы прошагали, вероятно, километра два или три. Наконец, мы оказались на полянке. Ночь стояла лунная. Видно было почти как днем.

«Черт тебя дернул старика ухлопать! – сказал Клятов. – Впрочем, оно и лучше. Теперь надо сматывать удочки. Сколько ты денег взял?»

Я протянул ему пакет. Он быстро пересчитал заклеенные пачки. Аккуратненько вынул одну и положил себе в карман. Остальные вернул.

«Я уезжаю, – сказал он, – первым поездом. Эти деньги я оставляю тебе на сохранение. Не вздумай только шутки шутить, а то ты меня знаешь. Тебе советую до города идти пешком. А еще лучше, если дойдешь до самого дома. У тебя другой костюм есть?»

«Есть», – сказал я.

Меня охватила такая слабость, что я еле стоял на ногах. Оглядевшись, я увидел на полянке пенек и сел на него. Клятов подошел ко мне.

«Ты что, сдурел, Петр?– спросил он. – Слышишь, что я говорю?»

«Слышу», – не очень внятно пробормотал я.

«И запомнишь?»

Я молча кивнул головой: мне трудно было говорить.

«Так вот, – очень отчетливо и ясно сказал Клятов, – деньги пересчитаешь. Тысячу я взял. У тебя осталось пять. Половина – три тысячи – твои. Две – мои. Со своей долей делай что хочешь. Насчет моей доли жди указаний. Мне здесь показываться нельзя. Не та репутация. Я тебе дам знать, когда деньги понадобятся. Намеком, конечно. Ты поймешь. Имей в виду, ты вне подозрений. За тобой следить не будут, так что не бойся. Деньги лучше спрячь дома. В твоей квартире никто их искать не будет. Если встретимся, друг друга не знаем. На всякий случай запомни, что имя и фамилия у меня будут другие».

«Какие?» – спросил я слабым голосом. Все время я чувствовал себя очень плохо. К горлу подкатывала тошнота.

«А это, Петр, тебе незачем знать. Иди сейчас в ту сторону. Вон, видишь, башня? Это ретрансляционная. Дойдешь до башни, увидишь шоссе. По шоссе налево. И помни: шагай пешком. Тут недалеко – километров семь до твоего дома. А мне в другую сторону. И помни: деньги зажилить лучше не пробуй, а то я тебе такую жизнь устрою, что волком взвоешь... Прощай».

Он повернулся и сразу исчез за деревьями. Я понимал, что надо идти, что здесь ни в коем случае нельзя задерживаться, но не мог встать. Я готов был отдать всю свою жизнь, чтобы только не было в этой жизни последнего часа.



Я гнал от себя все мысли о Никитушкиных, об их мирной квартире, о старческом их покое, который теперь навсегда нарушен. Но разве же эти мысли прогонишь! Они, как нарочно, лезли в голову, да не просто, а, как бы сказать, картинками. Безжизненное тело Никитушкиной, старик, сидящий на полу, бра над стоящими рядом кроватями. Кажется, еще никогда в жизни воображение не создавало мне таких отчетливых и ясных картин. И вдруг я вздрогнул. Передо мной опять стоял Клятов. Я думал, что это тоже мне только представляется, но он заговорил, и я понял, что он реальный человек.

«Ты у меня зажигалку не брал?» – спросил он.

Я отрицательно мотнул головой. Говорить я был не в силах.

«Потерялась где-то. Может, там? (Я молчал.) Ну и черт с ней! Зажигалка-то груздевская. Найдут – пусть на него и подумают. Да, забыл сказать, – проговорил он так же отчетливо и ровно, как говорил все в эту проклятую ночь, – денег пока не трать, разве что пять, десять рублей. И не сиди здесь, а то тебя возьмут прямо на месте. Вставай и иди. И по шоссе, где можно, шагай лесом, чтоб тебя с проезжей машины не увидели. Ну, вставай, вставай, нечего...»

Он поднял меня, повернул лицом к ретрансляционной башне, которая виднелась за деревьями, и даже слегка подтолкнул.

Я пошел, и сначала ноги у меня подгибались, но потом я шагал уже довольно ровно. Когда полянка кончилась, я обернулся. Клятова не было. Он в эту ночь обладал таинственной способностью внезапно появляться и исчезать.

Шоссе было пустынно, машины проезжали очень редко. Когда до меня доносился шум мотора, я отходил в лес и прятался за деревьями. О чем я думал? Кажется, только о том, что все позади. Мне снова казалось, что если я хорошенько зачеркну пережитую мной сегодня страницу, то она исчезнет совсем. Как будто ее и не было. А ведь у меня был уже опыт. И печальный опыт. Однажды мне уже казалось, что я забываю лыжную прогулку, и поножовщину, и тюрьму, и суд, как вдруг неожиданно, в одну секунду все эти, казалось, забытые картины свеженькими встали перед моими глазами. И все-таки, вопреки урокам, полученным мною от жизни, я снова надеялся, что все уже кончено, все прошло и, если только мне удастся, не попадаясь особенно на глаза, добраться до своего дома, я снова стану человеком без темных пятен в прошлом, со светлыми надеждами в будущем.

Часа, вероятно, в три ночи я дошел до дома. Я, кажется, никого не встретил. С улицы я посмотрел на окна нашей квартиры и увидел, что света нет. Значит, все уже легли спать. Я поднялся по лестнице, вставил ключ в замок и отворил дверь. К счастью, она не была заперта на цепочку. Очень тихо, никого не разбудив, я прошел в свою комнату, тщательно запихал деньги в самую глубину ящика письменного стола, постелил постель, аккуратно сложил и повесил костюм и лег спать.

Заснул я сразу же. К моему удивлению, никакие кошмары меня не мучили. Проснулся я в хорошем настроении. Мне казалось, что теперь уж наверняка все зачеркнуто и забыто. Когда я встал, в квартире было тихо. Никого не было дома. Казалось бы, это должно меня обрадовать. На

самом деле не обрадовало и не огорчило. Мне было все равно. Я мог встретиться с отцом или с матерью, пошутить, посмеяться. Я принял холодный душ, надел другой костюм и пошел на работу. И на работе все было в порядке. Последние дни у нас шла скучная картина, которая не делала сборов, а с этого дня пошла новая, которая нравилась публике, и кинотеатр был полон. После работы зашла Валя и рассказала, что убили Анну Тимофеевну Никитушкину и ограбили стариков. Я слушал так, как будто не имел к этому ни малейшего отношения. Вале, конечно, даже в голову не пришло, что я как-нибудь связан с трагической этой историей. Потом я сделал вид, что неожиданно испугался.

«Ой, Валя, – сказал я, – ты только, пожалуйста, никому не говори, что я знал, когда Никитушкин получает деньги».

Она только теперь вспомнила об этом. Вспомнила и испугалась тоже.

«Ты сам не проболтайся, – сказала она. – А то действительно могут тебя заподозрить».

«Конечно, невиновность свою я докажу, но хлопот будет много».

Больше мы об этом не говорили. Вы знаете, что она действительно молчала, пока сама не начала меня подозревать.

Мы посочувствовали Никитушкиным, потом Валя посмотрела фильм. Попозже вечером мы с ней пошли в молодежное кафе, выпили по бокалу вина, потанцевали. Через месяц я сдал в комиссионку костюм. Я был совершенно спокоен. И действительно, мне не задали никаких вопросов. Костюм проданся очень быстро.

Пришло время отпуска. Мы с Валею поехали на экскурсию в Ленинград. Я взял ровно столько денег, сколько получил на работе, да еще сто рублей, которые будто бы одолжил у отца. Позже я сказал Вале, что продал костюм и хотел отдать долг отцу, но он будто бы не взял деньги. По этому случаю я подарил Вале отрез на пальто. Больше про «те» деньги я даже не вспоминал. Как будто их никогда и не было. Я только запер на ключ ящик, в котором они лежали, и ключ взял с собой. Просто на всякий случай. Вдруг кто-нибудь случайно откроет ящик и увидит деньги...

Отпуск мы провели отлично. Я был в Ленинграде впервые и в полной мере наслаждался городом. Когда вернулся домой, оказалось, что никто мой ящик не открывал и вообще все было как всегда.

Уже в начале зимы кто-то рассказал, что оба грабителя, которые совершили разбойное нападение на Никитушкиных, задержаны. Одним оказался рецидивист Клятов, а другим – пропойца и забулдыга Груздев. Груздев будто бы признался, а Клятов пока не признается.

Меня это, конечно, очень поразило. Я не мог понять, что это за Груздев и почему он признался. Внешне я отнесся к этой новости достаточно спокойно. А потом, уже ночью, долго думал. Может быть, я видел во сне всю эту историю? Я даже встал, тихонько отпер ящик и посмотрел на деньги. Деньги лежали на месте.

Все-таки я был совершенно спокоен. Против меня никаких улик нет. Клятов меня не выдаст, потому что тогда пропадут его деньги. То, что какой-то загадочный Груздев ни с того ни с сего взял на себя мою вину, меня вполне устраивало.

## Глава пятьдесят вторая

### *Кара*

В сущности говоря, единственный шанс на смягчение наказания Кузнецову давала его добровольная явка с повинной. Защитник, известный в городе адвокат Асланов, вел защиту очень умело, не упуская ни одного довода в пользу своего подзащитного. Мне потом говорили, что многие адвокаты отказались защищать Петра, поэтому Асланова назначила коллегия. Тем не менее, повторяю, он защищал темпераментно и умело. По его версии, Кузнецов был слабохарактерный молодой человек, подчинившийся влиянию гораздо более скверных и опытных людей. Некоторые из них, например Фуркасов, спровоцировав поножовщину, сами остались в стороне и не понесли никакой ответственности. Другие, имелся в виду Клятов, сидят сейчас тоже на скамье подсудимых.

Конечно, явка с повинной была сильным доводом в пользу этой версии, и Ладыгин не зря много сил положил на то, чтобы эту явку суд увидел в настоящем свете.

Я излагаю связно эту часть показаний Кузнецова. На самом деле она состояла из ответов на вопросы Ладыгина и Панкратова. Я опускаю вопросы в целях краткости.

Итак, поначалу обстоятельства складывались для Кузнецова удивительно благоприятно. Мало того, что он ничем не выдал себя, не оставил никаких следов, нашелся человек, который, непонятно по каким причинам, сначала скрылся, дав все основания себя подозревать, а будучи задержан, на первом же допросе признался, что именно он и был соучастником Клятова.

Кузнецов совершенно успокоился и решил, что дело сошло для него благополучно. В это время мысль повиниться не приходила ему в голову.

Однако логика событий продолжала действовать, и, вопреки первоначальным кузнецовским удачам, обстоятельства неуклонно поворачивались против него.

Странно не это, странно то, что следствие не докопалось до тех данных, которые выяснились на суде. В объяснение этой близорукости следствия я в дальнейшем приведу один свой разговор с Глушковым.

Но все-таки самое удивительное то, каким спокойным чувствовал себя преступник почти до самого суда. Он даже не выбросил кастет. Деньги лежали в ящике стола. В случае самого поверхностного обыска они бы его немедленно изобличили. Но он был уверен, что обыска не будет, и его действительно не было. Опасность приближалась совершенно с другой стороны.

Когда в поле зрения суда появилась Валя Закруткина, игра Кузнецова была проиграна. Кузнецов сделал, кажется, все, чтобы избежать опасности. Он проявил поистине необыкновенную выдержку и ничем не выдал себя, когда его допрашивал следователь. Рукавишников даже не упомянула о приходе Клятова, потому что никак не связывала этот приход с убийством. Когда я пришел в кинотеатр и стал спрашивать Кузнецова, кто стоял на контроле 7 сентября, у него нервы сдали. Этим объясняется то, что он оставил меня в кабинете, сославшись на неотложные дела. Однако и на этот раз он справился с собой: может быть, намочил платок холодной водой и приложил ко лбу, может быть, просто отдышался, во всяком случае, опять ничем не

выдал себя. Первый допрос в суде прошел благополучно. Острая минута была, когда Рукавишникова узнала Клятова. Но Кузнецов в это время сидел в коридоре, ждал, пока его вызовут, и, значит, многозначительную немую сцену не наблюдал.

Единственный раз он допустил ошибку, когда соврал Вале о том, зачем его вызывали в суд. Тут у него, конечно, сдали нервы. Это, впрочем, совершенно закономерно.

Борьба преступника с правосудием может быть очень долгой борьбой, но нет, вероятно, ни одного преступника, который в какую-то минуту в процессе этой борьбы не допустил бы ошибки.

Кстати говоря, думаю, что, если бы Кузнецов и не врал, дело бы все равно было распутано. Валя Закруткина уже понимала, что Кузнецов старается запутать суд. Она понимала, что может быть осужден невиновный. Если бы даже признание ее задержалось на несколько дней и приговор был уже вынесен, она бы все равно рассказала прокурору, что говорила Кузнецову, когда Никитушкин возьмет деньги. Это послужило бы достаточной причиной для возобновления дела «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Может быть, если бы Клятов, вместо того чтобы идти в кинотеатр «Космос», позвонил из автомата, Рукавишникова не могла бы узнать его на суде, Кузнецов вышел бы сухим из воды? Но, во-первых, вероятно, были у Клятова причины зайти, а не позвонить: он торопился, ему не попался по дороге автомат или у него не было двухкопеечной монеты. Главное же то, что, делая это предположение, мы переходим из области реального преступления в область

преступления теоретически предполагаемого, такого, каким его задумывает преступник. Теоретически задуманное преступление всегда должно удался. В жизни же реальной всегда вмешивается ошибка, случайности, неожиданности, которые предусмотреть невозможно и которые замысел преступника губят или совершенное преступление обнаруживают.

Клятов говорил Кузнецову, что груздевскую зажигалку он потерял случайно, и это же утверждал на суде. Может быть, и так. Хотя при хитрости Клятова можно предположить и другое: он обронил зажигалку нарочно, чтобы утопить Груздева, надеясь сохранить деньги у Кузнецова. Допустим, однако, что это была действительно случайность. Случайность, работавшая на Кузнецова. Что ж, это подтверждает только ту истину, что, идя на преступление, все предусмотреть невозможно. Случайности обязательно будут. Одна из них – зажигалка – работала на Кузнецова. Другая – то, что Клятову пришлось зайти в кинотеатр, – послужила к его разоблачению.

Ладыгин заставил Кузнецова рассказать и о том, как он пытался или делал вид, что пытается броситься под поезд; как он увидел двух людей в штатском, стоящих по обе стороны от него.

– То есть, – сказал Ладыгин, – вы поняли, что за каждым вашим шагом наблюдают?

– Да, – согласился Кузнецов.

– Значит, у вас было только две возможности: либо в ближайшие минуты быть задержанным органами МВД, либо явиться с повинной. Так или нет?

– Так, – согласился Кузнецов.



— Значит, можно считать, что ваша явка с повинной была вынуждена. Вы понимали, что так или иначе уйти от наблюдения вам не удастся.

И с этим Кузнецову пришлось согласиться.

И меня и весь зал поражала какая-то мелкая расчетливость Кузнецова. Признание Груздева его, как он говорит, «устраивало». Невинный человек понесет за него тяжелое наказание. А его это «устраивает»! Вообще никаких этических проблем перед этим молодым человеком никогда не вставало. Вероятно, и дружба с Фуркасовым диктовалась какими-нибудь расчетиками: третьекурсник, отдельная квартира, родители дипломаты. Как будто в своем собственном представлении он оказывался хоть на какое-то время причастным к «высшему кругу». Наверное, и бежал-то он с ножом не потому, что считал необходимым защищать товарищей, которых бьют, а потому, что надеялся заслужить благосклонность Фуркасова и утвердиться в его компании. Есть только одно обстоятельство, в какой-то степени говорящее в пользу того, что человеческие чувства не были ему совсем чужды. Это его любовь к Вале. Наверное, ее он действительно любил. Однако не колебался выведать тайну вклада, которую она не имела права нарушать. Однако скрыл от нее правду и врал все равно, удачно или неудачно. Значит, любовь его была в достаточной мере эгоистична. Ну, а то, что любовь была, само по себе ничего не говорит. Любят и Вертер, и Ромео, и Кузнецов. Вертер кончает с собой, Ромео губит враждебный его любви мир, а Кузнецов бьет в висок беспомощного старика.

Тяжело было смотреть на родителей Кузнецова. Они

просидели весь процесс не двигаясь, молча. В перерывах они не выходили в коридор. После оглашения приговора молча ушли. Что-то механическое было в их походке, когда они проходили по коридорам. На них смотрели с сочувствием.

Не знаю, мне кажется неправильным то, что у нас принято обвинять родителей за преступления, совершенные детьми. Я не говорю, конечно, о детях десяти-двенадцати лет. Но когда речь идет о совершеннолетнем, мне кажется обвинение родителей странным. Человека воспитывают и родители, и учителя в школе, и товарищи по классу, и ребята со двора, и товарищи по пионерлагерю, и случайно встреченный мерзавец, и также случайно встреченный благороднейший человек. Ответ на вопрос «кто виноват?» так многозначен, что в большинстве случаев ответить на него невозможно. Ответ может быть только один: виноват преступник. Человек, вышедший из отроческого возраста, отвечает за себя сам. Кстати, так считает и закон. Я думаю, что часто, к сожалению, очень неправильно реагирует на осуждение общественность предприятия или учреждения, где работают, дома, где живут родители преступника. Я, конечно, не говорю о случаях, когда «преемственность поколений» ясна. Когда родители спаивают ребенка или растят его в аморальной обстановке. Но чем виноваты родители Кузнецова, люди безукоризненной честности, скромной и чистой жизни? Какое право имеем мы бросать им упреки? Откуда мы знаем, почему такой отвратительный птенец вырос в семье порядочных людей? И почему мы должны давать право преступнику считать себя отчасти и невиновным: меня плохо воспитали?

Однако вернусь к процессу. Судебное следствие закончилось. После перерыва начались прения сторон

Первым, как положено, выступил государственный обвинитель Сергей Федорович Ладыгин.

Он был хороший оратор и речь свою произнес темпераментно и взволнованно. Материалы дела он отлично изучил и запомнил. По крайней мере, ни разу не заглянул в записи. Он просил для Клятова смертную казнь, а для Кузнецова пятнадцать лет заключения в колонии строгого режима. Мне кажется, что только после его речи Клятов понял, что ему угрожает смертная казнь. Во всяком случае, только теперь с него слетел разухабисто-бодрый вид, который он напускал на себя с самого начала процесса. Если передать словами то, что он хотел сказать прежним своим видом, получилось бы приблизительно следующее: «Конечно, нехорошо то, что я попался и разоблачен, но все-таки посмотрите, как делает дела умный человек. Я все придумал, все организовал, я вовлек в свою затею Груздева, а когда он сбежал, подменил его Кузнецовым. Идея моя, инициатива моя, разработка моя. Попался, правда, ну что ж, и на старуху бывает проруха. Больше пятнадцати лет все равно не дадут. Многовато, конечно, но умному человеку унывать нечего. Еще посмотрим, как все сложится: может, убегу, может, еще чего».

Ладыгин разобрал его преступление с самого начала и до конца. Всей публике, а потом, оказалось, и суду было совершенно ясно, что главный виновник Клятов. Ладыгин подчеркивал его общественную опасность: молодой человек попадаетеся в краже, суд приговаривает его к лишению свободы. Бывает, споткнется человек, отбудет наказание и

на всю жизнь закается. Трех лет не проходит после освобождения – Клятов снова идет на кражу. Суд осуждает его на пять лет лишения свободы. Казалось бы, теперь последняя возможность одуматься. Но Клятов организует разбойное нападение на Никитушкиных. Клятов по всем признакам подходит под понятие опасного рецидивиста.

Клятов – организатор преступления. Он подбивает идти на разбойное нападение Груздева. Груздев в последнюю минуту одумался и сбежал. Ну что ж, у Клятова есть резерв – Кузнецов. Преступники вошли в дом. Анна Тимофеевна не сопротивляется. Она только кричит, очевидно, не очень громко. Мы знаем, что никто за пределами дома ее не слышал. Старая женщина кричит от растерянности, от испуга. Клятов командует: «Дай ей, Петр, чтоб замолчала». Кузнецов не решается. Клятову все нипочем. Взмах руки с кастетом, и нет Никитушкиной. У Клятова упал платок с лица. Никитушкин опознал «монтера». «Успокой старика, Петр». Кузнецов взмахивает рукой с кастетом, и старый человек падает без звука. Он жив? Да, он жив, но только потому, что убийцы ошиблись. Они считали его мертвым. Клятов – расчетливый убийца! Клятов – безжалостный убийца! Клятов – хладнокровный убийца!

Кузнецову Ладыгин тоже не дал поблажки. Он разобрал все его поступки, начиная от московского дела и кончая попыткой будто бы самоубийства.

– Я не верю в это самоубийство, – сказал Ладыгин. – Представьте себе раннее утро. Отдаленный перрон. Пустынный перрон. Здесь ни один поезд не остановится, значит, нет ожидающей публики, нет железнодорожников, ждущих поезда. Сейчас пройдет, не останавливаясь, то-

варный состав. Вот он уже показался. Вот он уже совсем близко. Под него предстоит броситься самоубийце. Однако перрон пустынен, но не совсем: по обе стороны от Кузнецова стоят два человека. Как странно, что Кузнецов их не видит. Они же совсем рядом. Они должны его схватить, когда он будет бросаться под поезд. Он их, однако, не видит. Можно представить себе, что в таком состоянии он ничего не видит вокруг себя. Тогда почему же вдруг эти люди стали ему видны, когда пришла минута бросаться под поезд? Я вам скажу почему. Он видел их раньше, и это его устраивало. Ему нужны были свидетели того, что он пытался покончить с собой. Ему нужны были не только свидетели, ему нужны были люди, которые в последнюю секунду схватят его и не дадут совершиться самоубийству. Его вполне устраивало, что работники МВД шли за ним по пятам. Как же, и свидетели и спасители. Мы с вами слышали показания одного из этих спасителей. Кузнецова не пришлось спасать. Он будто бы рванулся под поезд, однако не сделал последнего шага. Почему? По тому же свойству своей трусливой, гаденькой натуры. А вдруг спасители опоздают? Вдруг они не успеют его схватить? Да, от суда не уйти. Не уйти от разоблачения и позора, но нельзя же в самом деле подвергать опасности свою драгоценную жизнь. Вот каким я вижу ход рассуждений Кузнецова...

По совести говоря, рядом с убежденной и страстной речью Ладыгина выступления адвокатов мне показались бледными. Впрочем, если всерьез говорить, какие доводы могли привести они в пользу своих подзащитных? Грозубинский упирал на то, что Никитушкина Клятов не убил. Асланов доказывал, что преступление Кузнецов совершил под давлением. Оба призывали к смягчению наказания.

Что они могли еще сделать? Они привели все доводы, какие только возможно, но доводы эти были ничтожны. Тяжек труд адвоката. Повторяю: прокурор может отказаться от обвинения, адвокат отказаться от защиты не имеет права. Ни юридического права, ни морального. Судьи должны услышать все, что можно сказать в пользу подсудимых. Хорошо, когда дело спорное, когда доводов защитнику не приходится выискивать. Мы обычно представляем себе адвоката произносящим блестящую речь в защиту, вызывающим сочувствие к подсудимому. А что, если нет доводов для защитительной речи? Адвокат все равно обязан говорить. Суд должен заслушать все доводы «против» и все доводы «за». Почему-то об этой самой тягостной стороне адвокатского долга мы обычно не думаем...

Потом были последние слова подсудимых, и я увидел, что Клятов безумно, панически боится. И следа не осталось от бравады опытного уголовника, только жалкий лепет безумно испуганного, жалкого человечка. Кузнецов вообще не смог почти ничего сказать. Он плакал и несвязно умолял о прощении. Потом суд удалился на совещание. Подсудимых увели. Мы, публика, пошли в коридор покурить, размяться, поговорить. Впрочем, разговоров почти не было слышно. Тяжелое было у всех настроение. Можно ненавидеть и презирать человека, и все-таки, когда ему грозит смертная казнь, не хочется шутить и рассказывать анекдоты. Судьи совещались, по-моему, часа три, не меньше. Уже стемнело и зажгли свет, когда наконец конвойные провели подсудимых обратно в зал. Вошли в зал прокурор и защитники, расселись по местам мы, публика. Наконец открылась дверь, вышли судьи, и все встали.

Стоя, в молчании выслушали мы приговор. Мы все предчувствовали, какой он будет, и все-таки тяжело было его слушать. Панкратов медленно перечислял установленные судебным следствием факты и статьи, по которым обвиняется каждый из подсудимых. Панкратов говорил ровным голосом, кажется, очень спокойно. Спокойные стояли по обе стороны от Панкратова члены суда, и все-таки и тогда и сейчас, когда прошло уже много времени, я ручаюсь, что судьи были взволнованы не меньше публики. Совершался акт правосудия. Акт справедливости. Но даже понимая всю его бесспорную справедливость, все-таки тягостно было при этом присутствовать.

Да, Клятов был приговорен к смертной казни. Весь зал видел, как он пошатнулся, когда были сказаны роковые для него слова. Почему-то он не думал о смертной казни, когда задумывал ограбление, когда грабил, когда бежал, оставив мертвую Никитушкину, когда топил всеми силами Груздева. Сейчас у него подгибались ноги. Он еле стоял, держась за барьер.

Кузнецов был приговорен к тринадцати годам заключения в колонии строгого режима.

Судьи ушли. Потянулась из зала публика. Остались в зале подсудимые и адвокаты. Впрочем, скоро адвокаты вышли, и подсудимых провели в последний раз в отведенную для них комнату.

Да, тяжелая вещь правосудие. Тяжек долг судей, выносящих суровый приговор.

Мы с Гавриловым спустились по лестнице и вышли на улицу. Мы оба молчали. Разговаривать не хотелось.

Чтобы скорее покончить с этой тягостной историей,

скажу, что Верховный суд оставил приговор в силе и просьба о помиловании была отклонена.

## Глава пятьдесят третья

### *Очевидность путает карты*

В те часы, когда мы, волнуясь, ждали решения суда, у меня появилась мысль, что из истории Петра Груздева, Петра Кузнецова и Андрея Клятова может получиться интересная книга. Конечно, книга эта виделась пока в самых общих чертах. Однако я думал, что в столкновении трех перечисленных мною характеров заключается мысль, немаловажная для многих людей.

Я тогда еще совсем не представлял себе будущей книги, даже не уверен был, что напишу ее, но все-таки ко всему, что относилось к закончившемуся процессу, у меня был повышенный интерес. Именно в связи с этим я решил поговорить с Глушковым. Вопрос к нему был у меня один: как получилось, что следствие пришло к таким неправильным выводам? Я рисковал. Он, вероятно, сам был раздосадован неожиданным поворотом процесса и вполне мог в раздражении отказаться на эту тему разговаривать. И все-таки я ему позвонил, и он меня принял, и у нас состоялся интересный для меня разговор.

Когда я вошел к нему в кабинет, меня поразил беспорядок. На столе кучей были навалены папки, папки же лежали на узеньком диванчике. Вероятно, я не мог скрыть своего удивления. После того как мы поздоровались, я объяснил, что по чисто литературным причинам меня ин-



тересует, почему следствие по делу Груздева так страшно ошиблось.

Мой вопрос не раздражил Ивана Степановича, как я того опасался. Он усмехнулся, как мне показалось, грустно и сказал:

– Ну что ж, давайте разберем. Мне, по чести сказать, это самому интересно. Как это так, после тридцати с лишним лет беспорочной службы в прокуратуре вдруг на последнем деле так опростоволоситься...

– Почему на последнем деле? – спросил я.

– Видите, сдаю дела. – Он показал на папки. – Мое заявление с просьбой уволить на пенсию сегодня подписано начальством.

– Как, вы из-за этой неудачи решили уйти на пенсию? – спросил я довольно бестактно.

– Я подал заявление об уходе на пенсию седьмого сентября прошлого года. Видите, какой это роковой день.

– Почему же только сейчас подписали?

– Потому что восьмого сентября меня вызвал начальник следственного отдела и попросил провести следствие по делу об ограблении Никитушкиных. Он обещал, что заявление мое будет подписано в день, когда преступники будут осуждены. Мы оба не могли даже предвидеть, каким сложным путем все это произойдет. Так или иначе, сегодня резолюция наложена.

– Простите, Иван Степанович, – спросил я, – это что ж, наказание за ошибку?

Я опять понимал, что вопрос мой бестактен, но просто не мог удержаться.

– За ошибки не наказывают, – грустно сказал Глушков.

– Нет, это не наказание, это, как бы сказать... признание того, что у следователя утеряна зоркость мысли, что он ищет привычные решения, что он находится во власти следовательских штампов и позабыл, что каждое дело есть совершенно новый случай, такой, какого не было раньше и какого не будет потом, что штамп мышления заменяет ему объективность анализа. И что, стало быть, умолять такого следователя, чтобы он облагодетельствовал правосудие и остался, на работе еще годик-другой, не имеет смысла.

Я понимал, что попал к Ивану Степановичу в совершенно исключительную, в такую минуту. Грустно ему было, наверное, приводить в порядок архивы, чтобы навсегда распрощаться с ними и передать в чужие руки. С другой стороны, вести такой разговор с кем-нибудь из товарищей по работе было ему, конечно, неловко. Для данного случая я был идеальным собеседником. Уеду завтра к себе в С., и больше он меня не увидит.

– Между нами говоря, – продолжал Иван Степанович, – ошибки следствия, конечно, недопустимы, но все-таки бывают. Мы все с этим боремся и все-таки в самых неожиданных обстоятельствах ошибаемся. Должен сказать, что дело Груздева очень типично. Сложность его заключалась как раз в том, что оно было совершенно ясным. Очень уж подходили предполагаемые преступники к преступлению. Ничто не настораживало. Ничто не заставляло снова и снова перепроверять каждый факт. Я это говорю не потому, что ищу себе оправданий. Оправданий мне нет хотя бы потому, что мой помощник, молодой следователь Иващенко, все время сомневался. Он мне просто надоел своими сомнениями, и я его несколько раз обрывал, один

раз даже очень резко. Стало быть, дело не в том, что не было оснований для сомнений. Стало быть, дело в том, что был я очень уж уверен в себе и, сопоставляя этот случай со многими аналогичными, не сомневался, что ошибки быть не может. Когда вы кладете кирпичи согласно строительным правилам, вы можете быть уверены, что дом не рухнет. Все кирпичи одного сорта совершенно одинаковы. Вы уверены в каждом. Людей, конечно, тоже относят к известным категориям, но только очень условно. Тысяча пьяниц и забулдыг пойдут грабить Никитушкиных, а тысяча первый вдруг убежит, да еще так убежит, что бегство как будто подтвердит все подозрения. В работе следователя нет схожих случаев, нет привычных человеческих категорий, есть один человек, сам по себе. Вот этим одним и надо заниматься. А я, вероятно по старости лет, отнес Груздева к известной мне категории, к которой он и в самом деле относится, и не захотел думать, проверять, искать дальше. Нет, что говорить, пора на пенсию...

Иван Степанович, видно, был очень огорчен. Казалось бы, чего огорчаться? Сам хотел отдохнуть, сам подал заявление, был недоволен, когда уговорили остаться. Теперь, когда просьбу удовлетворили, только бы радоваться. И все-таки я его понимал прекрасно. Одно дело – уйти, заслужив всеобщее уважение, оставив добрую память, и совсем другое – уйти, провалившись на последнем деле.

Иван Степанович сам, очевидно, устыдился своего, как ему казалось, неуместного в деловом разговоре лирически-грустного тона.

– Ну, перейдем к делу, – сказал он совершенно с другой, очень спокойной, деловой интонацией. – Поверьте мне,

во-первых, что ни злого умысла, ни небрежности по легкомыслию не было. Почти все законы, обязательные для следователя, были соблюдены. Известно, что следователь должен учитывать характеры обвиняемых, прошлое обвиняемых, психологию обвиняемых. Мы знали очень многое о личности Груздева, и в сочетании с объективными данными картина складывалась, я бы сказал, очевидная. Пьяный и разгульный образ жизни обвиняемого, то, что, в сущности говоря, к этому времени он лишился семьи, лишился товарищей по работе и стал человеком без будущего, без среды и без занятий. Стал, следовательно, именно таким человеком, из которых чаще всего получаются преступники. Ничто в его биографии, в его личных качествах, в жизненных обстоятельствах не противоречило обвинению. Обвинение подтверждалось и поведением Груздева. Узнав, что в день, назначенный для ограбления, к нему приезжают друзья, он скрывается из дома. Он оставляет довольно убедительно написанное письмо. Давайте вспомним его. В нем объясняется, почему Груздев спился и опустился. Все это внушает доверие потому хотя бы, что трудно выдумать такую психологически достоверную историю. Однако то, что в юности и ранней молодости Груздев был человеком эмоциональным, которому были свойственны самолюбие, гордость, верность друзьям, стыд, словом, весь комплекс обыкновенного человека, ничуть не противоречит тому, что, спившись и опустившись, он мог докатиться до преступления. Вполне возможно, что он бежал от друзей потому, что ему было стыдно оказаться в их глазах подонком. Но возможно, он должен был быть свободным в этот день, чтобы совершить преступление. Вполне можно допустить, что он хотел начать новую жизнь

и, не желая встречаться с друзьями, решил начать ее именно с этого дня. Но можно ведь допустить и то, что для начала новой жизни ему нужны деньги. Деньги он может добыть только у Никитушкиных. В этом случае он даже рад совпадению: друзья приехали именно в тот самый день, на который намечено ограбление. Одно сходится к одному. Надо бежать от друзей, потому что перед ними стыдно. А для того чтобы бежать, нужны деньги, которые он сегодня же может взять у Никитушкиных.

Есть как будто противоречие между первым мотивом и вторым. Первый мотив: стыд перед друзьями может быть свойствен только человеку, не потерявшему чувство стыда, человеку, для которого непереносимо унижение его человеческой гордости. Второй мотив свойствен преступнику, человеку, лишенному стыда, самолюбия, гордости, руководствующемуся примитивным, ничем не ограниченным эгоизмом. Мы считали, что тут противоречия нет. Первый мотив связан с прошлым Груздева, с тем временем, когда он жил среди нормальных людей, думал их мыслями, волновался их чувствами. Второй мотив относится ко времени, когда в душе Груздева уже произошел процесс эмоционального огрубения. Вы, конечно, знаете такой термин судебной медицины. Эти два побуждения могут сосуществовать в сознании человека, никак не сталкиваясь и не противореча друг другу.

Я пускаюсь в эти психологические изыскания только для того, чтобы на примере Груздева лишний раз подтвердить хорошо вам известную мысль, необычайно выразительно сформулированную Достоевским: «Психология — палка о двух концах».

Ни в коем случае не собираюсь я ставить под сомнение соображения следователей, основанные на психологии. Я хочу только сказать, что построенные на ней объяснения поступков человека в какой-то степени всегда спорны.

В процессе расследования Груздев ведет себя так, словно нарочно хочет навлечь на себя возможно больше подозрений. Вспомните бегство из Клягина. Теперь мы понимаем, что это было отчаянное бегство человека, считавшего себя обреченным, хотя и невиновным. Теперь мы понимаем, что удалось оно благодаря фантастической случайности. Но ведь у нас были все основания предполагать, что директор детского дома засвистел в милицейский свисток, чтобы дать возможность скрыться бывшему своему воспитаннику. Нет, мы понимали, что директор не соучастник преступления и не помогает преступнику сознательно. Но могло ведь быть и так: директор поверил в невиновность Груздева, боится, что следствие в эту невиновность не поверит, и потому помогает преступнику бежать. А могло быть еще проще: Груздев, уже потерявший надежду спастись, вдруг видит, что милиционер, услышав свисток, покинул пост, использует эту минуту и убегает. В конце концов, оба варианта одинаково правдоподобны.

Вы скажете про второй вариант, что случайное стечение обстоятельств очень уж удивительно. Правильно. Но на самом деле именно оно и произошло. А разве менее удивительным вам кажется тоже происшедший на самом деле случай, когда в одно и то же время, в одном и том же кинотеатре оказались Груздев, скрывающийся от Клятова, сам Клятов и Кузнецов, которому предстоит преступление совершить? И разве поверите вы в то, что Груздев и Клятов

были в одном кинотеатре в одно и то же время совершенно случайно и так и не увидели друг друга?

Наконец, признание Груздева. Человек, на которого указывают все объективные данные, человек, которого несомненно можно считать способным на преступление, сам признается, что он виноват. Чем вы сможете себя убедить, что всё вместе – просто стечение обстоятельств фактических и психологических.

Да, следствие поддалось давлению, как мне казалось, неопровержимых фактов.

Значит, получается, что могут быть случаи, когда ошибка следствия неизбежна? Такая мысль вполне устроила бы человека, который больше беспокоится о снятии с себя вины за ошибку, чем за возможность в любом самом затруднительном и сложном случае доискаться до правды. Меня такое решение не устраивает. Я отлично вижу свои ошибки и не собираюсь их скрывать.

Главная моя ошибка состояла в том, что, доверившись соображениям психологическим, которые на первый взгляд кажутся бесспорными, я оставил недоследованными некоторые факты и версии. Куда делись кастет, перчатки и платки, которыми преступники завязывали лица? Возможно, что эти предметы найти было нельзя. В конце концов, Клятов задержан на расстоянии тысячи километров от Энска. Он мог разбросать все это имущество так, что сам черт бы его не нашел.

Второе недоследованное обстоятельство: откуда преступники узнали, когда у Никитушкиных будут деньги? Клятов утверждал, что случайно услышал разговор на улице. Это неопровержимо, но и недоказуемо. Мы пове-

рили показаниям работников сберегательной кассы. Мы выяснили, что все они не внушают никаких подозрений, что ни с Клятовым, ни с Груздевым никто из них не связан.

Надо было более тщательно проверить их связи. Мы неизбежно вышли бы на Кузнецова. Это не могло нас не насторожить: администратор того самого кинотеатра, где четыре сеанса просиживает в день преступления Груздев, близко связан с работником той сберкасы, где Никитушкин держал деньги!

Наконец, третье: куда девались взятые деньги? Мы не имели права оставить это недоследованным. Есть еще одно обстоятельство, которое кажется нашим упущением. На самом деле я считаю, что тут нам просто не повезло. Три раза спрашивали Никитушкина, в каком костюме был непознанный грабитель. Никитушкин был ранен и потрясен случившимся. Сознание у него, конечно же, было затемненное. Так вот позвольте мне сообщить: мы проверили все протоколы допросов Никитушкина. В первый раз, в больнице, он показал, что костюм был темноватый. На втором допросе, в прокуратуре, он опять показал, что, кажется, был темноватый, что вполне подходило к костюму Груздева. На суде он сказал, что костюм был светлый. Вероятно, к этому времени память у него стала ясней. Однако предвидеть это мы никак не могли.

Теперь подумаем: каковы же причины ошибок? Причина, собственно, была одна: дело казалось слишком ясным. «Психология – палка о двух концах» – мне уже пришлось сегодня приводить эту фразу. Значит, мы обязаны исследовать до конца все мыслимые психологические варианты. Почему на суде выяснилась истина? Потому, что



прокурор Ладыгин был убежден, что Груздев виновен, а адвокат Гаврилов был убежден, что он невиновен. Почему следствие ошиблось? Потому, что следствие не сомневалось, что виноват Груздев. Я говорю: не сомневалось, но это не совсем точно. Конечно, сомнения у нас возникали. Но нас гипнотизировало количество улик и совпадение с мнимой психологической правдой. Пока дело не решено, равно вероятны минимум две правды, и обе должны быть расследованы до конца. Если психология – палка о двух концах, значит, за оба конца надо браться. Мы были совершенно уверены, что правильна только одна версия. Зачем, казалось нам, просить о дополнительных сроках? Разумеется, опустившиеся люди и пьяницы неизмеримо чаще совершают преступления, чем добросовестные труженики. Все данные сходились на Груздеве. Он идеально подходил под тот образ преступника, который действительно встречается наиболее часто. Улики казались очень вескими. Ни один факт не противоречил обвинению. Все психологические мотивы казались предельно убедительными. Тысячи раз каждый следователь повторяет и в институтские годы и в годы практической работы, что он обязан относиться к каждому подследственному и как обвинитель и как защитник. Это святая истина. Отступлений от нее быть не может. Пусть улики указывали на Груздева. Пусть все психологические мотивы были ясны. Пусть исследование личности и исследование доказательств приводили к одному результату. Мы обязаны были исследовать до конца все без исключения обстоятельства дела. Убедившись в том, что Груздев виноват, мы должны были резко изменить свою точку зрения и провести, так сказать, «сочувствен-

ное» следствие, заняв на время позицию: Груздев не виноват.

Мы этого, в сущности говоря, не сделали. Слишком убедительными казались следственные материалы. Вот в том, что мы поддались их гипнозу, есть главная причина нашей ошибки и главная наша вина...— Иван Степанович опять усмехнулся и сказал: — Ну, довольны лекцией? На самом деле все было еще сложнее, и я сумел объяснить причины ошибок только в общих чертах. Можно сказать еще короче: достоверность путает карты. Довольно редко, но путает. Следователь не имеет права верить достоверности. Я поверил. Жаловаться мне не на что.

Мы простились с Иваном Степановичем дружелюбно. Мне даже показалось, что он недоволен моим уходом. Вероятно, тоскливо было ему оставаться среди этих наваленных грудами папок и заниматься тем, чем раньше или позже кончается обязательно всякая профессиональная жизнь: готовиться к сдаче дел.

## **Глава пятьдесят четвертая**

### ***Обыкновенная жизнь***

С немалым волнением приступаю я к написанию этой последней главы, в которой мне придется вернуться к окончанию процесса Груздева — Клятова, к тому дню, когда после Петькиного освобождения мы, четверо братиков, Афанасий и Степа Гаврилов отправились из суда к нам в гостиницу.

Мы поймали такси. Афанасий Семенович, Степан, Юра

и Петр втиснулись в машину и поехали. Мы с Сережей шли пешком и разговаривали.

– Меня и радует и волнует оправдание Петра, – говорил Сергей. – Ты понимаешь, первая мысль, которая, вероятно, придет ему в голову, – выпить на радостях. Мысль естественная. Но остановится он или вернется к прежней жизни, кто знает.

– Вся эта история, – возразил я, – шарахнула его по голове. Не пил же он на лесопункте. Значит, может.

Я сам был не уверен в своей мысли. Не угадаешь, куда его швырнет с его истрепанными нервами, с его привычками, с его психологическими вывертами...

Обменявшись этими соображениями, мы всю остальную дорогу молчали.

Мы пришли в гостиницу мрачные и застали всех остальных тоже в каком-то странном настроении. Явно было, что разговор не клеится и все не понимают, что, собственно, следует делать. В таких случаях полагается праздновать. А Петька? Где гарантия, что, начав праздновать, он не растянет свой страшный праздник на всю дальнейшую жизнь?

Афанасий, подтягивая ногу, хмуро шагал по номеру Юра сидел туча тучей и смотрел в окно. Степа Гаврилов чувствовал тяжелую атмосферу и тоже сидел молча. Хотя, в сущности, только у него настроение было превосходное. Он все-таки впервые в жизни был по-настоящему доволен своей работой. Возможно, впрочем, что его очень огорчало, что защитительную речь так и не удалось произнести. Вероятно, сейчас произнесенная речь казалась ему замечательной. Может быть, она была даже гораздо лучше, чем та, которую он произнес бы, если бы довелось.

Не потому, что он плохой адвокат. Теперь уже всем известно, что он адвокат хороший. А потому только, что именно оправдание Петра дало ему профессиональную уверенность в себе – уверенность, без которой не получается ни адвокат, ни инженер, ни писатель, ни слесарь.

Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли в номер, – это то, что Петра в номере не было. Мы, конечно, спросили, где он.

– Побежал телеграмму давать, – хмуро сказал Афанасий.

– Кому? – удивился Сергей.

– Этому своему дружку с лесопункта. Оказывается, его очень мучило, что дружок считает его преступником...

– Деньги у него есть? – равнодушным тоном спросил я.

– Взял у меня десятку. Мельче не оказалось, – все так же хмуро ответил Афанасий.

Больше об этом не было сказано ни слова. Все было ясно и так. Нас всех мучил страх за Петра. Мы ждали, что он появится раскрасневшийся, веселый и от него будет разить вином.

Никто не спросил Афанасия, зачем он, собственно, дал Петьке десятку. Неужели не мог объяснить, что сидит без денег или что-нибудь в этом роде. Впрочем, случай был такой, что Афанасию даже в голову не могло прийти отказать. Ну, а уж когда Петр убежал с этой десяткой, и Афанасия, и Юру, и Степана одолели грустные мысли.

Вот так после счастливо выигранного процесса мы, пятеро, молча сидели или болтались по номеру, и вид у нас был такой, будто нас всех невинно осудили на долгие годы тюремного заключения.

Петьки не было, наверное, час. Невозможно было даже понять, где он болтался. Очереди в телеграфных отделениях в Энске не такие уж большие. Пробормотав что-то вроде того, что мне хочется выпить лимонаду, я выскочил из номера и сбежал по лестнице вниз. Конечно, в телеграфном отделении при гостинице Петра не было. Я вернулся еще мрачнее, чем ушел. По тому, как на меня посмотрели, когда я вошел в номер, я понял, что все догадались, куда я ходил и что я увидел.

Время шло. Мы нервно прислушивались ко всем шагам, доносившимся из коридора, хотя шаги эти ничем не напоминали Петькины. Одни шагали медленно и солидно, другие, наоборот, торопливо. Одни вели на ходу разговоры, другие молчали. Кто-то прошел, громко насвистывая веселый марш. Потом выпала минутка, когда по коридору не проходил никто, и было так тихо, будто гостиницу заперли и запломбировали. Вот именно в эту минуту полной тишины дверь неожиданно открылась.

Петр, не торопясь, снял в передней пальто и кепку и вошел в комнату. Мы смотрели на него необыкновенно внимательно. Мы искали признаки опьянения. Нет, их не было. Мы смотрели на него так внимательно, что он понял, чего мы боимся, и грустно усмехнулся.

– Не бойтесь, – сказал он, – еще в тюрьме дал зарок.

Наше невысказанное, но очевидное подозрение, видимо, огорчило его. У него стали неуверенные движения, и он робко, точно проситель у высокого начальника, сел на стул, не решившись откинуться на спинку. И опять все долго молчали.

– Ты, Петр, не обижайся, – сказал Афанасий Семено-

вич. – Тебе еще долго будут не доверять. – Афанасий ходил по комнате, молчал и наконец спросил: – Что ты думаешь делать дальше?

– Ничего особенного, – сказал Петр, – хочу жить обыкновенно, как все живут.

– Как – обыкновенно? – спросил Афанасий. – Так, как я? Или так, как Степан, или Юра, или Сергей? Как – обыкновенно? У каждого ведь свое. Твое обыкновенное меня пугает. Понял, Петр?

– Чего уж тут не понять. – Петр опять усмехнулся. – Ясней ясного.

– Как ты думаешь жить? – повторил Афанасий.

– Если наполовину так буду жить, как думаю, уже хорошо. Вы поймите, Афанасий Семенович, что я могу сказать сейчас. Возьмут ли меня на работу? Не знаю. Где буду жить? Не знаю. Надеюсь работать. Надеюсь, что будет, где жить. И боюсь. Не того боюсь, о чем вы думаете. Зарок твердый. А вообще боюсь. Пока в тюрьме сидел, одного боялся: долгих лет тюрьмы. Все думалось, лучше бы уж казнили, что ли. Про остальное и думать не думалось. А теперь вдруг все навалилось. Разгребать надо. Завтра пойду в отдел кадров. Если возьмут на работу – одно. Если не возьмут – другое.

– А с жильем? – буркнул Афанасий Семенович.

– К Анохиным не полезу. Думать о них не могу. Дал сейчас телеграмму дружку моему с лесопункта. Там, если на работу зачислят, комнату сразу дадут. А что думаю? Столько думаю, Афанасий Семенович, что не рассказать. Да и ни к чему рассказывать. Кто же моим словам поверит? Вы и то не поверите. А чужие люди? – Он замолчал, прислушиваясь. – Стучат как будто?

Прислушались и мы. Никто не стучал. Я знаю это нервное состояние, когда все время кажется, что стучат, или звонят в дверь, или зовут к телефону. Вряд ли Петр сейчас ждал каких-нибудь важных известий. Просто нервничал. Бывает же ни с того ни с сего предчувствие: обязательно что-то должно случиться.

— А как с сыном думаешь? — спросил Афанасий Семенович.

— Что я могу думать? — с горечью сказал Петр. — Какие у меня данные есть для предположений? Думаете, я не понимаю, как в глазах людей выгляжу. Ой, я ведь и забыл товарища Гаврилова поблагодарить! Я вам одно скажу, товарищ Гаврилов, я никогда не думал, что вдруг вот так просто отпустят меня, и все. Я не всегда и понимал, куда вы гнете. Думал, вы так, для собственного успокоения. А теперь вижу, вы по плану действовали. Никак ему, этому Кузнецову, было от вас не уйти. Так вот, спасибо. О чем я говорил? Да, о Кузнецове. Счастье мое, что так получилось. Можно сказать, чуть-чуть мимо меня его судьба проехала. Если бы братикам в голову не пришло ехать сюда пировать, пошел бы я грабить? Не знаю. Иногда думаю — пошел бы, иногда — не пошел. Ведь я Клятову двести рублей должен. Куда ж мне деваться? Согласие дал, деньги авансом получил. Что будешь делать? Наверное, много преступлений совершают люди, запутавшись. Преступников таких, как Клятов, совсем немного, а зло все от них идет.

— А что бы твой Клятов сделал с Сергеем, или Юрой, или Женей? — яростно сказал Афанасий Семенович. — Ты тоже с себя вину не складывай. Спивался-то ты без Кля-

това, работу потерял без Клятова. Все вы мастера на клятовых жаловаться. Мол, клятовы виноваты, а мы-то при чем?

– Я, Афанасий Семенович, не к этому, – тихо сказал Петр. – Я о том и говорю, что не Клятов плох, а я плох. Вот представьте себе, братики не приехали бы. Пришел бы в условленное время Клятов, подпоил бы меня, если б я попытался отказаться, сказал бы что-нибудь такое: товарищи так, мол, не поступают. Или пригрозил. Я это все к тому, что грабить действительно не грабил, но мог бы ограбить. Убивать действительно не убивал, но случайно мог бы убить. А Сережа не мог бы, Женя не мог бы. Юра не мог бы. Я не защищаю себя, Афанасий Семенович, я, скорее, думаю, что между Кузнецовым и мной разница небольшая. Меня судьба спасла, его не пожелала спасти.

– Ну, а скажи, Петр, – заговорил задумчиво Афанасий, – ты мог бы давать ложные показания для того, чтобы вместо тебя, преступника, осудили невиновного человека? Да еще если б этот невиновный здесь же сидел. (Петр молчал.) Ну, говори, говори, мог бы или не мог?

– Пожалуй, не мог бы, – подумав, сказал Петр, – Страшно было бы. Ведь если человек нормальный, совесть у него все-таки есть и от нее никуда не денешься.

– Вот тут и разница между тобой и Кузнецовым, – сказал Афанасий. – Ты в спокойном состоянии, трезвый, подумавши, на преступление не пошел бы. А он в спокойном состоянии пошел. Хоть небольшая, а все-таки разница. Я не про суд говорю, для суда все равно. Суд тебя и его одинаково бы засудил и был бы прав. А спьяну ты преступление совершил или трезвый, подумавши или не



подумавши – это суда касаться не может. Ты в одном прав: тебя случай спас. Немного иначе могло сложиться, и было бы на совести у тебя убийство.

– Кажется, стучат, – сказал Петр.

Мы все замолчали. Никто не стучал. Даже похожего на стук ничего не было слышно. Афанасий решил, что Петру неприятно выслушивать его, Афанасия, мысли, действительно не слишком лестные для Петра. Вот он и делает вид, будто ему все чудятся стуки.

– Что у тебя, галлюцинация, что ли? – недовольно спросил Афанасий. – Насиделся в тюрьме, напсиховался...

– Афанасий Семенович, – сказал Петр, – у нас с вами спора нет. Мне бы много легче жить было, если бы я не понимал, что случайно спасся от преступления. А ведь началось, казалось бы, с ерунды. Ну, выпиваю. Ну, якшаюсь с рецидивистом. Ну, ушел от жены. Ведь это неправда, что кто выпивает, тот непременно преступник или кто от жены ушел, тот к убийству готов. Правда в том, что если живешь нечисто, так от случайностей не защищен. Может, и не ограбишь человека, а может быть, и ограбишь. Может, не убьешь, а может быть, и убьешь. Дело случая.

– Так не будь же ты тряпкой! – заорал Афанасий. – Прошел раз над пропастью, чуть-чуть не полетел вниз, так уж обходи эту пропасть за три километра. А то ведь черт тебя знает, захочешь себя испытать или приятеля встретишь. И снова: пожалуйста, пойду прогуляюсь над пропастью. Интересно, потянет вниз или не потянет?

– Афанасий Семенович, – сказал Петр очень спокойно, как будто это была ничего не значащая фраза, – я думаю, что мне мораль читать не стоит. Потому просто, что мне на

всю жизнь прочли мораль. Вы не думайте, я говорю не от обиды. Куда уж мне обижаться, я потому только говорю, что слов не могу найти, чтобы рассказать, что передумал и что понял в тюрьме. Словами делу не поможешь, это вы можете мне поверить. Надо самому все увидеть и отшатнуться. Ну, да я опять словами пытаюсь объяснить. Тут ведь не объяснишь. Вспомните, сколько я позора перенес, вспомните, сколько перенес страха. Вы представить себе не можете, и я вам рассказать не могу. Слов таких пока не придумано. А чего я лишился? Думаете, не понимаю? Ох как хорошо понимаю! Обыкновенной жизни лишился. Жены лишился, ребенка лишился. А главное, обыкновенной жизни. И не обижайтесь. Тут обижаться нечего. Обыкновенная жизнь включает и вас, и братиков, и Володьку, и Тоню. Честно сказать, больше всего мне хочется обыкновенной жизни. Прийти с работы усталому, пообедать, поиграть с ребенком, пойти с женой посмотреть картину, не поздно лечь спать. Будильник поставить, чтоб на работу не опоздать. Прийти па завод, с товарищами словечком перекинуться. Кажется, самая обыкновенная жизнь, а с нее все начинается. Потом, если воля есть, способности есть, упорство есть, становись академиком, министром, знаменитостью. Это уже подарок судьбы. Но прыгают вверх от земли. Стоять на ногах на земле, жить обыкновенной жизнью – на это каждому судьба дала возможности и от каждого требует, чтоб он свое место на земле занял. Так вот мне пока не нужно успехов особенных. Пусть, хоть и опоздав на несколько лет, я займу на земле свое твердое место. То, которое мне положено. Вот какую я ставлю сейчас перед собой цель. И никак не

больше. А там посмотрим. Может, чему и научусь. Может, чего и сделаю. Чем-нибудь и удивлю людей. Это бы очень хорошо. Но это не обязанность, а вот прожить обыкновенную жизнь – обязанность.

Петя говорил громко. Он, видно, много об этом думал в долгие тюремные ночи. А может, и раньше, на лесопункте. А может, и еще раньше, в грязной развалюшке Анохиных. Сейчас это была созревшая мысль, хотя, может быть, так связно он ее излагал впервые. Он говорил так громко, что, наверное, в коридоре было слышно. И вдруг замолчал и стал прислушиваться.

– Стучат! – сказал он.

Вслушались мы все. Вроде бы никто не стучал. Потом мы услышали тихий, неуверенный стук, как будто человек не знал, можно постучать или нет. Может быть, нам даже послышалось. Может быть, Петька нас просто загипнотизировал своим нервным ожиданием, что кто-то постучится в номер.

– Войдите! – крикнул Петр каким-то чужим, очень испуганным голосом.

Мы все смотрели на дверь. Она медленно открылась. Тоня, маленькая, большеглазая Тоня, в расстегнутом пальто – она, наверное, забыла его застегнуть – вошла в переднюю. Она вошла очень медленно и не закрыла за собой дверь, просто не подумала об этом. И пальто не сняла. Об этом тоже не подумала. Она прошла через переднюю и вошла в комнату, глядя на Петра. Только на Петра. Нас, пятерых, она, кажется, просто не заметила. Во всяком случае, мы не дошли до ее сознания.

Петр стоял неподвижно. Он согнулся, как будто ему

было не под тридцать лет, а шестьдесят. Он стоял, сутулясь, опустив руки, не двигаясь, и смотрел на Тоню. Не доходя шагов двух или трех до Петра, Тоня остановилась.

– Я получила твою записку, – сказала она, чуть шевеля губами. Мы с трудом разбирали ее слова. – Володька еще в яслях. А я приехала.

И странно было услышать рядом с ее тихим, прерывающимся голосом громкий, деловой голос Афанасия.

– Пошли обедать, – сказал он очень прозаично. – Пускай они тут поговорят. Если хочешь, Петр, спускайтесь потом в ресторан.

И он пошел к дверям, как всегда чуть-чуть волоча ногу, и за ним пошли мы все. До сих пор я думаю, что Тоня так и не заметила нас, грешных.

Мы закрыли за собой оставленную Тоней дверь и молча сошли по лестнице. Только войдя в ресторан, еще полупустой, почувствовали мы, что очень голодны. Мы заказали обед и решили выпить бутылку шампанского. Хотя выпили мы ее за Петькину обыкновенную жизнь, но, кроме тоста, никто из нас не сказал ни слова ни о Петре, ни о Тоне.

Мы уже пили кофе, когда Петр и Тоня подошли к нам. Они сели за наш стол и выпили по чашке черного кофе. Потом Тоня заторопилась, потому что подходило время брать в яслях Володьку, встала и начала прощаться. И Петр тоже встал и спросил, когда уезжает Афанасий

Семенович, и, узнав, что завтра ночью, предложил вечером завтра встретиться у нас в номере. Афанасий Семенович сказал, что чего ж от стола уходить, может, успели бы перекусить чего-нибудь... Но Петр не согласился.

Можно опоздать в ясли. А насчет еды беспокоиться нечего, потому что он пообедаст дома.

### Заключение

Через день утром мы уезжали, и Петр не провожал нас. Он пошел на завод просить, чтобы его приняли обратно. Тоня написала нам в тот же вечер: «На заводе Петра встретили хорошо, и завтра он выходит на работу».

Легко ли было ему первое время? Думаю, что очень трудно, хотя никому из нас и даже Тоне он никогда ничего об этом не говорил.

Время шло. Тоня регулярно писала нам, что «все в порядке». Нас это не очень успокаивало. Можно было допустить, что «порядок» иногда нарушается, но что нарушитель, то есть Петя, так потом мучается раскаянием, так умоляет не сообщать о нарушениях нам, братикам, что Тоня, преданная, маленькая Тоня, берет ради него грех на душу.

Мы приглашали Петра с семейством приехать в отпуск к нам в С.. Они не приехали, и почти месяц мы прожили очень волнуясь. Известий не было никаких. Наконец пришло большое письмо от Петра. Оказывается, они с Тоней и Вовкой отдыхали на лесопункте у знаменитого Леши. Леша со своей девушкой наконец поженились. Девушка действительно славная, и с Тоней они сошлись. Петра встретили хорошо. Директор даже предлагал ему остаться и опять заведовать слесарной мастерской.

Очень подробное было письмо. И про разговоры с Лешей, и про разговоры с директором, и с бывшими своими слесарями, и с Лией Матвеевной.

Он, Петр, всем рассказывал про Петра Кузнецова, и про Степу Гаврилова, и про историю, происшедшую на суде. «Все слушали с огромным интересом, – писал Петр, – и задавали очень много вопросов».

Ему как будто доставляло удовольствие снова переживать встречи и разговоры на лесопункте. Видно, очень мучил его тот день, когда он предстал перед верившими ему людьми убийцей и бандитом. Видно, очень уж ясно вспоминались ему людские глаза, смотревшие на него с ужасом и удивлением.

К нам он приехал только через два года.

Мы все внимательно следили за ним, стараясь, разумеется, чтоб он этого не заметил.

Он, конечно же, это замечал, и нервничал, и старался не показывать виду, что нервничает.

И оттого, что мы все четверо были друг с другом не до конца искренни, при всей шумной веселости нашей встречи, при всей как будто полной откровенности разговоров звучала все время какая-то фальшивая нота. Еле слышно звучала. Даже не звучала – угадывалась всеми нами.

И когда мы проводили Петра на вокзал, расцеловались, обменялись тысячью пожеланий, помахали на прощание руками, проводили глазами поезд, стыдно сказать, у меня было чувство облегчения.

С тех пор прошло еще три года. С Петей мы виделись несколько раз. Ощущение фальши при встречах прошло окончательно. Теперь я люблю разговаривать с ним, говорю всегда откровенно, и мне кажется, он тоже до конца откровенен со мной. Он нежно любит сына, а к Тоне от-

носится, я бы сказал, с обожанием. И Тоне, по-моему, кажется, что это всегда так было, что иначе и быть не могло и не может. Они приезжали к нам в С., и однажды, во время отпуска, я погостил у них недельку. Теперь я могу сказать уверенно: не часто можно встретить такую дружную, такую спаянную семью.

И мне очень редко, все реже и реже, когда я понервничаю, снятся дурные сны. Я вижу Яму, и стариков Анохиных, и Петьку, прячущего голову в снег, и низкорослого сильного Клятова, бьющего добрую старую женщину кастетом в висок.

Когда я просыпаюсь после такого сна, у меня лоб в поту и сильно колотится сердце.

Пусть больше не снятся мне эти дурные сны, пусть никогда больше не увижу я их наяву...